




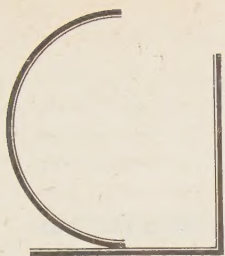
ЦИЦЕРОН

ЭСТЕТИКА

ТРАКТАТЫ
РЕЧИ
ПИСЬМА



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
Kahle/Austin Foundation



ИСТОРИЯ
ЭСТЕТИКИ
В ПАМЯТНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ

Редакционная
коллегия

Председатель
А. Я. ЗИСЬ

К. М. ДОЛГОВ
А. В. МИХАЙЛОВ
А. В. НОВИКОВ
Ю. Н. ПОПОВ
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР
В. П. ШЕСТАКОВ

Составление и вступительная статья
Г. С. КНАБЕ

Комментарии
Н. А. КУЛЬКОВА, Е. П. ОРЕХАНОВА

Ответственный редактор
Г. С. КНАБЕ

Книга издана при поддержке
Международного фонда «Культурная инициатива»

Ц $\frac{0301080000 - 029}{025(01) - 94}$ 18-92

ISBN-5-210-02326-5 (рус.)

- © Составление, вступительная статья
Г. С. Кнабе, 1994 г.
- © Перевод на русский язык
М. Л. Гаспаров, В. О. Горенштейн,
Г. М. Дашевский, Н. Б. Журенко,
Г. С. Кнабе, А. Е. Кузнецов, Ф. А. Пет-
ровский, М. И. Рижский, 1994 г.
- © Комментарий Н. А. Кулькова, Е. П. Оре-
ханова, 1994 г.
- © Издательство «Искусство», 1994 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Г. С. Кнабе

ЦИЦЕРОН, АНТИЧНАЯ КЛАССИКА
И РОЖДЕНИЕ КЛАССИЦИЗМА

17

О НАХОЖДЕНИИ МАТЕРИАЛА

Перевод Г. С. Кнабе

52

ТОПИКА

Перевод А. Е. Кузнецова

56

О НАИЛУЧШЕМ ВИДЕ ОРАТОРОВ

Перевод Н. Б. Журенко

81

РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА
(«О ПРЕДМЕТАХ ИСКУССТВА»)

Перевод В. О. Горенштейна

88

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ПОЭТА
АВЛА ЛИЦИНИЯ АРХИЯ

Перевод В. О. Горенштейна

150

ОБ ОРАТОРЕ

Перевод Ф. А. Петровского

162

ПИСЬМА

*Перевод В. О. Горенштейна
под редакцией М. Е. Грабарь-Пассек*

372

ТУСКУЛАНСКИЕ БЕСЕДЫ

Перевод М. Л. Гаспарова

384

СНОВИДЕНИЕ СЦИПИОНА

Перевод В. О. Горенштейна

387

О ПРИРОДЕ БОГОВ

Перевод М. И. Рижского

395

ЛЕЛИЙ, ИЛИ О ДРУЖБЕ

Перевод Г. С. Кнабе

447

ПРИЛОЖЕНИЕ

О МОЕМ КОНСУЛЬСТВЕ

Перевод Г. М. Дашевского

479

ИЗ ПИСЕМ

Перевод Г. С. Кнабе

481

КОММЕНТАРИИ

Н. А. Кулькова, Е. П. Ореханова

484

ЦИЦЕРОН, АНТИЧНАЯ КЛАССИКА И РОЖДЕНИЕ КЛАССИЦИЗМА

Древние греки и римляне воспринимали мир эстетически. Эстетическим было их представление о вселенной как о едином гармоническом целом, подчиненном определенному ритму. Эстетическим смыслом обладал для них город-государство — воплощение порядка, подчиняющего себе хаос первозданной природы и хаос первозданного варварства. Эстетический критерий неизменно присутствовал в восприятии и оценке вещи, как и любого другого создания рук человеческих, и слово, обращенное к собранию граждан, обретало подлинную убедительность и силу, лишь воплотившись в эстетически совершенную форму.

Цицерон был государственным деятелем и одним из руководителей Римской республики, политиком, втянутым в интриги в курии и на форуме, правоведом, теоретиком красноречия, а главное — его практиком, бесконечно выступавшим в сенате, на народных сходках и в судах, знатоком философии, автором стихотворных произведений, переводчиком, эпистологом. Во всех этих многообразных видах деятельности он оставался с головы до пят человеком античного склада и античной культуры, и соответственно все им написанное и сделанное обнаруживает связь с тем эстетическим целым, каким были для древних мир и государство, вещь и слово. Поэтому сочинения Цицерона, хотя в большинстве случаев они и не посвящены специально проблемам эстетики, в особой форме отражают коренную проблематику эстетического сознания, а его творчество — важная веха в истории эстетики.

В жизни и сочинениях Цицерона, однако, античное эстетическое миросозерцание предстает в особом историческом состоянии — кризисном, остром и деформированном, обусловленном катаклизмами одной из самых драматичных, переломных эпох в истории древнего мира, на которую приходится деятельность великого оратора.

Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!*

В мысли и особенно в судьбе Цицерона античное миросозерцание начинает перерастать самое себя; в уверенном спокойствии и величавом

* Строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон», перефразирующая подлинную фразу оратора: «Мне горько, что на дорогу жизни вышел я слишком поздно и что ночь республики наступила прежде, чем успел я завершить свой путь» («Брут, или О знаменитых ораторах», 330. — Здесь и далее пер. И. П. Стрельниковой).

достоинстве уже различимы нервная рефлексия и слабость; гармонически целостный образ мира и общества, которым так долго жило античное культурное сознание, еще представляется единственно естественным, еще сохраняет всю свою живую привлекательность, сохраняет значение нормы, но нормы, уже все более отдаляющейся от действительности и отступающей вдали идеала.

Характеристика эстетических взглядов Цицерона, таким образом, предполагает ответ, по крайней мере, на три вопроса: каковы общие, коренные и основополагающие, черты его эстетического мировоззрения? Как обусловлены они античным типом культуры? Как видоизменялись это мировоззрение и этот тип культуры под воздействием исторического опыта кризисных предсмертных десятилетий Римской республики?

I

В основе эстетического мировоззрения Цицерона лежало несколько определяющих и взаимосвязанных понятий: «искусство», «мудрость», «цивилизация». Воплощением искусства было для него красноречие, воплощением мудрости — эллинская философия, помноженная на римский государственно-политический опыт; «цивилизация» выступала как понятие более запутанное — ту специфическую его форму, с которой прежде всего имел дело Цицерон, римляне обозначали словом *cultus*, и нам предстоит еще прояснить его значение.

Ораторское искусство было для Цицерона искусством искусств, высшей и универсальной ценностью — залогом нормального функционирования государства и выражением творческого потенциала личности. «...Когда, поверяя историей, восстанавливаю пред мысленным взором времена давно минувшие, вижу, как мудрость, а еще более — красноречие, основывают города, гасят войны, заключают длительные союзы и завязывают священную дружбу между народами»*. «Спутница мира, подруга просвещенного досуга, питомица, взращенная совершенным государственным устройством, — вот, что такое ораторская речь»**. Первое из этих суждений принадлежит двадцатилетнему юноше, второе — шестидесятилетнему консулярию; между ними вся жизнь, на протяжении которой Цицерон ни разу не усомнился в высказанных здесь оценках.

Он родился 3 января 106 года*** в маленьком городке Арпине, неподалеку от Рима, в семье обеспеченной, старинной и порядочной, но ничем не примечательной, в которой никто никогда не занимал государственных должностей — магистратур. Цицерон первый в роде

* «О нахождении материала», I, 1.

** «Брут...», 45.

*** Все даты, кроме специально оговоренных, — до н. э.

вступил на этот путь и прошел его до конца. Около 90 года он перебрался на постоянное жительство в Рим, шестнадцатилетним начал посещать римский форум, присутствовать при судебных разбирательствах и политических спорах, прислушиваться к речам знаменитых ораторов, а с 81 года стал выступать в судах с речами и сам. Речи его имели шумный успех, и в 76 году Цицерон избирается на первую магистратскую должность — квестора, которую отправляет вдали от Рима, в провинции Сицилия. Здесь он сумел завязать со многими сицилийцами добрые личные отношения, впоследствии не раз сослужившие ему хорошую службу. Летом 74 года он возвращается в столицу и облачается в белоснежную тогу с широкой красной каймой — знак сенаторского достоинства: квесторий, то есть человек, прошедший первую магистратуру, становился по закону членом сената. До сих пор он выступал лишь как судебный оратор, теперь перед ним открывалось поприще государственного, политического красноречия. Прохождение сенатских магистратур в ту эпоху было уже упорядочено: существовал более или менее определенный возрастной ценз для соискания каждой из них, определенная их последовательность, определенные интервалы между ними. Не отставая и не забегая вперед, не зная поражений на выборах, Цицерон последовательно прошел их все: в 69 году он эдил, в 66-м — претор, в 63-м — высший магистрат Римской республики — консул. Такая магистратская карьера, на взгляд современного историка, представляется для сенатора обычной и нормальной, но, рассмотренная в конкретных условиях времени и места, она обнаруживает, напротив того, особенности исключительные. Первая из таких особенностей связана с происхождением Цицерона, вторая — с его авторитетом как государственного деятеля.

В римском — как, впрочем, и в греческом — обществе человек был включен в две системы связей: в систему города-государства, где отношения граждан регулировались законами, и в систему социальных микрообщностей, где отношения определялись традицией и личными зависимостями. Социальными микрообщностями, то есть своеобразными контактными малыми группами, были, например, местная община, из которой человек вышел и на поддержку которой опирался всю жизнь; семья, которую римляне называли «фамилия» и члены которой ориентировались в своем общественном поведении на знатных и богатых покровителей и в свою очередь оказывали покровительство семьям, от них зависевшим; дружеский кружок, спаянный не столько личной привязностью, сколько общностью политических и деловых интересов; полностью неформальное сообщество, которое в Риме называлось партией, *partes*, и объединяло людей, преследовавших одни и те же политические цели; наконец, содружество, или, как говорили в Риме, коллегия, — профессиональная, жреческая или посвященная культу неофициального божества.

ства, но во всех случаях предполагавшая регулярные собрания, совместные церемонии и коллективные трапезы — то есть неформальное общение и солидарность членов*.

В реальной жизни обе системы, сохраняя свои различия, постоянно взаимодействовали и проникали друг в друга. Это приводило, с одной стороны, к тому, что государственная сфера никогда не была полностью отчуждена от повседневного существования граждан, от личных отношений, от семьи и кружка, реализовалась во внятных каждому непосредственно человеческих формах. С другой стороны, всякое политическое или даже гражданско-правовое действие в этих условиях могло быть успешным, только если оно лично кого-то устраивало, приносило выгоды «фамилии», клану или *partes*, и успех любой карьеры, как и исход магистратских выборов, зависел в конечном счете от такого рода отношений. Разветвленной сетью из поколения в поколение складывавшихся клиентельных связей, тысячами людей, включенных в эти связи и обеспечивавших в народном собрании принятие решений, благоприятных для патрона, располагала прежде всего знать — древние роды и семьи, которые в Риме называли «большими» или «старшими» — *maiores*. Они бдительно охраняли свою фактическую монополию на руководство республикой и лишь в единичных случаях допускали к вершинам магистратской карьеры «новых людей». Цицерон был «новым человеком», и об этом ему всю жизнь не давали забыть**. Карьера, основанная на знатном происхождении, была для него закрыта. Не пошел он и по тому пути, которым «новым людям» чаще всего удавалось проникать в правящую элиту, — по пути военного командования, стяжания славы полководца, доставлявшего в Рим огромную добычу и потому боготворимого армией и народом. Оставался, правда, еще один проторенный путь — если можно так сказать, прилепиться к одному из руководителей государства, стать его другом и помощником, его «тенью», и как бы на его плечах подняться на вершины власти, подобно

* Об этой важнейшей стороне античного общества см.: *Earl D. Morai and Political Tradition of Rome*. S.I., 1967 (1984); *Herman G. Ritualized Friendship and the City*. Cambridge, 1987. Исходная постановка проблемы и первый опыт ее решения — в классической работе: *Münzer F. Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*. Stuttgart, 1920; см. также: *De Robertis M. Storia delle corporazioni e del regimo associativo nel mondo Romano*, vol. I—II. Bari, 1971. Обзор новейшей литературы см.: *Кнабе Г. С. К специфике межличностных отношений в античности*. — «Вестник древней истории», 1987, № 4. О роли социальных микрообщностей в Риме времен Цицерона и их значении в его жизни и деятельности см. также: *Грималь П. Цицерон*. М., 1991.

** Показательно, что, когда Цицерон в 63 году в решающий момент разоблачил перед сенатом заговор Катилины, тот в защитительной речи говорил о несопоставимости доверия, которым может и должен пользоваться он, римский патриций, и Цицерон — «хотя и римский гражданин, но в Риме пришелец» (Саллюстий. Заговор Катилины, 31).

Катону Старшему при Валерии Флакке, Лелию при Сципионе, Випсанию Агриппе при Октавиане Августе. Цицерон отказался и от этого. Он сделал ставку на свой талант оратора, на постоянное самоусовершенствование в этом искусстве — и победил. Публичное красноречие как форма практического участия в жизни государства, как средство воздействовать на граждан и добиться успеха — исток эстетики Цицерона.

В этом истоке изначально смешивались разные струи, и их различия, их слияния, пропорции, в которых они входили в смесь, обусловили многое, а вернее, — все главное в жизни и творчестве Цицерона, в его судьбе и в его эстетике. Обрисованная выше структура римского общества порождала двойственную систему нравственных ценностей и ответственностей, двойственность критериев поведения. Выживание народа обеспечивалось городом-государством и его законами; соответственно не было долга более универсального и непреложного, внятного каждому, чем долг перед государством, не было общественной ценности более высокой, чем «гражданская доблесть» — знаменитая римская *virtus*. Консул Брут некогда казнил собственных сыновей, замешанных в заговоре против республики, в годину военных бедствий граждане отказывались от части своего имущества в пользу государства, подвиги во имя Города славил в песнях, которые распевались на пирах, которым учили детей, и успех оратора предполагал верность интересам государства, его нравственным заповедям, предпочтение государственных интересов личным. Но отчуждение государства, превращение его в надличную силу, а нравственного долга перед ним — в *saeva virtus*, «свирепую тиранию добродетели», в то же время всегда претило римлянам, ибо разрушало тот основанный на личных связях и обязательствах, на непосредственной выгоде каждого строй существования, о котором было только что рассказано. Рядом с *virtus*, «гражданской доблестью», в этической системе римлян всегда жила *pietas* — уважение к непреложной естественности бытия, к неотчуждаемым связям и обязательствам, понимание права каждого на выгоду и успех и готовность содействовать их достижению на основе преданности, но не только обществу в целом, в его всегда несколько абстрактном величии, а прежде всего конкретному человеку — патрону, родичу, другу. Так, с военно-политической и государственно-правовой точек зрения дело Октавиана Августа, создателя империи, в борьбе против республиканцев вовсе не было чистым и бесспорным, но он представил свою компанию как выполнение долга сыновней *pietas* — месть убийцам отца, и это во многом обеспечило ему поддержку общественного мнения. Оратор не мог добиться успеха, если бы вздумал действовать на основе одной лишь *virtus*; он жил в людской толще, в гуще интересов, и считаться с ними был также его долг — другого ранга, как бы другой фактуры, но не менее непреложный. Беда была в том, что неотчужденность, забота о личных интересах патрона или родича, а в конечном счете и собственных, при этом неприметно превра-

щались в кумовство, в обыкновенное стяжательство и оставляли очень мало от нравственного долга перед общиной.

Римляне старой складки, особенно аристократы, поразительно неприужденно ориентировались в этой противоречивой системе, интуитивно находя пути примирения требований, явно друг друга исключавших, хотя практически равно обязательных. «Стремиться к обогащению считается недостойным сенатора» — звучала общепризнанная заповедь, и во исполнение ее сенат периодически принимал законы против роскоши; но имущественный ценз сенатора составлял миллион сестерциев, и человек не мог не «стремиться к обогащению», если хотел сохраниться как член этого высшего и почетного сословия. Катон Старший был проповедником старинной римской морали, практически насаждал ее во время своей цензуры, но при этом занимался ростовщичеством, которое категорически осуждалось той же старинной римской моралью. Его правнук Катон Младший, современник Цицерона и образцовый, прославленный моралист последних лет республики, целиком подчинивший свою жизнь интересам государства, как он их понимал, развелся с женой, уступив ее старому богачу, а когда тот умер, завещав ей все состояние, женился на ней снова. Таких примеров сотни. Это этос народа. «Все мы хотим иметь больше»*, — признавался в одной из речей все тот же Катон Старший.

В интересующую нас эпоху этот этос в принципе сохранялся, но модулировать из одной его тональности в другую с прежней непринужденностью становилось все труднее. Во-первых, потому что противоречие между государственным долгом и эгоистическим интересом обострилось до степени ранее неведомой и разгул кумовства и корысти грозил просто уничтожить республику. Во-вторых, потому что в зажиточных слоях общества все большую роль стали играть люди, которых Цицерон называл *boni*, «добропорядочные граждане», а мы бы назвали интеллигентами; нравственная ответственность перед государством и за него несравненно больше, чем прежде, становилась у таких людей предметом рефлексии и источником суждений в общественных вопросах. С примерами нам предстоит вскоре познакомиться. Полюса противоречия разошлись и были осознаны именно как полюса. Нравственное воздействие оказывалось заложенным в Цицероновой эстетике красноречия, как во всякой значительной эстетической системе, но представлено оно было в ней с самого начала в виде противоречия, предмета размышлений и поисков.

В той же Цицероновой эстетике красноречия, однако, с самых первых ее шагов — опять-таки как во всякой значительной эстетической системе — нравственная проблема была неотделима от проблемы художественной формы; как выражались греческие философы, доброе — от прекрасного. Связь их в описанной выше ситуации реализовалась в том, что подлинной,

* Cato Maior, frg. 167. — In: *Oratorum Romanorum Fragmenta*. Ed. H. Malcovati, ed. 4. Torino, 1976.

практически существующей стихией ораторской деятельности было, по распространенному в Риме определению, «искусное красноречие, которое зовется риторикой (*artificiosa eloquentia quam rhetoricam vocant*)»*, риторическая же форма красноречия оказывалась столь же двойственной, как и нравственное содержание, которое она была призвана облекать: она могла придавать убедительность, привлекательность, яркость излагаемой истине, а могла — за счет все тех же качеств — и не-истине. Латинское слово *artificiosus* объединяло в себе значения «художественный», «исполненный искусства», «искусный» (в смысле «ловкий») и «искусственный» (в смысле «нарочитый», «неискренний»). Выбрав красноречие как залог успеха, Цицерон оказывался во власти неразрешимых противоречий, заданных временем. Он всегда в самых разных своих сочинениях уделял огромное внимание пластике, жестам, голосу оратора и постоянным упражнениям в этой области**; составлял для сына каталог «общих мест» — заранее заготовленных и опробованных на практике словесных блоков, из которых можно было смонтировать любую речь***; широко использовал распространенные в его время в Риме дидактические сочинения по риторическим фигурам****; разрабатывал классификацию речей в зависимости от характера судебных процессов и дел, в них рассматриваемых*****. «Искусное красноречие, которое зовется риторикой» опиралось помимо природных данных оратора — памяти, темперамента, находчивости, сильного и красивого голоса и т. д. — на владение набором конкретных приемов и правил: «...от них оратор, может быть, красоты и не наживет, зато получит возможность использовать готовые доводы для каждой разновидности дел, как использует по обстоятельствам боя свои дроты пехотинец»*****.

Красноречие, основанное на владении формальными приемами, обладало одной особенностью: ему можно было обучить. Цицерон много

* О нахождении материала, I, V.

** «Брут...», 110; 141—142; 272; «Оратор», 55; 59—60; 121 и след.

*** «Общих местам» и их значению для ораторских выступлений посвящено позднее сочинение Цицерона «Топика», входящее в состав настоящего издания.

**** Имеется в виду так называемая «Риторика к Гереннию». Это сочинение, популярное в Риме в 80-е годы I в., долгое время считалось принадлежащим Цицерону. Сейчас такой взгляд опровергнут, но заблуждение старых филологов вполне понятно: многие положения трактата находят себе соответствие в других сочинениях, бесспорно цicerоновских. Он поэтому дает материал для характеристики общих воззрений времени, разделявшихся и нашим автором. В этом смысле «Риторика к Гереннию» и используется в дальнейшем.

***** См.: «Риторика к Гереннию», I, 2 и след.; II, 13; 18; 30; «Подразделения речей» — *passim*; «О нахождении материала», I, 5 и след.; II, 52 и след.; «Оратор», 37 и след.; 75 и след. См. также вступительную статью М. Л. Гаспарова к кн.: *Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве*. М., 1972, с. 18—25.

***** «Брут...», 271.

сделал для обучения элоквенции, соединив его с обучением общей гуманитарной культуре, и имя его по праву занимает место в учебниках по истории педагогики. В Риме, однако, обучение красноречию очень многими воспринималось как нечто противоестественное и кощунственное; оно долго не одобрялось официально, а иногда подпадало и под правительственное запрещение. У сторонников подобного взгляда была своя правда. В старину защитником в суде выступал глава той семьи, к которой принадлежал обвиняемый, оратором на сходке или в сенате — политик, отстаивавший свой план действий; оба доказывали соответствие своих требований прямому смыслу законов. В обоих случаях предполагалось, что оратор высказывает свои убеждения, а оценивается его речь на основе гражданских достоинств и авторитета говорящего. Для речи неискренней, но при этом убедительной в тех условиях оратору просто не хватило бы искусства. Речь же человека, прошедшего соответствующую школу, хорошо тренированного, речь как совокупность «готовых доводов», точно рассчитанных на определенную реакцию аудитории, могла, конечно, придать за счет искусства дополнительную убедительность даже аргументам вполне искренним, но чаще становилась средством убедить суд или сенат принять решение, которое принесло бы оратору и его клиентам успех, но не обязательно было бы продиктовано соображениями истины. В настоящий том включены главы из юношеского сочинения Цицерона «О нахождении материала», где подобная эволюция красноречия охарактеризована в общих чертах, но достаточно подробно*. Нет причин сомневаться, что в основу данной здесь характеристики положены впечатления от судебной и политической жизни, окружавшей автора. О том же противоречии, заложенном в искусстве и деятельности оратора, говорится и в «Бруте»**. В середине 80-х годов, когда формировались взгляды Цицерона на сущность красноречия, он берется за перевод диалога Платона «Протагор». Герой диалога, знаменитый греческий софист V века, учил, что истина многолика, что каждый ее облик ничем не хуже другого и выбор того или иного из них в каждой данной ситуации зависит лишь от обстоятельств и словесного обоснования. Протагору приписывались слова о том, что он берется преподавать каждому своему ученику искусство «силой слов превращать худое дело в доблестное»*** — как, по-видимому, и обратно: доблестное в худое. В Риме такой подход к делу, при котором раскрывались разные его стороны и акцент мог быть перенесен на любую из них, назывался рассмотрением *in utramque partem*, «в обе стороны», и Цицерон, как в произведениях среднего периода творчества, так и в поздних, считал важной чертой оратора умение «обсуждать всякий вопрос с противопо-

* «О нахождении материала», I, II — V.

** «Брут...», 30.

*** Авл Геллий. Аттические ночи. V, 3.

ложных точек зрения и из каждого обстоятельства извлекать доводы наиболее правдоподобные»*.

В жизни и практической деятельности Цицерона представление о многоликости истины и свободном манипулировании ею с помощью отработанных приемов речи в целях достижения успеха и выгоды вело к нравственному релятивизму**. По завершении консульства он должен был получить в управление провинцию Македонию, которая считалась весьма выгодной, ибо была богатой и предоставляла наместнику и его людям почти неограниченные возможности вымогательства и грабежа. Цицерон отказался от Македонии, уступив ее своему коллеге Антонию. Свой отказ он обосновал в речи к народу высокими гражданскими соображениями. Но вскоре в Македонии появился отпущенник Цицерона, наблюдавший за доходами Антония и, как догадывались в Риме, взымавший определенную их часть в пользу своего патрона. Автор возвышенной, убедительной речи, по-видимому, уступил свою провинцию коллеге не бескорыстно. Весной 63 года Цицерон произносит речь, в которой добивается того, чтобы сыновья лиц, погибших в сулланских проскрипциях, по-прежнему оставались лишенными значительной части своих прав. Несправедливость такого решения ему ясна, но возвращение этим «достойным и честным молодым людям» права на магистратскую деятельность могло бы «вызвать потрясения в государстве»***, и весь блеск «искусного красноречия», вся сила убеждения обращаются на доказательство того, что несправедливость по отношению к «достойным и честным» вполне оправдана. В других случаях приходилось отказываться от высоких принципов уже не ради «интересов государства», а ради собственных. Цицерон с самого начала не мог не понимать, что представляет собой сулланец сенатор Катилина, дебошир, вымогатель и садист****, кончивший тем, что организовал заговор против республики, подавлять который пришлось тому же Цицерону. Но когда последний двумя годами раньше, собираясь выдвинуть свою кандидатуру в консулы, старался завоевать расположение всех и каждого, Цицерон был готов выступить защитником Катилины, обвиненного (и, по-видимому, вполне справедливо) в вымогательствах в пору своего провинциального наместничества*****. К счастью для прижизненной репутации и посмертной славы Цицерона, выступить ему не пришлось.

* «Об ораторе», 158; ср. «Оратор», 46.

** «В защиту Клуэнция», 139.

*** «Против Пизона», 2, 4.

**** Известную характеристику Катилины у Саллюстия («Заговор Катилины», V, 1—2) следует дополнить рассказом о мучительной смерти, которой во время гражданской войны между Марием и Суллой Катилина лично предал своего политического противника Мария Гратидиана. Для оценки сказанного ниже о намерении Цицерона защищать Катилину в суде существенно, что Гратидиан был родственником и земляком оратора — сыном шурина его деда.

***** «Письма к Аттику», I, 1,1; 2,1.

В той же связи приходится вспомнить о двусмысленных отношениях Цицерона со знаменитым старинным Цинциевым законом, запрещавшим брать плату за защиту в суде. Закон этот имел глубокие корни в римской традиции и обладал большим моральным весом. Профессионализация красноречия и неотделимое от нее превращение оратора в специалиста, которого нанимают и который, несмотря на все запреты, берет за защиту деньги, то есть обещает выиграть дело независимо от того, прав клиент или нет, причем берет деньги с человека, попавшего в беду и потому готового платить сколько угодно, лишали оратора морального и общественного престижа — в глазах большинства граждан его дело становилось, как выражался один из современников Цицерона, «жульническим искусством, которое предки наши называли собачьим»*. Цицерон начинал как один из двух сыновей заурядного захолустного всадника с имущественным цензом в 400 000 сестерциев, кончил он миллионером, владельцем четырех поместий и Палатинского дома, стоявшего при покупке 3,5 миллиона. Правда — и это существенно для облика нашего героя, — большая часть этих денег была взята в долг, дела семьи не раз приходили в расстройство, имущество Цицерона с женой было раздельное и развод унес значительную долю его средств, но остается очевидным, что благосостояние было и что оно зависело от способности продавать свое «искусное красноречие» в обход Цинциева закона и моральных норм, с ним связанных. Чтобы обойти Цинциев закон в Риме был выработан ряд приемов. Об одном из них свидетельствует процесс Публия Корнелия Суллы, обвиненного в 62 году в соучастии в заговоре Катилины. Цицерон выступил защитником, но именно у Суллы одолжил он до этого деньги на покупку Палатинского дома, и мы до сих пор не знаем, на каких условиях; судя по аналогиям, возвращены они либо не были вовсе, либо не целиком, и уж во всяком случае без обычных в Риме высоких процентов. Сулла был оправдан — «искусное красноречие» приносило свои плоды.

Все это, однако, составляло лишь одну сторону дела. Общественное положение Цицерона, его репутация, а тем самым и карьера были обеспечены не только энергией и ловкостью, которыми он компенсировал свое провинциально-плебейское происхождение, но и окружавшим его имя особым авторитетом. Авторитет этот тоже зиждился на красноречии, но каком-то ином, несравненно большем, нежели «искусное красноречие» в описанном выше смысле, и именно оно, это «большее красноречие», открывало перед Цицероном совсем другие горизонты. В одной из речей 66 года он перечислил признаки подлинно блестящей карьеры сенатора — не просто магистрата, а государственного деятеля исторического масштаба**. На первом месте в этом списке стоит *locus* («положение»); его, как мы видели, можно было добиться и «искусным красноречием». Но сразу

* Колумелла. О сельском хозяйстве, I, предисл., 9.

** «В защиту Клуэнция», 154.

за ним идет *auctoritas* — слово, которое приходится переводить как «авторитет», хотя значение его несравненно шире и глубже: дарованное как потенция богами, но реализуемое самим человеком в его деятельности превосходство его над другими, проявляющееся в особенно значительных услугах, оказанных им общине, в уважении окружающих и в их готовности склоняться перед его мнением. Цицерон обладал *auctoritas* в высокой степени, добиться же этого лишь совершенной риторикой, ловкостью и интригами было, как показывает опыт всей римской истории, невозможно.

Свой консульский год, 63-й, Цицерон начал с речи против аграрного законопроекта Сервилия Рулла. Со времен Гая Гракха, то есть в течение более полувека, не было законопроекта, на защиту которого сплотилась бы, как в данном случае, вся коллегия народных трибунов, все десять человек, но после речи Цицерона трибуны отступились — и законопроект не прошел. Консульский год Цицерона завершился разгромом заговора Катилины; в ходе его сенат принял постановление о вознесении в честь консула благодарственного молебна богам — впервые за всю историю Рима в честь магистрата, не облеченного чрезвычайной военной властью. По завершении борьбы с Катилиной сенат и народ присвоили Цицерону совершенно необычное звание Отца Отечества; следующим его получит лишь полвека спустя создатель принципата император Октавиан Август. Созданный в 60 году так называемый Первый триумвират был антиконституционным союзом нескольких ведущих государственных деятелей с целью захвата власти и подготовки единодержавного режима, союзом, опиравшимся на огромную военную силу и неограниченные деньги. Но спокойно пользоваться и тем и другим триумвиры могли лишь при условии, что против них не подымется общественное мнение, поднять же его против них мог только один человек — Цицерон; был предпринят специальный маневр по его нейтрализации — изгнание, потом возвращение — под моральное обязательство вести себя тихо. Маневр был предпринят правильно: путь Цицерона из изгнания в Рим пролегал через многие города Италии, где его неизменно встречали такие народные овации, что, обратись он к этим муниципиям и колониям и не связжи его триумвиры своего рода «честным словом», не известно, как развернулись бы события. *Auctoritas* Цицерона оставалась важным фактором внутренней политики Рима и в 40-е годы, когда Цезарь постарался привлечь его на свою сторону для придания морального авторитета и ореола законности узурпированной им власти, и особенно — после гибели Цезаря, когда в 44—43 годах Цицерон фактически оказался во главе сената в положении руководителя государства.

Подобная *auctoritas* была основана все на том же красноречии, представшем, однако, уже не просто как совокупность приемов, а как духовный подвиг во имя республики, во имя сохранения и защиты ее исторических ценностей, и на впечатлении от деятельности Цицерона, в которой ловкость,

беспринципность и практицизм странно дополнялись преданностью своим идеалам, упорством в их осуществлении, готовностью, стоявшей подчас на грани героизма, идти ради них на любое обострение и риск.

Первое выступление на общественном поприще, привлекшее к Цицерону внимание, было его выступление в качестве защитника в процессе Росция из Америи в 80 году. Главным противником его в процессе фактически явился всемогущий отпущенник всемогущего Суллы Хрисогон. Хрисогону важно было утвердить «право» диктатуры, опираясь на военную силу, безнаказанно грабить и убивать не только в политических, но и в личных целях, всенародно обнаружить, что не право сильно, а сила права. Цицерону важно было отстоять не только римскую правовую традицию, но и сам принцип правосознания. Никаких существенных выгод процесс ему не сулил; риск был громадный: кажется, единственный из адвокатов Рима, он согласился защищать Росция — и выиграл, выиграл в разгар сулланской диктатуры, при в высшей степени неблагоприятном составе суда. Десятью годами позже состоялся процесс, принесший Цицерону теперь уже подлинную славу — процесс бывшего наместника Сицилии Верреса, истерика и жестокого вымогателя; нам еще придется встретиться с ним и с этими его качествами при разборе феномена *cultus*. Речь шла все о том же — о грабеже слабых сильными, только на этот раз о грабеже не италийцев, а провинциалов, и не в интересах временщиков, а в интересах почтенной аристократии — древнего и знатного рода Цецилиев Метеллов, чьим ставленником был Веррес. Сицилийцы возбудили против него иск летом 70 года. Верресу и его знатым покровителям надо было протянуть всего несколько месяцев: с января 69 года один Метелл становился консулом, другой — претором и тем самым председателем суда. Цицерон дал им этих месяцев. За несколько недель он извездил Сицилию, собрал исчерпывающий материал и бесчисленные улики, отбил от интриг Метеллов, начал процесс, доказал полную несостоятельность защиты, так что Веррес, не дожидаясь приговора, бежал из Рима, и Цицерон, не имея возможности произнести все заготовленные обвинительные речи, опубликовал их, превратив материал уголовного процесса в красноречивую правозащитную декларацию, общеполитическую, гражданскую и нравственную. И снова, как и в предыдущем случае, риск несопоставимо превышал выгоду; снова речь шла о том, чтобы силой ораторского искусства защитить принцип — на этот раз достоинство римской власти в провинциях. Цицерон сам указал на мотивы, по которым он согласился участвовать в процессе Верреса*. Неуклонный и стремительный рост его авторитета в последующие годы говорит о том, что римляне (в отличие от многих историков Нового времени) не сомневались в подобных случаях в его искренности.

* «Дивинация против Цецилия», II—IV.

Таких примеров можно привести немало. Ограничимся еще одним. Поздняя осень 63 года. Цицерон — консул. Он располагает неопровержимыми доказательствами того, что Катилина готовит государственный переворот, который неизбежно повлечет за собой разнузданный террор. Катилина и его подручные должны быть уничтожены, иначе — гражданская война с неясным исходом, а в перспективе — поджоги, погромы и убийства. Но существует закон, по которому только народное собрание может принять решение о казни римского гражданина. Созывать такое собрание нельзя — нет времени, да и не известно, чем оно кончится: подручные Катилины раздадут обещания и деньги направо и налево. Цицерон обеспечивает все возможные юридические оправдания подготовленной им меры — закон о чрезвычайном положении, специальное решение сената о казни заговорщиков, одобрение народной сходки. Но, опытный юрист, он не может не понимать, что все это не оправдание, что сенат не имел права принимать постановление, противоречащее фундаментальному закону государства, что ради спасения республики и граждан он. Цицерон, предпринимает шаг, который на всю жизнь сделает его уязвимым для самых тяжелых обвинений. И тем не менее он принимает решение, настаивает на одобрении его сенатом* и берет всю ответственность на себя. Сообщники Катилины казнены. Цицерону это не принесло ничего, кроме славы в веках**, сознания выполненного долга*** и дальнейшего укрепления *auctoritas*, — никаких практических выгод, а через несколько лет — травлю, гибель любимого дома и изгнание.

Этот тип поведения был неотделим от определенного понимания роли оратора, назначения и характера его искусства. И снова, как тогда, когда речь шла о роли технического совершенства в деятельности оратора, Цицерон на протяжении всей жизни настойчиво говорит о государственно-правовом достоинстве публичного красноречия, о его основополагающем значении для всякого свободного и законосообразного человеческого общежития, то есть прежде всего для гражданской общины, устроенной республикански. Кажется, впервые возникает эта тема все в том же юношеском сочинении «О нахождении материала»: «Разве смогли бы люди после того, как возникли городские общины, научиться доверять друг другу, уважать законы, по своей воле подчиняться другим, и не только

* «Письма к Аттику», XII, 21, 1 (март 45 г.).

** Образ Катилины — злодея, готового принести республику в жертву собственным корыстным и честолюбивым замыслам, и Цицерона, уничтожающего его во имя закона и гражданской ответственности — устойчивые образы революционной риторики во Франции 1789—1794 годов, в частности в речах Мирабо. Ср. поколением позже у К. Ф. Рылеева: «...И в Цицероне мной не консул — сам он чтим, // За то, что им спасен от Катилины Рим...» («К временщику», 1820).

*** См. письмо Цицерона Луцию Лукцею от июня 56 г. («К близким», V, 12), с. 372—376.

выполнять тяжкие труды, но и жертвовать самой жизнью ради общего блага, если бы не внушил он все эти разумные начала с помощью красноречия?»^{*}. И ту же мысль повторит Цицерон за три года до смерти — в «Бруте»: самое ужасное в гибели республики и в диктатуре Цезаря — молчание форума, опустошенного, осиротелого и забывшего изысканную речь, достойную слуха римлян. «У меня самого сердце сжимается от боли, когда я думаю, что республика не чувствует больше нужды в таких средствах защиты, как разум, талант и личный авторитет; ими меня учили пользоваться, на них я привык полагаться, они единственно подобают... обществу, хранящему добрые нравы и соблюдающему законы»^{**}.

Два понимания природы и смысла красноречия, два облика человека — прагматического политика, честолюбца, неразборчивого в средствах достижения своих целей, и самоотверженного борца, отдающего талант, знания и жизнь республике римлян, — бесспорно и очевидно сосуществуют в жизни и деятельности Цицерона. На этом основании научное истолкование наследия Цицерона с самого начала строилось по альтернативному принципу: пока еще сказывался унаследованный от XVIII века либерально-просветительский взгляд на римскую историю, акцент ставился на втором, «высоком» облике великого консула, а главным содержанием его наследия признавались красноречивая защита гражданских идеалов. В позитивистскую эру с легкой руки Моммзена^{***} на передний план стали выдвигаться первые из отмеченных выше, «низкие», черты нашего героя и затухать остальные. Новый перелом наступил уже на памяти ныне здравствующего поколения. В ряде фундаментальных работ во всеоружии современной науки была предпринята попытка реабилитации «высокого» Цицерона^{****}. Вывод, из них следовавший, однако, оказался иным, чем ожидалось. Стало ясно, что суть проблемы и путь к ее решению — не в выборе одного из полюсов противоречия, а в признании их неразрывной связи и взаимной опосредованности. Разработка приемов «ис-

* «О нахождении материала», I, II.

** «Брут...», 7.

*** См.: Моммзен Т. Римская история. Т. 3. М., 1935, с. 176, 262 и след.

**** Тон был задан еще накануне войны коллективной статьей «M. Tullius Cicero» в «Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft». 2. Reihe. Hb 13^a (1939). Позже двое из ее авторов выступили с самостоятельными монографиями: Gelzer M. Cicero. Wiesbaden, 1969 (1983); Büchner K. Studien zur römischen Literatur. Bd 2: Cicero. Wiesbaden, 1962, где автор на первой же странице признает, что «мы переживаем сейчас самый пик процесса выработки нового образа Цицерона». Истоки этого направления можно обнаружить в старой (1907 г.) статье Р. Хайнце, которая в свое время прошла незамеченной, но, будучи перепечатана в 1968 году, явилась серьезным вкладом в выработку «нового образа Цицерона» (Heinze R. Vom Geist des Römertums. 3. Aufl. Darmstadt, 1968, S.87 ff.). Своеобразный вариант этого «нового образа Цицерона» содержится и в упомянутой выше книге П. Грималы (см. примеч. 4).

кусного красноречия», обеспечивающего любое решение, выгодное в данной ситуации, и, напротив того, обоснование высокого государственного, политико-правового, нравственного содержания ораторского искусства образуют лишь два первоначала, два исходных мотива эстетики Цицерона; основное ее содержание состоит в демонстрации их единства.

Единство это было вполне осознано Цицероном как цель и норма, и существование такого единства доказывается в его сочинениях несколькими путями. Во-первых, путем признания философской глубины неотъемлемым элементом подлинного красноречия — другими словами, обязательности усвоения римским оратором греческой культуры; во-вторых, путем включения искусства речи в новую систему ценностей, основанную на понятии *cultus*; далее — с помощью анализа истории красноречия в Риме, показывающей, что оно достигает подлинных вершин, лишь соединив в себе художественное совершенство формы и верность интересам гражданской общины; наконец — утверждением в качестве основы ораторского искусства общенародного языка, снимающего противоположность чрезмерно рафинированной искусной речи и речи, сосредоточенной на одном лишь прагматическом содержании, безразличной к форме и потому необработанной и грубой.

Эти четыре положения образуют уже не просто истоки эстетики Цицерона, а ее основное содержание.

II

Стоило вырваться из толпы, окружавшей оратора в суде, из толчеи форума, отвлечься хоть ненадолго от страстей, бушевавших в сенате, и задуматься об общем смысле, общих принципах и законах ораторского искусства, как становилось ясно, что опасность риторического злоупотребления приемом и формой, вымолачивания высокого государственного и нравственного содержания действительно существует, но не так уж она, в сущности, страшна и не может бросить тень на искусство искусств, ибо реализуется лишь в речах ораторов низшего порядка — «несносных и надоедливых крикунов»*. С высшей точки зрения их вообще можно было не принимать во внимание, поскольку отдельно от них существует *собственно красноречие*, красноречие подлинное, а оно «немыслимо, если говорящий не усвоил себе вполне избранного содержания»**. Что это за содержание? Разумеется, реальное, фактическое содержание дела, но и не только оно, ибо если подходить к каждому судебному делу по-настоящему, добросовестно и всесторонне, то оно оказывается вплетено в бесчисленное количество связей — правовых, исторических, религиозных, уходящих в быт, верования и обычаи народа. Поэтому одни лишь «сме-

* «Об ораторе», III, 81.

** Там же, I, 48.

хотворные теоретики риторики» «пишут и о видах судебных дел, и о приступах, и об изложении (как будто сам Цицерон не писал обо всем этом много и увлеченно! — Г. К.); а ведь подлинная сила красноречия, — продолжает он, — в том, что оно постигает начало, сущность и развитие всех вещей, достоинств, обязанностей, всех законов природы, управляющей человеческими правами, мышлением и жизнью»* — короче, подлинная сила красноречия заключена в его философском содержании. «Хорошим оратором может быть только тот, кто умеет мыслить; поэтому, кто посвящает себя красноречию, тот посвящает себя и мудрости»**. Тогда становится понятно, почему Цицерон, великий оратор, всего себя посвятивший овладению красноречием, писал, что у него «никогда ничего в жизни не было дороже философии»***, а в конце жизни признавался: «Меня сделали оратором — если я действительно оратор, хотя бы в малой степени, — не риторские школы, но просторы Академии. Вот истинное поприще для многообразных и различных речей: недаром первый след на нем проложил Платон****. Нормой красноречия и путем, выводящим его из тупиков, является синтез словесного искусства речи и духовного философского содержания, «ибо без мускулатуры, развитой на форуме, оратор не сможет иметь достаточно силы и веса, а без всестороннего научного образования не сможет иметь достаточно знаний и вкуса»*****. Упоминание в цитированных суждениях об Академии и форуме показательны: боевое, темпераментное, направленное на решение жизненно важных практических вопросов, «мускулистое» искусство слова было стихией политики и права в столице мира — Риме, отвлеченное, углубленное и обобщенное умозрение — делом мыслителей Греции, давно пережившей пору героических конфликтов и реальных битв. Искомый синтез и эстетическое совершенство, в нем воплощенное, представляли как союз греческого и римского начал.

Сочинения Цицерона, и в первую очередь его эстетические взгляды, нельзя понять, не ощущая постоянно, до какой степени мысль этого уроженца италийского захолустья, консулярия, предводителя римской армии и Отца Отечества римлян пронизана греческой культурой. Он трижды подолгу бывал в Греции, в совершенстве говорил и писал на ее языке, слушал ее философов и ораторов, был дружен со многими, а один из них, стоик Диодот, годами жил у него в доме. Греческие стихи звучат в памяти Цицерона постоянно, вплетаются в его латинскую фразу, перетекают в нее. Поздние его диалоги содержат сравнительный анализ главных направлений греческой философии, обнаруживающий особое, интимное их знание, знание изнутри, с деталями и тонкостями, с упоминаниями

* Об ораторе, III, 76.

** «Брут...», 23.

*** «Письма к близким», XV, 4, 16.

**** «Оратор», 12.

***** «Об ораторе», III, 81.

второстепенных авторов, а письма переполнены бесчисленными ссылками на Гомера, Софокла, Еврипида, Фукидида, Сократа, Платона, Антисфена. По письмам восстанавливается вообще вся его духовная генеалогия; учителя и авторитеты — сплошные греки: Аристотель, Карнеад, Посидоний, Филон, Диодот, Антиох и, разумеется, прежде всего Платон — «наше божество»*.

Вот все это духовное содержание и должно было влиться в общественную жизнь Рима, оплодотворить его красноречие, помочь ему найти художественную форму, слитую с «мудростью». Поэтому Цицерон всю жизнь переводил с греческого. Поэтому одна из его постоянных мыслей состоит в том, что занятия философией должны не просто заполнять досуг образованного римлянина — то время, что остается от государственной деятельности, а быть элементом этой деятельности и служить критерием ее оценки. Особенно полно и ясно выражена эта мысль в письме Катону из Киликии от января 50 года. Завершив наместничество в Киликии, Цицерон просит Катона употребить свое влияние, дабы выхлопотать ему триумф — не только за успешные военные действия, но также за занятия философией, немало способствующие им же: «...мы едва ли не одни перенесли ту истинную и древнюю философию (т. е. греческую. — Г. К.), которая кажется кое-кому делом отдохновения и праздности, на форум и в жизнь государства и чуть ли не на поле битвы»**. Он посвящает доказательству той же мысли одну из самых ярких и своеобразных своих речей — «В защиту поэта Архия». Главный ее тезис состоит в том, что римское гражданство должно присваиваться иноземцам, и в частности выходцам из Греции, если они обогатили Рим своей культурой, своим словесным искусством, то есть перенесли на свою новую родину духовные сокровища старой. Таким перенесением занимаются, в сущности, и все подлинные римские ораторы, ибо греческое красноречие сохраняет для нас значение нормы, по которой выверяется и красноречие римское. Есть лишь одно красноречие — то, что родилось в Афинах***. Есть лишь один «вполне совершенный оратор, свободный от любых недостатков — Демосфен»****. Есть лишь один решающий рубеж в истории ораторского искусства — тот, что проходит по эпохе Демосфена, ибо «только до этого поколения сохранило красноречие здоровую, чистую кровь»*****, погрузившись позже в софистику и поиски красоты слова ради красоты слова.

Все дело, однако, было в том, что искомый синтез римского и греческого, а следовательно, красноречия и философии, а следовательно, и

* «Письма к Аттику», IV, 16.

** «Письма к близким», XV, 4, 16.

*** «О наилучшем виде ораторов», 3.

**** «Брут...», 35. Ср. «Об ораторе», I, 260: «...взяв за образец того, кто бесспорно владел самым могучим красноречием, — афинянина Демосфена».

***** «Брут...», 36.

само «подлинное ораторское искусство», существовали и только и могли существовать как эстетическая программа или как некоторая на эту программу ориентированная парадигматическая деятельность отдельных лиц, а не как черта римской действительности. Не говоря уже о том, что в основе античного миросозерцания лежало представление о неповторимости и богоизбранности каждого отдельного полиса, о том, что Рим оставался покорителем Греции, а римские купцы, откупщики и прокураторы богачей выжимали из Ахайи и Македонии все, что могли, и угнетали их граждан. Немало не заботясь об эллинофильстве просвещенных ценителей искусства в Риме — не говоря уже обо всем этом, презрение к умозрительной культуре, к художественной ценности как проявлению духовности, а следовательно, и к грекам как носителям этих качеств, оставалось одной из основ римского народного этоса. Своим отрицательным отношением к грекам и всему греческому славился образцовый римлянин Катон Старший; солдаты Суллы дали себе в Греции волю и бесчинствовали как хотели; полководческой карьере Лукулла, приятеля и собеседника Цицерона, положило конец возмущение солдат, вызванное, в частности, демонстративным эллинофильством их командующего. Сам Цицерон, постоянно заботившийся о верности римским народным традициям, никогда не мог по настоящему свести концы с концами в своей проповеди греко-римского синтеза. Известно немало его высокомерно-презрительных отзывов о греках; в настоящий том включена речь Цицерона против Верреса, где объясняется вся разница между римским отношением к искусству как государственному делу и отношением греческим, на взгляд оратора, пустым и несерьезным*. Многолетние размышления о соединении красноречия и философии в конце концов привели Цицерона к «Гортензию», ныне утраченному диалогу 45 года, где, скорее всего, содержалась апология философии в ее противопоставлении красноречию. Критерии и нормы эстетики «подлинного ораторского искусства» могли реализоваться не столько в жизни, сколько над ней — как пожелание и цель, оставляя неизменной действительность ее противоречиям.

Точно такую же структуру обнаруживает и иная модификация греко-римского синтеза — *cultus*. В философских и риторических диалогах Цицерона царит совершенно особая атмосфера, предшествующей римской литературе, кажется, неизвестная. — атмосфера избранного интеллигентного кружка, члены которого — вполне реальные деятели римского государства, магистраты, полководцы, ораторы, но при этом высокообразованные люди, свободно владеющие всем богатством греческой культуры. Сплав обоих этих начал воплощен здесь в неповторимом тоне — простом и изящном, ученом без педантизма и свободном без резкости,

* Речь против Гая Верреса («О предметах искусства»). II, 4; VII, 127; IX, 132; X, 134; XIII, 94; XIV, 33 и 98.

дружеском при всем сохранении различий в точках зрения. На этот тип общения и на стилистическую манеру, ему соответствующую, были ориентированы впоследствии «Диалог об ораторах» Тацита и диалоги эпохи Ренессанса. Такие люди действительно способны были обсуждать и в совокупности своей представлять идеальный тип красноречия — именно тот, о котором говорится в диалоге «Об ораторе», в «Бруте», в «Ораторе».

Как соотносился этот тип человека и этот тип общения с реальной действительностью? Очень непросто. Он бесспорно существовал. Упомянувшийся выше Луций Лициний Лукулл был римлянин старой складки с головы до пят — отличался крайней *pietas* по отношению к отцу, а позже к брату, обнаруживал оба традиционных таланта римского аристократа — ораторский и полководческий, умело и до конца шел по дороге магистратур. В то же время он с отрочества увлекался греческой философией, писал греческие стихи, и Цицерон имел все основания посвятить ему один из своих философских диалогов, выведя его в качестве главного действующего лица. То же соединение и, соответственно, тот же тип культуры обнаруживаются и у других современников — Марка Теренция Варрона, Марка Юния Брута, Гая Юлия Цезаря, как мы видели, у самого Цицерона, да и у многих других. Этому типу культуры сопутствовала одна особенность, на первый взгляд внешняя, но, как вскоре выяснилось, связанная с самой сутью дела, — богатство. «Люди могущественные и видные, — писал Цицерон в трактате «Об обязанностях», — находят наслаждение в том, чтобы их жизнь была обставлена пышно и протекала в изысканности и изобилии; но чем сильнее они к этому стремятся, тем неумереннее жаждут денег. Людей, желающих приумножить семейное достояние, презирать, разумеется, не следует, — нельзя, однако, ни при каких условиях нарушать справедливость и закон»*. «Семейное достояние» — это *res familiares*, старинная римская форма состояния, воплощенного прежде всего в земельной собственности, и презирать его не следует именно из-за его традиционного, чисто римского характера. Напротив того, «неумеренная жажда денег» дурна, ибо потенциально чревата нарушением справедливости и закона, но она же образует предпосылку того стиля жизни, который избрали в Риме I века «люди могущественные и видные» — те самые, которые были перечислены только что как рафинированные римские интеллигенты, близкие Цицерону, участники его диалогов, те, кто формирует и воплощает подлинное красноречие. Их эллинофильство на практике выступало как черта особого типа существования, который характеризовали свойства, здесь названные: *apparatus* — пышный и роскошный стиль жизни, обстановки, утвари, *elegantia* — утонченность, изысканность, оригинальность, *coria* — изобилие. Все вместе они образовывали *cultus vitae*, и все вместе оказывались внеположены

* «Об обязанностях», I, 8.

исконно римской системе ценностей, ибо последняя была ориентирована на воинские и гражданские доблести, нестяжательство, восприятие искусства лишь как средства прославления государства и служения ему, на собственно римскую традицию. При всей своей архаичности эта система ценностей была в эпоху Цицерона еще вполне живой, определяла если не универсальную практику существования, то как бы его нормативный фон и контрастировала с противоположной системой — системой *cultus**. Поэтому соотносенными с системой *cultus* оказываются не только друзья и собеседники Цицерона, но, как это ни покажется парадоксальным, и такой разоблаченный Цицероном негодяй, как Веррес. Он бесконечно алчен, преступая тем самым этические заповеди римского магистрата и цинически разрушая римскую традицию, но в его нравственный нигилизм входит составной частью столь же неподобающая римскому магистрату, столь же чуждая римской традиции фанатическая любовь к произведениям искусства. И поэтому те же Лукулл, Варрон, Цезарь, предстающие в диалогах Цицерона и в его письмах римско-греческими аристократами духа в жизни не могли избавиться от своеобразных накладных расходов на *cultus*. Безумства этих богачей — огромные сады, где они лично выкармливали стаи хищных рыб, неправдоподобно изысканные виллы, биры, не случайно вошедшие в историю под именем Лукулловых и т. д.** — выступали как особая форма культурного процесса, как демонстрация духовной сложности, необычной изысканности, от которых неотделимы были греческая образованность, способность воспринять красоту художественного слова или философского построения, но которые именно в силу этого отклонялись от укорененного в традиции, примитивного и живого народно-национального этоса, а потому несли с собой нечто противобожественное, замашки подгулявшего нумориша. Цицерон, человек глупый, гениально одаренный, самостоятельно прокладывавший свой путь в культуре, не принадлежал, в сущности, к этому типу в его жизненной реальности, но и не был изъят из стихии *cultus*, неизбежно окрашивавшей греко-римский культурный синтез у людей его времени и его круга. Отрывки из его писем, помещенные в настоящей книге, подтверждают сказанное. Эстетический мир Цицероновых диалогов тоже существовал, таким образом, лишь как часть идеализированной структуры, приподнятой над жизненными противоречиями и только за этот счет обретал — в человеческой пластике, греко-римской духовности и обаятельной простоте — свое собственное эстетическое качество.

В реальной жизни Рима последних десятилетий республики условность, искусственность и неполноценность *cultus* как эстетического принципа выявлялись главным образом через сопоставление его с иным принципом,

* См.: Быт в истории в античности М., 1988, с. 151 и след.

** Варрон. О сельском хозяйстве, III, 4, 17.

также представленным в римской действительности, также выступавшим в ней в своей непоследовательной, противоречивой форме и также сублимированным в эстетически преобразованном и гармонизированном виде в Цицероновой теории красноречия, — с принципом народности. Поскольку красноречие для Цицерона есть в основе своей часть практический деятельности по управлению государством*, то главное в нем — способность и умение убеждать. В Риме была, как уверяют древние поэты, богиня красноречия, и звали ее Свада, подобно тому как греческого ее аналога звали Пейто — оба имени производны от глаголов со значением «убеждать»**. И поэтому «достиг оратор или не достиг желаемого впечатления на слушателей — об этом можно судить сразу по согласию толпы и одобрению народа... Ибо только тот оратор велик, который кажется великим народу»***. Как бы ни были в реальной жизни люди, существующие в регистре *cultus*, отличны от народа, в конструируемом Цицероном мире должного они объединяются в идеализованно патриархальном целом — республики, традиции, Рима. Там, в этом мире, ценна и философия — но в идеале только та, которая «свободно выражает себя в публичной речи и высказывает мысли, не слишком отличные от тех, что приняты в общественном мнении народа»****. Утонченные ценители искусства слова судят здесь ораторов по тем же критериям, что толпа граждан, и «знатоки никогда не расходятся с народом во мнении о том, какой оратор хорош и какой нет»*****. В этом мире легионеры Лукулла не взбунтовались бы против своего полководца, раздраженные его снобизмом, его преданностью философии и философам, его основанным на *cultus* стилем жизни, как взбунтовались они в 68—67 годах в ходе Митридатовой войны, и патрицию Клавдию Пульхру не пришлось бы, чтобы привлечь симпатии римской толпы, переименовывать свое древнее имя по законам простонародно вульгарной фонетики и становиться Клодием, как начал он себя называть с 59 года.

Такого народа — народа как единой духовной субстанции, соединявшей в себе исконную традицию и культурное развитие, — в Риме никогда не существовало, а уж во время Цицерона меньше чем когда бы то ни было. На рубеже II и I веков римская армия стала профессиональной, и сокровища, добываемые ею в дальних походах, обогащали знать, обогащали казну, но разоряли крестьян, которые веками образовывали материальную

* «О нахождении материала», V: «Наука гражданского устройства слагается из отдельных разделов, обширных и многочисленных. Среди них есть один, особенно важный и пространный, — искусное красноречие, которое называют риторикой».

** «Брут...», 59.

*** Там же, 186.

**** «Парадоксы стоиков», предисл.

***** «Брут...», 185.

и моральную основу республики, а теперь не могли найти себе места в этом беспрдельно и безответственно обогащающемся мире, бросали землю и массами уходили в Рим, пополняя ряды паразитарного городского плебса. Они составили одну из опор движения Катилины, они были той социальной базой, на которую опирался Клодий, и лютую их неприязнь вызывала, в частности, рафинированная, гречески ориентированная культура богачей, тем более неотделимая от безвкусно выставляемой напоказ роскоши. Утонченные знатоки философии и риторики платили тем же. Для обозначения народа Цицерон пользуется несколькими словами. С одной стороны, народ — *populus*, носитель суверенитета, воплощение государственности и духовного потенциала Рима; с другой — *vulgus*, «чернь», или *vulgus atque turba*, «грубая и беспорядочная толпа». Во вкусы в области искусства и культуры в корне противоположны вкусам Цицерона, как явствует, например, из письма о сценических и цирковых представлениях во время Римских игр*. Толпа в восторге, Цицерону, «человеку цивилизованному», тошно — за великим народом квиритов, *populus*, все время ощущается толпа, орущая на цирковых играх, *vulgus atque turba*. В этих условиях двусмысленной становится и заповедь: добиваться одобрения народа — первая забота оратора. Такая забота называлась у римских мастеров красноречия «уловлением благорасположения» и значить могла самое разное — от демонстрации всеилия подлинно художественной речи до заискивания перед невежественной толпой.

Можно ли сказать поэтому, что учение Цицерона о народности речи как критерии ее качества — утопия и фикция? В том-то и дело, что нет, потому что между вулгарным языком повседневного уличного общения, способным «уловить благорасположение» толпы, и насыщенным глубоким ученым содержанием, риторически обработанным языком для знатоков разрыв не абсолютен. Они могут быть соединены и реально соединяются магическим кристаллом искусства. «Почувствовалась необходимость очистить язык и пережечь его на огне неизменных правил, а не следовать искаженным обычаям общего употребления»**, и подлинные художники слова, подлинные ораторы в состоянии удовлетворить этому требованию. Может показаться, что оно утопично, поскольку таких ораторов очень мало, всего несколько человек — в сущности, Гортензий, сам Цицерон да Юлий Цезарь, но раз эти несколько человек есть, то, значит, и само требование не утопия, а нечто иное: норма, эстетический идеал. Как всякий идеал, он отличен от непосредственной действительности, но в то же время укоренен в ней и в ней проявляется; он есть реальность, но реальность эстетически преображенная и потому возвышающаяся над реальностью эмпирической, хотя и обнаруживаемая в ней. «Цезарь... умеет

* «К близким», VII, 1.

** «Брут...», 258.

исправлять выражение обычное, но неправильное и искаженное, на выражение обычное же, но чистое и правильное. Когда же к этой отборной чистоте латинской речи, — без которой нет не только оратора, но и просто настоящего римлянина, — Цезарь присоединяет еще и ораторские украшения, то кажется, что этим он сообщает блеск хорошо нарисованной картине... Красноречие его блистательно и чуждо всяких хитроspлетений, в его голосе, движениях, облике есть что-то величественное и благородное»*.

Соотнесенность эстетической нормы с идеалом и в то же время принципиальная непопстотность ее в художественной — в данном случае ораторской — практике наглядно иллюстрируются позицией Цицерона в споре антикистов и азианистов, его учением о среднем стиле речи и произведениями, воплощающими это учение. Описанные выше процессы в жизни и культуре Рима: формирование несколько снобистской эстетики *cultus*, увлечение всем эллиниским, распространение риторики и связанных с ней представлений о самоценности ораторского искусства — привели к распространению двух контрастных и взаимосвязанных стилей красноречия. Один, рассчитанный на эмоциональное воздействие больше, чем на способность слушателей следовать логике доказательств, темпераментный, пышный и живописный, перегруженный риторическими фигурами, считался порождением греческой культуры в том ее варианте, что процветал в эллинистическую эпоху в полисах Малой Азии, и потому назывался азиатским, азийским, азианийским; в позднейшей традиции закрепилось последнее наименование. Другой, рассматривавшийся как противоположный, носил название аттического и предполагал четкую, сухую речь, настолько краткую, а в устах римских ораторов еще и перегруженную архаизмами, что восприятие ее требовало особых усилий и тренировки. Мы сейчас не можем вдаваться в сложный вопрос о том, в какой мере оба направления сохраняли следы своего греческого происхождения, а в какой стали явлениями собственно римской культуры и каков был их идеологический смысл в общественных условиях Рима конца республики**. Важно другое — что Цицерон почувствовал в обоих гипертрофию орнаментального начала, самолюбование оратора, отдавшегося соблазнам риторики (не существенно, какого именно из двух стилей) и забывшего о своей общественной ответственности и о прямом — прагматическом, политическом или судебном — смысле своего искусства, забывшего о чистой и правильной народной речи, «без которой нет не только оратора, но и просто настоящего римлянина». Об антикизме и азианизме Цицерон под-

* «Брут...», 261.

** См. об этом в классических работах: Norden E. *Die antike Kunstprosa: vom VI. Jahrhundert vor Christi bis in die Zeit der Renaissance*. Bde 1–2. Leipzig, 1898 (reprint — 1958); Wilamowitz-Moellendorf U. von. *Asianismus und Attizismus* (1900). — In: *Idem. Kleine Schriften*. Bd 3. Berlin, 1969.

робно говорит в «Ораторе» (§ 20—23) и в специально посвященном данной проблеме сочинении «О наилучшем виде ораторов». Только не нужно поддаваться могущему сложиться при знакомстве с ними впечатлению, будто, критикуя в первую очередь азианистов, Цицерон тем самым склоняется на сторону их противников — аттикистов*. Внимательное чтение, тем более в контексте всей риторической теории Цицерона, обнаруживает, что под аттическим красноречием он понимает не римский аттицизм своих современников, а речь старых афинских ораторов, прежде всего Демосфена. Оно «аттично» не в том смысле, что противоположно азианизму, а лишь в том, что представляет в наиболее чистом виде красноречие, расцветшее в городе своего рождения, ставшее вне искусственных противоположностей краткости и пышности, архаики и моды и именно в силу этого сохраняющее значение классической нормы на все времена, в том числе и для римлян. Такая, — употребим снова это слово как наиболее точное, — *приподнятая* над контрверсами времени ораторская речь, соединяющая в классическом синтезе греческий и римский культурный опыт, придающая художественную форму латинской народной языковой стихии, не порывая с ее живыми истоками, и представляется Цицерону *его* речью — живым единством судебно-политической практики и философски-эстетической нормы, единством, которое живет в устремлениях оратора, чтобы тут же снова ускользнуть и остаться недостижимым. Что бы там ни говорили рафинированные теоретики азианизма и аттицизма, «есть также расположенный между ними средний и как бы умеренный род речи, не обладающий ни изысканностью вторых, ни бурливостью первых, смежный с обоими, чуждый крайностей обоих, входящий в состав и того, и другого, а лучше сказать — ни того, ни другого; слог такого рода, как говорится, течет единым потоком, ничем не проявляясь, кроме легкости: разве что вплетет как в венок, несколько бутонов, приукрашивая речь скромным убранством слов и мыслей»**. Страницы, написанные этим стилем, — с художественной точки зрения лучшее, что оставила нам римская классика. Так написаны Первая катилинария или «В защиту Целия Руфа» самого Цицерона, так написаны самые сильные главы в целиком ориентированной на цicerонианский стилистический канон «Истории Рима от основания Города» Тита Ливия.

Эстетика Цицерона, как мы помним, во многом возникла из острого ощущения опасности, создаваемой формализацией красноречия, сведением его к совокупности приемов, к чистой риторике; соответственно содержание эстетической теории Цицерона, с которым мы до сих пор имели дело, состояло в обнаружении субстанций, долженствующих заполнить ритори-

* «...Уж лучше быть с теми, что отличаются крепким здоровьем, а таковы все аттики, нежели с такими нездорово пылнотельными, каких в избытке поставляет нам Азия» («О наилучшем виде ораторов», III).

** «Оратор», 21.

ческую форму, овладеть ею, подчинить ее себе и тем вернуть ей изначальный, подлинный смысл; в качестве таких субстанций выступали философия, эллинская культура, знание истории, права, политики римского государства, языка его народа — особый тип мышления и поведения, позволявший соединять греческое с латинским. В середине жизни Цицерон в отчетливой формулировке подвел итог своим размышлениям на эту тему — настолько отчетливой, что это оправдывает пространную выписку. «...Клеймите насмешкою и презрением всех этих господ, которые думают, что уроки так называемых нынешних риториков открыли им всю сущность ораторского искусства, но которым невдомек, какое имя они принимают и за какое дело берутся. Истинный оратор должен исследовать, переслушивать, перечитать, обсудить, разобрать, испробовать все, что встречается человеку в жизни, так как в ней вращается оратор и она служит ему материалом. Ибо красноречие — одно из высших проявлений нравственной силы человека; и хотя все проявления нравственной силы однородны и равноценны, но одни виды ее *превосходят другие по красоте и блеску*. Таково и красноречие: опираясь на знание предмета, оно выражает словами наш ум и волю *с такою силой, что напор его движет слушателей в любую сторону*. Но чем значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединять ее с честностью и высокой мудростью; а если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишенным этих достоинств, то не ораторами бы их сделали, а безумцам бы дали оружие»*.

Этот пассаж вводит в эстетическую теорию Цицерона еще одно понятие — понятие ключевое, с которым мы до сих пор не имели дела. Выражения, «*нему относящиеся*», в тексте нами подчеркнуты: речь идет о понятии красоты. Язык Цицерона вообще не терминологичен: он претендует обозначать одно понятие разными словами, даже не существительными, а прилагательными и наречиями, так что в результате переложения оказывается не абстракция, а чувственно воспринимаемая совокупность свойств. Такими свойствами образующими родовое понятие «красота» по-русски приходится обозначать словом «красота» являются «*свобода*» («красивая», «прекрасная» — по своему чувственно воспринимаемому образу), «*свобода*» («изобилие» — щедрое богатство возможностей и жизненных сил) и чаще другие — «*огласа*» («изукрашено», «расцвечено»; ставшее таковым в результате особой и целенаправленной деятельности по созданию красоты). Что сказано об этой красоте в приведенном тексте? Что она есть принадлежность, проявление и разновидность *quaedam de summis virtutibus*, «высшей нравственной силы», может быть, точнее: «высшей гражданской доблести». Что в ней, а не в наставлениях риториков, раскрывается «вся сущность ораторского искусства» (*omnis oratorum vis*). Что благодаря ей ум и воля оратора из внутренних его свойств становятся

* «Об ораторе», III, 55—56 (курсив мой. — Г. К.).

факторами общественной жизни и обретают способность «двигать слушателей в любую сторону» (*quoscumque inciberit, possit impellere*).

Мы видели также, что публичное красноречие всегда представлялось Цицерону результатом взаимодействия таланта и знаний, с одной стороны, и эстетизирующей их особой ораторской техники — с другой. Он и его современники называли эту технику *ars* — «искусство», «умение», «ремесло», и говорили о различных ее сторонах, формах, приемах, которые при соединении с природными данными оратора должны были привести к созданию шедевров ораторского искусства: *ars et ingenium* («искусство — и врожденный талант, способности»), *ars et res* («искусство — и суть дела, содержание» — правовое, политическое, государственное), *ars et assiduitas* («искусство — и усидчивость, упорство, прилежание»). Исходя из этого, Цицерон и посвятил первые две книги главного своего риторического труда различным сторонам *ars* и тем различным материям, которые ей надлежало облекать. Но чем дальше шла работа, тем, по-видимому, становилось очевиднее, что при таком соединении оба взаимодействующих начала остаются каждое самым собой, что взаимодействие их носит поэтому внешний характер, что это никак не препятствует практической подготовке ораторов и может вполне обеспечить им успех в суде, но не дает принципиального, философского решения вопроса о том, в чем заключена единая «сущность ораторского искусства» как самостоятельного эстетического модуса духовного бытия. Тогда-то в поисках ответа на этот вопрос и родилось впервые, кажется, понятие особой, рукотворной — «*ornate*» — красоты как некоторой самостоятельной целостной сущности, и третья книга «Об ораторе» оказалась в большой степени посвященной именно ей. «Итак, красота речи состоит прежде всего как бы в некой общей ее свежести и сочности; ее важность, ее нежность, ее ученость, ее благородство, ее пленительность, ее изящество, ее чувствительность, или страстность, если нужно, — все это относится не к отдельным ее частям, а ко всей ее целокупности»*. Тема эта в диалоге возникла, но развита не была — ей будут посвящены или с ней в какой-то степени связаны произведения 40-х годов. Но уже при ее возникновении здесь, в диалоге «Об ораторе», обозначились два навсегда связавшихся с ней мотива. Один — исторический. Внутренне многообразное единство философии, культуры, цивилизации, гражданского опыта, права, воплощенное в красноречии как силе одновременно нравственной, общественно действенной и лишь через все это обретающей эстетическое качество, не могло быть дано римскому обществу изначально и предполагало долгий и сложный путь развития; его надлежало описать и проанализировать — раскрыть, сказали бы мы сегодня, генезис Красоты как сущности красноречия. Другой мотив еще только-только угадывается в диалоге: Красота в изложенном выше смысле

* «Об ораторе», III, 96.

предполагает совершенство — «только представив себе предмет в совершенном виде, можно постичь его сущность и природу»*; но достижимо ли совершенство, а тем самым возможно ли вообще в реальной жизни подлинно прекрасное красноречие? По-видимому, все-таки да, раз «совершенство для человека — дело самое трудное, самое великое, требующее для своего достижения самой большой учености»**, но люди «самой большой учености» вокруг Цицерона тем не менее бесспорно были — достаточно назвать того же Теренция Варрона. Однако весьма возможно, что и нет, раз участники диалога признаются, что так никогда в жизни и не видывали ни одного подлинно прекрасного, совершенного оратора***. С новой настойчивостью, куда ни обратиться, возникал все тот же вопрос. что такое красота, искусством создаваемая и в искусстве воплощенная, что такое соответственно совершенное красноречие и совершенный оратор — жизненная реальность или над жизнью возвышающаяся идеальная норма? Или и то и другое?

Истории красноречия в Риме посвящен диалог 46 года «Брут, или О знаменитых ораторах». Его исходная проблема — одна из все тех же коренных проблем эстетики Цицерона, о которой только что шла речь: как соотносятся *ars* и *virtus* — искусство и гражданская доблесть, совершенство художественное и совершенство нравственное. Ответ на этот вопрос в общем виде дан в § 67—69 и состоит в том, что красноречие рождается там, где продиктованная доблестью, обращенная к народу речь облекается в формы искусства и начинает использовать фигуры, тропы, «отделку». Родина этих художественных форм — в Греции, но к ним самостоятельно шли и в Риме такие люди, как, например, Катон, так что можно говорить и о красноречии чисто римском по своему происхождению. Но «только что возникшее не может быть совершенным», и появлению подлинного красноречия, то есть красноречия как искусства, предшествовал в Риме длительный период его выработки, когда уже были речи, воздействовавшие на граждан, но еще не было «отделки». При беглом чтении создается впечатление, что этот период, деятели которого неизменно вызывают у Цицерона весьма критическое отношение, длился примерно до эпохи Гракхов (130—120-е гг.), когда появились такие прекрасные ораторы, как Красс или Антоний (участники диалога «Об ораторе»), и процесс слияния *virtus* и *ars* пришел к своему завершению. Тут, однако, Цицерон вводит новый критерий ораторского искусства, которому не удовлетворяют и великие мастера поколения Красса и Антония, так что движение красноречия к совершенству должно вроде бы продолжаться. Этим новым критерием является культура, образованность, «более глубокие познания в

* «Об ораторе», III, 85.

** Там же, 84.

*** Там же, 54.

философии, гражданском праве и истории»^{*} Из людей, сменивших на форуме Красса и Антония, этому новому критерию никто удовлетворить не в состоянии, и Цицерон продолжает писать уже об ораторах своего и последующего поколений с тем же осуждением, а подчас даже с пренебрежением и насмешкой: «большинство из них умели говорить, и только»^{**}. Когда один из участников диалога спрашивает его, где же все-таки этот подлинно совершенный оратор — он «уже появился или еще появится?». Цицерон от ответа уклоняется: «Не знаю», — ответил я»^{***}.

Этот обмен репликами — центр сочинения. Заявленный изначально как сухой справочник по истории красноречия в Риме, диалог на самом деле выстраивается по всем правилам сложной драматургии. Начинается с экспозиции и нарастания действия. Исконно римские добродетели, носящие патриотический, политический, гражданский характер, обогащаются под греческим влиянием *ars* — искусством и формой, становятся синтезом гражданственности и человечности, Рима и Греции — короче, воплощением живой красоты. Вся история римского красноречия есть движение к этому синтезу, в конце концов обретаемому. И тут — кульминация, обретенное красноречие — подлинное, но не совершенное. Для совершенства требуется еще мудрость, прежде всего философская. Этим вторичным синтезом — талант, искусство, гражданская нравственность, философия — если и владеют, то всего лишь три человека: Брут, которому диалог посвящен, Гортензий, хвалебным гимном которому сочинение открывается, а по сути дела, по-настоящему, — лишь сам Цицерон; темпераментное, риторически организованное перечисление качеств, делающих его единственно подлинным, совершенным римским оратором, содержится почти в конце диалога, в § 322. Почти в конце, но не в самом конце. В оставшиеся десять параграфов вмещается еще один поворот сюжета — решающий, тонально смыкающийся с темой пролога: переход от подлинного красноречия к высшему и совершенному осуществляется в этих троих ораторах не только потому, что они владеют философской мудростью (о Гортензии, например, это вряд ли можно сказать), но и потому, что их творчество и жизнь внутренне сращены с демократией в учреждениях и на форуме, с исторической субстанцией народа, с общенародным единством языка, то есть с делом республики — той республики, которая в пору написания диалога на глазах растворялась в протомонархической диктатуре Цезаря и готовилась уступить свое место принцинату. В момент, когда ораторское искусство достигает высшего совершенства, его почва и основа исчезают, а вместе с ними обреченным оказывается и оно само — порождение республики, от нее неотделимое, воплощающее ее дух и смысл. Гортензий

* «Брут...», 161

** Там же, 176

*** Там же, 162.

уже умер, Цицерон скорбит о республике и о том, что зажился, Брут обречен — Цицерон этого еще не знает, но знают все последующие поколения читателей.

Конец диалога утрачен. Несохранившийся текст, по всему судя, был невелик. Сюжет завершен: история римского красноречия кончается вместе со своей исторической основой, и столь трудно обретенное ею совершенство принадлежит уже не конкретной, эмпирической истории Рима, а ее наследию.

Новое время породило мысль о том, что дело искусства — отражать жизнь «как она есть», породило соответствующую этому постулату практику от фламандской живописи и пикарески до реалистического романа XIX века, породило эстетические теории, согласно которым «прекрасное — это жизнь». Эстетическое мировоззрение Цицерона принадлежит принципиально иному кругу представлений, иной эпохе в истории искусства и иной культуре. Оно принадлежит культуре и искусству, основу которых составляет понятие идеальной нормы, понятие ответственности жизни перед более высоким началом, острое чувство красоты, возникающей на той грани, где действительность и идеальная норма, оставаясь каждая сама собой, в то же время проникают друг в друга, создавая некоторую особую эстетическую реальность. Этот строй мыслей и чувств и, как его частный случай, та его модификация, что представлена эстетикой Цицерона, порождены античным миром и находят себе объяснение в нем, в его исторической структуре.

III

Центральная проблема античной культуры и жизни в целом — соотношение идеальной нормы гражданского общежития с реальной общественной практикой. Проблема эта была порождена объективным характером античного общества — общества еще достаточно архаичного и примитивного. Уровень развития его производительных сил не допускал создания сложных производственных и общественных систем крупного масштаба, порождал и регенерировал в качестве эталона малый автаркичный общественный организм, первоначально основывавшийся на более или менее натуральном хозяйстве, на иерархии и сотрудничестве социальных слоев, призванный смягчать гражданские противоречия и консолидировать коллектив для борьбы с природой и врагами. В Греции он назывался полисом, в Риме — гражданской общиной. Характерный для такого рода малых общественных организмов натурально-общинный уклад производства и жизни, локальный и человечески конкретный, с одной стороны, вступал в противоречие с неизбежным почти в каждом обществе поступательным развитием производительных сил и потому постоянно разрушался; с другой стороны, общий и в абсолютных оценках довольно низкий уровень развития этих сил, имманентный античности как раннему этапу человеческой истории, находил в таком

укладе наиболее адекватную себе форму, постоянно его укреплял и регенерировал. В результате создавалось положение, при котором исходное состояние автаркии, неразвитости общественных противоречий, преобладания центростремительных тенденций над центробежными приобретало характер мифа — погруженного в прошлое идеала, а общественная мораль — характер сознательно консервативный; развитие уже выступало как разложение консервативного мифа, разложение идеала, как нарушение консервативной патриархальной общественной морали, то есть как зло. Но объективная заданность и постоянная регенерация натурально-общинного уклада неуклонно возрождали веру в ретроспективный идеал-миф и в ценность консервативных моральных устоев, делали обязательным соблюдение старинных коллективистских норм теми самими людьми, которые своей же собственной производственной деятельностью, своим же участием в развитии общества эти нормы разрушали. Миф и идеал становились элементом жизни, практическим регулятором общественного поведения, но только для того, чтобы быть разрушенными и поруганными, вытолкнутыми из реальной действительности — и тут же вернуться в нее по-старому неизменными и заново возрожденными.

Немного конкретного исторического материала в пояснение и подтверждение сказанного. В римском мифе важную роль играли идеализация бедности и осуждение богатства. В государстве, ведшем непрерывные войны, накопившем неслыханные сокровища и ставившем общественное продвижение человека в прямую зависимость от его ценза, то есть от умения обогащаться, осуждение стяжательства должно было выглядеть противостественным вздором. Должно было, но, по-видимому, не выглядело. Высокий ценз был не только преимуществом, но и обязанностью взысканного судьбой человека больше отдавать государству — удачливые полководцы, сказочно обогатившиеся в походах, считали для себя обязательным вернуть общине значительную часть добычи, отстраивая город, сооружая водопроводы и т. д. Бесспорны, кроме того, неоднократно засвидетельствованные демонстративные отказы полководцев использовать военную добычу для личного обогащения* — бесребреничество могло, по-видимому, играть роль не только идеала, но в определенных случаях также и регулятора практического поведения — одно было неотделимо от другого. С того момента, как богатство Рима стало очевидным фактором государственной жизни и до самого конца республики периодически принимались законы, делавшие обязательным ограничение личных расходов**. Их повторяемость показывает, что они не исполнялись, но ведь что-то заставляло

* Плутарх. Катон Старший, 10; Эмилий Павел, 28; Авл Геллий. Аттические ночи, XV, 12 (о Гае Гракхе).

** Ср. Оппиев закон 215 года, Орхив — 182-го, Фанниев — 161-го, Дидиев — 143-го, Лицинийев — ок. 131-го, Эмилиев — ок. 115-го. Есть сведения об обсуждении законов этого типа и в 50-е годы I века.

их систематически принимать. Моралисты и историки прославляли героев Рима за бедность; в доказательство принято было говорить, что их земельный надел составлял семь югеров. На фоне имений, занимавших сотни, тысячи, а позже и десятки тысяч югеров, это выглядело не более чем назидательной басней; но при выводе колоний размер предоставляемых участков был ориентирован примерно на те же семь югеров*, то есть цифра эта была не выдуманной, не стилизацией, а отражала некоторую норму — и психологическую и реальную. Большинство речей Цицерона против Верреса не были произнесены, но составлялись-то они для того, чтобы убедить реальную аудиторию, то есть сказать нечто соответствующее ее, аудитории, убеждениям. Богатство Верреса фигурирует в них как одна из презумпций обвинения не только потому, что оно захвачено противозаконным путем, но и потому, что чрезмерное богатство вообще психологически и потенциально было неотделимо от антигражданственности. Не забудем, что накопление богатства впрок, в частности владение невозделываемой землей, отмечается в Риме постоянно, но юридически оно оставалось противозаконным, и такая земля в принципе могла быть конфискована**.

Точно так же обстояло дело и с другими сторонами римского мифа. Войны в Риме велись всегда и носили грабительский характер, договоры и право на жизнь, если противники сдались добровольно, сплошь и рядом не соблюдались — такие факты засвидетельствованы неоднократно и сомнений не вызывают. Да, но обряд фециалов существовал столетиями, равно как и обряды обязательного очищения граждан, участвовавших в военных действиях. Сципион Старший казнил трибунов, допустивших разграбление города, сдавшегося на милость победителя, и лишил добычи всю армию***; римский полководец, добившийся победы тем, что отравил колодцы в землях врага, до конца жизни был окружен общим презрением****; никто не стал покупать рабов, захваченных при взятии италийского города*****; а конечным итогом завоеваний явилась все-таки романизация провинций, от которой народы, их населявшие, действительно в конечном счете выиграли — прославлявший ее Элий Аристид не только воспевал миф римского мироустрояющего величия, но и описывал повседневный вполне эмпирический процесс*****. Про-

* 2000 колонистов, переселенных в 183 году в Мутину получили по 5 югеров, в Парме — по 8 югеров, в Пизавре в 184 году — по 6, в Грависках в 181 году — по 5. См.: Заборовский Я. Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. Львов, 1985, с. 97.

** Дигесты 41,2,11; 42,5,9,6. Ср.: Штаерман Е. М. Древний Рим: проблемы экономического развития. М., 1978, с. 68 и след.

**** Аппиан. Ливийская война, 15.

***** Флор, I,35,7. Речь идет о войне, которую вел в Азии консул Аквиллий против Аристоника в 129 году.

***** Согласно сообщению Тацита о взятии Кремоны в 69 году н. э. («История», III,34,2).

***** Элий Аристид. Римская речь, 59—60.

славляемую отчизну обкрадывали, но оставляемым на века итогом жизни римлянина был *cursus*, то есть сводка того, чего он достиг на службе тому же государству.

Описанный строй исторического бытия, самосознание, ему присущее, и искусство, его отразившее, целесообразно вслед за Гегелем называть классическим*. Под классическим в таком случае следует понимать тип общественной жизни и соответствующий ему тип культуры, при котором исторические противоречия — между развитием и традицией, личным интересом и общественной необходимостью, государственным целым и самостоятельностью его частей — пребывают длительное время в состоянии некоторой неразрешенности, а столкнувшиеся в них силы — в состоянии живого, неустойчивого, срывающегося, но в конечном счете сохраняющегося равновесия; тип жизни и культуры, при котором идеальная норма общественного бытия образует существенный компонент реальности, и практической, и духовной, но компонент, сохраняемый и разрушаемый одновременно. Классический принцип в отдельных своих проявлениях может реализоваться в самых разных сферах истории и культуры, но наиболее полным и адекватным его воплощением является греко-римская античность. Поколение мыслителей, художников и ученых Нового времени, от Винкельмана до Гегеля и от Шиллера до Торвальдсена, открывших в истории древности этот образ классической античности, его воссоздавших, описавших и прославивших, склонны были, однако, понимать классику лишь как гармонию. Ее противоречий, кровавадного стяжательства, грубой воинственности, ограниченности внутреннего мира античного человека они просто не видели. Положительная историческая наука последующих полутора столетий с лихвой компенсировала восторженность первооткрывателей и с рвением, доходившим иногда до сладострастия, обнажила все язвы античного мира, его архаичную грубость и противоречия. Но природа его от этого не изменилась, только слово «классический» из оценки стало термином, и на месте идеализированной гармонии мы увидели живое движение реальных полюсов — социально-экономических, политических, идейных динамических противоречий, увидели их равновесие — неустойчивое, но ведь, действительно, классическое по своей исторической природе. Описанная выше в своих общих чертах эстетическая система Цицерона есть порождение и выражение классического принципа античной культуры. Отсюда ее постоянная соотнесенность с идеалом, реальность и невоплотимость этого идеала в практике жизни и искусства и проникновение его в эту практику, неизбежные измены ему и неизбежные к нему возвращения. Неразрывность и неслиянность жизненной практики и идеальной нормы в классическом типе развития приводили, однако, к тому,

* См.: Гегель Г.-В.-Ф. Эстетика. Т. 2. М., 1969, с. 139 и след., особенно — с. 149.

что в реальном бытии культуры, в ее самосознании, суть проблемы смешалась. Само по себе присутствие идеальной нормы, связь с ней общественной морали и художественной практики были заданы объективно и сомнений, по крайней мере в принципе, не вызывали; трудности возникали там, где определялись конкретные формы поведения или мышления, способные как-то примирить верность норме и верность реальности, от этой нормы заведомо отличной. «Я знаю, какое государство основали наши предки, — говорил один римский сенатор, — и в каком государстве живем мы. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними условиями»*. Понять эстетику Цицерона — значит не только понять ее классический характер, общий у нашего автора со многими другими, но и то, как реализуется классический принцип у него, и только у него. До этого, однако, — несколько слов еще об одном существенном следствии, проистекающем из все тех же исходных начал античного мирозерцания.

Разнообразные стороны производственной, духовной, художественной жизни той или иной эпохи нередко обнаруживают единство, выражающееся в том, что в них всех находит себе отражение определенный образ действительности — смутный, символический, художественно многозначный, но тем не менее вполне узнаваемый и во всех этих проявлениях равный самому себе. Высказывалось мнение, что для средних веков таким образом являлась вертикаль, соединяющая темные низы действительности с верхними, торжественно лучезарными ее сферами и устремленная к ним — образ, лежащий в основе феодальной общественной иерархии, готической архитектуры и католической религиозности. Таким универсальным образом европейской цивилизации Нового времени Шпенглер, как известно, считал Фауста**, и фаустовскую подоснову нетрудно ощутить в другом суммарном образе той же эпохи, созданном Л. Мэмфордом в его известной книге «Техника и цивилизация» (1934) при описании «палеотехнической» эры. Можно считать подобные обобщения более или менее убедительными, но когда речь заходит об античности, сомневаться в существовании такого исходного, единого и обобщающего, пластического образа, в котором грек и римлянин воспринимали действительность, кажется, не приходится. В силу коренных особенностей античного общества, описанных выше, мир представлялся человеку состоящим из некоторой неподверженной влиянию времени, онтологически консервативной основы, отодвинутой в глубины прошлого или истинного бытия, и пестрой оболочки, постоянно сменяемой в беге времени, обусловленной сегодняшними вкусами и потребностями.

* Тацит. История, IV, 8.

** См.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1: Образ и действительность. М., 1923. Мысль о «фаустовской цивилизации» проходит через всю книгу. Для темы, нами здесь разбираемой, показательна, например, формулировка на с. 421.

Эта дихотомия отчетливо узнается не только в учении Платона о переходящих неистинных вещах и их вечных идеальных протобразах, эйдосах, но и в греческой философии в целом, всегда, в сущности, решавшей, как справедливо полагал Аристотель*, одну фундаментальную проблему — проблему единого и многого. В этом свете видели римляне свое государство — *Roma aeterna*, Вечный Рим, «меди нетленное», на который никто не смеет покуситься без риска «погибнуть под развалинами»**, а если время и вносит в него дополнения и изменения, то они либо искажают и портят вечный образ, не проникая в него по-настоящему, либо должны быть обнаружены в его же глубинах: основной формой законотворчества в Риме всегда являлась консервативная юридическая фикция, то есть изображение вводимого новшества в виде «завета предков». И на том же восприятии мира и жизни строилась в античности любая созидательно-производственная деятельность: сделать вещь значило в меру сил воспроизвести некоторый вечный идеальный эталон, существующий в относительно немногочисленных стандартных разновидностях, на который потом можно наложить снаружи в угоду моде и капризам вкуса любую аппликацию; полностью готовая постройка для римлянина тоже еще не была домом — она становилась домом, лишь когда этот остов, из века в век строившийся по единому конструктивному стандарту, дополнялся накладным оформлением, отражавшим конкретные требования заказчика, его личные эстетические вкусы.

Цицерон, с его упрямым стремлением вопреки всем очевидным переменам и событиям сохранить в качестве неизменной основы своего теоретического мировоззрения такие архаичнейшие представления, как Вечный Рим, его богоизбранность, его государство в виде «общего дела» (*res publica*) граждан, гражданскую ответственность, служащую исходным началом общественной морали и т. д., предстает перед историей как человек и мыслитель, органически связанный с этой стороной античного мировоззрения, этим образом, лежащим в основе античной традиции и культуры. Тот же исходный образ, однако, и еще с одной стороной творчества нашего героя.

Как показывает пример с изготовлением изделий или с облицовкой зданий, неизменная глубинная основа и изменчивая поверхность могли соотноситься в античном культурном сознании не только в философском плане, как единое и многое, но и в плане эстетическом — как содержание и форма. Внутреннее содержание любого явления, его исходная материя и первичный импульс до воплощения в форму и вне ее воспринимались как аморфная потенция, низменная и темная. Содержание выявляет свой реальный смысл, лишь проявившись в форме, и путь к познанию его

* Аристотель. *Метафизика*, I,3,983 б.

** Тацит. *История*, IV, 74.

лежит через чувственное восприятие этой формы — оно обозначалось в греческом языке глаголом *αἰσθάνομαι*, тем же, от которого происходят слова «эстетика» и «эстетический». Интуиция формы играет в культурном мироощущении античности огромную роль, другим эпохам неведомую. Для античного человека все выходило из сферы потенциального бытия в сферу бытия реального, становилось данностью лишь благодаря обретенной форме. Это выявляло ограниченность античной культуры, ибо всякое бытие в становлении, еще не отлившееся в законченную форму, всякое смутное полусознание и подсознание, всякая экспрессия, обнаружившая себя в виде фрагмента, эскиза, схваченной на лету живой, неотделанной мысли, для грека или римлянина классической поры были лишены коммуникативно-общественного, а следовательно, философского, этического и художественного смысла*. Но с той же интуицией формы связаны и величайшие открытия всемирно-исторического значения: отделение космоса от хаоса как акт рождения цивилизации и выделившегося из природы собственно человеческого начала, закон как принцип жизнеустройства, художественная организация изначально аморфной физической и словесной материи как необходимослагаемое общественной организации, идея энтелехии, пластический образ божества. Лессинг и Ницше проникли очень глубоко в суть античной культуры, построив общую ее характеристику на подобных ее проявлениях.

Учение Цицерона об *ingenium* — врожденном, внутреннем и невытоживаемом потенциале творческой энергии, и об *ars* — совокупности приемов, внешних действий, превращающих порождения *ingenium* из потенции в общественно значимую, а тем самым в подлинную и эстетическую реальность, растет из той же основы, отражает те же коренные свойства античного мироотношения. Он всю жизнь видел главный смысл своей деятельности в превращении таланта и чувств через их опосредование знаниями и мастерством в некоторую пластическую объективность. Это имело практический смысл, и потому Цицерон на протяжении всей жизни от «О нахождении материала» до «Топики» искал приемы, которые содействовали бы такому превращению, разбирал их, классифицировал, передавал другим свой опыт «пережигания» мыслей и чувств на огне искусства ради воздействия на аудиторию и достижения успеха. Но он же создал в «Бруте», который весь в ретроспекции и где заботы о грядущих успехах уже нет, историю римской словесной культуры, понятой как частное проявление общеантичного дела — обретения человеческим содержанием внятной согражданам эстетической формы.

* Ряд явлений античной эпохи — некоторые поздние произведения Платона, например, отдельные образцы эллинистической скульптуры, митраизм, эллинистические элементы определенных народных культов — отклоняются от этого правила, но не могут подорвать доверие к нему в целом. Принадлежность перечисленных явлений к классической античной культуре не очевидна и не бесспорна.

IV

Маркс однажды заметил, что понять явление — значит выйти за пределы определений, общих у него с другими, и найти в нем неповторимое и особенное*. Принадлежность к античной классике бесспорно составляла для Цицерона «определение, общее с другими», и вне этой общей характеристики исходные, фоновые свойства его мысли, его эстетического мировоззрения понять невозможно. Но главное в античной классике — воплощение ею определенного типа исторической жизни, разрешение (а не гармонизация или упразднение) в ней *реальных и весьма мучительных* жизненных противоречий — рода и полиса, автаркии и экспансии, традиции и обновления, и разрешение их лишь в конечном счете, в балансе исторического развития. Недаром величайшие умы Европы считали главным в античном наследии, наиболее полно и прекрасно отразившим суть классической древности, греческую трагедию. Цицерон — на редкость не трагическая натура. Он верил в практическую — политическую, государственную, правовую — разрешимость общественных противоречий, а если такой возможности не представлялось — в умение как-то извернуться, схитрить, примирить, так что целыми останутся и волки реальной политической выгоды и агнцы нравственного долга; если невозможно и это, остается одно — сделать переживание мучительной реальности во всей ее остроте предметом теоретической мысли и эстетического словесного изображения в их пластическом единстве. Он родоначальник интеллигентски-либеральной традиции Европы, его стихия — стихия просветленного и просветляющего слова. Поэтому он остается фигурой глубоко античной — соотносит жизнь с идеальной нормой, ощущает их связь и диалектику, верит в общественную ответственность как высший долг человека, который реализует себя в той мере, в какой его мысли и чувства обретают пластическую, общественно внятную форму. И поэтому же в его творчестве зарождается особый модус античной культуры, тот, что много столетий спустя назовут классицизмом, — в котором классический синтез сохраняется, но предполагает (пусть на первых порах чуть заметную, но явно ощущаемую) эстетическую идеализацию, модуляцию из трагической реальности в приподнятую над ней примиряющую сферу духа.

Модуляция эта осуществлялась в трех основных формах.

Политическое кредо Цицерона выражалось формулой «согласие словий» (*concordia ordinum*). Смысл ее состоял в объединении старой знати, сохранившей престиж и материальный статус, со всеми *boni* — «порядочными людьми», достаточно зажиточными, чтобы быть заинтересованными в сохранении сложившихся на протяжении столетий республиканских государственных и общественных форм. Союз этот должен был обеспечить

* См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 21.

лпор любому экстремизму, как «правому», то есть попыткам самой косной части аристократии пресечь любую возможность развития Римского государства в соответствии с нуждами общества, так и «левому», то есть поползновениям демагогов добиться личной власти и изменить государственный строй в интересах городского плебса, отчасти разоренных крестьян, но главным образом — в своих собственных. Тем самым воплощался в жизнь главный принцип античного политического мышления и культуры в целом — сохранение консервативной традиции как основы общественной морали, сохранение стабильности при обеспеченной возможности внедрения в жизнь демократическим путем тех новшеств и изменений, что диктовались интересами развития общины. У Цицерона были основания верить в эту программу: с ее помощью он выиграл дело Верреса, а главное, подлинным ее торжеством явилось его консульство, завершившееся разгромом заговора Катилины и действительно сплотившее все традиционные слои римского общества. Поэтому развернутая характеристика программы согласия сословий в речи «В защиту Публия Сестия» (56 г.) может еще рассматриваться как реальный — хотя и чуть прекраснотушный — политический документ. Но и разгром Катилины, и речь «В защиту Сестия», и некоторые другие речи этих лет, к ней примыкающие, были не более чем эпизодами, вкраплениями в трагически разрушавшуюся римскую действительность, на глазах превращавшую согласие сословий из политической программы в упование, заклинание и миф, а славословия этой программе — в идеализованный словесный образ, настолько противоречивший действительности, что даже огромный талант Цицерона не мог скрыть отчасти наивно-прекраснотушного, отчасти лицемерного характера этого образа.

Одна из самых патетических декламаций на тему согласия сословий содержится в речи Цицерона «В защиту Гая Рабирия». Спасительность предлагаемой программы обосновывается здесь талантливо, убедительно и ярко. Но только при этом речь идет о защите человека, совершившего одновременно два тягчайших преступления — убийство народного трибуна, по незыблемому древнему закону пользовавшегося сакральной неприкосновенностью, и убийство его к тому же в нарушение гарантии личной безопасности, данной государством, — *fides publica*; оправдывалось все это тем, будто Рабирий действовал во исполнение сенатского декрета о чрезвычайном положении. Обвинение Рабирия было явной и довольно гнусной политической интригой: со времени преступления прошло тридцать шесть лет, на протяжении которых никто о нем не вспоминал; ныне обвинение предъявил народный трибун Лабиен, действовавший по подсказке Цезаря, который в качестве назначенного судьи сначала вынес Рабирию обвинительный приговор, тем самым припугнув сенат, а потом сам же сумел спасти осужденного от исполнения приговора, чтобы, добившись успеха у популяров, в то же время не рассориться с сенатом окончательно. В этих условиях в стилистике и в самом содержании рассуждений Цицерона

о согласии сословий появлялось нечто предвещающее эстетику ложноклассических эпических поэм следующего века, нечто от «Фарсалии» Лукана или «Пунической войны» Силия Италика — возвышенный образ и художественное обобщение вместо реальных фактов, философское назидание вместо картины жизни. Расстояние между нормой культуры и общественной практикой росло с такой быстротой, что их синтез все меньше мог воплотиться в реальном публичном красноречии. В ближайшие годы Цицерону суждено было убедиться в этом окончательно.

Вызволив Цицерона из изгнания в 57 году, Помпей, действовавший в этом случае при поддержке других членов Первого триумvirата, Цезаря и Красса, приобрел над стареющим оратором почти неограниченную власть. Начинались те годы, которые в современных научных биографиях Цицерона освещаются в разделе, обычно озаглавленном «Годы унижения». Диктатура была чем-то глубоко противным его жизненным, этическим и политическим принципам — ему пришлось выступать в сенате с речью о положении в Египте (январь — февраль 56 г.), где фактически обосновывалось предоставление Помпею диктаторских полномочий. Вскоре пришлось произнести и речь о распределении земель в Кампании, независимый тон которой рассердил Цезаря; последовал нагоняй и в нескольких дальнейших речах Цицерону пришлось оправдываться. Весной 56 года состоялось свидание триумvиров в Луке, городке на севере Италии, где они преодолели свои распри и договорились о проведении единой политики; результатом явилось то, что уже не один Помпей, а все трое получили возможность использовать авторитет Цицерона для прикрытия своих политических махинаций и диктовать ему свою волю. В речи «О консульских провинциях», произнесенной в июне, он еще пытался совместить служение интересам Цезаря с защитой своих давних идей и принципов. В двух последующих — «В защиту Батиния» и «В защиту Габиния» (декабрь 54 г.) — об этом уже нечего было и думать. Подчиняясь диктату, он спасал от справедливого приговора в первом случае ничтожного прихлебателя Цезаря, во втором — разоблаченного негодяя и к тому же своего личного давнего врага. Это уже не была простая демонстрация виртуозного владения самоценным «искусным красноречием», речь шла о полном разрыве между историческими нормами полисной морали и государственно-политической практикой, о кризисе, другими словами, общественно-политического, нравственного и эстетического мирозерцания Цицерона. Риторика и «высокое красноречие», как выяснялось, принадлежали не двум разным эстетическим программам, а двум разным мирам. В 56 году следуют признания в письмах. «За мою палинодию мне немного стыдно. Но — «прощай прямота, истина, справедливость»*. «Невероятно,

* Словом «прощай» приходится передавать латинское *valeant*, упуская существенный оттенок смысла: путь цветут, пребывают в силе — уже противившись и расставившись со мной.

сколько подлого коварства в этих наших вождях — вернее, в людях, которые хотят играть роль вождей и даже могли бы ими стать, будь в них чуть духовной устойчивости»*. «Меня же, если я говорю о государственных делах то, что следует, считают безумцем; если то, что требуется, — рабом, а если молчу — то побежденным и пленником»**. Почти одновременно Цицерон готовит речь «О консульских провинциях». В конце ее — горделивое признание: «После того как я полностью посвятил себя государственной деятельности, я разошелся с Цезарем в убеждениях, хотя и сохранил с ним дружбу. <...> Я предпочел принять любой удар судьбы, подвергнуться насилию и несправедливости, лишь бы не отступить от священных для меня взглядов и не отклониться от своего пути»***. Как можно было сохранить верность «священным взглядам» и «не отклониться от своего пути», прощаясь в то же время с «прямотой, истиной и справедливостью», подчеркивать свою дружбу с Цезарем, удивляясь в то же время тому, «сколько подлого коварства в этих наших вождях»? Только путем полного разделения этих двух сфер. Цицерон продолжает быть *ἀνὴρ πολιτικός*, «мужем государственным»****, не оставляет практическую ораторскую деятельность, политическую и судебную, хотя она и дает ему все меньше удовлетворения и лавров. Но ущерб этот компенсируется все более энергичной и приносящей новый почет и уважение работой в другой области: в 54 году, одновременно с произнесением позорнейшей речи «В защиту Габиния», Цицерон принимается за диалог «О государстве», за книгу о республике римлян — не такой, какова она есть, а такой, какой должна бы быть.

С этого момента агония республики идет нарастая и углубляясь: на 52 год Помпей становится «консулом без коллеги», то есть фактически диктатором; в 49-м Цезарь возвращается из Галлии во главе огромной лично ему преданной армии и начинается гражданская война; 48 год — Фарсальская битва, установление личной диктатуры Цезаря. Республика как реальная политическая форма кончилась. Цицерон давно предвидел установившееся состояние: «Республики нет, нет никакого сената, никаких судов, не осталось никакого достоинства ни в одном из наших»*****. Это величайшая катастрофа, историческая, жизненная, личная: «Ничто не отвлекает моих мыслей — ни защита интересов друзей, ни заботы о делах республики. На форум невозможно выйти, на курию нет сил даже взглянуть. Я понял, что потерял все — плоды всех трудов, все дары судьбы»*****. Кто же виноват? «Вина не того, кто сосредоточил в своих руках всю

* «Письма к Аттику», IV, 5, 1—2.

** Там же, IV, 6, 2.

*** «О консульских провинциях», 40—41.

**** Термин, введенный Аристотелем для обозначения одного из наиболее кардинальных понятий греческой политической философии.

***** «Письма брату Квинту», III, 4.

***** «Письма к близким», IV, 6. Апрель 45 г.

власть (хотя именно этого-то и не должно было быть); все происшедшее произошло либо по стечению обстоятельств, либо по нашей собственной вине, так что жаловаться на случившееся нечего»*; «...состояние республики было таким, что ею по необходимости должен был управлять и о ней заботиться один человек»**. Республика кончилась потому, что перестала быть республикой, отошла от своего образа, изжила себя как общественная реальность. Что же делать? На первых порах ответа на этот вопрос нет — мрак безысходен, и «надежды не осталось никакой»***. Постепенно, однако, рождается новая система взглядов и реакций, по сути дела, новое мироотношение. Политическая реальность отчуждена, отступила от непосредственной жизни человека, не только материальной, но и духовной****. Гибель республики — катастрофа грандиозная, почти космическая, непреложная, но в этой своей гибели, перестав быть формой и стимулом политического действия, республика становится содержанием творчества — не былого публичного, форумного красноречия, а углубленного философского раздумья. Равновесие между ними, теоретически все еще признаваемое, по сути дела, нарушено окончательно. «В эти дни, когда я отчасти или даже совсем освободился от судебных зашит и сенаторских забот, решил я, дорогой мой Брут, послушаться твоих советов и вернуться к тем занятиям, которые всегда были близки моей душе, хоть и времени прошло много, и обстоятельства были неблагоприятны. А так как смысл и учение всех наук, которые указывают человеку верный путь в жизни, содержится в овладении тою мудростью, что у греков называется философией, то ее-то я и почел нужным изложить здесь на латинском языке»*****. Центр тяжести существования сместился в сферу *otium* — просвещенного досуга, занятого не отдыхом и ленью, а внутренним, сосредоточенным осмыслением исторического опыта и выражением результатов в слове и образе. Консулярный и государственный деятель становится мыслителем и интеллигентом.

Как всякий интеллигент, он никогда не забывает об общественной ответственности, о том, что слово должно быть дополнено делом, и пытается в конце концов выйти из сферы слова в сферу дела, шагнуть в огонь. После убийства Цезаря Цицерон возвращается из своего сельского уединения в Рим и погружается в борьбу за восстановление республики — руководит сенатом, дает поручения полководцам, спланирует сторонников и ведет интриги против «не наших». Но если соль потеряла силу, сделать ее соленою нельзя ничем; классическое единство духа и действия невозможно, кончилось. Для человека однажды понявшего, что «верный путь

* «Письма к близким», VII, 28.

** «О природе богов», I (IV), 7.

*** «Письма к близким», VII, 28.

**** См. «Письма к Аттику», XII, 21,5; XII, 28,2; XII, 38, 3—4; XII, 40,3.

***** «Тускуланские беседы», I, 1.

в жизни содержится в овладении той мудростью, что у греков называется философией», наследие Рима сохраняет всю свою ценность, но подлинный его образ живет уже не в битвах форума или сената, не в воинском лагере, он обретается в цветении духа, в объемлющей мысли и художественном слове.

Движение Цицерона от поисков разрешения жизненных противоречий в сфере практической политики к поискам их в сфере теоретической и духовной определилось, как мы видели, к середине 50-х годов, и первыми значительными вехами на этом пути были диалоги «Об ораторе» (55 г.) и «О государстве» (54—52 гг.). Сохранившийся текст последнего трактата заканчивается «Сном Сципиона» — странным небольшим сочинением, в котором знаменитый римский полководец эпохи II Пунической войны (218—201 гг.) Сципион Африканский Старший является во сне своему внуку по усыновлению Сципиону Африканскому Младшему и рассказывает ему об ожидающем его будущем, о строении вселенной и о связи между одним и другим, заключенной в том, что добродетель на земле вознаграждается переселением после смерти в горние пределы. Здесь завязываются те две линии, по которым будет в дальнейшем развиваться мысль Цицерона в своем движении к образно-эстетическому и теоретическому постижению действительности. Первая — линия поэзии, представление о мире как божественно организованном целом, доступном не столько рационально-аналитическому, сколько целостно-поэтическому познанию, вписывающему человека в космос и раскрывающему символический смысл его деятельности, его божественно предустановленную судьбу. Вторая — линия идеализации Рима и его людей, постепенная модуляция их из реально-жизненной и общественно-исторической тональности в тональность художественно-образную.

Как-то не принято замечать, что поэзия занимала очень большое место в жизни Цицерона на всем ее протяжении и что она весьма важна для понимания его мировоззрения, не только эстетического, но также философского и даже общественно-политического. Он автор двух поэм — о своем знаменитом земляке Гае Марии и поэмы в трех песнях «О моем консульстве». Отрывки обеих сохранились. В обеих речь идет о конкретных исторических людях и событиях, но вписаны они в грандиозный мир, движимый богами, который принадлежит одновременно и окружающей жизни и мифолого-поэтической трансценденции. Сейчас не так важно, что мир этот населен образами подчас гипертрофированными, напыщенными и не лучшего вкуса: Цицерон явно не был великим поэтом. Важнее другое — что рядом с реальной действительностью истории для Цицерона всегда стоял ее поэтический, преображенный облик, что порождало особый тип поэзии, не столько пережитой лирически и изнутри, сколько призванной создать расцвеченное, приподнятое над действительностью историческое повествование, которое станет одним из истоков позднейшей

классицистической эпопеи; важно, наконец, что отраженное здесь представление о мире имело как поэтические, так и философские истоки в их нераздельности. Одно из самых обширных поэтических произведений Цицерона — перевод поэмы «Феномены», созданной в III веке эллинистическим поэтом Аратом*. В поэтическом образе звездного неба, в легендах, связанных с происхождением и наименованиями светил как провозвестников перемен в погоде и в жизни объединены собственно поэтические мотивы, идущие от Гомера и Гесиода, и мотивы философские, восходящие главным образом к основоположнику стоицизма Зенону (у которого, кажется, Арат учился). Вся эта линия в творчестве Цицерона позволяет поместить в особый контекст его философские труды последних лет жизни, в которых значительную роль играет философия (в том числе и натурфилософия) стоицизма. Разочарование в практической деятельности, все больший интерес к действительности умопостигаемой проявились, в частности, в создании произведений, где возникает поэтико-философский образ мира, растворяющий события низменной реальности и возвращающий им значение лишь как символам и знамениям. Такие страницы есть в «Академических исследованиях», особенно много их в трактате «О дивинации»; образцом их может служить изложение стоической доктрины в диалоге «О природе богов» (45—44 гг.), приведенное в настоящем издании. Существующую у современных исследователей тенденцию обнаруживать в философских произведениях Цицерона последних лет главным образом актуальные намеки и политические смыслы не стоит переоценивать. К окружающей общественно-политической реальности Цицерон, гражданин Рима и человек античной культуры, был привязан всегда, но привязанность эта становилась иной, и рядом с действительностью хроникальной все отчетливее выдвигалась ему действительность философско-поэтическая.

Вторая линия, которая тоже начинается в трактате «О государстве» и в последующие годы становится все более явной, состояла, как было сказано, в постепенно углубляющейся переориентации также и политической, государственной мысли Цицерона от эмпирически реальной действительности к действительности идеальной. В самом диалоге исходный пункт формулируется еще во вполне реалистическом регистре: «Доблесть зиждется всецело на том, что она находит себе применение, а ее важнейшее применение — управление государством»**. Но уже в пределах первой

* «Феномены» пользовались в древности необычайной популярностью. Много их переводили и в Риме. В значительно более полном виде, чем у Цицерона, сохранился перевод, выполненный в начале I века н. э. внучатим племянником (по усыновлению) императора Августа Германиком Цезарем. Недавно появился новый его перевод на русский язык, выполненный Г. Дашевским. См.: Историко-астрономические исследования. 1988. М., 1988, с. 336—372.

** «О государстве», I, 2.

книги трактата выясняется, что управление государством может осуществляться в различных формах и что лучшие из них — смешанная, соединяющая элементы монархии, аристократии и демократии, и царская — в том виде, в каком они мыслятся собеседниками в диалоге, не воплощены практически ни в одном из известных государств и представляют собой скорее норму, чем действительность. Наиболее ясно это видно в трактовке темы, особенно важной для Цицерона тех лет, — темы «кормчего республики». Когда кризис римской республики обрисовался совершенно отчетливо, мысли многих обратились к идее единоличной власти, носитель которой мог бы, не принадлежа ни к одной из борющихся социально-политических сил, освободиться от их влияния, возвыситься над ними и выразить волю народа и государства в целом. Но в политической практике в роли таких носителей выступали Сулла и Лепид, Катилина и Цезарь, Помпей и Антоний, не думавшие ни о чем, кроме собственных честолюбивых интересов, и не знавшие — за исключением, пожалуй, Цезаря и Помпея — других способов разрешения политических и социальных противоречий, кроме террора. Цицерона же эта тенденция выводит к совсем иным горизонтам мысли. Главное — не в самодержавии как таковом, а в возвращении в государство «разума и справедливости, основанной на праве», и лишь в этом случае единоличный носитель и гарант их будет не тираном, а царем, воплотившим интересы всего народа, а потому, собственно, даже не царем, а «кормчим республики, который, может быть, спасет Рим»*. Примечательная особенность диалога «О государстве» состоит в том, что произведение это, выдержанное всецело в римских тонах, передающее беседу известных и вполне реальных деятелей римской истории**, с самого начала обращенное к практике государственного руководства***, а главное — призванное найти выход из конкретного, социально-политического кризиса римского государства, строится всецело на идеях греческой философии — на перипатетическом учении о трех формах правления, на представлении о том, что в практике любое государство

* «О государстве», I, 54—71. Вопрос о том, насколько «кормчий республики» воплощает положительную программу Цицерона и насколько он предвосхищает идею принципата, дебатировался в научной литературе бесконечно. Нам важна не данная сторона дела, а сама структура этого понятия, соединяющего в себе римские народные предания о добрых царях (в первую очередь, Сервии Туллии) с эллинистическими теориями доброй монархии и ставящего возникающий таким образом синтез в некоторую идеализирующую перспективу.

** «Я говорю перед людьми просвещенными, в походах и на родине вершившими важными делами государства» («О государстве», I, 38).

*** «Вот основа государственной мудрости, составляющей все содержание нашей беседы: видеть пути и повороты в делах государства, дабы, зная, куда приведет тот или иной из них, быть в состоянии задержать его ход и даже воспрепятствовать ему» (там же, II, 45).

отклоняется от своей исходной идеи — от самой идеи государства как воплощения общего блага, на представлении, отчетливо выраженном у Фукидида и Платона, Аристотеля и Полибия; на чисто греческом, как подчеркивает сам Цицерон*, различии царя и тирана. Возникающее соединение римского исторического опыта и греческой философской мысли сообщает диалогу совершенно особый колорит — описываемое в нем государство выступает, как у Платона, в виде проекции в жизнь философского идеала. В какой-то мере предшествующее и уж совершенно отчетливо все последующее творчество Цицерона двигалось по этому пути.

Итог жизни и деятельности Цицерона, выраженный в творчестве последнего периода, — постоянное сопоставление реальной действительности с действительностью эстетически возвышенной и нетленной. Рядом с реальным Римом деловых писем стоит Рим диалога «О государстве»; рядом с практическим судебным красноречием — красноречие нормативное, разбираемое в трактате «Оратор»; рядом с естественной народно-повседневной речью — художественная речь, которой посвящен «Брут»; рядом с довольно циничскими признаниями относительно собственного общественно-политического поведения — героизированная самооценка, выступающая повсюду в речах и письмах, но особенно концентрированно — в знаменитом письме Луцию Лукцеею от июня 56 года**, а также, насколько можно судить по фрагментам, в поэме «О моем консульстве»; рядом с современниками, обрисованными во многих письмах со всем реализмом, — их интеллектуализованные и как бы монументализованные образы: Лукулла или Гортензия — в диалогах, носящих их имена, Цезаря и Помпея — в письмах.

В письме Аттику от 12 марта 49 года почти физически ощутимо выступает переход традиционной республикански-римской аксиологии из сферы исторической реальности в сферу риторическую, героико-нормативную, в сферу *otium* и творчества. «Хотя я и отдыхаю только в то время, пока или пишу тебе, или читаю твои письма, тем не менее я и сам нуждаюсь в темах для писем, и с тобой, хорошо знаю, случается то же. Ведь то, что обычно пишут в спокойном настроении, по-дружески, исключается при нынешних обстоятельствах, а то, что относится к нынешним обстоятельствам, мы уже исчерпали. Тем не менее, чтобы не совсем поддаться заболеванию, я избрал для себя кое-какие, так сказать, *положения*, которые относятся и к *государственным делам* и к нынешним обстоятельствам, чтобы и отвлечься от сетований и упражняться в том самом, о чем идет речь... Упражняясь в этих рассуждениях и разбирая доводы за и против как по-гречески, так и по-латински, я несколько отвлекаюсь от огорчений и обсуждаю *нечто полезное для дела****».

* «О государстве», II, 47.

** «Письма к близким», V, 12 (см. наст. изд., с. 372—376).

*** «Письма к Аттику», IX, 4, 1 и 3 (курсив мой. — Г.К.)

Документы, где та же тема предстает в художественном опосредовании, — диалоги 44 года, то есть написанные за год до смерти «Катон Старший, или О старости» и «Лелий, или О дружбе». В обоих действие отнесено к середине II века — к эпохе, современников которой Цицерон еще застал и которая при воспоминании о ней среди ужасов и конвульсий гражданских войн казалась царством традиционных римских доблестей, спокойствия и достоинства (хотя отнюдь таковой и не была). В обоих выведены известные государственные деятели той эпохи — Сципион Эмилиан, Катон Старший, Лелий Младший; то были вполне реальные люди, знакомые знакомых Цицерона, и в то же время — великие тени, уже наполовину растворившиеся в традиции римской славы. Главное же — в обоих утверждались исторические ценности римской общественной морали: в Катоне — магистратский опыт, релевантность прошлого, связь с крестьянством и землей, в Сципионе — примат государственных интересов над личными, римской нравственной традиции над греческой интеллектуально-философской. Но утверждались-то они в том облике, в каком хотел их видеть Цицерон, а не в том, какой им был присущ в действительности! Катон, вопреки исторической правде, сближен со Сципионом: в нем соединены образ государственного деятеля, каким он и был, и образ уединенного мудреца на греческий лад, каким он никогда не был. В Сципионе чисто римское понимание государственного долга во всей его непреложности осложнено поздним «филантропическим» представлением о том, что гражданская доблесть есть чувство мягкое и человеческое. Так что же описывает Цицерон в предсмертных своих диалогах? В «Катоне» — веру в бессмертие души, которая, может быть, и представляет собой заблуждение, но «заблуждаюсь я охотно и не хочу, чтобы у меня отнимали мое заблуждение, услаждающее меня, пока я живу»*; в «Лелии» — «дружбу людей совершенных»**, не «пустое приятельство», а дружбу, «какой она должна быть»***. Он одним из первых представил историческую, пережитую жизнь в ее непосредственной достоверности, в ее компромиссах и нуждах и в то же время «какой она должна быть». Он не пытался ни утвердить из этих двух обликов «лучший», дабы отбросить «худший», ни навсегда разделить их, ни сплавить воедино. Он знал, что они нераздельны — и неслиянны.

Г. С. Кнабе

* «Катон Старший, или О старости», 85.

** «Лелий, или О дружбе», 99.

*** Там же, 16.

О НАХОЖДЕНИИ МАТЕРИАЛА

КНИГА ПЕРВАЯ

I. Часто подолгу размышлял я наедине с собой о том, добра ли более или зла принесло людям и государствам красноречие и глубокое изучение искусства слова. И в самом деле: когда задумаюсь о бедах, что терпит наша республика, и вспомню о несчастьях, что постигли самые цветущие города, везде вижу, что большею частию в бедах этих виновны люди речистые. Но когда, поверяя историей, восстанавливаю пред мысленным взором времена давно минувшие, вижу, как мудрость, а еще более — красноречие, основывают города, гасят войны, заключают длительные союзы и завязывают священную дружбу между народами. Так что по зрелом размышлении сам здравый смысл приводит меня к заключению, что мудрость без красноречия мало приносит пользы государству, но красноречие без мудрости зачастую бывает лишь пагубно и никогда не приносит пользы. Поэтому, если человек, забыв о мудрости и долге, отбросив и чувство чести и доблесть, станет заботиться лишь об изучении красноречия, такой гражданин не добьется ничего для себя, а для родины окажется вредоносным; если же вооружится он красноречьем для того, чтобы защищать интересы государства, а не чтобы на них нападать, тогда станет полезен и себе, и своим близким, и разумным начинаниям в своем отечестве, и заслужит любовь сограждан.

Если же захотим отыскать источник, из которого истекает то, что зовется красноречьем¹ — будем ли считать его плодом обучения, искусства, длительных упражнений или прирожденным даром, — увидим, что причиной его возникновения — самые благородные и честные дела и помыслы.

II. В самом деле, было время, когда люди бродили по

полям, словно звери, поддерживая свое существование лишь дикой и грубой пищей. Разум мало имел власти, все решала сила. Не было у людей никакого представления о долге ни перед богами, ни перед себе подобными; не ведали они законного брака и отцы не знали детей своих; и не ощущали люди всех выгод права и справедливости. Так, во тьме заблуждений и невежества слепая звериная алчность владела душами и находила себе удовлетворение лишь с помощью слуги самого опасного — телесной силы. Явился, однако, и в те времена муж великий и, должно быть, весьма мудрый, ибо понял, что разум человеческий способен на самые великие дела, если кто возьмется его просветить и развить учением. Этот-то человек собрал и поселил в одном месте людей, рассеянных прежде в полях или прятавшихся в глубине лесов, нашел им общее и полезное дело и, хотя на первых порах они с непривычки противились, в конце концов с помощью разумных увещаний смягчил он их нравы и внушил добрые чувства. Но мудрость его, думаю, не была лишена дара слова или скудна речью, ибо не смогла бы тогда произвести столь быстрый переворот, вырвать людей из-под власти привычек и приучить к образу жизни, отличному от прежнего. Ибо разве смогли бы люди после того, как уже возникли городские общины, научиться доверять друг другу, уважать законы, по своей воле подчиняться другим, и не только выносить тяжкие труды, но и жертвовать самой жизнью ради общего блага, если бы не внушил он все эти разумные начала с помощью красноречия? Да, без сомнения, лишь с помощью красноречия, глубокого и в то же время сладостного, смог он заставить силу добровольно склониться под иго закона и отдаться в руки тех, над кем она могла бы властвовать, так чтобы люди столь же добровольно отказались от установлений, освященных древностью и привычкой. Вот так-то и родилось красноречие, так развивалось оно на первых порах, чтобы потом принести немало пользы и в мирные времена и в военные и весьма славно послужить людям. Но на смену ему пришло пышное красноречие, основанное на одном лишь умении, которое хитро и ловко вытеснило доблесть; такое красноречие забыло о гражданском долге, и с тех пор ораторский талант, став на службу злокозненным вожделям, сеет смуту в государстве и приносит несчастья гражданам.

III. Так давайте же посмотрим, как красноречие из

источника всяческого блага превратилось в источник зла. Вернее всего, я думаю, что и с самого начала общественными делами не занимались, конечно, люди несведущие и лишенные дара слова, да и к частным тяжбам не обращались одни лишь значительные и одаренные; но впоследствии государственные дела стали достоянием подлинно великих мужей, а другие, всего лишь не лишенные таланта, обратились к судебным разбирательствам по мелким частным делам. В этих распрях они привыкли защищать ложь против правды, а сделавшись более речистыми, стали еще бесстыднее, так что первым людям государства пришлось вступаться за граждан и оборонять своих близких от подобных нагледов. И вскоре стало так: оратор, что пренебрег изучением мудрости, дабы предаться целиком одному красноречию, оказывался соперником тех великих мужей, иногда даже и побеждал их, и зачарованная толпа все чаще судила о нем так же, как он сам, — считала достойным править республикой.

Вот почему не приходится удивляться, что кормило государства оказалось в руках людей наглых и дерзких, и они не только погрузили корабль в пучину беззакония, но и обрекли республику на самые великие и страшные крушения. Такие их дела довели до того, что красноречие стало презируемым и ненавистным, и люди, одаренные от природы, спасаясь от смятения и гроз на форуме, укрылись под сень мирных занятий, как корабль укрывается в надежной гавани от бурь. Вот отчего, я думаю, так славны стали ученые занятия, которым лучшие люди все чаще посвящали свой досуг и отторгли от себя красноречие в такие времена, когда особенно важно было его сохранять и со рвением ему предаваться. Ибо чем более подло осверняла наглость и дерзость глупцов и обманщиков это благородное и праведное искусство к величайшему ущербу для родины, с тем большим упорством и страстью следовало противостоять им во имя спасения республики.

IV. Все это не ускользнуло от проницательности нашего великого Катона, ни от Лелия, ни от их ученика (позволю себе так назвать его, ибо это истина) Сципиона Африканского, ни от Гракхов², внуков Сципиона — то были люди, что прославились великой доблестью, влиянием на сограждан и красноречием, которое они посвятили защите республики и которое придавало их высоким достоинствам особый блеск. Как и они, верю я, что отнюдь не следует пренеб-

регать изучением красноречия, а из-за преступных деяний, что свершаются с его помощью в жизни общественной и частной, надлежит предаваться ему с величайшим усердием, дабы противостоять опасному превосходству дурных граждан, которые присвоили себе его к великому горю добропорядочных людей и к гибели всего и всех; тем более должно изучать красноречие, что оно есть главное орудие в общественных и частных делах, ибо одно лишь делает жизнь нашу безопасной, честной и славной, в нем обретаем мы радость и утеху. Разве не благодаря красноречию под водительством мудрости, к смиряющему страсти голосу которой всегда должны мы прислушиваться, процветает государство? Разве не приносят красноречие и мудрость тем, кто им предан, славу, почести, достоинство? Наконец, не ораторы ли, следующие мудрости, дарят своим друзьям покровительство самое надежное и самое могущественное? Вот мне и представляется, что человек, столь слабый и жалкий по сравнению с зверем, тем превосходит все живое, что ему даровано слово. Каким же великим должны мы признать того, кто возвышается над всеми другими людьми столько же, сколько человек возвышен над животными! Но коль скоро успехи в красноречии достигаются не только природным талантом или упражнениями, но и с помощью особого искусства, то, может быть, не бесполезно узнать, что говорят о нем те, кто оставил нам наставления в этом деле.

Но прежде чем толковать о наставлениях в ораторском искусстве, надлежит сказать о его родах, назначении, цели, предмете и разделении. Ибо после того, как все это станет ясным, легче и быстрее сможет каждый уловить суть искусства и понять, как оно развивалось.

V. Наука гражданского устройства слагается из отдельных разделов, обширных и многочисленных. Среди них есть один, особенно важный и пространный, — искусное красноречие, которое называют риторикой³. И никак не можем мы согласиться с теми, кто считает, будто она вовсе не относится к делу управления государством, ни с теми, кто полагает, что красноречие сводится к таланту ратора и его искусству. Суть красноречия, думаю, как раз в том, что оно есть часть науки о государственном управлении. Назначение его — убеждать, цель — построить речь, способную убедить. Разница между назначением и целью в следующем: назначение указывает, что должно быть достигнуто, цель

же наша — найти такие приемы, с помощью которых достигнем желаемого, подобно тому как мы говорим, что назначение врачевания — излечение больного, а цель — подобрать средства и действия, с помощью которых сможем его излечить. Вот почему я и говорю: давайте называть назначением оратора то, чего следует ему добиваться, а целью — самые убедительные для дела, за которое он взялся, приемы; их-то и надлежит отыскать.

Предмет искусства — все, что к искусству относится, а также и то, чем следует заняться, дабы этим искусством овладеть. Как предметом медицины признаем мы болезни и раны, ибо ими одними она и занимается, так и предметом риторики назовем все то, чем занимается талантливый и искусный оратор. Одни понимают предмет риторики более широко, другие — менее. Так, Горгий Леонтинский⁴, едва ли не самый древний из раторов, считал, что оратор — тот, кто может наилучшим образом говорить на любую тему. Но тогда предмет искусного красноречия становится необъятным и неизмеримым. Аристотель же, столь много потрудившийся для развития и украшения искусства слова, напротив того, делил красноречие на три вида, исходя из его назначения: торжественное, совещательное и судебное. Торжественное — для прославления или хулы кого-либо. Совещательное — для доказательств при разборе и обсуждении гражданских дел. Судебное же уместно в суде и содержит обвинение или защиту, ответ по делу или иск по нему. И, насколько хватает моего разума, полагаю я, что в этих-то трех областях и проявляется все искусство оратора и его талант.

ТОПИКА

I, 1. Когда мы приступили к предметам более обширным и более достойным тех книг, которых мы в краткое время издали немало¹, мы по твоему, Гай Требатий, желанию должны были отклониться от нашего пути.

Однажды ты был у меня в Тускуле, и когда каждый из нас для своих занятий разворачивал какие хотел книги, попалась тебе некая «Топика» Аристотеля, изложенная во

многих книгах. Привлеченный заглавием, ты стал настойчиво спрашивать мое о ней суждение. (2) Я объяснил, что в этих книгах содержится открытое Аристотелем учение о приискании доказательств, с помощью которого мы достигаем знания об этом, не плутая, но путем науки. Тогда с обыкновенной своей скромностью, но — как я легко мог заметить — с горячим желанием ты попросил меня преподавать все это тебе. Я же — отнюдь не для того, чтоб избежать труда, но думая о твоей пользе — убеждал тебя или прочитать самому, или от одного ученейшего ритора усвоить всю эту науку. Как я узнал от тебя, испробовал ты и то и другое. (3) Но от книг оттолкнула тебя их темнота, а великий ритор, полагаю, отвечал, что Аристотеля он не знает. Тем, что ритору не известен философ, с которым сами философы, кроме очень немногих, не знакомы, я, конечно, не удивлен. Но извинить это нельзя. Ведь Аристотель должен был их привлечь не только самими предметами, которые он открыл и о которых он говорит, но и невероятным своей речи богатством и сладостью.

Ты продолжал просить меня, стараясь, впрочем, не быть назойливым — я хорошо это видел — (4), и я не мог более не возвращать тебе этого долга, чтобы не оказаться неправым перед самим правоведом. Кроме того, ты часто и много писал мне и моим близким, и я опасался, что если буду и дальше медлить, то это покажется или неблагодарностью, или надменностью...

Но когда мы были вместе... — ты сам лучший свидетель тому, как я был тогда занят.

5. А после, когда я тебя оставил, я отправился в Грецию, и тогда ни Республике, ни друзьям не могли принести пользу мои труды, а мне не снискало чести мое пребывание на войне — чтоб вообще у меня не было такой возможности!

После, когда я приехал в Велию, увидел твой дом и твоих близких, стала меня тревожить эта задолженность, и тогда я не захотел пренебрегать даже молчаливым требованием об уплате. Не имея при себе книг, я восстановил все по памяти и, записав уже во время плавания по морю, послал тебе с дороги, чтобы мое прилежание к твоим просьбам напомнило тебе — хотя и не нуждаешься ты в напоминаниях — и о моих делах.

Но пора приступить к исполнению задуманного.

II, 6. Вся наука искусного ведения спора содержит две части: первая — приискание, вторая — суждение, и, как

мне представляется, Аристотель положил начало обеим. Если стоики разработали вторую часть и в науке, называемой ими *διαλεκτική*, с тщательностью исследовали пути суждения, то искусство приискания, которое называют *τοπική*³, в обиходе нужнейшее и по природе первейшее, было ими целиком оставлено в стороне. (7) Впрочем, в обеих частях есть великая польза, и мы предполагаем, если случится досуг, исследовать обе, но начнем мы с той, которая является первой.

Спрятанные вещи легко обнаружить, если место их указано и обозначено; подобно этому, когда мы хотим сыскать доказательства, мы должны знать их «места» (этим словом Аристотель назвал как бы хранилища, откуда извлекаются доказательства).

8. Итак, можно определить, что место есть хранилище доказательств, а доказательство есть рассуждение, которое вещь сомнительную делает достоверной.

Из тех мест, в которых заключены доказательства, одни связаны с тем, о чем ведется дело, другие же берутся со стороны. Доказательства, которые заключены в деле, бывают такие: или в целом, или в частях его, или в обозначении, или в том, что как-либо соотносится с вопросом. Сторонним же называется нечто отсутствующее и слишком далеко отстоящее.

9. К предмету рассуждения в целом иногда применяется определение, в котором разворачивается то, что в исследуемой вещи как бы свернуто. Вот образец такого доказательства: «Право гражданское есть справедливость, установленная среди сограждан для охраны имущества; знание этой справедливости полезно; следовательно, наука о гражданском праве полезна».

10. Иногда перечисление частей, которое применяют таким образом: «Если некто не стал свободным ни по цензовому списку, ни по судебному иску, ни по завещанию, то он не свободен; ничего этого нет; следовательно, он не свободен».

Еще применяют обозначение, то есть когда доказательство извлекается из смысла слов. Например, так: «Если закон предписывает оседлому гражданину брать поручителем за себя оседлого, значит, и состоятельному предписывает брать состоятельного; ибо, как утверждает Элий⁴, состоятельный (*locuples*) именуется оседлым (*assiduus*) оттого, что он «ассы дает» (*ab aere dando*)⁵».

III, 11. Доказательства извлекаются также из того, что как-либо соотносится с вопросом. Но этот род доказательств делится на множество частей, и мы называем их, во-первых, сопряжение, далее — то, что отыскивается в роде, далее — в виде, далее — в уподоблении, далее — в различии, далее — в противоположности, далее — в обстоятельствах присоединяемых, предшествующих, последующих и противоборствующих, далее — в причине, далее — в следствии, далее — в сравнении больших, а также меньших частей.

12. Сопряжение отыскивается в словах одного рода, а слова одного рода суть такие, которые происходят от одного корня, но всячески изменяются. Например: мудрый, мудро, мудрость. Сопряжение называется *συζυγία*, и получается из него такое доказательство: «Если выпас общий, значит, есть право пасти сообща».

13. Род предоставляет такое доказательство: «Поскольку все серебро отказано женщине, то наличные деньги, оставленные в доме, не могут не быть отказаны. Ведь пока вид сохраняет свое наименование, он отнюдь не отделяется от рода, а наличные деньги сохраняют название серебра; получается, что и они отказаны».

14. Вид рода (вид можно иногда называть ради ясности частью) употребляется таким образом: «Если муж отказал деньги Фабии так, как если б она была у него матерью семейства, то, если она под руку мужа не переходила, нет долга на наследнике; ибо «жена» — это род, а в нем два вида: первый — матери семейства, то есть те, которые под руку перешли; другой — те, которые только считаются женами; к этой части и принадлежала Фабия; следовательно, ей не отказано»⁶.

15. В уподоблении приискивается такое доказательство: «Если разрушится или станет непригодно здание, право пользования которым отказано, то наследник не обязан ни чинить его, ни восстанавливать, точно так, как и возмещать смерть раба, право пользования которым отказано».

16. В различии: «Если муж отказал жене все свои деньги, по этой причине еще не отказано то, что имеется в долговых обязательствах, — ибо важно различие, хранятся ли деньги в сокровищнице или в долговых расписках».

17. В противоположности: «Не должна женщина, которой муж отказал право пользования своим имуществом, оставив ей наполненные вином и маслом хранилища, думать, что

все это ей принадлежит, — ведь отказано ей право употребления, а не злоупотребления». Одно другому противоположно.

IV, 18. В присоединяемых обстоятельствах: «Если оставила завещание женщина, которая никогда не лишалась своего правового состояния, [...] следует давать владение по ее письменному распоряжению на основании преторского эдикта»⁷. К делу присоединяется то обстоятельство, что на основании эдикта владение дается по письменным распоряжениям рабов, изгнанников и малолетних⁸.

19. Теперь о доказательствах из предшествующего, последующего и противоборствующего.

Из предшествующего: «Если развод происходит по вине мужа, то, хотя расторгает брак жена, ничего мужу на детей не оставляется».

20. Из последующего: «Если жена была замужем за тем, на законное супружество с кем она не имела права, то, когда она расторгает брак, ничего мужу на детей не оставляется, поскольку дети за отцом следовать не смогут».

21. Из противоборствующего: «Если отец семейства отказал жене через завещание сыну право пользования служанками, а через следующего наследника не отказал, то со смертью сына женщина не теряет права пользования. То, что было кому-либо дано по завещанию, уже не может быть взято без добровольного согласия получателя, ибо получить по праву и против воли отдать представляют собой то, что противоборствует».

22. В действующей причине такое доказательство: «Каждому дано право к общественной стене пристроить под прямым углом стену или глухую, или с аркой. Если некто, взявшись разрушить общественную стену, обещал возместить возможные убытки, то он не будет должен платить, когда рухнет арка, — виноват не тот, кто разрушал, но виновато само строение, которое было сооружено так, что не смогло устоять без опоры».

23. Наконец, в следствиях: «Когда жена перешла под руку мужа, все ей принадлежавшее отходит к мужу под названием приданого».

Сравнение всегда действенно, если оно построено следующим образом.

Что имеет силу для большей вещи, пусть имеет силу и для меньшей. Например: «Если в городе не проводится межевание, то не должно проводиться и удержание воды»⁹.

И наоборот, что имеет силу для меньшего, имеет силу и для большего — здесь можно перевернуть тот же пример.

Далее. Что имеет силу для некоторой вещи, имеет силу и для вещи, ей равной. Например: «Если ручательство при покупке земли дается на два года, пусть то же будет и для дома. Дом не назван в законе и относится ко всем прочим вещам с годичным ручательством, но пусть возобладает справедливость, которая требует равного права в равных делах».

24. Доказательства, привлекаемые со стороны, выводятся прежде всего из авторитета, поэтому греки называют их *ἀτέχνους*, то есть безыскусными. Например, ты можешь дать такое разъяснение: «Публий Сцевола¹⁰ сказал, что «межевая полоса» дома есть та земля, над которой нависает крыша, выдвинутая ради укрытия стены. Поэтому, если с этой крыши будет стекать дождевая вода, это не кажется тебе правонарушением со стороны того, кто оберегал таким образом свой дом».

25. Итак, описанные здесь места дают, подобно азбуке, образцы и общий смысл для нахождения любого доказательства. Довольно ли этого? Для тебя при твоём уме и занятости — конечно. V. Но гостит у меня человек столь жадный до пиршества науки, что я скорее буду угощать его так, чтоб были остатки, чем потерплю, чтоб он ушел не насытившись.

26. Каждое из описанных мною мест имеет свои части, поэтому мы изложим их во всех тонкостях и прежде всего скажем об определении.

Определение есть речь, которая объясняет сущность того, что определяется. Но определения делятся на два главных рода: первый — определение существующих вещей, другой — мыслимых.

27. Существующим я называю то, что можно увидеть и потрогать: земельный участок, дом, стену, сток воды, рабов, скот, посуду, съестные припасы и прочее. (Иногда вы¹¹ должны давать определение таким вещам.) Опять же несуществующим я называю то, что нельзя ни потрогать, ни показать, но что можно помыслить и увидеть в уме. Так, если ты захочешь определить присвоение владения, опеку, родство, агнатские отношения, то у этих вещей нет тела, но есть некое очертание, запечатленное и оттиснутое в мысли, которое я называю понятием, а его очень часто приходится разъяснять в доказательствах через определение.

28. Далее, одни определения даются через расчленение, другие — через разделение. Через расчленение — когда данная вещь как бы рассекается на части. Например, если, определяя гражданское право, говорить, что его составляют законы, постановления сената, решения суда, утверждения правоведов, указы магистратов, обычаи, справедливость. Напротив, определение через разделение объемлет все виды, подчиненные тому роду, который определяется. Например, так: «Отчуждение есть дозволенная по гражданскому праву передача другому лицу вещи, подлежащей манципации»¹², через долговое обязательство или судебный иск».

VI. Есть и другие виды определения, но к цели этой книги они отношения не имеют. Мы должны только объяснить способы определения.

29. Старые авторы дают такое правило: возьми в предмете, который хочешь определить, нечто общее с другими вещами и двигайся далее до тех пор, пока не получится то, что нельзя отнести ни к чему другому. Например: «Наследство есть имущество» — это общее, ибо есть много видов имущества. Добавь последующее: «...которое после чьей-либо смерти к кому-то переходит» — это еще не определение, ибо завладеть имуществом покойного можно многими способами помимо наследства. Добавь одно слово: «по праву», — по-видимому, предмет уже отделен от общности и можно составить такое определение: «Наследство есть имущество, которое после чьей-либо смерти к кому-то переходит по праву». И все-таки этого недостаточно, добавь еще: «...кроме того, что отказано по завещанию или удержано во владении». Определение закончено. Или так: «Родственники суть те, кто имеет одинаковый номен». Недостаточно. «Кто происходит от свободных». И этого недостаточно. «У кого никто из предков не был рабом». Даже теперь чего-то не хватает. «Кто никогда не лишился своего правового состояния»¹³. Кажется, достаточно. Думаю, что понтифик Сцевола¹⁴ не мог бы ничего добавить к этому определению.

Это правило имеет силу для обоих родов определения, все равно, нужно ли определять существующее или мыслимое.

30. Мы уже показали, каков род расчленений, а каков разделений, но следует яснее сказать о различиях между ними.

В расчленении имеются как бы члены, подобно тому как у тела — голова, плечи, руки, бока, голени и прочее. VII. В разделении — виды, именуемые греками *εἶδη*. Наши, когда им случается об этом толковать, называют это *species* («зримость»), что и не плохо, но весьма неудобно в речи при изменении по падежам. Я не хотел бы говорить полатыни *specierum, speciebus* («зримостей», «зримостями»), а этими падежами приходится часто пользоваться, — другое дело *formarum, formis* («видов», «видами»). При том что значение обоих слов одинаково, я думаю, что не следует пренебрегать удобством для речи.

31. Род и вид определяют таким образом. Род есть понятие, распространяющееся на множество отличительных признаков. Вид есть понятие, отличительный признак которого может быть соотнесен с родом как с вершиной и источником. Понятием я называю то, что по-гречески будет иногда *ἐννοια*, иногда *πρόληψις*. Это — врожденное, предпосланное знание, требующее раскрытия. Итак, виды таковы, что род разделяется на них без остатка. Например, право делится на закон, обычай и справедливость.

Кто думает, что виды тождественны частям, тот вносит в науку путаницу и, обманутый определенным сходством, недостаточно отчетливо распознает то, что следует различать.

32. Кроме этого, ораторы и поэты часто — и не без приятности — дают определения через перенос слова со сходного понятия. Но я без необходимости не буду отступать от употребляемых вами образцов.

Впрочем, Аквилый¹⁵, мой друг и коллега, когда велась тяжба о берегах, которые вы хотите сделать полностью общественными, обыкновенно отвечал на вопросы заинтересованных в деле людей «Что есть берег?» таким определением: «То, где поток играет». Это то же самое, как если определять, что юность есть цвет возраста, а старость — закат жизни, используя при этом перенос и отступая от собственных наименований вещей.

Но достаточно о том, что касается определений. Рассмотрим оставшееся.

VIII, 33. Расчленение следует употреблять так, чтобы ни одна часть не была упущена. Например, если ты хочешь разбить на части опеку, то поступишь неумело, если забудешь хотя бы одну часть. Однако, расчленяя формулы иска или займов, ты не сделаешь ошибки, если из бесконечного

количества частей какую-нибудь пропустишь. А в разделении это, безусловно, ошибка. Ведь каждому роду подчинено определенное число видов — это разбиение на части может быть беспредельным, как ручьи, вытекающие из родника.

34. Поэтому в учебниках риторики, когда объясняют, что такое «вопрос», исчерпывающе указывают, сколько в этом роде содержится видов. А излагая правила об украшениях слов и мыслей (что называется *σχήματα*), этого не делают, ибо предмет бесконечен. Из этого можно понять различие, которое мы хотим установить между расчленением и разделением. Хотя очевидно, что слова эти имеют почти одинаковое значение, но поскольку вещи различны, то и названия расходятся.

35. Далее. Многое можно почерпнуть из обозначения, то есть когда доказательство улавливается из смысла имени, что греки называют *ἐτυμολογία*, буквально «истинословие». Мы, однако, избегая слова нового и довольно неуклюжего, называем этот род *notatio* («обозначение»), ибо слова суть *notae* («знаки») вещей, и Аристотель называл именем *σύμβολον* то, что по латыни есть *pota* («знак»). (Впрочем, когда понятно то, что обозначается, нет нужды трудиться над именами.)

36. Итак, в споре многое можно извлечь из обозначения. Например, когда спрашивается: «Что есть *postliminium* («возвращение из плена») ¹⁶?» Я не говорю, «что относится «к возвращению из плена»?» — поскольку этот вопрос попадает под деление, которое будет таково: «Из плена возвращается человек, корабль, выучный мул, конь, кобылица, к узде приученная». Но, когда спрашивается о самом смысле «возвращения из плена», приходится разъяснять и слово *postliminium*.

Наш Сервий ¹⁷, как мне кажется, не считает нужным придавать в нем значение чему-либо, кроме *post* («после»), а *liminium*, по его мнению, есть расширение слова, подобно тому как в *finitimus*, *legitimus*, *aeditimus* («соседний», «законный», «священственный») *timus* содержится не более, чем *tulium* в *meditulium* («середина»). (37) Напротив, Сцевола, сын Публия, думает, что это сложное слово, в котором есть и *post*, и *limen* — «граница» (получается, что когда нечто переходит к врагу и у нас отнимается, а «после» в прежние «границы» возвращается, — это и есть возвращение по праву — *postliminium*).

В этом роде можно защищать дело Манциния¹⁸: он «вернулся из плена», поскольку не был «сдавшимся в плен» (*deditum*); ведь он не был принят врагом, а сдача в плен (*deditio*), как и дарение (*donatio*), не имеет смысла без принятия.

IX, 38. Следующее место составляет то, что как-либо соотносится со спорным предметом. Как я уже говорил, оно разделяется на много частей.

Первое из этих мест — сопряжение (по-гречески *συζυγία*). Оно близко к обозначению, о котором только что было сказано. Например, положим, что дождевую воду мы понимали до сих пор как «воду, которая скапливается при дожде», но приходит Муций и заявляет, что в силу сопряжения слов «дождевая» и «дождь» надлежит удерживать всякую «воду, которая поднимается при дожде».

39. Далее. Когда доказательство извлекается из рода, не обязательно, чтобы он был самым высшим. Часто и ближайшего рода будет достаточно, лишь бы то, что взято для доказательства, было выше того, для доказательства чего оно взято. Так, для дождевой воды последним родом будет «...которая, с неба ниспадая, при дожде поднимается»; но собственным местом, где как бы содержится право на иск «об удержании воды», будет род «вода вредоносная». В этом роде два вида — вредоносная или вследствие изъёма местности, или — вследствие чьих-либо действий. В последнем случае позволено требовать удержания воды через арбитра, а в первом — не позволено.

40. Доказательство, извлекаемое из вида, бывает удобным и действенным, когда выявляешь части целого. Например: «Злокозненность — это одно делать, другое притворно показывать»; тут можешь ты перечислить случаи, когда это бывает; затем ты включаешь в их число то, о чем ты утверждаешь, что это злокозненность. Этот род доказательства следует считать одним из наиболее сильных.

X, 41. Следующее — уподобление. Оно широко распространено, однако скорее у ораторов и философов, чем у вас. Впрочем, все места могут быть использованы для доказательств в любом споре, но только в одних спорах они встречаются обильно, в других — редко. Но роды их тебе известны, а где ими пользоваться, тебе подскажет само дело.

42. Итак, бывает уподобление, которое получается из сопоставления множества вещей. Напримёр, так: «И опсун,

и компаньон, и тот, кому ты даешь поручение, и тот, кто получает залог, обязаны представить доверенность, поэтому и прокуратор обязан».

Уподобление, направляющее нас через множество к желаемому, называется *inductio* («наведение»), а по-гречески *ἐπαγωγή*. Им часто пользовался в своих беседах Сократ.

43. Другой род уподобления строится из сопоставления, при котором с одной вещью сравнивается другая, ей равная. Таким образом: «Если тяжба о межевании возникает в городе, то требовать арбитра для межевания тебе нельзя, ибо межи бывают на селе, а не в городе».

Или так: «Если убыток от дождевой воды был причинен в городе, то требовать арбитра для удержания дождевой воды тебе нельзя, ибо вообще такие дела относятся к сельской местности».

44. Уподобление также является тем местом, в котором находят примеры. Так, Красс¹⁹, защищая дело Курия, привел множество примеров, чтобы доказать, что наследники, назначенные по завещанию при условии, что сын, могущий родиться в течение десяти месяцев, умрет до перехода под опеку, получали наследство, — и упоминание этих примеров возымело действие. Так и вы имеете обыкновение пользоваться ими в своих разъяснениях.

45. Вымышленные примеры имеют тот же смысл, что уподобление, но принадлежат они скорее ораторам, чем вам, хотя и вы имеете обыкновение ими пользоваться. Например, так: «Представь, что некто передал в мандипий то, что в мандипий дано быть не может. Стала ли вещь принадлежать тому, кто ее принял? Или тот, кто дал вещь в мандипий, тем самым связал себя каким-то обязательством?»

Из принадлежащего к этому роду оставляем риторам и философам то, чего быть никак не может, но что говорят ради возвеличивания или умаления предмета (это называют *υπερβολή*), когда «даже молчание вещает» и «восстают из мира подземного мертвые» и прочее. Оставляем им и много иных чудес. Но поле для этих приемов шире, ведь, как я уже сказал, из одних мест могут быть выведены доказательства и для важнейших и для ничтожнейших вопросов.

XI, 46. За уподоблением следует различие, которому оно в высшей степени противоположно. Однако отыскивать несходство или подобие это одно и то же.

Вот что относится к этому роду: «Правомочно отдать долг самой женщине без ручательства ее опекуна; напротив, долг мальчику или девочке не может быть таким же образом возвращен».

47. Далее. Место, называемое «из противоположности». Есть много родов противоположности. Первый из них содержит то, что, относясь к одному роду, в наибольшей степени различается. Например, мудрость и глупость. К этому роду относятся высказывания, с которыми сталкивается что-то из противоположной области. Например, быстрота и медлительность (но не слабость). Из таких противоположностей получаются такие доказательства: «Если мы избегаем глупости, то стремимся к мудрости» (то же о добре и зле). Противоположные виды, взятые из одного рода, называются противными.

48. Есть и другие противоположности, которые да будет мне позволено назвать по-латыни *privantia* («лишающими»), а по-гречески они называются *στερητικά*. Действительно, приставка «не» лишает слова того значения, которое они имели бы без приставки: «честь» — «нечестие» (*dignitas* — *indignitas*); «человечность» — «нечеловечность» (*humanitas* — *inhumanitas*). Употребляются они так же, как и описанные выше, которые я назвал противными.

49. Есть и другие роды противоположностей. Например, когда устанавливается соотношение: двойной — одинарный, много — мало, длинное — короткое, большее — меньшее.

Еще есть сильные противоположности, которые именуются «отрицательными» (*negantia*), по-гречески *ἀποφατικά*. Противоположностью высказыванию «Если первое, то [...] второе» будет «Ложно, что если первое, то второе».

Нужны ли здесь примеры? Достаточно при отыскании доказательств понимать, что противоположность не всякой противоположности соответствует.

50. Пример доказательства из присоединяемых обстоятельств я уже привел раньше. Многое, что удобно для защиты, присоединится к делу, если установить, что на основании эдикта владение дается по письменным распоряжениям тех, кто не имеет право оставлять завещание. Но это место имеет значение более для дел с предположениями, когда расследуется, что есть, что произошло, что будет, что вообще быть может.

XII, 51. Вот образец этого места:...

Итак, это место дает правило, как 'расследовать, что

было до события, что после события, что из события произошло. «Все это относится не к праву, но к Цицерону!» — говорил обычно наш Галл²⁰, когда к нему обращались с тем, что требовало расследования самого деяния. Ты, однако, не допустишь, чтобы я пропустил какое-либо место в изложении этой науки, — чтобы не показалось, что, требуя писать лишь то, что важно для самого тебя, проявляешь ты непомерное себялюбие.

Итак, это место принадлежит большею частью риторам — и не только не правоведам, но и не философам.

52. До события — здесь мы расследуем такие вещи, как: приготовления, разговоры, место, званый пир. Вместе с событием: шум ног, крик людей, тени тел и тому подобное. И после события — некто краснеет, бледнеет, запинаясь — и другие знаки смятения и сознания вины, и еще: огонь погашенный, меч окровавленный и прочее, что может вызвать подозрения.

53. Далее идет место, принадлежащее собственно диалектикам: сопутствующее, предшествующее и противоборствующее, что весьма отлично от присоединяемого. Ведь те присоединенные обстоятельства, о которых я только что говорил, происходят не всегда, а сопутствующие — всегда. Сопутствующим я называю то, что с необходимостью сопутствует вещи. Таково и предшествующее и противоборствующее: то, что предшествует вещи, связано с ней необходимо, а то, что противоборствует, таково, что не может быть с ней связано никогда.

XIII. Итак, данное место делится на три части: сопутствующее, предшествующее, противоборствующее. Так что само место для нахождения доказательств одно, а способов употребления три.

Действительно, если принять, что «женщине должно получить наличные деньги, если ей отказано все серебро», то не будет разницы, построишь ли ты доказательство так: «Если наличные деньги — серебро, то они отказаны женщине; наличные деньги — серебро, следовательно, они отказаны». Или так: «Если наличные деньги не отказаны, значит, наличные деньги — не серебро, но наличные деньги — серебро, следовательно, они отказаны». Или так: «Нельзя, чтоб и серебро было отказано, и наличные деньги не были отказаны; серебро отказано, значит, отказаны и наличные деньги».

54. Такое строение доказательства, когда, приняв первое

высказывание, ты получаешь то, что с ним связано, диалектики называют первым способом умозаключения. Когда ты отрицаешь то, что связано, чтобы отрицать и то, с чем оно связано, это называют вторым способом умозаключения. Наконец, когда отрицаешь соединение высказываний и принимаешь одно или несколько из них, чтобы отрицать оставшееся, — это называют третьим способом умозаключения.

55. По третьему способу риторы строят заключения из противоположностей, называя их *ἐνθυμήματα*, однако не потому, что это наименование не может быть [собственным] обозначением всякого суждения. Так, у греков Гомер ради своего превосходства присваивает общее наименование «поэт» подобно этому, хотя всякое суждение может быть названо *ἐνθυμήμα*, но только то, которое складывается из противоположностей и является самым сильным, завладевает этим общим наименованием как собственным. Вот примеры этого рода:

«Этого страшиться — другого в страхе не держать!»;

«Осуждаешь ту, которую ни в чем не обвиняешь?! Знаешь, что она заслужила благодарность, — говоришь, что она заслужила наказание?!»;

«Твое знание — бесполезно, твое незнание — вредно!».

XIV, 56. Вообще, этот род рассуждений имеет применение и у вас в ваших спорных разъяснениях, но больше — у философов, — им вместе с ораторами и принадлежит это умозаключение из противоположностей, которое диалектики называют «третий способ», а риторы — *ἐνθυμήμα*.

Остались еще многочисленные способы, составляемые диалектиками из разъединения <высказываний>: «Или первое, или второе; первое, и, следовательно, не второе». И еще: «Или первое, или второе; не первое, и, следовательно, второе». Такие умозаключения действительны потому, что в разъединении не может быть истинным более одного <высказывания>. (57) Итак, из описанных выше умозаключений первое диалектики называют четвертым, а последнее — пятым способом. К ним добавляют отрицание соединения: «Ложно, что и первое, и второе; но первое, следовательно, не второе». Это шестой способ. Седьмой: «Ложно, что и первое, и второе; но не первое, следовательно, второе»²¹.

Из этих способов рождаются бесчисленные умозаключения, в которых — почти вся диалектика. Но даже те из них, которые я объяснил, избыточны для нашего изложения.

58. Ближайшее место — то, что воздействует, что мы называем причинами, а дальнейшее — то, что является следствием действующих причин. Немного раньше я привел среди прочих мест примеры как того, так и другого — конечно, из области гражданского права. Но эти два места простираются гораздо шире.

XV. Есть два рода причин. В первом — то, что своей силой действует с определенным результатом на то, что подлежит действию этой силы. Например: огонь воспламеняет. Во втором — то, что не имеет природной способности воздействовать, но без чего воздействия быть не может. Например: медь можно назвать причиной статуи, ибо статуя без нее не может быть сделана.

59. Из принадлежащих к этому роду причин (тех, без которых невозможно воздействие) одни покоятся, ничего не делают и в определенном смысле косны. Это место, время, материя, орудия и прочее того же рода. Другие создают какие-то предпосылки к осуществлению действия и несут в себе нечто, хотя и не необходимое, но споспешествующее. Например: встреча стала причиной любви, любовь — преступления.

К этому роду относятся причины, тяготеющие от века, из которых соткали стоики «судьбу».

Далее. Мы разделили на роды те причины, без которых невозможно воздействие, но таким же образом можно разделить и действующие причины. Одни причины действуют явно, не нуждаясь в поддержке со стороны. Другие поддержки требуют. Например, одной мудрости достаточно, чтобы сделаться мудрым, а достаточно ли одной мудрости, чтобы сделаться счастливым, это сомнительно.

60. Поэтому, когда в споре приходится столкнуться с причиной, действующей на что-либо с необходимостью, то можно без колебаний выводить заключение о том, что возникло под воздействием этой причины. XVI. Напротив, когда причина будет такой, что в ней необходимости воздействия нет, тогда и заключение с необходимостью вывести нельзя. Причины первого рода (те, которые обладают силой необходимого воздействия) почти никогда не приводят нас к заблуждению. Наоборот, те, без которых лишь невозможно воздействие, часто вызывают путаницу. Так, без родителей детей быть не может, но не следует отсюда, что у этих родителей есть необходимая причина родить.

61. Итак, следует тщательно различать «то, без чего не бывает», и «то, в силу чего непременно бывает» нечто. Вот пример первого:

Если бы в Пелионской роще секирами...

То есть, если бы тогда

Не пали срубленные наземь стволы еловые...²²

— то не был бы построен корабль «Арго». Однако в этих стволах не было необходимо действующей силы.

Напротив, когда в корабль Аякса²³ было брошено «кудрящееся Перуна пламя», корабль воспламенился по необходимости.

62. Еще различаются причины тем, что одни из них как бы делают свою работу, не побуждаемые ни души влечением, ни волей, ни мнением. Например: все, что возникло, умирает. Другие приводятся в движение или волей, или душевным смятением, или свойством, или природой, или искусством, или случаем.

Волей — это, например, когда ты читаешь эту книжку. Смятением — когда кто-то страшится исхода нынешних бедствий. Свойством — когда кто-то легко и быстро возгорается гневом. Природой — когда порок крепнет со временем. Искусством — когда кто-то хорошо рисует. Случаем — когда кто-то совершил благополучное плавание по морю.

Все это (и вообще все) имеет причину, но причины такого рода не являются необходимыми.

63. Далее. Причины вообще таковы, что в одних есть устойчивость, а в других нет. Устойчивы природа и искусство, а другие причины нет. XVII. Но среди неустойчивых причин одни — очевидные, другие — скрытые. Очевидны те, которые имеют отношение к душевным влечениям и суждениям. Скрыты те, действие которых принадлежит случаю. (Поскольку ничто без причины не происходит, то случай как раз и есть темная и действующая скрытно причина события.)

Далее. То, что происходит, осуществляется частью по незнанию, а частью по воле. По незнанию — когда действует необходимость. По воле — когда есть умысел.

64. Например: «Бросить копье — это действие воли, а попасть в кого хочешь — действие судьбы». (Отсюда у вас такое оружие для ведения судебных дел: «Что если копье выскользнуло из рук, а не было брошено?»)

К незнанию и безрассудству относятся и душевные смятения. Хотя в них присутствует действие воли (ведь бранью и уговорами их можно смирить), но свойственные им душевные движения таковы, что действие воли представляется иногда последствием необходимости и, во всяком случае, безрассудства.

65. Итак, место содержащее причины, изложено полностью. Знание различных видов причин предоставляет и ораторам, и философам в самых важных делах важные и сильные доказательства, а у вас это используется если не столь часто, то едва ли не более тонко. Ведь решения по делам частных лиц даже в наиважнейших случаях зависят, как я думаю, от мудрости правоведов. Именно они так много помогают на суде и советуют, а добросовестным патронам подают оружие, когда те прибегают к их мудрости. (66) Именно они должны приходить на помощь всегда, когда к судебному решению добавлены слова «по доброму доверию» или «как должно быть между добрыми людьми», а в особенности при разбирательстве споров о приданом, в которых «что справедливее, то лучше». Именно они научили нас, что есть злой умысел, а что — доброе доверие и справедливость, каковы взаимные обязательства компаньонов, а также тех, кто ведет чужие дела, и тех, чьи эти дела, также тех, кто дает поручение, и тех, кто поручение принимает, а также обязательства мужа перед женой и жены перед мужем.

Пусть места доказательств тщательно изучат не только ораторы и философы, но и правоведы, которые смогут с большей убедительностью обсуждать свои решения.

XVIII, 67. С причинами связано другое место, а именно — следствия причин. Это место открывает удивительные возможности для обильного красноречия ораторам, поэтам и тем философам, которые хотят говорить красиво и красноречиво. Но познав причины, мы знаем уже, что такое следствия.

68. Оставшееся место — это сравнение. Выше, вместе с другими местами, мы дали объяснение и примеры этого рода, сейчас следует показать способ употребления.

Сравнивается или большее, или меньшее, или равное. Причем принимается во внимание следующее: количество, форма, потенция, а также какое-либо отношение к другим вещам.

69. Сравнение по количеству таково: меньшим благам предпочтительны большие; большим бедам — меньшие;

кратким благам — более продолжительные; более узким — блага широко простирающиеся; также предпочтительны те блага, из которых могут проистечь блага еще большие, и те, которые большинство способно взять за образец и осуществить.

Сравнение по форме — это когда то, к чему следует стремиться ради него самого, противопоставляется тому, к чему следует стремиться ради иного; или врожденное и коренное — воспринятому и привнесенному; или целостное — составному, приятное — менее приятному, честное — даже полезному, легкое — трудному, необходимое — излишнему, свое — чужому, редкое — повсеместному, желанное — тому, без чего легко можно обойтись, заверщенное — начатому, целое — частям, произвольное — необходимому, одушевленное — неодушевленному, естественное — противоестественному, искусное — неискусному.

70. Потенция рассматривается в сравнении таким образом: действующая причина более весома, чем недействующая; то, что самодостаточно, лучше того, что нуждается в ином; то, что принадлежит нам, лучше того, что во власти другого; постоянное лучше непостоянного: то, что не может быть отнято, лучше того, что может быть отнято.

Отношение к другим вещам: благополучие первых граждан важнее, чем благополучие остальных; то же относится и к более приятному, к одобряемому большинством, к хвалимому лучшими людьми. Все это сравнительно лучшее, а противоположное этому — худшее.

71. В сравнении равного, напротив, нет превосходства или умаления — есть равенство. Действительно, многое сопоставимо в силу самого равенства, поэтому можно сделать такое умозаключение: «Если приносить пользу согражданам советом и делом в равной степени похвально, то в равной степени достойны славы и те, кто дает совет, и те, кто защищают отечество. Первое истинно, следовательно, истинно и то, что из него выводится».

Правила о приискании доказательств закончены. Если ты будешь опираться на определение, на расчленение, на обозначение, на сопряжение, на род, на вид, на уподобление, на различие, на противоположность, на дополнительные, предшествующие и противоборствующие обстоятельства, на причины и следствия, на сравнение большего, меньшего и равного, то тебе не придется искать каких-либо иных «хранилищ для доказательств».

XIX, 72. Но в самом начале мы разделили наш предмет, сказав, что одни места связаны со спорным делом (о них сказано достаточно), другие же берутся со стороны. Поэтому мы должны сказать немного и о сторонних местах. Хотя к вашим спорам они вообще не относятся, но мы должны полностью исчерпать предмет, за который взялись. Кроме того, и сам ты не таков, чтобы нравилось тебе лишь гражданское право, и я (ведь то, что я пишу для тебя, попадет и в другие руки) стараюсь прилагать усилия, чтобы быть как можно больше полезным всем, кому приятны достойные занятия.

73. Итак, доказательства, которые называются безыскусными, основаны на свидетельстве, а свидетельством мы здесь называем все, что извлекают из какого-либо постороннего предмета ради приобретения доверия. Но далеко не всякое лицо имеет нужный для свидетельства вес, поэтому, чтобы получить доверие, ищут авторитет.

Авторитет дается или природой или временем. Природный авторитет дается исключительно доблестью. Но и время содержит в себе много того, что приносит авторитет: талант, богатство, возраст, удачу, искусство, опыт, необходимость, а иногда и стечение случайностей.

Действительно, считается, что людям талантливым, богатым, испытанным летам и достойным можно верить. Быть может, это и неправильно, но трудно изменить мнение толпы, которому послушны и те, кто судят, и те, кто оценивает людей. Ведь кажется, что всякий, кто превосходит других тем, что я сейчас перечислил, превосходит всех и самой доблестью.

74. Однако и другие вещи, из только что перечисленных, те, в которых нет и видимости доблести, могут укрепить доверие.

Во-первых, искусство — ибо умение владеет великой силой убеждения. Или опыт — ибо людям опытным обычно верят.

XX. Источником доверия является даже необходимость, порождаемая или душой, или телом. Ведь когда говорят люди, истязаемые розгами, пытками или огнем, то считается, что говорит сама истина. То же относится и к душевным потрясениям: скорби, желанию, гневу, страху — все они имеют силу необходимости и поэтому дают авторитет и располагают к доверию.

75. К этому роду принадлежат и такие вещи, как детский

возраст, сон, безрассудство, опьянение, безумие, поскольку они обнаруживают иногда истину.

Дети часто дают показания, значение которых им непонятно. Часто сон, вино и безумие многое раскрывают. Немало и таких, кто попадаетея по своему безрассудству, как это случилось недавно со Стаиеном²⁴. Он говорил, а добрые люди его подслушали из-за стены, и когда речи его были разглашены и донесены суду, его приговорили к смертной казни. Что-то похожее мы знаем о лакедемонянине Павсании²⁵.

76. Стечение случайностей — это когда совершается, делается или говорится то, что должно бы быть скрыто. Сюда можно отнести и то множество уличающих в измене обстоятельств, которые навалились на Паламеда²⁶, — получается, что сама истина может быть иногда опровергнута такого рода свидетельствами!

К этому роду свидетельств относится и мнение толпы, поскольку это как бы свидетельство многих людей.

Далее. То, что вызывает доверие в силу доблести, разделяется на две части: первая создается природой, вторая — трудом. Природа возвеличивает доблесть богов, труд — людей.

77. Вообще божественные свидетельства таковы. Первое — это речь, то есть оракулы (*oracula*), которые названы так потому, что содержат в себе речь (*oratio*) богов. Затем вещи, в которых как бы присутствуют деяния богов. Это, во-первых, само мироздание со своим порядком и красотой. Во-вторых, в воздухе — полеты и пение птиц, в воздухе же — шум и пылание, на земле — многочисленные знамения, а также открытое людьми искусство гадания по внутренностям. Кроме того, спящие получают во сне много знаков <грядущего>.

Вот из этих мест получают иногда свидетельства богов ради приобретения доверия.

78. По отношению к человеку наиболее важно мнение о доблести, а мнение таково, что не столько тот имеет доблесть, кто имеет, а прежде всего тот, кто ее показывает.

Поэтому когда люди видят тех, кто посвятил себя дарованию, учению и науке, тех, чья жизнь умеренна, не-предосудительна и безупречна — таковы Катон, Лелий, Сципион и многие другие, — то считают, что их качества соответствуют мнению, которые они создают о себе. Так

думают не только о тех, кто занимает постоянно высокие государственные должности, но и об ораторах, философах, поэтах, историках, в речах и сочинениях которых часто находят нужный для утверждения доверия авторитет.

XXI, 79. Все места для доказательств изложены, и теперь важно усвоить следующее: нет спора, в котором не встретилось бы какое-нибудь место, но далеко не все места попадают в любом споре, поскольку одни из них приспособлены для одних вопросов, другие — для других.

Вопросы бывают двух родов. Одни — законченные, другие — незаконченные. Законченные называются по-гречески *ὑπόθεσις*, а по-нашему «речь» (*causa*). Незаконченные — это у них *θέσις*, что мы можем назвать «предложением» (*propositum*).

80. Речь отличается тем, что в ней точно определены лица, место, время, содержание иска, взаимоотношения в связи с делом (или все это, или большая часть). В предложении же — только кое-что из перечисленного, пусть и многое, но не самое важное. Итак, предложение — это часть законченной речи.

Далее. Всякий вопрос касается какой-либо вещи, определяющей содержание речи: или одной, или многих, а иногда всех. (81) Но вопросы о «всякой вещи» бывают двух родов. Первый касается знания, второй — действия.

82. Знания касаются вопросы, цель которых наука. Например, когда спрашивается: «Установлено ли право природой или человеческим соглашением и уложением?» Вопрос о действии будет, например, такой: «Станет ли мудрец заниматься государственными делами?»

Вопросы о знании разделяются на три части, то есть когда спрашивается: «есть ли нечто?», или «что есть нечто?», или «каково нечто?». Первый вид вопроса разъясняется через предположение, второй — через определение, третий — через разграничение права и противоправия.

Первый способ, предположение, разделяется на четыре части.

Первая — когда спрашивается «есть ли нечто?». Вторая — «откуда возникло?». Третья — «по какой причине произошло?». В четвертой части спрашивается об изменении вещи.

Вот пример вопроса «есть ли нечто?»: «Существуют ли честь и справедливость в действительности или только во мнении?»

Вопрос «откуда возникло?» будет такой: «Создается ли доблесть природой или же обучением?»

О действующей причине спрашивают, например, так: «Чем создается красноречие?»

И об изменении: «Может ли красноречие в силу каких-то изменений превратиться в бессловесность?»

XXII, 83. Далее. Когда спрашивается «что есть нечто?», следует излагать понятие, отличительное свойство, разделение, расчленение. Все это относится к определению. Но сюда добавляют еще описание, которое по-гречески называется *χαρκτήρα*.

Таков, например, вопрос о понятии: «Справедливо ли то, что полезно более могущественному?»

Вопрос об отличительном свойстве: «Поражает ли эта болезнь только людей или также и зверей?»

О разделении (как и о расчленении) такой вопрос: «Делится ли благо на три рода?»

Описание — это когда описывается чья-либо природа или образ жизни: «каков скупец, каков лстец» и прочее.

84. Когда спрашивается «каково нечто?», вопрос ставится или простой, или со сравнением. Простой вопрос: «Следует ли стремиться к славе?» И сравнительный: «Следует ли славу предпочесть богатству?»

Простых вопросов три рода: о том, к чему следует стремиться и чего избегать, о справедливости и несправедливости, о честном и постыдном. Сравнительных — два: первый «о чем-либо и об ином», второй «о большем и меньшем».

Вот вопросы о том, к чему стремиться и чего избегать: «Стремиться ли к славе? Избегать ли бедности?»

О справедливости и несправедливости: «Справедливо ли мстить всякому, кто нарушил твое право?»

О чести и стыде: «Честь ли умереть за отечество?»

85. Во втором роде, который состоит из двух частей, первая — это вопрос «о чем-либо и об ином». Например, когда спрашивается: «Чем отличается друг от лстеца, царь от тирана?» Вторая часть — вопрос «о большем и меньшем». Например, когда спрашивается: «Что больше — знание красноречия или гражданского права?»

О вопросах, касающихся знания, достаточно.

86. Остались вопросы, касающиеся действия. Их два рода. Первый — вопросы об обязанностях. Второй — о движениях души, которые или возникают, или стихают, или вовсе исчезают.

Вопрос об обязанностях: «Заводить ли детей?»

Вопрос о душевных движениях может содержать призывы к защите государства, к славе, к почестям. Сюда же относятся жалобы, подстрекательства, слезные мольбы и речи, обуздывающие гнев, изгоняющие страх, радость безудержную охлаждающие, страдание укрощающие.

Все указанные роды вопросов содержатся в предложениях, но применяются они и в законченных речах.

XXIII, 87. Наконец надо рассмотреть, какие места пригодны для каждого вопроса.

Как мы уже сказали, все места пригодны для большинства вопросов, но для некоторых некоторые места особенно удобны.

Для предположения чрезвычайно удобны доказательства, находящиеся в причинах, в следствиях, в присоединяемых обстоятельствах.

Для определения полезны правила науки определения. К этому роду близко и то, что, как мы сказали, называется вопросом «о чем-то и об ином», поскольку это разновидность определения. Поэтому, когда спрашивается: «Упрямство — то же ли это, что и упорство?», следует выносить суждение на основании определений. (88) Для вопроса такого рода будут удобны также места «из последующего, предшествующего и противоборствующего», к которым надо добавить причины и следствия. Действительно, предположим, что эта вещь за той следует, а за другой не следует, что та вещь этой предшествует, а другой не предшествует, что этой вещи та причина, а у другой — иная, что из этого проистекает одно, а из того — другое. Все это может пригодиться для вопроса «то же или иное?».

89. Третий род вопросов (когда спрашивается «каково нечто?») — это сравнение, и к нему относится все то, что немного раньше было перечислено в месте «сравнение».

Когда спрашивается, чего следует избегать, к чему стремиться, то нацеливаются на удобства и неудобства или душевные, или телесные, или внешние. Когда спрашивается о чести и стыде, речь должна быть направлена на душевное благо или зло.

90. Когда спрашивается о справедливости и несправедливости, следует обратиться к местам, имеющим отношение к справедливости. Их различают два: природа и установление. Справедливость по природе делится на две части: уделять каждому свое и право отщипения. Справедливость

по установлению — на три части. Первая — закон, вторая — приличия, третья — старинные обычаи. Еще говорят, что справедливость делится на три части так: одна — для богов, другая — для манов, третья — для людей. Первая — благочестие, вторая — почитание предков, третья — право и справедливость.

XXIV. О предложении — более чем достаточно. Скажем наконец и о речи, но немного, поскольку в речи немало общего с предложением.

91. Речи бывают трех родов: судебные, совещательные, хвалебные. Их цели сами по себе поясняют, какими местами следует пользоваться в каждом роде.

Цель суда — правосудие (отсюда и название), а части права были изложены в разделе о справедливости.

Цель совещания — польза, а части ее только что изложены (это то, к чему следует стремиться).

Цель хвалы — оказание почестей, о чем также было сказано раньше.

92. Далее. Вопросы, которым было дано определение, строятся на основе своих собственных мест.

Прежде всего правосудие разделяется на обвинение и защиту, которая сама делится на следующие роды.

Когда обвинитель кого-либо изобличает в содеянном, то защитник может противопоставить ему одно из трех: или «это не было содеяно», или «содеяно, но деяние должно быть определено иначе», или «содеяно по праву». Первое называется речью отрицающей, или предполагающей; второе — речью определяющей; третье — хотя слово несколько тяжеловесно — речью правоутвердительной.

XXV. Доказательства, присущие каждому виду речей, могут быть найдены в местах, нами уже изложенных, и о них говорится в учебниках по ораторскому искусству.

93. Так как опровержение обвинения, содержащее отрицание вины, называется по-гречески *στάσις*, то по-латыни мы можем назвать его «постановка» (*status*); это — исходная точка, на которой стоит защита, готовясь к ответному нападению. Такие же постановки бывают и в совещательных, и в хвалебных речах.

Действительно, когда кто-нибудь, подавая совет, утверждает, что произойдет нечто, нам часто приходится доказывать, что этого не будет или потому, что этого вообще не может быть, или потому, что может, но с большими трудностями. Это доводы, основанные на постановке, свя-

занной с предположением. (94) Когда же ведется спор о пользе, чести, справедливости и о том, что им противоположно, имеет место постановка, связанная с правом и наименованием, <определяющим дело>.

Все это относится и к хвалебным речам. Можно утверждать, что или не было содеяно то, что хвалят, или что оно обозначается иным наименованием, а не тем, каким пользуется хвалитель, или что оно вовсе не похвально, ибо содеяно не по правде и не по праву. Все это использовал — и слишком бесстыдно — Цезарь против моего «Катона»²⁷.

95. Следствием постановки является тяжба, которую греки называют *κρίσις*, а я решил (только потому, что пишу для одного тебя) назвать это «предмет разбирательства». То, на чем основан предмет разбирательства, пусть называется основанием. Это как бы опоры, лишившись которых, защита разрушится.

Далее. Для разрешения споров ничто не имеет значения большего, чем закон. Поэтому мы должны приложить все силы к тому, чтобы закон стал нашим помощником и свидетелем. Отсюда появляются новые виды постановок, которые называются «препирательством о законах».

96. Иногда защищаются тем, что, де, закон утверждает не то, чего хочет противная сторона, а это бывает, когда текст неясен и согласуется с двумя различными применениями. Иногда писаному тексту можно противопоставить волю писавшего, чтобы вести спор так: «Что значит больше, слова или замысел?». Иногда закону противопоставляют закон, ему противоречащий. Таковы три рода приемов, на основании которых можно оспорить любой текст, это двусмысленность, несовпадение текста и воли писавшего, противоречащий текст.

XXVI. Ясно, что такие же основания для ведения спора существуют не только по отношению к законам, но и по отношению к завещаниям, заемным договорам и другим делам, где иск опирается на писанный текст. В других книгах объясняется, как со всем этим обходиться.

97. Не только дело целиком, но и части речи получают подкрепление из все тех же мест, частью из специальных, частью из общих.

Например, зачин речи, когда надо сделать слушателей благожелательными, восприимчивыми и внимательными, строится на основе специальных мест. То же следует делать и в повествовании, чтобы оно, соответствуя своей цели,

было ясным, кратким, внятным, достоверным, сдержанным и не лишенным достоинства. Это должно присутствовать и во всей речи, но в особенности свойственно повествованию.

98. За повествование следует увещание, и здесь необходимы прежде всего места, предназначенные для убеждения (о них мы говорили в общих наставлениях об искусстве речи).

В заключении применяют различные места, но больше всего амплификацию. Она действует так, что душа или возбуждается, или успокаивается, а если она уже подверглась такому воздействию, тогда речь или сглаживает, или усиливает движение души. (99) Правила, касающиеся этого приема (здесь способы возбуждать и жалость, и гнев, и ненависть и зависть) изложены в других книгах, которые ты можешь вместе со мной прочитать, если захочешь. Но что касается того, о чем, как я мог понять, ты просил, то я уверен, что твое желание с избытком удовлетворено!

100. Ведь для того, чтобы не пропустить что-либо, хоть как-нибудь относящееся к правилам о поиске доказательств, я охватил гораздо больше, чем ты просил. Я поступил так, как обыкновенно делает нескаредный продавец. Когда он продает дом или землю, удержав за собой «все вырытое и срубленное», он оставляет для покупателя на месте то, что было уместно и ладно устроено ради украшения. Так и мне захотелось добавить кое-что к тому, что я должен был передать тебе во владение, — украшения, превышающие размер моего долга.

О НАИЛУЧШЕМ ВИДЕ ОРАТОРОВ

I. Полагают, будто красноречие делится на виды примерно так же, как делятся произведения поэтического искусства; это не так, ибо последние отличаются многообразием. В самом деле, трагедии, комедии, эпос, а также лирика и дифирамбы¹, привлекавшие такое внимание латинян, — все это область поэзии, но каждый из этих видов противоположен в своей особенности остальным. Потому и комическое в трагедии уродливо, и трагическое в комедии безобразно, да и в остальных жанрах у каждого свое зву-

чание, внятное разумеющим. Но если кто станет рассматривать многообразие, существующее среди ораторов, таким образом, что одних почтет говорящими величественно, торжественно и протяженно, других — остро, точно и кратко, а всех прочих — как бы занимающими середину между ними, то это скажет кое-что о людях, о деле же — нисколько. Ибо когда судим о деле, то говорим, что в нем можно признать наилучшим, о человеке же указываем, каков он есть. Поэтому и позволительно именовать Энния² величайшим эпическим поэтом, если кому так представляется, Пакувия³ — трагиком, пожалуй, что Цецилия⁴ — комиком, но когда речь заходит об ораторах, суть не в том, чтобы определить, в каком жанре каждый выступит, а в том, чтобы обнаружить меру совершенного. Образ совершенства единственен, и те, кто к нему не приближен, не по виду разнятся, как отличен Теренций⁵ от Аттия⁶, а не равны в совершенстве. Лучший оратор — тот, который речью своей и наставляет, и услаждает, и трогает сердца слушателей⁷. Наставлять — его долг, услаждать — искусство, которым снискивает себе почет, трогать сердца — необходимо для успеха. Пускай один превосходит здесь другого, все равно это будет различие не по виду красноречия, а по степени его совершенства. Совершенство же — единственно; то, что ему подобно, — к нему приближается, то, что с ним не сходно, — не годится.

II. Поскольку красноречие слагается из слов и речений⁸, то должно, говоря безукоризненно правильно на чистом латинском языке, следить, кроме того, за изысканностью слов, употребляемых как в собственном смысле, так и в переносном. Что до слов в собственном смысле, то надо выбирать самые подходящие, метафоры же нужны, чтобы, следуя сходству значений, с осторожностью пользоваться и несообразными словами. Разновидностей речений столько же, сколько достоинств у красноречия, мной выше перечисленных: наставления ради нужны речения едкие, услады для — меткие, а для пробуждения чувств — берущие за душу. Точно так же при сочетании слов необходимы ритмичность и плавность, ибо каждая преследует свою цель; речь получает строй и упорядоченность именно от того, насколько ритмичность и плавность придают ей доказательности⁹. Но как основу здания составляет фундамент, так в речи основа, соединяющая все перечисленное, — память¹⁰; свет же в наше здание внесет достойное поведение оратора

на суде¹¹. Тот, в ком всего перечисленного предостаточно — оратор искуснейший, в ком половина — посредственный, а в ком самая малость — негодный. И все при этом называются ораторами, как художниками зовутся даже бездарные, а различаются ораторы промеж себя не видами красноречия, а дарованием. Не оратор тот, кто не стремится стать подобным Демосфену, тогда как Менандр¹² уподобиться Гомеру не пожелал бы, ибо отличен от него по самому роду поэзии. У ораторов так быть не может, а если и случается, что один, стремясь потрясти души, бежит изящества выражений, другой, напротив, желает говорить скорее остро, нежели красно, то каждый из них может быть сносным в избранной им манере, но никак не почтется наилучшим, ибо наилучшее есть то, что достохвально во всех отношениях.

III. Право же, я сказал все это более кратко, чем требует суть дела, но для цели, которую себе сейчас ставим, больше и не надо было. Но уж раз мы договорились, что красноречие единственно, исследуем, каково оно есть.

Красноречие таково, каким оно процвело некогда в Афинах; и с той поры истоки силы аттического красноречия пребывают неизведанными, слава же ораторов аттических ведома всем — большинство считает, что у ораторов тех вообще не было несовершенств, меньшинство же — что было у них немало достохвального. Ведь в речениях дурно то, что бессмысленно или некстати, расплывчато или безвкусно. Слова же дурны, если они грубы, вульгарны, неуместны, резки или вычурны. Так вот, почти все аттические ораторы или те, что говорят на аттический лад, избежали перечисленных недостатков. И насколько кому из них удалось держаться этих правил, настолько речи их оказались ладно и без изъяна сложенными, как бывают сложены атлеты, что легко добиваются победы в гимнасии¹³, однако не смеют и подумать о борьбе за Олимпийский венок. А лучшие — те, что, не имея изъянов, не довольствуются хорошим сложением, но развивают силу мышц, выносливость в сочетании с приятным внешним обликом. Если это в наших силах, постараемся уподобиться им. Если же не удастся, то уж лучше быть с теми, что отличаются крепким здоровьем, а таковы все аттики, нежели с такими нездорово пышнотелыми, каких в избытке поставляет нам Азия¹⁴. Когда же достигнем сего — а удастся ли достичь, не известно, ибо задача эта претрудная, — тогда по возможности

уподобимся Лисию¹⁵ со столь свойственной ему незамысловатостью в речах. Ибо Лисий мог подчас говорить весьма возвышенно, но предпочитал выступать по частным искам или писать речи для других, нарочито ограничивая себя делами мелкими и повседневными, отчего и представляется суховатым, ибо сам же низвел свой талант до подобных ничтожных тяжб.

IV. Если человек говорит столь же посредственно, но не потому, что так хочет, а потому, что не может лучше, мы должны признать его оратором, но из самых заурядных, тогда как великий оратор говорит иногда так же, но лишь потому, что сообразуется с характером процесса. Демосфен, например, мог, если надо, говорить простецки, Лисий же не всегда, наверно, сумел бы придать своей речи подлинное величие. Те, что воображают, будто, несмотря на вооруженных воинов, заполнивших форум и все храмы окрест его¹⁶, речь в защиту Милона следовало произносить так, как если бы мы говорили о деле частном пред лицом единственного судьи, — такие люди оценивают чужое красноречие по своей мерке, а не по обстоятельствам дела. Есть ведь немало таких, что утверждают, будто именно они-то владеют аттическим красноречием, или таких, что уверяют, будто вообще никто у нас не говорит в аттическом стиле; первыми давайте пренебрежем, ибо всем известно, что эти ораторы либо вовсе непригодны для дела, либо своими речами вызывают смех поистине в духе аттиков¹⁷. Когда же они говорят, что люди, которые над ними смеются, не вправе судить об их аттицизме, то из этого видно лишь, что они вовсе и не ораторы; судить может каждый, у кого есть опыт, слух и здравый ум, подобно тому как человек с тонким вкусом, даже не умея писать картины, в состоянии верно их оценить. Те же, кому в способности к здоровому суждению отказано, не могут судить основательно об услышанном; их не волнует возвышенное, не волнует торжественное, мощную и красивую речь они презирают, им подавай что-либо тонкое да изящное; вот оно-то — то есть, по сути, одно лишь сухое и точное — и делает, дескать, красноречие аттическим; на самом же деле в подлинном аттическом роде точность прекрасно сочетается с полнотой речи, с велеречием, с широким и свободным ее течением. Но скажите — к чему же нам все-таки стремиться в нашей речи: говорить ли всего лишь сносно или стараться вызвать восхищение? Ибо на сей раз мы доискиваемся не того, что

есть аттическое красноречие, а того, какое признать наилучшим. Сообразуясь с этой целью, можно заключить: поскольку самыми выдающимися из греческих ораторов были афиняне, а первым из них, бесспорно, Демосфен, постольку, кто ему уподобится, тот и будет говорить и по-аттически и наилучшим образом. А коли аттические ораторы представляются нам образцом, то хорошо говорить — это и значит говорить в аттическом роде.

V. Однако, поскольку труднее всего понять, в чем именно состоит этот род красноречия, я и решил предпринять труд, мне самому ненужный, но для тех, кто изучает ораторское искусство, небесполезный. Вот я и перевел самые знаменитые, весьма различные между собой речи двух достигших вершин красноречия аттических ораторов, Эсхина и Демосфена. Перевел я их не как толмач, а как оратор, используя речения и формы их так, как если бы это были слова и фигуры, свойственные привычной нам манере изъясняться. При этом я не счел нужным переводить слово в слово, но сохранил характер речи и ее выразительность. Ибо рассудил, что читателю интересны не слова сами по себе, а их сила и впечатление, ими производимое. Труд мой имеет целью показать всем нашим, чего следует требовать от ораторов, желающих прослыть аттическими, и каким образцам надо бы им следовать.

Коли так, скажут нам, лучше начать с Фукидида¹⁸, ведь есть немало людей, которые восхищаются его красноречием. Это, конечно, верно. Но Фукидид не тот оратор, о котором ведем речь. Ибо одно дело — живописать прошлые события и совсем другое — доказать вину или рассеять навет; одно дело — увлекать слушателей рассказом и совсем другое — трогать сердца. Говорит-то Фукидид превосходно. Но ведь и Платон¹⁹ не хуже. Мы же ищем оратора, который речами своими разрешает судебные тяжбы и при этом поучает, улаживает и волнует сердца.

VI. Поэтому если кто-либо захочет вести речь при разбирательстве на форуме на Фукидидов лад, от того отвернется с пренебрежением каждый, кто хоть сколько-нибудь опытен в делах судебных и общественных; а вот коли произнесет похвальное слово Фукидиду, тогда и мы с ним согласимся. В «Федре»²⁰ устами Сократа сам божественный Платон с восхищением прославляет, например, Исократа²¹, почти своего современника; великим оратором считают его также и все сведущие мужи; я же и его в число подлинных

мастеров красноречия не включу. Ибо он не бросается в бой с мечом в руке, а как бы упражняется в гладиаторской школе с палкою вместо меча. И если уж продолжать сравнивать великое с малым, то я вывел бы на арену бойца самого блистательного. Подобно Эзернину у Луцилия²² Эсхин

...Не заурядный боец, но опытный, крепкий

Здесь с Пацидейаном схватился, что мощью своей превосходит
Всех доселе рожденных...

ибо действительно нельзя себе помыслить никого более великого, чем божественный соперник Эсхина.

На эти наши доказательства возражают двояко. Первое возражение такое: так или иначе, по-гречески все получается лучше, так стоит ли допытываться, что может звучать лучше по латыни? Другое: зачем мне читать перевод, когда я могу прочесть по-гречески? Однако те, кто нам возражают, сами читают «Андрианку» и «Синэфебов», читают Теренция или Цецилия не меньше, чем Менандра. Тогда уж не брать бы в руки ни латинскую «Андромаху», «Антиопу» по-латыни или «Эпигонов»²³, а то они ведь предпочитают Энния, Пакувия и Аттия Еврипиду или Софоклу²⁴. Так почему же то, что кажется им допустимым в стихах, столь неприятно им в переводах речей?

VII. Однако вернемся к основному предмету и расскажем для начала, что за дело предстояло рассмотреть суду.

В то время у афинян существовал закон: «да не выступит никто перед народом с предложением наградить венком магистрата, прежде чем тот отчитается в своей деятельности»; и другой закон: «тому, кто награждается народом, венок вручается в собрании народа, а тому, кто сенатом — в собрании сената»²⁵. Случилось же так, что Демосфен был ответственным за состояние городских стен и восстановил их на собственные средства. И тогда Ктесифонт выступил с предложением (хотя Демосфен никакого отчета не представил) наградить его золотым венком и венок вручить при стечении народа в театре — хоть по закону собирать сходки в таком месте не полагалось; причем возгласить собирались так: «Награждается за доблесть, проявленную по отношению к народу афинскому, и за благодеяние, ему оказанное». Тогда Ктесифонта привлек к суду Эсхин, так как тот нарушил законы, ведь венок магистрата он предлагал вручить до получения отчета, и притом в театре, да к тому же о

доблести Демосфеновой и благодеяниях его Ктесифонт якобы солгал, ибо Демосфен доблестью не отличается и заслуг перед общиной за ним не числится. Дело это, конечно, очень далеко от наших обыкновений, однако оно весьма важно. Ибо тут мы видим, как тонко толкуются законы обеими сторонами и обсуждается с противоположных точек зрения столь важный вопрос: суть заслуг перед государством. Эсхин же начал дело потому, что ранее сам был обвинен Демосфеном в уголовном преступлении: будто бы, участвуя в посольстве, изменил он долгу. Так что процесс, в сущности, возник из стремления Эсхина отомстить недругу. И хотя поводом для разбирательства было предложение Ктесифонта, приговор предстояло вынести деяниям и славе Демосфена²⁶. Вот почему Эсхин лишь бегло упомянул о непредставленном отчете, а говорил больше о том, что бесчестного якобы гражданина восхваляют словно наилучшего.

Эсхин выступил с обвинением против Ктесифонта за четыре года до смерти Филиппа Македонского, суд же состоялся через несколько лет после его смерти, когда Александр стал уже властителем Азии²⁷. Так что народ, как говорят, сбежался на этот суд со всей Греции. И вправду стоило поглядеть и послушать, как столкнутся в деле столь серьезном два величайших оратора, как прозвучат их речи, тщательно разработанные и одушевленные взаимной ненавистью.

Если, как надеюсь, мне удалось передать обе речи, сохранив все их красоты — обороты, фигуры, ход мысли и даже слова, насколько допускают такую точность навыки латинской речи (к полной точности я здесь и не стремился, а лишь передавал смысл), то и получится как бы образец, по которому смогут выверять свои речи ораторы, что стремятся говорить в аттическом роде. Впрочем, довольно о нас самих. Давайте лучше послушаем, как Эсхин изъясняется по латыни.

РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА
(«О предметах искусства»)

(1, 1) Перехожу теперь к тому, что сам Веррес называет своей страстью, его друзья — болезнью и безумием, сицилийцы — разбоем. Как мне назвать это, не знаю. Я расскажу вам об обстоятельствах дела, а вы оцените его по существу, а не по названию. Сначала ознакомьтесь с сутью дела, судьи! Тогда вы, пожалуй, не станете особенно доискиваться, как вам это назвать.

Я утверждаю, что во всей Сицилии, столь богатой, столь древней провинции, в которой так много городов, так много таких богатых домов, не было ни одной серебряной, ни одной коринфской или делосской вазы, ни одного драгоценного камня или жемчужины, ни одного предмета из золота или из слоновой кости, ни одного изображения из бронзы, из мрамора или из слоновой кости, не было ни одной писанной красками или тканой картины, которых бы он не разыскал, не рассмотрел и, если они ему понравились, не забрал себе. (2) Мне кажется, я делаю весьма важное заявление; обратите внимание также и на то, как я делаю сго. Ведь я не ради красного словца, не с целью усилить обвинение перечисляю все это по порядку. Когда я говорю, что он во всей провинции не оставил ни одного такого предмета, то я, знайте это, употребляю слова в их подлинном значении, а не так, как принято у обвинителей. Скажу еще яснее: он ничего не оставил ни в одном частном доме, не исключая также и домов своих гостеприимцев; ни в одном общественном месте, ни пощадив даже и храмов; ничего не оставил ни у одного сицилийца, ни у одного римского гражданина — словом, ничего из того, что ему бросилось в глаза и пришлось по вкусу, будь это достоянием частным или же общественным, светским или же сакральным, не оставил он во всей Сицилии.

(3) С чего же мне лучше начать, как не с того города, который был предпочтен тобой всем прочим и был тебе особенно дорог¹? С кого, как не самих предстателей за тебя²? Ибо легче можно будет понять, как ты вел себя по отношению к тем, кто тебя ненавидит, кто тебя обвиняет,

кто тебя преследует, когда окажется, что даже своих мамертинцев³ ты ограбил самым бессовестным образом.

(II) Гай Гей, в чем со мной легко согласятся все, кто бывал в Мессане, — мамертинец, во всех отношениях самый выдающийся среди своих сограждан. Его дом — едва ли не лучший в Мессане; во всяком случае, самый известный там и наиболее открытый для наших сограждан и очень гостеприимный. Дом этот, до приезда Верреса, был так украшен, что и своему городу служил украшением; ибо в самой Мессане, имеющей, правда, красивое местоположение, стены и гавань, совсем нет предметов, которыми увлекается Веррес. (4) Была в доме у Гая благоговейно чтимая, очень древняя божница, перешедшая к нему от предков; в ней стояли четыре прекрасные статуи чрезвычайно искусной работы, пользовавшиеся широкой известностью; они могли бы доставить удовольствие, не говоря уже — этому ценителю и знатоку, но даже нам, которых он называет невеждами. Из них одна, мраморное изображение Купидона, изваяна Праксителем⁴; как видите, я, производя следствие по делу Верреса, заучил даже имена художников⁵. Если не ошибаюсь, тот же художник изваял Купидона в таком же роде, находящегося в Феспиях⁶, ради которого в Феспии приезжают путешественники; ведь приезжать туда больше не за чем. Даже знаменитый Луций Муммий⁷, вывозя из этого города статуи Феспиад, которые ныне стоят перед храмом Счастья⁸, и другие несвященные изображения, не тронул этого мраморного Купидона, так как он был посвящен богам.

(III, 5) Но возвращаюсь к божнице. Та статуя Купидона, о которой я говорю, была из мрамора; с другой стороны находилась статуя Геркулеса, превосходно отлитая из бронзы. Ее приписывали, если не ошибаюсь, Мирону⁹, и с полным основанием. Перед изображением этих богов стояли маленькие алтари, ясно указывавшие любому человеку на святость божницы. Кроме того, там были две бронзовые статуи средней величины, но необычайно красивые, представляющие, если судить по осанке и одежде, девушек, которые, подняв руки, держали на голове какие-то священные предметы, как это в обычае у афинянок. Статуи эти назывались канефорами¹⁰; что касается мастера, — кто он был? Ты напоминаешь мне, кстати, — их приписывали Поликлету¹¹. Каждый из наших сограждан по приезде в Мессану их осматривал; все могли осматривать их в любой день; дом этот был славой города не менее, чем славой

своего хозяина. (6) Гай Клавдий¹², который, как известно, самым торжественным образом отпраздновал свое вступление в должность эдила, поставил этого Купидона на форуме на все то время, пока форум, украшенный в честь бессмертных богов и римского народа, находился в его распоряжении; так как Гай Клавдий связан с Геями узами гостеприимства и был патроном мамертинцев, то Геи с полной готовностью предоставили эту статую в его распоряжение, а он добросовестно возвратил ее. Недавно, — но что я говорю «недавно»? — нет, только что, в самое последнее время, мы видели таких знатных людей, которые украшали форум и базилики¹³ не добычей, взятой в провинциях, а богатствами своих друзей, предметами, предоставленными им их гостеприимцами, а не украденными преступной рукой. При этом они возвращали каждому то, что ему принадлежало, — и статуи, и украшения, а не брали их из городов наших союзников и друзей будто бы на четыре дня, под предлогом празднования своего эдилитета, чтобы затем увезти их в свой дом и в свои усадьбы. (7) Все эти статуи, о которых я говорил, судьи, Веррес взял у Гея из божницы; ни одной из них он, повторяю, не оставил, вообще ни одной, кроме одной очень старой деревянной статуи — Доброй Фортуны¹⁴, если не ошибаюсь; ее он не захотел держать в своем доме.

(IV) Заклинаю вас богами и людьми! Что это? Что это за судебное дело? Какая наглость! Ведь эти статуи, о которых я говорю, до того как ты их увез, осматривал всякий, кто приезжал в Мессану, облеченный империем. Столько преторов, столько консулов перебывало в Сицилии и в военное и в мирное время, столько разных людей — я уж не говорю о честных, бескорыстных, набожных, — нет, столько алчных, столько бессовестных, столько преступных, и все же никто не считал себя таким сильным, таким могущественным, таким знаменитым, чтобы решиться потребовать для себя, взять что-либо из той божницы или хотя бы к чему-нибудь прикоснуться! А Веррес может забирать себе все самое прекрасное, где бы оно ни оказалось? Кроме него, никому ничего нельзя будет иметь? Столько богатейших домов поглотит один его дом? Для того ли все это предшественники не прикоснулись ни к одному из этих предметов, чтобы их забрал этот человек? Для того ли их возвратил Гай Клавдий Пульхр, чтобы их мог увезти Гай Веррес? Но ведь тот Купидон не стремился в дом сводника

и в школу разврата; он был вполне доволен пребыванием в родной божнице; он знал, что Гею он достался от его предков как наследственная святыня, и не стремился попасть в руки наследника распутницы¹⁵.

(8) Но почему я так жестоко нападаю на Верреса? Меня могут остановить одним словом. Он говорит: «Все это я купил». Бессмертные боги! Превосходное оправдание! Так это купца посылали мы в провинцию, облеченного империем и в сопровождении ликторов, чтобы он скупал все статуи, картины, все изделия из серебра и золота, слоновую кость, драгоценные камни, никому не оставляя ничего? Вот вам и оправдание от всех обвинений: «Все это было куплено». Если я соглашусь с твоим утверждением, что ты купил эти вещи, — ведь это, очевидно, будет единственным твоим возможным оправданием по этой статье обвинения — то прежде всего я спрошу тебя: какого мнения был ты о римском суде, если думал, что кто-нибудь сочтет допустимым, что ты, претор, облеченный империем, скупил столько таких драгоценностей, да и вообще мало-мальски ценных вещей во всей провинции?

(V, 9) Обратите внимание на предусмотрительность наших предков, которые, не предполагая, что возможны такие огромные злоупотребления, все же предвидели, что это могло произойти в частных случаях. Ни от кого из тех, кто выезжал в провинцию, облеченный властью или как легат¹⁶, они не ожидали такого безумия, чтобы он стал покупать серебро (оно ему давалось от казны) или ковры (они ему предоставлялись на основании законов¹⁷); покупку раба они считали возможной; рабами все мы пользуемся, и народ их нам не предоставляет; но предки наши разрешали покупать рабов только взамен умерших. И в том случае, если кто-нибудь из них умрет в Риме? Нет, только если кто-либо умрет там, на месте. Ибо они вовсе не хотели, чтобы ты богател в провинции, но только чтобы ты пополнил свою утрату, понесенную там. (10) По какой же причине они так строго запрещали нам покупки в провинциях? По той причине, судьи, что они считали грабежом, а не покупкой, если продающему нельзя продать свое имущество по своему усмотрению. Они понимали: если лицо, облеченное империем и властью, захочет в провинциях купить что ему вздумается у кого бы то ни было и если это будет ему разрешено, то он возьмет себе любую вещь — продается ли она или нет — по той цене, по какой он захочет.

Мне скажут: «Не приводи таких доводов, говоря о Верресе, и не применяй к его поступкам правил строгой старины; согласишься с тем, что покупка его законна, если только он совершил ее честно, не злоупотребив своей властью, не принудив владельца, не допустив беззакония». Хорошо, я буду рассуждать так: если Гей хотел продать что-либо из своего имущества, если он получил ту цену, какую назначил, то я не стану спрашивать, на каком основании купил ее ты (VI, 11). Что же нам следует делать? Нужно ли нам в таком деле приводить доказательства? Мне думается, надо спросить: разве у Гея были долги, разве он устраивал продажу с торгов? Если да, то настолько ли он нуждался в деньгах, в таких ли стесненных обстоятельствах, в таком ли безвыходном положении был он, что ему пришлось ограбить свою божницу, продать богов своих отцов? Но он, оказывается, не устраивал никаких торгов, никогда ничего не продавал, кроме своего урожая; у него не только нет и не было долгов, но есть много своих денег и всегда их было много; оказывается, даже если бы все было иначе, он все-таки никогда бы не согласился продать эти статуи, бывшие в течение стольких лет достоянием его рода и находившиеся в божнице его предков. «А что, если он польстился на большие деньги?» Трудно поверить, чтобы у такого богатого, такого почтенного человека любовь к деньгам взяла верх над благочестием и уважением к памяти предков. — (12) «Это так; но ведь иногда люди изменяют своим правилам, польстившись на большие деньги». Посмотрим теперь, велика ли была та сумма, которая смогла заставить Гея, очень богатого и совсем не алчного человека, забыть и свое достоинство, и уважение к памяти предков, и благочестие. Если не ошибаюсь, ты велел ему собственноручно внести в его приходно-расходные книги: «Все эти статуи Праксителя, Мирона и Поликлета проданы Верресу за 6 500 сестерциев». Так он и записал. Читай. (Записи в приходно-расходных книгах.) Не забавно ли, что эти славные имена художников, которые знатоки превозносят до небес, так пали в мнении Верреса? Купидон Праксителя — за 1600 сестерциев! Конечно, отсюда и возникла пословица: «Лучше купить, чем просить».

(VII, 13) Мне скажут: «Вот как? Ты оцениваешь эти вещи так высоко?» — «Нет, я оцениваю их не в соответствии со своими вкусами или со своим отношением к таким вещам, но все же полагаю, что вы должны руководствоваться той

ценой, какую они имеют по мнению любителей, за какую их обычно продают, за какую можно было бы продать эти самые статуи, если бы они продавались открыто и свободно, какую, наконец, они имеют по оценке самого Верреса. Ибо, если бы этот Купидон, по мнению Верреса, стоил 400 денариев¹⁸, то он никогда бы не согласился сделаться из-за него предметом разговоров и навлечь на себя такое сильное порицание. (14) Кто из вас не знает, во сколько эти предметы ценятся? Не на наших ли глазах небольшая бронзовая статуя была продана на торгах за 40 000 сестерциев? А разве я при желании не мог бы назвать людей, давших не меньшую и даже большую цену? И в самом деле, насколько сильно твое желание купить такую вещь, во столько ты ее и ценишь; трудно установить предельную цену, не установив пределов для своей страсти. Итак, ясно, что ни собственное желание, ни затруднительные обстоятельства, ни предложенные тобой деньги не могли заставить Гая продать эти статуи, и ты под видом покупки при помощи насилия и угроз, пуская в ход свой империй и ликторские связки, отнял и увез статуи у человека, которого, как и других союзников, римский народ верил не только твоей власти, но особенно твоей честности.

(15) Что может быть для меня, судьи, более желательным, чем подтверждение этого обвинения самим Геем? Ничто, конечно; но не будем желать того, что трудно достижимо. Гей — мамертинец, а мамертинская община — единственная, которая официально, по всеобщему решению, дает Верресу хвалебный отзыв; все остальные сицилийцы его ненавидят; одни только мамертинцы его любят; более того, главой посольства, присланного с хвалебным отзывом о Верресе, является Гей (ведь он первый среди своих сограждан); и он, стараясь выполнить официальное поручение, пожалуй, должен умолчать об обиде, нанесенной лично ему!

(16) Зная и обдумывая все это, судьи, я все-таки положился на Гая; я предоставил ему слово при первом слушании дела и сделал это, ничем не рискуя. В самом деле, что мог бы ответить Гей, будь он человеком бесчестным, а не тем, каков он в действительности? Что эти статуи находятся у него в доме, а не у Верреса? Как мог бы он сказать что-нибудь подобное? Будь он даже величайшим негодяем и бессовестнейшим лжецом, он мог бы сказать разве только одно — что назначил их к продаже и продал за столько,

за сколько хотел. Будучи знатнейшим человеком у себя на родине, желая более всего, чтобы вы справедливо судили о его благочестии и чувстве собственного достоинства, он сначала сказал, что официально он Верреса восхваляет, так как это ему поручено; затем о том, что он не назначал тех статуй к продаже и что ни при каких условиях, если бы он был волен поступить как захочет, его никогда бы не удалось склонить к продаже этих статуй, находившихся в божнице и оставленных и завещанных ему предками.

(VIII, 17) Почему же ты безучастно сидишь, Веррес? Чего ты ждешь? Почему ты говоришь, что Центурипы, Катина, Галеса, Тиндарида, Энна, Агирий и другие городские общины Сицилии стараются тебя подвести и погубить? А вот теперь Мессана, твоя вторая родина, как ты ее обыкновенно называл, она-то тебя и подводит; да, твоя Мессана, помощница твоя в злодеяниях, любовных дел твоих свидетельница, укрывательница твоей добычи и украденного тобой имущества. Ведь здесь присутствует влиятельнейший муж из этой городской общины, по случаю этого суда присланный оттуда в качестве ее представителя, первым выступивший с хвалебным отзывом о тебе, в официальном заявлении тебя прославляющий. Ибо так ему было поручено и приказано. Впрочем, вы помните его ответ, когда его спросили насчет кибей¹⁹; по его словам, ее построили рабочие, собранные городом, и от имени общины постройкой ведал мамертинский сенатор.

И тот же Гей — как частное лицо — обращается к вам, судьи! Он ссылается на закон, на основании которого производится суд, на закон, являющийся оплотом для всех союзников²⁰. Хотя это закон о вымогательстве денег, все же Гей, по его словам, денег обратно не требует; имущественный ущерб для него не особенно ощутителен; но возвращения святынь своих предков он, по его словам, от тебя требует; богов-пенатов²¹ своих отцов хочет вернуть себе. (18) Есть ли у тебя какое-нибудь чувство чести, какая-нибудь вера в богов, Веррес, коть какой-нибудь страх перед законами? Ты жил в доме у Гея в Мессане; чуть ли не каждый день ты мог видеть, как он совершал обряды перед этими статуями богов в своей божнице. Ему не жаль денег; наконец, и статуй, служивших украшением дома, он не требует: оставь у себя канефор, но изображения богов возврати. И вот за то, что он это сказал, за то, что он, союзник и друг римского народа, воспользовался удобным случаем,

чтобы принести вам свою скромную жалобу, за то, что он был верен своему священному долгу не только тогда, когда требовал обратно отчих богов, но и тогда, когда под присягой давал показания, Веррес, знайте это, отправил в Мессану человека, одного из представителей городской общины, того самого, который, по ее поручению, ведал постройкой его корабля, с требованием, чтобы сенат объявил Гея человеком, утратившим гражданскую честь²².

(IX, 19) Безрассуднейший человек, о чем ты при этом думал? Что тебя послушаются? Неужели ты не знал, как уважали Гея его сограждане, каким влиянием он пользовался у них? Но допустим, что ты бы добился своего; допустим, что мамертинцы вынесли бы какое-нибудь строгое постановление против Гея. Какой, по-твоему, вес будет иметь их хвалебный отзыв, если они решат наказать человека, давшего заведомо правдивые свидетельские показания? Впрочем, чего стоит этот хвалебный отзыв, когда хвалящий, отвечая на вопросы, неизбежно должен дать отзыв неблагоприятный? Далее, разве эти предстатели за тебя не являются в то же время свидетелями с моей стороны? Гей выступает с хвалебным отзывом и в то же время он тебе очень сильно повредил; я предоставляю слово остальным; о чем они смогут умолчать, они умолчат охотно, а что придется сказать, то скажут даже против своего желания.

Могут ли они отрицать, что тот огромный грузовой корабль был построен для Верреса в Мессане? Пусть отрицают, если могут. Станут ли они отрицать, что постройкой этого корабля по поручению городской общины ведал мамертинский сенатор? Как хорошо было бы, если бы они стали это отрицать! Есть также и многое другое, чего предпочитаю не затрагивать, дабы дать свидетелям возможно меньше времени обдумать, как им обосновать свое клятвенное преступление. (20) Поздравляю тебя с этим хвалебным отзывом. Может ли служить для тебя поддержкой мнение тех людей, которые не должны были бы тебе помогать, если бы могли, но не могут, даже если бы захотели; которым ты нанес множество обид и оскорблений как частным лицам и в чьем городе ты своими бесчинствами и гнусностями опозорил так много семейств в лице всех их членов? Но ты, можешь мне сказать, оказал услуги их городу. Да, но не без огромного ущерба для нашего государства и для провинции Сицилии. Мамертинцы должны были давать и обычно давали римскому народу в виде покупного хлеба 60 000

модиев²³ пшеницы; один ты освободил их от этой обязанности. Государство понесло ущерб, так как ты в одной городской общине поступился правами нашей державы; потерпели его и сицилийцы, так как из общего количества хлеба, подлежавшего сдаче, ты этого количества хлеба не вычел, а переложил его поставку на Центурипы и Галесу, независимые общины²⁴, что оказалось для них непосильным бременем.

(21) Ты должен был приказать мамертинцам на основании договора поставить корабль; ты дал им для этого три года сроку: в течение этих лет ты не потребовал от них ни одного солдата. Ты поступил точно так же, как поступают морские разбойники; будучи врагами всем людям, они все же заручаются дружбой некоторых из них — с тем чтобы не только их щадить, но даже обогащать своей добычей; это особенно относится к жителям городов, расположенных в удобном для разбойников месте, куда их кораблям часто приходится приставать, иногда даже в силу необходимости.

(X) Пресловутая Фаселида²⁵, которую завоевал Публий Сервилий, раньше не принадлежала киликийцам и не была стоянкой разбойников; жителями ее были ликийцы, греки. Но она была расположена на мысе, выдававшемся в море так далеко, что морские разбойники, выходя на кораблях из Киликии²⁶, по необходимости часто приставали к ее берегам, а когда приплывали из наших краев, их корабли относил туда же; поэтому пираты вступили в сношения с этим городом; сначала в торговые, а затем также и в союз. (22) Мамертинская городская община ранее не была бесчестной; она даже была недругом бесчестным людям; ведь она задержала у себя обоз Гая Катона — того, который был консулом²⁷. Какой это был человек! Прославленный и могущественнейший; и все-таки он после своего консульства был осужден. Да, Гай Катон, внук двоих знаменитейших людей, Луция Павла и Марка Катона²⁸, и сын сестры Публия Африканского! После его осуждения — в то время, когда выносились суровые приговоры, — ущерб, подлежащий возмещению, был определен в 8000 сестерциев. Мамертинцы были раздражены против него — они, которые на завтрак для Тимархида²⁹ не раз тратили больше, чем составляла сумма, подлежащая возмещению Катonom.

(23) И этот город был подлинной Фаселидой для Верреса, сицилийского разбойника и пирата. Сюда все свозилось отовсюду, здесь же оставлялось на хранение; что надо было

скрыть, то жители этого города складывали и прятали; при их посредстве Веррес тайком грузил на корабли что хотел и незаметно вывозил; наконец у них он построил и снарядил огромный корабль, чтобы отправить его в Италию с грузом награбленного. За все это Веррес освободил их от затрат, тягот, военной службы — словом, от всего; в течение трех лет они одни в наше время не только в Сицилии, но, думается мне, во всем мире были безусловно и совершенно освобождены и избавлены от всяких издержек, хлопот и повинностей. (24) Отсюда пошли знаменитые Веррии³⁰, во время которых он приказал привести к себе Секста Коминия; его Веррес, швырнув в него кубком, велел схватить за горло и отвести в темницу. Тогда и был сооружен крест (на нем он распял римского гражданина на глазах у толпы); его он осмелился воздвигнуть только в том городе, который был его соучастником во всех его злодеяниях и разбое.

(XI) И после всего этого вы являетесь с хвалебным отзывом? Какое значение может иметь ваш отзыв? Может ли он иметь какое-либо значение в глазах сената или же в глазах римского народа? (25) Есть ли городская община, — не только в наших провинциях, но и в отдаленнейших странах — которая мнила бы себя столь могущественной или столь независимой, вернее, была бы столь дика и неприветлива, чтобы не пригласить под свой кров сенатора римского народа? Наконец какой царь не сделал бы этого? Честь эту оказывают не только данному лицу, но прежде всего римскому народу, по чьему благоволению я вступил в это сословие³¹, затем авторитету всего этого сословия; ведь если последний не будет велик в глазах союзников и иноземных народов, то что станет с именем и достоинством нашей державы? Мамертинцы же от имени города меня к себе не пригласили. Что они не пригласили меня, не важно; но если они не пригласили сенатора римского народа, то они отказали в должном почете не одному человеку, а сословию. Ибо лично для Туллия был открыт великолепнейший дом Гнея Басилиска, куда я заехал бы даже в том случае, если бы и был приглашен вами; к моим услугам был также пользующийся величайшим уважением дом Перценниев, которые теперь тоже носят имя Помпеев³²; в него, по их любезнейшему приглашению, заехал мой двоюродный брат Луций. Сенатор римского народа, если бы это зависело от вас, мог бы остаться в вашем городе на улице и провести ночь под открытым небом. Ни один другой город никогда

так не поступал. — «Это потому, что ты пытался привлечь к суду нашего друга». — Ты, значит, мою деятельность как частного лица используешь как предлог для отказа сенатору в должном почете?

(26) Но на это я буду жаловаться лишь в том случае, если о вас пойдет речь среди членов того сословия, к которому доньше только вы одни отнеслись с пренебрежением. А вот как осмелились вы предстать перед римским народом? А тот крест, по которому и теперь еще струится кровь римского гражданина, водруженный возле гавани вашего города? Неужели вы его не повалили, не бросили в море, не очистили всего того места искупительными жертвами, прежде чем явиться в Рим и предстать перед этим собранием? На земле союзного и мирного города мамертинцев воздвигнут памятник жестокости Верреса. Не ваш ли город выбран для того, чтобы все едущие из Италии видели крест римского гражданина раньше, чем встретят какого-либо друга римского народа? Ведь вы для того и показываете этот крест жителям Регия³³, которым вы завидуете из-за предоставленных им прав римского гражданства, а равно и живущим у вас поселенцам, римским гражданам, чтобы они стали менее заносчивы и не смотрели на вас свысока, видя, что их права римского гражданства уничтожены этой казнью.

(XII, 27) Но ты утверждаешь, что купил те предметы, о которых была речь. Ну, а те ковры во вкусе Аттала³⁴, известные на всю Сицилию? Их ты забыл купить у того же Гея? Ты ведь мог приобрести их таким же способом, каким приобрел статуи. Что же произошло? Или тебе лень было приписать несколько букв? Нет, этот полоумный человек просто упустил из виду; он решил, что кража из шкафа будет менее заметна, чем кража из божницы. И как он ее совершил? Я не могу сказать яснее, чем вам сказал это сам Гей. Когда я его спросил, не попало ли к Верресу что-нибудь из его имущества, Гей ответил, что Веррес прислал ему приказ отправить ковры к нему в Агригент³⁵. Я спросил, послал ли он их. Он не мог не ответить, что повиновался слову претора и отправил ковры. Я спросил, довели ли их до Агригента; он ответил утвердительно. Я задал вопрос, как они были ему возвращены; он ответил, что они не возвращены ему и поныне. Толпа захохотала, а вы все были поражены. (28) И тут тебе не пришлось на ум приказать Гею, чтобы он записал в свои книги, что и

эти вещи он также продал тебе за 6500 сестерциев? Или ты побоялся увеличить общую сумму своих долгов, если бы тебе в 6500 сестерциев обошлись вещи, которые ты легко продал бы за 200 000 сестерциев? Поверь мне, дело этого стоило; у тебя было бы что сказать в свою защиту; никто не спросил бы, сколько стоили эти вещи; если бы ты только мог сказать, что купил их, то тебе было бы легко перед кем угодно оправдаться в своем поступке; но теперь из дела с коврами тебе не вывернуться.

(29) А великолесные фалеры³⁶, по преданию, принадлежавшие царю Гиерону? Отнял ты их или же купил у Филарха из Центурип, богатого и всем известного человека? Во всяком случае, когда я был в Сицилии, я и от центурипинцев и от других людей — дело получило большую огласку — слышал следующее: ты взял у центурипинца Филарха эти фалеры так же, как взял и другие, такие же знаменитые фалеры у Ариста из Панорма, как третьи — у Кратиппа из Тиндариды. И в самом деле, если бы Филарх их тебе продал, то ты после внесения тебя в список обвиняемых не обещал бы ему их вернуть. Но так как ты убедился, что об этом все равно знают многие, то ты и рассудил: если ты отдашь фалеры, ценных вещей у тебя будет меньше, а свидетельских показаний против тебя не убавится; поэтому ты их и не отдал. Филарх как свидетель показал, что он, зная твою «болезнь», как выражаются твои друзья, хотел от тебя утаить фалеры и, когда ты его позвал к себе, он ответил, что их у него нет, и показал, что даже отдал их на хранение другому лицу, чтобы их не нашли; но ты оказался настолько проницательным, что тебе удалось осмотреть их при посредстве того самого человека, у которого они хранились, и тогда Филарх, будучи уличен, уже не мог заперяться. Таким образом, у него отняли фалеры против его воли и притом даром.

(XIII, 30) Теперь стоит, судьи, обратить внимание на то, как Веррес находил и выслеживал все ценные вещи. В Кибире жили два брата — Тлеподем и Гиерон; один из них, если не ошибаюсь, занимался лепкой из воска, другой — живописью. Они, по-видимому, заподозренные жителями Кибиры в ограблении храма Аполлона, в страхе перед судом и законной карой бежали из родного города. Что Веррес — поклонник их искусства, они узнали еще тогда, когда он, как вам сообщили свидетели, приезжал в Кибиру с письменными обязательствами, составленными

для видимости; поэтому, покинув свою родину и став изгнанниками, они обратились к нему, когда он был в Азии. Они находились при нем в течение всего этого времени, он много пользовался их помощью и советами при грабежах и хищениях, пока был легатом. (31) Именно им Квинт Тадий³⁷, согласно записи в его книгах, по приказанию Верреса заплатил деньги как «греческим живописцам». Хорошо узнав и проверив их на деле, Веррес взял их с собой в Сицилию. Они, когда туда приехали, всем на удивление, словно охотничьи собаки, все вынюхивали и выслеживали, находя тем или иным способом что бы и где бы то ни было. Одно они разыскивали посредством угроз, другое — посредством обещаний; одно — с помощью рабов, другое — с помощью свободных людей; одно — при посредстве друзей, другое — при посредстве недругов; стоило вещи понравиться им, пиши — пропало. Те, от кого Веррес требовал серебряную утварь, желали одного — чтобы она не понравилась Гиерону и Тлеполему.

(XIV, 32) Это, клянусь Геркулесом, правдивый рассказ, судьи! Я припоминаю, как Памфил из Лилибея, мой друг и гостеприимец, знатный человек, рассказывал мне, что он — после того как Веррес, злоупотребив своей властью, отнял у него массивную гидрию³⁸ чудной работы, произведение Бозта, — возвратился домой опечаленный и расстроенный тем, что такой ценный сосуд, доставшийся ему от отца и предков, которым он пользовался в праздничные дни и при приеме гостей, у него отняли. «Сидел я у себя дома печальный, — говорил он, — вдруг прибегает раб Венеры³⁹ и велит мне немедленно нести к претору кубки с рельефами; я сильно встревожился, — продолжает он, — кубков у меня была пара; я велел достать оба кубка, чтобы не стряслось большей беды, и нести их со мной в дом претора. Когда я туда пришел, претор почивал; пресловутые братья из Кибиры расхаживали по дому; увидев меня, они спросили: «Где же твои кубки, Памфил?» Показываю их с грустью; хвалят. Начинаю сетовать: если мне придется отдать также и эти кубки, у меня не останется ни одной сколько-нибудь ценной вещи. Тогда они, видя мое огорчение, говорят: «Сколько ты дашь нам за то, чтобы кубки остались у тебя?» Одним словом, — сказал Памфил, — они потребовали с меня тысячу сестерциев; я обещал дать их. В это время слышался голос претора, требовавшего кубки. Тогда они стали говорить, что на основании рассказов

им казалось, что кубки Памфила представляют ценность, но это дрянь, недостойная находиться среди серебряной утвари Верреса. Тот сказал, что и он такого мнения». Так Памфил унес домой свои прекрасные кубки. (33) И хотя я, клянусь Геркулесом, полагал, что знать толк в этих вещах — дело пустое, все же я ранее был склонен удивляться, что Веррес несколько разбирается в этом. (XV) Только тогда и понял я, что те братья из Кибиры для того и существовали при Верресе, чтобы он при своих хищениях пользовался своими руками, но их глазами.

Но Веррес настолько дорожит этой прекрасной репутацией знатока произведений искусства, что совсем недавно — судите о его безрассудстве — уже после комперендинации⁴⁰, когда его считали уже осужденным и мертвым как гражданина, он во время игр в цирке, рано утром, когда в доме у Луция Сизенны⁴¹, виднейшего мужа, были постланы триklinии и уставлены серебряной утварью столы и когда, в соответствии с высоким положением Луция Сизенны, к нему явилось множество очень почтенных людей, подошел к серебряной утвари и начал не торопясь, очень внимательно рассматривать каждую вещь. Одни удивлялись его глупости, так как он, находясь под судом, давал пищу подозрению, что действительно подвержен той самой страсти, какую ему приписывали; другие — его безрассудству, раз ему, после комперендинации, когда уже высказалось такое множество свидетелей, приходят на ум такие пустяки. Но рабы Сизенны, вероятно, потому что слышали свидетельские показания, уличавшие Верреса, не спускали с него глаз и ни на шаг не отходили от серебра. (34) Хороший судья должен обладать способностью на основании мелочей судить и о жадности и о воздержности каждого. Если обвиняемый, и притом обвиняемый, по закону еще только подвергнутый комперендинации, а в действительности и по всеобщему мнению, можно сказать, осужденный, в присутствии стольких людей не удержался и стал брать в руки и осматривать серебряную утварь Луция Сизенны, то кто допустит, что этот человек в бытность свою претором в провинции мог сдерживать свою страсть и не посягать на серебряную утварь сицилийцев?

(XVI, 35) Но — после этого отступления — вернемся в Лилибей. У Памфила, у того самого, у которого отняли гидрию, есть зять Диокл, по прозванию Попилий; у него Веррес отобрал все вазы, какие были расставлены на абакс⁴².

Впрочем, он может сказать, что купил их; и в самом деле в этом случае, ввиду значительной ценности забранных вещей, составлена запись. Он велел Тимархиду оценить серебряную утварь возможно дешевле — как никто не оценивал даже подарков для актеров.

Впрочем, я уже давно иду по ложному пути, говоря о твоих покупках и спрашивая, купил ли ты эти вещи или не покупал их и как ты их купил и за сколько, в то время как я могу выразить это одним словом. Покажи мне записи о том, сколько серебряной утвари ты приобрел в провинции Сицилии, у кого ты купил каждую вещь и за сколько. (36) Ну, что же? Правда, мне не следовало бы требовать от тебя этих записей; ибо я должен был бы располагать твоими книгами и иметь возможность их предъявить. Но ты говоришь, что ты в течение нескольких лет не вел книг. Представь сведения о том, о чем я требую, — о серебряной утвари; насчет остального — дело мое. — «И записей нет у меня и предъявить мне нечего». — Как же быть? Что же, по твоему мнению, могут сделать наши судьи? В доме у тебя было множество прескрасных статуй еще до твоей претуры; многие из них стоят в твоих усадьбах, многие переданы на хранение твоим друзьям, много их роздано и раздарено другим людям; но в книгах не говорится ни об одной покупке. Вся серебряная утварь похищена из Сицилии; владельцам не оставлено ничего такого, что представляло бы малейшую ценность в их глазах. Придумывают ложное оправдание, будто все это серебро претор скупил; но именно этого и нет возможности доказать на основании записей в книгах. Если в книгах, которые ты предъявляешь, не записано, как приобретено то, что у тебя имеется, а за последнее время, когда ты, по твоим словам, купил очень много вещей, ты вообще никаких книг не предъявляешь, то не должен ли суд — и на основании предъявленных и на основании непредъявленных тобой книг — вынести тебе обвинительный приговор?

(XVII, 37) Это ты в Лилибее отнял у римского всадника Марка Целия, отличного во всех отношениях молодого человека, все, что хотел; это ты не постеснялся отнять у Гая Какурия, деятельного, предприимчивого и чрезвычайно влиятельного человека, всю его утварь; это ты, ни от кого не таясь, отнял в Лилибее у Квинта Лутация Диодора, получившего от Луция Суллы, по ходатайству Квинта Катула, права римского гражданства, его огромный и великолепный

стол цитрового дерева⁴³. Не порицаю тебя за то, что ты обобрал человека, вполне достойного тебя, — Аполлония из Дрепана, сына Никона, которого теперь зовут Авлом Клодием, и отнял у него все его прекрасное чеканное серебро; об этом я молчу. Ведь он не считает себя обиженным, так как ты пришел ему на помощь, когда он был совершенно разорен и собирался надеть петлю на шею; при этом ты поделился с ним похищенным тобою у дрепанских сирот отцовским имуществом. Меня даже радует, что ты у него кое-что отнял, и я считаю это самым справедливым из твоих поступков. Но у Лисона, первого человека в Лилибее, в доме у которого ты жил, тебе во всяком случае не следовало отбирать статую Аполлона. Ты скажешь, что купил ее. Знаю, за 1000 сестерциев. — «Да, если не ошибаюсь». — Знаю, повторяю я. — «Я представляю записи». — Все же тебе не следовало так поступать. А подопечный Гая Марцелла, малолетний Гей, у которого ты отнял большую сумму денег? Ты утверждаешь, что ты купил у него в Лилибее чаши с рельефами, или же сознаешься, что отобрал их?

(38) Но к чему мне собирать подобного рода мелкие факты, касающиеся беззаконий Верреса и сводящиеся к хищениям, совершенным им, и к убыткам потерпевших? Если позволите, судьи, я приведу вам факт, из которого вы сможете усмотреть не просто жадность, а единственное в своем роде безрассудство и неистовство Верреса.

(XVIII) Диодор, уже выступавший перед вами как свидетель, родом из Мелиты, много лет подряд живет в Лилибее; он известный человек у себя на родине и ввиду своих высоких качеств блистательный и влиятельный в том городе, куда он переселился. Верресу говорят, что у него есть прекрасные вещи чеканной работы, и между прочим так называемые Ферикловы кубки, сделанные искуснейшей рукой Ментора⁴⁴. Как только Веррес узнал об этом, он загорелся таким сильным желанием не только взглянуть на эти вещи, но и взять их себе, что позвал к себе Диодора и стал требовать кубки. Диодор, не имея никакой охоты расставаться с ними, отвечал, что их нет у него в Лилибее, что он оставил их в Мелите у одного из своих родственников. (39) Тогда Веррес тотчас же послал в Мелиту верных людей, написав кое-кому из жителей Мелиты, чтобы все разузнали насчет этих сосудов, и просил Диодора написать своему родственнику; ожидание казалось ему бесконечным, на-

столько ему хотелось увидеть эти серебряные изделия. Диодор, честный и бережливый человек, желая сохранить свое имущество, в письме просил своего родственника ответить посланцам Верреса, что это серебро он недавно отослал в Лилибей. Сам он тем временем уехал; он предпочел на некоторое время отлучиться из дома, лишь бы не потерять своего прекрасного серебра, оставаясь на месте. Узнав об этом, Веррес рассвирепел так, что все, без сомнения, сочли его помешавшимся и взбесившимся. Так как сам он не смог отнять серебро, то он начал твердить, что Диодор отнял у него вазы прѣвосходной работы; он стал грозить уехавшему Диодору, орать в присутствии всех, иногда с трудом сдерживая слезы. Есть предание об Эрифиле⁴⁵, жадность которой была так велика, что она, увидев, если не ошибаюсь, золотое ожерелье с драгоценными камнями и пленившись его красотой, предала собственного мужа. Такая же жадность обуряла Верреса, даже еще более сильная и более безумная; ведь та женщина желала получить то, что она видела, а его желания возбуждались не только тем, что он видел, но и тем, о чем слышал.

(XIX, 40) Он велел искать Диодора по всей провинции; но тот уже успел покинуть Сицилию, собрав свои пожитки. Наш приятель, чтобы как-нибудь заманить Диодора обратно в провинцию, придумал вот какую уловку, если только это можно назвать хитрой уловкой, а не бессмысленной выдумкой; обратился к помощи одного из своих псов с тем, чтобы тот заявил о своем намерении привлечь Диодора из Мелиты к уголовному суду. Вначале всем показалось странным, что обвиняют Диодора, человека в высшей степени смирного, которого никому не приходило в голову и заподозрить, уже не говорю, в преступлении, даже в малейшем проступке; затем стало ясно, что всему виной серебро. Веррес не колеблясь велел возбудить обвинение против Диодора; именно тогда он, если не ошибаюсь, и внес его заочно в списки обвиняемых⁴⁶. (41) По всей Сицилии разнеслась весть, что из-за страсти к чеканному серебру людей привлекают к уголовному суду, и притом даже заочно. Диодор в траурной одежде стал обходить в Риме своих патронов и гостеприимцев и всем рассказал о своем деле. Веррес начал получать резкие письма от отца и друзей с советами обдумать свои действия по отношению к Диодору и их последствия, с сообщением, что дело получило огласку и вызывает возмущение, с подозрениями, что он не в своем

уме и погибнет из-за одного этого обвинения, если не остережется. В то время Веррес еще относился к своему отцу если не как к отцу, то все же как к человеку; он еще не запасся такими деньгами, чтобы не бояться суда. Это был первый год его наместничества, его сундуки еще не ломились от денег так, как во времена дела Стения⁴⁷. Поэтому он несколько сдержался в своем неистовстве, но не из чувства чести, а из опасений и из страха. Он не посмел заочно вынести Диодору обвинительный приговор и вычеркнул его из списка обвиняемых. Между тем Диодор почти в течение трех лет, в бытность Верреса претором, жил вдали от провинции и своего дома.

(42) Все другие сицилийцы и даже римские граждане пришли к заключению, что, коль скоро Веррес так далеко зашел в своей страсти, никому не удастся ни спасти, ни сохранить у себя в доме ни одной вещи, какая приглянется ему; когда же они узнали, что тот стойкий муж, которого провинция ждала с нетерпением, — Квинт Аррий — не сменит Верреса⁴⁸, они поняли, что у них нет ни одной вещи, которая могла бы быть заперта и спрятана так тщательно, чтобы она не оказалась открытой и доступной для страсти Верреса.

(XX) Вскоре после этого Веррес отнял у блистательного и влиятельного римского всадника Гнея Калидия, чей сын, как ему было известно, был сенатором римского народа и судьей, серебряные кубки с конской головой прекрасной работы, ранее принадлежавшие Квинту Максию (43). Но я напрасно заговорил об этом, судьи! Он их купил, а не отобрал; я сожалею, что так сказал; он будет красоваться и гарцевать на этих конях. — «Я купил их, заплатил деньги». — Верю. — «Даже книги будут предъявлены». — Ну что ж, предъяви мне книги. Опровергни хотя бы это обвинение насчет Калидия, пока я буду просматривать твои книги. Но почему же Калидий жаловался в Риме, что он, в течение стольких лет ведя дела в Сицилии, лишь с твоей стороны встретил такое пренебрежение, такое презрение, что был обобран тобой наряду с остальными сицилийцами? Если ты купил у него это серебро, то какое было у него основание заявлять, что он потребует его у тебя по суду, раз он продал его тебе добровольно? Далее, мог ли бы ты повести дело так, чтобы не возвращать этого серебра Гнею Калидию, тем более что он поддерживает столь дружеские отношения с твоим защитником Луцием Сизенной и что

прочим друзьям Луция Сизенны ты возвратил их собственность? (44) Наконец, ты, я думаю, не станешь отрицать, что ты возвратил уважаемому человеку, но не более влиятельному, чем Гней Калидий, — Луцию Куридию — его серебряную утварь через посредство твоего друга Потамона. Впрочем, из-за Куридия ухудшилось положение других людей. Ибо ты сперва обещал многим людям вернуть им их собственность, но после того как Куридий показал перед судом, что ты возвратил ему его вещи, ты возвращать награбленное перестал, видя, что добычу из рук ты выпускаешь, а избежать свидетельских показаний тебе все равно не удастся.

Римскому всаднику Гнею Калидию ни один из других преторов не запрещал иметь у себя серебряную утварь хорошей работы; ни один из них не лишал его возможности пышно и богато украшать свой стол во время пиршества, принимая у себя должностных или других высокопоставленных лиц. Многие люди, облеченные властью и империей, посещали дом Гнея Калидия, но ни один из них не был так безумен, чтобы забрать себе эти столь прекрасные и знаменитые серебряные изделия; ни один из них не был так нагл, чтобы выпрашивать их себе в дар; ни один из них не был столь бесстыден, чтобы потребовать от владельца продажи их. (45) Ведь это самомнение, и притом совершенно нестерпимое, судьи, если претор в провинции заявляет уважаемому, зажиточному и блистательному человеку: «Продай мне свои чеканные вазы!» Ведь это означает: «Ты не достоин владеть вещами такой художественной работы. Это может соответствовать только моему достоинству». А разве ты, Веррес, болес достойный человек, чем Калидий? Не стану сравнивать твоей жизни с его жизнью, твоей репутации с его репутацией (ведь это и не поддается сравнению); сравню именно то, в чем ты считаешь себя выше его: не потому ли, что ты дал 300 000 сестерциев раздатчикам денег при скупке голосов, чтобы тебя объявили избранным в преторы, 300 000 — обвинителю, чтобы он не тревожил тебя, ты и относишься свысока и с глубоким презрением к всадническому сословию? И поэтому ты, вероятно, и счел возмутительным, что вещь, которая тебе понравилась, владеет Калидий, а не ты?

(XXI, 46) Веррес давно уже хвалится своим поступком по отношению к Калидию и твердит всем, что купил у

него эти вещи. А кадилъницу⁴⁹ у Луция Папиния, виднейшего человека и зажиточного и почтенного римского всадника, ты тоже купил? Он показал как свидетель, что ты потребовал, чтобы ее тебе дали для осмотра, и что ты, сняв с нее накладные рельефы, возвратил ее, дабы вы поняли, что он знаток, а не алчный человек и прельстился не серебром, а художественной отделкой.

И не только в случае с Папинием Веррес проявил такую воздержанность: он следовал этому правилу всякий раз, как видел кадилъницы, какие только были в Сицилии. А сколько их было и как прекрасны они были, трудно поверить. Очевидно, тогда, когда Сицилия процветала и была богата, на этом острове работало много искусных мастеров. Ибо до претуры Верреса, в Сицилии не было мало-мальски зажиточного дома, где нельзя было бы найти таких предметов, как большого блюда с рельефными фигурами и изображениями богов, чаши для жертвоприношений, совершаемых женщинами, и кадилъницы, — даже если в этом доме, кроме этих предметов, никакого серебра не было. Все это были вещи древней и художественной работы, так что можно предположить, что сицилийцы некогда имели в соответствующем числе также и другие ценные вещи, но что они, потеряв многое по воле судьбы, сохранили только то, что им велела оставить у себя религия.

(47) Я сказал, судьи, что вещей этих было много чуть ли не у всех сицилийцев, и я же утверждаю, что теперь у них не осталось ни единой. Что это значит? Какое чудовище, какого изверга послали мы в провинцию! Не кажется ли вам, что он по возвращении своем в Рим старался не просто наслаждаться видом красивых вещей и удовлетворять не только свою прихоть, но также и безумную страсть всех самых жадных людей? Как только он приезжал в какой-нибудь город, он немедленно выпускал своих кибирских псов, чтобы они все выследили и разнюхали. Если они находили большую вазу или вообще крупную вещь, они с восторгом ее тащили ему; но если им удавалось затравить такого зверя, то они хватали хотя бы мелкую дичь — в виде небольших блюд, чаш, кадилъниц. Как вы думаете, какой плач, какие сетования начинались среди женщин при таких обстоятельствах? Все это, может, покажется вам мелочью, но оно вызывает большую и глубокую скорбь, особенно у слабых женщин, когда, у них вырывают из рук то, чем они привыкли пользоваться при религиозных

обрядов, то, что они получили от родителей, то, что всегда принадлежало их семье.

(XXII, 48) Не ждите здесь, что я стану ходить из двери в дверь за обвинениями и говорить, что у Эсхила из Тиндарида он унес чашу, у Фрасона, также из Тиндарида, — небольшое блюдо, у Римфодора из Агригента — кадилницу. Когда я представлю свидетелей из Сицилии, то пусть Веррес выбирает кого захочет: я спрошу этого человека о блюдах, о чашах и о кадилницах; не найдется, уже не говорю — города, нет даже мало-мальски зажиточного дома, не пострадавшего от него. Придя на пирушку, он, заметив какую-нибудь чеканную вещь, не мог удержаться, чтобы не наложить на нее рук, судьи! В Тиндариде живет некто Гней Помпей; ранее его звали Филоном. Он дал Верресу обед в своей усадьбе близ Тиндарида. Он сделал то, на что сицилийцы не решались: будучи римским гражданином, он подумал, что для него это будет не так опасно; он поставил на стол блюдо с превосходными рельефными изображениями. Стоило Верресу увидеть их, как он тотчас же без всяких колебаний забрал с гостеприимного стола это драгоценное достояние пенатов и богов — покровителей гостеприимства; но все же — ведь я ранее говорил о его умеренности — он, сняв рельефы, возвратил остальное серебро, не проявив никакой алчности. (49) А Евролем из Калакты, знатный человек, связанный узами гостеприимства с Лукуллами и их близкий друг, находящийся теперь в войске Луция Лукулла? Не поступил ли Веррес с ним точно так же? Веррес у него обедал; он поставил на стол только гладкое серебро, чтобы его не ограбили; но два небольших кубка были с рельефами. Веррес, словно он был красивым актером, тут же, чтобы не уходить с пира без подарка, на глазах у гостей велел снять изображения с этих кубков.

И я не пытаюсь теперь перечислить все его поступки; в этом нет нужды, и это совершенно невозможно. Я только хочу дать вам образчики и примеры каждого из разнообразных видов его бесчестности. Ведь он вел себя не как человек, сознающий, что в будущем ему придется дать ответ во всем, но в полной уверенности, что он никогда не будет обвинен или же что опасность суда, предстоящего ему, будет тем меньше, чем больше он награбит. То, о чем я говорю, он сделал уже не тайно, не через своих друзей и посредников, но явно, с высоты трибунала, в силу своего империя и власти.

(XXIII, 50) Приехав в Катину, богатый, пользующийся почетом и процветающий город, он велел позвать к себе Дионисиарха, проагора, то есть высшее должностное лицо, и при всех приказал ему собрать и принести к нему всю серебряную утварь, какая только найдется у жителей Катины. Не слышали ли вы, как центурипинец Филарх, выдающийся человек по своей знатности, достоинствам, зажиточности, говорил это же самое под присягой — что Веррес дал ему поручение и приказал собрать и доставить ему всю серебряную утварь, какая только найдется в Центуринах, одном из самых больших и самых богатых городов во всей Сицилии? Точно так же, по требованию Верреса, Аполлодор, чьи свидетельские показания вы слышали, отправил из Агирия в Сиракузы коринфские вазы.

(51) Но лучше всего следующее: приехав в Галунтий, он, этот усердный и добросовестный претор, не пожелал сам входить в город, так как подъем был труден и крут; он велел позвать галунтинца Архагата, именитейшего человека не только у себя на родине, но и во всей Сицилии, и приказал ему немедленно свезти из города к берегу моря всю чеканную серебряную утварь, какая только найдется в Галунтии, а также все коринфские вазы. Архагат поднялся в город. Знатный человек, желавший сохранить любовь и расположение сограждан, был удручен возложенным на него поручением, но делать было нечего. Он объявил о данном ему приказании и велел всем принести, что у кого было. Все перепугались донельзя; сам тиран не двигался с места, а ждал под городом, лежа на лектике у моря, Архагата и серебро. (52) Представляете ли вы себе, какая суматоха началась в городе, как кричали или, вернее, как плакали женщины? При виде этого всякий сказал бы, что в город ввезли Троянского коня, что город взят. Вазы выносят без футляров, их вырывают из рук у женщин, во многих домах ломают двери, сбивают замки. Подумайте только: бывает, что в связи с войной и чрезвычайным положением у частных лиц отбирают щиты и люди все же дают их неохотно, хотя они и знают, что дают их для всеобщего спасения; говорю об этом, дабы вы не думали, что кто-нибудь без глубокой скорби выносил из дому свою чеканную серебряную утварь, чтобы она досталась в добычу другому. Все отнесли Верресу; позвали кибирских братьев; небольшое число вещей не понравилось им; с тех вещей, которые им понравились, сорвали чеканные пластинки и рельефы; таким образом,

галунтинцы возвратились домой с обчищенным серебром, лишившись своих любимых вещей.

(XXIV, 53) Была ли когда-либо, судьи, такая метла⁵⁰ в какой-либо провинции? Правда, нередко при посредстве местных властей кое-кто урывал что-нибудь из общинной казны; но даже тем, кто отнимал что-нибудь тайком у частного лица, все-таки выносили обвинительный приговор. И если вы хотите знать, я, даже в ущерб себе самому, считаю, что это и были настоящие обвинители, раз они хищения, совершенные такими людьми, выслеживали чуть-ем или же по оставленным ими легким следам. Но как же мне держать себя в деле Верреса, которого я нашел вывалившимся в грязи, где остался след от всего его тела? Очень трудно выступать с речью против человека, который мимоходом, оставив на короткое время свою лектику, не обманом, а открыто, своей властью, одним своим приказанием ограбил целый город, дом за домом! Все же, чтобы иметь возможность сказать, что он купил это серебро, он велел Архагату для видимости дать несколько жалких сестерциев тем, кому принадлежала серебряная утварь; Архагат нашел лишь немногих, которые согласились взять деньги, и дал их им. Веррес, однако, Архагату этих денег не вернул. Архагат хотел по суду взыскать их в Риме, но Гней Лентул Марцеллин отсоветовал ему это, как вы слышали от него самого. Прочти показания Архагата и Лентула.

(54) Но не подумайте случайно, что Веррес хотел набрать такую кучу рельефов без всякой цели; посудите сами, как высоко ставил он вас, как высоко ценил он мнение римского народа, как уважал он законы, суды, свидетельские показания сицилийцев и дельцов. Собрав такое множество рельефов и никому ни одного не оставив, он устроил в царском дворце в Сиракузах⁵¹ огромную мастерскую. Он открыто велел созвать всех художников-чеканщиков и мастеров, изготавливающих вазы; кроме этих мастеров у него было немало также и своих. Все это множество людей он запер у себя. В течение восьми месяцев кряду у них не было недостатка в работе, причем они изготавливали одни только золотые вазы. Вот тогда-то украшения, сорванные с каминов, были так умело приделаны к золотым кубкам, так удачно прилажены к золотым чашам, что казалось, будто они были созданы именно для них; при этом сам претор, чьей бдительности, если верить его словам, Сицилия обязана своим спокой-

ствием, проводил в этой мастерской большую часть дня, одетый в темную тунику и плащ.

(XXV, 55) Я не осмелился бы говорить об этом, судьи, если бы не боялся, как бы вы не сказали мне, что вы в случайных беседах с другими людьми узнали о Верресе больше, чем от меня в суде. В самом деле, кто не слышал об этой мастерской, о золотых сосудах, о его плаще? Пусть мне назовут любого порядочного человека из сиракузского конвента⁵²; я предоставлю ему слово; всякий скажет, что он либо слышал об этой мастерской, либо видел ее.

(56) О, времена, о, нравы! Приведу вам не особенно давний пример. Не один из вас знал Луция Пизона, отца ныне здравствующего Луция Пизона, который был претором⁵³. Когда он был претором в Испании — в той провинции, где его убили, — у него во время военных упражнений каким-то образом разломился на куски его золотой перстень. Желая заказать себе перстень, он велел позвать на форум в Кордубе, где он сидел в своем кресле, золотых дел мастера и на виду у всех дал ему золота по весу; он велел мастеру поставить свой стул на форуме и делать перстень в присутствии всех. Быть может, его назовут излишне добросовестным; кто хочет, может его порицать, не болес. Но ему это следовало простить: ведь он был сыном того Луция Пизона, который первый предложил закон о вымогательствах. (57) Смешно, что я теперь говорю о Верресе, после того как говорил о Пизоне Фруги; но обратите внимание на разницу между ними: Верреса, хотя он и заказал вазы, которых бы хватило на несколько абаксов, ничуть не заботило то, что ему пришлось бы услышать, не говорю уже — в Сицилии, но даже в Риме во время суда; Пизон при заказе на полунции золота хотел, чтобы вся Испания знала, откуда то золото, из которого делают перстень для претора. Веррес, бесспорно, оправдал свое родовое имя, Пизон — свое прозвание.

(XXVI) Никак не могу я ни обнять своей памятью, ни охватить своей речью все позорные поступки Верреса; я хочу коротко коснуться отдельных видов их; этот перстень Пизона только что напомнил мне об одном из них, о котором я совершенно забыл. Как вы думаете, у скольких почтенных людей снял он перстни с пальцев? Он без колебаний делал это всякий раз, когда либо драгоценный камень, либо перстень нравился ему. Расскажу вам о случае невероятном, но столь ясном, что сам Веррес, полагаю я, не станет его

отрицать. (58) Его переводчику Валенцию прислали письмо из Агригента, Веррес случайно обратил внимание на оттиск печати в белой глине⁵⁴; печать понравилась ему; он спросил, откуда письмо получено; ему отвечали, что оно из Агригента. Он отправил письмо тем людям, которым обыкновенно писал в таких случаях, с приказанием при первой возможности доставить ему этот перстень. Таким образом, после его письма был снят перстень с пальца почтенного отца семейства, римского всадника Луция Тиция.

Поистине жадность Верреса совершенно невероятна: ибо если даже допустить, что он хотел иметь по тридцати прекрасно убранных лож с прочими принадлежностями для пира для каждой из столовых, имеющихся у него не только в Риме, но и во всех его усадьбах, то и тогда он наготовил их себе слишком много. В Сицилии не было ни одного богатого дома, где бы он не устроил для себя ткацкой мастерской. (59) В Сесте живет очень богатая и знатная женщина по имени Ламия; в течение трех лет ее дом был уставлен ткацкими станками, и у нее изготовлялись ковры, и притом только окрашенные пурпуром; то же делал богач Аттал в Нете, Лисон — в Лилибее, Критолай в Этне, в Сиракузах — Эсхрион, Клеомен и Феомнаст, в Гелоре — Архонид. Мне, скорее, не хватит дня для перечисления, а не имен. — «Но пурпур давал он, друзья его — только рабочую силу». — Верю; ведь я не склонен вменять ему в вину все; как будто мне недостаточно для обвинения и того, что у него было так много пурпура, который он мог дать; что он хотел вывезти так много; наконец, того, с чем он сам согласен: он пользовался при этом рабочей силой своих друзей. (60) Далее, изготовлялись ли, по вашему мнению, в Сиракузах в течение трех лет для кого-нибудь, кроме него, ложа с бронзовыми украшениями и бронзовые канделябры? — «Он их покупал». — Верю; я только сообщаю вам, судьи, чем он, будучи претором, занимался в провинции, дабы никому не казалось, что он был недостаточно заботлив и не умел пользоваться властью, чтобы устроиться и обставиться вполне удовлетворительно.

(XXVII) Перехожу теперь уже к хищениям, не к жадности, не к алчности Верреса, а к такому его деянию, которое, на мой взгляд, охватывает и заключает в себе все нечестивые поступки; бессмертные боги были этим деянием оскорблены, уважение к римскому народу и авторитет его

имени унижены; права гостеприимства поруганы; это преступление Верреса оттолкнуло от нас всех искренно расположенных к нам царей и подвластные им народы.

(61) Как вам известно, в Риме недавно были сирийские царевицы, сыновья царя Антиоха; они приезжали не по поводу получения ими царской власти в Сирии (их права на нее были бесспорны, так как они унаследовали ее от отца и предков); но они полагали, что им и их матери Селене должна достаться царская власть в Египте. Когда, вследствие неблагоприятного положения дел в нашем государстве⁵⁵, им не удалось при посредстве сената добиться того, чего они хотели, они выехали в Сирию, в царство своих отцов. Один из них, которого зовут Антиохом, пожелал ехать через Сицилию. И вот он, во время претуры Верреса, прибыл в Сиракузы. (62) Тогда-то Веррес и решил, что ему досталось крупное наследство, так как в его царство приехал и в его руки попал человек, который, как он слышал и подозревал, вез с собой много прекрасных вещей. Веррес послал ему довольно щедрые подарки для домашнего обихода — масла, вина, сколько нашел нужным, а также и пшеницы в достаточном количестве из своих десятин. Затем он пригласил самого царевица на обед. Он велел пышно и великолепно украсить триклиний⁵⁶ и расставить то, чего у него было вдоволь, — множество серебряных ваз прекрасной работы; ибо золотых он еще не успел изготовить. Он постарался, чтобы пир был обставлен и снабжен всем, чем следует. К чему много слов? Царевиц отбыл убежденный и в том, что Веррес весьма богат, и в том, что ему самому был оказан должный почет.

Затем он сам пригласил претора на обед к себе; велел выставить напоказ все свои богатства — много серебряной утвари, немало и золотых кубков, украшенных, как это принято у царей, особенно в Сирии, прекрасными самоцветными камнями. Среди них был и ковш для вина, выдолбленный из цельного, очень большого самоцветного камня, с золотой ручкой; вы слышали показания о нем, данные, я полагаю, вполне достойным доверия и авторитетным свидетелем, Квинтом Минуцием. (63) Веррес стал брать в руки один сосуд за другим, хвалить их, любоваться ими. Царевиц радовался, что пир у него доставляет такое удовольствие претору римского народа. Когда гости разошлись, Веррес, как показал исход дела, стал думать только об одном — как бы ему отпустить царевица из провинции обобраным и ограбленным. Он об-

ратился к нему с просьбой дать ему красивые вазы, которые он у него видел; он будто бы хотел показать их своим мастерам-чеканщикам. Царевич, не зная его, дал их очень охотно, без малейшего подозрения; Веррес прислал также за ковшем из самоцветного камня; он, по его словам, хотел внимательнее осмотреть его; ему послали и ковш.

(XXVIII, 64) Теперь, судьи, внимательно слушайте продолжение; впрочем, об этом вы слышали и римский народ услышит не впервые, и это дошло до чужеземных народов вплоть до самых далеких окраин. Те царевичи, о которых я говорю, привезли в Рим осыпанный чудесными камнями канделябр изумительной работы, чтобы поставить его в Капитолии⁵⁷; но так как храм оказался неоконченным⁵⁸, то они не смогли поставить там канделябр и не хотели выставлять его напоказ всем, чтобы, когда его, в свое время, поставят в святилище Юпитера Всеблагого Величайшего, он показался и более драгоценным и более великолепным, и более блестящим, когда люди узрят его в его свежей и невиданной ранее красоте. Они решили увезти его с собой обратно в Сирию с тем, чтобы, получив известие о дедикации статуи Юпитера Всеблагого Величайшего, снарядить посольство и среди других приношений доставить в Капитолий и этот редкостный и великолепный дар. Это каким-то образом дошло до ушей Верреса: ибо царевич хотел сохранить это в тайне, но не потому, что чего-либо боялся или что-нибудь подозревал, а так как не желал, чтобы многие люди увидели этот канделябр раньше, чем его увидит римский народ. Веррес начал просить и усиленно уговаривать царевича прислать ему канделябр; он, по его словам, желает взглянуть на него и никому не позволит видеть его. (65) Антиох, этот царственный юноша, конечно, не заподозрил Верреса в бесчестности; он велел своим рабам, самым тщательным образом закрыв канделябр, отнести его в преторский дом. Когда его принесли и поставили, сняв покрывала, Веррес стал восклицать, что вещь эта достойна сирийского царства, достойна быть царским даром, достойна Капитолия. И в самом деле, канделябр обладал таким блеском, какой должен был исходить от столь блестящих и великолепных камней, отличался таким разнообразием работы, что искусство, казалось, вступило в состязание с пышностью, такими большими размерами, что он, несомненно, предназначался не для повседневного употребления в доме, а для украшения величайшего храма. Когда посланным по-

казалось, что Веррес насмотрелся вдоволь, они начали поднимать канделябр, чтобы нести его обратно. Веррес сказал, что хочет смотреть еще и еще, что он далеко еще не удовлетворен; он велел им уйти и оставить канделябр у него. Так они вернулись к Антиоху с пустыми руками.

(XXIX, 66) Вначале у царевича не было ни опасений, ни подозрений; проходит день, другой, несколько дней; канделябра не возвращают. Тогда он посылает к Верресу людей с покорной просьбой возвратить канделябр; Веррес велит им прийти в другой раз. Царевич удивлен, посылает вторично; вещи не отдают. Он сам обращается к претору и просит его отдать канделябр. Обратите внимание на медный лоб Верреса, на его неслыханное бесстыдство. Он знал, он слышал от самого царевича, что этот дар предназначен для Капитолия; он видел, что его сберегают для Юпитера Всеблагого Величайшего, для римского народа, и все-таки стал настойчиво требовать, чтобы дар этот отдали ему. Когда царевич ответил, что этому препятствует и его благоговение перед Юпитером Капитолийским и забота об общем мнении, так как многие народы могут засвидетельствовать назначение этой вещи, Веррес начал осыпать его страшными угрозами. Когда же он понял, что его угрозы действуют на царевича так же мало, как и его просьбы, он велел Антиоху немедленно, еще до наступления ночи, покинуть провинцию: он, по его словам, получил сведения, что из Сирии в Сицилию едут пираты. (67) Царевич при величайшем стечении народа на форуме в Сиракузах — пусть никто не думает, что я привожу неясные улики и присочиняю на основании простого подозрения, — повторяю, на форуме в Сиракузах, призывая в свидетели богов и людей, со слезами на глазах стал жаловаться, что сделанный из самоцветных камней канделябр, который он собирался послать в Капитолий и поставить в знаменитейшем храме как памятник его дружеских чувств союзника римского народа, Гай Веррес у него отнял; утрата других принадлежавших ему вещей из золота и редких камней, находящихся ныне у Верреса, его не огорчает; но отнять у него этот канделябр — низко и подло. Хотя он и его брат уже давно в мыслях и в сердце своем посвятили этот канделябр, все же он теперь, в присутствии всего конвента римских граждан, дает, дарит, жертвует и посвящает его Юпитеру Всеблагому Величайшему и призывает самого Юпитера быть свидетелем его воли и обета. (XXX) Найдутся

ли силы и достаточно громкий голос, чтобы заявить жалобу и поддержать одно это обвинение? Царевича Антиоха, которого мы все почти в течение двух лет видели в Риме с его блестящей царской свитой, друга и союзника римского народа, сына и внука царей, бывших нашими лучшими друзьями, происходящего от предков, издревле бывших прославленными царями, из богатейшего и величайшего царства, Веррес внезапно прогнал из провинции римского народа! (68) Как, по твоему мнению, примут это чужеземные народы, что скажут они, когда молва о твоём поступке дойдет в чужие царства и на край света, когда узнают, что претор римского народа оскорбил в своей провинции царя, ограбил гостя, изгнал союзника и друга римского народа? Знайте, судьи, имя ваше и римского народа навлечет на себя ненависть и породит чувство ожесточения у чужеземных народов, если это великое беззаконие Верреса останется безнаказанным. Все будут думать, — в особенности когда эта молва об алчности и жадности наших граждан разнесется во все края, — что это вина не одного только Верреса, но также и тех, кто одобрил его поступок. Многие цари, многие независимые городские общины, многие богатые и влиятельные частные лица, конечно, намерены украшать Капитолий так, как этого требуют достоинство храма и имя нашей державы. Если они поймут, что вы похищение этого царского дара приняли близко к сердцу, то они будут считать, что их усердие и их подарки будут по сердцу вам и римскому народу; но если они узнают, что вы равнодушно отнеслись к такому вопиющему беззаконию по отношению к столь известному царю и к столь великолепному дару, то они впредь не будут столь безумны, чтобы тратить свои труды, заботы и деньги на вещи, которые, по их мнению, не будут вам по сердцу.

(XXXI, 69) Здесь я призываю тебя, Квинт Катул! Ведь речь идет о славном и прекраснейшем памятнике для тебя самого. По этой статье обвинения ты должен проявить не только строгость судьи, но, можно сказать, также и неприимиримость недруга и обвинителя. Ведь именно тебе милостью сената и римского народа в этом храме воздается слава, твое имя становится бессмертным вместе с этим храмом; тебе следует потрудиться, тебе следует позаботиться о том, чтобы Капитолий, восстановленный в большем великолепии, был также и украшен еще богаче, дабы казалось, что пожар возник по промыслу богов — не для того, чтобы

уничтожить храм Юпитера Всеблагого Величайшего, но чтобы потребовать постройки еще более прекрасного и более величественного храма. (70) Ты слышал, как Квинт Минуций говорил, что царевич Антиох жил в его доме в Сиракузах; что он знает о передаче канделябра Верресу и о том, что он его не возвратил; ты уже слышал и еще услышишь показания членов сиракузского конвента о том, что царевич Антиох в их присутствии пожертвовал и посвятил канделябр Юпитеру Всеблагому Величайшему. Даже если бы ты и не был судьей, но если бы тебе об этом заявили, то именно ты и должен был бы начать судебное преследование, ты — подать жалобу, ты — возбудить народ. Поэтому я и не сомневаюсь в строгости, с какой ты, как судья, отнесешься к этому преступлению, когда ты сам должен был бы вчинить иск и обвинять Верреса перед другим судьей с гораздо большей силой, чем это делаю я.

(XXXII, 71) А вы, судьи? Можете ли вы представить себе более возмутительный и более неслыханный поступок? Веррес будет держать в своем доме канделябр Юпитера, [украшенный золотом и драгоценными камнями]? Канделябр, который должен был освещать и украшать своим блеском храм Юпитера Всеблагого Величайшего, будет стоять у Верреса во время таких пиров, которые будут охвачены пламенем привычного для него разврата и позора? В доме этого гнуснейшего сводника вместе с другими украшениями, полученными по наследству от Хелидоны, будут находиться украшения Капитолия? Может ли, по вашему мнению, что-либо быть священным и неприкосновенным для этого человека, который даже теперь не сознает всей тяжести совершенного им преступления, который является в суд, где он не может даже обратиться с мольбой к Юпитеру Всеблагому Величайшему и попросить у него помощи, как поступают все люди; для человека, от которого даже бессмертные боги требуют возвращения своей собственности в этом суде, учрежденном для того, чтобы возвращения собственности требовали люди? И мы удивляемся, что Веррес оскорбил в Афинах Миневру, на Делосе — Аполлона, на Самосе — Юнону, в Перге — Диану и, кроме того, многих богов по всей Азии и Греции, раз он даже от ограбления Капитолия удержаться не мог? Тот храм, который украшают и намерены украшать на свои деньги частные лица, Гай Веррес не позволил украшать царям! (72) После этого святотатательства для Верреса уже не было ничего ни свя-

щенного, ни запретного во всей Сицилии. Он три года вел себя в этой провинции так, словно объявил войну не только людям, но даже бессмертным богам.

(XXXIII) В Сицилии, судьи, есть очень древний город Сегеста, по преданию, основанный Энеем, когда он бежал из Трои и приехал в эту местность⁵⁹. Поэтому жители Сегесты считают себя связанными с римским народом не только постоянным союзом и дружбой, но и кровным родством. Некогда эта община самостоятельно и по собственному почину вела войну с пуннийцами; город был захвачен карфагенянами и разрушен ими, причем все статуи, какие только могли служить украшением городу, были увезены в Карфаген. В Сегесте была бронзовая статуя Дианы, отличающаяся помимо своей необычайной древности и святости редкостной художественной работой. Будучи перевезена в Карфаген, она переменила только место и поклонявшихся ей людей; благоговение перед ней осталось неизменным; ибо она ввиду своей исключительной красоты даже врагам казалась достойной почитания.

(73) Спустя несколько столетий, Публий Сципион во время третьей пунической войны взял Карфаген⁶⁰. После этой победы — обратите внимание на доблесть и добросовестность Сципиона, и вы порадуетесь примерам прославленной доблести наших сограждан и признаете необычайную дерзость Верреса, заслуживающую еще большей ненависти, — Сципион, зная, что Сицилия очень долго и очень часто страдала от нападений карфагенян, созвал представителей всех городских общин Сицилии и приказал все разыскать; он обещал всячески позаботиться о том, чтобы каждому городу была возвращена вся его собственность. Тогда городу Фермам и было возвращено то, что было взято в Гимере, о чем я уже говорил; тогда одни предметы были возвращены Геле, другие — Агригенту; среди них был также тот знаменитый бык, принадлежавший, говорят, жесточайшему из всех тиранов, Фалариду⁶¹, который с целью казни сажал в него живых людей и приказывал разводить под ним огонь. Возвращая этого быка жителям Агригента, Сципион, говорят, сказал, что им следует призадуматься над вопросом, что для них выгоднее: быть ли рабами своих соотечественников, или же повиноваться римскому народу? Ведь один и тот же предмет будет служить памятником, напоминающим и о жестокости их согражданина и о нашем мягкосердечии.

(XXXIV, 74) В то время в Сегесту с величайшей заботливостью была возвращена та самая статуя Дианы, о которой я говорю; ее привезли в Сегесту и при громких выражениях благодарности и ликования граждан поставили на ее прежнее место. Ее установили в Сегесте на довольно высоком цоколе, на котором крупными буквами было вырезано имя Публия Африканского и было написано, что он, взяв Карфаген, возвратил статую в Сегесту. Статуе Дианы поклонялись граждане; все приезжие ходили смотреть на нее; когда я был квестором, мне прежде всего показали эту статую. Это была очень большая и высокая статуя; богиня была одета в столу⁶²; несмотря на размеры статуи, она казалась легкой и юной; на плече у нее висел колчан со стрелами; в левой руке она держала лук, в правой несла перед собой пылающий факел.

(75) Когда этот грабитель и враг всех священнодействий и обрядов увидел ее, он воспылал такой жадностью и безумием, словно богиня поразила его тем самым факелом. Он потребовал от местных властей, чтобы они сняли статую с цоколя и отдали ему ее; он указал им, что ему нельзя ничем более угодить. Но они отвечали, что это запрещено им божеским законом и что их удерживает от этого как строжайший религиозный запрет, так и страх перед законами и правосудием. Веррес стал то просить, то запугивать их, пускать в ход то обещания, то угрозы. В ответ ему они указывали на имя Публия Африканского; говорили, что статуя есть собственность римского народа, что они не властны над памятником, который прославленный император⁶³, взяв вражеский город, захотел поставить как воспоминание о победе римского народа.

(76) Так как Веррес не отставал, более того — изо дня в день становился все настойчивее, то вопрос обсуждался в сенате. Все резко возражали, и тогда, то есть в первый приезд, ему было отказано. После этого он именно на Сегесту начал налагать всяческие совершенно непосильные для населения повинности, требуя матросов и гребцов, приказывая доставлять ему хлеб. Кроме того, он вызывал к себе должностных лиц, посылал за лучшими и знатнейшими из граждан, таскал их за собой из одного судебного округа провинции в другой, каждому в отдельности сулил всевозможные беды, а всем им грозил, что сотрет с лица земли их город. Сломленные многочисленными бедствиями и сильным страхом, жители Сегесты

наконец решили повиноваться приказанию претора. К великому горю и скорби всей общины, при громком плаче и причитаниях всех мужчин и женщин, был сдан подряд на снятие статуи Дианы.

(XXXV, 77) Обратите внимание, как велико было благоговение перед этой богиней; знайте, судьи, в Сегесте не нашлось никого — ни свободно-рожденного, ни раба, ни гражданина, ни чужеземца, который бы осмелился прикоснуться к этой статуе; были наконец привезены, знайте это, из Лилибея какие-то рабочие из варваров и они, не зная обо всем деле и о религиозном запрете, за плату сняли статую. А знаете ли вы, какая толпа женщин собралась, когда статую вывозили из города, как плакали старики? Ведь некоторые из них еще помнили тот день, когда та же Диана, привезенная назад в Сегесту из Карфагена, своим возвращением возвестила о победе римского народа. Как непохож был этот день на те времена! Тогда император римского народа, прославленный муж, возвращал жителям Сегесты богов отчизны, отбитых им во вражеском городе; теперь из союзного города претор того же народа, гнуснейший и подлейший человек, увозил тех же богов, совершая нечестивое злодеяние. Разве не рассказывали по всей Сицилии о том, как все матроны и девушки Сегесты собрались, когда Диану увозили из их города, как они ее умащали благовониями, мазями, украшали венками и цветами, воскуряя ладан и благоуханные смолы, и провожали до самых границ своей земли?

(78) Если тогда, облеченный империем, ты в своей алчности и дерзости, не побоялся нарушить столь строгий религиозный запрет, то неужели даже теперь, когда тебе и твоим детям грозит такая большая опасность, он тебя не страшит? Какой человек — подумай об этом — придет тебе на помощь против воли богов, и тем более кто из богов, после того как тобой были оскорблены такие почитаемые святыни? Во времена мира и благополучия Диана тебе не внушила должного благоговения к себе — она, которая, увидев взятыми и сожженными два города, где она находилась, дважды, во время двух войн, была спасена от огня и от меча; она, которая, пережив после победы карфагенян место своего пребывания, все-таки продолжала пользоваться поклонением, а возвратившись на свое прежнее место благодаря доблести Публия Африканского встретила такое же благоговейное отношение к себе?

Когда после этого злодеяния Верреса цоколь с вырезанным на нем именем Публия Африканского остался пустым, все стали негодовать и возмущаться не только поруганием святыни, но также тем, что Гай Веррес, посягнув на славу подвигов Публия Африканского, храбрейшего мужа, на воспоминания о его доблести, на памятник его победы. (79) Когда Верресу сказали об этом, он решил, что все будет забыто, если он уничтожит и самый цоколь, как бы обличавший его в злодеянии. Поэтому по его приказанию был сдан подряд на снос цоколя; об условиях этого подряда вам прочитали во время первого слушания дела на основании записей в книгах города Сегесты.

(XXXVI) Тебя призываю я теперь, Публий Сципион⁶⁴, да, тебя, украшенный высокими доблестями юноша! Настоятельно требую от тебя — исполни свой долг перед своим родом и именем. Почему ты сражаешься за того, кто унизил ваш прославленный и честный род? Почему ты хочешь, чтобы этот человек нашел защиту? Почему я выступаю здесь вместо тебя, почему я исполняю твой долг? Почему Марк Туллий требует восстановления памятников Публия Африканского, а Публий Сципион защищает того, кто уничтожил их? Неужели, несмотря на то, что обычай, завещанный нам предками, требует, чтобы каждый оберегал памятники предков, не позволяя даже украшать их чужим именем, ты станешь поддерживать того, кто не просто преградил доступ с какой-либо стороны к памятнику Публия Сципиона, а разрушил его и уничтожил до основания? (80) Скажи, — во имя бессмертных богов! — кто же будет чтить память об умершем Публии Сципионе, оберегать памятники, свидетельствующие о его доблести, если ты их покидаешь, оставляешь на произвол судьбы и не только мириться с надругательством над ними, но и защищаешь того, кто над ними надругался и их осквернил?

Здесь находятся твои клиенты, жители Сегесты, союзники и друзья римского народа; они тебе говорят, что Публий Африканский, разрушив Карфаген, возвратил статую Дианы их предкам, что она была поставлена в Сегесте и подвергнута дедикации от имени этого императора; что Веррес приказал снять ее с подножия и увезти, а имя Публия Сципиона вообще уничтожить и стереть всякие следы его; они умоляют и заклинают тебя вернуть им их святыню, а твоему роду — честь и славу, чтобы то, что они благодаря Публию Африканскому получили из враже-

ского города, они могли благодаря тебе спасти из дома грабителя.

(XXXVII) Какой ответ можешь ты, говоря по чести, дать им? Что могут они делать, как не умолять тебя о покровительстве? Они находятся здесь и тебя умоляют. Ты можешь поддержать величие своего рода, Сципион, ты это можешь; в тебе есть все то, чем судьба или природа дарит людей. Я не хочу заранее присваивать себе плоды того, что входит в твои обязанности, и стяжать похвалы, довлеющие другим людям; чужих заслуг я не добиваюсь; мне, при моем чувстве долга, не следует, пока жив и невредим Публий Сципион, юноша в полном расцвете сил, объявлять себя передовым бойцом и защитником памятников Публия Сципиона. (81) Поэтому, если ты обязуешься оберегать славу своего рода, мне надо будет не только молчать о ваших памятниках, но и радоваться, что Публию Африканскому после его смерти выпала завидная доля: заслуженный им почет защищают члены его же рода и он не нуждается в чьей-либо посторонней помощи. Но если тебе мешает твое дружеское отношение к Верресу, если ты полагаешь, что выполнение моего требования в твои обязанности не входит, то я заменю тебя, я возьму на себя дело, которое я не считал своим.

Но пусть тогда ваша прославленная знать отныне перестанет сетовать на то, что римский народ охотно предоставляет и всегда предоставлял почетные должности деятельным новым людям. Нечего сетовать на то, что в нашем государстве, повелевавшем всеми народами благодаря своей доблести, самое большое значение придается именно доблести. Пусть другие хранят у себя изображение Публия Африканского, пусть доблестью и именем умершего украшаются другие; этот знаменитый муж был таким человеком, оказал римскому народу такие услуги, что хранить его память должен не один его род, а все государство. Это потому является и моей обязанностью как человека, что я принадлежу к тому государству, которое он сделал обширным, знаменитым и славным, особенно же и потому, что я по мере своих сил подражаю ему в том, в чем он превосходил других людей: в справедливости, трудолюбии, умеренности, в защите обиженных, в ненависти к бесчестным; это родство, основанное на сходных стремлениях и трудах, не менее тесно, чем то, каким гордитесь вы, — родство по происхождению и имени.

(XXXVIII, 82) Я требую от тебя, Веррес, памятника Публия Африканского; дело сицилийцев, которое я взялся вести, я оставляю; суда по делу о вымогательстве пусть в настоящее время не будет; беззакониями по отношению к жителям Сегесты пусть в настоящее время пренебрегут. Пусть будет восстановлен цоколь, поставленный Публием Сципионом; пусть вырежут на нем имя непобедимого императора; пусть будет воздвигнута на ее прежнем месте прекрасная статуя, взятая в Карфагене. Этого требует от тебя не защитник сицилийцев, не твой обвинитель, не жители Сегесты, но тот, кто взялся оберегать и охранять честь и славу Публия Африканского.

Я не боюсь, что выполнение мной этого долга не будет одобрено судьей Публием Сервилием; так как он сам совершил величайшие подвиги и теперь усиленно занят сооружением памятников, которые должны их увековечить, он, конечно, захочет передать эти памятники не только своим потомкам, но и всем храбрым мужам и честным гражданам для охраны, а не на разграбление бесчестным людям. Я не боюсь, что ты, Квинт Катул, воздвигший величайший и славнейший в мире памятник, не согласишься с тем, чтобы возможно большее число людей было охранителями памятников и чтобы все честные люди считали защиту славы других людей своей обязанностью. (83) Меня самого остальные грабежи и гнусные поступки Верреса возмущают лишь в такой мере, что я считаю нужным только осуждать их; но в этом случае я испытываю сильнейшую скорбь, ибо мне кажется, что не может быть поступка более недостойного, более недопустимого. Веррес украсит памятниками Публия Африканского свой запятанный развратом, запятанный гнусностями, запятанный позором дом? Веррес поместит памятный дар высоконравственного, благороднейшего мужа — статую девы Дианы — в доме, из которого не выходят гнусные распутницы и сводники.

(XXXIX, 84) Но, скажешь ты, это был единственный памятник Публия Африканского, который ты осквернил! А разве в Тиндариде ты не забрал прекрасной статуи Меркурия⁶⁵, воздвигнутой тем же Сципионом в знак его благоволения к ее жителям? И каким образом, — бессмертные боги! — как нагло, как самовольно, как бесстыдно! Вы недавно слышали показания представителей Тиндариды, людей весьма уважаемых и первых среди своих сограждан; статую Меркурия, в честь которого с величайшим благого-

вением ежегодно совершались обряды, статую, которую Публий Африканский, взяв Карфаген, отдал Тиндариде в память и в знак не только своей победы, но и их верности как союзников, Веррес насильственно, преступно, на основании своего империя у них отнял. Тотчас же по своем приезде в этот город Веррес — словно это было не только допустимо, но и совершенно необходимо, словно таково было поручение сената и повеление римского народа — велел снять статую с цоколя и отправить в Мессану. (85) Так как присутствовавшим это показалось возмутительным, а тем, кто об этом слышал, — невероятным, то он в свой первый приезд не настаивал. Уезжая, он поручил проагору⁶⁶ Сопатру, который уже давал вам показания, снять статую с цоколя; когда тот не согласился, он стал ему угрожать и немедленно уехал из города. Проагор доложил сенату; все ответили решительным отказом. Коротко говоря, Веррес вторично приехал в город через некоторое время и тотчас же осведомился о статуе. Ему ответили, что сенат не дает своего согласия, что всякому, кто к ней прикоснется без разрешения сената, грозит смертная казнь; заодно упомянули и о религиозном запрете. Тогда Веррес: «О каком толкуешь ты мне религиозном запрете, о какой казни, о каком сенате? Живым не выпущу; умрешь под розгами, если мне не отдадут статуи». Сопатр вторично, со слезами на глазах, доложил сенату о положении дела, сообщил об алчности и об угрозах Верреса. Сенаторы не дали Сопатру никакого ответа, но разошлись в волнении и смятении. Проагор, явившись по зову претора, объяснил ему положение дел и сказал, что его требование не выполнимо. (XI) Обратите внимание (ведь не следует пропускать ничего такого, что имеет отношение к бессовестности Верреса), что это говорилось во время присутствия, всенародно, с кресла наместника, с возвышенного места.

(86) Была глубокая зима; погода, как вы слышали от самого Сопатра, была очень холодная, шел сильный дождь, как вдруг Веррес приказал ликторам столкнуть Сопатра с портика, где сам он сидел, на форум и раздеть донага; едва успел он отдать это распоряжение, как Сопатр уже стоял голый, окруженный ликторами. Все думали, что несчастный и притом ни в чем не виноватый человек будет засечен розгами. В этом они ошиблись. Неужто Веррес станет без оснований сечь розгами союзника и друга римского народа? Не настолько он бессердечен: не все пороки соединены в

одном человеке; никогда не был он жесток. Он обошелся с Сопатром мягко и милосердно. В Тиндариде, как почти во всех городах Сицилии, посреди форума стоят конные статуи Марцеллов; из них он выбрал статую Гая Марцелла⁶⁷, который еще недавно оказал величайшие услуги этому городу и вообще всей провинции. Вот к ней он и приказал привязать, с разведенными руками и ногами, Сопатра, известного человека у него на родине и к тому же занимающего высшую должность. (87) Какие мучения испытал он, привязанный обнаженным под открытым небом, в дождь и холод, может себе представить каждый. И этой оскорбительной жестокости был положен конец не раньше, чем вся присутствовавшая толпа народа, возмущенная ужасным зрелищем и охваченная чувством сострадания, своим криком заставила сенат обещать Верресу ту статую Меркурия. Люди кричали, что бессмертные боги сами отомстят за себя, но что невинный человек не должен погибать. Тогда сенат в полном составе явился к Верресу и обещал ему отдать статую. Еле живой, почти окоченевший Сопатр был снят со статуи Марцелла.

Я не могу обвинять Верреса с надлежащей последовательностью, если бы и желал: для этого надо обладать не просто дарованием, но, так сказать, особенным искусством. (XLI, 88) Этот случай со статуей Меркурия в Тиндариде дает одну статью обвинения, и я представляю ее как таковую: между тем в ней одной заключается несколько статей; как мне их различить и разделить — не знаю. Здесь и вымогательство, так как Веррес взял у союзников статую, стоившую больших денег, и казнокрадство, так как он не поколебался присвоить себе статую, составлявшую собственность римского народа, взятую из захваченной у врагов добычи и поставленную от имени нашего императора; здесь и оскорбление величества, так как он осмелился снять и увезти памятник нашей державы, нашей славы и подвигов; здесь и святотатство, так как он оскорбил величайшие святыни; здесь и жестокость, так как он придумал новый и утонченный вид мучения для невинного человека, вашего союзника и друга.

(89) Но вот чего не могу я понять, вот чему не придумаю я названия — как он воспользовался для этого статуей Гая Марцелла. Почему? Не потому ли, что это был патрон сицилийцев⁶⁸? И что же? Какой вывод можно было сделать из этого? Что это обстоятельство может означать для кли-

ентов и гостеприимцев и пользу и несчастье? Или ты хотел показать, что от твоего самоуправства не защитит никакой патрон? Но кто же не знает, что империй присутствующего негодая сильнее покровительства отсутствующих честных людей? Или, может быть, в этом поступке сказываются твое поистине исключительное самомнение, заносчивость и спесь? Ты, видимо, думал умалить величие Марцеллов. Так, значит, Марцеллы теперь уже не патроны сицилийцев; их место занял Веррес. (90) Какую же доблесть, какие достоинства открыл ты в себе, раз ты попытался перевести на себя клиентелу такой блистательной, такой знаменитой провинции, отняв ее у надежнейших и давнишних патронов? Да разве ты, при твоей испорченности, тупости и лености, можешь обеспечить клиентелу, уже не говорю всей Сицилии, нет, хотя бы одного, самого нищего сицилийца? И это тебе статуя Марцелла послужила орудием для пытки клиентов Марцеллов? Поставленный ему почетный памятник ты хотел превратить в орудие мучения для тех, кто ему оказал почет? А далее? Какой представлял ты себе дальнейшую участь своих собственных статуй? Такой ли, какой она оказалась в действительности? Ведь как только жители Тиндарида узнали, что Верресу назначен преемник, они опрокинули статую Верреса, которую он велел поставить рядом со статуями Марцеллов, и притом на более высоком цоколе.

(XLII) Судьба, благоволящая сицилийцам, теперь дала тебе в качестве судьи Гая Марцелла с тем, чтобы мы передали тебя, связанным и скованным, на строгий суд тому человеку, к чьей статуе во время твоей претуры привязывали сицилийцев. (91) Сначала, судьи, Веррес пытался утверждать, что жители Тиндарида продали эту статую Меркурия присутствующему здесь Марку Марцеллу Эсернину, и надеялся, что также и Марк Марцелл подтвердит это. Я всегда отказывался верить, что молодой человек из такого знатного рода, патрон Сицилии, согласится дать свое имя для того, чтобы снять вину с Верреса. Но мной все предусмотрено и приняты все меры предосторожности, так что, если бы сверх ожидания и нашелся охотник взять на себя вину Верреса и стать обвиняемым по этой статье, он все же ничего не мог бы достигнуть, ибо я привез таких свидетелей и доставил такие письменные доказательства, что в вине Верреса не может быть никаких сомнений. (92) Из официальных записей видно, что статуя Меркурия была

отправлена в Мессану за счет города; в них говорится, каковы были расходы; этим делом от имени города ведал легат Полея. Вы спросите, где он? Здесь, среди свидетелей. Это было сделано по распоряжению проагора Сопатра. Кто это такой? Тот самый, которого привязали к статуе. А он где? Вы его видели и слышали его показания. Снятием статуи с цоколя распоряжался гимнасиарх⁶⁹ Деметрий, ведавший местом, где она стояла. Что же? Я ли это говорю? Да нет же — он сам, присутствующий здесь. По его словам, сам Веррес, будучи уже в Риме, недавно обещал вернуть статую представителям городской общины, если будут уничтожены доказательства его виновности по этому делу и если представители ему поручатся, что не выступят как свидетели. Это сказали в вашем присутствии Зосипп и Исмений, знатнейшие люди и первые среди граждан Тиндарида.

(XLIII, 93) Далее, не похитил ли ты в Агригенте, из священнейшего храма Эскулапа, памятный дар того же Публия Сципиона — прекрасную статую Аполлона, на бедре которой мелкими серебряными буквами было написано имя Мирона? Когда он сделал этот тайком, используя для своего злодеяния, для кощунственной кражи, в качестве наводчиков и пособников нескольких бесчестных людей, городская община была сильно возмущена. Ибо жители Агригента одновременно лишались дара Сципиона Африканского, отечественной святыни, украшения города, памятника победы и доказательства их союза с нами. Поэтому по почину первых граждан того города квесторам и эдилам было поручено охранять храмы в ночное время. Ведь в Агригенте — мне думается, потому, что его население многочисленно и состоит из честных людей, а также потому, что римские граждане, стойкие и уважаемые люди, многочисленные в этом городе, живут с коренными жителями душа в душу, занимаясь торговлей, — Веррес не решался открыто требовать, а тем более уносить то, что ему нравилось.

(94) В Агригенте, недалеко от форума, есть храм Геркулеса, священный в глазах населения и глубоко почитаемый. В нем есть бронзовая статуя самого Геркулеса, едва ли не самое прекрасное из всех произведений искусства, когда-либо виденных мной (правда, я не так уж много понимаю в таких вещах, но много видел их); его так глубоко почитают, судьи, что его губы и подбородок несколько

стерлись, потому что люди при просительных и благодарственных молитвах не только обращаются к нему, но и целуют его. К этому храму во время пребывания Верреса в Агригенте в глухую ночь внезапно под предводительством Тимархида сбежалась толпа вооруженных рабов и хотела ворваться в храм. Ночная стража и хранители храма подняли крик; вначале они попытались оказать сопротивление и защитить храм, но их отогнали, избив палицами и дубинами; затем, сбив запоры и выломав двери, нападавшие попытались снять статую с цоколя и увести ее на катках. Тем временем все услыхали крики и по всему городу разнеслась весть о том, что на статуи богов их отчизны нападают, но что это не неожиданный вражеский налет и не внезапный разбойничий набег, нет, из дома и из когорты претора явилась хорошо снаряженная и вооруженная шайка беглых рабов. (95) В Агригенте не было человека, который бы, узнав о случившемся, не вскочил с постели и не схватил первого попавшегося ему под руку оружия, как бы слаб и стар он ни был. В скором времени к храму сбежался весь город. Уже больше часа множество людей выбивалось из сил, стараясь сдвинуть статую с места; но она никак не поддавалась, хотя одни пытались подвинуть ее, подложив под нее катки, другие тащили ее к себе канатами, привязав их ко всем ее членам. Но вот внезапно сбежались жители Агригента; градом посыпались камни; в бегство обратились ночные вояки прославленного императора. Две крошечные статуэтки они все-таки прихватили, чтобы не возвращаться к этому похитителю святынь с совсем пустыми руками. Нет такого горя, которое бы лишило сицилийцев их способности острить и шутить; так и в этом случае они говорили, что к числу подвигов Геркулеса надо относить с одинаковым основанием победу и над этим чудовищным боровом и над вепрем Эриманфским.

(XLIV, 96) Примеру доблестных жителей Агригента в дальнейшем последовали жители Ассора⁷⁰, храбрые и верные мужи, хотя их город далеко не так известен и знаменит. В пределах Ассорской области протекает река Хрис. Жители считают ее божеством и почитают с величайшим благоговением. Храм Хриса находится за городом, у самой дороги из Ассора в Энну; в нем стоит превосходная мраморная статуя этого божества. Вследствие исключительной святости этого храма, Веррес не осмелился потребовать от жителей Ассора эту статую. Он дал поручение Тлеполему и Гиерону.

Они явились ночью с вооруженными людьми и взломали двери храма. Но храмовые служители и сторожа вовремя заметили их и затрубили в рог, что было сигналом, известным во всей округе; из всей окрестности сбежался народ. Тлеполема вышвырнули, и он обратился в бегство; в храме Хриса не досчитались только одной бронзовой статуэтки.

(97) В Энгии есть храм Великой Матери¹¹. Теперь мне приходится не только говорить о каждом случае очень кратко, но даже пропускать очень многое, чтобы перейти к более важным и получившим большую известность преступлениям Верреса в том же духе. В этом храме находятся бронзовые панцири и шлемы коринфской чеканной работы и такой же работы большие гидрии, сделанные с тем же совершенным мастерством; их принес в дар все тот же знаменитый Сципион, выдающийся во всех отношениях муж, велел вырезать на них свое имя. Но к чему мне так много говорить о Верресе и заявлять жалобы? Все это он похитил, судьи, и не оставил в глубоко почитаемом храме ничего, кроме следов своего святотатства и имени Публия Сципиона. Отбитым доспехам врагов, памятникам императоров, украшениям и убранству храмов отныне суждено, расставшись с этими славными именами, стать частью домашней обстановки и утвари Гая Верреса.

(98) Очевидно, ты один получаешь наслаждение от вида коринфских ваз, ты со всей тонкостью разбираешься в составе этой бронзы, ты можешь оценить их линии. Так, значит, знаменитый Сципион, хотя и был ученым и просвещеннейшим человеком, этого не понимал, а ты, человек без всякого образования, без вкуса, без дарования, без знаний, понимаешь это и умеешь оценить! Смотри, как бы не оказалось, что он не только своей умеренностью, но и пониманием превосходил тебя и тех, которые хотят, чтобы их называли знатоками. Ибо Сципион, понимая, насколько эти вещи красивы, считал их созданными не как предметы роскоши для жилищ людей, а для украшения храмов и городов, чтобы наши потомки считали их священными памятниками.

(XLV, 99) Послушайте, судьи, и об исключительной жадности, дерзости и безумии Верреса, проявившихся к тому же в осквернении такой святыни, которая считалась неприкосновенной не только для рук, но и для помышлений человеческих. Есть в Катине святилище Цереры, почитаемой там так же благоговейно, как в Риме, как в других

местностях, как, можно сказать, во всем мире. Во внутренней части этого святилища находилась очень древняя статуя Цереры, причем мужчины не знали, не говорю уже — о ее внешнем виде, но даже о ее существовании, ибо доступ в это святилище запрещен мужчинам; обряды совершаются женщинами и девушками. Статую эту рабы Верреса унесли тайком, ночью, из того священнейшего и древнейшего места. На другой день жрицы Цереры и настоятельница этого храма, знатные женщины преклонного возраста и чистой жизни, донесли своим властям о случившемся. Все были поражены, возмущены и удручены. (100) Тогда Веррес, будучи встревожен тяжестью своего проступка и желая отвести от себя подозрение в этом злодействе, поручил одному из своих гостеприимцев подыскать кого-нибудь, чтобы свалить на него эту вину и добиться его осуждения по этому обвинению, дабы самому избежать ответственности. Откладывая дело не стали. Когда Веррес уехал из Катины, на одного раба была подана жалоба; он был обвинен; были выставлены лжесвидетели; дело, на основании законов, разбирали катинский сенат, собравшийся в полном составе. Были вызваны жрицы; их тайно спросили в курии, каково их мнение о случившемся и каким образом статую можно было похитить. Они ответили, что в храме видели рабов претора. Дело, которое и раньше не было темным, стало, благодаря показаниям жриц, вполне ясным. Суд начал совещаться. Раба единогласно признали невиновным, чтобы вы тем легче могли единогласно вынести Верресу обвинительный приговор.

(101) В самом деле, чего ты требуешь, Веррес, на что надеешься, чего ждешь? Кто из богов или людей, по-твоему, придет тебе на помощь? Не туда ли осмелился ты для ограбления святилища послать рабов, куда и свободным людям божественный закон не разрешил входить даже с дарами? Не на те ли предметы ты наложил без всяких колебаний свою руку, от которых священные заветы велели тебе даже отводить взор? При этом ведь не твои глаза соблазнили тебя совершить такой злодейский, такой нечестивый поступок; ибо ты пожелал того, чего никогда не видел; повторяю, ты страстно захотел иметь то, на что тебе ранее и взглянуть не пришлось. На основании слухов ты воспылал такой безмерной жадностью, что ее не сдержали ни страх, ни запрет, ни гнев богов, ни мнение людей. (102) Но ты, быть может, слышал об этой статуе от честного и

заслуживающего доверия человека. Как же это было возможно, когда от мужчины ты вообще не мог о ней слышать? Следовательно, ты слышал о ней от женщины, так как мужчины не могли ни видеть ее, ни знать о ней. Но какова, по вашему мнению, судьи, была та женщина. Сколь целомудренна была она, раз она беседовала с Верресом; сколь благочестива, раз она его научила, как ограбить святилище! Ясно, что таинства, совершаемые девушками и женщинами необычайной непорочности, осквернены гнусным кощунством Верреса.

(XLVI) И вы полагаете, что это единственный случай, когда он вздумал добыть себе то, о чем он только слышал, но чего сам не видел? Нет, было много и других таких случаев; из них я остановлюсь на ограблении известнейшего и древнейшего святилища, о котором свидетели говорили при первом разборе дела. Выслушайте теперь, пожалуйста, мой рассказ об этом же, и притом с таким же вниманием, как и до сих пор.

(103) Остров Мелита, судьи, отделен от Сицилии довольно широким и опасным морем; на острове есть город того же имени, где Веррес никогда не был, что, однако, не помешало ему превратить этот город на три года в мастерскую тканей для женщин. Невдалеке от этого города стоит на мысе древний храм Юноны, всегда почитавшийся так глубоко, что не только во времена Пунических войн, происходивших вблизи от этих мест и сопровождавшихся большими морскими боями, но и ныне, при присутствии здесь множества морских разбойников, он всегда был неприкосновенным и священным. Более того, по рассказам, когда к этому месту однажды пристал флот царя Масиниссы, военачальник царя взял из храма слоновые бивни огромной величины, привез их в Африку и принес в дар Масиниссе. Царь вначале обрадовался подарку, но затем, узнав, откуда эти бивни, немедленно отправил на квинквереме¹² верных людей, чтобы они возвратили эти бивни по принадлежности. По этому случаю на них была сделана надпись пуническими буквами, гласившая, что царь Масинисса по неведению принял эти предметы, но, узнав об обстоятельствах дела, велел доставить их обратно и возвратить храму. Кроме того, в храме было много слоновой кости, много украшений, и среди них две сделанные из слоновой кости статуэтки Победы, прекрасные произведения искусства, древней работы. (104) Чтобы не говорить много, скажу, что Веррес,

дав один приказ, при посредстве посланных им для этого рабов Венеры, забрал и увез все эти предметы.

(XLVII) О, бессмертные боги! Кого обвиняю, кого преследую я на основании законов и права? О ком вынесете вы свой приговор, подавая таблички? Представители Мелиты официально заявляют, что храм Юноны ограблен, что Веррес в этом неприкосновеннейшем святилище не оставил ничего, что в том месте, где часто приставали флоты врагов, где чуть ли не из года в год зимовали пираты, храм, которого ранее не осквернял ни один разбойник и никогда не касался враг, ограблен Верресом и в нем ничего не оставлено. Что ж, и теперь придется называть его обвиняемым, меня — обвинителем, а вас — судьями? Против него имеются некоторые статьи обвинения; он привлечен к суду на основании подозрений. А между тем установлено, что похищены статуи богов, ограблены храмы, опустошены города; после таких злодеяний Веррес не оставил себе никакого пути для отрицания своей вины, никакой возможности оправдаться. Он во всем изобличен мной, уличен свидетелями, уничтожен собственным признанием; он в сетях своих явных злодеяний — и все же он остается здесь и молча, вместе со мной следит за раскрытием своих собственных поступков.

(105) Я, пожалуй, слишком долго занимаюсь обвинением одного рода; я сознаю, судьи, что мне не следует утомлять ваш слух и ваше внимание. Поэтому я многое обойду молчанием. Но — во имя бессмертных богов, тех самых, о почитании которых мы говорим уже долго! — чтобы выслушать то, что я собираюсь сказать, прошу вас, судьи, набраться новых сил, дабы их вам хватило, пока я буду подробно рассказывать вам о преступлении Верреса, которое потрясло всю провинцию. Если вам покажется, что я слишком углубляюсь в прошлое, чтобы проследить, откуда идет это почитание, то простите это мне: важность дела не позволяет мне быть кратким в повествовании об этом страшном преступлении.

(XLVIII, 106) Согласно старинному верованию, судьи, о котором свидетельствуют древнейшие греческие писания и памятники, остров Сицилия весь был посвящен Церере и Либере⁷³. Если так полагают и другие народы, то сами сицилийцы в этом вполне убеждены, и это верование, можно сказать, вошло в их плоть и кровь. Они верят, что здесь родились эти богини, что хлебопашество впервые возникло на их земле, что Либера, которую они называют также

Прозерпиной, была похищена в роще близ Энны; это место, расположенное в средней части острова, называется «пупом Сицилии». Желая напасть на след Либеры и найти ее, Церера, говорят, зажгла свои факелы от огней, вырывающихся из вершины Этны, и, неся их перед собой, обошла весь мир. (107) Энна, где, по преданию, происходило то, о чем я говорю, расположена на очень высоком, господствующем над окрестностью плоскогорье с неиссякающими источниками; со всех сторон подъем крут и обрывист. Вблизи Энны очень много озер и рощ, где круглый год цветут прекрасные цветы, так что само место свидетельствует о том, что именно здесь и произошло похищение девушки, о котором мы слышали еще в детстве. И в самом деле поблизости находится неизмеримой глубины пещера, обращенная на север; из нее, говорят, неожиданно появился на своей колеснице отец Дит, который схватил девушку и увез с собой; невдалеке от Сиракуз он внезапно исчез под землей, а на этом месте тотчас же образовалось озеро; на его берегу сиракузяне и поныне справляют ежегодные празднества при огромном стечении мужчин и женщин.

(XLIX) В связи с древним верованием, что в этой местности есть следы пребывания этих божеств и что здесь, можно сказать, стояла их колыбель, во всей Сицилии как частными лицами, так и городскими общинами воздаются особенные почести Церере Эннской. Многочисленные чудеса свидетельствуют о ее божественной силе; много раз оказывала она людям в трудную минуту их жизни верную помощь, так что богиня, казалось, не только любит этот остров, но и обитает на нем и охраняет его. (108) И не только сицилийцы, но и другие племена и народы глубоко чтут Цереру Эннскую. Действительно, если принимать участие в священнодействиях афинян стремятся все люди, хотя Церера только посетила Афины во время своих скитаний и принесла туда плоды земледелия, то как глубоко должны чтить богиню те, в чьей стране она, как известно, родилась и научила людей земледелию впервые! Поэтому во времена наших отцов, тяжкие и трудные для государства, когда был убит Тиберий Гракх, все с ужасом ожидали великих бедствий, предвещаемых зловещими знамениями; в консульство Публия Муция⁷⁴ и Луция Кальпурния обратились к Сивилиным книгам, в которых было найдено повеление умиловить древнейшую Цереру. И хотя в нашем городе находился прекрасный и великолепный храм Цереры, все

же жрецы римского народа из знаменитой коллегии децемвиров выехали в саму Энну. Ибо там с древнейших времен почитали Цереру столь глубоко, что люди, выезжая туда, казалось, отправлялись не в храм Цереры, а к самой Церере.

(109) Не стану злоупотреблять вашим вниманием; моя речь, пожалуй, уже давно не подходит для суда и не похожа на речи, какие принято произносить. Скажу прямо: эта самая Церера, древнейшая и священнейшая родоначальница всех таинств, совершаемых у всех племен и народов, из храма, где она стояла, Гаем Верресом была похищена. Если вы бывали в Энне, вы видели мраморную статую Цереры, а в другом храме — статую Либеры. Они огромной величины и очень красивы, но не очень древние. Была другая статуя, из бронзы, не особенно больших размеров, но прекрасной работы, с факелами, очень древняя, наиболее древняя из всех статуй, находящихся в том храме. Ее он и похитил, и все же этим не был доволен. (110) Перед храмом Цереры, на открытой и обширной площадке, стоят две статуи — Цереры и Триптолема⁷⁵, — очень красивые и огромных размеров; их красота была опасна для них, но их размеры — спасительны, так как снять их с цоколей и перевезти оказалось непосильной задачей. В правой руке у Цереры была большая, прекрасной работы, статуя Победы; Веррес приказал снять ее со статуи Цереры и доставить ему.

(L) Что же должен теперь испытывать Веррес, вспоминая свои злодеяния, когда я сам, упоминая о них, не только скорблю душой, но и содрогаюсь всем телом? Я живо представляю себе и храм, и местность, и священные обряды; перед моими глазами встает все: тот день, когда, после моего приезда в Энну, жрицы Цереры вышли мне навстречу с ветвями, обвитыми повязками; народ, собравшийся на сходку, конвент римских граждан: там во время моей речи было столько стонов и слез, что казалось, будто весь город рыдает в тяжелой скорби. (111) Не требования насчет десятин, не расхищение их имущества, не беззакония в судах, не возмутительный разврат Верреса, не насилия и оскорбления, какими он терзал и угнетал их, заставили их принести мне жалобы; нет, за поругание Цереры, ее древних обрядов, ее священного храма требовали они искупительной кары для этого преступнейшего и наглейшего человека; все прочее, они говорили, согласны они претерпеть и предать забвению. Их скорбь была так велика, словно в Энну явился новый Орк⁷⁶ и не Прозерпину увез, а похитил самое Цереру.

И в самом деле тот город кажется не городом, а храмом Цереры; жители Энны считают, что Церера обитает среди них, так что они кажутся мне не гражданами своей общины, а все — жрецами, все — обитателями и хранителями храма Цереры. (112) И из Энны ты осмелился увезти статую Цереры? В Энне ты попытался вырвать Победу из руки Цереры и отнять богиню у богини? Их не осмелились ни осквернить, ни коснуться те, которые по всем своим качествам были склонны скорее к злодейству, чем к благочестию. Ведь в консульство Публия Попилия и Публия Рутилия⁷⁷ эта местность была в руках у рабов, беглых, варваров, врагов; но они не в такой мере были рабами своих господ, в какой ты — рабом своих страстей; они не так стремились бежать от своих господ, как ты — от права и законов; они не были такими варварами по языку и происхождению, как ты — по натуре и нравам, не были столь враждебны людям, как ты — бессмертным богам. Какое же снисхождение можно оказать ему, превзошедшему рабов низостью, беглых дерзостью, варваров преступностью, врагов жестокостью?

(LI, 113) Вы слышали официальное заявление Феодора, Нумения и Никасиона, представителей Энны, о поручении, данном им их согражданами: обратиться к Верресу с требованием возратить городу статуи Цереры и Победы; в случае его согласия остаться верными древнему обычаю населения Энны и, хотя Веррес и был мучителем Сицилии, все-таки, следуя заветам предков, не выступать со свидетельскими показаниями против него; если же он не возвратит статуй, то явиться в суд, рассказать судьям о его беззакониях, но главным образом заявить жалобу на оскорбление религии.

Во имя бессмертных богов! — не будьте глухи к их жалобам, не относитесь к ним с презрением и пренебрежением, судьи! Дело идет о беззакониях, совершенных по отношению к союзникам, дело идет о значении законов, об уважении к суду и о правосудии. Все это очень важно, но вот что самое важное: вся провинция охвачена таким сильным страхом перед богами, из-за деяний Верреса всеми сицилийцами овладел такой суеверный ужас, что всякое несчастье, какое бы ни случилось, — с городской ли общиной, или же с частным лицом — связывают со злодейством Верреса. (114) Вы слышали официальные заявления жителей Центурип, Агирия, Катины, Этны, Гербиты и многих

других городов о том, в какую пустыню превращены их поля, как они разорены, как много земледельцев бежало, оставив свои поля незасеянными, покинув их на произвол судьбы. И хотя это случилось вследствие многочисленных и разнообразных беззаконий Верреса, но сицилийцы придают наибольшее значение одному обстоятельству: гибель всех посевов и даров Цереры в этих местностях объясняют оскорблением, нанесенным Церере.

Поддержите страх союзников перед богами, судьи, сохраните свой собственный. Ведь эти верования вовсе не безразличны для вас и вам не чужды, и даже если бы это было так, если бы вы не хотели перенять их, вам все же следовало бы покарать того, кто оскорбил эти верования. (115) Но теперь речь идет о религии, общей всем народам, и о священнодействиях, которые наши предки восприняли и совершали, заимствовав их от чужеземных народов, о священнодействиях, названных ими греческими, какими они и были в действительности. Как же можем мы, даже если бы и пожелали быть равнодушными и беспечными?

(LII) Теперь я напомню и подробно опишу вам, судьи, разграбление одного только города, но прекраснейшего и богатейшего из всех городов — Сиракуз, чтобы наконец закончить эту часть своей речи. Среди вас, пожалуй, нет никого, кто бы не слышал и не читал в летописях рассказа о том, как Сиракузы были взяты Марком Марцеллом. Сравните же нынешнее состояние мира с тогдашней войной; приезд этого претора сравните с победой того императора, запятнанную когорту Верреса — с непобедимым войском Марцелла, произвол одного — с воздержностью другого. Вы скажете, что тот, кто завоевал Сиракузы, был их основателем, а тот, кто получил их благоустроенными, вел себя, как завоеватель. (116) Обхожу теперь молчанием то, о чем я уже говорил и еще буду говорить во многих местах своей речи: форум в Сиракузах, не запятнанный убийствами при вступлении Марцелла в город, был залит кровью невинных сицилийцев при приезде Верреса; сиракузская гавань, оставшаяся недоступной и для нашего и для карфагенского флота, во время претуры Верреса была открыта для миопарона килийцев и для морских разбойников. Не стану говорить о его насильственных действиях по отношению к свободно-рожденным, о его надругательствах над матерями семейств — обо всем том, чего тогда в завоеванном городе не позволили себе ни разъяренные враги, ни буйные сол-

даты, ни по обычаю войны, ни по праву победы; повторяю, я обхожу молчанием все это совершавшееся Верресом в течение трех лет его претуры. Расскажу вам о том, что тесно связано с событиями, о которых я уже говорил.

(117) Вы не раз слышали, что Сиракузы — самый большой из греческих городов и самый красивый; это действительно так, судьи! Ибо он очень выгодно расположен, и как с суши, так и с моря вид его великолепен; его гавани находятся внутри городской черты, к ним то тут, то там прилегают городские здания; имея самостоятельные входы, эти гавани соединяются и сливаются; там, где они соединяются друг с другом, узкий морской пролив отделяет одну часть города, называемую Островом; эта часть сообщается с остальными частями города посредством моста.

(LIII, 118) Город этот так велик, что может показаться, будто он состоит из четырех огромных городов. Один из них, тот, о котором я уже говорил, — Остров, омываемый двумя гаванями, выдается далеко в море, соприкасается с входами в обе гавани и доступен с обеих сторон. Здесь стоит дворец, принадлежавший царю Гиерону и теперь находящийся в распоряжении преторов. Здесь же очень много храмов, но два из них намного превосходят все остальные: один — Дианы, другой, до приезда Верреса поражающий своим богатством, — Минервы. На самом краю Острова течет ручей с пресной водой, называемый Аретусой, очень широкий, кишущий рыбой; если бы он не был отделен от моря каменной плотиной, то морские волны вливались бы в него. (119) Второй город в Сиракузах называется Ахрадиной; здесь есть обширный форум, красивейшие портики, великолепный пританей⁷⁸, величественная курия и замечательный храм Юпитера Олимпийского, выдающееся произведение искусства; остальные части этого города, пересекемые одной широкой продольной улицей и многими поперечными, застроены частными домами. Третий город называется Тюхэ, так как в этой части города был древний храм Фортуны; в нем есть огромный гимнасий, множество храмов; эта часть города сильно застроена и густо населена. Четвертый город называется Неаполем, так как был построен последним; в самой возвышенной части его находится огромный театр и, кроме того, два прекрасных храма: Цереры и Либеры, а также и очень красивая статуя Аполлона Теменита⁷⁹, которую Веррес похитил бы без всяких колебаний, если бы смог ее перевезти.

(LIV, 120) Возвращусь теперь к деяниям Марцелла, дабы не казалось, что я без оснований упомянул обо всем этом. Взяв приступом столь великолепный город, он решил, что если вся эта красота будет разрушена и уничтожена, то это римскому народу чести и славы не принесет, тем более что красота эта ничем не угрожала. Поэтому он пощадил все здания, как общественные, так и частные, храмы и жилые дома, словно пришел с войском для их защиты, а не для завоевания. А украшения города? Тут он руководствовался и правами победителя и требованиями человечности; по его мнению, по праву победителя ему следовало отправить в Рим многие предметы, которые могли украсить Рим, но как человек он не хотел подвергать полному разграблению город, тем более такой, который он сам пожелал сохранить. (121) При распределении украшений города победа Марцелла дала римскому народу столько же, сколько его человечность сохранила для жителей Сиракуз. То, что привезено в Рим, мы можем видеть в храме Чести и Доблести и кое-где в других местах. Ни у себя в доме, ни в садах своих, ни в загородной усадьбе он не поставил ничего. Он полагал, если он не привезет в свой дом украшений, принадлежащих городу, то сам его дом будет служить украшением городу Риму. В Сиракузах, напротив, он оставил очень много и притом редкостных памятников искусства; из богов же он не оскорбил ни одного и не прикоснулся ни к одному священному изображению. Сравните Верреса с Марцеллом — не для того чтобы сопоставить их, как человека с человеком (этим великому мужу было бы по-смертно нанесено оскорбление), но чтобы сравнить мир с войной, законы с насилием, правосудие на форуме с господством оружия, приезд наместника и его свиты с вступлением победоносного войска.

(LV, 122) На Острове есть храм Минервы, о котором я уже говорил. Марцелл его не тронул, его богатства и украшения оставил в целости; Веррес так же обобрал и разграбил его, как его мог опустошить не враг, который даже во время войны уважает святыню и обычаи, а морские разбойники-варвары. В храме были по стенам развешаны картины, изображавшие бой конницы царя Агафокла⁸⁰. Картины эти считались верхом совершенства и главной достопримечательностью Сиракуз. Марк Марцелл, хотя его победа и сняла религиозный запрет со всех этих предметов, все-таки, из благочестия, не тронул этих картин. Веррес

же, получив их священными и неприкосновенными в связи с длительным миром и верностью жителей Сиракуз, все те картины забрал себе, а стены, украшения которых сохранялись в течение стольких веков и избежали опасности во время стольких войн, оставил голыми и обезображенными. (123) Марцелл, давший обет — в случае, если он возьмет Сиракузы, построить в Риме два храма, не пожелал украсить будущие храмы захваченными им предметами. Веррес, давший обеты не Чести и Доблести, как это сделал Марцелл, а Венере и Купидону, попытался ограбить храм Минервы. Марцелл не хотел одаривать богов добычей, взятой у богов; Веррес перенес украшения девственности Минервы в дом распутницы⁸¹. Кроме того, он унес из храма двадцать семь превосходных картин, изображавших сицилийских царей и тиранов, и не только радовавших глаз мастерством живописцев, но и будивших воспоминания о людях, чьи черты они передавали. Решайте сами, насколько этот тиран был для жителей Сиракуз отвратительнее любого из прежних: те все же украсили храмы бессмертных богов, этот похитил даже памятники и украшения, поставленные ими.

(LVI, 124) Далее, упоминать ли мне о дверях этого храма? Пожалуй, те, кто их не видел, подумают, что я все преувеличиваю и приукрашаю. Но пусть никто не подозревает меня в таком пристрастии и не думает, что я пошел бы даже на то, чтобы столько уважаемых людей (тем более из числа судей), которые бывали в Сиракузах и видели то, о чем я говорю, уличили меня в безрассудстве и лжи. Могу с уверенностью утверждать, судьи, что ни в одном храме не было более великолепных, более искусно сделанных из золота и слоновой кости дверных створ. Трудно поверить, сколько греков оставило описание их красоты. Они, быть может, склонны чересчур восхищаться такими предметами и их превозносить; допустим; так вот, судьи, для нашего государства больше чести от того, что наш император во время войны оставил нетронутыми те предметы, которые грекам кажутся красивыми, чем от того, что претор в мирное время похитил их. Дверные створы были украшены тончайшими изображениями из слоновой кости. Веррес постарался, чтобы все они были сорваны; великолепную голову змееволосой Горгоны он тоже сорвал и взял себе; при этом он, однако, доказал, что его привлекает вовсе не только мастерство, но и стоимость вещи и желание поживиться; ибо он без всяких колебаний забрал себе все многочисленные

и тяжелые золотые шары, укрепленные на этих дверях и понравившиеся ему не работой, а своим весом. Таким образом, двери, некогда созданные главным образом для украшения храма, он оставил в таком виде, что они отныне годятся только на то, чтобы его запирать. (125) Даже бамбуковые копья — помню ваше изумление, когда о них говорил один из свидетелей, так как в них не было ничего особенного и достаточно было взглянуть на них один раз, — не замечательные ни своей работой, ни своей красотой, а только своей необычайной длиной, о которой, однако, достаточно услышать (а видеть их более одного раза вовсе не нужно), — и на них ты польстился.

(LVII, 126) Другое дело — Сапфо⁸²; похищение ее статуи из пританея вполне оправдано и его, пожалуй, следует признать допустимым и простительным. Неужели возможно, чтобы столь совершенным, столь изящным, столь тщательно отделанным произведением Силаниона⁸³ владел кто-нибудь другой, не говоря уже — частное лицо, но даже народ, а не такой утонченный знаток и высокообразованный человек — Веррес? Возразить, конечно, нечего. Ведь если любой из нас — мы ведь не так богаты, как он, и не можем быть такими изощренными — захочет взглянуть на какое-нибудь из таких произведений искусства, то ему придется пройти⁸⁴ до храма Счастья, к памятнику Катула, в портик Метелла⁸⁴, добиваться доступа в тускульскую усадьбу одного из этих знатоков, любоваться украшенным форумом, если только Веррес соизволит предоставить эдилам ту или иную из своих драгоценностей. Но Веррес, конечно, пусть держит все эти предметы у себя; Веррес пусть заполняет свой дом украшениями городов и храмов, забивает ими свои усадьбы. И вы, судьи, будете переносить увлечения и любимые утехы этого грузчика, которому по его рождению и воспитанию, по свойствам души и тела, по-видимому, следовало бы скорее перетаскивать статуи, чем таскать их к себе? (127) Трудно выразить словами ту скорбь, какую вызвало похищение этой статуи Сапфо. Ибо, помимо того что это было само по себе редкостное произведение искусства, на ее цоколе была вырезана знаменитая греческая эпиграмма, которую этот образованный человек и поклонник греков, умеющий так тонко обо всем судить, он, этот единственный ценитель искусства, на-верное, тоже утащил бы к себе, если бы знал хотя бы одну греческую букву; теперь надпись на пустом цоколе говорит, что на нем стояло, и обличает похитителя.

Далее, разве ты не похитил из храма Эскулапа статую Пэана⁸⁵, прекрасной работы, священную и неприкосновенную? Красотой ее все любовались, святость ее чтили. (128) А разве не по твоему приказанию из храма Либера у всех на глазах было унесено изображение Аристее⁸⁶? А из храма Юпитера разве ты не забрал священнойшей статуи Юпитера-Императора, которого греки называют Урием⁸⁷, статуи прекрасной работы? Далее, разве ты поколебался взять из храма Либеры знаменитую голову Пэана, чудесной работы, из паросского мрамора, которой мы так часто любовались? А между тем в честь этого Пэана, вместе с Эскулапом, сиракузяне ежегодно устраивали празднества. Что касается Аристее, которого греки считают сыном Либера и который, как говорят, впервые добыл оливковое масло, то ему в Сиракузах поклонялись в одном и том же храме вместе с отцом Либером.

(LVIII, 129) А знаете ли вы, каким почетом пользовался Юпитер-Император в своем храме? Вы можете себе представить это, если вспомните, как глубоко почитали сходное с ним и столь же прекрасное изображение Юпитера, которое Тит Фламинин захватил в Македонии и поставил в Капитолии. Вообще, во всем мире, говорят, было три одинаковых и великолепнейших статуи Юпитера-Императора: первая — македонская, которую мы видели в Капитолии; вторая — что стоит у узкого пролива, ведущего в Понт; третья — та, которая до претуры Верреса находилась в Сиракузах. Первую Фламинин увез из храма Юпитера, но с тем чтобы поставить ее в Капитолии, то есть в земном жилище Юпитера. (130) Статуя, находившаяся у входа в Понт, и по сей день цела и невредима, несмотря на то, что немало войн начиналось в пределах этого моря, а впоследствии распространялось на Понт. Третью же статую, находившуюся в Сиракузах, которую Марк Марцелл, победитель с оружием в руках, видел, но не тронул из уважения к религиозному чувству населения и которую чтили граждане и поселенцы, а приезжие посещали не только с целью осмотра, но и для поклонения ей, — ее Гай Веррес из храма Юпитера похитил. (131) Возвращаясь еще раз к Марцеллу, выскажу вам свое мнение: жители Сиракуз потеряли больше богов после приезда Верреса, чем своих граждан после победы Марцелла. И в самом деле, Марцелл, говорят, даже разыскивал знаменитого Архимеда, человека величайшего ума и учености, и был глубоко опечален вестью

о его гибели; а все, что разыскивал Веррес, не сохранялось, а похищалось.

(LIX) Оставляю в стороне то, что покажется менее значительным, — похищение мраморных дельфийских столов, прекрасных бронзовых кратеров, множества коринфских ваз, совершенное Верресом во всех храмах Сиракуз. (132) Поэтому, судьи, все те, кто сопровождает приезжих и показывает им каждую достопримечательность Сиракуз (так называемые мистагоги), уже изменили способ показа: раньше они показывали, где что есть, теперь же сообщают, откуда что похищено.

Так что же? Уж не думаете ли вы, что горе, причиненное сицилийцам, не особенно велико? Это не так, судьи! Во-первых, все люди дорожат своей религией и считают своим долгом свято почитать богов отчизны и беречь их изображения, завещанные им их предками; затем, эти украшения, эти произведения искусных мастеров, статуи и картины несказанно милы сердцу греков. Из их жалоб мы можем понять, сколь тяжела для них эта утрата, которая нам, быть может, кажется незначительной и не заслуживающей внимания. Поверьте мне, судьи, — хотя вы и сами, наверное, слышали об этом — из всех несчастий и обид, испытанных в течение последнего времени союзниками и чужеземными народами, ничто не причинило и не причиняет грекам такой скорби, как подобные ограбления храмов и городов.

(133) Сколько бы Веррес по своему обыкновению ни говорил, что он эти предметы купил, поверьте мне, судьи: ни во всей Азии, ни в Греции нет ни одной городской общины, которая бы когда-либо продала кому-нибудь хотя бы одну статую, картину — словом, какое-либо украшение их города. Или вы, быть может, думаете, что греки, после того как в Риме перестали выносить строгие судебные приговоры, начали вдруг продавать те вещи, которые они в то время, когда приговоры выносились суровые, не только не продавали, но даже скупали? Уж не думаете ли вы, что, в то время как Луцию Крассу, Квинту Сцеволе⁸⁸, Гаю Клавдию, могущественнейшим людям, как мы видели, пышно отпраздновавшим свой эдилитет, греки этих предметов не продавали, они стали продавать их тем лицам, которые были избраны в эдилы после того, как суды стали снисходительнее?

(LX, 134) Знайте — эта ложная и мнимая покупка даже более огорчительна для городских общин, чем тайный захват

или же открытое похищение и увоз. Ибо они считают величайшим позором для себя запись в городских книгах, удостоверяющую, что граждане, за плату, и притом небольшую, согласились продать и уступить предметы, полученные ими от предков. Действительно, можно только удивляться, как сильно греки дорожат этими предметами, которыми мы пренебрегаем. Вот почему наши предки охотно допускали, чтобы у греков было возможно больше таких предметов: у союзников — для того чтобы они возможно больше преуспевали и благоденствовали под нашим владычеством; у тех же, кого они облагали податями и данью, они все-таки оставляли эти предметы, дабы люди, которых радует то, что нам кажется несущественным, получали от этого удовольствие и утешались в своем рабстве. (135) Как вы думаете? Сколько жители Регия, ныне римские граждане, хотели бы получить за то, чтобы от них увезли знаменитую мраморную статую Венеры? Сколько жители Тарента взяли бы за Европу на быке, за Сатира, находящегося в храме Весты в их городе, и за другие статуи? Жители Феспий — за статую Купидона, жители Книда — за мраморную Венеру, жители Коса — за писанную красками, жители Эфеса — за Александра, жители Кизика — за Аянта или за Медею, жители Родоса — за Иалиса, афиняне — за мраморного Иакха, или за писаного Парала, или за бронзовую коровку Мирона? Много времени заняло бы, да и нет необходимости, перечислять одну за другой достопримечательности во всей Азии и Греции; я говорю об этом только потому, что хочу, чтобы вы поняли, как глубоко бывают удручены те, из чьих городов увозят такие произведения.

(LXI, 136) Но оставим в стороне других; послушайте о самих жителях Сиракуз. По приезде своем в Сиракузы я вначале, в соответствии с тем что узнал в Риме от друзей Верреса, думал, что в связи с делом о наследстве Гераклия сиракузская община расположена к Верресу не менее, чем мамертинская, его соучастница в грабежах и хищениях. В то же время я боялся — в случае если я найду что-нибудь в книгах жителей Сиракуз, — нападок вследствие влияния знатных и красивых женщин, руководивших Верресом в течение трех лет его претуры, и вследствие чрезмерной, не говорю уже — сговорчивости, но даже щедрости к нему, проявленной их мужьями. (137) Поэтому в Сиракузах я встречался с римскими гражданами, знакомился с их книгами, расследовал нанесенные им обиды. Устав от этой

продолжительной и кропотливой работы, я для отдыха и развлечения обратился к знаменитым книгам Карпинация⁸⁹, где я вместе с римскими всадниками, самыми уважаемыми членами конвента, разоблачил его «Верруциев», о которых я уже говорил; от сиракузян я совсем не ожидал помощи — ни официально, ни частным образом, да и не собирался требовать ее.

Когда я был занят этим, ко мне вдруг является Гераклий, бывший тогда в Сиракузах должностным лицом, знатный человек, в прошлом жрец Юпитера, а эта должность в Сиракузах наиболее почетна; он предложил мне и моему брату, если нам будет угодно, пожаловать в их сенат; по его словам, сенаторы в полном сборе в курии, и он, по решению сената, просит нас прийти.

(LXII, 138) Вначале мы колебались и не знали, что нам делать; но нам сейчас же пришло на ум, что мы не должны отказываться от присутствия в этом собрании. Поэтому мы пришли в курию. Нас очень почтительно приветствовали вставанием. По просьбе должностного лица мы садимся. Начинает говорить Диодор, сын Тимархида, превосходивший других и своим влиянием, и летами, и, как мне показалось, жизненным опытом. Вначале он сказал следующее: сенат и жители Сиракуз глубоко опечалены тем, что я, в других городах Сицилии объяснявший сенату и жителям, сколько пользы для себя и сколько добра они могут ожидать от моего приезда, принимавший от всех жалобы, представителей и письма и выслушивавший свидетельские показания, в их городе ничего подобного не делаю. Я ответил, что в Риме, в собрании сицилийцев, когда, по общему решению всех представителей городских общин, меня просили о помощи и поручили мне вести дело всей провинции, представители Сиракуз не присутствовали, а я, со своей стороны, не требую, чтобы сколько-нибудь неблагоприятное для Гая Верреса решение было принято в той курии, где я вижу золоченую статую Гая Верреса. (139) После этих моих слов присутствовавшие начали так громко сетовать при виде этой статуи и при напоминании о ней, что она показалась мне поставленным в курии памятником преступлений, а не милостей. Затем, все они — каждый по-своему, насколько умел, убедительно — начали рассказывать мне о том, о чем я уже говорил: что разграблен город, что храмы опустошены, что из наследства Гераклия, которое Веррес будто бы уступил управителям палестры, сам он

взял себе наибольшую часть; что нельзя требовать приязни к управителям палестры от человека, унесшего даже бога, создавшего оливковое масло; что его статуя сооружена не на общественные деньги и не от имени города, — ее решили изготовить и поставить те, кто участвовал в расхищении наследства; что они же были представителями общины, прибывшими в Рим, помощниками Верреса в его бесчестных действиях, соучастниками в его грабежах, его пособниками в гнусных поступках; что мне нечего удивляться, если те лица не присоединились к общему решению представителей городских общин и пренебрегли благополучием Сицилии.

(LXIII, 140) Убедившись, что на беззакония Верреса жители Сиракуз сетуют не меньше, а скорее даже больше, чем остальные сицилийцы, я открыл им свои намерения, касающиеся их, потом изложил и объяснил им всю свою задачу и, наконец, посоветовал им не изменять общему делу и признать недействительным тот хвалебный отзыв, какой они, по их словам, вынесли Верресу задолго до этого времени под влиянием насилия и страха. Тогда, судьи, жители Стракуз — клиенты и друзья Верреса — поступили так: прежде всего показали мне городские книги, хранившиеся в тайном отделении эрария; в них были перечислены все похищенные Верресом предметы, упомянутые мной, и даже большее число их, чем я мог назвать; было точно записано, что именно пропало из храма Минервы, что — из храма Юпитера, что — из храма Либера; кто и как должен был следить за сохранностью этих предметов, тоже было внесено в записи; а так как эти лица, согласно правилу, должны были сдавать отчет и передавать все полученное ими своим преемникам по должности, то они просили не возлагать на них ответственности за пропажу этих вещей; поэтому все они были освобождены от ответственности и прощены. Я распорядился опечатать эти книги печатью города и доставить их мне.

(141) Что касается хвалебного отзыва, то мне дали следующее объяснение. Вначале, когда от Гая Верреса, за некоторое время до моего приезда, пришло письмо насчет хвалебного отзыва, они не приняли никакого решения; затем, когда некоторые из его друзей стали им напоминать, что следует вынести какое-нибудь решение, их предложение было отвергнуто с громким криком и бранью. Впоследствии, незадолго до моего приезда, лицо, облеченное высшей властью, потребовало от них постановления. Они постановили

дать хвалебный отзыв, но так, чтобы он мог принести Верресу больше вреда, чем пользы. Это именно так, судьи! Послушайте мой рассказ, основанный на том, что они мне сообщили.

(LXIV, 142) В Сиракузах есть обычай, по которому, в случаях когда сенату о чем-нибудь докладывают, всякий желающий может высказать свое мнение; поименно никому не предлагают высказываться; однако лица, старшие годами и занимающие более высокие должности, обычно сами высказываются первыми, а остальные дают им эту возможность. Но если все молчат, то их обязывают высказаться и порядок определяется по жребию. Таков был обычай, когда сенату доложили насчет хвалебного отзыва о Верресе. Прежде всего, желая оттянуть время, многие внесли запрос: когда речь шла о Сексте Педуце⁹⁰, человеке с величайшими заслугами перед городской общиной и всей провинцией, они ранее, узнав о грозящих ему неприятностях и желая вынести ему хвалебный отзыв от имени города за его многочисленные и величайшие заслуги, натолкнулись на запрещение со стороны Верреса; хотя Педуцей теперь в их хвалебном отзыве не нуждается, все-таки будет несправедливо, если сперва будет принято не их тогдашнее, добровольное решение, а нынешнее, вынужденное. Все присутствовавшие громко приветствовали это предложение и потребовали, чтобы оно было принято. (143) Доложили насчет Педуцея. Каждый высказался по очереди, в соответствии со своим возрастом и почетной должностью. Это можно видеть из подлинного постановления сената; ведь предложения виднейших людей записываются дословно. Читай: «Что касается высказываний о Сексте Педуце... высказались...» Указаны имена тех, которые выступали первыми. Выносится решение.

Затем докладывают насчет Верреса. Пожалуйста, скажи как. «Что касается высказываний о Гае Верресе...» Что же написано дальше? — «...так как никто не встал и не внес предложения...» — Что это значит? — «...был брошен жребий». Почему? Неужели никто не захотел добровольно высказать похвалу тебе как претору, защитить тебя от опасности, особенно когда этим самым можно было снискать расположение претора? Никто. Даже участники в твоих попойках, твои советчики, сообщники, приспешники не посмели произнести ни слова; в той самой курии, где стояла твоя статуя и нагая статуя твоего сына, никого не тронул

даже вид твоего обнаженного сына, так как все помнили, как была обнажена провинция.

(144) Кроме того, они рассказали мне, что они составили хвалебный отзыв так, чтобы всякий мог понять, что это не похвала, а, скорее, издевательство, коль скоро отзыв напоминает о позорной и злополучной претуре Верреса. Ведь в нем было написано: «Так как он никого не засек розгами до смерти...» — он, который, как вы слышали, велел обезглавить знатнейших и честнейших людей! — «так как он неусыпно заботился о провинции...» — он, который если не досыпал, то ради бесчинств и разврата! — «так как он не подпускал морских разбойников к острову Сицилии...» — он, который позволил им посетить даже Остров в Сиракузах!

(LXV, 145) Получив от них эти сведения, я ушел вместе с братом из курии, чтобы они в наше отсутствие вынесли решение по своему усмотрению. Они тотчас же постановили, во-первых, от имени общины заключить с братом моим Луцием союз гостеприимства, так как он отнесся к жителям Сиракуз с такой же приязнью, с какой к ним всегда относился я. Решение это тогда было не только записано, но и вырезано на медной дощечке и передано нам. Очень любят тебя, клянусь Геркулесом, твои милые сиракузяне, на которых ты так часто ссылаешься, раз они усматривают вполне основательную причину для дружеских отношений с твоим обвинителем в его намерении обвинять тебя и в его приезде для расследования по твоему делу! Затем — и притом без колебаний в мнениях, почти единогласно — было решено объявить недействительным принятый ранее хвалебный отзыв о Гае Верресе. (146) После того как уже не только была произведена дисцессия⁹¹, но и было записано и внесено в книги решение, к претору обратились с апелляцией. И кто? Какое-либо должностное лицо? Нет. Сенатор? Даже не сенатор. Кто-нибудь из жителей Сиракуз? Вовсе нет. Кто же обратился к претору с апелляцией? Бывший квестор Верреса — Публий Цесеций. Забавное дело! Всеми Веррес покинут, лишен помощи, оставлен! На решение сицилийского должностного лица — для того чтобы сицилийцы не могли вынести постановления в своем сенате, чтобы они не могли осуществить своего права согласно своим обычаям, своим законам, — с апелляцией обратился к претору не друг Верреса, не его гостеприимец, даже не сицилиец, а квестор римского народа! Где это видано, где слыхано? Справедливый и мудрый претор велел распустить сенат; ко

мне сбежалась огромная толпа. Прежде всего сенаторы стали жаловаться на то, что у них отнимают их права, их свободу: народ хвалил и благодарил сенаторов; римские граждане ни на шаг не отходили от меня. В этот день мне едва удалось — и то с большими усилиями — предотвратить насилие над тем любителем апелляций.

(147) Когда мы явились к трибуналу претора, он придумал очень остроумное решение: прежде чем я мог произнести хотя бы одно слово, он встал с кресла и ушел. Так как уже начало смеркаться, мы ушли с форума. (LXVI) На следующий день, рано утром, я потребовал, чтобы претор позволил жителям Сиракуз передать мне вынесенное накануне постановление их сената. Он ответил отказом и сказал, что мое выступление с речью в греческом сенате было недостойным поступком с моей стороны, но уж совершенно недопустимо было то, что я, находясь среди греков, говорил по-гречески. Я ответил ему то, что мог, что должен был и что хотел ответить; между прочим, я, помнится, указал ему на явную разницу между ним и знаменитым Нумидийским, настоящим и истинным Метеллом: тот отказался помочь своим хвалебным отзывом своему шурина и близкому другу, Луцию Лукуллу⁹²; он же для совершенно чужого ему человека добывает у городских общин хвалебные отзывы, применяя насилие и угрозы.

(148) Поняв, что на претора сильно повлияли последние известия, сильно повлияли письма — не рекомендательные, а денежные, я по совету самих жителей Сиракуз попытался силой завладеть книгами, содержащими постановление сената. По поводу этого — новое стечение народа и новые распри; итак, не подумайте, что Веррес был совсем лишен друзей и гостеприимцев в Сиракузах, был вовсе гол и одинок. Оборонять книги начинает какой-то Феомнаст, до смешного сумасшедший человек, которого сиракузяне зовут Феократом⁹³, человек, за которым бегают мальчишки; всякая его речь вызывает дружный смех. Однако его безумие, забавное в глазах других людей, тогда мне было в тягость; с пеной у рта, сверкая глазами, он с громким криком обвинял меня в насильственных действиях по отношению к нему; мы вместе отправились в суд. (149) Тут я стал требовать позволения опечатать книги и увезти их; Феомнаст возражал, говоря, что это не постановление сената, раз насчет него к претору обратились с апелляцией, и что сго не надо передавать мне. Я стал читать закон, в силу

которого в моем распоряжении должны быть все книги и записи; но этот полоумный настаивал на своем, говоря, что до наших законов ему дела нет. Хитроумный претор сказал, что ему не хотелось бы, чтобы я увозил в Рим то, что нельзя признать постановлением сената. Словом, если бы я не пригрозил ему хорошенько, если бы я не указал ему на кару, налагаемую законом, то я не получил бы книг. А этот полоумный, который, выступая в защиту Верреса, на меня орал, после того как ничего не добился, отдал мне, видимо, желая снискать мое благоволение, тетрадку, где были перечислены все грабежи, совершенные Верресом в Сиракузах, впрочем, уже известные мне из показаний других людей.

(LXVII, 150) Пусть тебя теперь хвалят мамертинцы, так как они единственные во всей провинции желающие твоего оправдания; но пусть хвалят при условии, что Гей, глава посольства, будет здесь; при условии, что они будут готовы отвечать мне на мои вопросы. А я — да будет им ведомо! намерен спросить их вот о чем: должны ли они поставлять корабли римскому народу? Они ответят утвердительно. Поставили ли они корабль в претору Верреса? Они ответят отрицательно. Построили ли они за счет города огромный грузовой корабль, который они отдали Верресу? Они не смогут это отрицать. Брал ли у них Гай Веррес хлеб, чтобы отправлять его римскому народу, как поступали его предшественники? Нет. Сколько солдат и матросов дали они в течение трех лет? Ни одного, скажут они. Что Мессана была складом для всего похищенного и награбленного добра, они отрицать не смогут; что оттуда вывезено очень много вещей на множестве кораблей, наконец, что этот огромный корабль, данный Верресу мамертинцами, с грузом вышел в море и что Веррес выехал на нем, — все это им придется признать.

(151) Поэтому держись, пожалуй, за этот хвалебный отзыв мамертинцев. Но сиракузская городская община, как мы видим, настроена против тебя именно так, как этого заслуживает твое обращение с ней. Они упразднили также и позорные Веррии. И в самом деле, совершенно не подобало воздавать божеские почести тому человеку, который похитил изображения богов. Сиракузяне, клянусь Геркулесом, по всей справедливости даже заслуживали бы порицания, если бы они, вычеркнув из своего календаря торжественный и праздничный день игр, собиравший толпы народа, — так

как в этот день Сиракузы, как говорят, были взяты Марцеллом, — в этот же самый день устраивали празднество в честь Верреса, хотя он отнял у сиракузян то, что им было оставлено в тот злосчастный день. Но обратите внимание, судьи, на бесстыдство и наглость человека, который не только учредил эти позорные смехотворные Веррии на деньги Гераклия, но также и велел упразднить Марцеллии с тем, чтобы сиракузяне из года в год совершали священнодействия в честь того, из-за кого они лишились возможности совершать священнодействия, завещанные им предками, и утратили даже и богов своих отцов, и чтобы они отменили празднества в честь того рода, благодаря которому они сохранили все другие праздничные дни.

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ПОЭТА АВЛА ЛИЦИНИЯ АРХИЯ

(I, 1) Если я в какой-то мере, судьи, обладаю природным даром слова (его незначительность я признаю), или навыком в произнесении речей (в чем не отрицаю некоторой своей подготовки), или знанием существа именно этого дела, основанным на занятиях и на изучении самых высоких наук (чему я, сознаюсь, не был чужд ни в одну пору своей жизни), то Авл Лициний¹, пожалуй, более чем кто-либо другой должен, можно сказать, с полным правом потребовать от меня плодов всего этого. Ибо, насколько мой ум может охватить минувшую жизнь и предаться воспоминаниям об отдаленном детстве, я, возвращаясь мыслью к тем временам, вижу, что именно он первый пробудил во мне желание избрать эти занятия и вступить на этот путь. И если мой дар слова, сложившийся благодаря его советам и наставлениям, некоторым людям иногда приносил спасение, то ему самому, от которого я получил то, чем я могу помогать одним и охранять других, я, насколько это зависит от меня, конечно, должен нести помощь и спасение. (2) А дабы никто не удивлялся этим моим словам, так как Авл Лициний, могут сказать, обладает неким иным даром, а не знанием ораторского искусства или умением говорить, я скажу, что и я никогда не был всецело предан одному

только этому занятию. Ведь все науки, воспитывающие просвещенного человека, как бы сцеплены между собой общими звеньями и в какой-то мере родственны одна другой. (II, 3) Но для того чтобы никому из вас не показалось странным, что в вопросе, разбираемом на основании законов, и в уголовном суде, когда дело слушается в присутствии претора римского народа, в высокой степени выдающегося мужа, и перед строжайшими судьями, при таком огромном стечении людей я прибегаю к подобному роду красноречия, чуждому не только обычаям, принятым в суде, но даже и речам на форуме, я прошу вас оказать мне в настоящем деле, имея в виду личность обвиняемого, вот какое снисхождение, для вас, надеюсь, не тягостное. В моей речи в защиту выдающегося поэта и образованнейшего человека при таком стечении просвещеннейших людей, при вашей доброте, наконец, при этом преторе, вершащем суд, позвольте мне высказаться несколько свободнее о занятиях, связанных с просвещением и литературой, и, говоря о таком человеке, который, будучи далек от общественных дел и занимаясь литературой, не имеет опыта в судебных делах и не подвергался опасностям, прибегнуть к новому и, можно сказать, необычному роду красноречия.

(4) Если я почувствую, что вы охотно предоставляете мне эту возможность, то я, конечно, достигну того, что вы признаете присутствующего здесь Авла Лициния не только не подлежащим исключению из числа граждан — коль скоро он действительно является гражданином, — но решите, что, если бы даже он им не был, его следовало бы принять в их число.

(III) Ведь Архия, как только он вышел из детского возраста и после изучения наук, которые готовят детей к восприятию просвещения², обратился к занятию писателя, удалось вскоре превзойти всех славой своего дарования сначала в Антиохии (там он родился в знатной семье), в городе, некогда славном и богатом, где было множество учений людей и процветали благороднейшие науки. Впоследствии в других областях Азии и во всей Греции его посещения привлекали к себе внимание, причем от него ожидали большего, чем вещала молва, а по приезде его изумлялись ему больше, чем обещало ожидание. (5) В ту пору в Италии были широко распространены искусства и учения Греции, а в Лации к этим занятиям относились тогда более горячо, чем относятся к ним теперь в тех же самых городах, да и здесь, в Риме, ими не

пренебрегали — ведь в государстве в то время царило спокойствие. Поэтому и жители Тарента, и жители Регия, и жители Неаполя даровали Архию права гражданства³ и другие награды; все те, кто сколько-нибудь мог оценить дарование, признавали его достойным знакомства и уз гостеприимства⁴. Когда он, благодаря столь широко распространившейся молве о нем, уже стал известен заочно, он приехал в Рим⁵, в консульство Мария и Катула⁶. Вначале он еще застал тех консулов, из которых один мог ему предоставить для описания величайшие деяния, а другой — наряду с подвигами — одарить его своим вниманием знатока. Хотя Архий тогда еще носил претексту⁷, Лукуллы тотчас приняли его в свой дом; однако не только своему литературному дарованию, но и своим природным качествам и своим достоинствам он был обязан тем, что тот самый дом, который первым благосклонно его принял в его юности, остается самым близким ему в его старости. (6) В то время Архий пользовался расположением знаменитого Квинта Метелла Нумидийского и сына его Пия⁸; его слушал Марк Эмилий⁹; он общался с Квинтами Катулами, отцом и сыном¹⁰; пользовался уважением Луция Красса¹¹. Что же касается Лукуллов, Друза¹², Октавиев¹³, Катона¹⁴ и всего дома Гортензиев¹⁵, то они, постоянно близко общаясь с Архием, оказывали ему величайший почет, причем к нему относились с вниманием не только те, кто действительно стремился что-либо воспринять и услышать от него, но также и те, кто, пожалуй, притворялся, что хочет этого.

(IV) Между тем по истечении довольно долгого срока, после того как Архий выезжал в Сицилию вместе с Марком Лукуллом, он, возвращаясь из этой же провинции вместе с тем же Лукуллом, приехал в Гераклею. Так как эта городская община пользовалась широкими правами на основании союзного договора, то он захотел получить в ней права гражданства и исходатайствовал их тогда у гераклеян как благодаря тому, что его самого сочли достойным этого, так и благодаря авторитету и влиянию Лукулла. (7) На основании закона Сильвана и Карбона¹⁶ права гражданства были даны «всякому, кто был приписан к союзной городской общине, кто имел свое местожительство в Италии тогда, когда проводился закон, и кто в шестидесятидневный срок заявил об этом претору...» Так как Архий жил в Риме уже много лет, он и подал заявление своему ближайшему другу претору Квинту Метеллу.

(8) Если дело идет только о правах гражданства и о

законе, то я ничего больше не скажу — дело рассмотрено. И правда, что из этого можно оспаривать. Граттий? Станешь ли ты отрицать, что он был приписан к Гераклею? Здесь находится весьма влиятельный, добросовестный и честный муж — Марк Лукулл; он утверждает, что он не предполагает, а знает достоверно, не руководится слухами, а верит своим глазам, не только присутствовал при этом деле, но и принимал в нем живое участие. Здесь находятся посланцы из Гераклеи, знатнейшие люди; они прибыли на этот суд с полномочиями и со свидетельскими показаниями от имени общины; они утверждают, что Архий приписан к общине Гераклею. И ты еще требуешь официальные списки гераклевян, уничтоженные, как все мы знаем, пожаром в архиве во время Итальянской войны¹⁷. Но смешно, на то, чем мы располагаем, ничем не отвечать; требовать того, чем мы располагать не можем; молчать о свидетельствах людей и требовать письменных свидетельств; располагая клятвенным показанием прославленного мужа, клятвой и заверением честнейшего муниципия¹⁸, отвергать то, что не может быть искажено, а представления списков, которые, как ты сам говоришь, обычно подделываются, требовать. (9) Неужели нельзя считать жителем Рима того, кто за столько лет до дарования ему прав гражданства избрал Рим, чтобы связать с ним все свои дела и всю свою судьбу? Или он не делал заявления? Да нет же, он его сделал, его внесли в списки, которые на основании заявления, сделанного перед коллегией преторов, одни только и являются подлинными официальными списками.

(V) В то время как списки Аппия, как говорили, хранились несколько небрежно, а к спискам Габиния¹⁹ — вследствие его ненадежности, пока он еще ни в чем не провинился, и ввиду несчастья, которое постигло его после осуждения, — какое бы то ни было доверие было утрачено, Метелл, честнейший и добросовестнейший человек, был столь заботлив, что явился к претору Луцию Лентулу²⁰ и к судьям и заявил, что он смущен обнаруженным им исправлением одного имени. И вот в этих списках никакого исправления, касающегося имени Авла Лициния, вы не видите. (10) Коль скоро это так, какие же у вас основания сомневаться в его гражданских правах, особенно после того, как он был приписан также и к другим общинам? И правда, многим заурядным людям, не имевшим никакого ремесла или занимающимся каким-либо низким ремеслом, права

гражданства в Греции предоставлялись неохотно; но неужели регийцы, или локрийцы, или неаполитанцы, или тарентинцы, которые нередко награждали правами гражданства актеров, выступавших на сцене, отказались бы Авла Лициния, увенчанного высшей славой дарования, наградить тем же? Как? Между тем как иные, не говорю уже — после предоставления прав гражданства, но даже после издания Папиева закона тем или иным способом прокрались в списки этих муниципиев, Авл Лициний, который не ссылается даже на те списки, куда он внесен, — так как он всегда хотел быть гераклеянином — будет исключен?

(11) Ты требуешь наши цензорские списки; по-видимому, так; словно никому не известно, что при последних цензорах²¹ Авл Лициний был при войске вместе с прославленным императором Луцием Лукуллом; при предпоследних²² он был с ним же (тот был тогда квестором в Азии), при первых²³ — при Юлии и Крассе — ценз народа вовсе не производился. Но ведь ценз сам по себе еще не подтверждает прав гражданства, а только указывает, что человек, который подвергся цензу, тем самым уже тогда вел себя как гражданин; между тем Авл Лициний, которого ты обвиняешь в том, что он, даже по его собственному признанию, не обладал правами римских граждан, в те времена не раз составлял завещание в соответствии с нашими законами и получал наследство от римских граждан²⁴, его имя было сообщено в эрарий²⁵ проконсулом Луцием Лукуллом в числе имен лиц, заслуживших награду. (VI) Ищи доказательств, если можешь; никогда не будет он изобличен — ни на основании своего собственного признания, ни на основании признания его друзей.

(12) Ты спросишь меня, Граттий, почему так по душе мне Авл Лициний; потому что он нам дарит то, благодаря чему отдыхает ум после шума на форуме, что ласкает наш слух, утомленный препирательствами. Или ты, быть может, думаешь, что мы можем знать, что именно нам говорить изо дня в день при таком большом разнообразии вопросов, если мы не будем совершенствовать свой ум наукой, или же что наш ум может выносить такое напряжение, если мы не будем давать ему отдыха опять-таки в виде той же науки? Я, во всяком случае, сознаюсь в своей преданности этим занятиям. Пусть будет стыдно другим, если кто-нибудь настолько углубился в литературу, что уже не в состоянии ни извлечь из нее что-либо для общей пользы, ни пред-

ставить что-нибудь для всеобщего обозрения. Но почему стыдиться этого мне, судьи, если я в течение стольких лет веду такой образ жизни, что не было случая, когда желание отдыха отвлекло бы меня от оказания помощи кому бы то ни было — при грозившей ли ему опасности или для защиты его интересов, — когда стремление к наслаждению отклонило бы меня от моего пути, наконец, когда, желая поспать подольше, я опоздал бы? (13) Так кто же может порицать меня и кто вправе на меня негодовать, если столько времени, сколько другим людям предоставляется для занятий личными делами, для празднования торжественных дней игр, для других удовольствий и непосредственно для отдыха души и тела, сколько другие уделяют рано начинающимся пирушкам²⁶, наконец, игре в кости и в мяч²⁷, я лично буду тратить на занятия науками, постоянно к ним возвращаясь? И тем более следует предоставить мне такую возможность, что благодаря этим занятиям также совершенствуется мое красноречие, которое, каково бы оно ни было, никогда не изменяло моим друзьям, находившимся в опасном положении. Если оно и кажется кому-нибудь незначительным, то я, во всяком случае, понимаю, из какого источника мне черпать то, что выше всего.

(14) Ведь если бы я в юности, под влиянием наставлений многих людей и многих литературных произведений, не внушил себе, что в жизни надо усиленно стремиться только к славе и почестям, а преследуя эту цель — презирать все телесные муки, все опасности, грозящие смертью и изгнанием, то я никогда бы не бросился ради вашего спасения в столь многочисленные и в столь жестокие битвы и не стал бы подвергаться ежедневным нападениям бесчестных людей²⁸. Но таких примеров полны все книги, полны все высказывания мудрецов, полна старина; все это было бы скрыто во мраке, если бы этого не озарил свет литературы. Бесчисленные образы храбрейших мужей, созданные не только для любования ими, но и для подражания им, оставили нам греческие и латинские писатели! Всегда видя их перед собой во время своего управления государством, я воспитывал свое сердце и ум одним лишь размышлением о выдающихся людях.

(VII, 15) Кто-нибудь спросит: «Что же? А разве именно те выдающиеся мужи, о чьих доблестных делах рассказано в литературе, получили то самое образование, которое ты превозносишь похвалами?» Это трудно утверждать насчет

всех, но все же я хорошо знаю, что мне ответить. Я знаю, что было много людей выдающихся душевных качеств и доблести, что они сами по себе, без образования, можно сказать, в силу своих прирожденных, как бы божественных свойств были воздержны и строги. Я даже добавлю: природные качества без образования вели к славе чаще, чем образование без природных качеств. Но я все-таки настаиваю, что всякий раз, когда к выдающимся и блестящим природным качествам присоединяются некое разумное начало и просвещение, получаемое от науки, обычно возникает нечто превосходное и замечательное. (16) Из числа таких людей был тот человек, которого видели наши отцы, — божественный Публий Африканский²⁹; из их числа были Гай Лелий³⁰, Луций Фурий³¹, самые умеренные и самые воздержные люди; из их числа был храбрейший и по тем временам образованнейший муж, старец Марк Катон³². Если бы литература не помогала им проникнуться доблестью и воспитать ее в себе, они к ней, конечно, никогда бы не обратились. И даже если бы плоды занятий науками не были столь явны и если бы даже в этих занятиях люди искали только удовольствия, все же вы, я думаю, признали бы такое направление ума самым достойным и благородным. Ведь другие занятия годятся не для всех времен, не для всех возрастов, не во всех случаях, а эти занятия воспитывают юность, веселят старость, при счастливых обстоятельствах служат украшением, при несчастливых — прибежищем и утешением, радуют на родине, не обременяют на чужбине, бодрствуют вместе с нами по ночам, странствуют с нами и живут с нами в деревне.

(VIII, 17) Но если бы мы сами не могли ни постичь их, ни наслаждаться, воспринимая их своим умом, мы все же должны были бы восхищаться ими, даже видя их достоянием других. Кто из нас оказался настолько грубым и черствым человеком, что его не взволновала недавняя смерть Росция³³? Хотя он и умер стариком, все же, ввиду своего выдающегося искусства и изящества игры, он, казалось, вообще не должен был бы умирать. И если Росций снискал нашу всеобщую и глубокую любовь своими живыми телодвижениями, то неужели мы пренебрежем невероятной живостью движений души и быстротой ума? (18) Сколько раз видел я, судья, как присутствующий здесь Архий — воспользуясь вашей благосклонностью, раз вы так внимательно слушаете эту мою необычную речь, — сколько раз видел

я, как он, не записав ни одной буквы, произносил без подготовки большое число прекрасных стихов именно о событиях, которые тогда происходили; сколько раз, когда его вызывали для повторения, он говорил о том же, изменив слова и обороты речи! Что же касается написанного им после тщательного размышления, то оно, как я видел, встречало большое одобрение; он достигал славы, равной славе писателей древности. Его ли мне не любить, им ли не восхищаться, его ли не считать заслуживающим защиты любым способом? Ведь мы узнали от выдающихся и образованнейших людей, что занятия другими предметами основываются на изучении, на наставлениях и на науке; поэт же обладает своей мощью от природы, он возбуждается силами своего ума и как бы исполняется божественного духа. Поэтому наш знаменитый Энний³⁴ справедливо называет поэтов священными, так как они кажутся рекомендованными нам как милостивый дар богов. (19) Да будет поэтому у вас, судьи, у образованнейших людей, священной это имя — «поэт», которое даже в варварских странах никогда не подвергалось оскорблениям. Скалы и пустыни откликаются на звук голоса, дикие звери часто поддаются действию пения и замирают на месте³⁵; а нас, воспитанных на прекраснейших образцах, не взволнует голос поэта? Жители Колофона говорят, что Гомер был их согражданином, хиосцы считают его своим; саламинцы заявляют на него права, а жители Смирны утверждают, что он принадлежит им; поэтому они даже воздвигали ему храм в своем городе; кроме того, очень многие другие города состязаются друг с другом и спорят об этом³⁶.

(IX) Итак, даже чужеземца, за то, что он был поэтом, они стремятся и после его смерти признать своим согражданином; так неужели же мы отвергнем вон этого находящегося в живых, который и по своей доброй воле и по законам — наш, тем более что Архий издавна направил все свое усердие и все свое дарование на то, чтобы возвеличивать славу римского народа и воздавать ему хвалу? Ведь он еще юношей принялся за описание войны с кимврами и пользовался расположением самого Гая Мария, который, казалось, довольно жестко относился к этим занятиям. (20) Ибо едва ли найдется человек, настолько враждебный Музам, чтобы сопротивляться увековечению в стихах своих деяний. Знаменитый Фемистокл³⁷, самый выдающийся афинянин, на вопрос, какого исполнителя и во-

обще чей голос слушает он с наибольшим удовольствием, говорят, сказал: «Голос того, кто лучше всех рассказывает о моей доблести». Поэтому и знаменитый Марий особенно ценил Луция Плоция³⁸, который, по мнению Мария, своим дарованием мог прославить его деяния. (21) Что же касается войны с Митридатом, великой, тяжелой и протекавшей на суше и на море с переменным успехом, то вся она описана Архием; книги эти возвеличивают не только Луция Лукулла, храбрейшего и знаменитейшего мужа, но и имя римского народа; ибо ведь это римский народ, под империем Лукулла, открыл для себя доступ в Понт, охранявшийся издревле властью своих царей и естественными условиями; ведь римского народа войско под водительством того же Лукулла незначительными силами разбило неисчислимые войска армян; римского народа заслуга в том, что дружественный нам город Кизик по решению того же Лукулла был избавлен от нападения царя, спасен от всех опасностей и, так сказать, вырван из пасти войны³⁹; и всегда будут превозносить и восхвалять тот беспримерный морской бой под Тенедосом⁴⁰, в котором Луций Лукулл, перебив вражеских военачальников, потопил флот врагов; нам принадлежат трофеи, нам — памятники, нам — триумфы⁴¹. И кто посвящает свое дарование восхвалению всего этого, тот возвеличивает славу римского народа.

(22) Дорог был старшему Публию Африканскому наш Энний; поэтому даже в гробнице Сципионов поставлено, как полагают, его мраморное изображение. Но такими восхвалениями, несомненно, возвеличивается не только тот, кого восхваляют, но также и само имя римского народа. До небес превозносят имя Катона, прадеда нашего современника⁴²; тем самым величайший почет воздается делам римского народа. Также и похвалы, воздаваемые Максимам, Марцеллам, Фульвиям, относятся в некоторой мере и ко всем нам. (X) И вот того, кто создал все это, уроженца Рудий⁴³, предки наши приняли в число граждан; а мы из числа наших граждан исключим этого гераклеянина, желанного во многих городских общинах, но в силу законов утвердившегося в нашей?

(23) Далее, если кто-нибудь думает, что греческие стихи способствуют славе в меньшей степени, чем латинские, то он глубоко заблуждается, так как на греческом языке читают почти во всех странах⁴⁴, а на латинском — в ограниченных, очень тесных пределах. Поэтому, если деяния,

совершенные нами, ограничиваются на земле какими-то пределами, то мы должны желать, чтобы туда, куда копья, брошенные нашими руками, пожалуй, не долетят, проникла слава и молва о нас; ибо, если для самих народов, о подвигах которых пишут, это имеет большое значение, то для тех, кто рискует своей жизнью ради славы, это, несомненно, служит величайшим побуждением к тому, чтобы подвергаться опасностям и переносить труды. (24) Сколь многочисленных повествователей о своих подвигах имел при себе, как говорит предание, великий Александр⁴⁵! И все же он, остановившись в Сигее⁴⁶ перед могилой Ахилла, сказал: «О счастливый юноша, ты, который нашел в лице Гомера глашатая своей доблести!» И верно: если бы у Гомера не было его искусства, то та же могильная насыпь, которая покрыла тело Ахилла, погребла бы в себе также и его имя. Далее, разве не даровал наш Великий⁴⁷, чья удачливость равна его доблести, на солдатской сходке права гражданства Феофану из Митилены, описывавшему его деяния, и разве наши сограждане, храбрые, но неотесанные солдаты, не одобрили этого громкими возгласами, будучи привлечены, так сказать, сладостью славы, как бы отнеся к себе часть этой хвалы? (25) Значит, если бы Архий не был римским гражданином на законном основании, то он, видите ли, не смог бы добиться, чтобы кто-либо из императоров даровал ему права гражданства! Сулла, предоставляя их испанцам и галлам, уж конечно отказал бы Архию в его просьбе! Тот самый Сулла, который, как мы знаем, однажды, на сходке, когда плохой уличный поэт подбросил ему тетрадку с написанной в честь Суллы эпиграммой (а это только потому была эпиграмма, что в ней чередовались стихи разной длины⁴⁸), тотчас же приказал вручить поэту награду из тех вещей, которые тогда продавал, но с условием, чтобы тот впредь ничего не писал! Неужели тот, кто признал усидчивость плохого поэта все же достойной какой-то награды, не постарался бы привлечь к себе даровитого Архия с его умением писать и с его богатством речи? (26) Как? Неужели Архий не исходатайствовал бы — сам или через Лукуллов — для себя прав гражданства у Квинта Метелла Пия, очень близкого ему человека, даровавшего их многим людям? Ведь Метелл так жаждал, чтобы его деяния описывались, что был готов слушать даже поэтов родом из Кордубы⁴⁹, хотя они пели как-то напыщенно и непривычно для нас.

(XI) Нечего и скрывать то, что не может остаться тайным и о чем следует заявить открыто: всех нас влечет жажда похвал, все лучшие люди больше других стремятся к славе. Самые знаменитые философы даже на тех книгах, в которых они пишут о презрении к славе, ставят, однако, свое имя; они хотят, чтобы за те самые сочинения, в которых они выражают свое презрение к прославлению и известности, их прославляли и восхваляли их имена. (27) Децим Брут⁵⁰, выдающийся муж и император, украсил преддверия сооруженных им храмов и памятников стихами своего лучшего друга Акция⁵¹. Далее, тот, кто воевал с этолийцами, имея своим спутником Энния, — Фульвий⁵², без колебаний посвятил Музам добычу Марса. Поэтому в городе, где императоры, можно сказать, еще с оружием в руках почтили имя «поэт» и святилища Муз, в этом городе судьи, носящие тоги, не должны быть чужды почитанию Муз и делу спасения поэтов.

(28) А для того чтобы вы, судьи, сделали это охотнее, я укажу вам на самого себя и признаюсь вам в своем славолюбии, быть может, чрезмерном, но все же достойном уважения. Ведь Архий уже начал описывать стихами деяния, совершенные мной в мое консульство вместе с вами ради спасения нашей державы, а также для защиты жизни граждан и всего государственного строя⁵³. Прослушав их, я, так как это показалось мне важным и приятным, поручил ему закончить его работу. Ведь доблесть не нуждается в иной награде за свои труды, кроме награды в виде хвалы и славы; если она у нас будет похищена, то к чему нам, судьи, на нашем столь малом и столь кратком жизненном пути так тяжело трудиться? (29) Во всяком случае, если бы человек в сердце своем ничего не предчувствовал и если бы в те же тесные границы, какими определен срок его жизни, он замыкал все свои помыслы, то он не стал бы ни изнурять себя такими тяжкими трудами, ни тревожиться и лишать себя сна из-за стольких забот, ни бороться столь часто за саму свою жизнь. Но теперь в каждом честном человеке живет доблестное стремление, которое днем и ночью терзает его сердце жаждой славы и говорит о том, что память о нашем имени не должна угаснуть с нашей жизнью, но должна жить во всех последующих поколениях.

(XII, 30) Неужели же мы все, отдаваясь государственной деятельности, подвергая опасностям свою жизнь и перенося столько трудов, столь ничтожны духом, чтобы поверить,

что с нами, не знавшими до нашего последнего дыхания ни покоя, ни досуга, все умрет? Если многие выдающиеся люди постарались оставить после себя статуи и изображения, передававшие не их душу, а их внешний облик, то не должны ли мы предпочесть, чтобы после нас осталась картина наших помыслов и доблестных деяний, искусно созданная людьми величайшего дарования? Я, по крайней мере, думал, что все деяния, какие я совершал, уже в то время, когда они совершались, становились семенами доблести, рассыпающимися по всему миру, и что память о них сохранится навеки. Но, будут ли эти воспоминания после моей смерти далеки от моего сознания или же, как думали мудрейшие люди⁵⁴, они будут соприкасаться с какой-то частью моей души, теперь я, несомненно, услаждаю себя размышлениями об этом и питаю какую-то надежду.

(31) Итак, судьи, спасите человека, столь благородного душой, что порукой за него, как видите, является высокое положение его друзей и их давняя дружба с ним, и столь высоко одаренного (а это можно видеть из того, что к его услугам прибегали люди выдающегося ума). Что касается правоты его дела, то она подтверждается законом, авторитетом муниципия, свидетельскими показаниями Лукулла, записями Метелла. Коль скоро это так, прошу вас, судьи, — если люди столь великого дарования имеют право на покровительство не только людей, но и богов, — то этого человека, который всегда возвеличивал нас, ваших императоров, подвиги римского народа, человека, который обещает увековечить славу недавней борьбы с теми опасностями, что внутри государства угрожали мне и вам, который принадлежит к числу людей, каких всегда считали и называли священными, примите под свое покровительство, чтобы его участь была облегчена вашим милосердием, а не ухудшена вашим бессердечием.

(32) Что я, по своему обыкновению, коротко и просто сказал о судебном деле, судьи, не сомневаюсь, заслужило всеобщее одобрение. Что касается сказанного мной о даровании Архия и о его занятиях вообще, — когда я, можно сказать, отступил от своего обыкновения и от судебных правил, — то вы, надеюсь, приняли это благосклонно. Тот, кто вершит этот суд⁵⁵, воспринял это именно так; в этом я уверен.

ОБ ОРАТОРЕ

Квинту Цицерону¹

КНИГА ПЕРВАЯ

1. [Вступление.] (1). Когда я размышляю о старине, брат мой Квинт, и воскрешаю ее в памяти, что случается нередко, мне всегда блаженными кажутся те, кто жил в лучшие времена республики, кто блистал и почестями и славой подвигов, и кто мог пройти жизненное поприще так, чтобы на государственной службе не знать опасностей, а на покое сохранять достоинство. Так, было время, когда я думал, что и мне по справедливости и по общему признанию можно будет предаться отдыху и обратиться к любимым нами обоими славным наукам, если по преклонности лет и по завершении всего ряда должностей всем моим бесконечным заботам на форуме и хлопотам о почестях придет конец. 2. Но эту надежду, на которую обращены были мои помыслы и намерения, обманули как тяжелые общественные бедствия, так и превратности собственной моей судьбы². В то самое время, когда, казалось, можно было особенно рассчитывать на покой и безмятежность, вдруг грянули грозы, взбушевались бури, — и вот, несмотря на все мое желание и ожидание, я так и не мог насладиться досугом, заняться усидчиво теми науками, которым мы были преданы с детства, и снова возделывать их нашими общими усилиями. 3. Юность моя совпала как раз с потрясением прежнего порядка вещей³, консульство поставило меня среди самого разгара решительной борьбы за существование государства, а все время после консульства до сих пор я противостояю тому погибельному потоку, который мне удалось отвести от общества, чтобы обрушить на мою собственную голову.

И все ж, несмотря на весь гнет обстоятельств и на недостаток времени, я последую своему влечению к науке, и тот досуг, который мне оставят козни врагов или тяжбы друзей или дела государства, отдам преимущественно литературной деятельности. 4. Тебе же, брат мой, уж конечно, не будет у меня отказа, обратишься ли ты ко мне с советом или с просьбой, потому что ничему авторитету и ничьим

желаниям я не покоряюсь охотнее, чем твоим. (2). В данном случае я считаю нужным возвратиться к воспоминанию об одном давнем происшествии: правда, оно не вполне сохранилось в моей памяти, но думаю, что оно лучше всего ответит на твой вопрос: ты узнаешь, как смотрели на всю теорию красноречия те, которым не было равных и в речах, и в славе. 5. Ты не раз говорил мне, что сочинение, которое когда-то в дни моего отрочества или нежной юности вышло из моих школьных записок, было незаконченным и незрелым⁴, что оно уже недостойно моих лет и моей опытности, почерпнутой из столько важных дел, которые мне приходилось вести, и что я должен издать об этом предмете что-нибудь более обработанное и совершенное. Кроме того, при наших рассуждениях ты нередко расходишься со мной во мнениях: я полагаю, что красноречием можно овладеть лишь сравнившись в знаниях с образованнейшими людьми, тогда как ты совершенно отделяешь его от основательности знаний и видишь в нем только плод известной природной способности и упражнения.

6. *[Отчего так мало выдающихся ораторов.]* Я неоднократно присматривался к людям необыкновенным и одаренным необыкновенными способностями, и это навело меня на такой вопрос: почему среди всех наук и искусств красноречие выдвинуло меньше всего замечательных представителей? В самом деле, в какую сторону ни обратишь свое внимание и мысли, увидишь множество людей, отличившихся в любой отрасли знаний, и знаний не мелких, а, можно сказать, наиважнейших. 7. Если судить о знаменитых людях с точки зрения пользы или величия их деяний, то кто не поставит, например, полководца выше оратора? А между тем всякий согласится, что в одном нашем государстве мы можем указать превосходнейших военачальников чуть не бесчисленное множество, а выдающихся ораторов — едва несколько человек. 8. Даже таких людей, которые своими мудрыми решениями способны вести и направлять государство, достаточно много выступило в наши дни, еще больше — на памяти наших отцов, и тем более — на памяти предков, тогда как хороших ораторов очень долго не было вовсе, а сносных — едва найдется по одному на каждое поколение. При этом не следует думать, что искусство красноречия уместнее сопоставлять с такими научными занятиями, которые требуют отвлеченного мышления и широкой начитанности, нежели с воинскими достоинствами

полководца или рассудительностью хорошего сенатора: достаточно лишь посмотреть на такие науки, чтобы увидеть, как много ученых стяжало ими себе известность, и чтобы понять, как мало ораторов и в наши дни, да и во все времена. 9.

(3) Например, ты знаешь, что та наука, которую греки зовут философией, признается лучшими учеными за прародительницу и как бы мать всех упомянутых наук; и тем не менее трудно даже пересчитать, сколько людей, с какими знаниями, с какой разносторонностью и полнотою интересов, подвизались на поприще этой науки, и не только в какой-нибудь отдельной ее области, но даже, насколько это возможно, в полном ее составе, как исследуя ее содержание, так и систематически его излагая. 10. А так называемые математики? Кому не известно, как труден для понимания их предмет, как отвлеченна, многосложна и тонка их наука? Однако же и здесь явилось столько знатоков своего дела, что, по-видимому, едва ли не всякий, хорошенько поработав над предметом, вполне достигал своей цели. А музыка? А изучение словесности, которым занялись так называемые грамматики⁵? Кто, предавшись этим предметам со всем усердием, не узнал и не изучил их во всем их беспредельном объеме и содержании? 11. Пожалуй, если я не ошибаюсь, из всех тех, кто посвятил свои силы этим благородным искусствам и наукам, всего меньше вышло замечательных поэтов. Но если даже на этом поприще, на котором блестящие дарования являются очень редко, тебе вздумается ради сравнения выбрать лучших как между нашими соотечественниками, так и между греками, то все-таки хороших ораторов найдется гораздо меньше, чем хороших поэтов. 12. Это должно казаться тем более удивительным, что в остальных науках и искусствах познания обыкновенно черпаются из отвлеченных и трудно доступных источников, в красноречии же общие основы находятся у всех на виду, доступны всем и не выходят за пределы повседневных дел и разговоров; потому-то в других науках более ценится то, что менее доступно пониманию и представлениям непосвященных, в красноречии же, напротив, нет порока больше, чем уклонение от обыкновенного склада речи и от общепринятых понятий. 13. (4) Несправедливо было бы также сказать, будто прочие науки больше привлекают к себе людей или будто изучение их сопряжено с большим наслаждением или с обширнейшими надеждами и со значи-

тельнейшим вознаграждением. Я уж не буду говорить о Греции, которая всегда стремилась быть первой в красноречии, и о пресловутом отечестве всех наук, Афинах, где ораторское искусство было и открыто и доведено до совершенства⁶; но ведь и в нашем отечестве, уж конечно, ничего никогда не изучали усерднее, нежели красноречие. 14. В самом деле, по установлении всемирного нашего владычества, когда продолжительный мир окончательно обеспечил досуг, едва ли был хоть один честолюбивый юноша, который бы не стремился постигнуть во что бы то ни стало искусство оратора. При этом сначала, чуждые всяких теоретических познаний, не подозревая существования никаких методов в упражнении и никаких правил в науке, они доходили только до той ступени, которой могли достигнуть одним своим умом и своими силами. Но впоследствии, послушав греческих ораторов, познакомившись с их сочинениями да прибегнув к помощи преподавателей, наши земляки возгорелись просто невероятным усердием к красноречию. 15. Этому содействовали значительность, разнообразие и множество всевозможных судебных дел, вследствие чего к познаниям, какие каждый приобрел своим личным прилежанием, присоединялось частое упражнение, которое важнее наставлений всяких учителей. А сулил этот род занятий те же награды, что и теперь, — и популярность, и влияние, и уважение. Что же касается природных дарований, то уж в этом отношении наши земляки, как мы можем заключить по многим примерам, далеко превосходили всех прочих людей⁷ какого угодно происхождения. 16. Сообразив все эти обстоятельства, разве мы не вправе дивиться, что во всей истории поколений, эпох, государств мы находим такое незначительное число ораторов?

[*Трудность красноречия.*] Но это объясняется тем, что красноречие есть нечто такое, что дается труднее, чем это кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний. (5) И точно, при взгляде на великое множество учащихся, необыкновенное обилие учителей, высокую даровитость народа, бесконечное разнообразие тяжб, почетные и щедрые награды, ожидающие красноречие, какую можно предположить другую причину этого явления, кроме как невероятную обширность и трудность самого предмета? 17. В самом деле, ведь здесь необходимо усвоить себе самые разнообразные познания, без которых беглость в словах бессмысленна и смешна; необходимо придать красоту самой речи,

и не только отбором, но и расположением слов; и все движения души, которыми природа наделила род человеческий, необходимо изучить до тонкости, потому что вся мощь и искусство красноречия в том и должны проявляться, чтобы или успокаивать, или возбуждать души слушателей. Ко всему этому должны присоединяться юмор и остроумие, образование, достойное свободного человека, быстрота и краткость как в отражении, так и в нападении, проникнутые тонким изяществом и благовоспитанностью. 18. Кроме того, необходимо знать всю историю древности, чтобы черпать из нее примеры; нельзя также упускать знакомства с законами и с гражданским правом. Нужно ли мне еще распространяться о самом исполнении, которое требует следить и за телодвижениями, и за жестикуляцией, и за выражением лица, и за звуками и оттенками голоса? Как это трудно само по себе, показывает даже легкомысленное искусство комедиантов в театре: хоть они и силятся владеть и лицом, и голосом, и движениями, но кто не знает, как мало меж ними и было и есть таких, на которых можно смотреть с удовольствием? Наконец, что сказать мне о сокровищнице всех познаний — памяти? Ведь само собою разумеется, что если наши мысли и слова, найденные и обдуманые, не будут поручены ей на хранение, то все достоинства оратора, как бы ни были они блестящи, пропадут даром. 19.

Поэтому перестанем недоумевать, отчего так мало людей красноречивых: мы видим, что красноречие состоит из совокупности таких предметов, из которых даже каждый в отдельности бесконечно труден для разработки. Постараемся лучше добиться, чтобы наши дети и все, чьи слава и достоинство нам дороги, полностью представили себе эту трудность задачи и поняли бы, что привести их к желанной цели никак не могут те правила, учителя и упражнения, к которым прибегают нынче все, а нужны какие-то совсем другие. 20. (6) По крайней мере мое мнение таково, что невозможно быть во всех отношениях достохвальным оратором, не изучив всех важнейших предметов и наук. Речь должна расцветать и разворачиваться только на основе полного знания предмета; если же за ней не стоит содержание, усвоенное и познанное оратором, то словесное ее выражение представляется пустой и даже ребяческой болтовней. 21. Но в своих требованиях от ораторов, особенно от наших при их недосуге за множеством общественных обязанностей, я отнюдь не иду так далеко, чтобы требовать от них все-

охватных познаний, — хотя уже в самом понятии «оратор» и в притязании на красноречие как будто лежит торжественное обязательство говорить на всякую предложенную тему красиво и изобильно. 22. Нет, конечно, большинству такая задача покажется просто непомерной; ведь даже греки, богатые не только дарованиями и ученостью, но и досугом и рвением к науке, тем не менее разбили всю ее область на известные участки и не пытались в одиночку охватить ее целиком: так, они выделили из остальных видов словесного искусства ту отрасль красноречия, которая занимается всснародными прениями в судах или собраниях, и одну лишь ее предоставили оратору. Потому в этих книгах я ограничусь лишь тем, что по основательном исследовании и зрелом обсуждении предмета отнесено к этой области почти единодушным приговором знаменитостей. 23. Но это будет не перечень правил, начиная с азов наших собственных давних детских познаний; нет, это будут предметы, которые, как я слышал, обсуждались некогда в разговоре наших земляков, мужей в высшей степени красноречивых и превознесенных всякими почестями. Я не отрицаю важности наставлений, завещанных знатоками и наставниками греческого красноречия, но так как они общедоступны и открыты для всех и мое изложение не прибавит им ни ясности мысли, ни изящества формы, то надеюсь, ты позволишь мне, любезный брат, мнению тех мужей, которые у нас почитались первыми в витийстве, отдать преимущество перед суждениями греков.

[*Обстоятельства диалога.*] (7) Итак, вот что мне рассказывали. 24.

Когда консул Филипп⁸ ожесточенно нападал на первейших лиц в государстве и Друз⁹, взявший на себя трибунство для защиты влияния сената, стал, казалось, терять свое значение и силу, тогда-то, говорят, во время Римских игр¹⁰ знаменитый Луций Красс, как будто бы для отдыха, отправился в свое тускульское имение. Туда же прибыл Квинт Муций¹¹, его бывший тесть, и Марк Антоний, человек, разделявший взгляды Красса на дела государственные и, кроме того, связанный с ним тесной дружбой. 25. Вместе с Крассом отправились туда двое юношей, большие приятели Друза, в которых старшие видели тогда будущих поборников своих прав, именно Гай Котта¹², искавший в то время плебейского трибунства, и Публий Сульпиций¹³, который, как думали, собирался искать этой должности на следующий год. 26.

В первый день они много говорили о тогдашних обстоятельствах и о положении государства вообще, что и было настоящей целью их прибытия, и так протолковали до исхода дня. В своей беседе, как рассказывал мне Котта, эти три консулярия¹⁴, словно по наитию, горестно предсказывали многие события, так что ни одна из тех бед, которые впоследствии постигли государство, не укрылась за столько времени от их прозорливости. 27. Однако по окончании всей этой беседы Красс повел себя так легко и сердечно, что, когда они после бани легли за стол¹⁵, то мрачный тон прежней беседы исчез совершенно. Хозяин был так весел и так остроумен в шутках, что день у них вышел как будто сенатский, а обед — тускуланский. 28.

На следующий день, когда старшие успели отдохнуть, все пошли на прогулку. И вот тогда Сцевола, прошед два или три конца, сказал:

— Отчего, Красс, мы не берем примера с Сократа в Платоновом «Федре»¹⁶? Меня надоумил твой платан: укрывая это место от лучей, он раскинулся своими развесистыми ветвями не хуже, чем тот, тень которого привлекла Сократа, хоть мне и кажется, что тот платан вырос не столько благодаря ручейку, который там описывается, сколько благодаря самой речи Платона. Сократ разлегся под тем платаном на траве и в таком положении вел свои речи, которые философы приписывают божественному откровению; а то, что он сделал при своих закаленных ногах¹⁷, во всяком случае еще справедливее предоставить моим. 29.

— Зачем? — сказал Красс. — Можно еще удобнее!

Он потребовал подушек, и все уселись на тех сиденьях, которые были под платаном.

[Первая речь Красса: похвала красноречию.] (8) Здесь-то, чтобы изгладить впечатление прежнего разговора, Красс и завел разговор о занятиях красноречием. Котта рассказывал об этом не раз. 30. Начал Красс с того, что, по его мнению, ему приходится не поощрять Сульпиция и Котту, а, скорее, хвалить их обоих за то, что они уже достигли такого искусства, что их не только предпочитают их сверстникам, но и равняют со старшими. «Право, — сказал он, — я не знаю ничего прекраснее, чем умение силою слова приковывать к себе толпу слушателей, привлекать их расположение, направлять их волю куда хочешь и отворачивать ее откуда хочешь. Именно это искусство у всех свободных народов и главным образом в мирных и спокой-

ных государствах пользовалось во все времена особенным почетом и силой. 31. В самом деле, можно ли не восхищаться, когда из бесчисленного множества людей выступает человек, который один или в числе немногих умеет осуществить на деле то, что таится во всех лишь в виде врожденной способности? И что так приятно действует на ум и на слух, как изящно отделанная речь, блистающая мудрыми мыслями и полными важности словами? Или что производит такое могущественное и возвышенное впечатление, как когда страсти народа, сомнения судей, непреклонность сената покоряются речи одного человека? 32. Далее, что так царственно, благородно, великодушно, как подавать помощь прибегающим, ободрять сокрушенных, спасать от гибели, избавлять от опасностей, удерживать людей в среде их сограждан¹⁸? С другой стороны, что так необходимо, как иметь всегда в руках оружие, благодаря которому можно то охранять себя, то угрожать бесчестным, то мстить за нанесенную обиду? Но даже помимо этого, даже на покое, вдали от форума, с его судейскими скамьями, трибунами, курией¹⁹, — что может быть отраднее и свойственнее человеческой природе, чем остроумная и истинно просвещенная беседа? Ведь в том-то и заключается наше главное преимущество перед дикими зверями²⁰, что мы можем говорить друг с другом и выражать свои ощущения словом. 33. Как же этим не восхищаться и как не употребить все силы, чтобы превзойти всех людей в том, в чем все люди превзошли зверей? Но даже этого мало. Какая другая сила могла собрать рассеянных людей²¹ в одно место или переменить их дикий и грубый образ жизни на этот человеческий и гражданственный быт или установить в новосозданных государствах законы, суды и права? 34. Чтобы не громоздить примеры до бесконечности, я выражу свою мысль в немногих словах: истинный оратор, говоря я, своим влиянием и мудростью не только себе снискивает почет, но и множеству граждан, да и всему государству в целом, приносит счастье и благополучие. Поэтому продолжайте, молодые люди, идти намеченным путем и прилагайте старание к изучению избранного вами предмета себе во славу, друзьям в пользу и государству во благо.

35. [*Возражение Сцеволы.*] (9) На это Сцевола возразил с обычной учтивостью:

— Я во всем готов согласиться с Крассом, чтобы не умалять искусства и славы Гая Лелия²², моего тестя, или

тебя, моего зятя; но не знаю, Красс, могу ли я уступить тебе вот по каким двум вопросам. Во-первых, ты говоришь, что государства бывали обязаны ораторам как своим первоначальным устройством, так нередко и дальнейшим сохранением; во-вторых, ты утверждаешь, что оратор, даже помимо форума, сходки, судов и сената, во всех речах и во всех благородных знаниях представляет собою высшее совершенство. 36. Но можно ли согласиться с тобой, что когда род человеческий, рассеянный по горам и лесам, затворился в городах и стенах, то достигнуто это было не убедительными советами мужей благоразумных, а вкрадчивыми словами людей речистых? Можно ли согласиться, что и все остальные полезные установления при устройстве или сохранении государств введены не теми, кто мудр и храбр, а теми, кто речист и красиво говорит? 37. Неужели ты действительно думаешь, что наш Ромул спросил пастухов и пришельцев, завязал брачные отношения с сабинянами, отразил нападения соседей силою красноречия, а не своею редкой находчивостью и мудростью? Ну а у Нумы²³, а у Сервия Туллия²⁴, а у прочих царей, которые оставили много превосходных установлений для устройства государства, разве виден хоть след красноречия? Ну, а после изгнания царей — да и само-то изгнание совершилось, как видно, благодаря уму, а не языку Луция Брута²⁵, — после изгнания царей разве не видим мы в Риме обилия мысли и отсутствия слов? 38. Да если бы мне пришла охота воспользоваться примерами как нашего государства, так и других, то, право, я легко мог бы показать, что люди наиболее красноречивые приносили государствам больше вреда, чем пользы. Об остальных я говорить не буду, но самые красноречивые люди, которых мне приходилось слышать, — за исключением вас двоих, Красс, — были, по моему мнению, Тиберий и Гай Семпроний²⁶. Отец их, человек благоразумный и почтенный, но совсем не красноречивый, немало сделал для благополучия государства, особенно во время своего цензорства, когда он перевел отпущенников в городские трибы, и сделал это не старательной многоречивостью, а только силой воли и твердым словом²⁷; и хоть мы и теперь едва держим власть в своих руках, но кабы не он, мы бы давно уж совсем ее потеряли. А вот его речистые сыновья, и природой и наукой подготовленные для витийства, застали государство в том цветущем состоянии, в которое его привели находчивость их отца и оружие

деда, и сами разорили его вконец красноречием, этим, по твоим словам, превосходным орудием управления. 39. (10) Ну а старинные законы и обычаи предков? А гадания²⁸, которыми к великой пользе государства мы оба заведем, как я, так и ты, Красс? А священные действия и обряды? А постановления гражданского права, знание которых давным-давно живет в нашем собственном семействе безо всяких заслуг в деле красноречия? Разве ораторы все это изобрели? Разве они все это знают или вообще хоть занимались этим? 40. Мне по крайней мере очень памятен и Сервий Гальба²⁹, человек божественного красноречия, и Марк Эмилий Порцина³⁰, и сам Гай Карбон³¹, которого ты разгромил в своей юности и который законов не знал вовсе, обычаи предков знал еле-еле, а гражданское право³² — в лучшем случае посредственно; и если исключить тебя, Красс, так как ты изучил у меня гражданское право, хотя больше по собственному усердию, чем по какому-нибудь непременному требованию ораторского искусства, то и нынешнее поколение до такой степени незнакомо с правом, что подчас бывает стыдно. 41.

Ну а что сказать о конце твоей речи, в которой ты, словно решая тяжбу, предоставил оратору право рассуждать обо всем на свете со всею возможною полнотою? Право, не будь мы здесь, в твоём царстве, я тотчас же принял бы меры и помог бы многим вчинить против тебя иск посредством ли интердикта, путем ли наложения рук³³, — и все за то, что ты так необузданно вторгся в чужие владения. Прежде всего с тобой завели бы тяжбу все пифагорейцы и демокритовцы³⁴, да и прочие физики заявили бы свои права, всё народ с речью красивой и веской, и нельзя было бы тебе выиграть против них спора о залоге. Кроме того, стали бы напирать на тебя толпы философов, начиная с их родоначальника и главы, Сократа³⁵, и уличать тебя в том, что ты не имеешь никакого понятия ни о добре, ни о зле, ни о движениях души, ни о людских нравах, ни о смысле жизни, что ты ровно ничего не исследовал и ничего не знаешь. 43. А после этого общего натиска начали бы против тебя отдельные тяжбы все философские школы: набросилась бы на тебя Академия³⁶, заставляя тебя отрицать собственные слова; запутали бы тебя мои стоики³⁷ в силки своих препирательств и вопросов; а перипатетики³⁸ стали бы доказывать, что только к ним следует обращаться даже за теми подспорьями и украшениями речи, которые ты считаешь

беспорной собственностью ораторов, и стали бы показывать, что Аристотель с Феофрастом³⁹ писали об этом не только лучше, но и гораздо больше, чем всевозможные учителя красноречия. 44. Я уже не говорю о математиках, грамматиках, музыкантах, с науками которых ваше красноречие не состоит ни в малейшей связи. Поэтому я полагаю, Красс, что не следует брать на себя такие громадные и многосложные обязательства. Достаточно и того, что ты и в самом деле можешь исполнить; достаточно, что в судах то дело, которое защищаешь ты, кажется справедливее и предпочтительнее, что на сходках и при подаче мнений твоя речь сильнее всех по убедительности, наконец, что люди опытные находят твоё изложение искусным, а простак — даже справедливым. Если же тебе под силу что-то большее, то в моих глазах это заслуга не оратора, а Красса, владеющего искусством, лично ему свойственным, а не общим всем ораторам.

[Вторая речь Красса: разделение философов и ораторов.] 45. (11) Я очень хорошо знаю, Сцевола, — возразил Красс, — что обо всем этом идут у греков толки и споры. Ведь я имел случай слышать лучших знатоков, когда в бытность мою квестором прибыл из Македонии в Афины⁴⁰, где тогда, говорят, процветала Академия во главе с Хармадом⁴¹, Клитомахом и Эсхином. Там же был Метродор, вместе с ними учившийся у самого Карнеада, который, как говорили, превосходил всех остроумием и богатством речи; в почете были Мнесарх, ученик твоего друга Панетия, и Диодор, ученик перипатетика Критолая. Много было там и других людей, пользовавшихся славой и уважением в деле философии. 46. Все они передо мною в один голос отстраняли оратора от кормила правления, оттесняли от всякой учености и высшего знания и загоняли его и затискивали, словно в какую мукомольню, только в одни суды и мелкие сходки. 47.

И все-таки я не соглашался ни с ними, ни с самим первоначинателем этого спора, Платоном, который писал об этом убедительнее и красивее всех. Его «Горгия»⁴² я как раз тогда в Афинах вместе с Хармадом читал очень внимательно; и в этой книге Платон поражал меня особенно тем, что в своих насмешках над ораторами он казался мне сам величайшим оратором. Дело в том, что спор о словах издавна не дает покоя бедным грекам, жадным более до препирательств, чем до истины. 48. Ведь если кто определяет оратора как такого человека, который может содержательно

говорить хотя бы только при постановке и ведении тяжбы или перед народом, или в сенате, то даже при таком определении он поневоле должен признать за ним много достоинств. Без значительной опытности в общественных делах всякого рода, без знакомства с законами, обычаем и правом, без знания человеческой природы и характеров он не может действовать в этой области с достаточным чутьем и умением. А кто усвоит себе хотя бы только эти сведения, без которых даже мелочей в суде соблюсти невозможно, тому может ли быть чужд какой-нибудь предмет высшего знания? Ну а если вы настаиваете, что оратору достаточно одного умения говорить стройно, красиво и содержательно, то, скажите на милость, каким образом он может достигнуть даже этого, если вы ему откажете в высших знаниях? Красноречие немыслимо, если говорящий не усвоил себе вполне избранного содержания. 49. Поэтому, если Демокрит, знаменитый физик, по общему и моему мнению, отличался красотой слога, то предмет его изложения принадлежал физику, а красоту слога, уж конечно, следует считать принадлежностью оратора. И если Платон так божественно говорил о предметах, совершенно чуждых гражданским спорам, что я охотно признаю, если также Аристотель, Феофраст или Карнеад были красноречивы в обсуждении своих предметов и излагали их привлекательно и красиво, то пусть предметы их обсуждения относятся к иным отделам научной деятельности, но сама речь их неотъемлемо принадлежит той области, значение которой мы стараемся уяснить себе в нашем разговоре. 50. Ведь видим же мы, что другие о тех же самых предметах рассуждали сухо и скудно, например Хрисипп⁴³ с его тонкостью ума, а все-таки его философская слава не стала меньше оттого, что он не обладал искусством слова: ведь оно принадлежит другой науке. (12) Итак, откуда же разница? Почему так различны между собой роскошная полнота слога у названных мною писателей и сухость тех, которые пишут, не заботясь о разнообразии и изяществе? Очевидно, это просто люди, владеющие даром слова, от себя привносят в речь как свое исключительное достояние и стройность, и красоту, и особенную художественную отделку. Но такая речь без содержания, усвоенного и познанного оратором, не может иметь никакого значения или же должна быть всеобщим посмешищем. 51. В самом деле, что может быть так нелепо, как пустой звон фраз, хоть бы даже самых отборных и пышных,

но за которыми нет ни знаний, ни собственных мыслей? Стало быть, любой вопрос из любой области оратор, если только изучит его, как дело своего клиента, изложил красивее и лучше, нежели сам автор и хозяин предмета. 52. Конечно, если кто скажет, что все же есть особенный, свойственный одним ораторам круг мыслей, вопросов и познаний, замкнутый оградой суда, то я соглашусь, что наше красноречие действительно чаще всего вращается в этом кругу; но, с другой стороны, именно среди этих вопросов есть очень много такого, чего сами так называемые риторы не преподают, да и не знают. 53. Кому, например, неизвестно, что высшая сила оратора в том, чтобы воспламенять сердца людей гневом, или ненавистью, или скорбью, а от этих порывов вновь обращаться к кротости и жалости? Но достичь этого красноречием может только тот, кто глубоко познал человеческую природу, человеческую душу и причины, заставляющие ее вспыхивать и успокаиваться. 54. Между тем вся эта область считается достоянием философов. И мой совет оратору — против этого не спорить; он уступит им познание предмета, потому что его они избрали себе исключительной целью, но оставит себе разработку речи, хоть она без этого научного содержания и пуста, ибо, повторяю еще раз, именно речь внушительная, пышная, отвечающая и чувствам, и мыслям слушателей, составляет неотъемлемое достояние оратора.

[Использование философов оратором.] 55. (13) Что об этих предметах писали и Аристотель, и Феофраст⁴⁴, этого я не отрицаю. Но смотри, Сцевола, не служит ли и это полным подтверждением моим словам. Ведь не я заимствую у них то, что у них есть общего с оратором, а, наоборот, они свои собственные рассуждения об этих предметах признают заимствованными у ораторов. Поэтому все прочие свои книги они называют по имени своей науки, а эти и озаглавливают и обозначают названием «Риторика». 56. Конечно, если по ходу речи понадобятся так называемые общие места, что случается очень часто, и придется говорить о бессмертных богах, о благочестии, о согласии, о дружбе, об общечеловеческом праве, о справедливости, об умеренности, о величии души и вообще о любых добродетелях, то все гимнасии⁴⁵ и все училища философов, чего доброго, поднимут крик, что все это их собственность, что ни до чего тут оратору нет дела. 57. Ну что ж, я не возражаю, пусть и они по своим углам толкуют об этих предметах

ради препровождения времени; но зато уж оратору никак нельзя отказать в том преимуществе, что те самые вопросы, о которых философы разглагольствуют бессильно и бледно, он умеет поставить и обсудить со всей возможной выразительностью и приятностью.

Такой взгляд я высказывал самим философам, беседуя с ними в свою бытность в Афинах. Вынуждали меня к этому настояния нашего Марка Марцелла⁴⁶, который теперь состоит курульным эдилом и, без сомнения, участвовал бы в этом нашем разговоре, не будь он занят устройством игр; он уж и тогда при всей своей молодости был чрезвычайно предан таким занятиям. 58.

[Оратор должен учиться наукам у знатоков.] Но пойдем далее и обратимся к иным вопросам: о законах, о войне и мире, о союзниках и данниках, о распределении прав между гражданами по сословиям и возрастам. Пусть и здесь греки говорят, если хотят, что Ликург и Солон⁴⁷ (хотя, по-моему, их по праву можно причислить и к ораторам!) знали все это лучше, чем Гиперид⁴⁸ или Демосфен, совершеннейшие мастера художественного слова; пусть и наши земляки своих децемвиров⁴⁹, составителей Двенадцати таблиц, обладателей заведомо высокого разума, ставят выше как Сервия Гальбы, так и твоего тестя, Гая Лелия, ораторов, стяжавших бесспорную славу; конечно, я никогда не стану отрицать, что есть науки, составляющие исключительную собственность тех, кто все свои силы положил на их разумение и разработку. Но я все-таки остаюсь при мнении, что настоящий и совершенный оратор решительно обо всяком предмете сумеет говорить содержательно и разнообразно. (14) Ведь и в таких делах, которые все признают собственностью ораторов, нередко попадаются такие вопросы, что для разъяснения их мало той судебной практики, в кругу которой вы замыкаете оратора, но приходится прибегать к помощи и других, не столь общедоступных знаний. 60. Я спрашиваю, например, можно ли говорить против военачальника или за военачальника без опытности в военном деле, а то и без сведений о дальних землях и морях? Можно ли говорить перед народом о принятии или отклонении предлагаемых законов, в сенате — обо всех государственных делах, не имея за собой глубокого знания и понимания политической науки? Можно ли речью воспламенять и успокаивать душевные порывы и чувства слушателей (а это для оратора важнее всего), не изучив сперва

внимательнейшим образом всего, что говорят философы о людских характерах и свойствах? 61. Мало того, может быть, вы со мною и не согласитесь, но все же я не задумаюсь высказать вам свое мнение. И физика, и математика, и все прочие науки и искусства, на которые ты только что ссылался, по своему содержанию составляют достояние специалистов; но если кто хочет представить их в художественном изложении, тому приходится прибегнуть к искусству оратора. 62. Ведь если Филон, знаменитый зодчий, который построил афинянам арсенал, отдавая народу отчет в своей работе, произнес, как известно, очень хорошую речь, то несправедливо объяснять достоинство его речи сноровкой зодчего, а не оратора. Точно так же, если бы Марку Антонию пришлось говорить за Гермодора о постройке верфей⁵⁰, то, запасшись у него сведениями, он и о чужом ремесле говорил бы не менее красиво и содержательно. Да и Асклепиад⁵¹, наш бывший врач и друг, который в свое время превосходил красноречием прочих медиков, был обязан красотой своей речи, уж конечно, не медицинским своим познаниям, а только ораторским. 63. Поэтому только по виду, а не по существу справедлива обыкновенная поговорка Сократа, что всякий в том, что знает, достаточно красноречив⁵². Вернее было бы сказать, что никто не может говорить хорошо о том, чего не знает; но даже тот, кто отлично знает дело, но не умеет составлять и отделять речь, все-таки не сможет удовлетворительно изложить свои знания. 64. (15) Поэтому, если кто хочет иметь полное и точное определение, что такое оратор, то, по моему мнению, оратором, достойным такого многозначительного названия, будет тот, кто любой представившийся ему вопрос, требующий словесной разработки, сумеет изложить толково, стройно, красиво, памятно и в достойном исполнении. 65. Если кому покажется слишком широким мое выражение «любой вопрос», то каждый вправе сузить его и урезать по личному усмотрению; я же буду стоять на том, что если оратор и не будет знаком с предметами других наук и знаний, а ограничится лишь тем, о чем приходится препираться в судебной практике, тем не менее в случае необходимости ему достаточно будет только справиться у людей сведущих и он сможет рассуждать о предметах их наук гораздо лучше, чем сами знатоки этих наук. 66. Таким образом, если Сульпицию придется говорить о военном деле, он спросит у нашего свойственника, Гая Мария⁵³, и, запасшись у него

сведениями, произнесет такую речь, что самому Гаю Марию покажется, что Сульпиций знает дело едва ли не лучше, чем он сам. Случится ли ему говорить о гражданском праве, он посоветуется с тобой и при всем твоим знании дела и опытности окажется выше тебя в изложении тех самых вопросов, с которыми ты же его познакомил. 67. Если же представится случай говорить о человеческой природе, о пороках, о страстях, об умеренности, о самообладании, о горести, о смерти, то он, если сочтет нужным, может посоветоваться с Секстом Помпеем⁵⁴, человеком, основательно изучившим философию (хотя все это должно быть знакомо и самому оратору); и вследствие этого, что бы от кого бы он ни узнал, он изложит это гораздо лучше, чем тот, от кого он это узнал. 68. Но так как философия разделяется на три части — о тайнах природы, о тонкостях суждения и о жизни и нравах⁵⁵, — то мой совет оратору: две первые оставить в стороне и принести в жертву нашей неспособности; зато третью, которая всегда принадлежала оратору, непременно удержать за собою, иначе оратору не в чем будет обнаружить свое величие. 69. Поэтому отдел о жизни и нравах оратор должен изучить весь тщательнейшим образом; а все прочее, чего он не изучит, он в случае надобности тоже сумеет красиво изложить, если вовремя получит необходимые сведения. (16) Признают же знатоки, что Арат⁵⁶, человек незнакомый с астрономией, изложил учение о небе и светилах в отличных, красивых стихах, и что Никандр Колофонский⁵⁷, человек далекий от земли, превосходно писал о сельском хозяйстве в силу способности, скорее поэтической, чем агрономической; почему бы и оратору не говорить красноречиво о тех предметах, с которыми он познакомился для известной цели и к известному времени? 70. Ведь между поэтом и оратором много общего; правда, поэт несколько более стеснен в ритме и свободнее в употреблении слов; зато многие другие способы украшения речи у них сходны и равно им доступны; и, уж во всяком случае, одна черта у них по крайней мере в одном общая: ни тот, ни другой не ограничивают и не замыкают поля своей деятельности никакими пределами, которые помешали бы им разгуливать где угодно, в силу их способностей и средств. 71. Кстати, Сцевола, почему ты сказал, что если бы не находился в моем царстве, то не спустил бы мне моего требования, чтобы во всяком роде беседы, во всякой отрасли образования оратор представлял бы совершенство?

Право, я не стал бы говорить таким образом, если бы сам себя считал таким воображаемым идеалом. 72. И все-таки, как бывало говаривал Гай Луцилий³⁸, — он немного не в ладах с тобой, потому и я с ним не так близок, как ему бы хотелось; но в нем много и учености и изящества, — так и я того же мнения, что никто не вправе зваться оратором, если он не искушен во всех науках, достойных свободного человека; даже если мы и не пользуемся ими непосредственно для речей, то все-таки по словам нашим видно, сведущи мы в них или невежественны. 73. Как при игре в мяч играющие не пользуются настоящими гимнастическими приемами, но самые движения их показывают, учились ли они гимнастике или незнакомы с ней; как при ваянии ясно видно, умеет ли ваятель рисовать или не умеет, хотя при этом ему ничего рисовать и не приходится; так и в наших речах, предназначенных для судов, сходок и сената, другие науки хотя и не находят себе прямого приложения, но тем не менее ясно, занимался ли говорящий только краснобайским своим ремеслом, или вышел на ораторское поприще вооруженный всеми благородными науками. 74.

[Реплика Сцеволы и ответ Красса.] (17) — Я не буду продолжать с тобой борьбы, Красс, — отвечал с улыбкою Сцевола. — Ведь и в этом твоём возражении ты обязан успехом какой-то уловке; ты мне уступил все, что я хотел отобрать у оратора, и ты же сам каким-то образом все это опять у меня отнял, чтобы вернуть в собственность оратору. 75. Когда я в бытность претором посетил Родос³⁹ и сообщил Аполлонию, нашей науки великому наставнику, все то, чему научился у Панетия, он по обыкновению своему стал презрительно высмеивать философию и обильные насмешки его были не столько основательны, сколько остроумны. Ты же, напротив, судя по твоей речи, не презираешь ни одной науки или искусства, но считаешь их все спутниками и служителями оратора. Конечно, если кто-нибудь один усвоит их себе все, да еще соединит с ними умение красиво говорить, то я не могу не признать, что человек этот будет необыкновенный и достойный всяческого восхищения. Но если бы такого человека я видел, если бы о таком человеке я слышал, если бы в такого человека я хотя бы верил, то таким человеком был бы, без сомнения, разве что ты сам, так как ты, по моему и общему мнению (не во гнев будь сказано присутствующим), собрал в себе едва ли не все

достоинства всех ораторов. 77. А если уж и ты, который знаешь решительно все о делах судебных и государственных, все-таки не владеешь всеми знаниями, присущими твоему оратору, то, право, надо посмотреть, не требуешь ли ты от него больше, чем это возможно и мыслимо. 78.

— Не забудь, — отвечал на это Красс, — ведь я говорил об искусстве оратора, а не о своем собственном. Чему я, в самом деле, учился и что мог знать? Мне пришлось раньше действовать, чем думать; выступления в суде, снискание должностей, управление государством, заступничество за друзей — все это обессилило меня прежде, чем я мог даже помыслить о таких высоких предметах. 79. И все-таки ты во мне находишь столько достоинств, хотя во мне если и были, по твоим словам, какие-то способности, зато уж никак не было ни учености, ни досуга, ни даже страстного рвения к науке. Ну а что ты скажешь, если найдется кто-нибудь еще более даровитый, да еще и со всеми теми знаниями, каких у меня не было? Какой превосходный и великий это был бы оратор! 80.

[*Речь Антония о предмете красноречия.*] На это Антоний ответил так: (18) — Все, что ты говоришь, Красс, вполне убедительно; и я, конечно, не сомневаюсь, что человек, знакомый с природой и сущностью всех предметов и наук, гораздо лучше будет вооружен для красноречия. 81. Но, во-первых, это трудно исполнить, особенно при нашем образе жизни и занятий; а во-вторых, должно опасаться и того, как бы это нас не отвлекло от опыта и навыка речей для суда и народа. Дело в том, что хотя философы, о которых ты упоминал, и умеют красиво и с достоинством рассуждать то о природе, то о делах человеческих, однако мне всегда кажется, что говорят они на каком-то другом языке. Самый слог у них какой-то чистенький, улыбчивый, более пригодный для умашенной гимнастики⁶⁰, чем для сутолоки наших судов и собраний. 82. Я-то познакомился с греческой словесностью лишь поздно и поверхностно. Однажды проездом в киликийское наместничество⁶¹ мне случилось на много дней задержаться в Афинах из-за неблагоприятной для плавания погоды, и там я вращался ежедневно в обществе ученых, едва ли не тех самых, о которых ты только что говорил. Откуда-то они узнали, что я, как и ты, часто занимаюсь важными судебными делами; и тогда каждый по мере сил начал рассуждать о цели и средствах настоящего оратора. 83.

Один из них, например тот же самый Мнесарх, утверждал, что те, кого мы называем ораторами, суть всего лишь своего рода ремесленники с хорошо подвешенным языком; истинным же оратором может быть только мудрец; в самом деле, так как красноречие состоит в знании науки о красоте выражения, то оно есть также в своем роде добродетель: а кто обладает одной добродетелью, тот обладает всеми, и все они между собой одинаковы и равны; следовательно, кто красноречив, тот обладает всеми добродетелями и потому — мудрец. Но это рассуждение было слишком уж хитросплетенное и бессодержательное, и душе моей оно осталось совершенно чуждо. 84. Гораздо более дельно рассуждал о том же самом предмете Хармад. Прямо он своих мыслей не высказывал (так ведь издавна ведется у Академии — всегда и всем отвечать лишь возражениями); тем не менее он давал совершенно ясно понять, что все так называемые риторы, преподающие правила красноречия, ровно ничего в этом не смыслят и что невозможно овладеть искусством слова, не изучив предварительно выводов философии. 85. (19) Против него выступали другие афиняне, люди, владеющие словом и опытные в государственных и судебных делах; среди них был и Менедем⁶², мой гость, тот, который недавно приезжал в Рим. Когда Менедем говорил, что есть особенная наука, которая занимается исследованием законов государственного устройства и управления, то Хармад, при своей всегдашней готовности к бою, обширной учености и невероятном разнообразии и богатстве сведений, не мог усидеть на месте. И вот он начинал доказывать, что все составные части этой науки приходится черпать из философии: ведь во всех риторических книжках нет ни слова о тех постановлениях государственных, которые относятся к бессмертным богам, к воспитанию юношества, к справедливости, к терпению, к самообладанию, к ограничению своих стремлений, и о других, без которых государства не могут существовать или по крайней мере существовать благоустроено. 86. Если эти преподаватели-риторы включают в свою науку такое множество вопросов первостепенной важности, то отчего же, спрашивал он, их книги набиты правилами о вступлениях, заключениях и тому подобных пустяках (так он их называл), тогда как об устройении государств, о законодательстве, о справедливости, о правосудии, о верности, о преоборении страстей, об образовании характеров в их книгах не найдется

ни йоты? 87. Он издевался и над их преподаванием, показывая, что они не только не владеют той наукой, на которую притязают, но что даже своего красноречия они не знают научно и последовательно. Это следовало из тех двух свойств, в которых он полагал главное достоинство оратора. Во-первых, сам он должен являться в глазах своих слушателей таким человеком, каким желает быть; это приобретается почтенным образом жизни, о чем эти преподаватели-риторы ничего не говорят в своих правилах. Во-вторых, слушатели должны настраиваться так, как хочет их настроить оратор; а это также возможно лишь в том случае, если говорящий знает, сколько есть средств, чтобы вызвать требуемое впечатление, в чем они состоят и какой род речи для этого нужен; между тем знания эти сокрыты на самом дне философии, а риторы ее даже не пригубили. 88.

Эти положения Менедем старался опровергнуть более примерами, чем доказательствами. Именно произнося на память многие отборные места из речей Демосфена, он показывал, что когда дело шло о том, чтобы произвести словом впечатление на судей или на народ, то автор вполне сознавал, какими средствами можно достигнуть этой цели, хотя Хармад и уверял, что осознать их нельзя без помощи философии. 89. (20) На это Хармад отвечал, что, и по его мнению, Демосфен обладал величайшей мудростью и величайшей силой слова; но чему бы он ни был обязан этими достоинствами — своему ли дарованию или тому, что он, как известно, был слушателем Платона, — вопрос не в том, каковы были его достоинства, а в том, чему учат нынешние риторы. 90. Иногда в своей речи он доходил до того, что доказывал, будто никакой науки красноречия вообще не существует. В подтверждение он ссылался на то, что мы от природы, без науки, умеем униженной лестью и тонкой вкрадчивостью подделываться к тем, к кому имеем просьбу, умеем устрашать угрозами противников, умеем излагать, как было дело, и доказывать то, что нам нужно, и опровергать возражения, и под конец рассыпаться в просьбах и разливаться в жалобах, — а ведь только в этом и заключается искусство ораторов; далее он указывал на то, что навык и упражнение изощряют сообразительность и помогают быстро подбирать выражения; наконец, приводил он и множество примеров. 91. С одной стороны, говорил он, как нарочно, со времен каких-то Корака и Тисия, изобретателей и основателей риторики, не было ни одного

сочинителя риторических учебников, который был бы сам хоть сколько-нибудь красноречив; с другой стороны, он называл бесчисленное множество чрезвычайно красноречивых людей, которые этому делу не учились, да и не пытались учиться; в их числе — то ли в насмешку, то ли по убеждению, то ли понаслышке, — он указывал и на меня, как человека, который этому не учился, а все же, по его словам, на что-то способен в красноречии. (В первом я с ним охотно соглашался, то есть в том, что я ничему не учился, но последнее я считал за шутку или за недоразумение.) 92. Наукою он называл только то, что покоится на основах достоверных, глубоко исследованных, целенаправленных и всегда надежных. Напротив, все то, с чем имеют дело ораторы, сомнительно и шатко, так как говорят здесь люди, недостаточно знакомые с предметом, а слушают здесь люди, руководимые не знанием, а мнением — мимолетным, часто ложным и всегда достаточно смутным. 93. Короче говоря, он доказывал — и, как мне тогда казалось, убедительно, — что никакого искусства слова не существует, и что говорить обильно и ловко может только тот, кто знаком с учениями славнейших философов. При этом Хармад всегда отзывался с большим уважением о твоём даровании, Красс, говоря, что во мне он нашел преудобного слушателя, а в тебе — презадорного противника. 94. (21) Поэтому-то я, увлеченный этим взглядом, написал в той книжке⁶³, которая нечаянно и даже против воли вышла у меня из-под пера и попала в руки публики, такие слова: «речистых людей знал я несколько, а красноречивого человека — до сих пор ни одного». Речистым здесь я называл такого человека, который может достаточно умно и ясно говорить перед заурядными людьми, руководствуясь общепринятыми понятиями, а красноречивым — только того, кто любой избранный им предмет может раскрыть и украсить так, чтобы он стал разительней и великолепней, и кто усвоил и запомнил все те познания, которые могут служить источниками красноречия. Если для нас и трудна такая задача, так как к учению мы приступаем уже обессиленные делами служебными и судебными, то все же она прямо вытекает из природы и сущности предмета. 95. По крайней мере если меня не обманывает предчувствие и доверие к дарованиям наших земляков, я не теряю надежды, что со временем явится кто-нибудь, у кого и пылкого рвения, и досуга, и зрелых способностей к ученью, и настойчивого трудолюбия будет больше, нежели есть и было

у нас, и что если при этом он будет прилежно слушать, читать и писать, то из него выйдет тот самый оратор, какого мы ищем, то есть человек, которого по праву можно назвать не только речистым, но и красноречивым. Именно таков, по моему мнению, наш Красс; но если кто найдется столь же даровитый, но слушавший, читавший и писавший больше, чем он, то такой человек сможет прибавить еще крупницу к его достоинствам.

[Переход к новой теме.] 96. При этих словах в разговор вмешался Сульпиций:

— Вы соскользнули на такую тему, — сказал он, — какой мы с Коттой даже не ожидали, но которая для нас очень и очень желанна. Когда мы шли сюда, нам казалось приятным уже и то, что вы будете говорить хотя бы даже о посторонних предметах, потому что мы все-таки надеялись почерпнуть из вашей беседы что-нибудь достойное замечания. Но, чтобы вы стали обсуждать чуть ли не самую глубинную сущность этой науки, этого искусства, этого умения, — о такой удаче мы не смели и мечтать. 97. Дело в том, что я с ранних лет чувствовал к вам обоим искреннее влечение, а к Крассу даже любовь; от него я не отходил ни на шаг, но тем не менее я никогда не мог выманить у него ни слова о сущности и силе красноречия, хотя я и сам с ним заговаривал, и не раз пытал счастья при посредстве Друза. В этом отношении тебе, Антоний, я должен отдать справедливость: ты никогда не отказывался отвечать на мои расспросы и сомнения и часто сам объяснял мне приемы, какими обычно пользуешься в своих речах. 98. Но теперь, так как вы оба уже подступили к тем самым вопросам, над которыми мы бьемся, и так как Красс первый начал эту беседу, то окажите нам милость, расскажите поподробнее все, что вы думаете обо всем, что касается красноречия. Если на эту просьбу, Красс, вы откликнетесь, то я вечно буду благодарен этому училищу, этому твоему тускуланскому имению, и гораздо выше пресловутой Академии и Ликей⁶⁴ станет в моих глазах твой пригородный гимнасий. 99.

(22) — Зачем, Сульпиций? — отозвался Красс. — Попросим лучше Антония, он ведь может отлично исполнить твою просьбу, да и исполнял ее уж не раз, судя по твоим словам. А я и вправду всегда уклонялся от всякой беседы в этом роде и отказывал самым настойчивым твоим желаниям и просьбам, как ты сам только что сказал. Я поступал

так не из гордости, не из неучтивости и не потому, чтобы не хотел удовлетворить твоей совершенно справедливой и похвальной любознательности, тем более что видел в тебе человека, по твоим способностям и свойствам более всех призванного к красноречию, нет, я это делал оттого, что такие рассуждения мне непривычны, а такие предметы, которые излагаются вроде как научно, — незнакомы. 100.

— Раз уж мы добились самого трудного, — сказал Котта, — раз уж мы вызвали тебя на разговор о таких предметах, то после этого мы будем сами виноваты, если позволим тебе ускользнуть, не дав ответа на все наши вопросы. 101.

— На какие вопросы? — сказал Красс. — Надеюсь, что только на такие, на которые я «знаю и сумею» ответить, как принято писать в актах о вступлении в чужое наследство⁶⁵.

— Разумеется, — отвечал Котта, — если окажется, что даже ты чего-нибудь не умеешь или не знаешь, то у кого из нас хватит дерзости самому притязать на это знание и умение?

— Ну что ж, — сказал Красс, — если мне позволено отказаться от того, чего я не умею, и признаться в том, чего не знаю, — на таком условии, пожалуй, расспрашивайте меня. 102.

— Отлично! — сказал Сульпиций. — Тогда прежде всего мы желаем знать твое мнение о том, что только сейчас излагал Антоний: признаешь ли ты существование науки красноречия?

— Что это значит? — воскликнул Красс. — Вы хотите, чтобы я, как какой-нибудь грек, может быть, ученый, может быть, развитой, но досужий и болтливый, разглагольствовал перед вами на любую тему, которую вы мне подкинете? Да разве я когда-нибудь, по-вашему, заботился или хоть думал о таких пустяках? Разве, напротив, я не смеялся всегда над бесстыдством тех, которые, усевшись в школе перед толпою слушателей, приглашают заявить, не имеет ли кто предложить какой-нибудь вопрос? 103. Первым это завел, говорят, леонтинец Горгий, который торжественно заявлял и утверждал перед народом, что готов на великое дело — говорить обо всем, о чем бы кто ни пожелал слышать. А уж потом это стали делать все, кому не лень, и до сих пор делают, так что нет такого трудного, неожиданного или неслыханного предмета, о котором они не

взялись бы наговорить чего угодно. 104. Если бы я только предполагал, что ты, Котта, или ты, Сульпиций, хотите выслушать подобную речь, то я привел бы сюда какого-нибудь грека, чтобы он забавлял вас такими рассуждениями, Да оно и сейчас нетрудно: вот у молодого Марка Пизона⁶⁶ (это юноша в высшей степени даровитый, чрезвычайно ко мне привязанный, и уже изучающий красноречие) живет перипатетик Стасей⁶⁷, человек для меня не чужой и, по отзывам людей многоопытных, самый лучший знаток этого дела. 105.

(23) — При чем тут Стасей? При чем тут перипатетики? — воскликнул Муций. — Право же, Красс, тебе следует исполнить желание юношей, которые отнюдь не нуждаются в пошлом многословии бездельника-грека или в старой школьной погудке, но хотят узнать суждения человека, превосходящего всех мудростью и красноречием, человека, который не на книжонках, а на делах величайшей важности стяжал себе здесь, в этом средоточии владычества и славы, первое место по уму и дару слова, человека, по чьим стопам они жаждут идти. 106. Я всегда считал твою речь божественной, но мне всегда казалось, что любезность твоя не уступает твоему красноречию; ее-то и уместно показать теперь более нежели когда-либо, а не уклоняться от настоящего рассуждения, на которое тебя вызывают двое замечательных по своим дарованиям юношей. 107.

[Речь Красса. Качества оратора и их формирование.] — Да я и то стараюсь сделать им удобное, — отвечал Красс, — и вовсе не сочту для себя тягостным высказать им с моей обычной краткостью, что я думаю по каждому вопросу. А уж такое веское мнение, Сцевола, для меня и вовсе закон. Итак, я отвечаю.

Прежде всего: науки красноречия, на мой взгляд, вовсе не существует, а если и существует, то очень скудная; и все ученые препирательства об этом есть лишь спор о словах. 108. В самом деле, если определять науку, как только что сделал Антоний, — «наука покоится на основах вполне достоверных, глубоко исследованных, от произвола личного мнения независимых и в полном своем составе усвоенных знанием», — то, думается, никакой ораторской науки не существует⁶⁸. 109. Ведь сколько ни есть родов нашего судебного красноречия, все они зыбки и все приноровлены к обыкновенным, ходячим понятиям. Но если умелые и опытные люди взяли и обратились к тем простым

навыкам, которые сами собой выработались и соблюдались в ораторской практике, осмыслили их и отметили, дали им определения, привели в ясный порядок, расчленили по частям, — и все это, как мы видим, оказалось вполне возможным, — в таком случае я не понимаю, почему бы нам нельзя было называть это наукой, если и не в смысле того самого точного определения, то по крайней мере согласно с обыкновенным взглядом на вещи. Впрочем, наука ли это или только подобие науки, пренебрегать ею, конечно, не следует; но не следует забывать и о том, что для достижения красноречия требуется и кое-что поважнее. 110.

(24) Здесь Антоний поспешил выразить свое полнейшее согласие с Крассом: он ведь тоже не придает науке такой важности, как те, которые сводят к ней одной все красноречие, но он и не отвергает ее безусловно, подобно большинству философов. — Однако я думаю, Красс, — прибавил он, — что ты заслужишь великую благодарность твоих слушателей, если откроешь им, что же, по твоему мнению, еще важнее для достижения красноречия, чем самая наука. 111.

— Хорошо, — отвечал Красс, — раз уж я начал, я скажу и об этом. Я только попрошу вас, чтобы мы не выносили за порог моих дурачеств. Впрочем, я и сам постараюсь держаться в известных границах, чтобы дело не имело такого вида, будто я, как какой-нибудь наставник учеников и сочинитель учебников, обещал вам что-нибудь сам от себя; нет, положим, что я, простой римский гражданин из практикующих на форуме, человек самого невысокого образования, хоть и не совсем невежда, попал на ваш разговор совершенно случайно. 112. Ведь даже когда я обхаживал народ⁶⁹, домогаясь должности, то во время рукопожатий всегда просил Сцеволу не смотреть на меня: мне нужно дурачиться, — говорил я ему (дурачиться — это значит льстиво просить, потому что тут без дурачества не добьешься успеха), — а именно при нем менее, чем перед кем-либо другим, я расположен дурачиться. И вот его-то и поставила теперь судьба свидетелем и зрителем моих дурачеств. Ибо разве не величайшее дурачество — разводить красноречие о красноречии, между тем как уже само по себе красноречие есть дурачество почти всегда, кроме случаев крайней необходимости? 113.

— Да ты уж продолжай, Красс, и не беспокойся, — сказал Муций, — все упреки, которых ты боишься, я приму на себя.

[Дарование.] (25) — Итак, — начал Красс, — мое мнение таково: первое и важнейшее условие для оратора есть природное дарование. Не научной подготовки, а как раз природного дарования недоставало тем самым составителям учебников, о которых здесь только что говорил Антоний. Ведь для красноречия необходима особенного рода живость ума и чувства, которая делает в речи нахождение всякого предмета быстрым, развитие и украшение — обильным, запоминание — верным и прочным. 114. А наука может в лучшем случае разбудить или расшевелить эту живость ума; но вложить ее, даровать ее наука бессильна, так как все это дары природы. Если же кто и надеется этому научиться, то что скажет он о тех качествах, которые заведомо даны человеку от рождения, — о таких, каковы быстрый язык, звучный голос, сильные легкие, крепкое телосложение, склад и облик всего лица и тела? 115. Я не хочу сказать, что наука вовсе не способна несколько обтесать того или другого оратора: я отлично знаю, что при помощи ученья можно и хорошие качества улучшить, и посредственные кое-как отладить и выправить. Но есть люди, у которых или язык так неповоротлив, или голос так фальшив, или выражение лица и телодвижения так нескладны и грубы, что никакие способности и знания не помогут им попасть в число ораторов. И напротив, иные бывают так хорошо сложены, так щедро одарены природой, что кажется, будто не случайность рождения, а рука какого-то божества нарочно создала их для красноречия. 116.

Можно сказать, тяжкое бремя и обязательство налагает на себя тот, кто торжественно берется один среди многочисленного собрания при общем молчании рассуждать о делах первой важности! Ведь огромное большинство присутствующих внимательнее и зорче подмечает в говорящем недостатки, чем достоинства. Поэтому малейшая его погрешность затмевает все, что было в его речи хорошего. 117. Конечно, я говорю это не затем, чтобы вовсе отвратить молодых людей от занятия красноречием, если природные их данные случайно окажутся несовершенными. Кто не видит, какой почет доставило моему сверстнику Гаю Целию⁷⁰, человеку новому, даже его довольно-таки посредственное красноречие? Кто не понимает, что ваш сверстник Квинт Варий⁷¹, человек неуклюжий и безобразный, стяжал себе успех среди сограждан именно своим искусством, хоть оно и далеко от совершенства? 118. (26) Но так как предмет

нашего исследования — оратор, каков он должен быть, то в разговоре нашем мы должны воображать себе оратора, свободного от всех недостатков и увенчанного всеми достоинствами. Пускай обилие тяжб, разнообразие судебных дел, беспорядок и варварство, господствующие в судах, дают место на форуме даже таким ораторам, у которых множество недостатков, но мы из-за этого еще не должны упускать из виду предмета своего исследования.

Таким образом и в области тех наук и искусств, которые служат не пользе, всем необходимой, а, так сказать, свободному услаждению души, мы оказываемся чрезвычайно строгими и чуть ли не привередливыми судьями. Ибо нет таких тяжб или споров, которые заставили бы зрителей терпеть на театре дурных актеров, как на форуме терпят слушателей неудовлетворительных ораторов. 119. Поэтому внимание и заботы оратора должны быть направлены не к тому, чтобы удовлетворить тех, кого удовлетворить необходимо, а чтобы заслужить удивление тех, кто может судить свободно и незаинтересованно.

Кстати сказать, у меня есть одна мысль, которую я всегда скрывал, считая это за лучшее; но в кружке близких людей я могу, если хотите, высказать ее с полной откровенностью. Я утверждаю: будь то даже самые лучшие ораторы, даже те, кто умеет говорить отменно легко и красиво, но если они приступают к речи без робости и в начале ее не смущаются, то на меня они производят впечатление прямо-таки бесстыдных наглецов. 120. К счастью, это дело небывалое, так как чем оратор лучше, тем более страшит его трудность ораторских обязанностей, неверность успеха речи, ожидание публики. Ну а кто не в силах произвести на свет ничего такого, что было бы достойно предмета, достойно звания оратора, достойно внимания слушателей, — тот, если даже и волнуется, произнося речь, то все равно кажется наглецом. Ибо чтобы не навлечь упреков в наглости, мы должны не стыдиться недостойных поступков, а попросту не совершать их. 121. А уж если кто и стыдиться не умеет (что я вижу сплошь и рядом), — того я считаю достойным не только порицания, но даже кары. Я и в вас часто замечал, и по себе очень хорошо знаю, как я бледнею и содрогаюсь всем телом и душой при первых словах своей речи. А в молодости я однажды в начале обвинения до такой степени потерял присутствие духа, что истинным моим благодетелем оказался Квинт Максим⁷², который сей-

час же закрыл заседание, как только заметил, что я изнемог и обессилел от страха. 122.

При этом все выразили свое согласие, но стали между собой переглядываться и переговариваться, ибо в самом деле Красс отличался просто удивительной стыдливостью, которая, впрочем, не только не вредила его речи, но даже способствовала ее успеху, свидетельствуя о честности оратора.

(27) Антоний сказал:

— Я тоже часто замечал это, Красс, и на тебе, и на других знаменитых ораторах, хоть никто из них, по-моему, не сравнится с тобою. Это так, все вы волнуетесь при начале речи. Я задумался, почему это так, почему всякий оратор, чем он способнее, тем он более робеет? 123. И вот какие я нашел тому две причины. Во-первых, люди по природе и опыту знают, что даже у лучших ораторов иногда речь получается не такой, как хочется; и поэтому они недаром боятся перед каждым выступлением, что именно сейчас произойдет то, что всегда может произойти. 124. Другая причина, на которую я очень часто жалуюсь, заключается в следующем: если в других искусствах какой-нибудь бывалый мастер с хорошим именем случайно сделает свое дело хуже обычного, то все считают, что он просто не захотел или по нездоровью не смог показать свое умение в полном блеске: «Нынче Росций⁷³ был не в настроении!» или: «Нынче у Росция живот болел!» 125. Если же у оратора подметят какую-нибудь погрешность, то ее приписывают только глупости; а для глупости извинения нет, потому что не бывает человек глупым от настроения или оттого, что живот болит. Тем более строгому суду подвергаемся мы, ораторы; и сколько раз мы выступаем, столько раз над нами совершается этот суд. При этом если кто ошибся раз на сцене, о том не говорят сразу, что он не умеет играть; если же оратор будет замечен в какой оплошности, то слава о его тупости будет если не вечной, то очень и очень долгой. 126 (28) Что же касается твоих слов, что очень много есть такого, что оратор должен иметь от природы и чего он не сможет получить от учителя, то я с тобою совершенно согласен. Я за то и хвалю знаменитого ученого Аполлония Алабандского, что хоть он и учил за деньги, но никогда не брал таких учеников, из которых, по его мнению, не могли выработаться ораторы; чтобы они не тратили у

него зря свое время, он отпускал их на все четыре стороны и только старался своими советами указать и подсказать каждому наиболее подходящий для него род занятий. 127. Дело в том, что для усвоения всякого иного ремесла достаточно быть таким, как все люди, то есть уметь уловить умом и сохранить в памяти то, что тебе говорят, или то, что тебе вдалбливают, если ты глуп. Не требуется при этом ни гибкости языка, ни легкости речи, ни тем более того, чего мы не можем устроить себе нарочно: красивое лицо, выражение, голос. 128. А оратор должен обладать остроумием диалектика, мыслями философа, словами чуть ли не поэта, памятью законоведа, голосом трагика, игрою такой, как у лучших лицедеев. Вот почему в роде человеческого ничто не попадает так редко, как совершенный оратор. Человек, занятый отдельным предметом, может быть в своем предмете далек от совершенства и все-таки иметь успех; а оратор может рассчитывать на успех лишь в том случае, если владеет всеми предметами, и всеми в совершенстве. 129.

— А между тем посмотри, — сказал Красс, — насколько более разборчивы бывают люди в искусстве пустом и праздном, чем в нашем деле, которое они же признают важнейшим из важных. Мне вот часто приходится слышать от Росция, что он до сих пор не мог найти ученика, которым он был бы доволен, и не потому, чтобы они были так уж плохи, но потому, что он сам не может в них терпеть ни малейшего недостатка. И впрямь, ничто так не бросается в глаза и не остается так упрямо в памяти, как именно то, что было нам неприятно. 130. Так вот, давайте попробуем мерить достоинства оратора с тою же строгостью, что и этот актер! Посмотрите, как в малейшей мелочи обнаруживает он величайшее мастерство, необыкновенное изящество, чувство приличия, умение всех волновать и всех улаживать! Этим он и достиг того, что давно уже всякого, кто отличается в каком-нибудь искусстве, называют Росцием в своем деле. Добиваясь от оратора именно такого законченного совершенства, от которого я и сам очень далек, я поступаю, конечно, бесстыдно, так как это значит, что для себя я требую снисхождения, а сам его другим не оказываю. Но ведь кто к красноречию неспособен, кто в нем слаб, кому оно вовсе не к лицу, того, я думаю, лучше уж, по совету Аполлония, отстранить от этого занятия и направить на такое, к которому он больше пригоден. 131.

(29) — Не хочешь ли ты этим сказать, — спросил Сульпиций, — что мне или Котте лучше заняться гражданским правом или военным делом? Ведь никто на свете не способен достигнуть этих вершин всестороннего совершенства!

— Напротив, — отвечал Красс, — я все это вам высказываю как раз потому, что вижу в вас редкие и превосходные задатки для ораторского дела; и в своей речи я старался не столько отпугнуть неспособных, сколько поощрить способных, а именно — вас. В вас обоих я замечаю великое дарование и усердие, а у тебя, Сульпиций, вдобавок к этому — несравненные внешние данные, о которых я и так, может быть, говорю больше, чем принято у греков. 132. Право, мне не доводилось, кажется, слышать никого, кто своими телодвижениями, обликом и видом более соответствовал бы своему призванию и обладал бы более звучным и приятным голосом. Однако и те, кого природа наделила этими преимуществами в меньшей мере, все-таки могут научиться владеть своими силами умело, умеренно и главное — уместно. Именно об уместности следует заботиться больше всего, и как раз тут-то давать правила оказывается делом совсем не легким: не легким не только для меня, так как я-то говорю об этих предметах, как любой первый встречный гражданин, но и для самого Рощия, от которого я часто слышу, что главное в искусстве — это уместность, но что ее-то как раз и нельзя передать в преподавании. 133. Но, пожалуйста, поговорим лучше о чем-нибудь другом, чтобы можно было говорить по-нашему, а не по-риторски.

[*Наука.*] — Ни за что! — возразил Котта. — Раз уж ты оставляешь нас при красноречии и не гонишь к другим занятиям, то теперь-то нам тем более необходимо твое объяснение — в чем же сила твоего красноречия? Великая она или невеликая — не важно: мы не жадные, с нас довольно и такой посредственности, как у тебя, и если мы просим твоего содействия, то не идем в своих желаниях выше той скромной степени искусства, до которой дошел в красноречии ты. Ты говоришь, что природными данными мы не слишком обижены; так что же, по-твоему, еще для нас необходимо? 134.

(30) Красс улыбнулся.

— А как по-твоему? — спросил он. — Конечно же, рвение и восторженная любовь к делу! Без этого в жизни

нельзя дойти вообще ни до чего великого, а тем более до того, к чему ты стремишься. Но уж вас-то, очевидно, нет нужды поощрять в этом отношении; напротив, вы так ко мне пристаёте, что страсть ваша мне даже кажется чрезмерною. 135. Однако, разумеется, никакое рвение не может достичь цели, если при этом неизвестны пути и средства к ее достижению. Ну что ж! Тогда я воспользуюсь тем, что вы облегчаете мне задачу, требуя сведений не об ораторском искусстве вообще, а лично о моем скромном умении, и представлю вам план занятий — не очень хитрый, не слишком трудный, не блестящий и не глубокомысленный: мой обычный план, которого я некогда держался, когда мог еще в те юные годы заниматься этим предметом. 136.

— О, желанный день! — воскликнул Сульпиций. — Подумай, Котта: ни просьбами, ни подстереганьем, ни подсматриваньем ни разу не успел я добиться возможности, не говорю, видеть, но хоть угадать из ответов Дифила, Крассова писца и чтеца, что делает Красс для того, чтобы обдумать и составить речь; и вот уже можно надеяться, что мы этого достигли и узнаем от него самого все, что мы давно так желаем узнать. 137.

(31) — А между тем я думаю, Сульпиций, — сказал Красс, — что восторгаться тебе в моих словах будет решительно нечем! Скорее уж, напротив, такой разговор тебя только разочарует. Ведь в том, что я вам сообщу, не будет заключаться никакой премудрости, ничего достойного ваших ожиданий, ничего, что было бы неслыханно для вас или для кого-нибудь ново.

Начинал я, конечно, с того, что, как подобает человеку свободному по происхождению и воспитанию, проходил общеизвестные и избитые правила. 138. Во-первых, о том, что цель оратора — говорить убедительно; во-вторых, о том, что для всякого рода речи предметом служит или вопрос неопределенный, без обозначения лиц и времени, или же единичный случай с известными лицами и в известное время. 139. В обоих случаях предмет спорный непременно заключается в одном из вопросов: совершилось ли данное событие? Если совершилось, то каково оно? И наконец: под какое оно подходит определение? К этому некоторые прибавляют: законно ли оно? 140. Спорные пункты возникают также из толкования письменного документа; здесь возможны или двусмысленность, или противоречие, или же несогласие между буквой и смыслом⁷⁴; для каждого

из этих случаев определен особенный способ доказательств. 141. Что же касается обсуждения случаев единичных, с общими вопросами не связанных, то они бывают частью судебные, частью совещательные; а есть еще третий род — восхваление или порицание отдельных лиц. Для каждого рода есть особые источники доказательств: для судебных речей — такие, где речь идет о справедливости; для совещательных — другие, в которых главное — польза тех, кому мы подаем совет; для хвалебных — также особенные, в которых все сводится к оценке данного лица. 142. Все силы и способности оратора служат выполнению следующих пяти задач: во-первых, он должен приискать содержание для своей речи; во-вторых, расположить найденное по порядку, взвесив и оценив каждый довод; в-третьих, облечь и украсить все это словами; в-четвертых, укрепить речь в памяти; в-пятых, произнести ее с достоинством и приятностью. 143. Далее, я узнал и понял, что прежде чем приступить к делу, надо в начале речи расположить слушателей в свою пользу, далее разъяснить дело, после этого установить предмет спора, затем доказать то, на чем мы настаиваем, потом опровергнуть возражения; а в конце речи все то, что говорит за нас, развернуть и возвеличить, а то, что за противников, поколебать и лишить значения. 144. (32) Далее, учился я также правилам украшения слога: они гласят, что выражаться мы должны, во-первых, чисто и на правильной латыни, во-вторых, ясно и отчетливо, в-третьих, красиво, в-четвертых, уместно, то есть соответственно достоинству содержания; при этом я познакомился с правилами на каждую из этих частей учения. 145. Даже в таких вещах, которые более всего зависят от природных данных, я увидел способы использовать науку: ведь и для произнесения речи и для запоминания существуют правила хоть и краткие, но полезные для упражнений; я познакомился и с ними.

Вот чем приблизительно и исчерпывается содержание всей науки, излагаемой в этих учебниках. Если бы я сказал, что она вовсе бесполезна, это было бы ложью. В ней есть для оратора некоторые указания, что он должен иметь в виду и на что обращать внимание, чтобы не слишком удаляться от своей задачи. 146. Но я все эти правила понимаю так: не правилам знаменитые ораторы обязаны своим красноречием, а сами правила 'явились как свод наблюдений над приемами, которыми красноречивые люди

ранее пользовались бессознательно. Не красноречие, стало быть, возникло из науки, а наука — из красноречия. Впрочем, я уже сказал, что науки я вовсе не отвергаю: если для красноречия она и не обязательна, то для общего образования она не бесполезна. 147.

[Упражнения.] А еще необходимы для дела некоторые упражнения не столько даже вам, ибо вы-то давно уже идете по ораторской дороге, сколько тем, которые только еще вступают на поприще и которых упражнения могут заблаговременно приучить и подготовить к судебным делам, как потешный бой — к настоящей битве. 148.

— С этими-то упражнениями, — сказал Сульпиций, — мы и желаем познакомиться. Конечно, нам тоже хотелось бы услышать побольше и о науке, которую ты нам обрисовал так бегло, хоть мы с нею и сами знакомы. Но об этом после, а теперь мы желаем узнать твое мнение именно об упражнениях. 149.

(33) — Я вполне одобряю и ваши обычные упражнения, — отвечал Красс, — те, когда вы задаете себе тему в виде судебного дела, во всем похожего на настоящее, и затем стараетесь говорить на эту тему, как можно ближе держась действительности. Однако многие упражняют при этом только голос и силу своих легких, да и то без толку; они учатся болтать языком и с удовольствием предаются такой болтовне. Их сбивает с толку слышанное ими изречение, что речь развивается речью. 150. Но справедливо говорится и то, что порченная речь развивается порченной речью, и даже очень легко. Поэтому, если ограничиваться только такими упражнениями, то нужно признать: хоть и полезно говорить часто без приготовления, однако же гораздо полезнее дать себе время на размышление и зато уж говорить тщательней и старательней. А еще того важнее другое упражнение, хоть у нас оно, по правде сказать, и не в ходу, потому что требует такого большого труда, который большинству из нас не по сердцу. Это — как можно больше писать. Перо — лучший и превосходнейший творец и наставник красноречия, и это говорится не даром. Ибо как внезапная речь наудачу не выдерживает сравнения с подготовленной и обдуманной, так и эта последняя заведомо будет уступать прилежной и тщательной письменной работе. 151. Дело в том, что когда мы пишем, то все источники доводов, заключенные в нашем предмете и открываемые или с помощью знаний, или с помощью ума и

таланта, ясно выступают перед нами и сами бросаются нам в глаза, так как в это время внимание наше напряжено и все умственные силы направлены на созерцание предмета. Кроме того, при этом все мысли и выражения, которые лучше всего идут к данному случаю, поневоле сами ложатся под перо и следуют за его движениями; да и самое расположение и сочетание слов при письменном изложении все лучше и лучше укладывается в меру и ритм, не стихотворный, но ораторский: а ведь именно этим снискивают хорошие ораторы дань восторгов и рукоплесканий. 152. Все это недоступно человеку, который не посвящал себя подолгу и помногу письменным занятиям, хотя бы он и упражнялся с величайшим усердием в речах без подготовки. Сверх того, кто вступает на ораторское поприще с привычкой к письменным работам, тот приносит с собой способность даже без подготовки говорить, как по писаному; а если ему случится и впрямь захватить с собой какие-нибудь письменные заметки, то он и отступить от них сможет, не меняя характера речи. 153. Как движущийся корабль даже по прекращении гребли продолжает плыть прежним ходом, хотя напора весел уже нет, так и речь в своем течении, получив толчок от письменных заметок, продолжает идти тем же ходом, даже когда заметки уже иссякли 154.

(34) Что же касается меня, то я в моих юношеских ежедневных занятиях обычно задавал себе по примеру моего известного недруга Гая Карбона вот какое упражнение. Поставив за образец какие-нибудь стихи, как можно более возвышенные, или прочитав из какой-нибудь речи столько, сколько я мог удержать в памяти, я устно излагал содержание прочитанного в других, и притом в самых лучших, выражениях, какие мог придумать. Но впоследствии я заметил в этом способе тот недостаток, что выражения самые меткие и вместе с тем самые красивые и удачные были уже предвосхищены или Эннием⁷⁵, если я упражнялся на его стихах, или Гракхом, если именно его речь я брал за образец, таким образом, если я брал те же слова, то от этого не было пользы, а если другие, то был даже вред, так как тем самым я привыкал довольствоваться словами менее уместными. 155. Позднее я нашел другой способ и пользовался им, став постарше: я стал перелагать с греческого речи самых лучших ораторов⁷⁶. Из чтения их я выносил ту пользу, что, передавая по-латыни прочитанное по-гречески, я должен был не только брать самые лучшие

из общеупотребительных слов, но также по образцу подлинника чеканить кое-какие новые для нас слова, лишь бы они были к месту. 156.

Что же касается упражнений для развития голоса, дыхания, телодвижений и наконец языка, то для них нужны не столько правила науки, сколько труд. Здесь необходимо с большой строгостью отбирать себе образцы для подражания; причем присматриваться мы должны не только к ораторам, но и к актерам, чтобы наша неумелость не выдтилась в какую-нибудь безобразную и вредную привычку⁷⁷. 157. Точно так же следует упражнять и память, заучивая слово в слово как можно больше произведений как римских, так и чужих; и я не вижу ничего дурного, если кто при этих упражнениях прибегнет по привычке к помощи того учения о пространственных образах, которое излагается в учебниках⁷⁸. Затем слово должно выйти из укромной обстановки домашних упражнений и явиться в самой гуще борьбы, среди пыли, среди крика, в лагере и на поле судебных битв: ибо, чтобы отведать всяких случайностей и испытать силы своего дарования, вся наша комнатная подготовка должна быть вынесена на открытое поприще действительной жизни. 158.

Следует также читать поэтов, знакомиться с историей, а учебники и прочие сочинения по всем благородным наукам нужно не только читать, но и перечитывать и в видах упражнения хвалить, толковать, исправлять, порицать, опровергать; при этом обсуждать всякий вопрос с противоположных точек зрения и из каждого обстоятельства извлекать доводы наиболее правдоподобные. 159. Следует изучать гражданское право, осваиваться с законами, всесторонне знакомиться с древними обычаями, с сенатскими порядками, с государственным устройством, с правами союзников, договорами, соглашениями и вообще со всеми заботами державы. Наконец, необходимо пользоваться всеми средствами тонкого образования для развития в себе остроумия и юмора, которым, как солью, должна быть приправлена всякая речь. Вот я и вывалил перед вами все, что думаю; и, пожалуй, вцепись вы в любого гражданина среди любой компании, вы услышали бы от него на ваши расспросы точно то же самое. 160.

[*Реплики Котты и Сцеволы.*] (35) За словами Красса последовало молчание. Хотя присутствующие сознавали, что на предложенную тему высказано довольно, тем не

менее им казалось, что он отделался от своей задачи гораздо скорее, чем бы им хотелось.

Наконец заговорил Сцевола⁷⁹:

— Ну что же, Котта? Что вы молчите? — спросил он. — Разве помимо этого вы ничего не можете придумать, о чем бы спросить у Красса? 161.

— Напротив, — отвечал Котта, — право же, я только об этом и думаю. В самом деле, слова текли так быстро, и речь пролетела так незаметно, что силу ее и стремительность я ощутил, а подробности движения едва мог уловить; точно я пришел в богатый и полный дом, где ковры не развернуты, серебро не выставлено, картины и изваяния не помещены на виду, но все это множество великолепных вещей свалено в кучу и спрятано; так и сейчас в речи Красса я успел разглядеть сквозь чехлы и покрышки все богатство и красоту его дарования, но хоть я от всей души желал рассмотреть их получше, мне едва было дано только взглянуть на них. Таким образом, я не могу сказать, что его богатства мне неизвестны, но и не могу сказать, что я видел их и знаю их. 162.

— Что ж ты не поступишь так, — сказал Сцевола, — как бы ты поступил, если бы ты и вправду пришел в какой-нибудь городской или загородный дом, полный красивых вещей? Ведь если бы они, как ты говоришь, были скрыты от глаз, а тебе очень бы хотелось их видеть, то ты не задумался бы попросить хозяина, особенно если он тебе не чужой, вынести их и показать тебе. Вот так и тут ты можешь попросишь Красса, чтобы он вынес на свет и расставил по местам весь запас своих драгоценностей, которые мы до сих пор видели только сваленными в кучу, да и то мимоходом, как сквозь оконную решетку. 163.

— Нет, уж лучше я попрошу об этом тебя, Сцевола, — отвечал Котта. — Нам с Сульпицием стыд не позволяет приставать к человеку столь занятому и столь презиравшему подобные рассуждения, чтобы выпрашивать у него такие вещи, которые ему, быть может, кажутся азбучными. Но ты, Сцевола, окажи нам такую милость: устрой так, чтобы Красс рассказал для нас попространнее и поподробнее все, что было в его речи таким сжатым и скомканным. 164.

— Признаюсь вам, — отвечал Муций, — что заботился я больше о вас, чем о себе, потому что для меня такие рассуждения Красса далеко не столь привлекательны и сладостны, сколь настоящие его речи на суде. Но теперь,

Красс, я прошу уж и за себя, чтобы ты не поставил себе в труд довершить то здание, которое начал, тем более что у нас теперь столько досуга, сколько уж давно не бывало. К тому же с виду твоя постройка получается и больше и лучше, чем я ожидал, и мне это нравится. 165.

(36) — Право, — сказал Красс, — не могу надивиться тому, что и тебе, Сцевола, интересны такие вещи! Ведь и я их знаю куда хуже, чем настоящие преподаватели, да если бы и лучше знал, все равно они не таковы, чтобы ты склонялся к ним свою мудрость и свой слух.

— Будто бы? — возразил Сцевола. — Если ты думаешь, что в моем возрасте уже не стоит слушать о вещах, столь избитых и пошлых, то дает ли это нам право пренебрегать другими вещами, которые ты сам считаешь необходимыми для оратора, — каковы, например, учение о природе человека, о характерах, о средствах возбуждения и успокоения умов, история, древние обычаи, искусство управления государством и, наконец, само наше гражданское право? Я знал, что все эти знания и сведения входят в круг твоей учености, но мне никогда не приходилось видеть таких богатых средств на вооружении у оратора. 166.

[Право: его важность.] — А как же иначе? — воскликнул Красс. — Обращусь хотя бы прямо к твоему гражданскому праву, оставляя в стороне другие предметы без числа и счета. Да разве ты можешь признавать за ораторов таких болтунов, как те, которых Сцевола со смехом и с досадой должен был терпеливо выслушивать в течение многих часов, вместо того чтобы пойти поиграть в мяч? Я говорю о том, как Гипсей громогласно и многословно добивался у претора Марка Красса не чего иного, как позволения погубить дело своего клиента, а Гней Октавий, бывший консул, в не менее долгой речи старался не допустить, чтобы противник проиграл дело и собственной глупостью избавил его подзащитного от позорного и хлопотливого суда по делу об опеке. 167.

— Помню, — отвечал Сцевола, — Муций мне об этом рассказывал. Конечно, таких молодцов не то что называть ораторами, а и на форум пускать нельзя!

— А между тем, — сказал Красс, — адвокатам этим не хватало не красноречия, не обилия средств, не ораторской образованности, а попросту знакомства с гражданским правом, так как один в своем иске потребовал большего, чем позволяют Двенадцать таблиц, и если бы добился своего,

то проиграл бы дело: а другой считал неправильным, что с него ищут больше положенного, и не понимал, что если противник вчинит иск таким образом, то сам же проиграет процесс. 168 (37) Да зачем далеко ходить? Разве не то же было на этих днях, когда я сидел на трибунале городского претора Кв. Помпея⁸⁰, с которым мы приятели? Один из наших краснобаев требовал в интересах должника, против которого был предъявлен иск, чтобы в акте была сделана издавна принятая оговорка «какой сумме вышел срок», и не понимал, что оговорка эта преследует интересы не должника, а займодавца; именно если бы должник, уклоняясь, доказал судье, что иск был предъявлен ему раньше срока, то займодавец мог бы потом предъявить иск вторично и ему нельзя уже было отказать, сославшись, что это дело уже разбиралось. 169. Итак, что можно счесть или назвать позорнее того, что человек, принявший на себя роль защитника друзей в разногласиях и тяжбах, помощника страждущих, целителя недужных, спасителя поверженных, этот-то человек в самых пустых и ничтожных вопросах впадает в такие ошибки, что одни находят его жалким, а другие смешным? 170. Я всегда с величайшей похвалой вспоминаю, что сказал мой родственник Публий Красс, прозванный Богатым, человек большого ума и вкуса. Он не раз повторял брату своему Публию Сцеволе⁸¹, что тот никогда не сможет преуспеть в своем гражданском праве, если не дополнит его красноречием (что и сделал, между прочим, его сын, мой бывший товарищ по консульству), и что он сам начал браться и вести тяжбы своих друзей не прежде, чем выучил право. 171. А что уж и говорить о знаменитом Марке Катоне⁸²? Красноречие в нем было такое, выше которого в то время в нашем отечестве ничего быть не могло, и вместе с тем разве не был он величайшим знатоком гражданского права?

Говоря об этом предмете, я все время выражаюсь с некоторой сдержанностью, потому что здесь присутствует поистине великий оратор, которым я восхищаюсь, как никем другим, но этот оратор всегда относился к гражданскому праву без всякого уважения. 172. Однако я ведь излагаю вам по вашему желанию лишь мои собственные взгляды и понятия, поэтому я не буду скрывать от вас ничего и по мере сил расскажу вам во всех подробностях, что я об этом думаю. (38) Для Антония мы сделаем исключение: благодаря небывалой, невероятной, божественной силе своего дарова-

ния он и без знания права сумеет устоять и защитить себя — у него-то умственных средств на это хватит. Но вот всем остальным я без малейшего колебания готов вынести обвинительный приговор: во-первых, за леность, во-вторых, за бесстыдство. 173.

[Незнание права — бесстыдство.] Ведь и в самом деле, разве это не наглешее бесстыдство — метаться по форуму, торчать при разбирательствах и на преторских трибуналах, ввязываться в тяжбы перед выделенными судьями по особо важным делам, где часто спор идет не о факте, но о нравственной и юридической справедливости, постоянно возиться с центумвиральными тяжбами⁸³, в которых разбираются узаконения о давности, об опеках, о родстве родовом и кровном, о намывных берегах и островах, об обязательствах, о сделках, о стенах, о пользовании светом, о капели⁸⁴, о действительных и недействительных завещаниях и о множестве других тому подобных вопросов, и при этом не иметь никакого понятия даже о том, что значит свое, что — чужое, наконец, на каком основании считается человек гражданином или иностранцем, рабом или свободным! 174. До чего смешон хвастун, который признается, что не умеет править малыми ладьями, и в то же время похвально, будто может водить пятипалубные или даже еще более крупные корабли! Ты позволяешь себя обмануть в частном кружке при пустом уговоре с противником, скрепляешь печатью обязательство своего клиента, в котором таится для него ловушка, — и чтоб я после этого счел возможным доверить тебе сколько-нибудь важное дело! Право, скорее, тот, кто того и гляди опрокинет лодчонку в гавани, управится с кораблем аргонавтов⁸⁵ в Эвксинском море. 175. Ну а если к тому же дела случатся не ничтожные, а сплошь и рядом очень важные, где спор идет о вопросах гражданского права, — что за бесстыжие глаза должны быть у того защитника, который осмеливается приступать к таким делам без малейшего знания о праве? Спрашивается: какая могла случиться тяжба важнее, чем дело того воина⁸⁶, о котором из войска пришло домой ложное известие, что он погиб? Отец его, поверив этому, изменил завещание и назначил наследника по своему усмотрению, а впоследствии умер и сам. Воин воротился домой и начал искать отцовское наследство законным порядком, как сын, устраненный от наследства по завещанию; дело было представлено центумвирам. Так вот, в этой тяжбе был поднят вопрос как раз

из области гражданского права: может ли сын считаться устраненным от отцовского наследства, если отец не поименовал его в завещании ни как наследника, ни как лишенного наследства? 176. (39) А разбиравшееся у центумвиров⁸⁷ дело между Марцеллами и патрицианскими Клавдиями о наследстве сына одного отпущенника, на которое Марцеллы притязали по праву семейного родства, а патрицианские Клавдии — по праву родового? Разве в этой тяжбе не пришлось ораторам говорить обо всем семейном и родовом праве? 177. А другой спор, решавшийся, как мы слышали, также в суде центумвиров — спор по делу об одном изгнаннике, удалившемся в Рим, где он имел изгнанническое право⁸⁸ проживать под чьим-нибудь условным покровительством, и там умершем без завещания? Разве по поводу этой тяжбы защитник не разбирал и не разъяснял перед судом право покровительства, как оно ни темно и ни мало известно? 178. А недавний случай, когда я сам защищал перед выделенным судьей дело Гая Сергия Ораты⁸⁹ против самого нашего друга Антония? Разве вся моя защита не опиралась на закон как таковой? Дело в том, что Марк Марий Гратидиан продал Орате дом и не упомянул при этом в купчей, что некоторая часть этого дома допускает лишь условное владение. Я утверждал в своей речи, что если продавец знал об условиях, стесняющих пользование продаваемой собственностью, и не заявил о них, то он обязан возместить все происшедшие от этого убытки. 179. Кстати сказать, недавно подобную же оплошность допустил мой приятель Марк Букулей⁹⁰, человек, на мой взгляд, не глупый, а на свой — даже очень умный, и при этом не чуждый знания права. При продаже дома Луцию Фуфию⁹¹ он упомянул в купчей «освещение такое, с каким продано». И вот, как только началась стройка в какой-то части города, которая едва была видна из этого дома, Фуфий сейчас же предъявил иск к Букулею на том основании, что заграждение любой частички неба, на каком бы то ни было расстоянии, уже означает перемену освещения. 180.⁹² Ну а знаменитая тяжба Мания Курия и Марка Копония⁹³, разбиравшаяся недавно у центумвиров? Сколько народа стеклось в суд, с каким напряженным вниманием выслушивались речи?! Квинт Сцевола, мой ровесник и товарищ по должности, правовед, ученейший из всех знатоков гражданского права, человек редкостного ума и дарования, оратор с речью на диво точной и отделанной, — я недаром люблю говорить,

что он — величайший оратор из всех правоведов и величайший правовед из всех ораторов, — Квинт Сцевола, держась буквы закона, отстаивал силу завещаний и утверждал, что кто назначен наследником после сына, который родился по смерти отца, и умрет до вступления в совершеннолетие, тот может быть наследником лишь в том случае, если сын действительно родится по смерти отца и действительно затем умрет; я же настаивал, что цель завещателя при составлении завещания заключалась просто в том, чтобы в случае отсутствия совершеннолетнего сына Маний Курий был наследником. Не ссылались ли мы оба в течение всего этого дела и на авторитет толкователей, и на примеры сходных случаев, и на виды завещательных формул? Не находились ли мы оба в самых недрах гражданского права? 181.

(40) Я оставляю в стороне другие примеры крупных тяжб: они бесчисленны; но ведь нередко бывают даже и такие случаи, когда судебным порядком решается дело о наших гражданских правах. Так было, например, с Гаем Манцином⁹³, человеком достойным и знатным, и вдобавок бывшим консулом. Вследствие общего негодования, возбужденного Нумантийским договором, священный посол по определению сената выдал его нумантийцам, а они его не приняли. Возвратившись домой, Манцин счел себя вправе явиться в сенат; но народный трибун Публий Рутилий, сын Марка, велел его вывести, заявив, что он уже не гражданин: так ведется исстари, — говорил он, — кто продан в рабство своим отцом или народом или выдан при посредстве священного посла⁹⁴, тот не может вступить по возвращении в свои прежние права. 182. Можно ли отыскать среди всех гражданских дел более важный предмет тяжбы или спора, чем общественное положение, гражданство, свобода — словом, само существование бывшего консула? Тем более что при этом дело шло не о каком-нибудь преступлении, от которого он мог бы отпереться, но о положении его по общему гражданскому праву. Другой подобный вопрос, но касающийся лица степенью ниже, был возбужден у наших предков, а именно: если кто-нибудь из союзного нам народа находился у нас в рабстве и потом освободился, то по возвращении домой вступает ли он в свои прежние права и теряет ли здешнее гражданство? 183. А свобода? Важнее ее не может быть предмета пред судом; а между тем разве не может возникнуть спор о гражданском праве по такому

вопросу: с какого времени становится свободным тот, чье имя по желанию господина было внесено в гражданские списки⁹⁵: тотчас же или по совершении цензорами заключительного священнодействия? А происшествие, случившееся на памяти наших родителей с одним отцом семейства, прибывшим из Испании в Рим? Оставив свою беременную жену в провинции, он женился в Риме на другой, но первой не послал отказа; он умер без завещания, а между тем от обеих родилось по сыну. Разве спор здесь шел о безделице? Решался вопрос о гражданстве двух лиц: во-первых, сына, рожденного от второй жены, и во-вторых, — его матери: если бы суд решил, что развод с первой женой мог состояться только по установленному заявлению, а не просто в силу нового брака, то вторая была бы признана наложницей. 184. Итак, когда человек, не имеющий понятия об этих и им подобных узаконениях своего родного государства, осанисто и гордо, с довольным и самоуверенным лицом, поглядывая по сторонам, разгуливает по всему форуму с толпой приспешников и великодушно предлагает клиентам защиту, друзьям — помощь и чуть ли не всем гражданам вместе — свет своего ума и поучения, — можно ли не счесть это величайшим для оратора позором?

[Незнание права — нерадивость.] (41) До сих пор я говорил о бесстыдстве; теперь выскажем порицание также нерадивости и лени. Ведь если бы даже ознакомление с правом представляло огромную трудность, то и тогда сознание его великой пользы должно было бы побуждать людей к преодолению этой трудности. Но это не так. Клянусь бессмертными богами, я не решился бы этого сказать в присутствии Сцеволы, если бы он сам не твердил постоянно, что нет науки более легкой для изучения, нежели гражданское право. 186. Правда, большинство считает иначе. Но на то есть свои причины. Во-первых, в прежние времена те, в чьих руках находилось знание этого предмета, старались держать его в тайне, чтобы сохранить и усилить свое могущество; во-вторых, и после того, как право уже стало известным благодаря Гнею Флавию⁹⁶ впервые обнародовавшему исковые формулы, не нашлось никого, кто бы составил из них стройный и упорядоченный свод. Это объясняется тем, что ни один предмет не может быть возведен на степень науки, если знаток предмета, задумавший это сделать, не владеет теми общими началами, которые только и позволяют из донаучных сведений построить науку. 187.

Кажется, желая выразиться покороче, я выразился несколько темно: но я сейчас попытаюсь высказать свою мысль по возможности яснее.

(42) Чуть ли не все данные, которые сведены теперь в различные науки, были некогда разбросаны и рассеяны. Так, в музыке — размеры, звуки и напевы; в геометрии — очертания, фигуры, расстояния и величины; в астрономии — вращение неба, восхождение, захождение и движение светил; в грамматике — толкование поэтов, знание сказаний, объяснение слов, произношение при чтении; наконец, в нашем собственном ораторском искусстве — нахождение, украшение, расположение, запоминание, исполнение; все это всем казалось некогда действиями отдельными и не состоящими одно с другим ни в какой связи. 188. Потому была призвана на помощь особенная наука со стороны, из другой области знания, которую философы целиком считают своим достоянием; она-то должна была на основании твердых правил внести связь и слитность в этот разбитый и разрозненный круг вещей. Таким образом, для гражданского права прежде всего должна быть определена цель, а именно — справедливое соблюдение законов и обычаев в тяжбах граждан. 189. Вслед за этим предстоит выделить роды понятий, твердо установленные и не слишком многочисленные. Род есть то, что включает в себе два вида или более, сходные между собою в известном общем признаке, но различные по признакам видовым. Вид есть подразделение рода, к которому он относится. Все роды и виды имеют свои названия, значение которых должно быть раскрыто определениями. Определение же есть не что иное, как короткое и точное указание отличительных признаков определяемого предмета. 190. Все это я пояснил бы примерами, если бы не знал, каковы у меня сейчас слушатели. Перед ними мне достаточно высказать свою мысль вкратце. Самому ли мне удастся выполнить то, о чем я уже давно подумываю, другой ли кто это сделает, если мне помешают заботы или смерть, — не знаю; но когда найдется человек, который разделит все гражданское право на несколько родов, которых будет очень немного, потом расчленил эти роды на виды, а затем даст определение содержанию каждого рода и вида, тогда в нашем распоряжении будет совершенная наука гражданского права, и она будет не трудна и темна, а обширна и обильна. 191.

Ну а покамест все то, что разрознено, еще не связалось

воедино, мы можем запастись надлежащими знаниями гражданского права постепенно и отовсюду, набирая его помаленьку то тут, то там. (43) Да вот, к примеру, римский всадник, который издавна жил и живет у меня, Гай Акулеон⁹⁷, человек необыкновенно тонкого ума, но ни в каких науках не образованный; несмотря на это, он до такой степени освоился с гражданским правом, что его не превзойдет ни единый из знатоков, за исключением, конечно, здесь присутствующего. 192. Ведь тут все данные лежат у нас перед глазами, они содержатся в повседневном нашем опыте, в общении с людьми, в делах на форуме; чтобы познать их, не нужно ни многих слов, ни толстых книг; да и в книгах ведь все авторы с самого начала пишут одно и то же, а потом повторяют (даже сами себя!) по многу раз, с небольшими лишь переменами в выражениях. 193.

[Знание права приятно и почетно.] Но есть еще и нечто другое, для многих, вероятно, неожиданное, что может облегчить усвоение и постижение гражданского права, это удивительно приятное и сладостное чувство, испытываемое при этой работе. В самом деле, чувствует ли кто влечение к тем ученым занятиям, которые ввел у нас Элий⁹⁸, — он найдет как во всем гражданском праве вообще, так и в книгах понтификов и в Двенадцати таблицах в частности, многообразную картину нашей древности, потому что тут и слова звучат седой стариной, и дела отчасти бросают свет на нравы и обычаи предков. Занимает ли кого наука о государстве, которую Сцевола считает достоянием не ораторов, но каких-то ученых особого рода, — он увидит, что она целиком заключена в Двенадцати таблицах, так как там расписано все об общественном благе и о государственных учреждениях. Привлекает ли кого философия, эта могущественная и славная наука, — я скажу смело, что он найдет источники для всех своих рассуждений здесь, в содержании законов и гражданского права: именно отсюда для нас становится очевидно, с одной стороны, что следует прежде всего стремиться к нравственному достоинству, так как истинная доблесть и безупречная деятельность украшаются почестями, наградами, блеском, а пороки и преступления караются пенями, бесчестьем, оковами, побоями, изгнанием и смертью; и, с другой стороны, мы научаемся — и притом не из бесконечных и наполненных пересбранками рассуждений, а из непререкаемых заповедей закона — держать в узде свои страсти, подавлять все влечения, охранять

свое, а от чужого воздерживать и помыслы, и взоры, и руки. 194. 195.

(44) Да, пусть все возмущаются, но я выскажу свое мнение: для всякого, кто ищет основ и источников права, одна книжица Двенадцати таблиц весом своего авторитета и обилием пользы воистину превосходит все библиотеки всех философов. 196.

И если нам должным образом дорога наша родина, любовь к которой врождена в нас с такой силою, что мудрейший муж Итаку свою, точно гнездышко прилепленную к зубчикам ее скал, предпочитал бессмертию⁹⁹, — какую же тогда любовью должны мы пламенеть к такой родине, которая единственная из всех стран есть обитель доблести, власти и достоинства! Первым делом нам следует изучить ее дух, обычаи и порядки; как и потому, что это есть родина, общая наша мать, так и потому, что одна и та же великая мудрость проявляется и в ее могучей власти, и в ее правовых установлениях. 197. Оттого-то знание права и доставит вам радость и удовольствие, что вы увидите, насколько предки наши оказались выше всех народов государственной мудростью; достаточно сравнить наши законы с их Ликургом, Драконтом, Солоном¹⁰⁰. Нельзя даже поверить, насколько беспорядочно — прямо-таки до смешного! — гражданское право всех народов, кроме нашего. Об этом я не устаю твердить каждый день, противопоставляя мудрых наших соотечественников всем прочим людям, и особенно грекам. По этой причине, Сцевола, я и сказал, что всем, которые желают стать совершенными ораторами, необходимо знание гражданского права. 198.

(45) Кому же не известно, какой почет, доверие и уважение окружали у нас тех, кто обладал этим знанием? Взгляните: у греков только самые ничтожные люди, которые у них называются прагматиками¹⁰¹, предоставляют ради денег свои услуги ораторам на судах: а в нашем государстве, напротив, правом занимаются все наиболее уважаемые и достойные лица, как, например, тот, который своими познаниями в гражданском праве заслужил следующий стих великого поэта:

Высшего разума муж — Элий Секст, хитроумнейший
смертный¹⁰².

Да и многие другие граждане, и без того уважаемые за их дарования, своей осведомленностью по вопросам права

сумели добиться еще большего уважения и веса. 199. А для того чтобы ваша старость была окружена вниманием и почетом, какое средство может быть лучше толкования права? Для меня по крайней мере уже с юных лет право казалось подспорьем не только для того, чтобы вести судебные дела, но и для чести и украшения в старости; и когда мои силы начали бы мне изменять (а уж, пожалуй, и время подходит), я таким образом защитил бы свой дом от безлюдья. Да и что еще прекраснее для старика, занимавшего в свое время почетные общественные должности, чем возможность с полным правом сказать то, что производит у Энния его Пифийский Аполлон¹⁰³, и назвать себя тем, от кого если и не «народы и цари», то все граждане «совета ждут»,

Не зная, что им делать. Помогаю им
И, вразумляя, подаю советы я,
Чтоб дел неясных не решали набум.

Ведь и впрямь дом юрисконсульты бесспорно служит оракулом для всего общества. Свидетели этого — сени и прихожая нашего Квинта Муция, к которому, несмотря на его очень слабое здоровье и уже преклонные годы, ежедневно приходит такое множество сограждан, даже самых блестящих и высокопоставленных. 201.

(46) Вряд ли нужно долго объяснять, почему я считаю обязательным для оратора также и знание общественного права — того, которое относится к делам государства и правления, — а затем знание исторических памятников и примеров минувшего времени. Как в частных судебных делах содержание для речи приходится брать из области гражданского права, и потому, как мы уже говорили, оратор должен знать это право, — так и в делах общественных, на суде, на сходках, в сенате все знание древних обычаев, все положения общественного права, вся наука об управлении государством должны быть содержанием в речах у тех ораторов, которые посвящают себя государственным делам. 202.

Ведь в этой нашей беседе мы взыскуем не какого-нибудь ябедника¹⁰⁴ или крикуна и пустозвона, но истинного жреца красноречия — человека, который не только приобрел немалые способности, благодаря самой своей науке, но прямо-таки кажется обладателем божественного дара, так что даже человеческие его качества представляются не исходящими от человека, но ниспосланными человеку свыше. Он

может безопасно пребывать даже среди вооруженных врагов, огражденный не столько своим жезлом, сколько своим званием оратора; он может своим словом вызвать негодование сограждан и низвергнуть кару на виновного в преступлении и обмане, а невинного силою своего дарования спасти от суда и наказания; он способен побудить робкий и нерешительный народ к подвигу, способен вывести его из заблуждения, способен воспламенить против негодьяев, и унять ропот против достойных мужей; он умеет, наконец, одним словом и взволновать и успокоить любые людские страсти, когда этого требуют обстоятельства дела. 203. Если кто полагает, что все это могущество оратора описано или изложено сочинителями учебников красноречия, или даже мною сейчас в столь короткое время, тот жестоко ошибается: он недооценивает не только скудость моих познаний, но и обширность относящихся сюда предметов. Я сделал только то, что вы желали; я решился указать источники, откуда черпать ораторские средства, и указать пути к ним; в проводники я не гожусь, да оно и слишком трудно и ненужно, а берусь лишь растолковать и попросту, как водится, пальцем показать нужную дорогу. 204.

[Обмен мнениями.] (47) — По-моему, — сказал Муций, — ты сказал более чем достаточно для наших ревностных друзей, если только они вправду такие ревностные. Ибо, как Сократ будто бы говорил, что считает свое дело законченным, если доводы его побудили кого-то устремить свое рвение к познанию и усвоению добродетели (а ведь кто убедился, что лучшая в жизни цель — стать хорошим человеком, тому уже нетрудно научиться всему остальному), так и я полагаю, что Красс своей речью открыл перед вами такой путь, на котором вы при желании легко придете к цели, если проследуете в распахнутые им ворота. 205.

— Конечно, — сказал Сульпиций, — все, что ты сказал, нам было приятно и радостно слышать; и все-таки нам кое-чего еще не хватает. Слишком уж кратко и бегло сказал ты, Красс, о той самой науке, которую, по твоим же словам, ты почел за нужное изучить. Если ты расскажешь об этом поподробнее, то сбудутся все наши долгие и нетерпеливые ожидания. Мы знаем теперь, чем мы должны овладеть, и это само по себе очень важно; но мы хотим также узнать, какими путями и способами лучше это усвоить. 206.

— Знаете ли, — сказал Красс, — ведь я и так уж ради ваших просьб отступил от своих привычек и наклонностей,

чтоб подольше удержать вас при себе; так, может быть, теперь мы попросим Антония открыть нам то, что он хранит про себя и сам жалуется, что у него об этом вышла только одна маленькая книжка? Пусть он посвятит нас в эти таинства слова!

— Пожалуй! — сказал Сульпиций. — Ведь из того, что скажет Антоний, мы познакомимся и с твоими мыслями. 207.

— Тогда будь добр, Антоний, — сказал Красс, — коль на нас, в наши с тобой годы, эта ревностная молодежь возлагает такое бремя, расскажи нам, что ты думаешь о том, о чем они от тебя желают, как видишь, услышать.

(48) — Вижу, вижу, — сказал Антоний, — и сам понимаю, что попался: не только потому, что от меня требуют того, чего я не знаю и к чему я непривычен, но и потому, Красс, что мне теперь не ускользнуть от того, чего я всячески избегаю в судебных делах: не миновать выступить после тебя. 208. Но я готов выполнить вашу просьбу, и тем смелее, что в этом рассуждении, я надеюсь, мне позволят говорить, как я всегда говорю — без всяких особенных украшений. Да ведь я и собираюсь говорить не о науке, которой никогда не изучал, а только о своем опыте; и в книжке моей записано не какое-нибудь усвоенное мной учение, а только то, чем я пользовался в подлинных судебных делах. Если же вы, люди высокообразованные, этого не одобрите, вы сами виноваты, что заставили меня говорить о том, чего я не знаю, а меня извольте похвалить за то, что я так легко и без всякой неохоты соглашаюсь вам отвечать; ведь я это делаю не по своей воле, а по вашей просьбе. 209.

[*Речь Антония. Красноречие и политика.*] — Так начинай же, Антоний! — сказал на это Красс. — Ведь нечего бояться, что ты скажешь что-нибудь неразумное; так что никто не пожалеет, что тебя заставили сейчас выступить.

— Ну что ж, я начну, — сказал Антоний, — и начну с того, с чего, по-моему, следует начинать всякое рассуждение; то есть точно определяю, о чем пойдет речь, потому что если собеседники по-разному понимают свой предмет, то и весь разговор у них идет вкривь и вкось. 210.

Вот если бы, например, обсуждалось, в чем состоит наука полководца, я считал бы необходимым сначала определить, что такое полководец; и когда мы скажем, что полководец — это руководитель военных действий, тогда

лишь можно будет говорить и о войске, о лагерях, о походах, о сражениях, о взятии городов, о продовольствии, о том, как делать засады и как их избегать, и обо всем остальном, что относится к руководству военными действиями. Тех, кто это осознал и постиг, я и буду считать полководцами, а в пример приведу Африканов¹⁰⁵ и Максимов¹⁰⁶, Эпаминонда¹⁰⁷ и Ганнибала¹⁰⁸ и других подобного рода мужей. 211. Если же обсуждался бы вопрос о том, что представляет собой человек, посвящающий свой опыт, знание и рвение государственным делам, я бы определил его так: «кто знает и применяет то, что соображается с пользой и процветанием государства, того и следует считать управителем и устройте-лем общественного блага»; и я бы назвал таковыми Публия Лентула¹⁰⁹, славного старейшину сената, Тиберия Гракха-отца, Квинта Метелла¹¹⁰, Публия Африкана, Гая Лелия и бесконечное число прочих, как наших соотечественников, так и других. 212. Если же спрашивалось бы, кого можно признать истинным законоведом, я сказал бы, что это тот, кто сведущ в законах и обычном праве, применяемом гражданами в частных делах, и который умеет подавать советы, вести дела и охранять интересы клиента; и таковыми я назвал бы Секста Элия, Мания Манилия¹¹¹ и Публия Муция¹¹². (49) Если же дело дойдет до наук менее значительных, и нужно будет определить, что такое музыкант, грамматик, стихотворец, то я могу подобным же образом разъяснить, что для каждого из них является главным делом и сверх чего нельзя от каждого из них требовать большего. Можно, наконец, дать определение даже и философу, хоть он и объявляет, будто мощь его мудрости объемлет все на свете: мы скажем, что философом должен именоваться тот, кто стремится к познанию сущности, природы и причин всего божественного и человеческого и к полному постижению и осуществлению добродетельного образа жизни. 213.

Что же касается оратора — мы ведь говорим именно об ораторе, — то здесь мое определение не совпадает с определением Красса. Красс, мне кажется, включает в звание и обязанность оратора полное знание всех предметов и наук; а я считаю, что оратор — это просто человек, который умеет пользоваться в делах судебных и общественных словами, приятными для слуха, и суждениями, убедительными для ума. Вот кого я называю оратором; а кроме того, я желаю, чтобы он обладал и голосом, и выразительностью,

и некоторым остроумием. 214. А друг наш Красс в своем определении оратора исходит, по-моему, не из точных границ его науки, а из собственного своего почти безграничного дарования.

Красс решается вручить оратору даже кормило государственной власти! Право, меня удивляет, Сцевола, что ты это ему уступаешь; ведь тебя-то сенат постоянно слушался в самых важных делах, хоть говорил ты и кратко, и негладко. И поверь, Красс, если бы Марк Скавр¹¹³, который, как слышно, находится сейчас неподалеку, в своей усадьбе, человек наиболее умудренный в управлении государством, вдруг услышал, что ты отбираешь его права на влияние и разумный совет и передаешь их оратору, он, я уверен, сейчас же явился бы сюда и одним своим видом и взглядом спугнул бы эту нашу болтовню. Скавр — далеко не посредственный оратор, однако во всех важных делах он блещет больше здравым смыслом, чем искусною речью. 215. И право, если даже кто-нибудь способен и на то и на другое сразу, то это ничего не значит: человек становится оратором не потому, что он хороший сенатор и разбирается в государственных делах; и если речистый и красноречивый оратор нашего Красса будет в то же время отличным блюстителем государства, то он достигнет этого знания не своим красноречием. Способности эти сильно одна от другой отличаются, и между ними нет ни малейшей связи: Марк Катон, Публий Африкан, Квинт Метелл и Гай Лелий — все были отличными ораторами, но о мощи своих речей они заботились иначе, чем о мощи своего отечества. (50) Ведь ни природой, ни законом, ни обычаем не запрещено одному человеку знать несколько наук. 216. Поэтому, хотя Перикл¹¹⁴, бывший наилучшим оратором в Афинах, был в то же время там долгие годы первым человеком в государстве, не следует из этого заключать, что и во всяком человеке способность к той и другой науке живет одновременно. Точно так же, если Публий Красс был и отличным оратором и сведущим правоведом, из этого не следует, что в ораторской способности заключено и знание права. 217. Просто дело в том, что когда человек, хорошо знающий и владеющий одной наукой, овладеет также и другой наукой, то будет казаться, что вторая его наука — лишь частица первой, которую он лучше знает. На таком основании мы могли бы даже игру в мяч¹¹⁵ или в двенадцать линеск¹¹⁶ считать присущей гражданскому праву потому лишь, что

Публий Муций — великий мастер и в том и в другом; на том же основании мы и тех, кого греки называют «физиками», должны почитать за поэтов, потому что когда-то физик Эмпедокл¹¹⁷ сочинил превосходную поэму. А между тем даже и сами философы, все присваивающие и на все притязающие, не осмеливаются считать делом философа геометрию и музыку потому только, что когда-то, говорят, этими науками превосходно владел Платон. 218. Нет, если уж говорить о том, что оратору нужны все науки, то вернее, пожалуй, было бы сказать вот что: так как ораторское искусство не должно быть убогим и бледным, а должно быть приятно разубрано и расцвечено самыми разнообразными предметами, то хорошему оратору следует многое услышать, многое увидеть, многое обдумать и усвоить и многое перечитать, однако не присваивать это себе, а только пользоваться из чужих запасов. То есть я признаю, что оратор должен быть человек бывалый, не новичок и не невежда ни в каком предмете, не чужой и не посторонний в своей области. 219.

[*Красноречие и философия.*] (51) И меня, Красс, вовсе не смущает этот твой трагический слог, какой в большом ходу у философов, когда ты говоришь, будто для того, чтобы воспламенить слушателей красноречием или затушить в них этот пыл (а именно в этом высочайшая мощь и величие оратора), необходимо полностью постигнуть природу вещей и мысли да нравы людей, а для этого оратору поневоле надо овладеть философией. Философия — это такое занятие, на которое, как мы видим, приходится потратить всю свою жизнь, даже самым одаренным и досужим людям. Широту и глубину их науки и мысли я не только не презираю, — я ими от души восхищаюсь; однако для нас, среди нашего народа на нашем форуме, достаточно знать и говорить о людских обычаях то, что не расходится с людскими обычаями. 220.

Какой же крупный и серьезный оратор, желая возбудить гнев судей против своего противника, когда-нибудь растерялся оттого, что не знал, что такое гнев¹¹⁸ — горячность ли ума или жажда наказать за обиду? Какой оратор, желая возбудить и вызвать своею речью любые душевные движения или у судей, или у народа, сказал то, что обычно говорят философы? Ведь из философов одни вообще отвергают необходимость каких-либо душевных движений и считают возбуждение их в умах судей нечестивым преступлением; дру-

гие, желая быть снисходительнее и ближе к жизни, утверждают, что душевные движения должны быть строго умеренными и предпочтительно спокойными. 221. Оратор же, напротив, все то, что в повседневной жизни считается дурным, нетерпимым и предосудительным, всячески усиливает и обостряет своими словами; а то, что всем представляется желательным да и желанным, он в своей речи еще более превозносит и разукрашивает. Он не хочет оказаться мудрецом среди глупцов, чтобы слушатели или сочли его самого дураком и гречонком, или же от восторга перед умом и дарованием оратора пришли бы в уныние при мысли о собственной глупости. 222. Нет, он так глубоко врежется в души, так преобразует чувства и мысли людей, что не нуждается в философских определениях и не доискивается в речи, что такое пресловутое «высшее благо», духовно ли оно или телесно, состоит ли оно в добродетели или в наслаждении, или же то и другое возможно сочетать и совместить, или же, наконец (как представляется некоторым), ничего об этом нельзя знать наверняка, ничего нельзя вполне ни постичь, ни уразуметь. Относительно всего этого, я знаю, существует множество учений и множество самых разнообразных домислов; но мы, Красс, ищем другого, совсем другого. 223.

Нам нужен человек от природы умный и в жизни бывалый, который видел бы насквозь, что думают, чувствуют, предполагают и ожидают его сограждане и все люди, которых он хочет в чем-то убедить своей речью. (52) Надо, чтобы он умел нащупать пульс людей любого рода, любого возраста, любого сословия; он должен чутьем понимать мысли и чувства тех, перед которыми он ведет или поведет дело. 224. Ну а книги философов пусть он оставит себе для такого вот, как у нас, тускуланского отдыха и досуга, чтобы, взявшись как-нибудь за речь о правосудии и справедливости, не заговорить вдруг об этом по Платону

В самом деле, ведь Платон, когда ему пришлось писать об этом сочинение, выдумал в своих книгах целое небывалое государство¹¹⁹: до такой степени то, что он счел нужным сказать о правосудии, шло в разрез с повседневной жизнью и общественными обычаями. 225. А если бы его взгляды были одобрены народами и государствами, кто бы позволил тебе, Красс, мужу столь славному и высокопоставленному, первому в твоём государстве, сказать во многолюдном собрании¹²⁰ твоих сограждан то, что ты сказал: «Вывите нас

из бедствий, вырвите из пасти тех, чья жестокость не может насытиться нашей кровью; не заставляйте нас рабствовать кому-либо, кроме всех вас вместе, кому служить мы и можем и должны». Я оставляю в стороне «бедствия», которые, по словам философов, не могут коснуться человека мужественного; оставляю «пасть», из которой ты хочешь вырваться, чтобы несправедливый суд не выпил твою кровь, чего тоже не может случиться с мудрецом; но ведь ты осмелился сказать, что «рабствовать» должен не только ты, но целиком и весь сенат, за который ты тогда выступал? 226. Как, неужели же, по мнению твоих мудрецов, чьи уставы включаешь ты, Красс, в науку оратора, доблесть может находиться в рабстве? Доблесть, которая единственная всегда свободна и которая, даже если тело попало в плен или заключено в оковы, тем не менее должна сохранять независимость и непререкаемую во всех отношениях свободу! Но ты еще добавил, будто сенат не только «может», но даже «должен» рабствовать народу. Да какой же философ может быть настолько слаб, настолько вял, настолько немошен, какой философ может настолько сводить все к телесному удовольствию и страданию, что прикажет сенату быть рабом народа, — сенату, которому сам народ передал бразды власти, чтобы сенат им руководил и управлял? 227.

(53) Вот почему, между тем как я внимал твоим словам с восторгом, Публий Рутилий Руф, человек ученый и преданный философии, заявил о тех же самых словах, что они не только неуместны, но даже непристойны и позорны. И тот же Рутилий Руф всегда негодовал на то, каким образом на его памяти Сервий Гальба вызвал сострадание народа, когда Луций Скрибоний¹²¹ возбудил против него судебное дело после того, как Марк Катон, суровый и жестокий враг Гальбы, резко и решительно выступил перед народом с речью¹²², которую приводит к своим «Началам»¹²³. 228. Негадовал Рутилий на то, что Гальба взял и поднял чуть ли не на плечи себе сироту Квинта, сына своего родственника Гая Сульпиция Галла, чтобы этим живым воспоминанием о его прославленном отце вызвать у народа слезы, и вверил опеке народа двоих своих маленьких сыновей, объявив при этом (точно делая завещание на поле битвы без оценки и описи имущества), что называет опекуном их сиротства римский народ. Таким-то путем, по словам Рутилия¹²⁴, Гальба, хотя и вызывал тогда к себе общую злобу и ненависть, добился оправдания с помощью

подобных трагических приемов; об этом и у Катона написано: «не прибегни он к детям и слезам, он понес бы наказание». Все это Рутилий жестоко порицал, говоря, что и ссылка и даже смерть лучше такого унижения. 229.

И он не только это говорил, но сам так и думал и поступал. Ибо этот достойный муж, хоть и был он, как вам известно, образцом безупречности, хоть никто среди сограждан не мог превзойти его в добросовестности и честности, все же на суде не пожелал не только умолять судей, но даже украшать свою защитительную речь и отклоняться от дела больше, чем допускало простое доказательство истины. Небольшую уступку сделал он только для Котты, нашего речистого юноши, сына своей сестры. Выступал по этому делу со своей стороны и Квинт Муций, как всегда без всяких прикрас, ясно и вразумительно. 230. А если бы выступал тогда ты, Красс, ты, говоривший сейчас, что для полноты речи надо прибегать к тем рассуждениям, какими пользуются философы? Да если бы тебе можно было говорить за Публия Рутилия не по-философски, а по-своему, то, как бы ни были преступны, злокозненны и достойны казни тогдашние судьи, — а таковы они и были, — однако все глубоко засевшие в них бесстыдство искоренила бы сила твоей речи. Вот и потерял столь славный муж, оттого что дело велось так, будто бы это происходило в платоновском выдуманном государстве. Никто из защитников не стenal, никто не взывал, никто не скорбел, никто не сетовал, никто слезно не заклинал государство, никто не умолял. Чего же больше? Никто и ногою-то не топнул на этом суде, наверно, чтоб это не дошло до стоиков. 231.

(54) Римлянин и бывший консул последовал древнему примеру знаменитого Сократа¹²⁵, — того, который был мудрее всех и жил честнее всех, а защищал себя на уголовном суде так, что казался не умоляющим или подсудимым, но наставником или начальником судей. И даже, когда самый речистый оратор Лисий принес написанную для Сократа речь, которую тот при желании мог бы заучить, чтобы воспользоваться ею на суде для защиты¹²⁶, Сократ охотно ее прочитал и сказал, что она отлично написана, «но, — заметил он, — как если бы ты принес мне сикионские башмаки¹²⁷, пусть даже очень удобные и впору, я бы их не обул потому, что они не к лицу мужчинам; так и эта речь твоя, по-моему, хоть и красноречива, но нет в ней ни смелости, ни мужества». И вот он тоже был осужден,

и не только первым голосованием, которым судьи определяют лишь виновность или оправдание, но и вторичным, которое предписано афинским законом¹²⁸. 232. А закон в Афинах был такой: после обвинения подсудимого, если только преступление не было уголовным, происходила как бы оценка наказания; и судьи после своего решения спрашивали подсудимого, какое бы наказание сам он признал заслуженным. Когда об этом спросили Сократа, он ответил, что заслуживает самых высоких почестей, наград и даже ежедневного угощения в Пританее на общественный счет, — а это считалось у греков величайшей почестью. 233. Его ответ привел судей в такое негодование, что этого неповиннейшего человека они присудили к смерти. А вот если бы он был оправдан (чего даже я, человек посторонний, желал бы от души из одного уважения к его гению), тогда твои философы, я думаю, стали бы уж вовсе невыносимы: ведь и теперь, когда он осужден единственно потому, что не владел красноречием, они все-таки утверждают, что учиться красноречию можно только у него! Я не затеваю с ними спора о том, чье искусство лучше или правильнее; я говорю только, что это две вещи разные и что совершенство в одном достижимо и без другого. 234.

[*Красноречие и право.*] (35) А вот почему ты так крепко ухватился за гражданское право, я отлично понимаю, и понял я это, еще когда ты говорил. Во-первых, ты угождал Сцеволе, которого все мы не можем не любить за великое его обаяние, видя, что у его науки нет ни приданого, ни убранства, ты ее разубрал украшениями и одарил словесным приданым. Во-вторых, имея у себя дома такого поощрителя и наставника в этой науке, ты положил на нее столько работы и труда, что начал опасаться, как бы твои старания, если бы ты не превозносил эту науку, не пропали даром. 235.

Но я не собираюсь вступать в спор с этой твоей наукой; пусть она и будет такой важной, какой ты ее считаешь. Никто и не отрицает, что она и важна, и обширна, и многие ею занимаются, и всегда была она в величайшем почете, и в наши дни распоряжаются ею самые видные граждане. Берегись, однако, Красс: желая украсить науку гражданского права необычным и чуждым ей убором, как бы ты не лишил ее собственного убора, привычного и исконного. 236. Ибо, если бы ты стал утверждать, что знаток права — это всегда оратор, а равно и оратор — это всегда и знаток

права, ты бы этим установил и высочайшее значение обеих наук, и взаимное их равенство, и совместное их достоинство. Но ты признаешь, что законоведом возможно быть и без того красноречия, которое мы исследуем, и что таких законоведов было очень много; а что возможно быть оратором без изучения права, это ты отрицаешь. Стало быть, сам по себе законовед — это для тебя всего-навсего какой-то дошлый и хитрый крючкотвор, огласитель жалоб, начетчик и буквоед; и только потому, что оратору в судебных делах часто бывает нужно опираться на право, ты приставил правоведение к красноречию, как подсобную девчонку. 237.

(56) Ты изумляешься бесстыдству тех защитников, которые берутся за большое, не зная малого, и которые осмеливаются при разборе дел походя рассуждать о важнейших разделах гражданского права, каких они не знают и никогда не изучали. Но и то и другое легко и просто оправдать. Что ж тут удивительного, если человек, который не знает, какие слова произносятся при брачной купле, тем не менее отлично может вести дело женщины, вступающей в такой брак? И если то же умение требуется, чтобы править большим и малым судом, из этого следует, что вполне можно вести дело по дележу наследства, даже не зная, какими словами определяется этот дележ. 238. В самом деле, с какой стати все те сложнейшие тяжбы из суда центумвиров, о каких ты говорил, не могут быть предметом превосходных выступлений красноречивого человека, не искусенного в праве? И к тому же во всех этих делах — и в том самом деле Мания Курия, по какому ты недавно выступал, и в разбирательстве по делу Гая Гостилия Манцина, да и в деле о мальчике, рожденном от второй жены, когда первой не было послано отказа, — во всех этих делах даже лучшие законоведы сами не могли толковаться по вопросам права. 239. Вот и я спрашиваю, чем же в этих делах помогло бы оратору знание права, если все равно победителем вышел тот законовед, который лучше владел не своим ремеслом, а чужим, то есть не знанием права, но красноречием?

Мне не раз приходилось слышать, что в те времена, когда Публий Красс¹²⁹ домогался звания эдила, и ему помогал Сервий Гальба — уже пожилой, уже бывший консулом и уже просватавший дочь Красса за своего сына Гая, — явился однажды к Крассу за советом какой-то сельский житель, он отвел Красса в сторону, изложил ему свое

дело и получил от него ответ, хотя и правильный, но не очень ему подходящий. Когда Гальба увидел, как он огорчен, то подозвал его по имени и спросил, по какому делу он обратился к Крассу. 240. Выслушав его и видя, что человек обеспокоен, «Я думаю, — сказал он, — что Красс отвечал тебе, будучи чем-то отвлечен и занят!», а затем взял за руку самого Красса и спросил его: «Слушай, как это пришло тебе в голову так ответить?» На это Красс со всей уверенностью своего опыта подтвердил, что дело обстоит именно так, как он ответил, и сомнения тут быть не может. Тогда Гальба, подшучивая над ним, стал приводить множество самых разнообразных сходных примеров и убедительнейшим образом отстаивать справедливость против буквы закона. Красс, хоть и был человек речистый, но никак не мог бы сравниться с Гальбой; хоть он и начал ссылаться на знатоков и приводить в подтверждение своих слов записки Секста Элия и сочинения своего брата Публия Муция, однако в конце концов вынужден был сознаться, что и ему рассуждение Гальбы уже кажется убедительным и едва ли не правильным. 241.

(57) Есть, конечно, дела такого рода, что споров о праве в них не возникает; но обычно они и не доходят до суда. Разве оспаривает кто-нибудь наследство по завещанию, сделанному главой семьи до рождения у него сына? Никто, потому что рождение наследника делает завещание недействительным. Следовательно, в этой части права не бывает никаких судебных разбирательств, а стало быть, эту часть права — бесспорно, самую обширную — оратор смело может оставить без внимания. 242. А для той части права, которая и знатоками толкуется по-разному, оратору нетрудно найти какого-нибудь правоведа в подмогу своей защите, и, получив от него метательные копьа, запустить их самому сплеча во всю ораторскую силу.

Да разве ты сам защищал дело Мания Курия по заметкам и правилам Сцеволы¹³⁰ (не в обиду этому нашему превосходному другу будь сказано)? Разве не издевался ты и над соблюдением справедливости, и над защитой завещаний и воли покойников? 243. Уверяю тебя (я ведь постоянно тебя слушал и был при тебе): больше всего голосов ты привлек солью и прелестью своих изящнейших остроумий, когда ты высмеивал правовые тонкости Сцеволы, восхищаясь его умом за мысль, что следует раньше родиться, чем умереть, и когда ты не только ядовито, но и смешно и забавно

приводил множество примеров из законов, сенатских постановлений и вседневной речи, показывая, что, если следовать букве, а не смыслу, то ничего и не получается. Поэтому в суде царили радость и веселье; и я не вижу, чем тебе тут помогла осведомленность в гражданском праве; нет, помогла тебе только исключительная сила твоего красноречия в соединении с величайшей живостью и прелестью. 244. А сам-то Муций¹³¹, который в этой тяжбе боролся за отеческое право, точно за свою вотчину, что он такое извлек из гражданского права, чтобы выступить против тебя? Какой огласил закон? Что осветил из него ясного для несведущих? Ведь вся его речь сводилась к тому, что он отстаивал необходимость точно держаться написанного. Но на такие упражнения натаскивают всех мальчиков в школах, обучая их отстаивать то букву закона, то справедливость. 245.

И неужто в этом пресловутом деле воина, какую бы ты сторону ни отстаивал, ты обратился бы к судебнику Гостилия¹³², а не к силе своих ораторских способностей? Нет! Если бы ты отстаивал, скажем, завещание, ты вел бы дело так, что казалось бы, будто судьба всего целиком наследственного права решается на этом процессе; а если бы ты вел дело воина, ты по своему обыкновению вызвал бы свою речью его отца из мертвых, явил бы его нашим очам, и он обнял бы сына и со слезами препоручил бы его центумвирам; ты бы, клянусь, так заставил плакать и рыдать все камни, словно все это, «как нарек язык...»¹³³, написано не в Двенадцати таблицах, которые ты ценишь выше всех библиотек, а в каком-нибудь упражнении, зазубренном в школе. 246.

(58) Далее, ты упрекаешь молодых людей за то, что им скучно изучать эту твою науку. Первым делом ты говоришь, что она легка; ну, об этом пусть скажут те, кто чванится ею, задирая нос, как раз потому, что она считается сложнейшей; да подумай-ка и сам, как же ты ее считаешь легкой, если признаешь, что до сей поры это вовсе еще и не наука, а в будущем станет наукой только тогда, когда кто-нибудь изучит другую науку, чтобы с ее помощью и эту обратить в науку. Затем, говоришь ты, она чрезвычайно увлекательна; ну что ж, тут все охотно уступают тебе такое наслаждение, а сами отлично без него обходятся; и нет такого человека, который, если уж приходится ему что-нибудь заучивать наизусть, не предпочел бы Пакувиева «Тевкра»¹³⁴ Манилиевым правилам совершения купчей¹³⁵. 247.

Затем, ты считаешь, что сама любовь к отечеству требует от нас знакомства с установлениями наших предков; но разве ты не видишь, что старые законы или сами по себе обветшали и устарели, или отменены новыми законами? Наконец, ты убежден, что гражданское право делает людей добродетельными, потому что законами определены награды за добродетели и наказания за пороки; а я так, по правде, полагал, что люди научаются добродетели (если только ей можно разумно научиться) воспитанием и внушением, а не угрозами, насилием и страхом, ибо и без всякого изучения права мы отлично можем знать, сколь прекрасно остерегаться зла. 248.

Для меня одного ты делаешь исключение, позволяешь мне вести судебные дела без всякого знания права. Верно, Красс: я никогда и не изучал права, да и в тех делах, какие мог бы защищать с его помощью, никогда не чувствовал в нем потребности. Ведь одно — это заниматься каким-нибудь делом как ремеслом, другое — быть не тупицей и не простаком в повседневной жизни и в обычных человеческих делах. 249. Кто из нас имеет возможность объезжать свои поля и навещать свои усадьбы, хотя бы ради дохода или ради удовольствия? И тем не менее нет человека настолько слепого и неразумного, чтобы совершенно не иметь понятия о том, что такое посев и жатва, что такое подрезка деревьев и лоз, в какое время года и каким образом все это делается. Неужели, если кому надо осмотреть имение, или поручить что-нибудь по хозяйственной части управляющему, или отдать приказ старосте, то ему приходится изучать сочинение карфагенянина Магона¹³⁶? А не хватит ли нам тут просто здравого смысла? Так почему же и в области гражданского права, особенно когда мы хлопочем по судебным, общественным и другим делам, не довольствоваться нам теми нашими сведениями, каких хватает для того, чтобы не казаться чужаками и пришельцами в своем отечестве? 250. А если нам попадется дело запутаннее, то разве так уж трудно о нем посоветоваться хотя бы с нашим Сцеволой? Впрочем, ведь и сами наши клиенты снабжают нас для своих дел и постановлениями и справками. Когда спор идет о самом наличии факта или о границах без осмотра их на месте, или о денежных счетах и записях, нам поневоле приходится изучать весьма запутанные и сложные вещи; если же нам надо разобраться в законах или мнениях знатоков, смущаться ли нам из-за

того, что мы с юности мало занимались гражданским правом и потому будто бы не в состоянии в этом разобраться?

(59) Так что же, значит ли это, что знание гражданского права для оратора бесполезно? Нет, я не могу отрицать пользы какого-либо знания, особенно для того, чье красноречие должно располагать всем богатством предметов; но оратору и без того приходится одолевать столько великих трудностей, что мне не хотелось бы, чтобы он тратил свои силы на занятия слишком многими предметами. 251. Кто станет отрицать, что оратору в его движениях и осанке требуется мастерство и прелесть Росция? Однако же никто не будет убеждать молодых людей, посвящающих себя ораторскому делу, вырабатывать свою игру, обучаясь ей по актерскому образцу. Что оратору необходимее голоса? Однако я не советую никому из посвятивших себя красноречию заботиться о своем голосе по образцу греческих актеров-трагиков, которые по многу лет декламируют сидя, которые каждый день перед выходом на сцену лежа мало-помалу повышают свой голос, а после игры на сцене садятся и понижают его от самого высокого до самого низкого звучания, как бы таким образом его успокаивая. Если бы мы вздумали это проделывать, то наши подзащитные были бы осуждены раньше, чем мы успели бы возгласить полагающееся число раз все наши пеаны и номіоны¹³⁷. 252. Так вот, если нам нельзя бесконечно вырабатывать даже игру, которая очень помогает оратору, даже голос, который для него главное достояние и опора, и если и в том и в другом мы можем достичь только того, на что нам остается время от нашей повседневной борьбы, то насколько же меньше имеем мы возможности погружаться в изучение гражданского права? В основных чертах с ним можно познакомиться и без пристального изучения; а в отличие от игры и голоса, которыми ни сразу овладеть, ни позаимствовать их откуда-нибудь невозможно, знание права для любого дела может быть почерпнуто хоть сейчас же — как из книг, так и у знатоков. 253. Поэтому-то у греков самые речистые ораторы, отнюдь не будучи знатоками держат при разборе дел у себя опытных стряпчих, называемых, как ты только что сказал, прагматиками. Наши, конечно, поступили тут гораздо лучше, требуя, чтобы законы и постановления находились под защитой ручательства наиболее значительных людей. Но все-таки, если бы греки считали это необходимым, они тоже не упустили бы из виду обучать гражданскому праву

самого оратора, а не давать ему в помощники прагматика. 254.

(60) Кстати, вот ты говоришь, что знание гражданского права спасает стариков от одиночества. Что ж, большие деньги тоже спасают от одиночества; однако мы-то исследуем не то, что нам выгодно, а то, что необходимо оратору. И вот раз уж мы решили для сопоставления с оратором брать во многом одного и того же мастера, то послушайте, что говорит тот же самый Росций: он все время повторяет, что чем старше он будет становиться, тем медленнее постарается он делать напев флейтиста¹³⁸ и тем сдержаннее свой голос. Так если даже он, связанный ритмом размеров и стоп, все же придумывает нечто для отдыха в старости, то насколько легче нам сделать то же с нашей речью: и не только сдержать ее, но и совершенно изменить? 255. Ведь тебе, Красс, не безызвестно, как многочисленны и разнообразны способы произнесения речей; можно даже сказать, что ты первый нам их показываешь, ты, который уже давно говоришь гораздо сдержаннее и спокойнее, чем говорил раньше; и тем не менее это спокойствие твоей в высшей степени выразительной речи производит не меньшее впечатление, чем бывшая ее мощь и напряженность; и мы слышали, что было много ораторов, как, например, знаменитый Сципион и Лелий, которые всего добивались речью не слишком напряженной, никогда не насиловали легких и не кричали, подобно Сервию Гальбе.

Но даже если бы ты не смог или не захотел бы уж и этого делать, неужели ты опасаясь, что дом такого, как ты, мужа и гражданина, будучи покинут сутягами, будет заброшен и всеми остальными? А я так прямо противоположного мнения: я не только не считаю нужным искать на старости лет утешения во множестве приходящих за советами, но мечтаю об одиночестве, как об убежище, хоть оно тебя и страшит. Ибо, по-моему, для старости нет ничего прекраснее покоя. 256.

[*Назначение оратора.*] Что же касается остальных предметов — истории, знакомства с государственным правом, изучения древностей и подбора примеров, — я по мере их пользы и своей надобности позаимствую все это у превосходного человека и знатока, друга моего Конга¹³⁹. И я не стану возражать против твоего совета этим молодым людям — все читать, ко всему прислушиваться, быть знакомым со всеми благородными науками; но, право же, по-моему,

у них не так уж много свободного времени, Красс, на исполнение твоих предписаний, если они и пожелали бы им следовать и осуществлять их; твои законы, мне кажется, уж чересчур строги для их возраста, хотя, пожалуй, и необходимы для достижения того, к чему они стремятся. 257. Ибо и учебные выступления без подготовки на заданные темы, и обдуманно подготовленные рассуждения, и упражнение с пером в руках, которое ты справедливо назвал творцом и наставником красноречия, требуют большого труда; точно так же и сравнение своей речи с чужими сочинениями, и произносимое без подготовки суждение о чужом сочинении в виде похвалы или порицания, одобрения или опровержения требуют немалого напряжения как и для памяти, так и для воспроизведения. 258.

(61) А самое ужасное — и я вправду боюсь, как бы это скорее не отпугнуло людей, чем ободрило — ты ведь пожелал, чтобы каждый из нас был прямо каким-то в своем роде Росцием, и пригрозил, что зрителям свойственно не столько одобрять наши достоинства, сколько придирается к недостаткам. Я, однако, думаю, что придирки эти касаются не столько нас, сколько актеров. 259. Я ведь вижу, что нас, ораторов, часто чрезвычайно внимательно слушают, даже когда мы охрипнем, ибо людей занимает самое существо дела; а вот Эзопа¹⁴⁰, стоит ему хоть чуточку охрипнуть, освистывают. Тем, от которых ничего другого не требуют, кроме удовольствия для слуха, малейшее нарушение этого удовольствия сейчас же ставится в вину; у оратора же в речи одновременно привлекает внимание сразу многое; и если среди этого многого не все совершенно, а лишь главное удачно, то даже и этого достаточно, чтобы вызвать у слушателей неминуемый восторг. 260.

Итак, я возвращаюсь к тому, с чего мы начали. Пусть зовется оратором тот, кто умеет своей речью убеждать: таково ведь и определение Красса. Но пусть этот оратор ограничится повседневными и общественными нуждами сограждан, пусть он отстранится от других занятий, как бы ни были они значительны и почтенны; пусть он, так сказать, денно и ночью усердствует в единственном своем деле, взяв за образец того, кто бесспорно владел самым могучим красноречием — афинянина Демосфена. Ведь это у Демосфена, говорят, было такое рвение и такая работоспособность, что он первым делом преодолел упорным трудом и старанием свои прирожденные недостатки; будучи настолько косноя-

зычен, что не мог произнести первую букву¹⁴¹ названья своей науки, он добился путем упражнений того, что по общему приговору никто не говорил более чисто; затем, так как у него было слишком короткое дыхание, он научился говорить не переводя духа и достиг таких успехов, что, как видно из его сочинений, порой в одном речевом периоде заключались у него по два повышения и понижения голоса¹⁴²; к тому же, как известно, он приучил себя, вложив в рот камешки, произносить во весь голос и не переводя дыхания много стихов подряд, и при этом не стоял на месте, но прохаживался и всходил по крутому подъему. 261. 262.

С такими твоими наставлениями, побуждающими молодых людей к рвению и труду, я совершенно согласен; а все остальное, дорогой мой Красс, что ты набрал из самых разнообразных занятий и наук и изучил самым основательным образом, все-таки не имеет никакого отношения к прямому делу и обязанности оратора.

[Заключение.] (62) На этом Антоний закончил свое рассуждение. Было видно, что Сульпиций и Котта никак не могут решить, кто из обоих собеседников стоит ближе к истине. Тогда Красс сказал: 263.

— Ты, Антоний, изображаешь нам оратора прямо каким-то ремесленником! Я даже подозреваю, что про себя ты держишься совсем другого мнения, а сейчас просто воспользовался своим удивительным умением опровергать противника, в чем тебя никто никогда не превосходил. Умение это — бесспорное достояние оратора, но теперь-то оно уже перешло и к философам и главным образом к тем, у которых в обычае по любому предложенному предмету обстоятельным образом говорить и за и против. 264. Но ведь я полагал, что мне, особенно перед нашими слушателями, следует не только представить, каков может быть завсегда судейских скамеек, не пригодный ни на что, кроме необходимой помощи в судебных делах; нет, я имел в виду нечто большее, когда утверждал, что оратор, особенно в нашем государстве, должен владеть всеми возможными средствами без малейшего исключения. Ты же ограничиваешь все дело оратора какими-то узкими загородками; ну что ж, тем легче тебе будет разъяснить нам цели и правила его искусства.

Однако отложим такой разговор на завтра; а на сегодня хватит и того, что сказано. 265. Сейчас и Сцевола, перед

тем как отправиться в тускуланскую усадьбу, немного отдохнет, пока не спадет жара; да и нам в такую пору это будет полезно для здоровья.

Все с этим согласились. Сцевола же сказал:

— Право, мне жаль, что я уже договорился с Лелием навестить его сегодня в тускуланской усадьбе: я так охотно послушал бы Антония!

И затем, вставая, он произнес с усмешкой:

— Он ведь не столько досадил мне своим разносом нашего гражданского права, сколько доставил удовольствие своим признанием в том, что он его не знает!

КНИГА ВТОРАЯ

1. [Введение.] (1) В детстве нашем, брат Квинт, если помнишь, было сильно укоренено мнение, будто Луций Красс не пошел в науке дальше обычного отроческого начального образования, а Марк Антоний и вовсе был невеждой и неучем, а многие, хотя и подозревали, что дело было не так, все же охотно и во всеуслышанье повторяли подобные слухи об этих ораторах, чтобы легче отпугнуть нас от науки, которой мы так страстно хотели выучиться. Ведь если люди без образования достигали такого высочайшего разумения и такого сверхъестественного красноречия, то напрасным оказывается весь наш труд и нелепою кажется та забота, с которой относился к нашему образованию достойный и разумнейший человек — наш отец. 2. Мы тогда обыкновенно пытались опровергнуть эти наговоры, ссылаясь, как дети¹, на домашних свидетелей: отца, родственника нашего Гая Акулеона и дядю Луция Цицерона, потому что и отец, и Акулеон (за которым была наша тетка²), пользовавшийся исключительным уважением Красса, и дядя, который вместе с Антонием ездил и в Киликию и из Киликии³, часто подробно рассказывали нам о занятиях и об учености Красса. А когда мы вместе с нашими двоюродными братьями, сыновьями Акулеона, обучались тому же, что и Красс, и у тех же наставников, какие были вхожи к Крассу, тогда, бывая у него на дому⁴, мы и сами, хоть и были малы, часто видели и убеждались, что по-гречески Красс говорил так, будто и не знал никакого другого языка, а наставникам нашим он задавал и сам обсуждал в любой беседе такие вопросы, словно не было для него ничего неведомого и чуждого. 3. А об Антонии мы еще от прасе

щеннейшего нашего дяди часто слышали, с какою страстью этот оратор то в Афинах, то на Родосе предавался беседам с учеными людьми; да и сам я в юности, насколько мне позволяла молодость и скромность, о многом часто его расспрашивал. Впрочем, конечно, все это для тебя не новость, потому что ты и раньше слышал от меня, что во многих и разнообразных этих разговорах — по крайней мере о тех науках, о которых я мог как-нибудь судить, — Антоний вовсе не казался ни невеждой, ни неучем. 4.

Правда, между двумя ораторами была и разница: Красс не скрывал, что он учился, но старался показать, что учением этим он не дорожит и что здравый смысл соотечественников во всем ставит выше учености греков; а Антоний полагал, что у такой публики, как наша, его речь встретит больше доверия, если будут думать, что он вовсе никогда не учился. Таким образом, тот и другой считали, что впечатление будет сильнее, если сделать вид, будто первый не ценит греков, а второй — даже и не знает их. 5. Были они правы или нет — об этом, конечно, судить не здесь: здесь же, в этом предпринятом мною сочинении, я хочу лишь показать, что никто никогда не мог достичь ни блеска, ни превосходства в красноречии без науки о речи и, что еще важнее, без всестороннего образования.

(2) В самом деле, ведь почти все другие науки замкнуты каждая в себе самой, а красноречие, то есть искусство говорить толково, складно и красиво, не имеет никакой определенной области, границы которой его бы сковывали. Человек, за него берущийся, должен уметь сказать решительно обо всем, что может встретиться в споре между людьми, иначе пусть он и не посягает на звание оратора. Я не спорю, что и в нашем отечестве, и в самой Греции, где искусство это всегда было в чести, пользовались громкой славой многие ораторы и без высшего всестороннего образования; однако я решительно заявляю, что такое красноречие, какое было у Красса и Антония, невозможно без познания всего, что служило их великой рассудительности и великому словесному богатству. 7. Вот почему я так охотно и взялся описать происходившую однажды между ними беседу об этом: я хочу искоренить привычное представление, будто один из них был не слишком учен, а другой и вовсе не учен; хочу сохранить в записи дивные (на мой взгляд) суждения великих ораторов о красноречии, если только в моих силах будет это проследить и передать;

и хочу, наконец, по мере сил спасти от забвения и безвестия их увядающую уже славу. 8. Ибо, если бы можно было судить о них по собственным их сочинениям, я бы, пожалуй и не счел бы столь необходимым приниматься за эту работу; но так как один из них оставил лишь немного, да и то было написано в юности, а другой и вообще не оставил почти ничего, я счел своим долгом по отношению к мужам столь выдающихся дарований сделать еще и поныне живую память о них бессмертной, если только это окажется мне по силам. 9. И я приступаю к этому с тем большей надеждой на одобрение, что пишу я не о красноречии Сервия Гальбы или Гая Карбона, где мне можно было бы выдумывать все, что угодно, зная, что ничьи воспоминания не могли бы меня уличить; я отдаю это на суд тех, кто сам не раз слушал людей, о которых я говорю; и цель моя — представить двух замечательных мужей перед теми, кто ни того, ни другого из них не видал, согласно памяти живых и здравствующих очевидцев, которым оба эти оратора были знакомы. 10.

(3) Таким образом, дорогой мой и прекрасный брат, я вовсе не собираюсь наставлять тебя какими-нибудь руководствами по риторике, которые ты считаешь такими пошлыми. Разве может что-то быть тоньше и красивее твоей речи? Но хоть ты и избегаешь ораторского поприща, — то ли по убеждению, как ты сам утверждаешь, то ли по застенчивости и какой-то врожденной робости, как писал сам о себе отец красноречия Исократ⁵, то ли потому, что одного-де ритора достаточно не только на одну семью, но даже чуть ли не на целое государство, как ты любишь шутливо говорить, — все же я надеюсь, что ты не отнесешь эти книги к числу тех, над которыми действительно можно издеваться из-за скудости научного образования людей, берущихся в них рассуждать о законах речи. 11. Ведь, как мне кажется, в беседе Красса и Антония не упущено ничего, что может познать и усвоить человек при выдающихся дарованиях, усерднейших занятиях, величайшей учености и огромной опытности; и об этом легче всего судить тебе, пожелавшему усвоить науку и законы речи самостоятельно, а применение ее — при моей помощи.

Но, чтобы скорее выполнить мне ту нелегкую задачу, какую я себе поставил, оставим всякое предуведомление и обратимся к изложению собеседования и спора между нашими двумя героями. 12.

[*Обстоятельства диалога.*] Итак, на другой день после описанной беседы, во втором часу дня⁶, когда Красс был еще в постели и у него сидел Сульпиций, а Антоний прогуливался с Коттой под портиком, к ним неожиданно явился старик Квинт Катул со своим братом Гаем Юлием⁷. Услышав об этом, Красс заволновался и встал; удивились и все остальные, заподозрив, что их приход вызван какой-нибудь особенной причиной. 13. Когда они обменялись, как обычно, самыми дружескими приветствиями —

— Что случилось? — спросил Красс. — Какие у вас новости?

— Да, право, никаких, — сказал Катул, — ты же знаешь, время сейчас праздничное. Ты, конечно, можешь считать наше появление неуместным и докучным, но дело в том, что вчера вечером ко мне в усадьбу зашел из своей усадьбы Цезарь и сказал мне, что встретил идущего от тебя Сцеволу и услышал от него поразительные вещи: будто ты, кого я никогда никакими мыслимыми средствами не мог выманить на спор, подробно рассуждал с Антонием о красноречии и спорил с ним прямо на греческий лад, точно в школе. 14. И вот брат упросил меня пойти сюда вместе с ним: Сцевола, мол, говорил, что добрая часть собеседования отложена на сегодня. А я и сам был не прочь послушать и только, честно говоря, боялся вам досадить. Так вот, если ты считаешь наш поступок назойливым, припиши его Цезарю, если дружественным, то нам обоим. А для нас, если только мы вам не досадили, побывать здесь — одно удовольствие. 15.

(4) — Что бы ни привело вас сюда, — сказал на это Красс, — я всегда рад видеть у себя своих самых дорогих и лучших друзей; но, правду говоря, любая другая причина была бы мне приятнее, чем эта. Сказать по совести, никогда в жизни не был я так недоволен собой, как вчера, и больше всего меня удручает то легкомыслие, с каким я, уступив молодым людям, забыл, что я старик, и сделал то, чего не делал даже в молодые годы: стал спорить о предметах относящихся к области науки. Но все-таки мне повезло хотя бы в том, что вы пришли, когда я уже покончил со своими выступлениями, и будете слушать Антония. 16.

— Ну, что же, Красс, — возразил Цезарь, — а мне так уж хотелось послушать это твое пространное и связное рассуждение, что за неимением лучшего я готов удовольствоваться даже твоей обычной беседой. Поэтому я, право, упрошу тебя уделить также мне и Катулу хоть немного

твоей любезности, чтобы не казалось, будто мой друг Сульпиций или Котта значат для тебя больше, чем я. Если же это не по тебе, приставать к тебе я не буду; я не хочу, чтобы мое поведение показалось тебе неуместным, потому что сам ты всякой неуместности боишься больше всего на свете. 17.

— Верно, Цезарь, — ответил Красс, — из всех латинских слов это слово всегда мне казалось по смыслу особенно важным. Ведь «неуместным»⁸ мы называем человека потому, что поступки его «не у места», и это слово встречается сплошь и рядом в нашем разговорном языке. Кто не считается с обстоятельствами, кто не в меру болтлив, кто хвастлив, кто не считается ни с достоинством, ни с интересами собеседников и вообще кто несуразен и назойлив, про того говорят, что он «неуместен». 18. Этим пороком особенно страдает самый просвещенный народ — греки; но сами греки не признают силу этого зла и потому не дают этому пороку никакого наименования. Ищи где угодно, как греки называют «неуместное», и не найдешь. Однако из всех «неуместностей» (а им нет числа) я не знаю, есть ли большая, чем этот их обычай, где попало и с кем попало затевать изощреннейшие споры по сложнейшим ли или по пустяковым вопросам. А именно этим, несмотря на все наше нежелание и отказы, нам и пришлось заниматься вчера по требованию этих молодых людей. 19.

(5) — Однако, Красс, — возразил на это Катул, — те греки, которые были знамениты и велики в своих городах так же, как ты, да как и мы все хотим быть в нашей республике, нисколько ведь не походили на этих греков, которые жужжат нам в уши; а вместе с тем и они не избегали подобного рода бесед и споров на досуге. 20. Конечно, если тебе кажутся «неуместными» люди, не принимающие во внимание ни время, ни место, ни собеседника, ты совершенно прав; однако неужели тебе не кажется удобным это самое место с этим вот портиком, под которым мы прогуливаемся, и палестрой⁹, и размещенными всюду сиденьями и неужели нисколько не напоминают они тебе о гимназиях и ученых беседах греков? Или разве не благоприятствует нам время при таком длительном досуге, какой выдается нам так редко и так кстати, как теперь? Или мы сами люди, чуждые такого рода собеседований, и это при нашем-то общем убеждении, что без этих занятий нам и жизнь не в жизнь? 21.

— На все это, — сказал Красс, — я смотрю иначе. Прежде всего я уверен, Катул, что и палестру, и скамьи, и портики сами греки придумали для упражнений и развлечений, а не для собеседований. Ведь гимнасии придуманы были за много веков до того, как философы принялись в них за свою болтовню; да и в наше время, когда всеми гимнасиями завладели философы, слушатели их тем не менее охотнее слушают диск, чем философа: стоит диску зазвенеть, как в самой середине речи философа, рассуждающего о самых больших и важных вопросах, все они разбегаются натираться маслом. Таким образом, греки, по их собственному признанию, самое пустяковое развлечение ставят выше самого существенного блага. 22.

А вот в том, что ты говоришь о досуге, я с тобой согласен; только ведь досуг должен приносить не напряжение, а облегчение уму. (б) Я не раз слышал от моего тестя, что его тесть Лелий всегда почти уезжал в деревню вместе со Сципионом и что оба они невероятно ребячились, вырываясь в деревню из Рима, точно из тюрьмы. Я не смел бы говорить этого про таких важных людей, но сам Сцевола любит рассказывать, как они под Кайетой и Лаврентом¹⁰ развлекались, собирая ракушки и камушки, и не стеснялись вволю отдыхать и забавляться. 23. Поистине люди ведут себя, как птицы: для высиживания птенцов и для собственного удобства они выют и устраивают гнезда, но, едва кончив работу, сейчас же для отдыха от трудов принимают порхать туда и сюда, — так же и мы, утомившись делами на форуме и городскими трудами, хотели бы беззаботно и беспечно давать волю полету своих мыслей. 24. И я не кривил душой, когда говорил Сцеволе на процессе по делу Курия: «Сцевола, — говорю, — ведь если ни одно завещание не будет правильным¹¹, кроме тех, какие составишь ты сам, то все мы, граждане, будем сбегаться с табличками прямо к тебе, чтобы всем составлял завещания один ты. И что же тогда получится? — говорю, — когда же ты будешь заниматься государственными делами? когда делами друзей? когда своими собственными? когда же, наконец, никакими?» И еще я прибавил: «Ведь, по-моему, только тот человек вправе зваться свободным, который хоть изредка бывает без дел». Это мое мнение, Катул, непоколебимо; и когда я здесь, то именно это полное и совершенное ничегонеделание доставляет мне наслаждение. 25.

И третий твой довод, что таким-де людям, как вы, и

жизнь не мила без этих занятий, не только не побуждает меня к рассуждениям, но даже от них отпугивает. Ведь еще Гай Луцилий, человек ученый и очень тонкого ума, говаривал, что не хотел бы иметь своими читателями не ученейших мужей, ни неучей потому, что последние ничего бы в его стихах не поняли, а первые поняли бы, пожалуй, больше, чем он сам; по поводу этого он даже написал:

Не по мне¹² читатель Персий...

(а это, как нам известно, был едва ли не самый ученый у нас человек)

...Децим Лелий нужен мне!

(Этого мы тоже признавали человеком почтенным и образованным, но по сравнению с Персием он был ничто.) Так вот и я: если уж рассуждать о наших занятиях, то, конечно, не перед неучами, но еще того меньше перед вами; пусть уж лучше мои слова не понимают, чем оспаривают. 26.

(7) — Честное слово, Катул, — сказал тогда Цезарь, — я вижу, что недаром потрудился прийти сюда, ибо самый этот отказ от обсуждения оказался увлекательнейшим обсуждением, по крайней мере для меня. Но зачем мы задерживаем Антония? Теперь ведь его очередь выступать с рассуждениями о красноречии в целом, и этого уже давно ждут Котта и Сульпиций. 27.

— Нет, — сказал Красс, — я и Антонию не позволю сказать ни слова, да и сам онемею, пока вы не исполните одну мою просьбу.

— Какую? — спросил Катул.

— Остаться здесь на весь день.

И тогда, покуда Катул колебался, потому что обещал быть у брата, Юлий заявил:

— Я отвечу за нас обоих: мы остаемся; и я не уйду, даже если ты не произнесешь ни слова.

Тут и Катул засмеялся и сказал:

— Ну так моим колебаниям положен конец, раз и дома меня не ждут, а спутник мой, к которому мы шли, так легко согласился, даже и не спросив меня. 28.

Тогда все повернулись к Антонию, и он начал:

[Речь Антония: похвала красноречию.] — Слушайте! Слушайте! Ибо вы будете слушать человека, прошедшего школу, просвещенного учителем, а также знающего грече-

скую литературу. И я буду говорить с тем большей самоуверенностью, что меня пришел слушать Катул, которому привыкли уступать не только мы в нашей латинской речи, но даже и сами греки в изяществе и тонкости своего собственного языка. 29. Но так как все красноречие в целом, будь оно искусством или наукой¹³, ничего не стоит без нахальства, то я обучу вас, слушатели мои, тому, чему сам не учился, — своему собственному учению о всякого рода красноречии. 30.

Когда умолк смех, он продолжал:

— Красноречие, по-моему, — это область, в которой способность решает все, а в науке почти ничего. Наука ведь занимается только такими предметами, которые доступны знанию, оратор же имеет дело лишь с личными мнениями, а не со знанием. Ибо мы, во-первых, говорим перед теми, кто знаний не имеет, а во-вторых, говорим о таких предметах, которых сами не знаем. Поэтому как они об одних и тех же вещах в разные времена имеют различные представления и суждения, так и мы часто произносим речи, противоречащие одна другой, и не только в том смысле, чтобы, например, Красс иногда говорил против меня или я против Красса, так что один из нас по необходимости утверждал бы ложное, но также и в том, что каждый из нас об одном и том же предмете утверждает иногда одно, иногда другое; тогда как истина может быть только одна. Поэтому я буду говорить вам о таком красноречии, которое основано на обмане, которое лишь изредка возвышается до истинного знания, которое поддавливает предрассудки и даже заблуждения людей, если только вы думаете, что стоит меня слушать. 31.

(8) — Мы именно так и думаем, — сказал Катул, — тем более что ты, кажется, собираешься говорить без всякого бахвальства. Ты ведь и начал без пышных слов — прямо с действительного существа дела, как ты его понимаешь, а не с какого-то неведомого его величия. 32.

— Однако, — продолжал Антоний, — хоть я и признаю красноречие так таковое наукой не высшего порядка, все же я утверждаю и то, что можно преподать некоторые весьма остроумные правила для руководства умами людей и для подчинения себе их воли. Если такие знания кто-нибудь захочет считать какой-то великой наукой, возражать не буду. Ибо если большинство судебных ораторов на форуме говорят бестолково и бессмысленно, а иные благодаря опыт-

ности или некоторой привычке выступают половчее, то, конечно, всякий, кто задумается, в чем тут дело и почему одни говорят лучше других, тот без труда сумеет это определить. А кто задумается над этим в отношении всей области красноречия, тот и найдет в нем если и не вполне науку, то, во всяком случае, подобие науки. 33. Если бы я только мог эти приемы, как я их видимо вижу на форуме и на судебных защитах, теперь же вам подобрать и раскрыть, каким путем их находить!

Но об этом потом, а теперь я убежденно заявляю: пусть красноречие и не наука, однако ничего нет замечательнее совершенного оратора. Не говоря уже о том красноречии, которому принадлежит власть во всяком мирном и свободном государстве, в самой способности к слову столько привлекательного, что ничто не может быть приятнее для человеческого слуха или ума. 34. В самом деле, какое пение слаще размеренной речи? какие стихи складнее по художественному расположению слов; какой актер, подражающий правде, сравнится с оратором, защищающим ее? А что утонченнее, чем обилие острых мыслей? что восхитительнее, чем блеск слов, освещающий дело? что богаче речи, насыщенной содержанием всякого рода? Нет такого предмета, который, будучи выражен красиво и внушительно, не стал бы достоянием оратора! 35.

(9) Когда решаются важнейшие дела, оратор высказывает свое мнение пространно и с достоинством: вялый народ оживляет, необузданный — укрощает. Оратор способен и преступника привести к гибели, и невинного к спасению. Кто на путь истины наставит пламеннее, кто решительнее отвратит от пороков, кто негодяев обличит беспощаднее, кто прекраснее восхвалит благонамеренных? Кто может с такой силой обличить и сокрушить страсти? Кто нежнее утешит в скорби¹⁴? 36.

А сама история — свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины? Чей голос, кроме голоса оратора, способен ее обессмертить? Ибо если бы какая-то другая наука притязала знать, как создаются или отбираются слова; или если бы о ком-либо, кроме оратора, говорили, что речь его стройна, разнообразна и вся словно расцвечена перлами¹⁵ слов и мыслей; или если бы для нахождения доказательств, мыслей для распределения их и порядка был какой-нибудь путь помимо нашей науки, — тогда пришлось бы признать, что наша наука

притязает на что-то чужое или по крайней мере общее с какой-то другой наукой. 37. Но так как единственно в ней разработаны для всего этого основы и правила, то, стало быть, эти предметы принадлежат ей, даже если люди других наук тоже умеют хорошо говорить. В самом деле, если он с ними знаком (как вчера сказал Красс), так и люди прочих наук говорят о своих предметах с некоторым блеском только в том случае, если они научились чему-нибудь у нашей науки. 38. Ведь если какой-нибудь земледелец будет речисто говорить или писать о сельском хозяйстве, или врач — о болезнях (как писали многие), или живописец — о живописи, то отсюда вовсе не следует, что красноречие принадлежит к его науке; в нем многие люди всякого рода наук кое-чего достигают даже без его изучения, в силу собственного большого дарования. Вообще-то, о том, что принадлежит каждой науке, судят по тому, о чем она учит; однако здесь и без этого совершенно ясно, что все другие науки отлично могут исполнять свое дело и без помощи красноречия, оратор же без красноречия даже называться оратором не вправе. Вот потому-то другие могут, если уж они речисты, заимствовать что-нибудь от него, сам же он, кроме как из собственных средств, ниоткуда словесного богатства добыть не может. 39.

(10) — Хоть и не следовало бы, Антоний, — сказал тогда Катул, — тебя прерывать и мешать ходу твоей речи, ты уж не сердись и прости меня. «Не могу я не воскликнуть», как говорится в «Трех грошах»¹⁶, что показал ты силу оратора прекрасно, а прославил ее, не жалея слов. Да и кому же, как не мужу истинно красноречивому, так великолепно прославлять красноречие; ведь в его устах оно само себя славит. Но продолжай; я ведь тоже согласен, что говорить речисто — это полностью ваше дело, а если кто показывает себя речистым в другой науке, то только за счет вашего добра, а никак не своего собственного. 40.

— А за ночь-то ты, я вижу, смягчился и совсем стал человеком! — добавил Красс. — А то во вчерашней беседе ты изобразил нам оратора прямо каким-то «каторжником или крючником»¹⁷, как говорит Цецилий, будто это не образованный и воспитанный человек, а поденщик, кроме своего ремесла ничего не смыслящий.

— Да ведь вчера, — сказал на это Антоний, — нужно мне было только одно: опровергнуть тебя и сманить у тебя вот этих твоих учеников; а сегодня, когда мои слушатели —

Катул и Цезарь, я думаю, что могу не столько сражаться с тобой, сколько высказывать свое настоящее мнение. 41.

[Область красноречия и роды речей.] Так вот, нам надо представить себе того оратора, о ком мы говорим, на форуме и перед глазами граждан; поэтому подумаем, какое дать ему занятие и какие предписать ему обязанности. Потому что вчера, когда вас, Катул и Цезарь, здесь не было, Красс нам дал лишь краткий и такой же, как у большинства греков, разбор нашей науки и изложил, разумеется, не свое мнение, а только то, что говорят они. Есть, говорил он, два главных рода вопросов, которыми занимается красноречие, — один отвлеченный, другой определенный. 42. Под отвлеченным, насколько я понял, разумеется такой, какой ставится в общей форме, например: «Надо ли добиваться красноречия? надо ли добиваться почетных должностей?» Под определенным — такой, какой ставится относительно отдельных лиц и точно установленных случаев; примерами их служат те, выяснением которых занимаются на форуме и при гражданских делах и разбирательствах. 43. Этого рода вопросы ставятся, по-моему, во-первых, при выступлении в суде и, во-вторых, при выступлении на совете. Есть и третий род речи, отмеченный Крассом и присоединенный, как слышно, самим Аристотелем¹⁸, превосходно все это разъяснившим; однако он все-таки не столь необходим, даже когда в нем бывает надобность.

— Это какой же? — спросил Катул. — Хвалесбные речи? Их ведь и относят к третьему роду. 44.

(11) — Вот именно, — сказал Антоний, — и речью этого рода, я знаю, очень наслаждались и я, и все присутствующие, когда ты восхвалял вашу мать Попилию — женщину, которой едва ли не впервые у нас воздали такой общественный почет¹⁹. Но не все, о чем мы говорим, следует, по-моему, подводить под научные правила. 45. Конечно, и хвалесбную речь можно питать из тех же источников, откуда черпаются все правила речи, но не надо искать для нее тех начальных истин, каким нечего и учить; кому же может быть не известно, что в человеке следует восхвалять? Надо только взять за основу слова Красса в начале его известной речи, произнесенной против его товарища по цензуре²⁰: «Я могу спокойно терпеть превосходство других над собою в том, что даровано людям природой или судьбой; но в том, чего люди способны достичь сами, я превосходства над собою не потерплю». 46. И вот,

если кто будет кого-нибудь восхвалять, он будет помнить, что на первое место ему следует выдвигать именно дары судьбы: родовитость, деньги, друзей, близких, могущество, здоровье, красоту, силы, дарование и все остальные телесные или внешние достоинства. Если у восхваляемого это было, следует сказать, что он хорошо этим пользовался; ежели не было — что он мудро без этого обходился; если утратил — не горевал; и лишь после этого упомянуть, в каких своих делах и поступках он выказывал мудрость, благородство, отвагу, справедливость, великодушие, благочестие, благодарность, кротость или, наконец, какие-либо иные добродетели. Все это и этому подобное легко усмотрит тот, кто пожелает восхвалять, а кто хулить — противоположное. 47.

— Так почему же, — сказал Катул, — ты не решаешься сделать этот род третьим, раз это само собою напрашивается? Ведь не потому же, что он легче, его надо скинуть со счета.

— Потому, — отвечал Антоний, — что я не желаю всякий пустяк, с которым приходится иметь дело оратору, представлять так, будто ни о чем он не может говорить без своих особых правил. 48. Часто, например, нам приходится давать и показания, порой даже очень подробные, как, например, мне — против Секста Тития²¹, гражданина беспокойного и мятежного; в этих показаниях я должен был разъяснить все меры, которыми я в свое консульство защищал республику против этого народного трибуна, и доложить о всех его действиях, какие я считал направленными во вред республике; меня задержали надолго, я многое выслушал, многое сказал в ответ. Так неужели же требуется при обучении правилам красноречия давать какие-то научные предписания и о даче таких показаний? 49.

(12) — Нет, — сказал Катул, — конечно, не требуется.

— Ну, а если приходится докладывать поручения или от полководца к сенату, или же от сената либо полководцу, либо царю, либо какому-нибудь народу? Это случается делать самым высокопоставленным лицам, и речь здесь нужна очень обдуманная, но значит ли это, что такие доклады тоже нужно считать частью красноречия или сочинять для них особые правила?

— Конечно, нет, — сказал Катул, — ведь человеку речистому и в таких случаях не изменит его способность, изощренная другими делами и случаями. 50.

— Так вот, — заключил Антоний, — есть много случаев, которые требуют хорошей речи и которые поэтому являются достоянием оратора, как я и сказал в моей похвале красноречию. Ни в какой раздел красноречия они не входят, никаких особых правил не имеют и все же требуют выступлений не менее речистых, чем при судебных делах с их порицаниями, увещеваниями и утешениями; без отборнейшего убранства речи здесь нигде не обойтись, но в особых научных предписаниях тут нужды нет.

— Совершенно с тобой согласен, — сказал Катул.

— А скажи, пожалуйста, — спросил тогда Антоний, — какого уровня оратором и мастером слова, по-твоему, надо быть, чтобы писать историю? 51.

[Отмежевание от истории.] — Если так писать, как писали греки, то самого высшего уровня, — сказал Катул, — если же как наши историки, то и вовсе незачем быть оратором: достаточно не врать.

— А все-таки, — сказал Антоний, — не очень-то презирай наших: когда-то и греки писывали так же, как наш Катон, Пиктор и Пизон²². 52. Ведь история была не чем иным, как летописным сводом, который сохранял для общества память о событиях; и для того-то от начала Рима вплоть до понтифика Публия Муция великий понтифик вел запись всех событий по годам, заносил ее на белую скрижаль и выставлял в своем доме для ознакомления с ней народа; эти записи и поныне называются Великой Летописью²³. 53. Подобного способа письма держались многие; они оставили только лишние всяких украшений памятки о датах, людях, местах и событиях. Каковы у греков были Ферекид, Гелланик, Акусилай²⁴ и очень многие другие, таковы наши Катон, Пиктор, Пизон; они не знают, чем украшается речь (эти украшения явились у нас лишь недавно), они хотят лишь быть понятными и единственным достоинством речи считают краткость. 54. Только славный Антипатр, друг нашего Красса, поднялся несколько выше и придал истории более возвышенный тон, а все остальные писали не художественную историю, а простой рассказ о событиях.

(13) — Да, так оно и есть, как ты говоришь, — сказал Катул. — Притом даже этот самый Целий не умел ни украсить историю разнообразием мыслей, ни отгладить рассказ стройностью слов и плавной мерностью речи; человек неученый и к ораторству не способный, он обтесал свое

сочинение попросту, как смог. И все-таки ты прав: он превзошел своих предшественников. 55.

— Это и не удивительно, — сказал Антоний. — Ведь история до сих пор еще не выступила на свет в нашей литературе. Наши соотечественники занимаются красноречием только затем, чтобы блистать на форуме и в суде, тогда как у греков самые красноречивые люди, отстранившись от судебных выступлений, посвятили себя иным достойным делам, в особенности же сочинению истории. Ведь и сам Геродот²⁵, который первый сделал историю художественной, вовсе не занимался, как известно, судебными делами; а между тем красноречие его таково, что даже мне, поскольку мне доступны сочинения, написанные по-гречески, он доставляет большое наслаждение. 56. А после него мастерством слова всех, по-моему мнению, легко превзошел Фукидид; содержанием он так богат и насыщен, что мыслей у него не меньше, чем слов; а слог его так складен и сжат, что даже не знаешь, что чему придает блеск; речь предмету или мысли словам. А между тем, как известно, и он, хотя и занимался государственными делами, был не из тех, кто говорит в судах; и самое-то свое сочинение он, говорят, написал, будучи отстранен от государственных дел и приговорен к изгнанию²⁶ — обычная судьба каждого достойного человека. 57. Последователем его был Филист Сиракузский²⁷, ближайший друг тирана Дионисия: он посвящал свой досуг сочинению истории и старался, на мой взгляд, как можно ближе подражать Фукидиду. А впоследствии двое одареннейших риторов²⁸ из славнейшей, так сказать, кузницы красноречия, оба посвятили себя истории по настоянию их учителя, Исократа; а за судебные дела они никогда и не брались. 58. (14) Наконец, появились историки даже из числа философов: первым был Ксенофонт²⁹, известный последователь Сократа, а за ним — Каллисфен³⁰, ученик Аристотеля и спутник Александра. Последний писал уже почти как ритор, тогда как слог его предшественника звучит мягче, без ораторского напора; в нем, пожалуй, меньше силы, но зато, по-моему, больше приятности. Самым младшим из них и самым образованным, насколько я могу судить, был Тимей³¹, отличаясь в своих сочинениях замечательным богатством содержания, разнообразием мыслей и отделанной стройностью слога; красноречие он внес в литературу немалое, однако судебного опыта — никакого. 59.

— Каково, Катул? — сказал Цезарь, когда Антоний высказался. — Где же те, которые говорят, будто Антоний не знает по-гречески? Скольких историков он назвал! Как умно, как метко сказал он о каждом из них!

— Клянусь честью, удивительно! — сказал Катул. — Но зато уже не удивительно другое, чему я раньше дивился гораздо более: как это Антоний, если он всего этого не знает, может с таким совершенством говорить?

— А между тем, Катул, — сказал Антоний, — я вовсе не домогаюсь тут какой-нибудь пользы для своей речи, а просто привык читать на досуге этих и некоторых других писателей для своего удовольствия. 60. Ну и все-таки, по правде сказать, не без пользы; вот ведь когда я прохаживаюсь на солнце, то я загораю, хотя бы прохаживался и вовсе не для того; так и тут, когда я под Мизеном³² (в Риме-то редко удастся) примусь опять за чтение этих книг, то я чувствую, что от соприкосновения с ними моя речь точно приобретает цвет. Но не подумайте, что это мне слишком доступно: я понимаю у греков только то, что они пожелали написать общепонятным языком. 61. А если я когда попадаю на ваших философов, соблазнившись названиями их книг, которые, казалось бы, говорят о вещах известных и очевидных — о доблести, о справедливости, о чести, о наслаждении, — я почти ни слова не понимаю; так они запутаны мелочными и бессвязными рассуждениями. К поэтам я уж и не при- трагиваюсь — они и вовсе говорят будто на каком-то другом языке. Мне приятно бывает, как я сказал, только с теми, которые записывали минувшие события или собственные речи, или же с теми, которые говорят так, что явно хотят приноровиться к нам, людям не очень-то образованным. Но к делу! 62.

(15) Какую, по-вашему, задачу ставит для оратора история? Пожалуй, прежде всего — плавность и разнообразие речи. Но по этой части ведь даже нет никаких особых риторических правил: они и без этого очевидны. Кому же не известно, что первый закон истории — ни под каким видом не допускать лжи; затем — ни в коем случае не бояться правды; не допускать ни тени пристрастия, ни тени злобы. Эти основы, разумеется, известны всем; а саму постройку на этих основах образуют содержание и изложение. Характер содержания требует держаться последовательности времени и давать картину обстановки; кроме

того, так как в рассказе о великих и достопамятных событиях читатель хочет узнать сначала о замыслах, затем действиях и, наконец, об их исходе, то необходимо, говоря о замыслах, дать понять, что в них писатель одобряет; говоря о действиях — показать не только что, но и как было сделано или сказано; говоря об исходе событий — раскрыть все его причины, будь то случайность, или благоразумие, или безрассудство; наконец, говоря о людях, — не только перечислить их подвиги, но и сказать о жизни и характере каждого, кто отличился и прославился. 64. А характер изложения и слог должен быть ровным, плавным, со спокойной размеренностью, без всякой судебной резкости и без всяких ядовитых словечек, обычных на форуме. Так вот, по всем этим многочисленным и важным вопросам неужели вы найдете хоть какие-нибудь указания в учебниках по риторике? 65.

[Отмежевание от общих вопросов.] Да и многое другое, что входит в обязанности ораторов, — наставления, утешения, предписания, увещания — точно так же обойдено молчанием и не находит никакого места в известных нам руководствах, несмотря на то, что все это требует в высшей степени речистых выступлений. То же можно сказать и об огромной области неопределенных вопросов. Красс уже показал, что оратору обычно предлагаются два рода речей: один — по делам точно определенным, каковые имеют место при тяжбах и совещаниях (если угодно, можно добавить: и при восхвалениях); а другой, едва ли не всеми упоминаемый, но никем не объясняемый, это вопросы неопределенного рода, вне времени и лиц. Так вот, по-моему, говоря о последнем, ученые и сами не понимают, что это за род и какова его область. 66. Ведь если дело оратора — уметь рассуждать по любому неопределенно поставленному вопросу, то ему придется рассуждать и о величине солнца и о виде земли; даже от рассуждений о математике или музыке он не сможет отказаться, приняв такое бремя; да и вообще ни от какого рода речи уклониться не сможет тот, кто берется говорить не только по тем спорным вопросам, в каких указаны время и лица, то есть по вопросам судебного порядка, но и по всякого рода неопределенным вопросам. 67.

(16) Если же мы все-таки хотим навязать оратору еще и эту расплывчатую, слишком общую и широкую часть вопросов, полагая, что он должен уметь говорить о добре

и зле, о том, к чему надо стремиться и чего избегать, о достойном и позорном, о полезном и бесполезном, о доблести, о справедливости, о сдержанности, о рассудительности, о великодушии, о щедрости, о благочестии, о дружбе, о верности, о долге и о прочих добродетелях и противоположных им пороках, а равно и о государстве, о власти, о военном деле, о государственном устройстве, о людских нравах, — ну что ж, присоединим и эту часть, но только ограничим ее благоразумными пределами. 68. Я, конечно, согласен, что оратор должен разбираться во всем, что касается гражданских обычаев и людских нравов, во всем, что относится к повседневной жизни, к государственному устройству, к общественным порядкам, к общепринятым понятиям, к природным свойствам и нравам; однако не в такой степени, чтобы он мог ответить на каждый вопрос в отдельности так, как это делают философы, а лишь настолько, чтобы он был в состоянии рассудительно вплести свои ответы в разбирательство дела; и он должен говорить об этих предметах так же, как говорили основоположники права, законов и государств: просто, ясно, без долгих рассуждений и без пустого словопрения. 69.

А чтобы не показалось странным, что по всем этим важнейшим предметам я не даю никаких предписаний, я вот что скажу. В каждом искусстве достаточно научить самому трудному — и тогда учить всему остальному нет нужды, так как остальное будет легче, или по крайней мере не трудней. Например, в живописи тот, кто научился писать человеческую фигуру, может и без дальнейшего обучения написать человека любого облика и любого возраста; и не надо опасаться, что человек, умеющий отлично писать льва или быка, не сумеет так же изобразить многих других четвероногих; да и вообще нет никакой науки, все возможности которой указывались бы учителем, ибо всякий, кто усвоил ее общие законы в самых главных и основных проявлениях, всего остального прекрасно достигнет и сам. 70. Так же, я считаю, обстоит дело и с нашим красноречием, будь оно наукой или навыком: кто достиг такой силы, что может по своему произволу управлять мыслями слушателей, во власти которых решать или дела государственные, или дела его собственные, или дела его подзащитных и противников, тому и во всякого рода прочих речах придется задумываться над своими словами не более, чем Поликлету³³ над статуей Геркулеса³⁴ приходилось задумываться о

том, как изваять шкуру или гидру, хотя бы делать их в отдельности он никогда и не учился. 71.

(17) — Блестяще, по-моему, и с полной очевидностью, Антоний, — сказал тут Катул, — ты показал, чему должен учиться будущий оратор и что именно может он подбирать из того, чему научился, для того, чему он даже и не учился. Ты ведь назначил человеку в науку всего лишь два рода дел, а о несметном множестве прочих оставил его судить по навыку и сходству. Но смотри, как бы в этих двух родах не оказались у тебя только шкура и гидра, а Геркулес и другие, более важные работы не остались среди того, чем ты пренебрегаешь. Потому что, по-моему рассуждать о всякого рода отвлеченных предметах не менее трудно, чем о частных делах, и уж, во всяком случае, говорить о природе богов куда труднее, чем разбираться в людских тяжбах. 72.

— Нет, это не так, — отвечал Антоний. — Говорю это тебе, Катул, не как ученый, но как человек опытный, что гораздо важнее. Во всех остальных случаях ораторское слово есть не более чем детская игра для человека неглупого, развитого упражнением и нечуждого литературных знаний и изящного воспитания. И только в судебных прениях это поистине великая и едва ли не величайшая из всех человеческих работ. Там единственная мера ораторского достоинства в глазах несведущих — конечная победа; там перед тобою вооруженный противник, которого нужно и разить и отражать; там зачастую тот, кому предстоит решать дело, неблагоприятен и гневен или даже друг твоему противнику и враг тебе; и вот тогда-то ты должен со своим словом убедить его или разубедить, успокоить или взволновать и вообще всеми способами настроить сообразно с обстоятельствами дела, обращая в нем иной раз даже дружбу в ненависть и ненависть в дружбу; ты должен как бы при помощи какой-нибудь механики то напрячь его душу до строгости, то расслабить до снисхождения, пробудить в нем то грусть, то радость; должен пускать в дело всю тяжесть мыслей, всю вескость слов. 73. К этому должно присоединиться исполнение, разнообразием не допускающее утомления, неудержимо увлекающее, полное огня, полное уверенности, полное естественности. И если кто в этих занятиях дойдет до такого мастерства, что сумеет изваять Минерву Фидия³⁵, тот, разумеется, не будет ломать голову над тем, как сработать мелочи на ее щите. 74.

[Критика риторических разделений.] (18) — Чем больше ты превозносишь и расхваливаешь такое красноречие, — сказал на это Катул, — тем сильнее я жажду узнать: каким же способом и по каким предписаниям достигается такая его мощь. Не для меня это важно, — ведь мне уже и не по годам стремиться к этому, да и красноречие наше было несколько иным; я никогда не вырывал из рук судей решений силою речи, а предпочитал склонять их к милосердию и принимать от них столько, сколько сами они давали, — но мне все же хотелось бы познакомиться с твоим учением вовсе не для собственных надобностей, а просто из любознательности. 75. И не надо мне никакого ученого грека, чтобы он бубнил мне всем известные и переизвестные предписания, хоть сам никогда и в глаза не видел ни суда, ни форума. Таков, говорят, был и пресловутый перипатетик Формион. Рассказывают, что когда Ганнибал, удаленный из Карфагена, прибыл изгнанником к Антиоху в Эфес, то друзья, у которых Ганнибал гостил, зная о всемирной славе его имени, предложили ему, если угодно, послушать этого моего философа. Ганнибал не отказался; и вот, говорят, этот неистощимый оратор несколько часов подряд рассуждал перед ним об обязанностях полководца и вообще о военном деле. Прочие слушатели были в восторге от чтения и расспрашивали Ганнибала, какого он мнения об этом философе. На это карфагенянин не особенно изящным греческим языком, но зато вполне откровенно отвечал, что видывал он много сумасшедших стариков, но такого сумасшедшего, как Формион³⁶, не встречал ни разу. 76. И, клянусь, он был прав! В самом деле, что может быть нахальнее болтовни, в которой какой-то грек, никогда не видавший ни врага, ни лагеря, никогда не исполнявший даже самой ничтожной общественной должности, смеет учить военному делу самого Ганнибала, который в продолжение стольких лет оспаривал власть у победителя всех племен — римского народа? Так вот, то же самое, по-моему, делают и все эти преподаватели красноречия: они учат других тому, чего не испытали сами. Смягчает их вину, быть может, лишь то, чего они пытаются учить не такого Ганнибала, как ты, а детей или подростков. 77.

(19) — Ошибаешься, Катул, — возразил Антоний, — мне тоже не раз приходилось наталкиваться на таких Формионов. Разве кто-нибудь из греков поверит, будто наш брат и сам способен что-то понять? Впрочем, мне-то, по-

жалуй, не в тягость, я их всех довольно легко и терплю, и переношу: ведь иной раз их слушаешь — и услышишь что-нибудь занятное, а иной раз слушаешь — и перестанешь жалеть о собственном невежестве. Пожалуй, оттого и хлопот у меня с ними больше, что я не отвергаю их презрительно, как Ганнибал твоего философа. Но тем не менее их учение, насколько я могу судить, совершенно смехотворно. 78. В самом деле: всю науку о слове они разделяют на две части — на дела и на вопросы. Делом они называют предмет спора и тяжбы между сторонами, а вопросом — предмет неопределенный и отвлеченный. О делах они дают нам предписания, о другой же части ораторской науки хранят удивительное молчание. 79. А затем они как бы расчленяют красноречие на пять разделов³⁷: найти, что сказать, найденное расположить, потом украсить словами, затем закрепить в памяти и, наконец, исполнить и произнести. Вот и весь секрет. Но кто же, спрашивается, и без того не понимает, что невозможно говорить, прежде чем не сообразишь и не запомнишь, о чем надо говорить, и в каких словах, и в каком порядке. То же самое относится и к разделению всякой речи на четыре, пять, шесть или даже семь частей (ибо каждый ритор делит по-своему) — я не говорю, что это неверно, а говорю, что это и так самоочевидно. 80. Например, во вступлении они требуют добиться расположения слушателя, вдумчивости и внимательности; затем изложение надо строить так, чтобы оно было правдоподобным, ясным и кратким; потом сделать разделение или постановку вопроса; потом подтвердить свою точку зрения доводами и доказательствами, а доводы противника опровергнуть. После этого одни помещают концовку и как бы заключение речи, другие же требуют перед этим сделать отступление для украшения или усиления речи, а затем уже переходить к заключению и концовке. 81. Я тут ни с чем не спорю: все здесь распределено стройно, но вместе с тем (как это неизбежно случается с людьми далекими от жизни) без знания дела. Ведь все, что они предписывают только для вступления и изложения, должно быть соблюдаемо во всей речи в целом. 82. В самом деле, расположить к себе судью мне легче будет уже в ходе речи, чем в начале, пока он еще обо всем не слышал; вдумчивым его легко сделать не тогда, как я лишь обещаю представить доказательства, но когда я их действительно привожу и разъясняю; ну, а внимания мы добьемся от судей, только

если будем беспрерывно тревожить их мысль в течение всей речи, а никак не вступительными своими заявлениями. 83. Далее, о том, что изложение должно быть правдоподобным, ясным и кратким, они говорят совершенно справедливо; но, приписывая эти свойства прежде всего изложению, а не речи в целом, они, на мой взгляд, совсем не правы.

Заблуждение их, конечно, коренится в том, что они считают свою науку такую же, как все остальные, и полагают, что ее можно привести в систему таким же способом, как, например, гражданское право, о чем вчера говорил Красс: сначала разложить все предметы по родам, не пропуская ни единого; затем, в каждом роде — по видам, причем не дай бог, если окажется хоть одним видом больше или меньше, чем нужно; и, наконец, всем словам дать определения, в которых все должно быть необходимым и достаточным. 84. (20) Что ж, быть может, в гражданском праве или в каких-нибудь второстепенных и третьестепенных предметах люди ученые этого и могут достигнуть; однако в нашей столь важной и столь необъятной области это вряд ли возможно. Если кто со мной не согласен, пусть обращается к преподавателям, которые берутся всему этому учить: там он получит все уже истолкованным и начисто отделанным, потому что по этим предметам существуют бесчисленные книги, легко доступные и понятные. Однако пусть он сперва подумает, что ему нужно: оружие для ученья или оружие для сраженья? Ведь для строя и боя потребно одно, а для школы и Марсова поля³⁸ — другое. Конечно, и такие упражнения с оружием все же полезны гладиатору и воину; но только твердость, присутствие духа, проницательность и находчивость делают мужей непобедимыми. 85.

[Дарование оратора.] Поэтому, чтобы воспитать оратора, я прежде всего постараюсь узнать в точности, на что он способен. Пусть в нем чувствуется налет научного образования, пусть он будет в меру наслышан и начитан, пусть усвоит даже эти правила риториков; тогда-то я попробую, насколько он подходит для своего дела, тогда испытаю, на что способен его голос, силы, дыхание, язык. И если я обнаружу, что он способен достигнуть совершенства, и если увижу, что человек он достойный³⁹, то я не только убеждать стану, но даже умолять, чтобы он работал и далее; столь великое украшение всему обществу полагаю я в выдающемся ораторе, если он в то же время и достойный человек. Если

же будет оказываться что, исполнив все возможное, он все-таки достигнет лишь посредственности, то я предоставляю ему поступать как хочет и насиловать его не стану. Если, наконец, он будет совсем неподходящ и негоден, то я прямо ему посоветую не вступать на это поприще или даже выбрать себе другое. 86. Ибо человека высокодаровитого мы всегда должны поддерживать, а человека хоть сколько-нибудь способного не должны отпугивать. Первое, то есть совершенство, представляется мне свойством прямо-таки божественным; второе, то есть не браться за то, что не можешь сделать лучше всех, и браться за то, что можешь сделать не хуже всех, — это обычный удел человека; ну а третье, то есть кричать сверх сил и вопреки приличию, это значит — как ты, Катул, выразился об одном крикуне — скликать собственною глоткой сколь можно более свидетелей своего неразумия. 87.

Итак, можно сказать: человеку даровитому, который заслуживает поддержки и помощи, мы передадим только то, чему научил нас опыт, дабы он под нашим руководством достиг всего, чего мы сами достигли без руководителя; а лучше этого обучить мы не в состоянии. 88.

(21) И для начала я возьму вот нашего друга. Я, Катул, впервые услышал Сульпиция, когда он, еще совсем подростком, выступал по пустячному делу. И его голос, и наружность, и осанка, и все остальное вполне соответствовали тому призванию, о котором мы толкуем; речь его была живой и стремительной — в этом сказывалось его дарование; слог был кипучим и, пожалуй, чересчур словообильным — тут сказывался его возраст. Я не против этого: такое излишество в молодом человеке меня радует. Ибо легче обрезать лозу, когда она чересчур разрастется, чем, ухаживая за слабым стволом, отращивать на нем новые ветки; точно так же и в юноше меня радует, коль у него есть откуда кое-что урезать: не может долго быть сочным то, что чересчур быстро достигло зрелости. 89. Я сразу заметил в юноше талант и тут же, не теряя времени, убедил его считать форум подготовительной школой, а себе подобрать учителя; мой совет: Луция Красса. Он за это ухватился, решил так и сделать да еще добавил — из вежливости, разумеется, — что и я буду его учителем. Не прошло и года после этих моих уговоров, как он выступил обвинителем Гая Норбана⁴⁰, защитником которого был я. Прямо не поверишь, какую я увидел разницу между тем, каким

он стал, и каким был год тому назад. Конечно, к такому великолепию и блестящему роду речи, напоминавшей самого Красса, приводила его сама его природа; но одной ее помощи было бы недостаточно, если бы он так старательно не подражал Крассу и не стремился за ним, по собственным его словам, и умом и сердцем. 90.

[Необходимость образца.] (22) Итак, вот первое мое предписание: надо указать образец для подражания, и пусть начинающий всеми силами стремится уловить все лучшее, что есть в этом образце. За этим пусть последует упражнение, в коем он должен с точностью воспроизводить подражанием избранный образец, — не так, однако, как я видел не раз у многих подражателей, которые стараются перенять то, что полегче, да то, что поприметней, будь то хотя бы недостатком. 91. Ничего нет легче, как подражать кому-либо в одежде, осанке, движении. Но если сверх того перенять какой-нибудь недостаток, да еще гордиться этим, то в таком подражании мало толку. Таков вот Фуфий, который даже теперь, сорвав голос, беснуется у нас в политике: он перенимает у Фимбрии не мощность речи, каковая, что ни говори, у Фимбрии⁴¹ есть, а только его манеру разевать рот и растягивать слова. Так он и образец выбрать себе не сумел, которому лучше всего было бы ему следовать, да и в том, кого избрал, подражает лишь порокам. 92. А кто будет поступать как следует, прежде всего должен быть очень осмотрителен при выборе, а затем должен всеми силами стремиться достичь самого лучшего, что есть в избранном им образце.

А как вы думаете, разве не поэтому каждое поколение выдвигает свой собственный стиль красноречия? Правда, по нашим ораторам об этом не легко судить, так как они не очень-то много оставили писаний, по которым можно было бы составить суждение; но вот по сочинениям греков отлично можно видеть, каков в каждом поколении был закон и идеал красноречия. 93.

Самые, пожалуй, ранние ораторы, от которых по крайней мере сохранились сочинения, — это Перикл⁴² с Алкивиадом и принадлежащий к тому же поколению Фукидид: тонкие, острые, краткие, изобилующие больше мыслями, чем словами. Такое единство стиля никак не могло получиться случайно: не иначе как все они ставили себе кого-либо за образец. За ними последовали Критий, Ферамен⁴³ и Лисий: от Лисия сочинений осталось много, от Крития — несколько,

а о Ферамене мы знаем только понаслышке. Все они еще сохраняли сочность Перикла, хотя вся ткань их речи была пышнее. 94. Но вот является Исократ, наставник всех своих современников. Из его школы, точно из Троянского коня, вышли сплошь одни герои⁴⁴; но одни из них предпочли блистать в параде, другие — в битве. (23) Однако и первые, все эти Феопомны, Эфоры, Филисты, Навкраты⁴⁵ и многие другие, при всем различии их дарований и стремлений были сходны между собою и со своим учителем; да и вторые, посвятившие себя судебной деятельности, как Демосфен, Гиперид, Ликург, Эсхин, Динарх⁴⁶ и немало других, при всем их различии между собою, обнаруживали тем не менее общее стремление к естественности. 95. Пока им продолжали следовать, до тех пор и этого рода красноречие и рвение к нему были живы. Но после того как они все угасли и память о них мало-помалу затуманилась и заглохла, расцвели другие роды речи, изнеженные и расслабленные. Тут-то и появился Демохар⁴⁷, сын, как говорят, сестры Демосфена, а потом и знаменитый Деметрий Фалерский⁴⁸, чей слог, по-моему, лощеней всех, а там и другие им подобные. И если мы вздумаем все это проследить вплоть до нашего времени, то увидим, что и нынче образцом для всей Азии служат Менекл из Алабанды⁴⁹ и его брат Гиерокл, которых обоих я слушал. Так вот и всегда находился кто-нибудь, на которого многие старались быть похожи. 96.

Итак, кто хочет путем подражания достичь такого сходства, тот должен добиваться его непрерывными и усиленными упражнениями, причем главным образом — письменными. Если бы так делал наш Сульпиций, речь его была бы гораздо более сжатой; а то теперь в ней иногда, как говорят сельские хозяева о слишком частых всходах, есть некоторая чрезмерная загущенность, которую надо прорезать пером. 97.

— Да, — сказал Сульпиций, — совет твой правильный, и за это я тебе очень благодарен; но сам-то ты, Антоний, как будто не так уж много писал?

— Так что же? — отвечал Антоний. — Словно мне уж и нельзя советовать другим то, чего я сам не делаю? Но ведь иные думают, что я и счетных книг не веду! Однако там — по-моему хозяйству, а тут — по моим речам, каковы бы они там ни были, легко дознаться, что я делаю и чего не делаю. 98. Правда, надо признать: есть многие, которые никому не подражают, ни на кого не стараются походить,

и все же достигают желаемого собственными силами. По справедливости это можно сказать и о вас, Цезарь и Котта: один из вас достиг небывалой, по крайней мере у нас, прелести и шутливости, другой овладел остроумнейшим и тончайшим родом речи. Да и ваш сверстник, Курион⁵⁰, отец которого, на мой взгляд, был едва ли не самым красноречивым из своих современников, никому, по-моему, особенно не подражал, но благодаря вескости, изысканности и словесному богатству придал своей речи как бы особый вид и образ. Об этом я могу судить главным образом по тому делу, по которому он выступал против меня у центумвиров в защиту братьев Коссов⁵¹: у него было все, что должен иметь оратор, богатый не только словами, но и мыслями. 99.

[Изучение дела и выявление спорного пункта.] (24) Но подведем наконец образуемого нами оратора к настоящим судебным делам, а именно к таким, которые потруднее, — к искам и тяжбам. И тут я дам совет, над которым, может быть, кто и посмеется: он не хитрый, однако необходимый, и я даю его скорее как здравый советчик, чем как ученый наставник. Так вот, прежде всего оратор должен, какие бы дела он ни взялся вести, тщательно и основательно в них разобраться. 100. В школе такое предписание не дается; детям ведь предлагаются дела легкие: «Закон воспрещает чужестранцу всходить на стену; он взошел, отразил неприятелей; его обвиняют». Разобраться в подобном деле не стоит труда, поэтому незачем и давать предписания для его изучения. (Вот на такой-то образец и даются дела в школе.) Но вот на форуме документы, свидетельства, договоры, соглашения, обязательства, родство, свойство, указы магистратов, заключения правоведов, вся жизнь, наконец, тех, чье дело разбирается, — и все это должно быть разобрано; мы видим, что из-за небрежного ко всему этому отношения бывает проиграно множество дел, и главным образом частных, которые обычно особенно запутанны. 101. Ведь некоторые из желания показать, будто они завалены работой и вынуждены носиться по форуму от дела к делу, берутся выступать по делам, вовсе с ними не ознакомившись. Тут возмутительна, пожалуй, и небрежность, с какой они берутся за дело, и предательское легкомыслие, с каким они его ведут. Если угодно, первое даже хуже, потому что никто без знакомства с предметом не может говорить о нем иначе, чем самым постыднейшим образом. Так, презирая упреки

в лени, которые действительно позорны, они навлекают упреки в тупоумии, которых сами еще больше боятся. 102.

Вот я всегда и стараюсь требовать, чтобы каждый излагал мне свое дело сам и чтобы никого другого при этом не было, — так он будет говорить откровеннее; и я защищаю перед ним дело его противника, чтобы он сам защищал свое и без утайки высказывал все свои соображения на этот счет. Поэтому, когда он уйдет, я могу с полным спокойствием выступить за трех лиц — за себя, за противника и за судью. Тот довод, в котором больше помощи, чем вреда, я намечаю привести; где я нахожу больше зла, чем блага, то я целиком отвергаю и отбрасываю. 103. Так мне и удастся сначала обдумать, что мне сказать, а потом уж и сказать; а большинство, полагаясь на свои дарования, и то и другое делают одновременно. А ведь, несомненно, они сказали бы гораздо лучше, если бы сочли нужным сначала обдумать, а потом уже говорить. 104.

Когда я полностью изучу все обстоятельства дела, я сейчас же соображаю, какой в нем вопрос спорный. Ибо идет ли спор между людьми по делу уголовному, как о преступлении; либо по гражданскому, как о наследстве; либо по совещательному, как о войне; либо по личному, как о похвале; либо по ученому, как о смысле жизни, — ни в одном случае он не обходится без вопроса или о том, «что сделано, делается и будет сделано», или «каково сделанное», или «как его назвать». 105.

(25) И почти во всех наших делах, во всяком случае уголовных, защита состоит по большей части в отрицании сделанного. Ибо и в делах о лихоимстве, самых крупных, надо почти все отрицать; и в делах о подкупе — редко бывают данные, по которым можно было бы отличить щедрость и радушие от подкупа и взятки; а в делах об убийствах, об отравлениях, о хищениях отрицание вины и подавно необходимо. Вот это и есть первый род вопросов: при этом в судах спор идет о том, что было сделано в прошлом, а в совещаниях — по большей части о будущем и лишь изредка о настоящем или о прошлом. 106.

Далее часто спрашивается не о том, было дело или нет, но о том, каково оно; так, когда в моем присутствии консул Гай Карбон защищал перед народом Луция Оппимия⁹³, то отнюдь не отрицал самого убийства Гая Гракха, но говорил, что оно совершенно законно и на благо родине; а когда этот же Карбон, будучи еще народным трибуном, в политике

вел себя совсем по-иному и даже выступил с запросом о Тиберии Гракхе, то сам Публий Африкан ответил, что, по его мнению, Тиберий был убит вполне законно. Так и все дела такого рода защищаются как законные, чтобы казалось, будто они были или нужны, или допустимы, или необходимы, или же совершены по неосмотрительности либо случайно. 107.

Наконец, спрашивается и о том, как назвать сделанное дело: это бывает, когда спорят, какими словами что следует определить. Таков был у меня самого ожесточенный спор с нашим Сульпицием по делу Норбана. Хотя я и признавал большую часть обвинений, однако же отвергал обвинение его в умалении³⁴ величия; и от толкования этого слова в законе Апулея³⁴ зависело все дело. 108. В такого рода делах некоторые предписывают и той и другой стороне кратко определить то слово, в котором заключается сущность дела. Но это, по-моему, уже совсем по-детски. Другое дело, когда определением слов занимаются ученые люди, рассуждая о тех же самых предметах, но с научной точки зрения: например, когда обсуждается вопрос, что такое наука, что такое закон, что такое общество. В этих случаях научный метод предписывает выразить сущность определяемого предмета так, чтобы не было ничего ни упущенного, ни излишнего. 109. А этого в упомянутом деле ни Сульпиций не сделал, да и я не попытался сделать. Вместо этого каждый из нас по мере сил только разглагольствовал чрезвычайно многословно о том, что такое «умаление величия». Оно и понятно: во-первых, такие определения легко вырвать у нас из рук, придравшись к одному какому-нибудь слову, недостающему или излишнему; во-вторых, от них так и пахнет ребяческими школьными упражнениями; наконец, они просто не доходят до ума и слуха судьи и ускользают от него прежде, чем будут им усвоены. 110.

(26) К вопросам, где спор идет о том, каково сделанное дело, относятся и нередкие тяжбы из-за толкования написанного в документе. Здесь спор может идти только о двусмысленности. В самом деле, когда налицо расхождение буквы документа со смыслом, это само по себе есть своего рода двусмысленность; чтобы ее разъяснить, нужно дополнить недостающие слова и после этого добавления можно утверждать, что смысл документа ясен. А когда налицо противоречие между двумя документами, то и это не будет новым случаем спора, а будет та же самая двусмысленность,

лишь повторенная два раза. И такое противоречие будет или вовсе не разрешимо, или разрешимо тем же самым способом: нужно будет дополнить защищаемый документ пропущенными словами. Вот так и получается, что все дела о спорном толковании документа сводятся к одному и тому же: к двусмысленности написания. 111. А так как видов двусмысленности много (на мой взгляд, в них лучше всего разбираются так называемые «диалектики»⁵⁵ и совершенно не разбираются наши риторы, хотя и для них это столь же необходимо), то и во всякой устной или письменной речи сплошь и рядом что-нибудь оказывается спорным из-за пропуска одного или нескольких слов. 112. И опять-таки будет ошибкой выделять споры о толковании документа из споров о том, каково сделанное дело. Нигде ведь так не доискиваются до сути сделанного дела, как в споре о документе; и, напротив, вопрос «было дело или нет» — не имеет к этому никакого отношения. 113.

Итак, существует только три рода вопросов, могущих быть предметом разбирательства и прений: «что сделано, делается или будет сделано», или «каково сделанное», или «как его назвать». Некоторые греки добавляют еще вопрос «законно ли сделанное»; но это лишь частный случай вопроса «каково сделанное». (27) Пора, однако, возвратиться к начатому. 114.

[*Три задачи красноречия. 1. Доказать.*] Итак, разобравшись в деле и поняв, какого оно рода, я принимаюсь за его разработку. Прежде всего я решаю, на чем следует мне сосредоточиться в той части речи, которая относится к расследованию и суду. А затем я тщательнейшим образом обдумываю две другие вещи: во-первых, как достичь расположения к себе и к подзащитным; во-вторых, как обратить мысли слушателей в желательном для меня направлении. 115. Таким образом, все построение убедительной речи основывается на трех вещах: доказать правоту того, что мы защищаем; расположить к себе тех, перед кем мы выступаем; направить их мысли в нужную для дела сторону. 116.

Для доказательства оратор располагает средствами двоякого рода. Первое состоит не в том, что придумывает оратор, а в том, что он планомерно извлекает из самого дела: это документы, свидетельства, договоры, соглашения, показания, законы, постановления сената, судебные решения, указы, заключения правоведов и все остальное, что не сам оратор измышляет, а что доставляют ему содержание

дела и его участники. Второе же средство всецело заключается в рассуждениях и доказательствах самого оратора. 117. Соответственно в первом случае следует обдумать, как рассматривать доказательства, а во втором — как их подбирать. Обычно преподаватели разбивают дела на множество отдельных родов и громоздят целые кучи доказательств для каждого рода порознь. Пожалуй, это и удобно для обучения начинающих, чтобы они, едва столкнувшись с делом, сразу имели бы, куда обратиться и откуда почерпнуть готовые доказательства; однако гоняться за ручейками и не видеть самого родника — это свойство недалекого ума, а нам, по нашему возрасту и опытности, следует черпать что нужно из первоисточника и примечать, откуда он вытекает. 118.

Доказательства первого рода, то есть те, какие предоставляет оратору само дело, нам надо будет непременно обдумывать так, чтоб и впредь они были полезны в подобных случаях. Ибо за документы и против документов, за свидетельства и против свидетельств, за показания и против показаний и так же обо всех того же рода вещах мы обычно говорим двояко: либо отвлеченно, в общем и целом, либо определенно, применительно к отдельным обстоятельствам, лицам и делам. Вот эти-то источники доказательств — это я вам говорю, Котта и Сульпиций! — вы должны всесторонне рассмотреть и обдумать, чтобы всегда иметь в наличии и наготове. 119. Слишком долго было бы теперь объяснять, каким образом следует подтверждать или опровергать свидетельства, документы и показания. Все это требует не большого ума, но огромного навыка; а наука и предписания нужны здесь лишь настолько, насколько нужно все это украшать обычными словесными блестками. 120. Точно так же и в доказательствах другого рода, зависящих целиком от самого оратора, не надобно хитрой выдумки, а нужно лишь более блестящее и отделанное изложение. Вот так и получается, что для судебных выступлений нам нужно позаботиться о двух вещах: во-первых, о том, что говорить, во-вторых, о том, как говорить. При этом первое хоть и кажется предметом науки, однако нуждается в ней мало: чтобы понять, что надо говорить, достаточно заурядного здравого смысла. Зато второе — умение все, что нужно, сказать красиво, обстоятельно и разнообразно — более всего и служит признаком божественной силы и дарования оратора. 121.

(28) Вот о первой из этих двух частей я и готов вам рассказать связно и до самого конца, раз уж вы так хотите (а насколько мне это удастся, решите сами): из каких источников должна направляться наша речь, чтобы стать убедительной, к ее тройной цели, то есть, к тому, чтобы и расположить к себе, и наставить, и взволновать людей. А каким образом все это потом разукрасить, об этом может всем нам рассказать тот, кто перед вами: он впервые ввел это у нас в обычай, он это довел до совершенства, он лишь один это одолел. 122. Послушай, Катул, что я скажу, не боясь подозрения в лести. Я думаю, что в наше время нет ни одного хоть сколько-нибудь блестящего оратора, греческого или латинского, которого я бы не слушал часто и с вниманием. И если я хоть чего-нибудь стою (а я, видимо, могу на это надеяться, раз уж вы, с вашим умом так внимательно меня слушаете), то это потому, что любая речь любого оратора, какую я слышал, оставалась у меня в памяти навсегда. Так вот поэтому, каков бы я ни был и как бы ни судил, я без малейшего сомнения так утверждаю и заявляю: из всех ораторов, которых я слушал, решительно никто не обладает столькими и такими превосходными средствами речи, какими обладает Красс! 123. По этой причине, если и вы с этим согласны, не будет, я уверен, несправедливым такое разделение труда: того оратора, какого теперь я начал для вас вымышлять, я создам, вскормлю и закалю³⁶, а там передам его Крассу, чтобы он его одел и снарядил. 124.

— Нет, Антоний, ты уж продолжай, как начал, — возразил на это Красс. — Ведь это не дело, чтобы достойный и благородный родитель не одел и не снарядил своего сына и воспитанника, особенно раз ты не можешь отрицать своего богатства. Неужели не достаёт ни снаряжения, ни силы, ни сердца, ни величия тому оратору, который, заключая речь, не усомнился поднять ответчика, бывшего консула³⁷, рвануть на нем тунику и показать судьям рубцы от ран на груди маститого полководца? Который к тому же, защищая одного человека, мятежного и неистового, от обвинений вот этого нашего Сульпиция, не усомнился возвеличить самые мятежи и показать со всей решительностью, что многие народные волнения часто бывают непротивозаконными, раз их никто не в состоянии предотвратить; что многие мятежи бывали часто даже на пользу обществу, как при изгнании царей, как при установлении власти трибунов;

и, наконец, что упомянутый мятеж Норбана из-за скорби граждан и из-за негодования на Цепиона, потерявшего войско, не мог быть подавлен и разгорелся вполне справедливо. 125. Разве можно пользоваться такими обоюдоострыми, такими неслыханными, такими скользкими, такими невиданными приемами, не имея какой-то прямо невероятной силы и дара слова! Что мне упоминать скорбные слова о Гнее Манлии, о Квинте Рече³⁸? Что говорить о бесчисленных других речах, в которых обнаруживалось во всем обществе не только твое общепризнанное остроумие, но и все то, что было у тебя выдающегося и превосходного и что ты хочешь теперь переложить на меня! 126.

(29) — А меня, по правде говоря, — сказал тогда Катул, — всегда особенно восхищает, когда при всей несхожести вашего красноречия каждый из вас говорит так, что ясно видишь: ни природа ему ни в чем не отказала, ни ученость ни на что не поскупилась. Поэтому, Красс, ты не откажешь в любезности изложить нам то, что, может быть, случайно или нарочно пропущено Антонием; а если ты, Антоний, о чем-нибудь не скажешь, мы будем уверены, что ты умолчал об этом не по неумению, а потому, что ты предпочел услышать об этом от Красса. 127.

— Только ты, Антоний, — сказал Красс, — пожалуй, уж не говори о том, что никому здесь не надобно: из каких источников почерпается все, что нужно для судебных речей. Хотя ты и рассуждаешь об этом прекрасно и по-новому, но все-таки предмет это не трудный и правила его общеизвестны. А лучше открой нам, откуда берется все то, чем ты сам пользуешься так часто и всегда божественно? 128.

— Конечно, открою! — отвечал Антоний. — Я не откажу тебе ни в какой твоей просьбе, лишь бы добиться от тебя исполнения моей. Так вот, я уже говорил, что мой способ речи и способность ее произносить, которую так хвалил перед вами Красс, основаны на трех устоях: во-первых, привлечь слушателей, во-вторых, наставить их, в-третьих, возбудить. Первое требует мягкости речи, второе — осуждения, третье — силы. 129. Ибо тот, от кого мы ждем решения в свою пользу, должен быть или привлечен к нам благожелательностью, или убежден доказательствами за нас, или же побужден душевным движением. Но так как вся эта, с позволения сказать, наука целиком заключается в самом ее первом разделе, — о том, как излагать и защищать самое существо дела, — то придется сначала

сказать и об этом. Правда, лишь немного: ведь только немного, как кажется, довелось мне испытать на опыте и словно запечатлеть в душе. 130.

[Разработка доводов.] (30) А твоему мудрому совету, Красс, я охотно последую: оставим в стороне защиты по отдельным делам, которые обычно преподают учителя мальчишкам, и вскроем те родники, откуда исходят все умозаключения для всякого дела и речи. Ведь не каждый раз, когда мы пишем слово, нам приходится подбирать его по буквам, и не каждый раз, когда ведется дело, должны мы ворошить предназначенные для него доказательства. Нет, нам надо иметь всегда наготове такие источники, откуда требуемые доказательства, как буквы для слова, появились бы сразу сами собой. 131. Но эти источники доказательств могут быть полезны только такому оратору, который достаточно искушен в судебных делах, или по опыту, который приходит с годами, или по наблюдениям и размышлениям, которые при усердии и тщательности даже опережают возраст. Будь человек сколько угодно образован, сколько угодно тонок и остер в суждениях, как угодно легок на язык, но если он не знаком с обычаями общества, прецедентами установления, нравами и стремлениями своих сограждан, то не много принесут ему пользы те источники, из коих добываются доказательства: Талант мне нужен обработанный, как поле, не один раз вспаханное, но передвоенное и перетроенное⁵⁹, дабы тем лучше и тем крупнее были его плоды; а обработка таланта — это опыт, это привычка слушать, читать, писать. 132.

И прежде всего обучаемый должен разглядеть существо дела, а оно всегда доступно взору: то ли разбирается, «было дело или нет», то ли «каково сделанное», то ли «как его назвать». А когда это выяснено, врожденный здравый смысл без всяких этих школярских выкладок тут же подскажет, в чем состоит дело, то есть вокруг чего идет спор и что выносится на суд. Учителя здесь требуют ставить вопрос так: «Опимий убил Гракха. В чем состоит дело? В том, что он ради блага государства и согласно постановлению сената призвал людей к оружию. Отбрось это — дела не будет. Но Деций утверждает, что само это постановление противозаконно. Итак, суд должен решить, противозаконно или нет действие, предпринятое ради спасения государства и согласно постановлению сената». Все это и без того ясно и доступно самому заурядному здравому смыслу. Вместо этого

надо постараться найти иное: те доводы относительно спорного пункта, какие должны привести и обвинитель и защитник. 133.

(31) Вот здесь и следует обратить внимание на величайшее заблуждение этих учителей, которым мы поручаем своих детей, — не потому, что это имеет какое-нибудь особенное отношение к речи, но для того, чтобы показать вам, как тупы и неотесанны те, кто считают себя образованными людьми. Различая способы речи, они выделяют два рода дел: к одному они относят тот, где вопрос обсуждается в общем и целом, независимо от лиц и обстоятельств; к другому — тот, где вопрос ограничен известными лицами и обстоятельствами. Они не подозревают, что все, без исключения, спорные вопросы по природе их и существу могут быть рассмотрены в общем и целом. 134. Например, в том самом деле, о котором я сейчас говорил, ни личность Опимия, ни личность Деция не имеет отношения к источникам доказательств оратора. Ставится отвлеченный вопрос: «Считать ли заслуживающим наказания того, кто убил гражданина согласно постановлению сената и ради спасения государства, хотя по законам это недопустимо?» Одним словом, нет ни одного дела, в котором расследование обсуждаемого вопроса определялось бы личностью ответчиков, а не общим разбором такого рода случаев. 135.

Даже в таких случаях, где спор идет о том, было дело или нет, например «взял ли Деций деньги противозаконно»⁶⁰, доказательства и обвинения и защиты должны быть сводимы к общему роду и существу таких случаев; при обвинении растратчика — к расточительству; корыстолюбца — к алчности; мятежника — к беспокойству и злонамеренности граждан; при обвинении многими — к характеристам свидетелей; и обратно, все, что будет говорить в защиту ответчика, также будет непременно возводиться от частного случая и лица к общего рода обстоятельствам и понятиям. 136. Я допускаю, что человеку, не способному быстро охватить все, что заложено в предмете, представляются очень многочисленными спорные вопросы типа «было дело или нет»; но тем не менее бесчисленны только частные случаи обвинения и защиты, общие же источники доказательств для них далеко не бесконечны. 137.

(32) Когда же спор идет не о том, было дело или нет, а о том, каково оно, то и тут если перечислять дела по ответчикам, то они будут и бесчисленны и темны, если же

по предметам, они будут и вполне исчислимы и ясны. Ибо если в деле Манцина главное — сам Манцин, то сколько бы раз ни был отвергнут тот, кого выдал священный посол, столько же раз возникало бы новое дело. Если же дело состоит в решении вопроса: «Может ли быть восстановлен в правах при возвращении на родину тот, кто был выдан священным послом, но не был принят?», то личность Манцина не имеет никакого отношения ни к науке слова, ни к доказательствам защиты. 138. А если сверх того дело осложняется достоинством или порочностью человека, то это уже не относится к вопросу; но даже и об этом речь тоже непременно должна восходить к рассуждениям общего рода.

Я рассуждаю об этом вовсе не с целью изобличения ученых мужей, хотя они и заслуживают порицания за то, что в своих распределениях относят такого рода дела к тем, которые определяются лицами и обстоятельствами. 139. Ибо хотя обстоятельства и лица сюда и вклиниваются, однако надо понимать, что дела зависят не от них, но от характера общего вопроса. Впрочем, это меня нисколько не касается; ведь нам совершенно нечего препираться с этими людьми. Достаточно понять, что они не достигли и того, чего могли бы добиться при таком своем досуге даже и без нашей судебной опытности, то есть разделения предметов по родам и хоть сколько-нибудь отчетливого их истолкования. 140. Но это, повторяю, меня нисколько не касается. Касается же меня (а еще гораздо больше вас, Котта и Сульпиций!) вот что. Если взять их науку как есть, то приходишь в ужас от множества особых дел, которых и не перечтешь, коли располагать их по лицам: сколько людей, столько и дел. Если же все их свести к общим вопросам, то они будут настолько ограниченны и немногочисленны, что внимательные, памятные и чуткие ораторы без труда будут держать их в уме, чтобы не сказать — на языке. Вы не думайте, что Красса ознакомил со своим делом Маний Курий и что только поэтому Красс привел столько доказательств права Курия на наследство Копония, хотя у того и не было сына, родившегося после смерти отца. 141. Ни для запаса доказательств, ни для сущности и природы дела никакого значения не имела личность Копония или Курия; все разбирательство было основано на предмете и данных общего рода, а не на обстоятельствах и личностях. Раз в завещании стоит: «Если у меня родится сын и он умрет раньше...» и

так далее, «тогда моим наследником пусть будет такой-то», — то, если сын не родился, является ли наследником тот, кто был назначен наследником в случае смерти сына? Вопрос общего характера, опирающийся на незыблемый закон, нуждается не в именах людей, но в упорядоченной речи и в источниках доказательств. 142.

[Отношение к правоведению.] (33) И здесь опять эти правоведы нас сбивают и отпугивают от учения. Я ведь вижу, что в сочинениях Катона и Брута⁶¹ указывается чуть ли не поименно, какой кому, мужчине или женщине, они дали правовой совет; как видно, они хотят внушить нам, будто предметом совещания или разбора каждый раз являются люди, а не дело, чтобы мы, раз число людей бесчисленно, обессилели над такими занятиями правом и потеряли всякую охоту и надежду его изучить и постичь. Но это когда-нибудь нам изложит и распутает Красс, обобщив все по порядку. Да будет тебе известно, Катул, что вчера он обещал нам свести к определенным родам и привести в легкий для изучения порядок все гражданское право, которое в настоящее время разрознено и не объединено. 143.

— И правда, — сказал Катул, — это совсем не затруднительно для Красса; все, что можно изучить в области права, он изучил, а чего не знали даже его наставники, то привнес сам, чтобы все содержание права можно было искусно упорядочить и красиво объяснить.

— Отлично, — сказал Антоний, — этому мы поучимся у Красса, когда он оставит весь этот шум и пересядет, о чем он мечтает, с судейских скамеек на спокойное кресло. 144.

— Я тоже, — сказал Катул, — частенько слышал, как он говорил о своем решении отстраниться от судебных дел; но всегда я ему говорю, что это у него не получится. Ведь и ему самому будет невыносимо, когда достойные люди будут тщательно упрашивать его о помощи, да и общество этого не потерпит; если умолкнет голос Луция Красса, оно решит, что у него отняли лучшую драгоценность.

— Честное слово, — воскликнул Антоний, — если Катул говорит правду, то уж давай вместе со мной тянуть лямку на одной мукомольне, а всякие там Сцеволы и другие блаженные люди пускай себе на покое занимаются их сонным и дремотным мудрованием! 145.

— Ладно уж, Антоний, — сказал, улыбнувшись, Красс, — ты взялся ткать, ты и кончай свою ткань; а для

меня это сонное мудрование, когда найду я в нем прибежище, будет лучшим залогом свободы.

(34) — Так вот, — сказал Антоний, — ткарь моя такова. Мы поняли, что во всяком предмете обсуждения главным будет не бесчисленное множество лиц и не бесконечное разнообразие обстоятельств, но общие роды дел и их свойств, а таких общих родов не только не много, но даже очень мало. Вот это и есть материал для любой речи; им-то и должен овладеть всякий, кто стремится к красноречию; и из этого материала он выведет, расставит и украсит всевозможные доказательства, как вещественные, так и логические. 146. А эти доказательства уже собственной своей силой породят слова: по-моему, слова всегда кажутся красивы, когда видно, что они вытекают из самой сути дела. И по правде говоря, на мой взгляд (ибо я могу отстаивать только свои собственные мысли и мнения), это понятие об общих родах дел и есть то снаряжение, с которым мы должны приходить на форум. Тогда не придется выслушивать все подробности дела, чтобы подыскать источники доказательств, ведь такие доказательства у каждого сколько-нибудь сообразительного человека при небольшом старании и опыте всегда наготове и под рукой; а главное внимание надо будет направить на те начала и источники доказательств, о которых я так часто говорил и из которых можно почерпнуть все потребное для всякой речи. 147. И все это в целом — предмет ли это науки, или наблюдательности, или навыка — состоит в знакомстве с теми областями, в которых ты охотишься и преследуешь свою добычу. Когда ты мысленно охватишь все это место, тогда, если только ты понаторел в таких вещах, ничто от тебя не ускользнет и все, что ты ищешь, встретится и попадется.

(35) Таким образом, для нахождения содержания оратору необходимы три вещи: проницательность, затем разумение (или, коль угодно так назвать, наука) и, в-третьих, усердие. На первое место я, разумеется, должен поставить дарование, но ведь и самое дарование побуждается к деятельности усердием — усердием, повторяю, которое как повсюду, так и в защите дел имеет наибольшую силу. 148. Его нам особенно надо развивать, его всегда надо применять, нет ничего, с чем бы оно не справилось. Чтобы углубленно познать дело, как я прежде всего сказал, надобно усердие; чтобы внимательно выслушать противника, чтобы уловить не только его мысли, но и все его слова и даже все выражения

его лица, которые обычно показывают ход мыслей, надобно усердие. 149. Однако, чтобы себя при этом не выдать и чтобы противник не увидел тут какой-нибудь для себя выгоды, надобно благоразумие. Затем, чтобы постоянно иметь в виду те источники доказательств, о которых я расскажу немного погодя, чтобы глубоко вникнуть в дело, чтобы старательно и неослабно его обдумывать, надобно усердие; и чтобы при этом все озарялось, так сказать, светочем памяти, голоса и силы выражений, опять-таки надобно усердие. 150. И вот между дарованием и усердием совсем немного места остается науке. Наука указывает только, где искать и где находится то, что ты стремишься найти; остальное достигается старанием, вниманием, обдумыванием, бдительностью, настойчивостью, трудом, то есть, чтобы сказать одним словом, все тем же усердием — вот достоинство, в котором заключены все остальные достоинства. 151. Разве мы не видим, как изобильна и обстоятельна речь философов, которые, я полагаю (но тебе, Катул, это виднее), не приписывают никаких правил речи и тем не менее берутся рассуждать о любом предмете и говорят о нем изобильно и обстоятельно. 152.

[Отношение к философии.] (36) — Да, — сказал Катул, — ты верно говоришь, Антоний: большинство философов не предлагают никаких правил речи, и тем не менее у них наготове все то, что надо сказать о любом предмете. Но тот самый Аристотель, которым я так восхищаюсь, установил несколько источников, из которых можно извлечь основание всякого доказательства⁶² не только для философского прения, но и для нашего, судебного. И ты, Антоний, в твоей речи уже давно следуешь, не отклоняясь, прямо по стопам этого философа — то ли из-за сходства твоего ума с его божественным дарованием, то ли потому, что ты читал и изучал его сочинения, что мне кажется гораздо вероятнее. Я ведь вижу, что ты занимался греческой литературой усерднее, чем мы предполагали. 153.

— Скажу тебе всю правду, Катул, — отвечал Антоний. — Я всегда был убежден, что в нашем обществе будет более приятен и вызовет более к себе доверия такой оратор, который будет обнаруживать как можно менее искусства и вовсе никакой греческой учености. Однако же, с другой стороны, я счел бы себя бессловесным скотом, а не человеком, если бы не прислушался к этим грекам, которые ухватывают, присваивают, обсуждают столь важные вопро-

сы и даже обещают открыть людям способ и видеть предметы самые сокровенные, и жить хорошо, и говорить обстоятельно. Если и не всякий решится слушать их открыто, дабы не ронять себя в глазах сограждан, то все-таки можно, подслушивая, ловить их слова и издали внимать тому, что они проповедуют. Так я и поступил, Катул, и слегка отведаль торго, как все они ведут дела и на какие роды их разделяют. 154.

(37) — Честное слово, — сказал Катул, ты со слишком уж большой опаской, точно к какой-то скале Сирен⁶³, обратился к философии; а ведь ею никогда не пренебрегало наше общество. Некогда Италия была набита пифагорейцами, во власти которых находилась так называемая Великая Греция; поэтому некоторые даже утверждают, что пифагорейцем был и наш царь Нума Помпилий⁶⁴, который жил на много лет раньше самого Пифагора и которого должно считать даже еще более замечательным уже потому, что он постиг мудрость устройства государства почти на два столетия раньше, чем греки догадались о ее существовании. И, конечно, наше государство не породило никого более славного, более влиятельного, более высоко просвещенного, чем Публий Африкан, Гай Лелий и Луций Фурий⁶⁵, которые всегда открыто общались с образованнейшими людьми из Греции. 155. Я и сам не раз от них слышал, как рады были и они и многие другие первые лица нашего общества, когда афиняне по важнейшим своим делам отправили в сенат послами знаменитейших философов того времени — Карнеада, Критолая и Диогена⁶⁶ — и пока послы были в Риме, и сами эти мужи, да и многие другие были постоянными их слушателями. Поэтому, Антоний, я прямо изумляюсь, почему ты, имея таких свидетелей, все-таки объявляешь настоящую войну философии, как какой-нибудь пакувиевский Зет⁶⁷. 156.

— И не думаю! — сказал Антоний. — Просто я решил, как Неоптолем у Энния⁶⁸, что «философствовать помалу, не помногу надобно!».

Но вот что я думаю и вот что хотел сказать: я не против этих занятий, если знать в них меру; но считаю, что для оратора невыгодно, когда судьи догадываются об этих его занятиях и подозревают его в искусственных приемах, — это подрывает и уважение к оратору и доверие к его речи. 157.

(38) Но чтобы вернуться к тому, от чего уклонилась

наша речь, то известно ли тебе, что один из трех прославленных философов, о прибытии которых в Рим ты упомянул, а именно Диоген, сам объявлял, что учит людей науке правильно рассуждать и различать истину и ложь — науке, которую он называл греческим словом «диалектика»? Однако в этой науке, если только это наука, нет ни одного указания, как находить истину, но говорится только о том, каким образом вести рассуждение. 158. Ибо каждое наше положительное или отрицательное суждение, если оно выражено простым предложением, диалектики берутся определить как истинное или ложное, а если оно выражено предложением сложным и обстоятельством, они определяют, правильно ли оговорены обстоятельства и соответствует ли истине вывод каждого умозаключения; в конце концов они сами запутываются в своих тонкостях и в погоне за многим или приходят к тому, чего уже сами не способны распутать, или даже и то, что они уже начали было ткать и выткали, снова оказывается распушенным⁶⁹. 159. Итак, твой стоик здесь нам ничем не помогает, потому что он не учит нас, как находить то, что нужно сказать; больше того, он нам даже мешает, так как приводит нас к таким положениям, которые сам признает неразрешимыми, и так как предлагает нам род речи не ясный, не льющийся и плавный, но скудный, сухой, рубленый и дробный. Если кто и одобрит этот род речи, то одобрит его не для оратора! Оратору он заведомо не годится: ведь наше-то слово должно доходить до ушей толпы, должно пленять и увлекать сердца, должно предлагать такие доказательства, которые взвешиваются не на весах золотых дел мастера, а как бы на рыночном безмене. 160. Поэтому мы целиком отвергаем всю эту науку, чересчур немую при выдумывании доказательств и чересчур болтливую при их обсуждении.

А вот твой Критолай, который, как ты упоминал, прибыл вместе с Диогеном, я думаю, мог бы больше принести пользы нашему теперешнему занятию. Он ведь был последователем твоего Аристотеля, от положений которого, потвоему, я и не очень отклоняюсь. А из Аристотеля я читал и ту книгу, в которой он изложил, что писали о науке слова его предшественники, читал и те книги⁷⁰, в которых он сам высказался об этой науке; поэтому я вижу, чем отличается он от нынешних записных наставников красноречия: Аристотель и на науку слова, которую он считал ниже себя, взглянул с той же проницательностью, с какою

он прозрел сущность всего существующего; а вторые, взявшись возделывать одно лишь это поле и ограничив себя разработкой одной лишь этой отрасли, обнаружили меньше ясности мысли, но больше опытности и старания. 161.

Наконец, Карнеад с его прямо-таки непостижимой мощью и разнообразием речи должен быть для нас желанным образцом: ведь не было случая, чтобы он в знаменитых своих рассуждениях отстаивал дело — и не убедил, оспаривал дело — и не опроверг. А это даже больше, чем требования тех, которые этот предмет пресподают и ему обучают. 162.

[Разработка доводов: окончание.] (39) — Если бы мне нужно было подготовить к ораторской деятельности человека совершенно неразвитого, то я без спора бы вверил его этим неутомимым наставникам, которые день и ночь без перерыва бьют в одну и ту же наковальню, которые, как кормилицы детям, все вкладывают прямо в рот, раскрошивши на малейшие кусочки и мелко-намелко разжевавши. Но если бы я имел дело с человеком, уже получившим достойное образование, не лишенным опытности и от природы способным и сообразительным, то я прямо поместил бы его не в какую-нибудь стоячую водицу, а к самому истоку мощно рвущейся реки — к тому наставнику, который бы разом указал, пояснил, определил ему все места, где гнездятся любые доводы. 163.

Может ли что-нибудь затруднить человека, если он понял, что все средства, служащие в речи для утверждения и опровержения, берутся или из самой сущности дела, или со стороны? Из сущности дела, когда берется предмет в целом, или часть его, или название его, или что угодно к нему относящиеся; со стороны, когда подбирается то, что вне предмета, и не связано с существом его. 164. Если предмет берется в целом, то его общий смысл должен быть раскрыт в определении, например, так: «Если величие есть достоинство и честь государства, его умалил тот, кто предал войско врагам римского народа, а не тот, кто сделавшего это предал власти римского народа». 165. Если берется часть предмета, то смысл раскрывается с помощью разделения, например так: «Для блага республики надо было или повиноваться сенату, или учредить другой законодательный совет, или действовать по своему усмотрению; учреждать другой совет было бы высокомерно, действовать по своему усмотрению — дерзко; поэтому надо было следовать реше-

нию сената». Если берется название предмета, то надо рассуждать, как Карбон: «Если консул⁷¹ есть советник, дающий советы отечеству, то что, как не это, сделал Опиций!» 166. Если же берется что-то еще относящееся к предмету, то кладезей и источников доказательств здесь будет великое множество. Ибо мы будем подыскивать и подходящие случаи. и родовые, и видовые, и сходные, и отличные, и противоположные, и соотносительные, и соответственные, и как бы предшествующие, и противоречащие, исследуем причинную связь вещей и возникающие из причин следствия, будем подыскивать примеры и более важные, и равноценные, и менее важные. 167.

(40) Из подходящих случаев выводятся доказательства по такому образцу: «Если благочестие заслуживает величайшей похвалы, вы должны быть потрясены столь благочестивою скорбью Квинта Метелла»⁷². А из родовых по такому: «Если должностные лица обязаны повиноваться римскому народу, почему ты обвиняешь Норбана, который, будучи трибуном, подчинялся воле народа?» 168. А из видовых так: «Если мы должны дорожить теми, кто заботится о государстве, то в первую очередь мы должны дорожить, конечно, полководцами, благодаря заботам, доблести и отваге которых блюдется и наше благополучие и достоинство власти». А из сходства: «Если дикие звери любят своих детенышей, с какою же нежностью должны относиться к своим детям мы?» 169. А вот из отличия: «Если варвары живут сегодняшним днем, мы должны принимать во внимание вечность». И в том и в другом роде примеры сходства и отличия берутся из чужих действий, слов или случаев, и часто приходится обращаться к выдумкам. Теперь из противоположности: «Если Гракх поступил нечестиво, Опиций поступил достойно». 170. Из соотносительности: «Если он был заколот, и ты, его враг, был захвачен на этом самом месте с окровавленным мечом, и никто, кроме тебя, не был там замечен, и никто не был причинен, и ты всегда неубуздан, как же можно нам сомневаться в преступлении»⁷³?» Из соответствия, из предшествования и из противоречия, как в свое время юный Красс: «Если ты, Карбон, защищал Опиция, то не поэтому судья будет считать тебя благонамеренным гражданином. Ты явно притворствовал и на что-то рассчитывал, раз постоянно в своих выступлениях оплакивал смерть Тиберия Гракха, раз был соучастником убийства Публия Африкана, раз ты в бытность трибуном предложил

этот свой закон⁷⁴, раз ты всегда расходился с людьми достойными». 171. Из причинной связи вещей так: «Если вы хотите уничтожить корыстолюбие, следует уничтожить мать его — роскошь». А по следствиям из причин: «Если мы пользуемся государственной казной и для военных нужд и для мирного процветания, позаботимся о налогах». 172. А при сопоставлении более важного, менее важного и равноценного примеры будут такие. Для более важного: «Если доброе имя важнее богатства, а денег так усиленно добиваются, то насколько же усиленнее следует добиваться славы!» Для менее важного:

Едва знакомый с нею,
Он к сердцу принял смерть ее! А будь влюблен?
Так как же будет плакать об отце, о мне!⁷⁵

Для равноценного: «И хищение и растрата денег во вред государству — одинаковое преступление». 173.

А извне берется то, что основано не на существе предмета, а на сторонних обстоятельствах: «Это правда — так говорит Квинт Лутаций». — «Это ложь — под пыткой он признался». — «Этому приходится верить — прочти документы». О всем этом роде доказательств я уже говорил раньше. 174.

(41) Я постарался быть здесь как можно более кратким. Ибо, как если бы я хотел кому-нибудь указать на зарытое во многих местах золото, мне было бы достаточно указать знаки и приметы этих мест, по которым он сам будет копать и сам отыщет все, что хочет, почти без труда и без всякой ошибки, — так я хотел показать нуждающемуся все доказательства, а остальное само отыщется путем заботливого размышления. 175. А какого рода доказательства подходят для каждого рода дел, это решают не предписания утонченной науки, а самый обычный здравый смысл. Ведь мы сейчас не излагаем какую-то особенную науку слова, а только даем ученым людям кое-какие советы, основанные на нашем собственном опыте. Так вот, если запечатлеть в уме эти источники доказательств и вызывать их в памяти всякий раз, как придется о чем-либо говорить, то от оратора уже ничто не ускользнет — не только в судебных прениях, но и в какой бы то ни было речи. 176. Если же ему удастся показаться таким, каким он хочет, и удастся так захватить своих слушателей, чтобы вести или нести их, куда он хочет, — тогда и подавно ему ничего больше не потребуется для его красноречия.

Кроме того, мы видим, что никак не достаточно найти, что ты будешь говорить, если ты не можешь разработать то, что нашел. 177. Разработка должна быть разнообразна, дабы слушающий не заподозрил в ней искусственных приемов и не пресытился ее однообразием. Следует высказать свое предложение и показать его основания; заключение иногда надо выводить из тех же самых источников к другим. Часто бывает выгоднее вовсе не высказывать предложения, а делать его очевидным, приводя самые доводы для него. Если прибегаешь к сопоставлению, сначала надо обосновать сопоставляемое, а затем перейти от него к предмету обсуждения. Переходы между доказательствами надо по большей части скрывать, не давая возможности их пересчитать, чтобы они были по существу раздельными, а в твоих словах казались слитными. 178.

[Услаждение.] (42) Я это пробегая точно как наспех, как недоучка перед учеными, чтобы перейти наконец к более важному. Ибо, Катул, для оратора ничего нет более важного при произнесении речи, чем расположить к себе слушателя и так его возбудить, чтобы он был руководим больше неким душевным порывом и волнением, чем советом и разумом. Люди ведь гораздо чаще руководствуются в своих решениях ненавистью, или любовью, или пристрастием, или гневом, или горем, или радостью, или надеждой, или боязнью, или заблуждением, или другим каким-либо душевным движением, чем справедливостью, или предписанием, или каким-нибудь правовым установлением, или судебным решением, или законами. 179. Поэтому, если вы ничего против не имеете, перейдем к этому.

— Мне кажется, — сказал Катул, — в твоём рассуждении, Антоний, все еще недостает кое-чего, что следовало бы разъяснить прежде, чем обращаться к тому, к чему, по твоим словам, ты стремишься.

— Чего же это? — спросил тот. 180.

— Какой порядок, — сказал Катул, — и какое расположение доказательств ты считаешь лучшим. Ведь именно в этом ты всегда мне казался прямо богом.

— Какой же я тут бог, Катул! — воскликнул Антоний. — Честное слово, не скажи этого ты, никогда мне это и в голову бы не пришло! Можешь быть уверен, если мне тут и удастся иной раз, по-видимому, добиться успеха, то лишь благодаря навыку или, скорее, случаю. Я согласен, что этот раздел, мимо которого я по незнакомству прошел, как

чужой, имеет такое значение в речи, что вернее всех других ведет к победе; и все-таки, по-моему, ты раньше времени потребовал от меня рассмотрения порядка и расположения доказательств. 181. Вот если бы я основывал всю силу оратора только на доказательствах и на прямой убедительности дела, тогда и впрямь было бы своевременно сказать что-нибудь об их порядке и размещении, но так как из трех вещей, о которых я собирался говорить, я сказал пока только об одной, то сперва я скажу о двух остальных, а потом можно будет перейти и к вопросу о расположении речи в целом. 182.

(43) Итак, чтобы добиться успеха, очень важно представить в хорошем свете образ мыслей, поведение и жизнь ведущих дело и их подзащитных, а равно и представить в дурном свете их противников, чтобы привлечь как можно больше благосклонности судей как к оратору, так и к подзащитному. Благосклонность же снискивается достоинством человека, его подвигами и безупречной жизнью; все эти качества легче возвеличить, если они имеются, чем выдумать, если их нет. Но оратору приходят на помощь еще мягкость голоса, скромное выражение лица, ласковость речи; если же приходится выступать более резко, надо показать, что ты принужден делать это против воли. Весьма полезно бывает изъяснить признаки добродушия, благородства, кротости, почтительности, отсутствия жадности и корыстолюбия; все эти приметы человека честного и не заносчивого, не резкого, не своенравного, не вздорного и не придиричвого очень способствуют благоволению к нему и отвращают от тех, кто этими качествами не отличается. Поэтому противникам надо приписывать противоположные свойства. 183. Но все подобного рода речи будут хороши для таких дел, в которых не приходится воспламенять судью резкой и пылкой стремительностью. Ведь отнюдь не всегда требуется сильная речь, но часто спокойная, сдержанная и мягкая, наиболее выгодная для ответчиков. (А «ответчиками» я называю не только обвиняемых, но и всех, кто ответствен за судебное дело, — так ведь говорилось в старину.) 184. Изобразите ваших ответчиков справедливыми, безупречными, добросовестными, скромными, терпеливо сносящими обиды — и это произведет изумительное действие. Даже если об этом будет сказано только во вступлении или в заключении речи, но проникновенно и с чувством, то часто этот рассказ оказывается сильнее самого разбора дела.

Обдуманная и с чувством произнесенная речь достигает такой силы, что как бы живописует нравственный облик оратора. Ведь именно подбор мыслей и подбор выражений в связи с мягким исполнением, обнаруживающим добродушие, показывает оратора человеком честным, благовоспитанным и благонамеренным. 185.

[*Волнение.*] (44) Но есть и другой способ речи, смежный с этим, но не сходный с ним: он по-иному волнует судей, внушая им или ненависть, или любовь, или неприязнь, или сочувствие, или боязнь, или надежду, или влечение, или отвращение, или радость, или печаль, или жалость, или месть, или иные чувства, близкие и подобные этим и другим таким же. 186. При этом, конечно, желательно, чтобы судьи уже и сами подходили к делу с тем душевным настроением, на которое рассчитывает оратор. Потому что, как говорится, легче подогнать бегущего, чем сдвинуть с места неподвижного. Если же такого настроения не будет или оно будет слишком неопределенным, тогда оратор должен действовать подобно старательному врачу⁷⁶, который, прежде чем дать больному лекарство, изучит не только его болезнь, но и привычки его здоровья и природу его тела. Так вот и я, когда берусь в сомнительном и тяжелом деле прощупывать настроение судей, то все свои силы ума и мысли обращаю на то, чтобы как можно тоньше разнюхать, что они чувствуют, что они думают, чего ждут, чего хотят и к чему их легче всего будет склонить речью. 187. Если они поддаются и, как я сказал, сами уже смотрят туда, куда мы их подгоняем, тогда я беру, что дают, и поворачиваю паруса в ту сторону, откуда хоть сколько-нибудь чувствуется попутный ветер. Если же судья беспристрастен и спокоен, бывает потруднее: все приходится вызывать речью, даже наперекор характеру судьи. Но такой силой обладает, по справедливому слову славного поэта

Покоряющая души, миром правящая речь⁷⁷,

что она способна не только поддержать благосклонного и склонить нерешительного, но даже, подобно хорошему и храброму полководцу, пленить сопротивляющегося противника. 188.

(45) Вот чего от меня сейчас в шутку требовал Красс, уверяя, будто у меня это получается божественно, и расхваливая мои будто бы блестящие выступления и в деле Мания Аквилія, и в деле Гая Норбана, и в некоторых

других. Но когда ты сам, Красс, обращаешься к этим приёмам в твоих судебных речах, тогда, клянусь тебе, я неизменно полон трепета. Такая сила, такой порыв, такая скорбь видна у тебя в глазах, в лице, в движениях даже, в этом твоём указательном пальце; такой у тебя поток самых веских и великолепных слов, такие здравые, такие меткие, такие свежие мысли, такие свободные от ребяческих прикрас, что, на мой взгляд, ты не только судью воспаляешь, но и сам пылаешь. 189.

Да и невозможно вызвать у слушающего ни скорби, ни ненависти, ни неприязни, ни страха, ни слез сострадания, если все эти чувства, какие оратор стремится вызвать у судьи, не будут выражены или, лучше сказать, выжжены в его собственном лице. Если бы скорбь нам пришлось выражать неистинную, если бы в речи нашей не было ничего, кроме лжи и лицемерного притворства, — тогда, пожалуй, от нас потребовалось бы еще больше мастерства. К счастью, это не так. Я уж не знаю, Красс, как у тебя и как у других; что же до меня, то мне нет никакой нужды лгать перед умными людьми и лучшими моими друзьями: клянусь вам, что я никогда не пробовал вызвать у судей своим словом скорбь, или сострадание, или неприязнь, или ненависть без того, чтобы самому не волноваться теми самыми чувствами, какие я желал им внушить. 190. Да и, право, нелегко заставить судью разгневаться на того, на кого тебе нужно, если покажется, что ты сам к нему равнодушен; нелегко заставить судью ненавидеть того, кого тебе нужно, если судья не увидит, что ты сам пылаешь ненавистью; нельзя будет довести судью и до сострадания, если ты не явишь ему признаков твоей скорби словами, мыслями, голосом, выражением лица и, наконец, рыданием. Нет такого горючего вещества, чтобы загореться без огня; нет и такого ума, чтобы он загорался от силы твоей речи, если ты сам не предстанешь перед ним, горя и пылая. 191.

(46) И пусть не кажется необычайным и удивительным, что человек столько раз ощущает гнев, скорбь, всевозможные душевные движения, да еще в чужих делах; такова уж сама сила тех мыслей и тех предметов, которые предстоит развить и разработать в речи так, что нет даже надобности в притворстве и обмане. Речь, которой оратор стремится возбудить других, по природе своей возбуждает его самого даже больше, чем любого из слушателей. 192. Не надо удивляться и тому, что это происходит в разгаре дел в

судах, при опасностях друзей, при стечении народа, в обществе, на форуме, когда под вопросом наша честь, наш долг, наше усердие — все те высокие чувства, которые не позволяют даже самых чужих людей считать чужими, если они нам вверились и если мы сами хотим считаться людьми добропорядочными. 193. А чтобы это в нас не показалось, говорю я, удивительным, я спрошу: что может быть более вымышленным, чем стихи, чем сцена, чем драма? Однако и здесь я сам часто видел, как из-за маски, казалось, пылали глаза актера, произносящего эти трагические стихи:

Ты посмел, его покинув, сам ступить на Саламин?
И в лицо отца глядишь ты?⁷⁸

Это слово «лицо» произносил он так, что всякий раз мне так и виделся Теламон, разгневанный и вне себя от печали по сыне. А когда тот же актер менял свой голос на жалобный:

Старика бездетного
Истерзал, сгубил, замучил! Брата смерть тебе ничто
И его младенца участь, что тебе доверен был, —

тогда, казалось, он и плакал и стонал при этих словах. Так вот, если этот актер, каждый день играя эту роль, не мог, однако, играть ее без чувства скорби, неужели вы думаете, что Пакувий, сочиняя ее, был спокоен и равнодушен? Это совершенно невозможно. 194. И я не раз слышал, что никто не может быть хорошим поэтом — так, говорят, написано в книгах Демокрита и Платона — без душевного горения и как бы некоего вдохновенного безумия.

(47) Так и я: хоть я и не изображаю и не живописую в речах давние муки и мнимые слезы героев, хоть я и выступаю не под чужой личиной, а от своего лица, однако поверьте, что только великая скорбь позволила мне сделать то, что я сделал в заключение своей речи, когда отстаивал гражданские права Мания Аквилія. 195. Этого мужа, которого я помнил как консула, как полководца, получившего отличия от сената и восходившего с овацией⁷⁹ на Капитолий, теперь я увидел удрученным, обессиленным, страждущим в величайшей опасности — и раньше сам был захвачен состраданием, а потом уже попытался возбудить сострадание и в других. И я вижу, что если судьи и были сильно взволнованы, то именно тем, как я вывел к ним скорбного старика в жалкой одежде и сделал то, что так хвалишь ты, Красс, а сделал я это как раз не по науке, ибо в науке я

нраве, но только от душевного волнения и боли: я разорвал его тунику и показал рубцы его ран. 196. А когда Гай Марий⁸⁰, сидевший здесь же, рядом, поддержал мою горькую речь своими слезами, когда я, часто обращаясь к Марию, поручал ему его товарища и призывал его быть заступником за общую долю полководцев, то и это моление о жалости, и это воззвание ко всем богам и людям, к гражданам и союзникам было сильно лишь моими слезами и скорбью. А если бы все, что я тогда говорил, не было проникнуто этой моей собственной скорбью, речь моя звала бы не сострадание, а только смех.

Вот почему я, столь ученый и славный наставник, учу вас: умеете в ваших речах и негодовать, и скорбеть, и плакать. 197. Впрочем, как раз тебя, Сульпиций, незачем этому учить: не ты ли, обвиняя моего сотоварища, разжег не столько своей речью, сколько своей страстью, скорбью, душевным пылом такой пожар, что я едва отважился подойти к нему, чтобы его затушить? Все преимущества в этом деле были на твоей стороне: в тяжком и горестном случае с Цепионом ты звал на суд насилие, бегство, побивание камнями, безжалостность трибуна; все знали, что ударом камня ранен глава сената и республики Марк Эмилий; никто не мог отрицать, что Луций Котта и Тит Дидий⁸¹ были насильно согнаны со святого места, когда пытались наложить запрет на постановление. 198. (48) Кроме того, полагали, что ты, человек молодой, отлично делаешь, что выступаешь во имя интересов республики, а я, хоть и бывший цензор, едва ли смогу достойно защищать гражданина мятежного и безжалостного к потерпевшему несчастью бывшему консулу. Судьями⁸² были почтеннейшие граждане, форум был полон благонамеренных людей, так что трудно было надеяться на малейшее снисхождение к тому, что я все-таки защищаю своего бывшего квестора. Мог ли я тут полагаться на какую бы то ни было науку? Я расскажу, что я сделал. Коль вам понравится, вы сами найдете моей защите какое-нибудь место в вашей науке. 199.

Я перебрал всякого рода мятежи, насилия и бедствия, повел свою речь со всяких превратностей времен нашей республики и вывел заключение, что хотя все мятежи всегда бывали тягостны, однако некоторые из них были справедливы и прямо неизбежны. Тут-то я и высказал то, о чем недавно напомнил Красс: ни изгнание из вашей общины царей, ни учреждение народных трибунов, ни многократное

ограничение консульской власти народными постановлениями, ни право обжалования, эта опора общины и защита свободы, — все это не могло быть достигнуто римским народом без распри со знатью; а если все эти мятежи были на пользу нашей общине, то и сейчас в случае какого-то народного возмущения нельзя тут же вменить его в нечестивое злодеяние и уголовное преступление Гаю Норбану. Поэтому если мы допустим, что волнения римского народа когда-либо бывали справедливы, а это, как мы видели, приходится допускать нередко, то нет ничего справедливее разбираемого дела. Затем я повернул свою мысль в другую сторону: стал громко осуждать бегство Цепиона, стал оплакивать гибель войска. Этими речами я растравлял скорбь тех, кто горевал о близких, а в римских всадниках, которые были судьями, будил ненависть к Квинту Цепиону, и без того уже нелюбимому из-за его судебных предложений.

200. (49) И когда, наконец, я почувствовал уверенность в том, что я овладел судом, что я держу в руках защиту, что мне сочувствует народ, для которого я отстаиваю все его права, вплоть до восстания, и что судьи на моей стороне — кто из-за бедствий отечества, кто из-за горя и скорби о близких, кто из-за личной ненависти к Цепиону, — вот тогда я и начал подмешивать к своей страстной и грозной речи речь другого рода, мягкую и кроткую, о которой я уже говорил. Я отстаивал и моего сотоварища, — ведь он, по завету предков, должен быть мне вместо сына; я отстаивал всю свою честь и благополучие, — ведь нет ничего больнее для меня и позорнее для моего доброго имени, чем если обо мне подумают, что я, кто так часто выручал людей совершенно чужих лишь за то, что они были моими согражданами, теперь вдруг не смог подать помощи своему сотоварищу.

201. Я просил судей ради моих лет, моих почетных должностей и моих заслуг извинить меня, если они видят меня потрясенным справедливой и законной скорбью: ведь они знают, что во всех других делах я всегда просил за подвергавшихся опасности своих друзей и решительно никогда за самого себя. Таким образом, во всей своей защите и во всем этом деле я лишь кратко и вскользь коснулся того, что заведомо относилось к науке, например рассуждений о законе Аппулея, или о том, что такое умаление величия. В обеих частях речи — и в хвалебной и в возбудительной, из которых ни одна нисколько не отделана по предписаниям науки, — я изложил все это

дело так, чтобы показать себя и бурно-страстным, когда возбуждаю негодование на Цепиона, и нежно-кротким, когда говорю о чувствах к моим близким. Вот каким образом, Сульпиций, разбил я тогда твое обвинение: я не столько убеждал судей, сколько возбуждал. 202.

(50) — Честное слово, Антоний, — воскликнул Сульпиций, — ты говоришь истинную правду: никогда я не видал, чтобы что-нибудь так ускользало из рук, как ускользнуло у меня это дело. Ведь ты сам сказал, что из-за меня ты очутился тогда не перед судом, а перед пожаром. Боги бессмертные, как ты начал речь! С каким страхом! С какой опаской! Как нерешительно и медленно! Как держался ты сначала за единственное, что тебе могли простить, — то, что ты говоришь в защиту своего близкого друга, своего квестора! Как сумел ты первым делом расчистить путь к тому, чтобы тебя слушали! 203. И вот когда мне уже казалось, что тебя ничто не спасет — самое большее, если тебе простят защиту недостойного гражданина ради твоей к нему дружбы, — ты вдруг начал потихоньку, еще незаметно для других, но уже настораживая меня, подбираться к своей защите — к защите не мятежа Норбана, но народного гнева, гнева не только справедливого, но заслуженного и должного. И после этого разве ты что-нибудь упустил, нападая на Цепиона? Как ты заквасил все это ненавистью, озлоблением, состраданием! И это не только в твоей защите, но и в нападении на Скавра и на остальных моих свидетелей, чьи показания ты отверг, не отвергая их, но ссылаясь на тот же народный гнев. 204. Ты поминал сейчас о предписаниях науки, но я ведь и спрашивал не о них: сам этот рассказ о твоих защитах из твоих собственных уст будет для меня наукой, и не малою.

— Ну что же, — сказал Антоний, — тогда, если угодно, и я рассказать могу о том, к чему обычно стремлюсь в речах и на что обращаю главное внимание. Ибо долгий жизненный опыт в самых ответственных делах научил нас верным средствам возбуждать у людей душевные движения. 205.

[*Средства возбуждения страсти.*] (51) Прежде всего я смотрю, требует ли этого дело. Ибо ни по маловажному поводу, ни перед такими слушателями, которых не пройма никакая речь, не следует применять пламенного красноречия, чтобы не вызвать либо смеха, либо отвращения к себе, если мы станем разыгрывать трагедии по пустякам или

вздумаем искоренять то, чего и поколебать невозможно. 206. Затем нам надо вызвать речь у судей или у каких бы то ни было наших слушателей такие чувства, как любовь, ненависть, гнев, озлобление, сострадание, надежда, радость, страх, досада. Любовь, например, пробуждается или тогда, когда слушатели видят, что ты защищаешь то, что и им на пользу, или же когда ты стараешься для людей хороших или хотя бы полезных самим слушателям. В первом случае мы пробуждаем любовь, во втором, — защищая добродетель, — пробуждаем уважение; и при этом сильнее действует выражение надежды на будущую пользу, чем упоминание прошлых благодеяний. 207. Надо стараться обнаружить в том, что защищаешь, или достоинство, или пользу и показать, что тот, к кому ты возбуждаешь эту любовь, не имел в виду никакой собственной выгоды и решительно ничего не сделал ради самого себя. Ведь только личные выгоды людей возбуждают зависть, а их заботы на пользу других внушают уважение. Однако тут следует быть осторожным, чтобы не показалось, будто мы слишком уж расхваливаем честь и славу тех, чьи благодеяния заслуживают любви, ибо это очень часто вызывает зависть и злобу. 208.

Те же самые источники доказательств научат нас управлять и ненавистью: разжигать ее против других и отворачивать ее от нас и наших подзащитных; такого же рода средства служат и для того, чтобы возбуждать или унимать гнев. Именно: если ты будешь раздувать какой-нибудь поступок, опасный или бесполезный непосредственно для твоих слушателей, то вызовешь ненависть, если же раздувать поступок, направленный или вообще против людей благонамеренных, или против тех, кто особенно этого не заслуживает, или, наконец, против всей республики, тогда вызывается не такая ожесточенная ненависть, но все же настроение очень близкое к ненависти и к озлоблению. 209. Точно так же внушается и страх как перед личными, так и перед общими опасностями; страх за себя бывает глубже, но и общий страх может быть сведен к страху за себя. (52) То же самое относится и к надежде, и к радости, и к досаде.

Однако едва ли не самое сильное из всех чувств — озлобление, и не меньших усилий стоит его подавить, чем возбудить. Злобствуют люди обычно на равных себе или низших, так как им обидно видеть себя обойденными, а их

возвысившимися; но часто они злобствуют и на высших, и тем сильнее, чем те нестерпимее заносятся и нарушают равенство прав превосходством звания или богатства. Если это озлобление надо разжечь, то важнее всего заявить, что это добыто не заслугами, а пороками и преступлениями; а если заслуги человека будут все-таки похвальны и значительны, — сказать, что тем не менее они не идут в сравнение с его непомерной наглостью и чванством. 210. Если же это озлобление надо подавить, то следует указать, что все эти преимущества стоили человеку большого труда, больших опасностей и обращены не на собственную его пользу, а на пользу других; что слава, которую он этим, казалось бы, достиг и которая лишь по заслугам вознаграждает его за опасности, вовсе даже ему не в радость, он нисколько о ней не заботится и ею пренебрегает; одним словом, так как в большинстве людей живет зависть, этот всеобщий и повсеместный порок, а возбуждается зависть зрелищем выдающегося и блистательного счастья, то прежде всего надо всячески постараться это впечатление ослабить и эту молву об исключительном счастье перемешать с напоминаниями о трудах и бедствиях. 211.

Наконец, чтобы вызвать сострадание, нужно заставить слушателя наши горестные слова о ком-то другом соотносить со своими собственными огорчениями или страхами, чтобы он, размышляя о другом человеке, все время возвращался к мыслям о самом себе. Тогда любые случаи человеческих бедствий будут восприниматься с глубоким чувством, если о них говорят со скорбью, а угнетенная и попранная добродетель будет тем более горестна.

Я уже не раз говорил, что первая часть речи призвана засвидетельствовать честность оратора и показать его человеком благонамеренным, а звучать должна мягко и сдержанно; но эта, вторая, к которой оратор обращается для того, чтобы изменить настроение слушающих и всеми способами их увлечь, напротив, должна быть напряженной и страстной. 212. (53) Но между этими двумя родами речи, в одном из которых мы стремимся к мягкости, в другом — к страстности, имеется затрудняющее их разграничение сходство. Ибо и эта мягкость, которою мы располагаем к себе слушателей, должна неким приливом умерять ту пламенную силу, которою мы их же возбуждаем, и эта сила, в свою очередь, должна порою неким дыханием одушевлять ту мягкость. И нет речи более гармонической⁸³, чем та, в

которой резкость и напряженность оратора смягчена обходительностью, а спокойная мягкость подкреплена некоторой настойчивостью и напряженностью. 213.

В обоих родах речи — и в том, где требуется сила и напряженность, и в другом, где находят выражение характер и образ жизни, — как вступления должны быть неторопливыми, так и заключения — медленными и затянутыми. Нельзя внезапно перескакивать к страстному роду речи, поскольку он не связан с существом дела, а люди хотят сначала услышать о том, что им, собственно, предстоит рассудить; и нельзя также, вступив на этот путь, тотчас уклоняться от него. 214. Ведь это не то, что доказательство, которое стоит лишь привести, и оно уже усвоено и можно переходить ко второму и к третьему: здесь ты не сможешь сразу, с одного налета побудить ни к милосердию, ни к озлоблению, ни к негодованию. Доказательство ведь опирается на весь ход мысли, который с самого начала запечатлевается в уме; наша же речь стремится не столько вразумить, сколько взволновать судью, а этого нельзя достичь иначе как пространной, разнообразной и обильной речью в столь же напряженном исполнении. Поэтому те, кто говорит или кратко, или сдержанно, могут судью осведомить, но не взволновать; а все дело в этом. 215.

Ясно, кроме того, что по всем вопросам имеется возможность черпать доказательства и за и против из одних и тех же источников. Чтобы опровергнуть довод, надо или оспорить то, что приводится для его подтверждения, или показать, что тот вывод, какой хотят из этого довода сделать, непоследователен и не вытекает из предпосылок; или же, наконец, если так его не отвергнешь, надо привести доказательство противоположного, столь же или даже более веское. 216. А когда противник обращается к слушателям кротко, чтобы их привлечь, или страстно, чтобы их увлечь, тогда это надо отражать противоположными чувствами: так ненависть подавляет доброжелательство, озлобление подавляет сострадание.

(54) Вот здесь и оказываются приятными и часто очень полезными шутка и остроумие, и если даже все другое может быть предметом науки, то уж они-то заведомо относятся к свойствам природным и ни в какой науке не нуждаются. Этими свойствами, ты, Цезарь, по-моему, далеко превосходишь других; поэтому ты первый можешь

подтвердить, что нет никакой науки остроумия, а если какая и есть, то ты сам лучше всех ее нам преподашь. 217.

[*Юмор и остроумие.*] — Ну, — сказал Цезарь, — я-то как раз полагаю, что человек не лишенный вкуса о чем угодно будет рассуждать остроумнее, чем о самом остроумии. Однажды мне случилось познакомиться с некоторыми греческими книгами под заглавием «О смешном»⁸⁴. Я понадеялся чему-нибудь по ним научиться. И я нашел там немало забавных и шуточных греческих словечек (ведь и сицилийцы, и родосцы, и византийцы⁸⁵, и особенно афиняне в этом отношении превосходны); однако те, кто пытался подвести под это остроумие какие-то научные основы, сами оказались настолько неостроумны, что впору было смеяться над их тупостью. Вот почему мне и кажется, что остроумию никоим образом нельзя научиться. 218.

Остроумие, как известно, бывает двух родов: или равномерно разлитое по всей речи, или едкое и броское. Так вот, первое — древние называли шутливостью, а второе — острословием. Ни в том, ни в другом названии нет ничего серьезного; да и ведь смех возбуждать — дело ничуть не серьезное. 219. И тем не менее я согласен с тобой, Антоний: я и сам не раз видел, что юмор и остроумие сплошь и рядом приносят нам успех в делах. Но как для непрерывной шутивности не требуется никакой науки (ведь природа, создавая людей, вложила в некоторых дар передразнивать и дар шуточно рассказывать, помогая себе и лицом, и голосом, и самим складом речи), так и во второй манере, в острословии, не может быть места для науки: как же иначе, если остроумно пущенное слово должно ранить раньше, чем может быть обдуманно. 220.

Какая же польза от науки могла быть моему брату, когда на вопрос Филиппа: «Чего ты лаешь?» — он ответил: «Вора вижу!»⁸⁶? Какая была польза от науки Крассу, когда он выступал перед центурионами против Сцеволы или против Брута-обвинителя в защите Гнея Планка⁸⁷? Ведь то, что ты, Антоний, приписываешь мне, скорее, следует, по общему мнению, уступить Крассу. Ибо вряд ли есть другой человек, столь блистательный и в том, и в другом роде остроумия: и в непрерывной шутивности, и в быстрой меткости остроут. 221.

Так, вся его защита Курия против Сцеволы была проникнута веселостью и подшучиванием. Броских остроутов в ней не было: он щадил достоинство противника и тем самым

соблюдал свое собственное. А ведь остроумцы и острословы редко умеют считаться с людьми и с обстоятельствами и удержаться от меткого словца по любому поводу. 222. Поэтому некоторые шутники остроумно толкуют сказанное Эннием:

Легче пламя человеку за зубами удержать,
Чем хорошее словечко, —

они считают, что «хорошее словечко» — это значит «острота», так как именно об остротах мы говорим: «словечко» или «словцо».

(55) Но если в речи против Сцеволы Красс был сдержан и во время разбирательства и прений не выходил из границ той шутливости, где не допускаются никакие колкости, то уж в речи против Брута, которого он ненавидел и считал достойным любых поношений, Красс сражался и тем и другим оружием. 223. Ах, сколько говорил он о банях, которые Брут незадолго перед этим продал, сколько говорил о расточении отцовского наследства! Вот, например, какой колкостью ответил он Бруту, когда тот сказал, что тут и потеть не с чего⁸⁸: «Конечно, не с чего: ведь ты только что расстался с баней». Таких колкостей было без числа, но не менее забавен был и его непрерывный шутливый тон. Так, когда Брут вызвал двух чтецов и дал одному читать речь Красса о Нарбоннской колонии⁸⁹, а другому о Сервилиевом законопроекте, чтобы показать, как противоречат друг другу их политические суждения, тогда наш остроумнейший друг дал прочесть трем чтецам три отрывка из сочинения отца Брута по гражданскому праву. 224. Из книги первой: «Случилось нам находиться в Привернском поместье...» — «Брут, вот отец твой свидетельствует, что он оставил тебе Привернское поместье!» Затем из книги второй: «Я с моим сыном Марком был в Альбанской усадьбе...» — «Видно, недаром старый Брут был одним из умнейших людей в нашем обществе: он отлично знал эту прорву и опасался, что когда-нибудь его сын останется ни с чем и люди подумают, будто ему ничего и не было оставлено». А потом из книги третьей, и последней (потому что только эти три книги, как мне говорил Сцевола, написаны самим Брутом): «Как-то я и мой сын Марк сидели в Тибуртинской усадьбе...» — «Куда же девались эти поместья, Брут, которые оставил тебе отец, письменно объявив об этом всему народу? А кабы ты тогда был помоложе⁹⁰, он бы непременно написал

еще и четвертую книгу, и письменно объявил бы там: «Однажды я мылся с сыном в бане...» 225.

Как же после этого не признать, что такими шутками и остротами Брут бы ниспровергнут не хуже, чем тою трагедией, которую разыграл нам Красс на этом же процессе, воспользовавшись тем, что как раз тогда случились похороны старой Юнии? Боги бессмертные! Сколько тут было мощи, сколько силы! Как это было неожиданно! Как внезапно! Когда, сверкнув глазами и грозно повернувшись всем телом, он с таким негодованием и стремительностью воскликнул: «Ты сидишь, Брут? Что же должна передать покойница от тебя твоему отцу? Всем тем, чьи изображения⁹¹ движутся перед тобой? Твоим предкам? Луцию Бруту, избавившему народ наш от царского гнета? Что сказать им о твоей жизни? О твоих делах, о твоей славе, о твоей доблести? Может быть, сказать, как ты приумножил отцовское наследство? Ах, это не дело благородного! Но хоть бы и так, все равно тебе приумножать уже нечего: ты прокутил все. 226. Или о том, что ты занимался гражданским правом, как занимался твой отец? Нет, скорее, она скажет, как продал ты дом со всем, что в нем было движимого и недвижимого⁹², не пожалев даже отцовского кресла! Или ты был занят военной службой? Да ты и лагеря-то никогда не видел! Или красноречием? Да у тебя его и в помине нет, а убогий твой голос и язык служат лишь гнуснейшему ремеслу ябедника! И ты еще смеешь смотреть на свет дневной? Глядеть в глаза тем, кто перед тобой? Появляться на форуме? В Риме? Перед согражданами? Ты не трепещешь перед этой покойницей, перед этими самыми изображениями предков, которым ты не только не подражаешь, но даже поставить их нигде не можешь!» 227. (56) Вот каково трагическое вдохновение Красса! Ну, а шутки его и остроты, которым нет числа, вы помните даже по одной его речи перед народом: никогда ведь не говорил он перед собранием так одушевленно, так веско и в то же время так весело и насмешливо, как при недавнем выступлении против своего сотоварища по цензуре⁹³.

Поэтому я согласен с тобой, Антоний, и в том, что остроумие часто бывает на пользу речи, и в том, что никакой наукой его не преподашь. И удивляет меня только то, что ты мне столько приписал в этой области, а не отдал и тут пальму первенства Крассу. 228.

— Я бы, конечно, так и сделал, — сказал на это Ан-

тоний, — если бы я порой немножко не завидовал в этом Крассу. Когда человек только остроумен и насмешлив, этому еще не приходится завидовать; но вот когда человек, самый из всех привлекательный и тонкий, оказывается еще и самым из всех влиятельным и строгим, как умеет только Красс, то этого я уж никак не могу переносить. 229.

Тут даже сам Красс улыбнулся, а Антоний продолжал:

— Однако же, Юлий, хоть ты и отрицаешь науку остроумия, ты открыл нам кое-что такое, чему, кажется, стоит поучиться. Ты ведь говоришь, что следует считаться с людьми, с предметами и с обстоятельствами, чтобы шутка была не во вред серьезности, и что как раз об этом всегда особенно заботится Красс. Но это значит только то, что не следует пользоваться остроумиями, когда они не нужны. Ну а мы спрашиваем, как ими пользоваться, когда они нужны, например, против соперника, особенно если можно задеть его глупость, или против свидетеля глупого, пристрастного или вздорного, когда люди готовы это послушать. 230. Вообще больше внушает доверия то, что мы говорим в ответ на нападки, чем когда сами нападаем: во-первых, ответ требует большей сообразительности, а во-вторых, ответ для человека более пристоен — он показывает, что кабы нас не задевали, то и мы бы никого не тронули. Так вот и у Красса в его речи все что ни есть, на наш взгляд, остроумного, сказано лишь в ответ на выпады противника. К тому же Домиций был так важен, так неприсклонен, что его возражения явно было гораздо лучше развеять шуткой, чем разбить силой. 231.

(57) — Так что же, — воскликнул Сульпиций, — неужели оттого лишь, что Цезарь отдаст преимущество в остроумии Крассу, хотя сам занимается им куда усердней, мы не заставим Цезаря рассказать нам все до тонкостей о том, что же такое шутливая речь и откуда она ведется? Тем более что сам Цезарь признает за метким словом и тонкой насмешкой такую пользу и мощь! — Но что же мне сказать, — возразил Юлий, — раз я согласен с Антонием, что никакой науки остроумия не существует! 232.

Сульпиций на это ничего не ответил; и тогда начал говорить Красс:

— Кто же говорит, будто есть какая-то наука обо всем, о чем столько рассуждает Антоний? Можно, конечно, как он говорит, примечать все, что бывает полезно для речи; но если бы это могло делать людей красноречивыми, кто

же не стал бы красноречивым? Кто не сумел бы, хорошо ли, худо ли, все это заучить? Нет, на мой взгляд, смысл и польза этих правил в другом: не в том, будто наука указывает, какие слова нам говорить, но в том, что мы получаем возможность с чем-то сравнить то, что нам дает природа, учение, упражнение, и тем самым судить, правы мы или неправы. 233. Поэтому, Цезарь, и я тебя тоже прошу: изложи, если ты не возражаешь, все, что ты думаешь об этом искусстве шуток, раз уж вам захотелось, чтобы в таком любознательном обществе и при таком обстоятельном собеседовании никакая другая часть красноречия не оказалась случайно пропущенной.

— Ну что же, — сказал Цезарь, — коли ты требуешь, Красс, взноса на складчину от сотрапезника⁹⁴, то я не стану уклоняться, чтобы мой отказ не стал поводом для твоего отказа. Правда, меня всегда удивляет бесстыдство тех, кто ломается в театре на глазах у Росция: разве можно хотя бы шевельнуться на сцене так, чтобы тот не заметил каждый твой промах? Так вот и я теперь, когда меня слушает Красс, впервые буду говорить об остроумии и, согласно поговорке, как свинья, буду поучать такого оратора, о котором не так давно сказал, слушая его, Катул: «Рядом с ним всем остальным впору только сено жевать». 234.

— О, это была шутка, — сказал на это Красс, — сам-то Катул говорит так, что ему пристало кормиться только амбросией⁹⁵. Но послушаем-ка тебя, Цезарь, а потом перейдем к тому, что осталось сказать Антонию.

— Да мне-то осталось сказать совсем немного, — заметил Антоний, — однако, уже устав на пути своего трудного рассуждения, я передохну во время речи Цезаря, как в удачно подвернувшемся укрытии.

(58) — Ох, боюсь я, — сказал Юлий, — ты сочтешь мое гостеприимство не слишком радушным: ведь не успеешь ты и закусить, как я тебя вытолкаю и выгоню опять на дорогу. 235. Однако, чтоб вас дольше не томить, я изложу покороче все, что я думаю об этом предмете в целом.

[*Пять вопросов о смехе.*] Предмет мой разделяется на пять вопросов: во-первых, что такое смех; во-вторых, откуда он возникает; в-третьих, желательна ли для оратора вызывать смех; в-четвертых, в какой степени; в-пятых, какие существуют роды смешного.

О первом вопросе — о том, что такое смех, как он

возникает, где его место в нашем теле, отчего он возбуждается и так внезапно вырывается, что при всем желании мы не можем его сдержать, каким образом он сразу захватывает легкие, рот, жилы, ⁹⁶лицо и глаза, — обо всем этом пусть толкует Демокрит, а к нашей беседе это не относится; но если бы и относилось, я все-таки не постыдился бы не знать того, чего не знают даже те, что притворяются знатоками. 236.

Второе, о чем спрашивается, то есть источник и, так сказать, область смешного, — это, пожалуй, все непристойное и безобразное; ибо смех исключительно или почти исключительно вызывается тем, что обозначает или указывает что-нибудь непристойное без непристойности.

Вызывать смех — это наш третий вопрос — для оратора, конечно, очень желательно: либо потому, что веселая шутка сама вызывает расположение к тому, кто шутит; либо потому, что каждого восхищает острота, заключенная подчас в одном-единственном слове, обычно при отпоре, но иной раз и при нападении; либо потому, что такая острота разбивает, подавляет, унижает, запугивает и опровергает противника или показывает самого оратора человеком изящным, образованным, тонким; но главным образом потому, что она разгоняет печаль, смягчает суровость, а часто и разрешает шуткой и смехом такие досадные неприятности, какие не легко распутать доказательствами. 237.

А вот в какой степени следует оратору применять смешное, — этот наш четвертый вопрос надо рассмотреть как можно тщательнее. Ибо ни крайняя и граничащая с преступлением бессовестность, ни, с другой стороны, крайнее убожество не поддаются осмеянию: злодеев мы хотим уязвить больше, чем это можно сделать смехом, а убогих мы вовсе не желаем вышучивать, если только в них нету смешного тщеславия. А больше всего надо щадить уважение к людям, чтобы не сказать опрометчиво чего-нибудь против тех, кто пользуется общей любовью. 238.

(59) Итак, в шутке первым делом надо соблюдать меру. Поэтому легче всего подвергается насмешке то, что не заслуживает ни сильной ненависти, ни особенного сострадания. Следовательно, предметом насмешек могут быть те слабости, какие встречаются в жизни людей, не слишком уважаемых, не слишком несчастных и не слишком явно заслуживающих казни за свои злодеяния; остроумное вышучивание таких слабостей вызывает смех. 239. Отличным

предметом для подшучивания служит и безобразие и телесные недостатки; но и тут, как и в других случаях, надо очень внимательно соблюдать меру. При этом рекомендуется избегать не только плоских, но, по возможности, и слишком соленых острот, дабы они не оказались ни шутовскими, ни гаерскими. Что здесь имеется в виду, мы сейчас лучше поймем, обратившись к различению родов смешного. 240.

Существует ведь два рода остроумия, один из которых обыгрывает предметы, другой — слова. Предметы обыгрываются в том случае, если рассказывается какая-нибудь история, как, например, у тебя, Красс, в речи против Меммия⁹⁷ — будто тот «искусал локоть Ларга», когда подрался с ним в Таррацине⁹⁸ из-за подружки; рассказец не без соли, но все-таки целиком тобою выдуманный. Ты присочинил к нему и концовку, сказав, будто по всей Таррацине на всех стенах написаны были буквы ЛЛЛММ; а на твой вопрос, что это значит, какой-то старый горожанин ответил: «Ломает Локоть Ларга Меммий Мерзостный»⁹⁹. 241. Вы видите, как этот род остроумен, ловок, выгоден для оратора, будешь ли ты рассказывать правду, но только одоблив ее каким-нибудь вздором, или же просто все выдумашь. А достоинство этого рода в том, что ты преподносишь происшедшее так, что и характер человека, и речь, и вид предстают перед слушателями воочию, словно все это делается и происходит у них на глазах. 242. Предмет обыгрывается и тогда, когда смех вызывается передразниванием, вроде как у того же Красса: «Во имя твоего званья! Во имя вашего рода!» От чего другого могло рассмеяться собрание, как не оттого, что Красс передразнил вид и голос противника? А когда он добавил «во имя твоих изваяний!», да еще подчеркнул эти слова движением руки, мы еще сильнее рассмеялись. Такого же рода и знаменитое подражание Росция старику при словах: «Тебе мои посадки, Антифон». Я прямо слышу тут самое старость! Однако это род смешного более всего требует величайшей осторожности при использовании, если же подражание переходит меру, то становится неприличным, достойным гаеров и пересмешиников. К передразниванию оратор должен прибегать украдкой, чтобы слушатель скорее догадывался об этом, чем видел; пусть он покажет этим свою врожденную скромность, избегая бесстыдства и непристойности и на словах и на деле. 243.

(60) Итак, комизм предметов бывает двух видов: они уместны тогда, когда оратор в непрерывно шутливым тоне описывает нравы людей и изображает их так, что они или раскрываются при помощи какого-нибудь анекдота, или же в мгновенном передразнивании обнаруживают какой-нибудь приметный и смешной недостаток. 244.

Комизм речи, в свою очередь, возникает из какого-нибудь острого слова или мысли. Но как в предыдущем роде ни анекдоты, ни передразнивание не должны напоминать гаеров и пересмешников, так и тут надо оратору всячески избегать шутовского острословия. Чем иначе отличим мы от Красса, от Катула и от прочих приятеля вашего Грания или моего друга Варгулу¹⁰⁰? В самом деле, мне это еще не приходило в голову: оба они ведь остряки, а Граний больше всех. Пожалуй, главное отличие здесь в том, что мы не считаем своим долгом острить при любой возможности. 245. Вот вышел крошечного роста свидетель. «Можно его допросить?» — говорит Филипп. «Только покороче», — говорит председатель суда, которому некогда. «Не беспокойся, — ответил тот, — я допрошу крошечку». Разве не смешно? Но заседавший судья Луций Аврифик¹⁰¹ был еще поменьше ростом, чем сам свидетель; вот все и засмеялись на судью; и острота получилась совсем шутовская. И всегда, когда остроты, даже самые милые, могут обратиться не на тех, на кого ты хочешь, они все-таки по сути получают шутовскими. 246. Так, наш Аппий, которому хочется слыть остряком, хотя он и без того остряк, тоже порою впадает в это недостойное шутовство. «Я поужинаю у тебя, — сказал он моему кривому другу Гаю Секстию, — тебе как раз одного не хватает». Эта острота — шутовская, он и Гая напрасно обидел, да и сказал лишь то, что можно сказать всякому кривому; такие, явно заготовленные, шутки совсем не смешны. А вот то, что ему не задумываясь ответил Секстий, превосходно: «Приходи, но только с чистыми руками». 247.

Вот такая уместность и сдержанность остроумия, вот такие умеренные и редкие остроты и будут отличать оратора от шута. Ибо то, что мы говорим, мы говорим со смыслом и не для смеха, а для пользы дела, тогда как шуты болтают целый день напролет и без всякого смысла. Когда Варгуле бросились на шею добивавшийся магистратуры Авл Семпроний и его брат Марк, зачем он крикнул рабу: «Мальчик, отгони мух¹⁰²»? Чтобы этому посмеялись? Вот поистине убогий плод большого дарования! Стало быть, нужен здра-

вый смысл и чувство достоинства, чтобы решить, уместна шутка или нет. Вот чему нам хорошо было бы научиться! Но это может быть лишь даром природы. 248.

[*Смешное в словах.*] (61) Теперь рассмотрим вкратце, какого рода остроумие вызывает наибольший смех. Пускай остроумие, как мы его разделили, содержится или в предмете, или в слове; но веселее всего бывает людям, когда смех вызывается и предметом и словом вместе. При этом, однако, не забывайте, что, какие бы источники смешного я ни упомянул, из этих же источников почти всегда можно вывести и серьезные мысли. Разница только в том, что серьезное отношение бывает к предметам достойным и почетным, а насмешливое — к непристойным и даже безобразным. Так, одними и теми же словами мы можем и похвалить честного раба и над каким-нибудь негодным подшутить. Всем известна старинная шутка Нерона¹⁰³ о вороватом рабе: «Для него одного нету в доме ни замков, ни запоров». То же самое, слово в слово, можно сказать и о хорошем рабе. Здесь острота содержится в словах; но и все остальные также исходят из тех же источников. 249. Вот что сказала мать Спурию Карвилию¹⁰⁴, который сильно хромал от раны, полученной в бою за отечество, и поэтому стеснялся показываться на людях: «Да покажись же, милый Спурий, пусть каждый твой шаг каждый раз напоминает тебе о твоих подвигах!» Это прекрасно и серьезно. А то, что сказал Главкия¹⁰⁵ хромавшему Кальвину: «Разве ты охромел? Ведь ты всегда хромал на обе ноги»¹⁰⁶ — это насмешка. А ведь и то и другое исходит из одного и того же: из хромоты человека. «Что за невежа Невий!» — эти слова Сципиона суровы. «Зачем вести меня ко злу?» — эти слова Филиппа человеку, от которого дурно пахло, насмешливы. А ведь и то и другое основано на игре сходными буквами. 250. Самыми остроумными считаются, пожалуй, шутки, основанные на двусмысленности; однако даже они не всегда заключают в себе насмешку, но часто и нечто серьезное. Публий Луциний Вар¹⁰⁷ сказал знаменитому Африкану Старшему, когда тот на пиру прилаживал к голове то и дело разрывавшийся венок: «Удивляться нечему: для такой головы венка не подберешь!» Это и похвально и почетно. Но такой же двусмысленностью будет и «у него и речь-то облысела!». Короче говоря, нет ни одного рода шутки, из которого нельзя было бы извлечь также и серьезного и важного. 251.

Не надо забывать, что не все потешное остроумно. Например, что может быть потешнее скомороха? Но потешен-то он только лицом, ужимками, [передразниванием], голосом и самой, наконец, фигурой. Соль-то, пожалуй, в нем есть, но в пример он годится не для оратора, а для гаера.

(62) Поэтому самый первый и самый смехотворный род комизма нам не подходит: он выводит на посмешище самодуров, суеверов, нелюдимов, хвастунов, дураков во всей полноте их характеров, тогда как мы, ораторы, над такими людьми только издеваемся, но личины их на себя не надеваем. 252. Другой род комизма — передразнивание; он очень потешен, но для нас допустим только украдкой и вскользь, иначе это будет неблагородно. Третий — гримасничанье, нас недостойное. Четвертый — непристойность, нетерпимая не только в суде, но едва ли и за столом в порядочном обществе. Все эти приемы, неуместные для ораторского дела, мы должны устранить — и тогда останутся только остроты, основанные, как я уже показал, или на предмете, или на слове¹⁰⁸. Если острота остается остротой, какими бы словами ты ее ни высказал, то она основана на предмете; если же с переменной слов она теряет всю свою соль, то юмор ее заключается в словах. 253.

Особенно остры бывают двусмысленности, и основываются они на слове, а не на предмете. Громкого смеха они обычно не возбуждают, но их хвалят как тонкие и ученые остроты. Такова шутка о пресловутом Титии, славном игроке в мяч, которого подозревали в том, что он ночью поломал священные изваяния¹⁰⁹; когда его сотоварищи жаловались, что он не явился к игре, Теренций Веспас¹¹⁰ сказал, словно заступаясь: «Он сломал руку!» Таковы и слова Африкана у Луцилия:

Что же ты, Деций, разгрызть ты хочешь орешек? —
сказал он. 254.

Такова же и острота, Красс, твоего друга Грания: «Разве ему грош цена?» И, если вы хотите знать, записные острословы отличаются главным образом именно в таких шутках, хотя люди гораздо больше смеются остротам другого рода. Дело в том, что двусмысленность очень высоко ценится сама по себе, так как умение придать слову иной смысл, чем обычно принятый, считается признаком выдающегося ума; однако это вызывает скорее восхищение,

чем смех, если только не совмещается с комизмом иного рода. 255.

(63) Я, разумеется, сделаю лишь беглый обзор этих родов комизма. Самый обычный из них, как вы знаете, тот, когда говорится не то, чего ожидаешь. Тут и наша собственная ошибка вызывает у нас смех. А если с этим сочетается и двусмысленность, шутка получается еще острее. Так у Новия¹¹¹ человек, видя, как выводят осужденного должника, с сострадательным видом спрашивает: «Ну а сколько?» — «Тыщу нуммов». Если бы на это он только и ответил: «Уводи», — это было бы смешно из-за неожиданности; но так как он ответил: «Не добавлю, уводи», — то это становится смешно также и из-за двусмысленности, так что эта острота, по-моему, достигает совершенства. А самая блестящая игра слов бывает тогда, когда в пререкании подхватывают слово у противника и обращают его против самого оскорбителя, как это получилось у Катула против Филиппа. 256. Но так как существует множество родов двусмысленности и наука о них полна тонкостей, то подлавливать противника на слове придется с осмотрительностью и сноровкой, уклоняясь от пошлостей (ибо надо остерегаться всего, что может показаться натянутым); и тем не менее, для острого слова здесь будет сколько угодно возможностей.

Другой род смешного возникает в словах при изменении в них одной лишь какой-нибудь буквы; греки называют его парономасией. Таково, например, у Катона его «Nobilior — mobilior»¹¹². Или вот как он же сказал кому-то: «Надо бы погулять» — и на вопрос того: «При чем тут «бы»? — ответил: «Да нет — при чем тут ты?» Или вот его же ответ: «Коль ты распутник спереди и сзади». 257.

Да и истолкование имени бывает остроумно, если по-смешному показать, откуда это имя пошло; так вот я недавно сказал, что Нуммий, раздатчик взяток¹¹³, подобно Неоптолему под Троей, получил свое имя на Марсовом поле. Все это также основано на игре слов. (64) Часто также ловко приводят целый стих или как он есть, или слегка измененный, либо какую-нибудь часть стиха; вот, например, стихи Стация, приведенные негодовавшим Скавром, иные даже говорят, что они-то и подсказали тебе, Красс, твой закон о гражданстве¹¹⁴:

Тсс! Молчите, что за крик тут? Ни отца, ни матери
Нет у вас, а вы дерзите? Заноситься нечего!

Несомненно, очень кстати была и твоя, Антоний¹¹⁵, насмешка над Целием, когда он засвидетельствовал, что у него пропали деньги и что у него беспутный сын, а ты вслед ему заметил:

258 Понятно ль, что на тридцать мин старик надут?

К этому же относится и обыгрывание пословиц; так, когда Азелл¹¹⁶, хвалился, что он воевал во всех провинциях, Сципион ему ответил: «Agas asellum»... и т. д. Так как пословицы теряют свою прелесть при перемене их подлинных слов, надо считать эти остроты основанными не на предмете, а на словах. 259.

Есть еще один род комизма не лишенный соли — это когда ты делаешь вид, что понимаешь что-нибудь буквально, а не по смыслу. Целиком к этому роду относится очень забавный старый мим «Попечитель». Но я не о мимах — я привел его только как явный и общеизвестный пример этого рода комизма. К этому же роду относится и то, что ты, Красс, недавно сказал тому, кто спросил, не беспокоит ли он тебя, если придет к тебе еще досветла: «Нет, ты меня не беспокоишь». «Значит, — сказал тот, — прикажешь тебя разбудить?» 260. А ты: «Да нет: я же сказал, что ты меня не беспокоишь». В этом же роде и та шутка, которую приписывают известному Сципиону Малугинскому¹¹⁷, когда он от своей центурии должен был голосовать на консульских выборах за Ацидина и на слова глашатая «Скажи о Луции Манлии»¹¹⁸ заявил: «По-моему, человек он неплохой и отличный гражданин». Смешно и то, что ответил Луций Назика цензору Катону¹¹⁹ на его вопрос: «Скажи по совести, у тебя есть жена?» — «По совести, да не по сердцу». Такие шутки часто бывают пошлы; остроумны они тогда, когда они неожиданны. Ибо, как я уже сказал, мы от природы склонны потешаться над собственными ошибками и оттого смеемся, обманутые, так сказать, в своих ожиданиях. 261.

(65) Комизм возникает также из речи иносказательной или при переносном или при ироническом употреблении слов. Из иносказания — как некогда Руска, внося законопроект о возрастном цензе, отвечал своему противнику Марку Сервилию¹²⁰. Тот спросил: «Скажи мне, Марк Пинарий, неужели, если я буду тебе возражать, ты станешь ругать меня так же, как ругал других?» — «Что посеял, то и пожнешь», — сказал Руска. 262. Из переносного значения —

как то, что сказал славный Сципион Старший коринфянам, обещавшим поставить ему статую рядом со статуями других полководцев: «Я не охотник до конного строя»¹²¹. А ироническое употребление слов видно из того, что сказал Красс, защищая Акулеона¹²² перед судьей Марком Перперной¹²³. Против Акулеона и за Гратидиана выступал Луций Элий Ламия¹²⁴, известный урод; когда он стал невыносимо пребывать Красса, тот сказал: «Послушаем этого красавчика». Все засмеялись, а Ламия сказал: «Я не отвечаю за свою наружность, я отвечаю за свой ум». На что Красс заметил: «Так послушаем же этого краснобая» — и все еще сильнее засмеялись. 263.

Наконец, отменным украшением речи бывают словесные противоположения, которые всегда приятны, а часто даже и в серьезных и в шутливых высказываниях (ведь я уже говорил, что у серьезного и смешного законы разные, но истоки одни и те же). Так, когда известный Сервий Гальба предложил народному трибуну Луцию Скрибонию в судьи своих друзей, а Либон сказал ему: «Когда же ты, Гальба, выйдешь из своей столовой¹²⁵?» — он ответил: «Сейчас же, как ты из чужой спальни». Немногим отличается и то, что сказал Главкия Метеллу¹²⁶: «Дача у тебя в Тибуре, скотный двор на Палатине». 264.

[*Смешное в предметах.*] (66) Ну, мне кажется, я довольно сказал об остротах, обыгрывающих слова. Острот, обыгрывающих предметы, больше, и, как я говорил, смеются им тоже больше. Здесь приходится рассказывать забавные истории, а это нелегко: надо, чтобы все было представлено наглядно, чтобы все казалось правдоподобным, как водится в рассказе, и в то же время было легкомысленным, вызывая смех. Кратчайшим примером этого может послужить приведенный мной выше рассказ Красса о Меммии. 265. К этому же роду надо отнести притчи; кое-что берется даже из истории, например, когда Секст Титий сравнил себя с Кассандрой¹²⁷, Антоний сказал: «Многих я могу назвать твоих Оилеевых Аяксов».

Комизм предметов выявляется также и уподоблением с помощью сравнения или прямого изображения. К сопоставлению прибег некогда Галл¹²⁸, выступая свидетелем против Пизона¹²⁹ и утверждая, что тот давал уйму денег префекту Магию¹³⁰. Скавр возражал, указывая на бедность Магия. «Да нет, Скавр, — сказал на это Галл, — я ведь не говорю, что Магий приберег эти деньги; просто он, как голыш,

рвущий орехи, унес их в брюхе». Точно так же старый Марк Цицерон¹³¹, отец превосходного мужа, нашего друга, сказал, что наши современники подобны выставленным на продажу сирийцам: «кто лучше всех знает по-гречески, тот и есть величайший негодяй». 266. Изображение каких-нибудь уродств или телесных недостатков путем уподобления их чему-нибудь еще более отвратительному также вызывает бурный смех. Так я однажды сказал Гельвию Манции¹³²: «Вот я покажу, каков ты!» — и на его: «Ну-ка, покажи!» — я указал пальцем на галла, нарисованного на кимбрском щите¹³³ Мария у Новых лавок¹³⁴, скрюченного, с высунутым языком, с отвислыми щеками. Поднялся смех, сходство с Манцией было прямо невиданное. Или вот словцо о Тите Пинарии¹³⁵, который, когда говорит, кривит подбородок: «Коль ты вздумал говорить, разгрызи уж сначала свой орешек». 267.

Сюда относится и всякое преуменьшение или преувеличение предметов, возбуждающее изумление и восторг, — вот как ты, Красс, сказал в одной речи перед народом: «Настолько велик кажется самому себе Меммий, что, сходя на площадь, наклоняет голову, чтобы пройти под Фабиевой аркой¹³⁶». В этом же роде Сципион, говорят, выразился, побранившись с Гаем Метеллом¹³⁷ под Нуманцией: «Если твоя мать родит в пятый раз, она родит осла!» 268.

Метким бывает также и намек, когда какая-нибудь мелочь, подчас одно лишь слово, разом раскрывает что-нибудь темное и тайное. Так, когда Публий Корнелий, считавшийся человеком жадным и вороватым, однако же храбрцом и хорошим полководцем, благодарил Гая Фабриция¹³⁸ за то, что тот, его враг, выдвинул его в консулы, да еще во время большой и тяжелой войны, Фабриций сказал: «Нечего тебе меня благодарить, просто я предпочел быть ограбленным, чем проданным в рабство». А вот как ответил Африкан Азеллу, осуждавшему его за несчастливое завершение цензорского пятилетия: «Нечему тут удивляться, ведь завершил ценз и принес в жертву быка тот, кто возвысил тебя из эрариев». Так велико было подозрение, что Муммий¹³⁹ навлек на государство гнев богов тем, что снял бесчестие с Азелла. 269.

(67) Есть также особое утонченное притворство, когда говорится иное, чем думаешь; не в том роде, о каком я говорил раньше, когда говоришь прямо противоположное, как сказал Красс Ламии, но когда с полной серьезностью

дурачишь всей своей речью, думая одно, а произнося иное. Так наш Сцевола сказал пресловутому Суптумулею¹⁴⁰ из Анагнии, которому заплатили на вес золота за голову Гая Гракха и который напрашивался у Сцеволы на должность его префекта в Азию: «Да ты с ума сошел! К чему это тебе? В Риме столько злонамеренных граждан, что я ручаюсь: если ты в нем останешься, то за несколько лет составишь себе огромное состояние». 270. Фанний¹⁴¹ в своей «Летописи» говорит, что большим мастером таких насмешек был Африкан Эмилиан, которого он называет греческим словом *εἴρων* (притворщик); но, согласно с теми, кто это лучше знает, я полагаю, что тоньше всех и изящнее всех в этой иронии или притворстве был Сократ. Это род изысканный, полный и серьезности и соли, подходящий как для ораторских выступлений, так и для светских бесед. 271. Ведь по чести сказать, все те остроумные приемы, о которых я рассуждаю, годятся в приправу к любой беседе не меньше, чем для выступлений в суде. Недаром у Катона, собравшего множество изречений, из которых я немало беру для примера, есть, на мой взгляд, очень меткое выражение, которое Гай Публиций частенько применял к Публию Муммию¹⁴²: «Это человек на любой случай». Так, конечно, и обстоит дело: во всех, без исключения, случаях жизни следует быть тонким и изящным. Но возвращаюсь к остальному. 272.

Очень близко к этому притворству то, когда что-нибудь порочное называется словом почетным. Так, когда Африкан в бытность цензором исключил из трибы центуриона, не принявшего участия в битве консула Павла¹⁴³, а тот оправдывался, что остался охранять лагерь, и спрашивал, за что Африкан его унизил, то последний ответил: «Я не люблю чересчур благоразумных». 273. Остроумно бывает и то, когда извлекаешь из речи другого иной смысл, чем тот в нее вкладывал. Таковы слова Максима Салинатору: известно, что Ливий Салинатор, потеряв Тарент, все-таки удержал городскую крепость и совершил из нее много блестящих вылазок; и когда через несколько лет Фабий Максим¹⁴⁴ взял этот город обратно, то Салинатор просил его помнить, что только благодаря ему, Салинатору, он взял Тарент; но Максим ответил: «Как же мне этого не помнить? Я бы никогда не взял, если бы ты его не потерял». 274.

Такие остроты бывают и глуповатыми, но часто именно

поэтому и смешными; и они годятся не только для скоморохов, но порой и для нас:

— Вот дурак:

Лишь начал богатеть, как уж и помер вдруг.

Или

— А кто ж она тебе?

— Супруга. — Право, оба на одно лицо!

Или

— А вот на водах он не помирал никак¹⁴⁵.

(68) Повторяю, этот род — вздорный и скоморошеский, но иной раз он уместен и у нас, когда, например, человек неглупый скажет что-нибудь как будто и глупо, но с солью. Так, когда тебя, Антоний, после твоего цензорства обвинил в подкупе Марк Дуроний, то Манций, услышав об этом, сказал тебе: «Ну вот, наконец-то тебе можно будет заняться твоим делом». 275. Так и всегда, когда человек разумный говорит что-нибудь по видимости нелепое, но с солью, это вызывает громкий смех. К этому роду относится и такой прием, когда кажется, что ты не понимаешь того, что тебе понятно. Так Понтидий¹⁴⁶ на вопрос: «Как бы ты назвал человека, который застигнут в прелюбодеянии?» — ответил: «Увальнем!» Так, когда Метелл набирал войско и не принимал во внимание моих ссылок на слабость моего зрения, он сказал: «Ты что же, ничего не видишь?» 276. А я ответил: «Да нет, твою, например, дачу я вижу от самых Эсквилинских ворот¹⁴⁷». Таков и ответ Назики¹⁴⁸. Он пришел к поэту Эннию и окликнул его от входа. Служанка сказала, что его нет дома. Но Назика понял, что так ей велел сказать хозяин, хоть сам он и дома. Через несколько дней Энний в свою очередь пришел к Назике и окликнул его от двери, Назика кричит, что его нет дома. «Как? — удивляется Энний. — Будто я не узнаю твоего голоса?» А Назика: «Ах ты, бесстыдник! Когда я тебя звал, я даже служанке твоей поверил, что тебя нет дома, а ты не хочешь поверить мне самому?» 277.

Отлично выходит также, когда отвечаешь кому-нибудь на насмешку в его же насмешливом тоне. Так, когда бывший консул Квинт Оппимий, пользовавшийся в ранней молодости дурною славой, сказал весельчаку Эгилию¹⁴⁹, женственному только на вид: «Ах ты, моя Эгилия, когда ты придешь ко мне со своей пряслицей и куделью?» — тот откликнулся: «Ах, я, право, не смею, ведь мама запретила мне ходить к распутницам!» 278.

(69) Остроумны и такие высказывания, в которых шутка скрыта и только подразумевается. Так сострил один сицилиец, которому приятель пожаловался, что его жена повесилась на смоковнице: «Умоляю, одолжи мне черенков от этого дерева!» В том же роде был и ответ Катула одному плохому оратору, который думал концовкой речи вызвать в публике жалость; когда он сел и спросил у Катула: «Неправда ли, я возбудил жалость?» — «Еще какую! — ответил тот. — По-моему, даже самому черствому человеку твоя речь должна была показаться жалкой». 279.

Признаюсь, меня очень забавляют даже шутки сердитые и чуть-чуть раздраженные, только, конечно, не в устах раздражительного человека, потому что тогда уже забавляешься не шуткой, а им самим. В этом роде, на мой взгляд, хороша острота Новия:

— Зачем рыдать, отец?

— А что же, петь мне? Ведь со мной покончено.

Полную противоположность этому представляют шутки кроткие и мягкие. Так, например, когда Катона зашиб кто-то своим сундуком и крикнул: «Берегись», Катон спросил: «Разве у тебя кроме сундука еще что-то есть?» 280.

Остроумно бывает также посмеяться над глупостью. Так, претор Сципион предлагал одному сицилийцу в защитники своего хозяина, человека знатного, но изрядно глупого; а сицилиец возразил: «Пожалуйста, претор, ты его дай в защитники моему противнику, а мне тогда можешь не давать никакого».

Забавно бывает и то, когда что-нибудь объясняется совсем не так, как оно есть на самом деле, однако остроумно и метко. Так, когда Скавр после выборов обвинял Рутилия в подкупе¹⁵⁰, хотя сам попал в консулы, а Рутилий провалился, то он указывал на буквы Н.С.П.Р. в его счетных записях и говорил, что это значит: «На счет Публия Рутилия»; а Рутилий утверждал, что это значит: «Накануне сделано, после разнесено». Тут Гай Каний, римский всадник, защищавший Руфа, воскликнул, что это не означает ни того, ни другого. «Так что же это значит?» — спросил Скавр. — «Надул Скавр, платится Рутилий». 281.

(70) Вызывают смех и несообразности вроде такой: «Чего ему недостает, помимо богатства и доблести?» Превосходны также и дружеские порицания якобы за сделанную ошибку — так Граний ругал Альбия за то, что тот радовался

оправданию Сцеволы, не поняв, что приговор был вынесен наперекор его собственным счетным книгам, на которые пытался сослаться Альбуций¹⁵¹. 282. На это похожи и дружеские увещания и советы вроде того, какой подал Граний плохому защитнику, охрипшему во время речи: Граний посоветовал ему сейчас же по приходе домой выпить холодного вина с медом. «Так я же потеряю от этого голос!» — сказал тот. 283. «Лучше потерять голос, чем подзащитного», — возразил Граний. Превосходно также, когда замечание бывает как раз в духе того, к кому обращаешься. Так, когда Скавр, на которого сильно злобились за то, что он без всякого завешания завладел богатством Фригиона Помпея¹⁵², присутствовал в суде как заступник Бестии¹⁵³, обвинитель Гай Меммий, увидав, как несут кого-то хоронить, сказал: «Смотри-ка, Скавр, тащат покойника: нет ли тут тебе поживы?» 284.

Но из всех этих приемов нет ничего смешнее, чем неожиданность. Примеры ее бесчисленны. Таково замечание известного Аппия Старшего во время обсуждения в сенате вопроса об общественных землях и закона Тория¹⁵⁴, когда сенаторы обвиняли Лукулла¹⁵⁵ в том, что его стада пасутся на общественной земле: «Ошибаетесь, — сказал Аппий, — это стада не Лукулловы, — казалось, он защищает Лукулла, — я считаю их вольными: они пасутся на вольной земле». 285. Нравится мне и замечание Сципиона (того, который расправился с Тиберием Гракхом): когда Марк Флакк¹⁵⁶, нанеся ему множество оскорблений, предложил в судьи Публия Муция: «Клянусь, я против, — сказал Сципион, — он несправедлив». Послышался ропот. «Ага, отцы сенаторы, — воскликнул Сципион, — значит, он несправедлив не только ко мне, но и ко всем вам!». А у нашего Красса самое остроумное замечание было вот какое: свидетель Сил оскорблял Пизона, утверждая, что слышал о нем дурное. «Может быть, тот, от кого ты это слышал, — спросил Красс, — был сердит на Пизона?» Сил согласился. «Может быть, ты не совсем точно его понял?» Сил и с этим полностью согласился. «А может быть, ты и вовсе не слышал всего, что ты будто бы слышал?» Это было настолько неожиданно, что общий хохот обрушился на свидетеля. Таких примеров сколько угодно и у Новия: всем известно его

Коли замерзнешь, друг-мудрец, — дрожать начнешь,

да и многое другое. 286.

(71) Часто можно не без остроумия уступить противнику то, что он у тебя отнимает, — вот как сделал это Гай Лелий, когда какой-то безродный человек сказал, что он недостоин своих предков. «Зато уж ты, — сказал Лелий, — право, вполне достоин своих!» Часто также насмешкам придают вид ходячих выражений, как, например, сделал Марк Цинций в день внесения им закона о дарах и подарках, когда выступил Гай Центон и довольно ядовито спросил: «Что там у тебя такое, милейший Цинций¹⁵⁷?» — «Налетай, раскупай, Гай¹⁵⁸!» — отозвался Цинций. 287. Часто бывают остроумны также несбыточные пожелания: так, например, когда другие упражнялись на Марсовом поле, то Марк Лепид¹⁵⁹ разлегся на траве и заявил: «Вот так бы, по мне, и работать!» Соль есть и в том, чтобы на самые неотступные вопросы и просьбы спокойно ответить отказом, подобно цензору Лепиду, когда он лишил коня¹⁶⁰ Марка Антистия из Пиргов¹⁶¹, а его друзья с громкими криками спрашивали, что же ему ответить отцу на вопрос, почему отнят конь у него, превосходного сельского хозяина, такого бережливого, такого скромного, такого домовитого? «Пусть ответит, — сказал Лепид, — что я ни на грош этому не верю». 288.

Греки насчитывают еще несколько разделов смешного: проклятия, изумления, угрозы. Но, пожалуй, я уж и так разделил все это на слишком много родов. Ибо только комизм, порожденный силой и смыслом слов, бывает ясным и определенным; однако, как я уже сказал, такой комизм обычно ценится высоко, но смеху возбуждает мало. 289. А комизм, заключенный в предмете и мысли, при всем разнообразии своих видов родов имеет не много. А именно, смех возбуждается обманутым ожиданием, насмешливым и забавным изображением чужих характеров, сравнением безобразного с еще более безобразным, иронией, собственной притворной глупостью и обличением чужой настоящей глупости. Поэтому кто желает говорить остроумно, тот должен иметь подходящее дарование и характер, чтобы даже выражение лица его передавало любые оттенки смешного; и чем строже и суровее при этом будет его лицо, — вот как у тебя, Красс! — тем более в словах окажется соли. 290.

Но ты, Антоний, сказав, что моя речь послужит тебе желанным укрытием для отдыха, укрылся точно в Помптин¹⁶², место и неудобное и нездоровое; и теперь, я думаю, ты уже считаешь себя достаточно передохнувшим и готовым закончить оставшийся тебе путь.

[*Заключение вопроса о нахождении.*] — Разумеется, — ответил Антоний, — ты ведь меня и ласково принял, и я стал благодаря тебе и учение и еще смелее на шутки. Я ведь уже не опасаюсь, что кто-нибудь меня сочтет за это легкомысленным, раз ты подкрепил меня именами Фабрицийев, Африканов, Максимов, Катонов, Лепидов. 291. Но вы уже слышали от меня главное, что вы хотели; правда, об этом следовало бы сказать более тщательно и обдуманно. А все остальное гораздо проще и вытекает целиком из того, о чем уже сказано.

(72) Итак, когда я взялся вести дело и по мере сил разобрал его мысленно, когда я рассмотрел и изучил основания дела и те доводы, какими можно привлечь и какими можно взволновать судей, тогда я устанавливаю, какие в моем деле стороны выгодные и какие невыгодные. Ибо нет, пожалуй, такого предмета разбирательства или спора, в котором бы не было и тех и других сторон; вопрос в том, каких больше и каких меньше. 292. А затем мой обычный способ речи состоит в том, чтобы охватить все выгодные стороны, приукрасить их, приумножить; на них я останавливаюсь, на них задерживаюсь, на них сосредоточиваюсь; а от слабых и неблагоприятных для дела искусно уклоняюсь, — не так, чтобы это казалось бегством, но так, чтобы полностью скрыть и затмить все невыгодное, украсив и приумножив все выгодное. И если дело решается доказательствами, я поддерживаю самые из них сильные, будь их несколько или хотя бы одно; если же дело решается благосклонностью или взволнованностью судей, я обращаю все внимание на то, что больше всего может повлиять на настроение людей. 293. Словом, в этого рода выступлениях самое важное вот что: если речь может оказаться сильнее при опровержении противника, чем при утверждении наших собственных доводов, я все свои стрелы обращаю против него; если же проще доказать наши, чем разбить чужие, я стараюсь отвлечь внимание от защиты противника и привлечь к себе. 294. Наконец, я применяю по своему усмотрению два явно простейших приема, так как более сложные мне недоступны. Один из них состоит в том, что против всякого неудобного и трудноопровержимого довода я иной раз совсем никак не возражаю. Над этим можно, пожалуй, и посмеяться: кому же это недоступно? Но ведь я рассуждаю сейчас о своих, а не о чужих способностях! Сознаюсь, что если меня сильно теснят, и я отступаю, то

я не подаю вида, что бегу, и не только не бросаю щита, но даже не откидываю его за спину; нет, речь моя звучит гордо и пышно, как будто я продолжаю бой, и кажется, что я отступил в мое укрытие не для спасенья от врага, но для выигрыша положения. 295. А вот другое мое правило: я считаю, что всякий оратор должен его держаться с особой зоркостью и щепетильностью, — а я-то пекусь больше всего: я всегда стараюсь не столько помочь клиенту, сколько не повредить ему. Конечно, это не значит, что не следует добиваться и того и другого сразу; но все-таки для оратора не так стыдно оказаться бесполезным, как стыдно погубить собственное дело.

(73) — Но о чем это вы там, Катул? Или вы с полным основанием решили, что все это вздор?

— Да нет, что ты, — ответил тот, — просто Цезарь, кажется, хочет что-то сказать по этому поводу.

— Пожалуйста, — сказал Антоний, — пусть он скажет, на что он хочет возразить и о чем спросить. 296.

— Честное слово, Антоний, — сказал на это Юлий, — я первый всегда хвалил тебя как оратора за то, что речи твои всегда так осторожны, и в особенности за то, что ты никогда ни единым словом не повредил человеку, которого ты защищаешь. Я отлично помню, как однажды у нас с Крассом завязалась беседа в присутствии многих слушателей и Красс всячески восхвалял твое красноречие; и тогда сказал я, что едва ли не лучшее из всех твоих достоинств — это умение не только говорить то, что нужно, но и не говорить того, что не нужно. 297. И я помню, как он мне ответил, что все в тебе заслуживает похвал, но не это, ибо только человек негодный и коварный способен сказать лишнее и во вред тому, кого он защищает. Поэтому не тот оратор хорош, кто этого не делает, а, скорее, тот, кто это делает, — негодяй. И вот, если ты не против, Антоний, мне теперь хотелось бы, чтобы ты объяснил, почему ты считаешь таким важным и даже самым важным для оратора — не повредить собственному делу. 298.

(74) — Хорошо, Цезарь, — отвечал Антоний, — я скажу, что я имею в виду; но и ты и вы все не забывайте, что я все время говорю не о каком-нибудь божественно совершенном ораторе, а только о моем собственном, весьма посредственном опыте и навыке. Ответ Красса — это, конечно, ответ человека исключительно и блестяще одаренного, которому кажется прямо чудовищным, что бывают на свете

ораторы, которые своей речью могут принести подзащитным какой-нибудь ущерб и вред. 299. Ведь он судит по себе, а дарование у него такой силы, что он и подумать не может, чтобы кто-нибудь стал говорить против самого себя, разве что нарочно. Но я-то сейчас рассуждаю не о какой-то выдающейся и необычайной, но о самой обыкновенной и заурядной человеческой способности. Известно, например, каким невероятным величием разума и дарования отличался у греков знаменитый афинянин Фемистокл. Однажды, говорят, к нему явился какой-то ученый¹⁶³, из самых лучших знатоков, и предложил научить его искусству памяти, которое тогда было еще внове. Фемистокл спросил, что же может сделать эта наука, и ученый ему ответил — все помнить. 300. И тогда Фемистокл сказал, что ему приятно было бы научиться не искусству помнить, а искусству забывать что захочется. Видите, какой силы и проницательности было его дарование, какой могучий был ум у этого человека? По его ответу мы можем понять, что из его души, как из крепкого сосуда, ничто налитое не могло просочиться наружу, раз только ему желаннее было бы уметь забывать что не нужно, чем помнить все, что он слышал или видел. Но как из-за этого ответа Фемистокла нам не следует пренебрегать памятью, так из-за замечательных способностей Красса не следует презирать мою осторожность и опасливость. Ведь ни тот, ни другой не прибавили мне моих способностей, а только обнаружили свои собственные. 301.

А при ведении дел нам приходится соблюдать очень большую осторожность в каждом разделе речи, чтобы ни на что не споткнуться, ни на что не налететь. Свидетель часто бывает для нас безопасен или почти безопасен, если только его не задевать; но нет, — просит подзащитный, донимают заступники, требуют напуститься на него, изругать его, хотя бы допросить его; я не поддаюсь, не уступаю, не соглашаюсь, но никто меня за это даже не похвалит, ибо люди несведущие скорее склонны упрекать тебя за глупые слова, чем хвалить за мудрое молчание. 302. А ведь беда задеть свидетеля вспыльчивого, неглупого, да к тому же заслуженного: воля к вреду у него во вспыльчивости, сила в уме, вес в заслугах. И если Красс не делает тут ошибок, это не значит, что их не делает никто и никогда. Я не могу себе представить ничего более позорного, чем когда после каких-нибудь слов, или ответа, или вопроса

следует такой разговор: «Прикончил!» — «Противника?» — «Как бы не так! Себя и подзащитного». 303. (75) Красс считает, что это можно сделать только злонамеренно, но я сплошь и рядом вижу, как в судебных делах приносят вред люди совершенно не зловерные. Да, я признаюсь: когда противник меня теснит, я обычно отступаю и попросту бегу. Ну, а когда другие вместо этого рыщут по вражьему лагерю, бросив свои посты, разве мало они вредят делам, укрепляя средства противников или раскрывая раны, залечить которые они не в состоянии? 304. Ну а когда они не имеют понятия о людях, которых защищают, поэтому, умаливая их, не смягчают озлобления против них, а, восхваляя их и превознося, его еще более разжигают, — сколько они в конце концов приносят этим зла? Ну а если без всяких оговорок ты слишком язвительно и оскорбительно нападаешь в речи на людей уважаемых и любезных судьям, разве ты не отвращаешь от себя судей? Ну а если у одного или нескольких судей есть какие-нибудь пороки или недостатки, а ты за те же пороки попрекаешь своих противников, не понимая, что этим ты нападаешь на судей, — разве это пустяковый промах? 305. Ну а если ты, говоря в защиту другого, сводишь собственные счеты или, бешено всплыв, забудешь в раздражении о деле, — ты ничему не повредишь? Меня самого считают чересчур терпеливым и вялым — не потому, что я охотно сношу оскорбления, но потому, что неохотно забываю о деле, — вот, например, когда я делал замечание тебе, Сульпиций, за то, что ты нападал не на противника, а на его поверенного. 306. Но благодаря этому я добиваюсь еще и того, что всякий, кто меня поносит, кажется задирой и чуть ли не сумасбродом. Ну а если, наконец, в приводимых тобой доказательствах есть или явная ложь, или противоречие тому, что ты сказал или скажешь, или что-то вообще не имеющее отношения к суду и форуму, разве ты всем этим несколько не вредишь делу? Что же еще? Вот и я стараюсь, как я постоянно говорю, всегда и всеми силами принести своими речами хоть какую-нибудь пользу или уж по крайней мере не вред. 307.

[Расположение.] (76) Итак, я возвращаюсь теперь к тому, Катул, за что ты меня перед этим хвалил: к порядку и расположению предметов и к расположению источников доказательств. Для этого имеется два способа; один зависит от характера дел, другой привносится по расчету и соображению ораторов. А именно: сначала сделать вступление,

затем объяснить дело, потом доказать его правоту, укрепляя наши доводы и опровергая противные, и закончить заключением и концовкой, — все это определяется самой природой красноречия. 308. Но как установить то, что надо сказать для осведомления и доказательства, и каким образом все это расположить — это, конечно, зависит всецело от соображения оратора. Ведь в голову приходит много доказательств, много таких доводов, какие кажутся полезными; но частью они бывают настолько незначительны, что ими можно пренебречь, а частью они хоть и полезны, но содержат какое-нибудь слабое место, и вся их польза не стоит возможного вреда. 309. Если же имеются и полезные и основательные доводы, однако, как это часто бывает, их уже очень много, то самые незначительные из них или однородные с доводами более вескими следует, я полагаю, отделять и устранять из речи. Я по крайней мере при подборе доказательств для моих дел приучился не столько их подсчитывать, сколько взвешивать. 310.

(77) Я уже не раз говорил, что мы склоняем людей к нашему мнению тремя путями — или убеждая их, или привлекая, или возбуждая; но из этих трех путей лишь один должен быть на виду: пусть кажется, что мы стремимся только к убеждению; остальные же два наших средства, подобно крови в жилах, должны струиться по всему составу речей. Ибо и вступления и остальные разделы речи, о которых мы скажем немного позже, должны быть направлены целиком на то, чтобы воздействовать на наших слушателей. 311. Однако не только во вступлениях и концовках самое удобное место для тех разделов речи, которые ничего не доказывают доводами, но очень многого достигают путем убеждения и возбуждения: часто для того, чтобы воздействовать на чувства слушателей, бывает полезно также делать отступления от того, что ты предлагаешь и к чему ведешь. 312. Такие отступления для возбуждения чувств часто бывают уместны или после изложения и объяснения дела, или после укрепления наших доказательств, или после опровержения противных, или и там и там, или, наконец, в любом месте, если материала много и дело того заслуживает; и как раз такие дела, какие дают больше всего поводов для отступления, позволяющих разжигать или обуздывать слушателей, всегда бывают самыми достойными и выгодными для ораторского распространения и украшения. 313.

Порицаю я и тех, кто при расположении помещает на

первое место доводы наименее сильные; а также считаю и всегда ошибкой брать себе несколько защитников¹⁶⁴ да еще заставлять выступать первым из них того, кого считают самым слабым. Ибо требуется как можно скорей утолить ожидание слушателей; если же этого не сделать в самом начале, то придется положить на это гораздо больше труда в дальнейшем; и горе тому делу, о котором сразу, с первых же слов, не составится выгодного мнения. 314. Поэтому как и лучшему из ораторов, так и сильнейшему из доводов речи надо быть на первом месте; однако и в том и в другом случае следует приберечь веские доводы и для заключения, а доводы средней силы (о слабых даже не говорю — им здесь и вовсе не место) смешать и согнать в середину. 315.

И только после того как все это учтено, я начинаю наконец обдумывать, каким воспользоваться мне вступлением; ибо если я пытаюсь сочинить его заранее, мне не приходит в голову ничего, кроме либо ничтожного, либо вздорного, либо дешевого, либо пошлого. (78) А между тем вступительные слова всегда должны быть не только отделанными, острыми, содержательными и складными, но, кроме того, и соответствующими предмету. Ведь первое-то понятие о речи и расположение к ней достигаются именно ее началом, и поэтому оно должно сразу привлечь и привлечь слушающего. 316. Тут я всегда удивляюсь одному оратору — не из тех, конечно, кто вообще об этом не заботится, но человеку исключительно речистому и образованному: Филиппу. Филипп обычно так приступает к речи, точно не знает, с какого бы слова ему начать, и объясняет, что привык вступать в бой только тогда, когда разомнет себе руку. Он не замечает, что даже те, от кого он и берет свое сравнение, для того поначалу лишь слегка играют копьями, чтобы этим и соблюсти как можно большее изящество и приберечь свои силы. 317. Никто не говорит, что приступ к речи должен быть непременно страстным и задорным; но если даже в гладиаторской битве не на жизнь, а на смерть, где все решает меч, все-таки до окончательной схватки многое делается не для нанесения ран, а только для виду, то насколько же это важнее в речи, от которой требуют не столько силы, сколько увлекательности! Да и во всей природе нет ничего, что развилось бы и развернулось внезапно целиком и во всей полноте: все, что возникает и что совершается стремительно и бурно, сама природа подготавливает более спокойным началом. 318. К тому же вступ-

ление к речи следует заимствовать не откуда-нибудь извне, но брать его из самого нутра дела. Поэтому, только тщательно обдумав и рассмотрев все дело в целом, только подыскав и подготовив все источники доказательств, можно подумать и о том, какое начало следует применить. 319. Сделать это будет легко: ведь брать придется из того, что в изобилии найдется либо в доказательствах, либо в тех отступлениях, к которым, я сказал, часто надо бывает прибегать. Только такие вступления и будут полезны, которые почерпнуты из самых глубин защиты: они-то и окажутся не только не пошлыми или пригодными для любых дел, но прямо-таки расцветшими из недр обсуждаемого дела. 320.

(79) Во всяком начале речи надо будет или наметить содержание всего разбираемого в целом, или укрепить подступы к делу, или придать ему красоту и достоинство. Но при этом следует, чтобы вступления так же соответствовали предмету, как преддверия и входы соответствуют размерам домов и храмов: поэтому в делах малых и непривлекательных бывает лучше начинать прямо с главного. 321. Когда же выступление будет необходимо, — а это будет в большинстве случаев, — тогда можно будет повести его, начав либо с ответчика, либо с противника, либо с предмета дела, либо с тех, перед кем оно разбирается. Начинать с ответчика («ответчиками» я называю тех, кто ответствен за судебное дело) нужно, показывая его человеком благонамеренным, благородным, злополучным, достойным сострадания и этим обличая несправедливость обвинения; начинать с противника, — показывая приблизительно противоположное, но исходя из тех же источников доказательства; 322. начинать с предмета дела, — если обвинение жестоко, если чудовищно, если невероятно, если незаслуженно, если мерзко, если неблагодарно, если недостойно, если неслыханно, если непоправимо и неизлечимо; а начинать с тех, перед кем оно будет разбираться, — чтобы сделать их благосклонными и благомыслящими, что успешнее достигается ведением дела, чем просьбами. Конечно, этой заботой должна быть пропитана вся речь насквозь, особенно под конец; но тем не менее в таком роде составляются и многие вступления. 323. Греки советуют в самом начале речи добиться от судьи внимания и понимания, что очень полезно; правда, это присуще не только началу, но и остальным разделам речи; однако в начале речи это легче, потому что ожидание делает судей гораздо внимательнее, а может быть, и по-

нятливей, так как и доказательства и опровержения ярче выделяются во вступлениях, чем в середине речи. 324. А изобильнейшие средства, которыми вступление должно привлечь или подогнать судью, мы почерпнем из тех источников возбуждения умов, какие окажутся в деле; вначале, однако, их не надо будет использовать все полностью, а сперва только слегка подталкивать ими судью, чтобы, когда он уже склонится, налечь на него остальной речью. 325. (80) И пусть начало будет связано с последующей речью не так, как еле прилаженная прелюдия какого-нибудь кифареда, а как часть тела, неотделимая от всего целого; а то вот некоторые, исполнив такую тщательно обдуманную прелюдию, переходят к остальному так, словно у них и желания нет, чтобы их слушали. Такое вступление не должно быть таким, как у гладиаторов-самнитов, которые перед схваткой потрясают своими копьями, а в самой схватке ими не пользуются¹⁶⁵; нет, те же самые вступительные мысли, какие играли во вступлении, должны и участвовать в схватке. 326.

Повествование, согласно с правилами, должно быть кратким. Если краткостью называть то, в чем нет ни одного слова лишнего, то краток слог Луция Красса; если же краткость состоит в том, чтобы все слова были только самыми необходимыми, то такая краткость требуется лишь изредка, обычно же очень мешает изложению, — не только потому, что делает его темным, но и потому, что унижает самое главное достоинство рассказа — его прелесть и убедительность. Например:

Вот вышел он из отроческих лет...

327. Какой тут длинный рассказ! — поведение самого юноши, вопросы раба, смерть Хрисиды, лицо, красота и рыдания сестры, не говоря уже обо всем остальном; сколько в этом рассказе и прелести и разнообразия! Если же поэт добивался бы здесь вот такой краткости —

Выносят, вышли, все идем на кладбище,
Кладут ее на пламя¹⁶⁶, —

ему для всего рассказа хватило бы десяти стишков. Впрочем, даже «Выносят, вышли» сжато здесь не ради краткости, а больше ради картинности: ведь если даже было бы только «Кладут ее на пламя», и то все было бы ясно и очевидно. 328. Но рассказ выигрывает и в живости, когда он распределен между лицами и перемежается их разговорами;

он становится правдоподобнее, когда ты объясняешь, каким образом случилось то, о чем ты говоришь; и он бывает гораздо яснее и понятнее, если иной раз приостанавливаться и не так уж спешить его сократить. 329. Рассказ ведь должен быть так же ясен, как и все остальное в речи, но как раз здесь достигнуть этого не так легко: рассказывая обстоятельства дела, труднее бывает избежать неясности, чем во вступлении, в доказательстве или в заключении. А неясность здесь даже опаснее, чем в ином разделе речи, — либо потому, что, коль в каком-нибудь другом месте что-нибудь сказано не очень ясно, проигрывает только это место, неясный же рассказ затемняет всю речь целиком; либо из-за того, что коль ты сказал о чем другом не ясно в одном месте, то можешь выразиться понятнее в другом месте, для рассказа же в речи есть только одно-единственное место. А ясность рассказа состоит в том, чтобы пользоваться обыкновенным языком, говорить по порядку и не допускать перебоев. 330.

(81) Когда применять и когда не применять рассказ, — это дело сообразительности. Без рассказа можно обойтись тогда, когда все обстоятельства известны и события бесспорны или же когда о них уже рассказал противник, если только мы не собираемся его оспаривать. А если уж рассказ необходим, не будем в нем нажимать на обстоятельства подозрительные и предосудительные, невыгодные для нас, и даже кое-что замолчим, чтобы не повредить своему делу — не из вероломства, как думает Красс, а просто по глупости. Ибо судьба всего дела зависит от того, осмотрительно оно представлено или нет, так как из рассказа исходит вся остальная речь. 331.

Затем идет определение дела. Здесь прежде всего следует выделить спорный вопрос; а потом надо громоздить доказательства, одновременно и разбирая доводы противника, и подтверждая свои. Ибо, пожалуй, для речи в судебных делах единственный способ убедительного доказательства своей правоты — это подтверждение и опровержение; но так как невозможно ни опровергнуть противных доводов, не подтвердив своих, ни своих подтвердить, не опровергнув тех, то и оказывается, что подтверждение и опровержение едины по их природе, по их значению, по их разработке в речи. 332.

А заключать речь следует по большей части развернутым усилением доводов, либо разжигая судью, либо его смягчая;

и как в предыдущих частях речи, так особенно и в заключении все должно быть направлено к наибольшему возбуждению судей и к нашей пользе. 333.

[Отступление о совещательном и хвалебном красноречии.] Далее нужно сказать, что нет никакого основания выделять особые правила составления речей совещательных или хвалебных, потому что большинство этих правил для всех речей общие. Однако следует помнить: чтобы в чем-либо убедить или разубедить людей, нужно быть человеком большого достоинства и веса. Ибо, подавая совет по важнейшим делам, надобно быть мудрым, добросовестным и речистым, чтобы умно рассуждать, авторитетно доказать и красноречиво убедить. 334. (82) В сенате для этого не требуется пышных слов: ведь это собрание мудрых людей, где надо дать высказаться и многим другим, где не к чему щеголять своим дарованием. Зато народное собрание не только допускает, но и требует речи, полной силы, важности и разнообразия. Итак, в речах совещательных самое необходимое — это достоинство; если кто гонится не за достоинством, а за выгодой, то это значит, что он смотрит не на высшую цель оратора, а только на ее ближайшие последствия. Конечно, всякий признает, особенно в нашем славном государстве, что высшей целью стремлений должно быть достоинство; однако побеждает большею частью выгода, ибо люди боятся, упустив выгоду, потерять и достоинство. 335. Потому-то у людей и бывают такие споры о том, какое решение выгоднее, а если это ясно, то следовать ли выгоде или предпочесть ей достоинство. И так как выгода и достоинство, мы видим, часто противоречат друг другу, то отстаивающий выгоду будет перечислять все преимущества мира, богатства, могущества, доходов, военных сил и всего остального, о чем мы судим по приносимой им выгоде, а затем — все невыгоды противоположного; побуждающий к достоинству будет приводить примеры предков, стяжавших славу наперекор опасностям, и возвеличивать бессмертную память о них в потомстве; он будет отстаивать то, что выгода порождается славой и неразрывно соединена с достоинством. 336. Но и в том и в другом случае следует с особым вниманием следить, что возможно и что невозможно, что неизбежно и чего можно избежать. Ведь когда ясно, что иное невозможно, тогда всякое обсуждение сразу пресекается, а тот, кто об этом предупреждал, пока другие не догадывались, оказывается наиболее прозорливым. 337. Что-

бы дать совет о делах государственных, главное — знать государственное устройство; для того же, чтобы говорить убедительно, надо знать настроение граждан, которое так часто меняется, что приходится постоянно менять и род речи. И хотя суть красноречия всегда неизменна, однако высочайшее достоинство народа, великая важность государственных дел, бурные страсти толпы заставляют нас говорить особенно величавым и блистательным слогом; при этом наибольшая часть речи должна быть направлена к возбуждению чувств: порой — увещанием или каким-нибудь напоминанием разжигать в людях то надежду, то страх, то желанье, то жажду славы, а зачастую — и удерживать их от безрассудства, гнева, надежды, несправедливости, озлобления и жестокости. 338. (83) И так как главной сценой для оратора является, пожалуй, народное собрание, то это, естественно, требует от нас более пышного слога. Такова уж сила многолюдства, что, подобно тому как флейтист не может играть без флейты, так и оратор не может быть красноречив без многолюдного собрания слушателей. 339. Но во избежание многих и разнообразных столкновений с народом не следует доводить его до негодующих возгласов. А это бывает, во-первых, когда в речи что-то сказано неудачно и показалось или грубо, или заносчиво, или непристойно, или низко, или как-нибудь безнравственно; во-вторых, когда народ обижен или озлоблен на оратора или на дело по слухам и наговорам; в-третьих, если предмет речи людям не по вкусу; в-четвертых, если они взволнованы страстью или страхом. Против этих четырех причин имеется столько же лекарств: то выговор, если на него есть право; то увещание — род смягченного выговора; то обещание, что одобряют, если выслушают; то мольба — средство самое слабое, но иной раз полезное. 340. А более всего здесь помогает остроумие, находчивость и коротенькое словцо, произнесенное с достоинством и ловкостью; ведь ничего нет легче, чем отвлечь людей от мрачности, а часто и от злобы удачным, быстрым, метким и веселым словом.

(84) Я по мере сил объяснил вам, чему я обычно следую, чего избегаю, к чему стремлюсь и вообще каким образом действую в речах судебных и совещательных. Не труден и тот третий род, который я вначале исключил из рассмотрения, — род речей хвалебных. 341. Я отстранил его целиком только потому, что существует много видов речей и более важных и более сложных, для которых никто почти

не давал правил, а также потому, что у нас, римлян, такие хвалебные речи вообще не в ходу. Ведь сами греки обычно писали свои хвалебные речи больше для чтения и развлечения или для прославления какого-нибудь человека, чем для таких общественных надобностей, как у нас; таковы их произведения, в которых восхваляются Фемистокл, Аристид, Агесилай, Эпамимонд, Филипп, Александр и другие; а наши хвалебные речи, какими мы пользуемся на форуме, или представляют собой простые свидетельства, короткие и неприкрашенные, или же пишутся для произнесения на похоронах, где совсем не годится похвалиться речью. Но тем не менее иногда и нам приходится пользоваться хвалебными речами, а порой даже писать их, как, например, Гай Лелий написал речь Квинту Туберону¹⁶⁷ для восхваления его дяди Африкана или как мы сами могли бы при желании написать о ком-нибудь восхваление на греческий лад; поэтому исследуем уж и эту область. 342.

Совершенно очевидно, что одному у человека можно лишь позавидовать, а другое следует восхвалять. Родовитость, красота, силы, средства, богатство, все сторонние или телесные дары судьбы сами по себе не заслуживают той истинной хвалы, достойной которой считается единственно доблесть; но тем не менее так как сама доблесть обнаруживается больше всего в разумном пользовании упомянутыми благами, то в хвалебных речах следует говорить и об этих дарах природы и судьбы. Высшей похвалы здесь заслуживает отсутствие надменности при власти, наглости при деньгах, заносчивости при удаче, так что становится очевидным, что могущество и состояние человека поспособствовали развитию не чванства и распущенности, но благожелательности и умеренности. 343. А истинная доблесть, которая сама по себе достойна хвалы и без которой ничто не может быть хвалимо, имеет, однако, много видов, из которых одни более пригодны для восхваления, а другие — менее. Одни доблести обнаруживаются в поведении людей, в их добрых делах и обходительности, другие — в умственной одаренности или в душевном величии и мощи. Так вот, о милосердии, беспристрастии, благожелательности, честности, храбрости в общей беде люди всегда слушают с удовольствием; ведь все эти доблести считаются благотворными не столько для тех, кто ими обладает, сколько для всего рода человеческого. 344. Напротив, мудрость, величие духа, презирающее все земные блага, подлинная

сила ума и мысли, да и само красноречие, — все это вызывает не меньшее изумление, но меньшее удовольствие: ибо ясно, что здесь мы превозносим и чтим больше тех, кого мы восхваляем, чем тех, перед кем мы их восхваляем. Но тем не менее в похвальных речах следует говорить и о таких доблестях, ибо люди любят слушать похвалу не только тому, чем они наслаждаются, но и тому, чем они восхищаются. 345.

(85) И так как у каждой из отдельных доблестей есть свой долг и свое дело и каждой доблести присуща особая хвала, то необходимо, например, восхваляя справедливость, показать, что именно совершил восхваляемый муж честно, справедливо, соблюдая свой долг. Также и в остальных случаях поступки должны соответствовать характеру, смыслу и наименованию каждой доблести. 346. Но наибольший успех имеет хвала людям мужественным, чьи дела оказываются предприняты без выгоды и награды; а если вдобавок для самих героев эти подвиги сопряжены с трудом и опасностью, то здесь для восхваления полное раздолье, потому что об этом можно и говорить великолепно и слушать с наслаждением; ибо главным отличием человека выдающегося является именно такая доблесть, какая другим благотворна, а ему самому очень трудна, или очень опасна, или же, во всяком случае, безвозмездна. Великой хвалы и всеобщего изумления удостоиваются также мудрое терпение в несчастиях, стойкость при ударах судьбы и достоинство, хранимое и в тяжких обстоятельствах. 347. Вместе с тем не могут не служить украшением герою и достигнутые почести, и доблестью заслуженные награды, и суждение людей, одобряющих содеянные подвиги, и даже промысел бессмертных богов, которому похвальная речь обычно приписывает счастье героя. А подвиги надо будет подбирать или выдающиеся по величию, или несравненные по новизне, или по самому своему характеру исключительные; ибо ни мелкие, ни обычные, ни заурядные дела обычно не представляются достойными изумления или вообще хвалы. 348. Отличным бывает в хвалебных речах также сравнение с другими выдающимися мужами.

Об этом роде красноречия мне захотелось сказать несколько подробнее, чем я обещался, не столько из-за пользы его в суде, которая для меня в моем рассказе важнее всего, сколько для того, чтобы вы убедились: если хвалебные речи являются уделом оратора (чего никто не отрицает), то

оратору надо изучить все доблести человека, ибо без этого нельзя сочинить ни одной хвалебной речи. 349. А при порицаниях, понятным образом, приходится исходить из противоположных доблестям пороков; и совершенно очевидно, что как без знания доблестей невозможно восхвалять пристойно и красноречиво хорошего человека, так и без знания пороков невозможно достаточно резко и язвительно хулить негодяя. И этими источниками восхвалений и хулений нам часто приходится пользоваться в делах любого рода. 350.

[Память.] Вот теперь вам известно мое мнение о нахождении и расположении всего необходимого. Но я хочу еще сказать кое-что и о памяти, чтобы Крассу было легче и чтобы он мог рассуждать об украшении речи, ни на что не отвлекаясь.

(86) — Пожалуйста, продолжай, — сказал Красс, — для меня, право, наслаждение видеть, как ты наконец скидываешь эти покровы твоего притворства и обнажаешь перед нами твою общепризнанную ученость. А за то, что ты оставляешь мне только немного, я очень тебе благодарен, — мне это только на руку. 351.

— Это уж от тебя зависит, много или мало я тебе оставляю, — сказал Антоний, — если ты отнесешься к делу честно, то увидишь, что я оставляю тебе решительно все; если же попробуешь уклоняться, то посмотрим, что об этом скажут наши друзья. Но вернемся к делу! — продолжал он. — Сам я не так одарен, как Фемистокл, чтобы предпочесть науку забвения науке памяти; и я благодарен славному Симониду Кеосскому, которого называют основоположником науки памяти. 352. Рассказывают ведь, что однажды Симонид, ужиная в Кранноне¹⁶⁸ у знатного фессалийского богача Скопы, пропел в его честь свою песню, в которой, по обычаю поэтов, много было для красоты написано про Кастора и Поллукса¹⁶⁹. Скопа, как низкий скряга, сказал, что заплатит ему за песню только половину условной платы, остальное же, коли угодно, Симонид может получить со своих Тиндаридов, которым досталась половина его похвал. 353. Немного спустя Симонида попросили выйти: сказали, будто у дверей стоят двое юношей и очень желают его видеть. Он встал, вышел и никого не нашел, но в это самое мгновение столовая, где пировал Скопа, рухнула, и под ее развалинами погибли и он сам и его родственники. Когда друзья хотели их похоронить, но никак

не могли распознать раздавленных, Симонид, говорят, смог узнать останки каждого потому, что он помнил, кто на каком месте возлежал. Это вот и навело его на мысль, что для ясности памяти важнее всего распорядок. 354. Поэтому тем, кто развивает свои способности в этом направлении, следует держать в уме картину каких-нибудь мест и по этим местам располагать воображаемые образы запоминаемых предметов. Таким образом, порядок сохранит порядок предметов, а образ предметов означит самые предметы, и мы будем пользоваться местами, как воском, а изображениями, как надписями.

(87) Говорить ли о том, какую выгоду, какую пользу, какую мощь дает оратору хорошая память? 355. О том, как держать в уме все, что узнал при подготовке дела, и все, что обдумал сам? Как затвердить все свои мысли? весь расписанный запас слов? Как слушать и своего подзащитного и того, кому приходится возражать, с таким вниманием, чтобы казалось, будто не слухом ловишь, а духом запечатлеваешь их слова? Да, только те, у кого живая память, знают, что они скажут, сколько, и как, и что они уже сказали и чего совсем не надо говорить; многое они помнят из прежних дел, которые они вели, многое из других, которые они слушали. 356. Конечно, я признаю, что память (как и все, о чем я говорил раньше) есть прежде всего дар природы: ведь риторика, это слабое подобие науки о красноречии, не в силах зачать и зародить в нашем уме то, чего не было в нем от природы, а способна только растить и укреплять то, что в нас уже возникло и зародилось. 357. Однако вряд ли у кого бывает память так остра, чтобы удерживать порядок слов и мыслей, не прибегая к разметке и замещению предметов; и вряд ли у кого бывает так тупа, чтобы привычка к этим упражнениям не приносила ему пользы. Ибо справедливо усмотрел Симонид (или кто бы там ни открыл эту науку), что у нас в уме сидит крепче всего то, что передается и внушается чувством, а самое острое из всех наших чувств — чувство зрения; стало быть, легче всего бывает запоминать, если воспринятое слухом или мыслью передастся уму еще и посредством глаз. И когда предметам невидимым, недоступным взгляду, мы придаем какое-то очертание, образ и облик, то это выделяет их так, что понятия, едва уловимые мыслью, мы удерживаем в памяти как бы простым созерцанием. 358. Но эти облики и тела, как и все, что доступно глазу, должны иметь свое

место, поскольку тело не мыслимо без места. Все это вещи знакомые и общеизвестные; поэтому, чтобы не докучать и не надоедать, я буду краток.

Места, которые мы воображаем, должны быть многочисленными, приметными, раздельно расположенными, с небольшими между ними промежутками; а образы — выразительными, резкими и отчетливыми, чтобы они бросались в глаза и быстро запечатлевались в уме. Достигнуть этого нам помогут упражнения, переходящие в навык, а именно: во-первых, подбор похожих слов, в которых лишь изменены падежные окончания или видовое значение заменено родовым, и, во-вторых, обозначение целой мысли одним словом-образом, самый вид которого будет соответствовать его месту в пространстве, как это бывает у искусных живописцев. 359. (88) Память на слова менее важна для оратора; она использует больше разных отдельных образов, ибо есть множество словечек, соединяющих члены речи, подобно суставам, и их ни с чем невозможно сопоставить, так что для них нам приходится раз навсегда измышлять образы совершенно произвольные. Зато память на предметы — необходимое свойство оратора; и ее-то мы и можем укрепить с помощью умело расположенных образов, схватывая мысли по этим образам, а связь мыслей по размещению этих образов. 360. И неправы бездельники, утверждающие, будто образы отягощают память и затемняют даже то, что запоминается само собой. Мне случалось видеть замечательных людей с прямо сверхъестественной памятью: в Афинах — Хармада, в Азии — Метродора Скепсийского¹⁷⁰, который, говорят, и посейчас жив; и оба они утверждали, что все, что ни хотят запомнить, записано у них в уме на определенных местах посредством образов, как будто буквами на восковых табличках. Конечно, если у человека нет памяти от природы, такими упражнениями ее не создашь, но если зачатки ее имеются, то это вызовет их к жизни. 361.

[Заключение.] Вот вам моя речь — как видите, немалая! Много ли в ней бесстыдства, не знаю; во всяком случае, скромной ее не назовешь, если я заставил и тебя, Катул, и самого Красса слушать мои разглагольствования об основах красноречия. Перед молодыми нашими друзьями мне хоть не так стыдно; но и вы меня, конечно, извините, если только поймете, что побудило меня к такой несвойственной мне болтливости. 362.

(89) — Мы не только извиняем тебя, — сказал Катул, —

мы полны к тебе уважения и великой благодарности — говорю это и за себя, и за моего брата. Мы еще раз убедились в твоей любезности и учтивости, а богатство твоих знаний привело нас в восторг. Я, во всяком случае, кажется, избавился наконец от большого заблуждения и перестал дивиться тому, чему всегда мы все дивились: откуда у тебя берется такое сверхъестественное мастерство при ведении судебных дел? Я ведь думал, что ты и знать не знаешь этих правил; а теперь вижу, как усердно ты их изучил, отовсюду их собрал и собственным опытом отчасти их исправил, а отчасти подтвердил. 363. И тем не менее я удивляюсь твоему красноречию; еще больше удивляюсь твоей доблести и трудолюбию; а вместе с тем радуюсь, что ты подтверждаешь всегдашнее мое убеждение: никому никогда не прославиться мудростью и красноречием без величайшего усердия, труда и образованности. Но что ты имел в виду, сказав, что мы тебя извиним, коль узнаем, что побудило тебя к твоему рассуждению? Какая же тут другая причина, кроме той, что ты хотел пойти навстречу нам и этим любознательным юношам, которые с таким вниманием тебя слушали? 364.

— Мне хотелось, — отвечал Антоний, — никак не дать Крассу отказать, чтобы у Красса не оставалось никаких отговорок от выступления: я ведь видел, как хотелось ему уклониться, то ли из скромности, то ли из неохоты — не скажу о таком милом человеке «из гордости». В самом деле, чем бы он мог отговориться? Что он бывший консул и цензор? Но ведь и я тоже. Возрастом? Он на четыре года меня моложе. Незнанием предмета? Да ведь то, что я схватил поздно, наспех и, как говорят, на обочине, он постигал с детства, с величайшим усердием, от величайших знатоков. Нечего говорить о его даровании, ибо ему нет равного, и когда я выступал с речью, даже самый последний скромник среди слушателей мог надеяться, что сам бы говорил не хуже, если не лучше, чем я, а когда говорил Красс, то и самый дерзкий не мог мечтать, что когда-нибудь заговорит подобным образом. Поэтому, Красс, послушаем наконец и тебя, чтобы наши достойные друзья не оказались пришедшими попусту. 365.

(90) — Допустим, — сказал Красс, — я соглашусь с тобой, Антоний, хоть это и совсем не так; но разве сегодня после тебя что-нибудь еще осталось сказать для меня или для кого бы то ни было? Скажу по правде, дорогие друзья, что я думаю: ученых людей я слушал часто... впрочем, что я говорю — часто? Напротив, скорее, редко: как же мог

слушать их часто я, пришедший на форум еще мальчишкой и никогда не покидавший его на более долгое время, чем в бытность мою квестором? Но тем не менее приходилось мне слушать, как я вчера говорил, в Афинах — самых лучших ученых, а в Азии — даже самого твоего Метродора Скепсийского, рассуждавшего как раз об этих вещах. И все-таки из всех, кого я видел, никто и никогда не рассуждал в подобном споре так содержательно и тонко, как сегодня наш Антоний. Но даже если бы это было не так, даже если бы я заметил, что Антоний что-то упустил, я не был бы настолько невежлив и даже груб, чтобы не пойти навстречу вашим столь явным желаниям.

366. — Ты что же, забыл, Красс, — сказал Сульпиций, — как поделился с тобою Антоний? Сам он должен был описать весь механизм речи, а тебе оставить ее отделку и украшение.

— Во-первых, — возразил Красс, — кто это позволил Антонию сразу и делить предмет, и первому делать выбор? А, во-вторых, если только я, с большим удовольствием его слушая, правильно понял, он, по-моему, говорил одновременно и о том и о другом вопросе.

— Но ведь он, — заметил Котта, — ничего не сказал об украшении речи и вообще о красоте выражения, хотя именно поэтому красноречие называется красноречием.

— Стало быть, — сказал Красс, — себе Антоний взял предмет, а мне оставил слова.

367. — Если он оставил тебе то, что труднее, — сказал Цезарь, — тем охотнее мы станем тебя слушать; если же то, что легче, тем охотнее ты должен говорить.

— И разве ты не обещал, Красс, — сказал Катул, — что если мы сегодня у тебя останемся, то ты сделаешь все, что нам угодно? Или ты думаешь, что держать слово необязательно?

— Я-то, пожалуй, и не настаивал бы, Красс, — сказал, улыбнувшись, Котта, — но берегись, как бы Катул не заговорил о нарушении обязательства, — это дело цензора, и ты сам обязан поступать, как подобает бывшему цензору.

— Ну пусть будет по-вашему, — сказал Красс. — Но теперь-то, мне кажется, пора нам подняться и пойти отдохнуть. Побеседуем, коль вам угодно, к вечеру, а то, если хотите, можно отложить это и до завтра.

Все сказали, что готовы слушать его хоть сейчас, хоть к вечеру, если ему удобней, однако же как можно раньше.

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. [Введение.] (1) Когда я собирался, милый Квинт, записать и привести в этой третьей книге речь Красса, которую он произнес после рассуждений Антония, то, понятно, горечь воспоминания оживила во мне старую и тяжелую печаль. Ибо не прошло и десяти дней¹ после описанного в этой и в предыдущей книге, как Луций Красс, с его поистине бессмертным дарованием, с его доблестью, с его благородством, был унесен неожиданной смертью. 2. Когда он вернулся в Рим в последний день сценических игр, его потрясло известие, что Филипп произнес в народном собрании речь и достоверно заявил, что должен искать более разумного государственного совета, ибо с теперешним сенатом он не в состоянии управлять республикой. Утром в сентябрьские иды² с толпой сенаторов Красс явился в курию, где Друз созвал заседание сената. Там Друз, выступив с подробной жалобой на Филиппа, доложил сенату, как этот самый консул жестоко нападал в своей речи перед народом на сенаторское сословие. 3.

И хотя после всякого сколько-нибудь подготовленного выступления Красса почти всегда казалось, что он никогда в жизни не говорил так хорошо, — я сам не раз об этом слышал от знающих людей, — однако тут все единодушно согласились, что если Красс всегда превосходил всех остальных, то в этот день он превзошел самого себя. Он оплакивал горькую участь осиротелого сената, где наследственное достоинство отымают, подобно нечестивому грабителю, тот самый консул, который обязан быть сенаторам добрым отцом и верным попечителем; да и нечего удивляться, что человек, уже нанесший столько вреда республике, хочет теперь лишить ее и такой опоры, как сенат. 4.

Филипп, будучи человеком неистовым, речистым и, главное, готовым к отпору, не стерпел, когда Красс подступил к нему с огнем своих слов; он вспыхнул гневом³ и хотел обуздать Красса, взыскав с него пеню под залог³. Однако Красс, говорят, тут же произнес вдохновенную речь, воскликнув, что не признает своим консулом того, для кого он сам не сенатор:

— Что же, раз ты счел залоговым имуществом права всего моего сословия и урезаешь их перед лицом римского народа, ты думаешь напугать меня этими залогами? Не имущество мое надо тебе урезать, если хочешь усмирить

Красса: язык мой тебе надо для этого отрезать! Но даже будь он вырван, само дыхание мое восславит мою свободу и опровергнет твой произвол! 5.

(2) А затем, как известно, со всею мощью своей страсти, ума и дарования Красс продолжал говорить и говорить; и его заявление, единогласно поддержанное сенатом, прекрасно и убедительно гласило: «римский народ не должен сомневаться в том, что сенат всегда неизменно верен заботе о благе республики»; и, как это документально засвидетельствовано, он сам присутствовал при записи этого постановления. 6.

Точно лебединой песнью⁴ звучал вдохновенный голос Красса в его речи; и нам казалось, мы ее еще услышим, когда после гибели его пришли в курию взглянуть на то место, на котором стоял он в последний раз. Мы знали, что во время речи он почувствовал боль в груди и весь покрылся потом; его стало знобить, он вернулся домой в лихорадке и на седьмой день скончался от воспаления легких. 7. О, как ненадежно и обманчиво счастье людей, как тщетны наши стремления! Все они разбиваются и гибнут на скаку или терпят крушение, не заведя и пристани. В самом деле, пока Красс проводил свою жизнь в трудах и заботах по соисканию должностей, все это время он больше славился блеском дарования и умения вести частные дела, чем выгодами высокого положения и услугами, оказанными государству⁵; однако первый же год по достижении верховной должности⁶, тот год, который, к общей радости, открывал ему доступ к высшему влиянию, вдруг опрокинул все его надежды и все его жизненные замыслы нежданной кончиною. 8. Горько это было для его друзей, бедственно для отчизны, тяжело для всех благонамеренных людей; но затем, однако, последовали такие общественные бедствия, что, думается мне, не жизнь отняли у Красса бессмертные боги, а даровали ему смерть. Не увидел он ни Италии в пламени войны, ни сената, окруженного общей ненавистью, ни лучших граждан жертвами нечестивого обвинения⁶, ни скорби дочери, ни изгнания зятя, ни душераздирающего бегства Гая Мария⁷, ни повальных кровавых казней после его возвращения, ни, наконец, этого общества, где все извращено, общества, в котором был он столь видным человеком, когда оно еще было в расцвете. 9.

(3) Но так как мне пришлось коснуться этой мысли о силе и непостоянстве судьбы, то, чтобы не отвлекаться в

своем повествовании, я постараюсь говорить лишь об участниках той беседы, какую взялся я передать. Кто же, по чести, не назовет блаженной многими оплаканную смерть Луция Красса, коль вспомнит о кончине тех, что беседовали с ним в последний раз? Вспомним о Квинте Катуле, человеке, достойном любых похвал; он молил не о благоденствии, а хотя бы об изгнании и бегстве, но его заставили кончить жизнь самоубийством.¹⁰ А на тех самых рострах⁸, на которых Марк Антоний⁹, будучи консулом, стойко оберегал порядок государства и которые он, будучи цензором, украсил своей военной добычей, — на тех самых рострах была теперь положена его голова, спасшая столько голов его сограждан; легла невдалеке и голова Гая Юлия, преступно преданная его этрусским знакомцем, и рядом — голова его брата Луция Юлия. Всего этого Красс уже не видел; поэтому можно сказать, что он и жил одною жизнью с республикой, и погиб, когда она погибла. Он не видел ни своего сродника¹⁰, благороднейшего мужа Публия Красса, наложившего на себя руки, ни своего соратника¹¹, великого понтифика, обагрившего своей кровью алтарь Весты; а как удручила бы его, при его отношении к республике, даже смерть его злейшего врага Гая Карбона¹², нечестиво убитого в этот же самый день! 11. Не видел он и жестоких бедствий, постигших тех молодых людей, которые избрали тогда своим вождем Красса. Из них Котта, которого оставил он в расцвете сил, уже через несколько дней после смерти Красса не был допущен ненавистниками к должности трибуна, а еще через несколько месяцев изгнан из Рима; а Сульпиций¹³, к которому раньше пылали той же ненавистью, сам вдруг начал, став трибуном, низвергать с почетных должностей всех тех, с кем еще недавно, будучи частным человеком, он жил в теснейшей дружбе; и все-таки даже ему, уже достигавшему высшей славы в красноречии, жизнь пресек меч, и он понес наказание за свое безрассудство, но государству не стало от этого легче. 12.

Нет, по-моему, Красс, тебе были дарованы свыше и блистательная жизнь и своевременная смерть; ибо, если судьба и спасла бы как-нибудь тебя от жестокой смерти, тебе пришлось бы, при твоей доблести и стойкости, пасть жертвой свирепости гражданской распри и быть свидетелем похорон отечества; да и не только господство нечестивцев, но и победа благонамеренных людей была бы тебе не в радость, ибо и она была куплена кровью граждан¹⁴. 13.

(4) И вот, милый Квинт, когда я размышлял и о несчастьях тех мужей, о которых шла речь, и о тех страданиях, какие я сам перенес и претерпел из-за своей несказанной и беспримерной любви к отечеству, тогда мне часто приходило на ум, что ты был прав и разумен, когда, памятуя такие постоянные тяжкие и сокрушительные бедствия знаменитейших людей и достойнейших граждан, всегда удерживал меня от всякого домогательства и борьбы. 14. Но так как теперь все это для меня дело прошлое и так как мои труды вознаграждены достигнутой мною великой славой, то я обращаюсь к тому утешению, которое так отрадно для меня на покое и так целительно даже среди забот: я передам последнюю, едва ли не самую последнюю беседу Луция Красса, воздав ему этим пусть и вовсе не равную его дарованию, но, во всяком случае, заслуженную им и посильную для меня благодарность. 15. Ведь каждый из нас, читая великолепные книги Платона, в которых почти всегда выводится Сократ, не может не чувствовать, что подлинный Сократ был еще выше, чем все, что о нем с таким вдохновением написано. Вот так и я настоятельно прошу — не тебя, конечно, так как ты от моих писаний всегда в восторге, но прошу других, которые возьмутся это читать: пусть почувствуют они, что Луций Красс был много выше, чем я могу изобразить. 16. Меня при этой беседе не было, и Гай Котта пересказал мне лишь общий ход доказательств и мыслей этого обсуждения; но я попытался набросать в передаче их беседы то, что, на мой взгляд, было всего характерней для речи обоих ораторов. Поэтому, если кто-нибудь, следуя обычному мнению, считает, что речи Антония были более сухими, а речи Красса более пышными, чем в моем изображении, то это только значит, что он их или не слышал, или не смог оценить. Ибо я уже показал: не только они оба превосходили всех рвением, дарованием и ученостью, но каждый из них был совершенным в своем роде, так что ни Антонию не доставало украшений речи, ни у Красса не было в них излишества. 17.

[*Обстоятельства диалога.*] (5) Итак, перед полуднем собеседники разошлись ненадолго отдохнуть. Котта говорил мне, что он сразу заметил, что на отдыхе Красс все время был погружен в усердное и упорное размышление. Котта прекрасно знал, какое выражение имеет лицо Красса, когда тот готовился к выступлению, и не раз наблюдал, как сосредоточен его взор при размышлении над сложнейшими

судебными делами. Поэтому, когда он вошел во время отдыха в ту экседру¹⁵, где прилег на кушетке Красс, и увидел его погруженным в размышление, он сейчас же ушел. Так в полном молчании прошло два часа. Затем, когда день начал уже склоняться к вечеру, все пришли к Крассу, и Юлий сказал:

— Что же, Красс, не продолжить ли нам наше заседание? Хотя мы пришли к тебе только напомнить, а не требовать. 18.

— Разве я, по-вашему, такой невежа, — отвечал Красс, — что мог бы еще дальше оттягивать платежи по такому важному счету?

— Тогда куда же нам пойти? — сказал тот. — Может быть, подальше в сад? Там и очень тенисто и прохладно.

— Отлично, — сказал Красс, — там есть как раз и очень удобная скамья для нашей беседы.

Всем это понравилось, все пошли в сад и, усевшись там, приготовились с нетерпением слушать. 19.

Тогда Красс начал:

— Ваше дружеское желание и твоя, Антоний, быстрота рассуждений лишают меня возможности уклониться от выступления, несмотря на то, что причина для этого у меня весьма основательная. Ведь Антоний, расчлняя наш предмет, сам взялся рассуждать о содержании речи оратора, а мне предоставил разговор об ее украшении, то есть он разделил то, что разъединить невозможно. Всякая речь состоит из содержания и слов, и во всякой речи слова без содержания лишаются почвы, а содержание без слов лишается ясности. 20. И я полагаю, что древние мыслители, с их более широким кругозором, видели в природе гораздо больше, чем может увидеть наш собственный ум, когда они утверждали, что все в мире, и верхнее и нижнее, едино и связано единой силой и гармонией мироздания¹⁶. Ибо нет таких вещей, которые могли бы существовать сами по себе, в отрыве от остального, и без которых остальное могло бы сохранять свою силу и вековечную сущность. 21.

(6) Если же это учение кажется превосходящим наш разум и чувство, то вот тебе, Катул, мнение Платона¹⁷, справедливое и тебе хорошо известное: всякая наука, обнимающая благородные и возвышенные знания, составляет единое и неразрывное целое. Ибо как только постигается сущность того учения, которое объясняет причину и цель вещей, тотчас открывается некое удивительное согласие и

созвучие всех наук. 22. Ну а если и это представляется слишком высоким для нашего земного взгляда, все-таки мы обязаны, по крайней мере, знать и помнить хотя бы то, что мы избрали, признали и сделали своим постоянным занятием.

Итак, повторяю то, что я и сам говорил вчера и что сегодня в утренней беседе несколько раз отметил Антоний: красноречие едино, в каких бы областях и границах человеческого рассуждения оно ни применялось. 23. Будет ли это речь о природе неба и земли или же о божественной и человеческой сущности; будет ли это речь на суде, или в сенате, или в народном собрании; должна ли она побуждать людей, или поучать, или сдерживать, или волновать, или успокаивать, или зажигать, или унимать; обращена ли она к немногим или многим; для незнакомцев ли она, или для друзей, или для самого себя, — речь, даже растекаясь на отдельные ручьи, всегда исходит из единого источника, и, куда бы она ни вела, она всегда одинаково бывает богата мыслями и украшена словами. 24. Но так как всем, не только толпе, но даже людям кое-как образованным, легче бывает овладевать предметом не во всей его цельности, а разъяв и как бы растерзав его по частям (хотя слова от мыслей, как тело от души, нельзя отделить, не отняв жизни и у того, и у другого), то с бременем этого предрассудка приходится считаться. Поэтому я не возьму на себя больше того, что на меня возлагают: замечу лишь кратко, что ни словесное украшение нельзя найти, не выработав и не представив себе отчетливо мыслей, ни мысль не может обрести блеск без светоча слов. 25.

[*Единство и разнообразие красноречия.*] Но прежде чем я попытаюсь коснуться того, чем должна быть украшена и освещена речь, я вкратце изложу то, что я думаю о красноречии в целом.

(7) В природе, как мне представляется, нет ничего, что не охватывало бы множества отдельных случаев, несхожих, но одинаково ценных. Так, слух доносит до нас множество звуков, одинаково приятных, но настолько разнообразных, что обычно приятнейшим кажется только тот, который только что услышан. Так и зрение наше пленяется несчетным сонмом красот, которые все услаждают одно и то же чувство, но на разный лад. Так и остальные чувства услаждаются настолько несхожими удовольствиями, что порою трудно решить, какое же из них самое приятное. 26. И вот то же

самое, что мы видим в природных явлениях, может быть отнесено и к искусствам. Едино искусство ваяния, в котором превосходны были Мирон, Поликлет и Лисипп¹⁸; все они друг с другом несхожи, но никого из них ты не захотел бы видеть иным, чем он есть. Едины искусство и законы живописи, однако нисколько не похожи друг на друга Зевксид, Аглаофонт и Апеллес; но и тут ни у кого из них не найдешь никаких недостатков в его искусстве. Такое разнообразие в этих, так сказать, бессловесных искусствах кажется удивительным, и все же оно существует; а насколько же оно поразительнее в области речи и языка! Слова и мысли здесь одни и те же, писатели — самые различные; и не в том дело, что кто-то из них заслуживает порицания, а в том, что даже те, которые явно заслуживают похвалы, заслуживают ее каждый по-своему. 27. И это первым делом заметно у поэтов, которые ближе всего сродни ораторам: как несхожи между собой Энний, Пакувий и Акций, как несхожи у греков Эсхил, Софокл и Еврипид¹⁹, хотя все они пользуются едва ли не одинаковой славой за свои совсем не одинаковые сочинения! 28.

А теперь взгляните и рассмотрите тех писателей, чьи занятия нам сейчас ближе всего, — как отличны друг от друга их наклонности и свойства! У Исократа изящество, у Лисия простота, у Гиперида остроумие, у Эсхила звучность, у Демосфена сила. Разве они не прекрасны? И разве они хоть сколько-нибудь похожи друг на друга? У Африкана была вескость, у Лелия мягкость, у Гальбы резкость, у Карбона особенная плавность и напевность. Кто из них не был в свое время первым? И, однако, каждый был первым в своем роде. 29.

(8) Но что мне обыскивать старину, когда можно сослаться на живые примеры, которые перед нами? Случалось ли нам слушать что-либо приятнее, чем речь нашего Катуты? Она так чиста, что кажется, будто только он умеет говорить по-латыни, и при всей ее вескости и ее глубочайшем достоинстве она полна и вежливости, и прелести. И что же? Право, слушая его, я всегда думаю, что если что-нибудь добавить, или изменить, или отнять, речь его испортится и ухудшится. 30. Ну а наш Цезарь разве не по-новому повел свою речь и не ввел совсем, пожалуй, небывалого рода красноречия? Разве кто-нибудь умел так, как он, излагать предметы трагические почти комически, печальные мягко, серьезные весело, и при этом так, что величие

предмета не исключало шуток, а вескость речи не ослаблялась остротами? 31. А вот перед нами Сульпиций и Котта, почти ровесники: что может быть более несхожим? и что может быть превосходнее в своем роде? Котта отшлифован и утончен, разъясняет дело точными и меткими словами, всегда твердо держится сути, зорко видит, что надо доказать судье, и, опуская излишние доказательства, сосредоточивает на этом всю мысль и речь. А у Сульпиция — неукротимая мощь душевного натиска, сильный и полнозвучный голос, могучее тело, величественные движения и, наконец, великое изобилие важных и веских слов — поистине кажется, что сама природа нарочно вооружила его для ораторского поприща. 32.

(9) Но посмотрим лучше на нас самих: ведь нас с Антонием постоянно так сопоставляют и так упоминают в разговорах, будто вызывают потягаться силами перед судом; а между тем есть ли что менее похожее, чем мои речи и речи Антония? Он оратор, лучше которого нет и быть не может, я же сплошь и рядом не доволен собой; и все-таки именно с ним меня постоянно сопоставляют. Знаете ли вы, какова речь Антония? Смелая, страстная, бурно звучащая, отовсюду укрепленная, неуязвимая, яркая, острая, тонкая, ничего не упускает, отступает с достоинством, наступает с блеском, устрашает, умоляет, разнообразием поражает и слуха нашего никогда не пресыщает. 33. А я, каковы бы ни были мои речи (ибо вы, кажется, считаете их несбыточными), во всяком случае, безмерно далек от такого красноречия. Какова моя собственная речь, судить не мне: каждому человеку труднее всего познать себя и судить о себе. Однако отличие мое от Антония можно увидеть и в сдержанности моих движений, и в том, что от первых шагов до самого заключения я обычно не меняю направления речи, и в том, что значительно больше труда и заботы я отдаю подбору слов, опасаясь, что слишком стертые слова окажутся недостойны безмолвного внимания слушателей. 34. Таким образом, если даже между нами, здесь присутствующими, имеется столько отличий, столько своеобразных особенностей, и в этом разнообразии лучшее от худшего отличается не столько стилем, сколько мастерством, а похвально бывает все то, что совершенно в своем роде, — что же тогда вы подумаете, если мы захотим обозреть всех и теперешних, и прошлых ораторов? Сколько ораторов, столько, как видно, окажется и родов красноречия.

Казалось бы, из этого моего рассуждения можно сделать вывод: если существует почти несчетное множество этих как бы видов и образов красноречия, если все они несхожи, но каждый сам по себе хорош, то весь этот разнообразный материал, по-видимому, никак нельзя подчинить общим правилам единого обучения. 35. Это, конечно, не так; однако это значит, что наставники и преподаватели должны особенно зорко присматриваться, куда больше всего влечет каждого ученика его природное дарование. Ибо мы видим, что из одной и той же как бы школы, от величайших в своем роде художников и мастеров выходили ученики, совсем не схожие между собою и, однако же, равно достойные одобрения; и все потому, что наставники умели приспособить свои уроки к особенностям каждого дарования. 36. Наиболее яркий пример этому (не говоря уже о других науках) мы видим в словах такого несравненного преподавателя, каким был Исократ. Он говаривал, что для Эфора он обыкновенно употребляет шпоры, а для Феопомпа — узду: ибо в одном ученике он сдерживал бурную смелость выражений, другого пробуждал от медлительности и какой-то застенчивости. И от этого они не стали близнецами: к одному он добавлял, а от другого отнимал ровно столько, сколько позволяли их природные данные. 37.

(10) Обо всем этом я счел необходимым сказать заранее, чтобы вы поняли: если не все, что я говорю, будет отвечать вашим склонностям и применяться к избранному каждым роду красноречия, то это потому, что я описываю только тот род, который избрал я сам.

Итак, все, что изложено Антонином, оратор должен облечь в слова и произнести. На произнесении я останавлиюсь потом; что же касается слов, то что может быть лучше, чем слова чисто латинские, слова ясные, слова красивые, слова уместные и соответствующие предмету? 38.

[Правильность.] Чистоту и ясность языка я упомянул на первом месте, и думаю, что никто даже не ждет от меня обоснования их необходимости. Ведь мы не пытаемся обучить ораторской речи того, кто вообще не умеет говорить; мы не можем надеяться, чтобы тот, кто не владеет чистым латинским языком, говорил на нем изящно; и подавно не можем надеяться, чтобы тот, кто не умеет выражаться удобопонятно, стал говорить достойным восхищения образом. Поэтому не будем задерживаться на этих качествах: приобрести их легко, а обойтись без них нельзя. Приобре-

таются они еще в детском возрасте при обучении грамоте; а необходимы они для того, чтобы люди понимали друг друга, и необходимы настолько, что это самое элементарное требование из предъявляемых оратору. 39. Но всякая чистота речи вырабатывается не только обучением грамоте: она очень совершенствуется посредством чтения ораторов и поэтов. Ибо эти древние мастера, не умевшие еще говорить красиво, говорили почти все замечательно ясно; и кто усвоит себе их способ выражения, тот даже при желании не сможет говорить иначе, как на чистом латинском языке. Конечно, ему не следует пользоваться теми словами, которые уже вышли из употребления, разве только изредка и осторожно, ради украшения, о чем будет речь дальше. Однако тот, кто погружался в сочинения древних, даже из употребительных слов сумеет отобрать самые лучшие. 40.

(11) При этом для чистоты латинской речи следует позаботиться не только о том, чтобы подбор слов был безупречен, и не только о том, чтобы соблюдение падежей, времен, рода и числа предохраняло речь от сбивчивости, бессвязности и беспорядка; но необходимо управлять органами речи, и дыханием, и самим звуком голоса. 41. Не хорошо, когда звуки выговариваются слишком подчеркнуто; не хорошо также, когда их затемняет излишняя небрежность; не хорошо, когда слова произносятся слабым, умирающим голосом; не хорошо также, когда их произносят пыхтя, как в одышке. О голосе я говорю сейчас не в связи с произнесением речи, а только в связи с ее словесным выражением. Существуют, с одной стороны, такие недостатки, которых все стараются избегать, например голос слабый, женственный или как бы немзыкальный, неблагозвучный и глухой. 42. С другой стороны, есть и такой недостаток, которого иные сознательно добиваются: так, некоторым нравится грубое, мужицкое произношение, ибо им кажется, что оно вернее придает их речи оттенок старины. Например, по-моему, Катул, твой приятель Луцкий Котта увлекается как раз таким тяжеловесным языком и грубым произношением, и ему кажется, что, разговаривая по-мужицки, он будет выражаться по-старинному. Ну а мне больше нравится, Катул, твой собственный тон и изящество речи — я не говорю о словах, хотя это и главное, ибо владение словами зиждется на теории, усваивается из книг, закрепляется привычкой читать и говорить, я же имею в виду то благозвучие, которое непосредственно ис-

ходит из уст, то самое, которое у греков более всего свойственно жителям Аттики, а в латинском языке — говору нашего города. 43. В Афинах наука давно исчезла между самими афинянами; их город остается лишь местом научных занятий, коим граждане чужды и коими увлечены лишь чужеземцы, плененные, так сказать, именем и славою города; и все-таки любой неученый афинянин легко превзойдет самых образованных азиатов не словами, но произнесением слов, и не страстностью, а прелестью речи. Жители Рима менее образованны, чем жители Лация²⁰; однако среди этих самых римских граждан, совершенно необразованных, как мы знаем, любой легко превзойдет мягкостью голоса, и произношением, и звуком языка даже Квинта Валерия Сорана²¹, учнейшего из всех, кто носит тогу. 44.

(12) Итак, существует определенный говор, свойственный римскому народу и его столице, говор, в котором ничто не режет слух, не вызывает неудовольствия, не навлекает упрека, не содержит чуждого звука и привкуса. Этот говор мы и усвоим, стараясь избегать не только мужицкой грубости, но и чужеземных особенностей. 45. По крайней мере когда я слушаю мою тещу Лелию — ведь женщины легче сохраняют старинную манеру говорить, так как не сталкиваются с разноречием толпы и всегда остаются верны первым урокам раннего детства, — когда я ее слушаю, мне кажется, что я слышу Плавта или Невия²². Самый звук голоса ее так прост и естествен, что в нем не слышится ничего показного, ничего подражательного; отсюда я заключаю, что так говорил ее отец, так говорили предки: не жестко, как упомянутый Котта, не разевая рот по-мужицки, не отрывисто, а сжато, ровно, мягко. 46. А этот Котта, по-моему, говорит не как древние ораторы, а как сельские жнецы, — хоть ты, Сульпиций, и подражаешь порой его широкому произношению, выговаривая вместо «и» явственное «е»²³. — Сам Сульпиций на эти слова усмехнулся, а Красс добавил:

— Вы сами захотели, чтобы я говорил, и вам придется от меня кое-что услышать и о ваших собственных погрешностях.

— Будем надеяться! — отозвался Сульпиций. — Этого-то мы и хотели; и если ты так и будешь делать, мы, я уверен, избавимся здесь сегодня от многих погрешностей. 47.

— Однако, — сказал Красс, — тебя, Сульпиций, мне опасно порицать: ведь Антоний сказал мне, что, на его взгляд, ты точь-в-точь похож на меня самого.

— Нисколько не опасно, — ответил тот. — Ведь Антоний внушал нам подражать у каждого оратора только наилучшему; и вот я и побаиваюсь, не подражал ли я только твоему притопыванию, кое-каким словечкам да, пожалуй, некоторым жестам.

— Вот этого всего я и не буду трогать, чтобы самому себя не вышучивать, — сказал Красс, — тем более что ты у меня учился и больше, и лучше, чем ты говоришь; но есть у тебя много и такого, что или всецело твое, или воспринято от кого-то другого; вот об этом-то, если представится случай, я и напомним. 48.

[*Ясность.*] (13) Итак, оставим в стороне правильность латинской речи: она приобретается обучением в детстве, развивается углубленным и сознательным изучением языка и практикой живого разговора в обществе и в семье, а закрепляется работой над книгами и чтением древних ораторов и поэтов. Не будем останавливаться и на втором вопросе: как добиться, чтобы то, что мы говорим, было удобопонятно. 49. Ясно, что для этого нужно говорить чистым латинским языком, пользуясь словами употребительными и точно выражающими то, что мы хотим обозначить и изобразить, без двусмысленности как в отдельных словах, так и в связной речи, без слишком длинных периодов, не слишком задерживаясь в сравнениях на заимствованных из другой области образах, не разрывая мысли вставками, не переставляя событий, не путая лиц, не нарушая последовательности изложения. Зачем терять на это много слов? Все это так просто, что меня повергает в совершенное изумление, когда понять бывает труднее, чем если бы подзащитный сам говорил о своем деле. 50. В самом деле, люди, поручающие нам ведение своих дел, часто излагают так все нам сами, что большей ясности нельзя и желать. А вот как только по тем же делам начинают выступать Фуфий или ваш сверстник Помпоний²⁴, я никак не могу взять в толк, о чем они говорят, если только не напрягу всего своего внимания; речь их так запутанна и беспорядочна, что не разберешь, где начало, где конец, а слова нагромождены такие дикие, что речь, которая должна прояснять дело, только его затуманивает²⁵ и затемняет до такой степени, что, очевидно, и сами говорящие становятся в тупик.

51. Однако я полагаю, что вам, мужам старейшего поколения, все это представляется только скучным и против-

ным; поэтому, с вашего позволения, перейдем к предметам более хлопотливым.

(14) — Конечно, — сказал Антоний, — ты сам видишь, как мы невнимательно тебя слушаем! А ведь тебе не трудно добиться (по себе сужу!), чтобы мы забыли обо всем и следили только за твоей речью. Так изящно ты говоришь о мерзком, так содержательно о пустом, так по-новому об общеизвестном. 52.

[*Красота.*] — Да, Антоний, — отвечал Красс, — ибо просты были те два раздела, которые я так бегло затронул, или, вернее сказать, миновал: о речи правильной и о речи ясной. Зато остающиеся вопросы обширны, сложны, разнообразны и многозначительны; от них-то и зависит вся слава таланта, весь успех красноречия. Ведь никто никогда не восхищался оратором только за то, что он правильно говорит по-латыни. Если он этого не умеет, его просто осмеивают и не то что за оратора, а и за человека-то не считают. Точно так же никто никогда не хвалил человека за то, что слова его понятны присутствующим; если это не так, его попросту презирают. Перед кем же люди трепещут? 53. На кого взирают потрясенные, когда он говорит? Кем восторгаются? Кого считают чуть ли не богом среди людей? Того, кто говорит стройно, развернуто, обстоятельно, блистая яркими словами и яркими образами, вводя даже в самую прозу некий стихотворный размер, — одним словом, красиво. А тот, кто так владеет речью, как требует важность предметов и лиц, тот немалой заслуживает похвалы за то, что можно назвать уместностью и соответствием с предметом. 54. Только таких ораторов, говорит Антоний, и можно назвать красноречивыми, но ни одного такого он еще не встречал.

Поэтому с моего разрешения клеймите насмешкою и презрением всех этих господ, которые думают, что уроки так называемых нынешних риториков открыли им всю сущность ораторского искусства, но которым невдомек, какое имя они принимают и за какое дело берутся. Истинный оратор должен исследовать, переслушать, перечитать, обсудить, разобрать, испробовать все, что встречается человеку в жизни, так как в ней вращается оратор и она служит ему материалом. 55. Ибо красноречие есть одно из высших проявлений нравственной силы человека; и хотя все проявления нравственной силы однородны и равноценны, но одни виды ее превосходят другие по красоте и блеску. Таково и красноречие: опираясь на знание предмета, оно

выражает словами наш ум и волю с такою силой, что напор его движет слушателей в любую сторону. Но чем значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединять ее с честностью и высокой мудростью; а если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишенным этих достоинств, то не ораторами бы их сделали, а безумцам бы дали оружие. 56.

[Отступление: раскол философии и риторики.]

(15) Эту, говорю я, науку мыслить и говорить, эту силу слова древние греки называли мудростью. Она породила и Ликургов, и Питтаков, и Солонов²⁶, а у нас, по их примеру, Корунканиев²⁷, Фабрициев, Катонов, Сципионов, не столь, может быть, ученых, но сходных с ними по устремлению ума и воли. Другие же, люди такого же разума, но иных взглядов на цели жизни, искали покоя и досуга, как Пифагор, Демокрит, Анаксагор²⁸, и, отстраняясь от государственных дел, всецело посвятили себя умозрению; такая жизнь своим спокойствием и сладостью самого знания, употребительнее которого нет ничего для человека, привлекала к себе больше последователей, чем это было полезно для общего блага. 57. А так как этому занятию отдавались люди исключительно одаренные и вволю располагавшие свободным временем, то эти ученые при их безмерном досуге и при их плодотворнейших дарованиях считали своим долгом заниматься отвлеченными исследованиями и изысканиями гораздо больше, чем это было необходимо. Ведь в старину-то наука, как видно, одинаково учила и красному слову, и правому делу; и не особые учителя, но одни и те же наставники учили людей и жить, и говорить: таков был славный Феникс у Гомера, говоривший, что отец Ахиллеса Пелей дал его юноше в спутники на войне, чтобы тот мог «быть и витией в речах и в делах деловым человеком»²⁹. 58. Но, как люди, привыкшие к неустанному и ежедневному труду, забавляются, когда им мешает работать непогода, играют то в мяч, то в бабки, то в кости, а то и выдумывают от нечего делать какую-нибудь новую игру, так и те мудрецы, отстраненные от политической деятельности и оставшись без работы или в силу обстоятельств, или по любви к праздности³⁰, всецело предались одни поэзии, другие геометрии, третьи музыке, а иные, как диалектики, сами себе придумали новое занятие и утеху и стали посвящать свое время и жизнь искусствам, служащим для образования и воспитания детей. 59.

(16) Итак, немало было таких государственных деятелей, которые пользовались нераздельной славой мужей слова и дела, как, например, Фемистокл, Перикл и Ферамен; были такие, которые сами меньше принимали участия в общественной жизни, но были тем не менее в ней умудренными, как Горгий, Фрасимах³¹, Исократ; однако находились вместе с тем и такие, которые хотя и блистали ученостью и дарованием, но чувствовали какое-то отвращение к политической деятельности и поэтому отвергали и презирали самое ораторское искусство. 60. Во главе их был тот самый Сократ, который, согласно свидетельству всех образованных людей и согласно мнению целой Греции, как по своей рассудительности, находчивости, прелести и тонкости ума, так и по своему разнообразному и богатому красноречию в любой области легко выходил победителем. Это он отнял звание философов у тех, кто носил его³², изучая, исследуя и преподавая те предметы, какими сейчас занимаемся мы, ибо всякое постижение и применение достойных знаний называлось философией; это он в своих рассуждениях раздвоил единую науку мудрой мысли и украшенной речи. Его дарование и разнообразные беседы обессмертил в своих сочинениях Платон; от самого же Сократа не осталось ни одной написанной буквы. 61.

С той поры и возник тот раскол, так сказать, языка и сердца, раскол бессмысленный, вредный и достойный порицания, именно — обычай учить отдельно мысли и отдельно речи. Действительно, у Сократа было множество учеников: так как из всевозможных, различных и многосторонних его рассуждений одних увлекало одно, других другое, то и возникли среди философов как бы разные семейства, очень несхожие и несогласные между собою, хотя все философы одинаково считают себя и хотят называться последователями Сократа. 62.

(17) И вот прежде всего от самого Платона пошли Аристотель³³ и Ксенократ³⁴, один из которых дал имя перипатетикам, а другой — Академии. Затем от Антисфена³⁵, которого привлекала у Сократа главным образом проповедь терпения и твердости, пошли сначала киники и потом стоики; потом от Аристиппа³⁶, увлекавшегося больше беседами о наслаждении, проистекла философия киренаиков, которую он сам и его последователи защищали открыто, а вот нынешние мыслители, для которых наслаждение — мера всех вещей, хотя и делают это скромнее, ни достоинства не

соблюдают при всем старании, ни наслаждения, которым хотят овладеть, не могут отстоять. Были и другие философы, все объявлявшие себя последователями Сократа, — эретрийцы³⁷, эриловцы³⁸, мегарцы³⁹, пирроновцы⁴⁰, но все они уже давно разбиты и уничтожены силою доказательств вышепоименованных школ. 63.

Из существующих ныне учений некоторым представляется истинной та философия, которая предприняла защиту наслаждения; однако она слишком уж далека от образа того человека, которого мы ищем и в котором желаем найти духовного вождя и деятельного правителя республики, первого советника и первого оратора в сенате, в суде и в народном собрании. Мы не будем несправедливы к этой философии, мы не будем отвлекать ее от цели ее стремлений; пусть она отдыхает, томно раскинувшись в своих желанных садах⁴¹, куда она так нежно манит нас от трибуны, от судов, от сената; ведь, может быть, это и разумно, особенно при теперешнем положении республики. 64. Но я доискиваюсь теперь не того, какая философия самая истинная, а того, какая лучше всего подходит для оратора. Поэтому не будем задевать этих поборников наслаждения: все они славные люди и на свой вкус счастливые. Только попросим их об одном: пусть они хранят, как священную тайну, свой завет о том, что мудрецу не место в политике. Может быть, это даже истинная правда; но если они убедят в этом нас и всех хороших граждан, то уже им самим не придется жить, как им хочется, жить на покое. 65.

(18) К стоикам я тоже отношусь с глубоким уважением; но и о них я не собираюсь говорить и даже не боюсь этим их разгневать, ибо ведь они совсем не ведают гнева. Более того, я им даже благодарен за то, что они признали красноречие и доблесть, и мудростью. Но и у стоиков есть две вещи, которые неприемлемы для нашего образцового оратора. Во-первых, они говорят, что все, кроме истинных мудрецов, — рабы, разбойники, враги и безумцы, а истинных мудрецов на свете нет. Так что же за нелепость выпускать к народу, или к сенату, или к любому собранию человека, который ни в ком вокруг не признает ни разума, ни свободы, ни гражданских достоинств! 66. А во-вторых, и речи их, хоть и бывают порою тонкими, всегда острыми, все-таки для оратора слишком сухи, непривычны, чужды слуху толпы, темны и скудны, короче говоря, таковы, что обращаться с ними к толпе совершенно невозможно. Ведь и о добре и о зле стоики судят по-иному, чем все граждане и даже все народы; по-

своему понимают они и честь, и позор, и награду, и наказание; правильно понимают или нет, сейчас не в этом дело, но если мы будем выражаться, как они, то мы ничего не сможем разъяснить в своих речах. 67.

Остаются перипатетики и академики. При этом под единым названием академиков разумеются две отдельные школы. Ибо Спевсипп⁴², сын сестры Платона, и Ксенократ, ученик Платона, и Полемон с Крантором⁴³ по существу ни в чем не расходились с Аристотелем, тоже учеником Платона, и уступали ему только по богатству и разнообразию речи. И только ученик Полемона Аркесилай⁴⁴ из разных книг Платона и сократических бесед впервые выхватил мысль, что ни ум, ни чувства не могут дать нам истинного понимания вещей. Говорят, что в своих речах он с очаровательным юмором отвергал все показания ума и чувств и впервые (в прошлом это было главным приемом у Сократа) стал не высказывать собственное мнение, а оспаривать чужие. 68. Отсюда проистекла новейшая Академия, в которой прославился поистине божественной быстротой мысли и богатством речи Карнеад⁴⁵; многих его учеников я сам знавал в Афинах, а о самом Карнеаде могут дать самые достоверные свидетельства мой тесть Сцевола, который в молодости слушал его в Риме, и достойнейший мой друг Квинт Метелл, сын Луция, который рассказывал, что он в юности много дней слушал в Афинах Карнеада, в то время уже дряхлого старика. 69.

(19) И вот подобно тому как реки с Апеннин растекаются в разные стороны, так с общего хребта мудрости растеклись в разные стороны науки; и если философы, так сказать, стеклись в верхнее Ионийское море, море греческое, богатое гаванями, то ораторы спускались в наше нижнее Тирренское, варварское, скалистое и негостеприимное, в котором и сам Улисс заблудился⁴⁶. 70. Так что же теперь? Будете ли вы довольны таким красноречием и таким оратором, который только и знает, что следует либо опровергнуть доводы обвинения, либо, если это невозможно, доказать, что обвиняемый совершил свой поступок справедливо или хотя бы по вине или несправедливости другого; что поступок этот законный или хотя бы противозаконный? что поступок совершен неумышленно или по необходимости; что поступку этому обвинитель дает неправильное определение; что судопроизводство, наконец, ведется недолжным и недопустимым образом? Считаете ли вы достаточным выучиться тому,

чему учат эти ваши ученые знатоки и что, впрочем, гораздо ярче и обстоятельнее изложил Антоний? Нет, если вы довольствуетесь только этими требованиями, да еще теми, какие вы желаете услышать от меня, то вы загоняете оратора из огромного и необъятного поля в узкую и темную ограду. 71. Если же вы хотите следовать знаменитому древнему Периклу или тому, кого мы еще лучше знаем по множеству его сочинений, — Демосфену и если вас привлекает этот возвышенный, славный и прекрасный образ совершенного оратора, тогда вам необходимо постичь всю силу философии: новой философии Карнеада или более ранней — Аристотеля. 72. Ведь, как я уже говорил, древние мыслители вплоть до Сократа не отделяли науку речи от исследования и познания всей человеческой жизни, нравов, добродетели, государственных дел; и только впоследствии, разъединенные, как я указывал, Сократом, а затем и всеми последователями Сократа, философы пренебрегли красноречием, ораторы — мудростью и более не касались чужого достояния, лишь изредка заимствуя что-нибудь друг у друга; а между тем они могли бы одинаково черпать знания из общего своего источника, если бы они пожелали остаться в былом общении. 73. Но подобно тому, как древние понтифики из-за множества жертвоприношений решили выделить особый триумвират⁴⁷ по устройству священных пиршеств на играх, хотя Нума возложил на них самих эту заботу, так и последователи Сократа отвергли от себя судебных ораторов и лишили их звания философов, хотя древние мыслители и стремились к дивному единству речи и мысли. 74.

[Отступление: оратор должен сочетать философию и красноречие.] (20) Теперь, имея все это в виду, я обращаюсь к вам с небольшой просьбой: не забывайте, что все, о чем я буду говорить, я говорю не о себе самом, но об истинном ораторе. Что же касается меня, то я, конечно, получил в детстве образование благодаря заботам своего отца, а потом посвятил себя деятельности на форуме в полную меру своего дарования, хоть оно и много скромнее, чем вы его представляете; но я никак не могу сказать, что изучил все, о чем сейчас говорю, и в той степени, в какой сейчас этого требую. Ведь я вступил на общественное поприще очень рано: мне был двадцать один год, когда я выступил обвинителем человека знатного и красноречивого⁴⁸; школой мне был форум, учителем — опыт, законы, установления римского народа и

обычаи предков. 75. И хотя я всегда испытывал жажду к тем занятиям, о которых я говорю, но отведал я их совсем немного: сперва — в Азии, где я, будучи квестором, встретился со своим почти ровесником, ритором из Академии, известным Метродором, которого добром помянул Антоний, а на пути оттуда — в Афинах, где я задержался бы и подольше, если бы не рассердился на афинян за то, что они не повторили мистерий⁴⁹, к которым я на два дня опоздал. Поэтому, когда я рассуждаю о таких обширных и важных областях науки, это говорит не только не за меня, но, скорее, против меня (я ведь рассуждаю не о том, что по силам мне, но что по силам оратору) и против всех этих смехотворных теоретиков риторики; ведь они пишут и о видах судебных дел, и о приступах, и об изложении; а ведь подлинная сила красноречия в том, что оно постигает начало, сущность и развитие всех вещей, достоинств, обязанностей, всех законов природы, управляющей человеческими нравами, мышлением и жизнью; определяет обычаи, законы, права, руководит государством и умеет что угодно и о чем угодно высказать красиво и обильно. 76. 77.

Вот каким красноречием занимаюсь я в той мере, в какой это мне по силам и в какой это доступно моему дарованию, моему совершенному образованию и моему опыту. Однако думаю, что я не очень уступаю в рассуждениях тем, кто всю свою жизнь безвыходно сидит под кровом философии. 78.

(21) В самом деле, разве может приятель мой Гай Веллей⁵⁰, доказывающий, что высшее благо — это наслаждение, сказать что-нибудь такое, чего бы я не смог при желании отстоять или опровергнуть обстоятельнее посредством тех основоположений, которые выставил Антоний, и пользуясь тем навыком, какой Веллею неведом, а каждому из нас смолodu знаком? А Секст Помпей, а оба Бальба⁵¹, а мой приятель Марк Вигеллий⁵², деливший кров с Панэтием, что все эти стойки могли бы сказать такого в своих рассуждениях о людской добродетели, чтобы мне или кому-нибудь из вас пришлось бы им уступить? 79. Философия ведь не похожа на другие науки. В геометрии, например, или в музыке, что может сделать человек, не изучавший этих наук? Только молчать, чтобы его не сочли за сумасшедшего. А философские вопросы открыты для всякого проницательного и острого ума, умеющего на все находить правдоподобные ответы и излагать их в искусной и гладкой

речи. И тут самый заурядный оратор, даже и не очень образованный, но обладающий опытом в речах, побьет философов этим своим нехитрым опытом и не даст себя обижать и презирать. 80. Ну а если когда-нибудь явится кто-нибудь такой, который сможет или по образцу Аристотеля говорить за и против любых предметов и составлять по его предписаниям для всякого дела по две противоположные речи, или по образцу Аркесилая и Карнеада спорить против всякой предложенной темы, и если с этой научной подготовкой он соединит ораторскую опытность и выучку, то этот муж и будет оратором истинным, оратором совершенным, единственным оратором, достойным этого имени. Ибо без мускулатуры, развитой на форуме, оратор не сможет иметь достаточно силы и веса, а без всестороннего научного образования не сможет иметь достаточно знаний и вкуса. 81. Поэтому давайте уж позволим этой старой вороне Кораку⁵³ высидивать в гнезде своих воронят, и пусть себе вылетают они несносными и надоедливыми крикунами, и пусть какой-то там Памфил⁵⁴ забавляется, как малый ребенок, расписывая на ленточках столь важный предмет; а в нашей короткой двухдневной беседе возьмем и расскажем сами, что такое назначение оратора. Предмет этот, конечно, настолько обширен, что мог бы заполнить все книги философов, но как раз философов-то наши риторы никогда и не читали. 82.

(22) Тут Катул перебил Красса.

— Честное слово, Красс, — сказал он, — ни сила, ни сладость, ни богатство твоей речи для нас теперь не удивительны; раньше, правда, я полагал, что это от природы ты говоришь так, что всегда представляешься мне не только замечательным оратором, но и великим мудрецом; теперь же я понимаю, что именно мудрость ты всегда считал для себя главным и что из нее-то и проистекало все богатство твоей речи. Однако же, когда я припоминаю все ступени твоей жизни и присматриваюсь к твоим делам и занятиям, я не вижу, когда же ты все это изучил, и не замечаю в тебе никакой особенной приверженности к этим занятиям, людям и книгам. И я не могу даже решить, чему мне больше удивляться: тому ли, что ты при всех своих делах мог так основательно изучить эти, по твоим словам, столь полезные для тебя предметы, или тому, что без всякого такого изучения ты способен так хорошо говорить. 83.

— Прежде всего пойми, пожалуйста, Катул, — отвечал

Красс, — что я рассуждаю об ораторе почти так же отвлеченно, как если бы рассуждал, например, об актере. Я ведь вполне мог бы утверждать, что игра его будет неудачна, если он не обучится ни гимнастике, ни танцам; а для такого утверждения мне вовсе не нужно самому быть актером, а достаточно лишь с толком разбираться в чужом искусстве. 84. Точно так я рассуждаю по вашему настоянию и об ораторе, при этом, разумеется, об ораторе совершенном. Всегда ведь, о каком бы искусстве или мастерстве ни шла речь, в виду имеется безусловное и высшее его совершенство. Так вот, если вы считаете меня оратором, и даже неплохим, и даже хорошим, то я не буду спорить (к чему прикидываться? я ведь знаю, что таково обо мне мнение); но если это и так, то совершенным оратором меня назвать никак нельзя. Ведь совершенство для человека — дело самое трудное, самое великое, требующее для своего достижения самой большой учености. 85. Говорить мне сейчас приходится (раз мы уж взялись рассуждать об ораторе), конечно, только об ораторе совершенном: ибо только представив себе предмет в совершенном виде, можно постичь его сущность и природу. Но сам-то я, признаюсь тебе, Катул, ни сейчас с нужными книгами и людьми не общаюсь, да и раньше, как ты правильно заметил, никогда не имел досуга для ученых занятий и науке уделял лишь то небольшое время, какое оставалось в детстве или по праздникам. 86.

(23) Но если ты спрашиваешь, Катул, что я со стороны думаю об этой науке, то я полагаю, что человеку способному, чье поле деятельности — форум и сенат, судебные и общественные дела, вовсе нет необходимости тратить на нее столько времени, сколько тратят те, кто посвятил ей всю жизнь. Ибо по-разному изучают науки те, кому наука нужна для дела, и те, кому приятно это изучение само по себе и больше ничего в жизни не нужно. Так, какой-нибудь учитель гладиаторов до глубокой старости только о своем искусстве и думает и ни о чем другом не заботится; а вот Квинт Велогий учился этому делу только мальчиком, но благодаря способности полностью им овладел и стал, по словам Луцилия,

...отличным самнитом —

В школе и всякому был на палках опасный соперник,

несмотря на то, что главным для него оставались форум, друзья и собственные дела. Валерий ежедневно занимался

пением; на то он и был актером, чем же еще было и заниматься? 87. А приятель наш Нумерий Фурий тоже поет, но только при случае: он глава семьи, он римский всадник; просто он в детстве научился тому, чему стоило научиться. Вот так же обстоит дело и с нашими высокими науками. Квинт Туберон, человек отменного ума и душевных качеств, у всех на глазах занимался денно и нощно с философом, а вот его дядя Африкан, прямо и не поймешь, когда он это делал, а тем не менее делал. Учиться этому не трудно, если брать у науки ровно столько, сколько нужно, и если у тебя добросовестные наставники и ты сам умешь учиться; но ежели ты целую жизнь ничем, кроме этого, заниматься не пожелаешь, то само изучение и исследование будет порождать все новые и новые вопросы, на которые ты будешь с праздным любопытством искать ответа. 88. Углубление в науку может быть бесконечным, знакомство же с наукой совсем не трудно: пусть только знакомство это соразмеряется с потребностью, труд пусть будет умеренным, память и усердие неослабными. А учиться всегда приятно — даже, например, к игре в бабки или в мяч мне было бы приятно пристраститься, хотя у меня и нет к тому способностей; а те, у кого способности отличные, подчас увлекаются игрой даже куда больше, чем следует, например Тиций мячом, а Брулла³³ бабками. 89. И пусть никого не отпугивает то, что иные и в старости сидят над науками: это не потому, что наука так уж бесконечно обширна, а потому, что эти люди либо сознательно посвятили им всю жизнь, либо просто уже чересчур тупоумны, ибо если кто не способен был быстро что-нибудь усвоить, тот, по-моему, и вовсе никогда не сможет этого постигнуть. 90.

(24) — Вот теперь я понимаю тебя, Красс, — сказал Катул, — и, ей-богу, с тобой согласен. Теперь я вижу, что с такими-то способностями к учению ты отлично успевал с лету ухватывать все, о чем ты говоришь.

— До чего же ты упорен, — отозвался Красс, — если все еще думаешь, что я говорю о себе, а не об общем нашем деле! Но давайте уж, если угодно, вернемся к предмету. 91.

— Что до меня, — сказал Катул, — то мне очень даже угодно. Тогда Красс начал:

— Итак, какова же была цель этого столь длинного и столь обстоятельного отступления? Мне остается сказать

вот о каких двух разделах: об украшении речи и о высшем завершении всего в целом, то есть о том, что говорить следует, во-первых, красиво, во-вторых, уместно. Это значит, что речь должна быть как можно более увлекательна, производить как можно большее впечатление на чувства слушателей и подкрепляться как можно большим количеством доводов. 92. А как раз доводы, которыми орудуют у нас на форуме, полны крючкотворства, бранчивости, жалки, ничтожны и всецело потакают вкусам толпы. Не многим выше этой грубой площадной болтовни и то, что преподают эти ваши молодцы, объявляющие себя учителями красноречия. Нам же необходимы убранство и средства отборные, изысканные, отовсюду собранные и сосредоточенные, — точь-в-точь какие понадобятся тебе, Цезарь, на будущий год и как мне когда-то в мою бытность эдилом³⁶, — ибо, по-моему, способами привычными и обыденными удовлетворять народ невозможно. 93. Слова-то и отобрать, и расположить, и замкнуть в период совсем не трудно, как при помощи теории, так и без теории, одним навыком. А вот доводы — это материал действительно громадный и важный; однако пользоваться ими молодежь наша не столько учится, сколько разучивается, потому что и греки-то давно отвыкли ими владеть, а теперь нелегкая послала нам в эти два года еще и латинских наставников красноречия — тех самых, которым я в мое цензорство эдиктом запретил преподавать³⁷, не потому, что я не желал (как некоторые утверждали) оттачивать молодые дарования, а, напротив, потому, что я не желал их притуплять, поощряя бесстыдство. 94. Ведь у греков, каковы бы они там ни были, я все-таки видел кроме этой развязности языка хоть какие-нибудь научные сведения и звания, достойные образованного человека; а эти новые наставники, как я убедился, неспособны учить ничему, кроме дерзости, а это свойство, даже в применении к хорошим действиям, само по себе должно быть усиленно избегаемо. Только это у них и было, и школа их была школой бесстыдства; потому я и счел долгом цензора пресечь дальнейшее распространение зла. 95. Это совсем не значит, что я вообще не допускаю возможности излагать и разрабатывать наш предмет на латинском языке; ведь суть предмета и характер языка вполне допускают перенесение на наши обычаи и нравы древней и достославной мудрости греков. Но тут нужны люди образцованные, а таких, по крайней мере в этом деле, до сих пор у нас не

оказывалось; если же они когда-нибудь появятся, то их должно будет даже предпочесть грекам. 96.

[*Красота: ее распределение.*] (25) Итак, красота речи состоит прежде всего как бы в некой общей ее свежести и сочности; ее важность, ее нежность, ее ученость, ее благородство, ее пленительность, ее изящество, ее чувствительность, или страстность, если нужно, — все это относится не к отдельным ее частям, а ко всей ее целокупности. А вот цветы слов и мыслей, как бы усевающие речь, не должны рассыпаться по ней равномерно, а располагаться с разбором так, как на каком-нибудь наряде располагаются украшения и блески. 97.

Итак, общий тон речи надо избирать такой, какой в наибольшей степени удерживает внимание слушателей и какой не только их услаждает, но услаждает без пресыщения. (Я думаю, вы не ждете, что я стану увещевать вас, чтобы ваша речь не была вялой, грубой, темной, заурядной и тому подобное; ваши дарования и возраст требуют от меня советов поважнее.) 98. Трудно, право, сказать, почему все, что при первом впечатлении более всего услаждает и сильнее всего волнует наши чувства, то впоследствии всего скорее и надоедает, и пресыщает, и нагоняет скуку. Насколько и по красоте, и по разнообразию красок большинство новых картин цветистее старых! И однако даже если с первого взгляда они нас и захватывают, то надолго не восхищают, между тем как в древних картинах нас притягивает к себе самая их неумелость и старомодность. Насколько переливы голоса и искусственные нотки в пении мягче и сладостнее звуков чистых и строгих! Однако же не только люди серьезные, но и толпа бывают недовольны, когда ими злоупотребляют. 99. То же наблюдается и в области прочих чувств; благовониями с приторным и резким запахом мы не можем долго наслаждаться, а предпочитаем менее пахучие — запах воска нам явно приятнее запаха шафрана; даже для осязания существует предел мягкости и гладкости. Да и вкус, чувство самое из всех избалованное и больше всех других привлекаемое лакомствами, как скоро он отвергает и отплевывается от избытка сладости! Кто в состоянии долго пить или есть только сладкое? А умеренного вкуса пища и питье легко избавляют нас от пресыщения. 100. Так во всех случаях чрезмерное наслаждение граничит с отвращением.

Поэтому нечему тут удивляться и в отношении речи:

будь это стихотворение поэта, будь это проза оратора, но если мы чувствуем, что это произведение благозвучно, отделано, разукрашено, нарядно без перерыва, без передышки, без разнообразия, то, пусть оно и написано яркими красками, оно не может доставить длительного удовольствия. И тем скорее раздражают нас завитушки и прикрасы оратора или поэта, что чувства пресыщаются чрезмерным наслаждением естественно и бездумно, а здесь, в речах и в книгах, даже прикрашенные недостатки легко улавливаются не столько слухом, сколько умом. 101.

(26) Поэтому пусть уж нам кричат «хорошо!», «отлично!»; но когда начинают кричать только «очаровательно!» и «восхитительно!», это уже ни к чему. Мне самому приятно слышать, как восклицают: «лучше нельзя!» — и все-таки пусть в нашей речи среди всего этого восхитительного великолепия кое-что будет и приглушено, и затенено, чтобы на этом фоне ярче блистало и выделялось главное. 102. Росций мог бы сделать прекрасный жест при словах:

Ибо чести, не добычи ищет доблестный мудрец,

но он не делает этого и пренебрегает этим, чтобы зато в следующем стихе —

Но что вижу? Вторгся в храм он, опоясавшись мечом⁵⁸ —

ринуться, изумиться, ужаснуться, остолбенеть. Ну а другой актер? Как кротко, как нерешительно, как беспомощно он произносит:

Помощь мне где найти?..

Зачем? Да чтобы грозно прозвучало —

Отец мой! Отчизна! Приама чертог!⁵⁹

Тут игра актера не могла бы так потрясти, будь она поглощена и исчерпана предшествующим движением. И первыми это поняли даже не актеры, а сами поэты и сочинители музыки, так как только от стихов и от музыки зависят понижения, а затем повышения голоса, его ослабления и нарастания, его видоизменения и остановки.

Итак, пусть будет речь нашего оратора и красива, и приятна (да и как же иначе!), но пусть ее приятность будет строгой и твердой, а не слащавой и вялой. Ну, а как украшать такую речь, на то есть правила такие простые,

что их может применять даже самый никудышный оратор. Потому-то, как я уже говорил, надо сперва позаботиться о сыром материале доводов (о чем нам уже рассказывал Антоний), а потом уже этот материал надо обработать в нужном тоне и слоге, украсить словами и разнообразить мыслями. 104.

[Амплификация.] Высшее достоинство красноречия в том, чтобы распространить свой предмет. Распространение служит не только к усилению или превознесению чего-либо в речи, но и к умалению и уничтожению. (27) Оно необходимо во всех тех «местах», какие Антоний советовал применять для придания речи доказательности, когда мы или разъясняем что-нибудь, или когда мы успокаиваем, или когда возбуждаем слушателей; главным образом именно в этом последнем случае распространение имеет наибольшую силу и является исключительным и высшим достоянием оратора. 105. Еще большее значение имеет то, что Антоний в конце своего выступления предлагал, в начале же отвергал, а именно — искусство похвалы и порицания. Ничто ведь лучше не способствует разворачиванию и распространению речи, чем умение пользоваться тем и другим в совершенстве. 106. Далее тому же служат те самые «места», которые, хотя и должны относиться к данному делу и заключаться в нем самом, однако применимы ко всему на свете и потому издавна получили название «общих мест». Одни из этих «общих мест» содержат, скажем, резкие, преувеличенные и обычно неопровергаемые или неопровержимые обвинения и жалобы на проступки и преступления, как, например, на грабителя, на предателя, на отцесубийцу, — такими общими местами следует пользоваться только после подтверждения обвинений, а иначе они оказываются пустыми и бессильными; другие, напротив, содержат просьбы или мольбы о сострадании; а иные содержат рассуждения двоякие, позволяющие во всевозможных случаях пространно выступать и за и против. 107. Такие рассуждения считаются теперь достоянием двух философских школ, о которых я говорил раньше, а в старину были в распоряжении любого, кому нужно было обоснованно и пространно выступать по судебным делам. Нам и сейчас приходится говорить о добродетели, о долге, о справедливости и честности, о почете и позоре, о награде, наказании и тому подобных вещах как за, так и против, с вдохновением, силой и искусством. 108. Но так как нас выгнали из наших владений и оставили в

маленьком судебном именице, и мы, будучи защитниками других, не смогли удержать и охранить своей собственности, то мы, к своему величайшему стыду, берем займы то, что нам нужно, у тех, кто вторгся в нашу наследственную область.

[Общий вопрос.] (28) Так вот, те философы, которые теперь-то получили наименование по маленькой частице города и округа и называются «перипатетиками» или «академиками», а некогда, благодаря своей исключительной осведомленности в важнейших делах, звались по имени всей государственной области «политиками», — эти самые философы утверждают, что всякая речь перед народом имеет своим предметом одно из двух: либо спорный вопрос, определенный точным временем и лицами, например: «Допустить ли обмен наших пленных на карфагенских?», либо вопрос неопределенный, общего характера: «Как рассматривать и решить вопрос о пленных вообще?» 109. Вопросы первого рода они называют «делами» или «контroversиями» и разделяют их на три вида: судебные, совещательные или хвалебные; а вопросы второго рода называют «неопределенными» и «общими рассуждениями». 110. И этим же разделением они пользуются и при обучении, но так, что овладевают спорным владением не по праву или по суду и даже не силой, но присваивают его, только ломая ветку⁶⁰. Ибо за вопросы первого рода, определяемые временем, местом и лицами, они упорно держатся, цепляясь прямо за их обрывки; теперь ведь, при Филоне, который, говорят, стал главным в Академии, изучение и занятие этими «делами» там в особенном ходу. О вопросах же второго рода они всего только упоминают при начальном знакомстве с их наукой и считают их занятием ораторов; но они не показывают ни значения этих дел, ни их сущности, ни их подразделений и видов, так что уж лучше было бы совсем их обойти, чем так вот тронуть и бросить. И молчание это в данном случае объясняется беспомощностью, тогда как в других оно, видимо, сознательно. 111.

(29) В действительно же все, без исключения, предметы по самой природе своей могут рассматриваться и исследоваться совершенно одинаково, будь это «общие рассуждения» или же дела политические и судебные; и каждый предмет может быть сведен к общему вопросу, теоретическому или практическому. 112. Ибо тут всегда либо теоретически познается сущность предмета, например: «Ценна ли добродетель

тель сама по себе или какими-нибудь своими плодами?», — либо спрашивается о том, как надо практически поступать, например: «Следует ли мудрецу заниматься государственными делами?» 113.

Вопрос теоретический имеет три случая: установление, определение и, так сказать, следствие. Наличие какого-нибудь явления расследуется путем установления, например: «Есть ли в человеческом роде мудрость?» Сущность каждой вещи раскрывается в определении, например: «Что такое мудрость?» Следствие же применяется, когда доискиваются, что из чего следует, например: «Допустимо ли честному человеку когда-нибудь лгать?» 114. Установление, в свою очередь, подразделяется на четыре рода. Именно установлению подлежит или сущность какого-то предмета: «От природы ли у людей право или же по соглашению?», или его происхождение, например: «Почему великие ученые не согласны между собой в самых важных вопросах?», или его изменение, например: «Неужели у человека может пропасть добродетель или обратиться в порочность?» 115. Что касается определения, то к нему относятся такие рассуждения, когда или выясняется, что, так сказать, заложено во всеобщем сознании, например: «Тождественна ли справедливость с пользой большинству?», или выясняется, что кому присуще, например: «Присуща ли красивая речь только оратору или же она доступна и другим?», или когда что-нибудь разделяется на части, например: «Сколько есть видов желаемого? не насчитывается ли их три: благо телесное, благо духовное и благо стороннее?», или же, когда описывается чей-то облик и как бы естественные приметы, например образ скряги, мятежника, хвастуна. 116. Наконец, к следствию относятся два главных рода вопросов: это — либо рассуждение простое, если, например решают: «Надо ли стремиться к славе?», либо рассуждение, исходящее из сравнения: «К чему надо больше стремиться, к славе или богатству?» Простых рассуждений бывает три вида: о желательном и нежелательном, например: «Надо ли стремиться к почестям?» — «Следует ли избегать бедности?»; о справедливом или несправедливом, например: «Справедливо ли мстить за обиды даже близким?»; о достойном или постыдном, например: «Достойно ли ради славы идти на смерть?» 117. А сравнений бывает два вида: один, когда спрашивается, тождественны или различны какие-нибудь понятия, например: «боязнь и страх», «царь и тиран», «при-

атель и друг»; другой, когда спрашивается, что из двух лучше, например: «Должны ли мудрецы руководствоваться мнением лучших людей или одобрением народа?» Вот так примерно распределяются крупнейшими знатоками рассуждения, относящиеся к теоретическому вопросу. 118.

(30) Что же касается рассуждений, относящихся к практическому вопросу, то это или рассуждения о долге, — например о том, что правильно и что нет, как следует поступать и как не следует (а материалом для этого служит весь запас добродетелей и пороков), — или же это возбуждение душевных чувств и их успокоение и прекращение (а сюда относятся увещания, порицания, утешения, соболезнования и вообще всякое подходящее для любого душевного движения как возбуждение, так и укрощение). 119.

Теперь после разбора этих видов и способов всех рассуждений не имеет, разумеется, никакого значения, если наш распорядок несколько отличается от разделения Антония; ведь в наших разборах составные части одни и те же, только распределены и размещены они немного по-разному. Я перейду теперь к остальному и возвращусь к своей главной обязанности и задаче. Ибо из тех «мест», какие дал Антоний, легко извлечь всевозможные доводы для любого рода исследований, но для одного рода больше годятся одни, для другого — другие. Об этом даже нет никакой необходимости говорить: не столько потому, что это долго, сколько потому, что это совершенно ясно. 120.

[*Необходимость общего образования для оратора.*] Итак, самыми красивыми речами оказываются те, которые разбегаются во всю ширь и от частного спорного вопроса обращаются к разъяснению существа его в общем и целом, чтобы слушающие дело, уразумев его природу, сущность и общий характер, могли составить мнение об отдельных ответчиках, преступлениях и тяжбах. 121. Именно в этом, юноши, и звал вас упражняться Антоний, с тем чтобы от мелочных и робких прений возвести вас к искусству красноречия во всем его многообразии и мощи. Это великое дело, и его не охватить в немногих книжках, как полагали сочинители учебников словесности, и его не обсудить на этой Тускуланской вилле, где мы, беседуя, гуляем до полудня и сидим после полудня. Ведь наша задача не только выковать и отточить язык, но вдобавок до предела наполнить душу содержанием привлекательным, обильным, разнообраз-

разным, относящимся к многочисленным предметам величайшей важности. 122. (31) Ибо нам одним, если только мы настоящие ораторы, если мы призваны быть знатоками и руководителями и в гражданских, и в уголовных, и в государственных делах, нам, говорю я, принадлежит вся эта область знания и науки, в которую, точно в бесхозную и пустую, вторглись, когда мы были погружены в занятия, досужие люди, издеваясь и высмеивая ораторов, подобно Сократу в «Горгии», и даже осмеливаясь учить нас нашему же ораторскому искусству своими книжонками по «Риторике», как будто все то, что они говорят о правосудии, о долге, об устройстве и управлении государств, о всех законах жизни и самой даже природы, вовсе уж риторам и не касается! 123. Раз уж больше неоткуда, приходится нам теперь эти знания занимать у тех самых, кем мы ограблены, лишь бы только направить их к той общественной цели, для которой они предназначены и которой служить должны. И нечего, как я уже говорил, тратить на изучение этих предметов всю нашу жизнь, а нужно лишь отыскать те источники знаний, из которых сможем черпать всякий раз ровно столько, сколько нужно, и тогда, когда нужно: глупому человеку и всей жизни на это будет мало, а умный отыщет их быстро. 124. Ибо ни люди не одарены от природы настолько острой проницательностью, чтобы без всяких указаний добраться до наших сложных предметов, ни предметы эти, однако, не настолько темны, чтобы человек, обладающий острым умом, их не постиг, если только он до них добрался. А когда оратор сможет по всему этому безграничному полю свободно бродить, чувствуя, что где бы он ни находился, он находится в своих владениях, тогда он легко сможет найти себе любое убранство и любое украшение для речи. 125. Обилие содержания порождает и обилие выражения; и если содержание значительно, то оно вызывает естественный блеск и в словах. Пусть лишь тот, кто намерен говорить или писать, получит в детстве воспитание и образование, достойное свободного человека, пусть в нем будет горячее рвение и природные дарования; пусть он, приобретя опытность в рассуждениях на общие темы, изберет себе образцом для изучения и подражания писателей и ораторов, чья речь особенно хороша; и тогда, конечно, ему не придется расспрашивать нынешних наставников, как построить да как расцветить изложение. Таким образом, при богатстве содержания природные способности,

если только они развиты, сами собой, без руководителя, откроют оратору путь к украшениям речи. 126.

(32) — Боги бессмертные! — воскликнул Катул, — как разнообразно, как выразительно, как содержательно ты говорил, Красс, из каких теснин решился ты вывести оратора, чтобы вновь водворить его в царстве предков! Ведь и мы слышаны о том, что славные древние знатоки и мастера красноречия не отвергали никакого рода рассуждений и постоянно занимались речами по всевозможным вопросам. 127. Когда один из них, Гиппий Элидский⁶¹, прибыл в Олимпию на знаменитые четырехлетние игры, он похвалялся на глазах чуть ли не у всей Греции тем, что нет на свете такого искусства, какого бы он не знал; и не только среди тех искусств, предметы которых привычны для свободного и благородного человека, каковы геометрия, музыка, литература и поэзия, а также науки о явлениях природы, о нраве человека и об устройстве государства, — нет, даже перстень, который он носит, плащ, в который он одет, и сандалии, в которые он обут, он сделал собственными руками. 128. Конечно, он здесь немного перехватил, но по этому примеру легко понять, сколь многого достигли бывшие ораторы в славнейших искусствах, если они не пренебрегали даже такими низкими. А Продик Кеосский⁶², а Фрасимах Халкедонский, а Протагор Абдерский⁶³? Каждый из них очень много для своего времени рассуждал и писал — даже о природе вещей. 129. А Горгий Леонтинский? В споре об ораторе и философе у Платона он защищает оратора, и если победа остается не за ним, а за Сократом, то это означает лишь одно из двух: или диалог Платона вымыслен, и ничего подобного вовсе не было, или же, по-видимому, Сократ оказался и более речист, и более красноречив, то есть, по твоему выражению, говорил обильнее и лучше. Так вот в этой самой книге Платона Горгий открыто заявляет, что он готов сколько угодно содержательно говорить о любом предмете, который ему предложат для рассуждения⁶⁴; Горгий первый осмелился спросить в собрании, о чем любой из присутствующих желал бы от него услышать; и почетом в Греции он пользовался таким, что единственный удостоился в Дельфах статуи не позолоченной, а целиком золотой. 130. И все те, которых я назвал, да и многие иные величайшие знатоки красноречия жили в одно и то же самое время, так что по ним можно судить, что дело и впрямь обстояло так, как ты, Красс, говоришь: в старину

в Греции звание оратора куда больше процветало и было почитаемо. 131. Поэтому-то меня все больше берет сомнение, и я не могу решить, тебя ли мне больше следует восхвалять или греков укорять: между тем как ты, родившийся в стране с другим языком и с другими обычаями, занятый в нашем вечно деятельном обществе то всевозможными частными делами, то понечением о целом мире и управлением великой державой, сумел овладеть таким множеством познаний и соединил это воедино со знаниями и опытом государственного мужа, сильного советом и славой, а эти греки, рожденные в стране наук и горячо им преданные, так и иссякли в праздности и не только ничего не приумножили, но даже ничего из унаследованного достояния не сохранили. 132.

(33) — Не только в одной области, — отвечал Красс, — но и во многих других теперь сокращается объем каждой науки из-за расчленения больших наук и разъединения их частей. Как ты думаешь, во времена великого Гиппократы Косского⁶⁵ было так, что одни врачи лечили болезни, другие — раны, третьи — глаза? А когда Евклид и Архимед⁶⁶ занимались геометрией, или Дамон и Аристоксен⁶⁷ музыкой, или Аристофан и Каллимах⁶⁸ литературой, разве все эти предметы были настолько обособлены, что никто не охватывал всех их в целом, а каждый занимался исключительно только одним из них? 133. Да и наши соотечественники, желавшие прославиться мудростью, всегда стремились полностью охватить все, что можно было изучить в нашем отечестве. Об этом я часто слышал от отца и от своего тестя. Они вспоминали Секста Элия, а вот Мания Манилия мы видели и сами, — он ходил взад и вперед по форуму, и видно было, что делает он это затем, чтобы любой гражданин мог обратиться к нему за советом. И к ним обращались за советами — и когда они так прохаживались, и когда они посиживали в креслах у себя дома, — а вопросы были не только по гражданскому праву, но и о выдаче дочери замуж, о покупке поля, об обработке земли — словом, обо всех людских делах и обязанностях. 134. И старый Публий Красс, и Тиберий Корунканий, и прадед моего зятя⁶⁹, разумнейший Сципион, все эти великие понтифики отличались такой мудростью, что к ним обращались за советами по всем религиозным и мирским делам. Они и в сенате, и в народном собрании, и в судебных делах своих друзей и в мирное, и в военное время подавали свои благоразумные

и добросовестные советы. 135. А чего, в самом деле, не доставало Марку Катону, кроме нынешнего заморского и заемного лоска образованности? Разве знание права мешало ему выступать с речами? или его ораторские способности — изучать право? И в той, и в другой области он работал с усердием и успехом. Разве известность, какую он заслужил, ведя частные дела, отвлекала его от дел государственных? Нет: он был мужественнее всех в народном собрании, лучше всех в сенате, бесспорно был и отличным полководцем.

Словом, в те времена у нас не было ничего, что можно было знать и изучить и чего бы он не знал, не исследовал и даже не описал бы в своих сочинениях. 136. А теперь, наоборот, молодые люди идут добиваться должностей и управлять государством прямо ни с чем, безоружными — без всяких познаний, без знакомства с делом. Если и найдется среди многих один способный, то и он гордится лишь чем-нибудь одним: или воинской доблестью и хоть каким-то военным опытом, что теперь у нас в редкость; или знанием права, хоть и не в полном объеме, потому что религиозного права уже никто не изучает; или красноречием, за которое нынче считают крик и болтовню; а вот о познании и единении всех благородных знаний и самих душевных добродетелей у нас никто и не думает. 137.

(34) Обратимся теперь к грекам, без которых в нашем рассуждении нам обойтись никак нельзя, потому что как добродетелям надо учиться у нас, так науке — у них. Говорят, что у них было одновременно семь человек, слывших и именовавшихся мудрецами⁷⁰; и все они, кроме Фалеса Милетского, стояли во главе своих государств. Кто в те былые времена был более ученым или более образованным оратором, чем Писистрат⁷¹? тот Писистрат, который первый, говорят, привел дотоле разрозненные поэмы Гомера в тот порядок, в каком мы читаем их теперь. Благодетелем своих сограждан он не был, но был таким блестящим оратором, что всех превосходил и образованностью, и ученостью. 138. А Перикл? О силе его слова говорит то, что когда он наперекор афинянам выступал с суровой речью за благоденствие родины, то даже обличение народных вождей казалось в его устах самому народу и угодным, и желанным. А сочинители древней комедии, даже и злословя, что допускалось тогда в Афинах, признавали, что на устах его обитала прелесть, а в его словах была такая сила, что

они застревали, словно жало, в умах слушателей⁷². Да и не декламатор какой-нибудь обучал его горланить по часам⁷³, а сам, как известно, Анаксагор Клазоменский, крупнейший знаток высочайших областей знания. И вот благодаря учености, мудрости, красноречию Перикл в течение сорока лет был главою Афин во всех делах — и гражданских и военных сразу. 139. А Критий? а Алкивиад? Они не принесли, правда, добра своим согражданам, но несомненная их ученость и красноречие разве не были приобретены в беседах с самим Сократом? А кто дал образование Диону Сиракузскому⁷⁴? Разве не Платон? И научил он его не только слову, но и разуму и добродетели, побудив, вооружив и подготовив его к бою за освобождение отечества. И как у Платона учился Дион, разве не так же и не тому же учился у Исократ Тимоклей⁷⁵, сын выдающегося полководца Конона и сам великий полководец и ученейший человек! или у известного пифагорейца Лисида⁷⁶ — едва ли не величайший герой всей Греции, фиванец Эпаминонд? или у Ксенофонта — Агесилай⁷⁷? или у Филолая⁷⁸ — Архит Тарентский? или, наконец, у самого Пифагора — вся италийская Греция, именовавшаяся некогда Великой Грецией? 140. (35) Думаю, что тому же самому. Ибо я вижу, что была некая единая наука, объемлющая все предметы, какие достойны человека просвещенного и стремящегося к государственной деятельности; и все, кто ее усваивал, если они обладали даром слова и соответственными природными данными, оказывались выдающимися ораторами. 141. Так и сам Аристотель, видя, как благодаря славе своих учеников, процветает Исократ, оставивший в своих наставлениях дела государственные и судебные для заботы о пустой словесной красоте, неожиданно изменил почти целиком свой способ обучения⁷⁹, а в объяснение привел немного измененный стих «Филоктета»: Филоктет говорил, что ему «позорно молчать, позволяя говорить иноземцам»⁸⁰, а Аристотель говорил — «позволяя говорить Исократу». Поэтому он придал своей науке блеск и красоту и воссоединил познание вещей с упражнением в словах. И это не ускользнуло от умнейшего царя Филиппа, который и пригласил его в учителя своему сыну Александру, научившемуся у него правилам и поведения, и красноречия. 142.

Так вот, если кто пожелает назвать оратором того философа, который учит нас владеть всею полнотою и предметов, и слов, то пусть и называет без помехи; а если он

предпочтет называть философом того оратора, который, как я сказал, соединяет в себе мудрость с красноречием, то и тут я возражать не стану. Только бы он не забывал, что знать дело и не уметь его изложить, — это признак человека бессловесного, а не знать дела и владеть лишь словами — признак человека невежественного; ни то, ни другое похвалы не заслуживает, но уж если выбирать, то я предпочел бы неречистое разумение говорливой глупости. 143. Если же речь идет о том, что по-настоящему превосходно, то пальма первенства принадлежит тому, кто и учен, и красноречив. Если мы согласимся назвать его и оратором и философом, то и спорить не о чем; если же эти два понятия разделить, то философы окажутся ниже ораторов потому, что совершенный оратор обладает всеми знаниями философов, а философ далеко не всегда располагает красноречием оратора; и очень жаль, что философы этим пренебрегают, ибо оно, думается, могло бы послужить завершением их образования.

Сказав это, Красс и сам немного остановился, и остальные не стали нарушать молчания. 144.

[*Возвращение к теме.*] (36) Наконец Котта произнес:

— По совести, Красс, я не могу пожаловаться на то, что ты, по-моему, несколько отклонился в сторону и говорил не о том, о чем обещал; наоборот, ты даже сказал нам несколько больше того, что мы от тебя требовали. Но ты ведь должен был говорить об украшениях речи, и ты приступил уже к этому; ты разложил все достоинства речи на четыре части, ты рассказал нам о двух первых (для нас-то достаточно подробно, а для меры твоих знаний, конечно, лишь наскоро и мельком), и тебе оставались еще две части: а именно, во-первых, каким образом нам говорить красиво, а во-вторых, — уместно. 145. Но не успел ты начать, как тебя подхватил словно какой-то порыв вдохновения и едва не унес из наших глаз в открытое море. Ведь, хотя ты и охватил всю область знания, нам ты все-таки его не передал, да и передать не мог в такое короткое время. Как других, я не знаю, но меня ты прямо-таки загнал в стены Академии. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все здесь оказалось так, как ты говорил, чтобы не нужно было тратить на науку всей жизни и чтобы можно было с одного взгляда во всем разобраться; но если даже дело окажется нелегким или сам я буду несколько медлителен, все равно я никогда не успокоюсь и не устану, пока не постигну всех двояких путей

и приемов доказательства «за» и «против» по любому вопросу. 146.

Цезарь откликнулся:

— Одно в твоём рассуждении, Красс, чрезвычайно меня поразило. Ты утверждаешь: кто чего-нибудь не выучит быстро, тот уже не сможет этого выучить никогда. Так, стало быть, мне нечего тут и трудиться наудачу: либо я сразу постигну все то, что ты превознес до небес, либо, если мне это будет не под силу, не стану тратить времени даром и буду довольствоваться тем, что по силам любому из римлян. 147.

— А я, — отозвался Сульпиций, — по правде сказать, и вовсе не чувствую нужды ни в твоём Аристотеле, ни в Карнеаде, да и вообще ни в каких философах; а ты, Красс, можешь, коль угодно, думать, что я либо безнадежно неспособен усвоить ихнюю премудрость, либо ею пренебрегаю, что я и делаю. Для того красноречия, о каком мечтаю я, мне за глаза довольно простого знакомства с судебными и всеми доступными вопросами; многого, однако, я и тут не знаю и узнаю лишь тогда, когда этого требует очередное дело. Поэтому, если только ты уже не устал и если мы тебе не надоели, вернись к тому, что касается достоинства и блеска самой речи; я хочу услышать это от тебя не для того, чтобы отчаяться самому достигнуть красноречия, а для того, чтобы просто кое-чему подучиться. 148.

(37) На это Красс сказал:

— То, о чем ты спрашиваешь, Сульпиций, всем хорошо знакомо, да и тебе самому небезызвестно. Кто только этому не учил, не наставлял и даже не писал сочинений по этому предмету! Но будь по-твоему: я вкратце изложу тебе то, что мне, по крайней мере, на этот счет известно; однако же всегда буду считать, что даже в таких мелочах лучше обратиться к тем, кто первый открыл и разработал их. 149.

Итак, всякая речь составляется из слов; и нам сначала предстоит рассмотреть способ употребления их в отдельности, затем в сочетаниях. Ибо существуют украшения речи, заключающиеся в отдельных словах, и существуют другие, состоящие из сочетания слов.

[Слова по отдельности: простые и новообразованные.] Словами мы пользуемся или такими, которые употребляются в собственном значении и представляют собой как бы точные наименования понятий, почти одновременно с самими понятиями возникшие; или такими, которые употребляются в переносном смысле, как бы подменяя, так

сказать, друг друга; или, наконец, такими, которые мы вводим и создаем сами. 150. В отношении слов, употребляемых в собственном значении, главная задача оратора в том, чтобы избегать затасканных и приевшихся слов, а пользоваться отборными и яркими, в которых есть необходимая полнота и звучность. Стало быть, среди слов, употребляемых в собственном значении, тоже должен производиться определенный отбор, и решающим при этом должно быть слуховое впечатление; навык хорошо говорить также играет здесь большую роль. 151. Ведь самые обычные отзывы об ораторах со стороны людей непосвященных, вроде «У этого хороший подбор слов» или «У такого-то плохой подбор слов», выносятся не на основании какой-нибудь науки, а просто с помощью природного чутья. При этом не велика еще заслуга избегать промахов, хотя и это большое дело; умение пользоваться словами и большой запас хороших выражений образуют как бы только почву и основание красноречия. 152. А вот то, что на этом основании воздвигает сам оратор и к чему прилагает он свое искусство, это нам и предстоит исследовать и выяснить.

(38) Итак, украшения речи, состоящие в отдельных словах, которыми располагает оратор, имеют три вида: либо слова малоупотребительные, либо новообразованные, либо переносные. 153.

Малоупотребительные слова — это преимущественно древние и старинные слова, давно уже вышедшие из разговорного обихода. Они более доступны как поэтическая вольность в стихах, чем в ораторской речи; однако изредка употребляемое поэтическое выражение и речам придает более возвышенный оттенок. Потому я бы не стал отвергать таких оборотов, как у Целия: «В эту годину пуниец вошел в Италию»⁸¹, или отказываться от таких слов, как «сродник», «отрок», «вещать», «именовать», или твои, Катул, излюбленные выражения «я не мыслил», или «полагал», или еще многие другие, благодаря которым⁸² речь часто приобретает величавость и древнюю важность⁸². 154.

Новообразованные слова — это те, которые рождаются и создаются самим говорящим. Иной раз они возникают путем соединения двух слов, как, например:

Я едва дышу от страха: обезумил страх меня⁸³ —

и

Иль не отомстишь за все хитролукавствия⁸⁴?

Вы прекрасно видите, что и «хитролукавствия» и «обезумил» образованы соединением, а не рождены естественно; но часто также создаются новые слова и не путем соединения, вот, например: «дряхлац покинутый», «родительные боги», «под весом зрелых ягод накреныются». 155.

[Слова по отдельности: переносные.] Третий способ — употребление слов в переносном смысле — имеет самое широкое распространение. Его породила необходимость, он возник под давлением бедности и скудности словаря, а затем уже красота его и прелесть расширили область его применения. Ибо подобно тому как одежда, вначале изобретенная для защиты от холода, впоследствии стала принаменяться также и как средство украшения и как знак отличия, так и переносные выражения, появившись из-за недостатка слов, распространились уже ради услаждения. Например: «глазки у лозы», «роскошный урожай», «веселые нивы» говорят даже в деревне. Когда то, для чего трудно подобрать слово в собственном значении, передается с помощью значения переносного, то мысль, которую мы хотим выразить, выигрывает в яркости от содержащегося в перенесенном слове уподобления. 156. Таким образом, эти переносы представляют собою как бы заем — то, чего нет в нашем распоряжении, приходится занимать на стороне. Несколько более смелы те переносы, которые явились не по недостатку слов, а для придания речи особого блеска; но нужно ли мне излагать вам, как их создавать и какие они бывают? 157.

(39) Уподобление, сжатое в одном переносном слове, бывает принято только тогда, когда оно ощутимо; если же никакого уподобления не чувствуется, то язык такой перенос отвергает. Пользоваться переносными выражениями следует, во-первых, там, где они более наглядно представляют предмет, например вот в этих стихах:

Море ошетинилось,
Мрак удвоился, ночные тучи тьмою взор слепят,
Пламя в облаках трепещет, небо потрясает гром,
Град и ливни проливные сразу падают стремглав,
Отовсюду ветры рвутся, вихри яростно встают,
Закипела вся пучина....⁸⁵

Здесь для наглядности почти все выражено словами, перенесенными по сходству. 158. Во-вторых, переносы нужны там, где они более точно передают смысл предмета, будь то какой-нибудь поступок или мысль; так двумя

переносами по сходству поэт показывает, как человек умышленно не желает открыть и дать понять то, что произошло:

Ловко он в слова рядится, плутней ограждается⁸⁶.

В-третьих, иногда таким переносом достигается краткость выражения, как, например: «Если копье вырвалось из руки». То, что копье было брошено нечаянно, не могло бы быть высказано с такой сжатостью буквальными выражениями, как это передано одним словом, употребленном в переносном смысле. 159.

Здесь меня очень часто удивляет, почему всем больше нравятся слова переносные и заимствованные из другой области, чем слова, взятые в собственном своем значении. (40) Еще понятно, что если предмет не имеет собственного наименования и точного обозначения, как «ножка» у постели, как «заклад», который кладется в сундук, как «развод» по отношению к жене, то необходимость вынуждает недостающее слово брать из другой области; но, ведь даже располагая великим множеством самых точных слов, все же люди гораздо охотнее пользуются словами несобственными, если только перенос значения удачен. 160.

Может быть, это происходит потому, что человеческому уму свойственно отмахиваться от того, что под руками, и хвататься за иное, далекое; либо потому, что при этом мысль слушателя уносится далеко в сторону, не сбиваясь, однако, с пути, а это необычайно приятно; либо потому, что при этом одно сходственное слово разом рисует весь предмет целиком; либо потому, что всякое переносное выражение, если только оно образовано правильно, обращается непосредственно к нашим внешним чувствам, а в особенности к зрению, чувству наиболее обостренному. 161. Есть, конечно, и образы, заимствованные из области остальных чувств, — «дух изящества», «мягкость образованности», «ропот моря», «сладость речи», — но зрительные образы гораздо ярче, они почти что дают нам видеть умственным взором вещи, недоступные очам. Ведь нет на свете такого предмета, название и имя которого мы не могли бы употребить в переносном смысле. Потому что все, что поддается сравнению, — а сравнению поддается решительно все, — может быть сжато переносным выражением по сходству в единое слово, и оно украсит речь ярким образом. 162.

Пользуясь переносными словами, прежде всего следует

избегать употреблений натянутых: «Неба арки мощные». Хотя Энний, говорят, сам пустил в оборот слово «сфера», однако в сфере никак не может заключаться сходства с арками⁸⁷. И напротив:

Живи пока, Улисс!
Последний светозарный луч глазами рви!⁸⁸

Здесь не сказано ни «получай», ни «бери» — это выражало бы какую-то надежду для собирающегося еще пожить, — но «рви». Это слово хорошо подготовлено предыдущим «пока». 163.

(41) Затем надо позаботиться о том, чтобы сравнение не было слишком отвлеченным. Вместо «Сирт⁸⁹ наследства» я сказал бы, скорее, «подводный камень», вместо «Харибды⁹⁰ богатства», — пожалуй, «пучина богатства». Ведь мысленный взор скорее представит себе то, что мы видели, чем то, о чем знаем только понаслышке. Далее, поскольку высшее достоинство переносов заключается в том, чтобы взятое в переносном значении слово поражало чувство, то недопустимо привлекать для сравнения предметы безобразные и этим обращать на них внимание слушателей. 164. Я не считаю возможным сказать, что смерть Африкана «охолостила» республику, или обозвать Главцию «дерьмом сената»; пусть сходство тут и есть, но в обоих случаях сравнение уводит нас в область отвратительного. Я возражаю и против преувеличения предмета — «Буря кутежа», и против преуменьшения — «Кутеж бури». Я возражаю и против того, чтобы переносное выражение было слишком узко по сравнению с собственным и точным выражением:

Откинул ты зачем приближенья к себе?

Лучше было бы «запретил», «помешал», «отпугнул», раз перед этим сказано:

Подходить вы не смейте!
Я вас оскверню даже тенью своею!⁹¹

165. Кроме того, если есть опасение, что переносное выражение покажется слишком смелым, его следует смягчить — обычно простой оговоркой: так, если бы в старину кто-нибудь сказал по поводу смерти Катона, что сенат «осиротел», это было бы слишком смело; а вот «можно сказать, осиротел» — это уже гораздо мягче. В самом деле, перенос не должен быть навязчивым, иначе покажется, что

перенесенное слово не заняло, а захватило силой чужое место. 166. Итак, при употреблении отдельных слов больше всего яркости и блеска сообщают речи переносные выражения, а из переносных выражений и уже не по отдельности, а из нескольких подряд складывается, в свою очередь, следующий прием⁹² того же рода: тот, при котором говорится одно, а подразумевать следует иное:

...да и я не потерплю,
Чтоб на ту ж, как флот ахейн, вновь скалу я налетел⁹³.

И еще:

Хвастай, хвастай, вот увидишь, блудни все твои, нахал,
Укротит узда законов, и ярмо наложит власть⁹⁴.

167. (42) Слова, присущие одному предмету, переносятся здесь на другой, схожий предмет, точь-в-точь как при простом переносе. Это также важное украшение речи. В нем особенно надо избегать темноты: иначе этот прием обернется тем, что мы называем загадками. Но повторяю, что способ этот относится уже не к единичным словам, а ко всей речи, то есть к последовательному ряду слов.

Не изменяет смысла отдельных слов также и подмена или замена⁹⁵ их:

В трепетном страхе дрожит суровая Африки область⁹⁶;

вместо «африканцы» здесь сказано «Африка». И такое слово не бывает ни новосозданным, как «С камнеломными волнами море», ни переносным, как «Смягчается море»; просто одно точное слово подменяется другим точным словом, и из этого получается украшение:

Брось твоих недрогов, Рим...

и

Зритель — Великая Степь...⁹⁷

Этот прием украшения речи очень важен, и к нему приходится часто прибегать. Его мы находим в таких выражениях, как «Марс войны ненадежен», или когда мы называем хлеб «Церерой», вино — «Вакхом», море — «Нептуном», сенат — «курией», народное собрание — «Марсовым полем», мир — «тогой», войну — «щитом и копьем»; или же когда мы называем добродетели и пороки вместо их носителей: «Роскошество ворвалось в дом» и «Куда проникла алчность» или «Честность победила», «Законность одолела». 168. Вот каков весь этот род оборотов речи, когда

путем подмены или замены одного слова другим то же самое понятие становится красивее.

Сюда же принадлежат и такие менее красивые, но все же достойные внимания обороты, когда мы либо под частью разумеем целое⁹⁸, например, вместо здания говорим «стены» или «кров»; либо под целым разумеем часть, когда, например, один конный отряд именуем «конницей римского народа»; либо под одним лицом подразумеваем многие:

Все-таки римский муж, хотя и выиграна битва,
В сердце трепещет...

либо под многими лицами — одно:

Стали мы римлянами, а были мы раньше рудийцы⁹⁹;

либо вообще, когда сказанное следует понимать не буквально, а по общему смыслу.

169. (43) Часто мы отступаем от обычного словоупотребления¹⁰⁰ даже не столь изящно, как при переносах, а с гораздо большей вольностью, не выходя, однако, за грани допустимого; например, говорим не «длинная речь», а «пространная речь», не «малая душа», а «мелкая душа». Тем не менее из всех перечисленных приемов только один относится не к употреблению — тот, который, как я показал, складывается из целого ряда переносов; а все остальные, состоящие в замене слов или в замене их буквального значения иным, в конечном счете являются случаями употребления отдельных переносных слов.

170. Таким образом, достоинство и превосходство отдельных слов в ораторской речи сводится к трем возможностям: или к употреблению старинного слова, но все-таки приемлемого для живого языка; или к употреблению слова нового, созданного путем сложения либо путем словопроизводства, но тоже сообразного с требованиями языка и слуха; или, наконец, к употреблению слова переносного, что придает речи наибольшую яркость и блеск, усыпая ее как бы звездами.

171. [*Слова в связной речи: расположение.*] Далее следует вопрос о сочетании слов, сводящийся главным образом к двум требованиям: во-первых, к правильному расположению слов, во-вторых, к некоторой размеренности и законченности речи.

Расположение слов требует сочетать и складывать слова так, чтобы при встрече их друг с другом не получалось ни

шероховатостей, ни зияний¹⁰¹, а было впечатление как бы сплоченности и гладкости. Насчет этого позабавился от лица моего тестя тот, кто чрезвычайно тонко умел это делать, — Луцилий:

Как у тебя хорошо словеса расположены! Словно
Плитки в полу мозаичном сложились в змеинный рисунок!

А потом, подшутив над Альбуцием, он не оставил в покое и меня:

Зять у меня сам Красс; состязаться с ним в риторстве
брось ты.

Так что же, Луцилий? Разве этот самый Красс, раз уж ты воспользовался его именем, добивался чего-нибудь иного? Да нет, того же самого, только с большим успехом, чем Альбуций, — по крайней мере так думает мой тесть и так надеюсь я сам. Поэтому Луцилий шутит здесь только надо мной, как нередко шутил; а то расположение слов, о котором идет речь, все-таки надо сохранять. 172. Оно делает речь связной, сплоченной, гладкой, ровно текущей; и этого вы достигнете, если будете соединять окончания слов с началом следующих так, чтобы эти сочетания не сопровождались ни резкими столкновениями, ни слишком ощутительным разрывом. 173.

[Слова в связной речи: ритм.] (44) За этой заботой следует вторая — соблюдение размеренности и законченности речи. (Пусть только Катулу не покажется, что я говорю слишком по-детски.) Так хорошо вам знакомые древние знатоки считали, что даже в прозаической речи необходимо выдерживать почти что стих, то есть ритм; именно они требовали, чтобы в речи были остановки, во время которых можно перевести дыхание, с предшествующими им концовками, обусловленные, однако, не нашей усталостью и не отметками писца, а размеренностью слов и предложений. Первым, говорят, начал этому учить Исократ, чтобы, как сообщает его ученик Навкрат, придать обычно беспорядочным речам старинных ораторов ритмическую четкость, сделав их приятными для слуха. 174. Ибо музыканты, бывшие некогда также и поэтами, придумали два приема доставлять удовольствие — стих и пение, чтобы и ритмом слов и напевом голоса усладить и насытить слушателей. Вот эти два приема, то есть управление тоном голоса и ритмическую законченность фраз, поскольку их

допускает строгость прозаической речи, они сочли возможным из поэтики перенести на красноречие. 175. Едва ли не важнее всего при этом следующее: мы считаем промахом, если в прозе сочетание слов нечаянно образует настоящий стих, и в то же время мы хотим, чтобы это сочетание обладало таким же ритмическим заключением, закругленностью и совершенством отделки, каким обладает стих. И среди многих других признаков нет ни одного, который в большей мере отличал бы оратора от неопытного и несведущего в искусстве речи человека, чем тот, что искусный муж беспорядочно распространяется, насколько хватает сил, и ограничивает свои словоизлияния лишь запасом дыхания, а не художественными соображениями, оратор же всегда так укладывает мысль в слова, что она обрамляется определенным размером, выдержанным и в то же время свободным. 176. Именно, ограничив ее сначала намеченной формой и размером, он затем раздвигает эти рамки и дает ей волю, переставляя слова так, что никакой непреложный закон, как в стихе, их не сковывает, и в то же время разбегаться во все стороны они не могут.

(45) Так каким же образом приступить к такой серьезной задаче и считать, что мы можем овладеть размеренною речью? Это дело не столь трудное, сколь необходимое. Ведь нет ничего столь мягкого, столь гибкого, так послушно принимающего любое направление, как живая речь. 177. Из нее складываются ровные стихи, из нее же — переменчивые ораторские размеры, из нее же, наконец, и совершенно свободная проза всякого рода. В самом деле, слова в простой беседе и в ораторской речи одни и те же; слова для повседневного обихода и для театральной высокопарности черпаются из одного источника; но когда мы берем эти слова, первые попавшиеся, прямо из жизни, то мы формуем и лепим их по своему желанию, как мягкий воск. И оттого наша речь звучит то важно, то просто, то держится некоторого среднего пути; так характер слов вторит нашей мысли, видоизменяясь и преображаясь любым образом, чтобы радовать слух и волновать дух. 178. Но так уже устроила с непостижимым совершенством сама природа: как во всем на свете, так и в человеческой речи наибольшая польза обыкновенно несет в себе и наибольшее величие и даже наибольшую красоту. Мы видим, что ради всеобщего благополучия и безопасности само мироздание устроено от природы именно так: небо округло, земля находится в се-

редине и своею собственной силой держится в равновесии. Солнце обращается¹⁰² вокруг нее, постепенно опускаясь до зимнего знака и затем постепенно повышаясь вновь; Луна, увеличиваясь и убавляясь, получает свет от Солнца; и по тем же пространствам движутся с разной скоростью и по разному пути пять светил¹⁰³. 179. Все это настолько стройно, что при малейшем изменении не могло бы держаться вместе; настолько восхитительно, что и представить себе нельзя ничего более прекрасного. Взгляните теперь на вид и облик людей и животных: и вы найдете, что все, без исключения, части тела у них совершенно необходимы, а весь их облик создан как бы искусством, а не случайностью. (46) А если посмотреть на деревья? И ствол у них, и ветви, и листья — все до мелочей служит устойчивости и сохранности их природы; и при этом каждая из частей их полна изящества. 180. Оставим природу и посмотрим на искусства. Вот корабль; что более необходимо для него, чем борта, чем днище, чем нос, чем корма, чем реи, чем паруса, чем мачты? И, однако, у них такой изящный вид, что кажется, будто они изобретены не только ради безопасности пловцов, но и ради нашего удовольствия. Вот колонны, они поддерживают храмы и портики; однако и в них достоинство ничем не уступит пользе. Вот кровля Капитолия или любого другого храма; не потребность в изяществе, а необходимость заставила придать ей такой вид; но когда была придумана двускатная крыша с фронтоном, чтобы вода стекала с нее, то оказалось, что такой фронтон не только удобен, но и величав, настолько величав, что если бы построить Капитолий на небесах, где не бывает дождя, то без фронтона он лишился бы там всякого величия. 181.

То же самое относится и к речи во всех ее разделах: за пользой и даже необходимостью в ней следуют и приятность, и прелесть. Так, например, концовки и передышки между словами вызваны были необходимостью набирать свежий запас воздуха и переводить слабствующее дыхание; но в этом изобретении оказалась такая приятность, что если бы кто-нибудь и был наделен неистощимым дыханием, мы все же не захотели бы, чтобы он сыпал слова без прерывов. Ведь нашему слуху приятно лишь то, что для легких говорящего не только доступно, но и легко. 182. (47) Понятно, что самое длительное сочетание слов — это то, какое может быть произнесено на одном дыхании. Но это границы, поставленные природой; искусство же ставит другие границы.

В самом деле, из многочисленных существующих размеров ваш Аристотель, Катул, исключает для оратора ямб и хорей¹⁰⁴. От природы они сами собой напрашиваются в нашу речь и в наш разговор; но для нас в этих размерах слишком заметны ударения, и стопы их слишком мелки. Поэтому он зовет нас пользоваться прежде всего гексаметром; но и из него можно безнаказанно взять, пожалуй, лишь две стопы или чуть-чуть больше, чтобы речь не превратилась совсем в стихи или в подобие стихов. «Обе девы высокие» — эти три стопы довольно благозвучны для начала периода. 183. Но более всего рекомендует он пеан, которого имеются два вида: пеан, начинающийся долгим слогом¹⁰⁵, за которым следуют три кратких, как, например, такие слова: *disinite, incipite, comrimite*, и пеан, начинающийся тремя краткими с последним долгим, как *domuerant, sonupedes*. Философу нравится, когда начинают с первого и кончают вторым. Этот последний пеан не по числу слогов, а по слуху, который судит точнее и вернее, почти равен кретику, состоящему из долгого, краткого и долгого слогов, например:

Помощь мне где найти? и куда мне бежать?¹⁰⁶.

Таким размером начинает свою речь Фанний: «Если страх вам внушит то, чем нам он грозит». Аристотель и этот размер считает подходящим для концовок, которые, по его мнению, должны в большинстве случаев кончаться долгим слогом. 184.

(48) Впрочем, здесь не требуется такого острого внимания и тщательности, какие приходится проявлять поэтам, которых сами стихотворные размеры с необходимостью вынуждают так укладывать слова в стих, чтобы ничто даже на самый кратчайший вздох не оказалось ни короче, ни длиннее, чем следует. По сравнению с этим прозаическая речь гораздо свободнее — не до такой, конечно, степени, чтобы путаться и рассыпаться, но как раз настолько, чтобы она без всяких оков сама себя сдерживала. В этом я согласен с Феофрастом, который считает, что речь, если она хочет быть отделанной и художественной, должна обладать ритмичностью не строго выдержанной, а более свободной. 185. По его мнению, из простых размеров, применяемых в самых обычных стихах, развился более величавый метр — анапест, а из анапеста — свободный и роскошный размер дифирамба, части и стопы которого, по словам Феофраста, можно найти во всякой богатой прозаической речи. И в самом деле, если

ритм любых слов и звуков состоит в том, что мы улавливаем в них отчетливые повышения голоса и ощущаем между ними равные промежутки, то почему бы нам не считать такой ритм достоинством речи, если, конечно, он не затягивается без конца? Ведь болтовня без остановок, без передышек, без перебоев, кажется нам грубой и не изящной единственно потому, что в человеческом слухе от природы заложено чувство меры. А оно бывает удовлетворено лишь тогда, когда в речи есть ритм. 186. В непрерывности же нет никакого ритма: ритм создается лишь четкими промежутками между ударениями, промежутками равными или даже неравными, — мы замечаем ритм в падении капель, разделенных промежутками, и не замечаем в стремительном движении потока. Таким образом, последовательное течение слов представляется гораздо более складным и приятным для слуха, когда оно разбито на отрезки и члены, чем когда оно тянется и длится непрерывно. А стало быть, и сами эти члены должны быть упорядочены. Так, если члены, помещенные на конце, оказываются короче предыдущих, то рушится весь этот наш период (так называют эти закругленно выраженные предложения греки). Поэтому следующие члены должны быть либо равны предшествующим, а конечные — начальным, либо, что еще лучше и приятнее, они должны быть длиннее. 187.

(49) Так, по крайней мере, говорили те философы, которых ты, Катул, так высоко ценишь; я частенько об этом заявляю, чтобы ссылками на уважаемых писателей избежать обвинения в нелепостях.

— В каких еще нелепостях? — сказал Катул. — Да что же может быть лучше того, что ты с таким изяществом разобрал и так тонко изложил в твоём рассуждении?

188. — Да вот я побаиваюсь, — сказал Красс, — что кому-нибудь может показаться, что все это слишком трудно для выполнения, либо, наоборот, будто мы нарочно преувеличиваем значение и трудность таких пустяков, каких и в школе-то не проходят.

— Ты ошибаешься, Красс, — возразил Катул, — если думаешь, что либо я, либо кто-нибудь другой здесь ожидает от тебя обычных затасканных правил. Мы хотим, чтобы речь шла именно о том, о чем ты говоришь, и чтобы это было не только изложено, но изложено по-твоему, и я обращаюсь к тебе не только от себя, но, без всякого сомнения, и от всех здесь присутствующих.

189. — Что до меня, — сказал Антоний, — то я нашел наконец того, кого, как я говорил в своей книжке, никогда не мог найти — совершенного оратора. Но я не хочу перебивать тебя даже ради похвалы тебе, и пусть ни одно мое слово не сокращает и без того уже столь скудного для твоей речи времени.

190. — Итак, — продолжал Красс, — вот по этому закону ритма мы и должны вырабатывать речь, упражняя в этом как голос, так и перо, которое всегда помогает достичь наилучшего украшения ее и отделки. Это однако не так трудно, как кажется, и здесь нет необходимости соблюдать строгие правила ритмики или музыки; мы должны добиваться только того, чтобы речь не расплывалась, не отклонялась в стороны, не спотыкалась, не разбегалась слишком далеко, чтобы она была правильно расчлененной, чтобы ее периоды были закончены. Да и периодами с их плавным звучанием лучше пользоваться не сплошь, а надо чаще прерывать речь более короткими членами, но тоже связанными ритмом. 191. Да не смущает вас также пеан и пресловутый героический размер¹⁰⁷. Они сами попадутся нам на пути, сами, так сказать, предложат свои услуги и откликнутся без зова, лишь бы образовался такой навык в письме и устной речи, чтобы фраза сама собой облекалась в ритмические сочетания слов и чтобы сочетания эти начинались видными и свободными размерами, преимущественно дактилем или первым пеаном, или кретиком, а завершались с наивозможным разнообразием и четкостью. Ибо более всего заметно бывает однообразие перед паузой. И если эти начальные и конечные стопы соблюдены, то находящиеся в середине могут остаться без внимания, лишь бы сам период не был ни короче, чем ожидает слушатель, ни длиннее, чем позволяют силы и дыхание. 192. (50) Концовки же следует, по моему мнению, даже еще старательнее соблюдать, чем начальные части, так как именно они более всего дают впечатление совершенства и закругленности. Только в стихе одинаковое внимание уделяется и началу, и середине, и концу, и где бы ни проскользнула ошибка, стих страдает одинаково; в ораторской же речи, напротив, лишь немногие замечают начало, а конец — почти все, и так как эта часть более всего бросается в глаза и привлекает внимание, она-то и должна разнообразиться, чтобы развитой вкус или пресыщенный слух ее не забраковали. 193. А именно, надо, чтобы две или три последние

стопы были выдержаны и выделены, если, конечно, предыдущая часть фразы не слишком коротка и отрывиста, и стопы эти должны быть или хорейми, или дактилями, или же чередоваться друг с другом, или с тем последним пеаном, который одобряет Аристотель, или с равным ему кретикум. Такие чередования способствуют и тому, чтобы слушатели не пресыщались надоедливym однообразием, и тому, чтобы получающийся ритм не казался нарочитым. 194. И если славный Антипатр Сидонский¹⁰⁸, которого ты, Катул, отлично помнишь, умел сочинять стихи гексаметром и настолько изошрился свое дарование и память, что по первому желанию слагать стихи у него сами собою текли слова, то насколько же нам в наших речах легче этого достичь путем упражнения и привычки!

195. И нечего удивляться, каким образом невежественная толпа слушателей умеет замечать такие вещи: ибо здесь, как и повсюду, действует несказанная сила природы. Ведь все, как один, по какому-то безотчетному чутью, без всякого искусства или науки отличают верное от неверного и в искусствах, и в науках. И раз люди разбираются так и в картинах, и в статуях, и в других художественных произведениях, для понимания которых у них меньше природных данных, то тем более они способны судить о словах, ритме и произношении потому, что для этого во всех заложено внутреннее ощущение, и по воле природы никто этого чутья полностью не лишен. 196. Поэтому впечатление на людей производит не только искусная расстановка слов, но и ритм, и произношение. Много ли таких, кто постиг законы ритмики и метрики? Однако при малейшем их нарушении, когда стих либо укорачивается от сокращения, либо удлиняется от растяжения слога, весь театр негодует. И разве не то же самое происходит и при пении, когда весь народ при разногласии не только труппы и хора, но и отдельных актеров гонит их вон? 197. (51) Удивительно, какая между мастером и неучем огромная разница в исполнении дела, и какая малая — в суждении о деле. Ведь раз всякое искусство порождается природой, то, если бы оно не действовало на нашу природу и не доставляло бы наслаждения, оно ни на что не было бы годно. А от природы нашему сознанию ничто так не сродно, как ритмы и звуки голоса, которые нас и возбуждают, и воспаляют, и успокаивают, и расслабляют, и часто вызывают в нас и радость, и печаль; этой великой их силой, особенно явной в стихах и песнях,

не пренебрегли, как я вижу, ученейший царь Нума¹⁰⁹ и наши предки, на что указывают звуки струн и дудок, а также стихи салиев¹¹⁰, но еще более это было в ходу на торжественных пирах в древней Греции. (Насколько лучше было бы нам с вами беседовать о таких вот вещах, чем о переносных выражениях и прочих ваших пустяках!) 198. Так вот, как толпа замечает ошибки в стихосложении, точно так же она чувствует промахи и в нашей речи. К поэту она беспощадна, к нам снисходительна, однако все, что у нас сказано нескладно и несовершенно, она хоть молчит, да видит. Поэтому даже старинные ораторы, которые (как, впрочем, кое-кто и до сих пор) еще не умели правильно закруглить период, — что и мы-то лишь недавно начали и осмелились делать, — и заключали его всего тремя, двумя, а иные и одним словом, даже, говоря я, эти древние ораторы при всей своей бессловесности помнили, чего требует человеческое ухо: чтобы фразы в их речи были равномерными и расчленялись одинаковыми передышками. 199.

[*Фигуры речи.*] (52) Вот, пожалуй, и я рассказал по мере сил все, что считаю самым существенным для украшения речи. Сказал я и о значимости отдельных слов, сказал и об их сочетании, сказал и о ритме, и строе речи. Если же вы хотите узнать и об общем складе, тоне, окраске речи, то вот что я скажу: речь бывает и изобильной, но вместе с тем изящной, и скудной, но не лишенной крепости и силы; и, наконец, такой, какая держится похвального среднего пути, соединяя качества того и другого рода¹¹¹. В каждом из этих трех видов речи может быть прекрасный склад, тон и окраска, если только создают ее не румяна, а настоящий полнокровный румянец. 200. А после этого оратор у нас должен так наловчиться владеть оружием слов и мыслей, как великолепный гладиатор, который старается не только наносить удары и избегать ударов, но еще старается делать это красиво. Слова оратора должны способствовать стройности и достоинству речи, а мысли оратора — ее внушительности.

Приемы построения и слов, и мыслей почти неисчислимы, что, как я уверен, вам небезызвестно. Разница между построением слов и построением мыслей состоит в том, что при перемене слов словесное построение нарушается, а построение мыслей сохраняется, какими бы словами ни пользоваться. 201. Хотя вы и без меня это соблюдаете,

однако я, как видно, должен еще раз вам напомнить, что для оратора нет ничего более существенного, важного и дивного, чем при выборе отдельных слов держаться трех наших правил: словами иносказательными пользоваться вволю, новообразованными — иногда, а устарелыми — только изредка; в общем течении речи следить за гладкостью словосочетаний и за правильностью ритма; и, наконец, всю речь разнообразить и как бы усыпать блестками мыслей и слов. 202.

(53) Ибо сильное впечатление производит *задержание*¹¹² на чем-нибудь одном и яркое *разъяснение* с наглядным *показом* событий; все это очень важно и для изложения дела, и для украшения и распространения его, когда мы стремимся, чтобы наши ораторские преувеличения представлялись слушателям самой действительностью; часто встречается и противоположное этому беглое *обозрение* и выразительный намек, говорящий больше слов, и сжатая четкая *краткость*, и *умаление* в сочетании с *осмеянием*, которому научил нас Цезарь, и *отступление* от темы, приятно развлекающее, но требующее потом ловкого и уместного возвращения к делу; *предуведомление* о том, о чем собираешься говорить, и *подытоживание* того, что уже сказано, и *возвращение* к сказанному, и *повторение*, и логическое *заключение* для возвеличивания или умаления истины; и *вопрошание*, как бы отвечающее на него *подсказывание* собственного мнения; затем то, что больше всего как бы вкладывается в сознание людей, — *ирония*, когда говорится одно, а разумеется другое, что особенно приятно в речи, будучи сказано не ораторским, а разговорным языком; далее *сомнение*, затем *расчленение*, затем *поправка* того, что ты уже сказал или еще скажешь или даже вообще не собираешься говорить; также *предотвращение* возражений против того, что ты скажешь и *перенесение* ответственности на другого; *собеседование*, когда ты словно обсудишь вопрос со своими слушателями; *подражание* привычкам и поведению в лицах или без лиц — одно из существенных украшений речи и едва ли не самый ловкий прием, чтобы привлечь, а то и взволновать слушателей; *олицетворение* — едва ли не самый сильный и блестящий прием усиления; *описание*, *намеренное заблуждение*, *увеселение*, *предвосхищение*; затем эти два сильнейших приема воздействия — *уподобление* и *пример*; *разделение*, *перебывание*, *противопоставление*, *умолчание*, *одобрение*; какое-

нибудь смелое и даже дерзкое слово для усиления; негодование, порицание, обещание, просьба, мольба; попутное замечание, более скромное, чем упомянутое выше отступление; извинение, самооправдание, поддразнивание, пожелание и, наконец, проклятие. 206. (54) Вот приблизительно какими блестками мысли придают речи яркость.

Что до самой словесной части, то и здесь, как в вооруженной борьбе, применяются либо угрозы и выпады, либо приемы, придающие ей изящество. Так придаст ей иной раз силу, а иной раз прелесть и повторение¹¹³ слов, и добавление близко и сходно звучащего слова, и повторение одного и того же слова то в начале, то в конце, то — с упором — и в начале, и в конце, так что получается стык; и присоединение, и нарастание, и повторение одного слова в разных значениях, и возвращение к слову, и применение слов, сходных по падежным или однозвучным окончаниям или таких, которые равны или подобны друг другу по длине. 207. Есть еще и особого рода усиление слов, и обратное их расположение, и благозвучная перестановка, и противоположение, и бессоюзие, и отклонение, и оговорка, и восклицание, и умаление и повторение в разных падежах, и перекличка отдельных слов, относящихся к отдельным предметам, и обоснование обсуждаемого, а равно и обоснование его сторон в отдельности, и уступка, и еще другого рода сомнение, и неожиданность, и перечисление, и другого рода поправка, и расчленение, и непрерывность, и недоговоренность, и сопоставление, и ответ самому себе, и переименование, и разобщение, и порядок, и отношение, и отступление, и описательное выражение. 208. Вот приблизительно каковы приемы, — а их может быть и еще больше! — украшающие речь мыслями и словесными оборотами.

(55) — Как видно, Красс, — сказал Котта, — ты твердо уверен, что мы все это отлично знаем, и оттого высыпал все эти фигуры перед нами без определений и без примеров.

[Уместность.] — Конечно, я и мысли не допускаю, — сказал Красс, — будто все, что я говорил, будет для вас какой-нибудь новостью. 209. Но вы ведь сами хотели, чтобы я об этом рассказал: а солнце, которое так быстро катится к закату, заставило и меня в моем рассказе катиться к концу как можно скорее. Ведь разъяснять и показывать такого рода приемы — дело общедоступное; а вот применять их — дело крайне ответственное и во всей нашей словесной

науке самое трудное. 210. Поэтому теперь, когда мы если и не раскрыли, то по крайней мере показали всякие примеры всякого украшения речи, посмотрим, что среди них уместно, что наиболее достойным образом подобает нашей речи. Ибо совершенно очевидно, что одного и того же рода речь не годится для любого дела, любого слушателя, любого лица, любого времени. 211. Потому что особого звучания требуют дела уголовные и особого — дела гражданские и заурядные; и особого рода способ выражения нужен для речей совещательных, особый для хвalebных, особый для судебных, особый для собеседования, особый для утешения, особый для обличения, особый для рассуждения, особый для изложения событий¹¹⁴. Существенно также и то, перед кем ты выступаешь: перед сенатом, или перед народом, или перед судьями; много ли слушателей, или их мало, или их всего несколько человек, и каковы они. Ораторам надо принимать во внимание и свой собственный возраст, должность и положение; и, наконец, помнить, мирное ли время или военное, есть ли досуг или же надо торопиться. 212. Поэтому тут заведомо нельзя давать никаких предписаний, кроме разве того, что из трех форм речи — более полной, более скудной или же средней между ними — мы должны выбирать ту, какая подходит к нашему делу. Соответственно одними и теми же украшениями в одних случаях придется пользоваться решительнее, в других — сдержаннее. А в конце концов, здесь, как и везде, здравый смысл подскажет нам, что и в каком случае уместно, а наука и дарование помогут этой уместности достичь. 213.

[Произнесение.] (56) Но все эти качества существуют лишь постольку, поскольку их передает исполнение. Исполнение, — утверждаю я, — единственный владыка слова. Без него и наилучший оратор никуда не годится, а посредственный, в нем сведущий, часто может превзойти наилучших. Демосфен, говорят, на вопрос, что важнее всего в красноречии, ответил: «Во-первых, — исполнение, во-вторых, — исполнение, в-третьих, — исполнение». А еще лучше, как мне всегда кажется, сказал об этом Эсхин. Когда он, опозоренный на суде, покинул Афины и отправился на Родос, то, говорят, по просьбе родосцев прочел им свою превосходную речь против Ктесифонта, направленную против Демосфена; по прочтении ее его на другой день попросили прочесть также и ту речь, какую произнес Демосфен в защиту Ктесифонта. Когда он прочитал ее

прекраснейшим и громким голосом, то в ответ на общее восхищение он сказал: «Насколько вы бы еще больше восторгались, если бы слышали его самого!» Этим он ясно показал, как много значит исполнение, полагая, что если исполнитель не тот, то и речь уже не та. 214. А за что, спрашивается, в годы моего детства так перевозносили Гракха, которого ты, Катул, помнишь лучше меня! — «Куда мне несчастному обратиться? Куда кинуться? На Капитолий? Но он обагрен кровью брата. Домой? Чтобы видеть несчастную мать, рыдающую и покинутую?»¹¹⁵. Его взоры, голос, телодвижения были при этом исполнении таковы, что и враги не могли удержаться от слез.

Я так подробно остановился на этом потому, что в наши дни ораторы, исполнители самой правды, эти все приемы забросили, а подражатели правды, актеры, их присвоили. 215. (57) Конечно, в конце концов правда всегда берет верх над подражанием; но если бы она при исполнении была бы доказательна сама по себе, то не нужно было бы и ораторское искусство. Однако поскольку душевное возбуждение, которое главным образом следует обнаружить или представить исполнением, часто бывает настолько беспорядочным, что затемняется и почти теряется, то оратору и следует устранить то, что его затемняет, и выявить то, что в нем ярко и наглядно. 216. Ведь всякое душевное движение имеет от природы свое собственное обличье, голос и осанку; а все тело человека, и лицо, и его голос, подобно струнам лиры, звучат соответственно тронувшему их душевному движению. Ибо человеческие голоса настроены, как струны, отзываящиеся на каждое прикосновение высоко или низко, быстро или медленно, громко или тихо, не говоря уже о промежуточных звуках каждого рода; а каждый род в свою очередь имеет многообразные оттенки звука — мягкий или грубый, сдавленный или полный, протяжный или прерывистый, приглушенный или резкий, затихающий или нарастающий. 217. И ни одним из этих оттенков нельзя управлять без знания и чувства меры. Это те краски, которыми разнообразят свои образы как живописцы, так и актеры. (58) Гнев выражается голосом резким, возбужденным, порывистым:

Изжевать дает мне брат мой, — горе! — собственных моих Сыновей...¹¹⁶ —

и то, что ты, Антоний, недавно приводил:

содержание мыслей не показом, но намеком. Поворот тела должен быть уверенный и мужественный, не как у актеров на сцене, а как у бойца при оружии; кисть руки — не слишком подвижная, сопровождающая, а не разыгрывающая слова пальцами; рука — выдвинутая вперед, вроде как копье красноречия; удар ступней — то в начале, то в конце страстных частей. 221. Но главное дело в лице. А в нем вся мощь — в глазах; это гораздо лучше понимали наши старики, не очень-то хвалившие даже Росция, когда он играл в маске¹²⁴. Ведь движущая сила исполнения — душа, а образ души — лицо, а выразители ее — глаза. Ибо это единственная часть тела, которая в состоянии передать все сколько ни на есть оттенки и перемены душевных движений. И с закрытыми глазами никто этого сделать не может. Недаром о каком-то актере Тавриске, смотревшем при исполнении в одну точку, Феофраст говорил, что он играет задом к зрителям. 222. Поэтому очень важно уметь владеть глазами, тем более что остальные черты лица не должны чрезмерно играть, чтобы не впасть в какую-нибудь глупость или уродливость. Глаза наши то пристальным взором, то смягченным, то резким, то веселым выражают движения души в соответствии с самим тоном нашей речи. Ведь исполнение — это как бы язык нашего тела, который должен согласоваться с нашей мыслью. 223. А глаза — так же, как коню или льву грива, хвост и уши — даны нам природою выражения душевных движений. Поэтому-то в нашем исполнении вторым по важности после голоса является выражение лица, а оно определяется глазами. Так все в исполнении основывается на некой силе, данной от природы и оттого так мощно волнующей даже невежд, даже толпу, даже иноземцев. В самом деле, слова действуют только на тех, кто знаком с языком; остроумные мысли часто ускользают от людей неостроумных; а исполнение, открыто выражающее душевное движение, волнует всех: ведь одни и те же душевные движения возбуждаются у всех, и по одним и тем же признакам угадываются человеком и в других и в себе самом. 224.

(60) Но главную роль в удачном исполнении играет все-таки голос. Все мы должны прежде всего стремиться иметь голос получше, а затем — оберегать и тот, какой у нас есть. Каким образом это делается — совершенно не имеет касательства теперешних наших наставлений; но что о нем надо всемерно заботиться, это ясно. А зато уж прямо

касается нашей беседы другое — то, что в большинстве случаев самое полезное, как я уже говорил, почему-то оказывается и самым уместным. Ибо для обладания голосом ничего нет полезней частой перемены тона и ничего нет губительнее постоянного неослабного напряжения. 225. И что же? Что приятнее слуху и лучше для привлекательности исполнения, чем чередование, разнообразие и перемена голоса? Поэтому тот же Гракх, — как ты, Катул, может быть, слышал от твоего клиента, ученого Лициния, бывшего у Гракха доверенным рабом, — имел обыкновение, выступая перед народом, скрытно ставить за собой опытного человека с дудочкой из слоновой кости, чтобы тот сейчас же подавал ему на ней нужный звук, указывая, когда надо усилить, а когда ослабить голос.

— Правда, правда, — сказал Катул, — я об этом слышал и не раз восхищался как усердием, так и учеными знаниями этого человека.

226. — Я тоже, — сказал Красс, — и тем более жалею, что такие мужи у нас оказались столь пагубны государству; а ведь у нас и теперь ткут ту же ткань и разжигают в государстве тот же образ мыслей и передают его последующим поколениям. Как видно, граждане, которые для наших отцов были нетерпимы, для нас теперь желанны!

— Брось ты, пожалуйста, Красс, об этом говорить, — сказал Юлий, — и расскажи-ка еще о дудке Гракха, смысла которой я все никак не пойму как следует.

227. (61) — У всякого голоса, — сказал Красс, — есть свой средний звук, но у разных людей он разный. Если, начиная с него, постепенно повышать голос, то это будет и приятно, ибо начинать сразу с крика — грубовато, и вместе с тем полезно, ибо голос от этого крепнет. Но у такого повышения есть предел, не доходящий, однако, до пронзительного крика; его-то дудка и не позволит тебе перейти и удержит тебя от чрезмерного напряжения. И напротив, есть и самый низкий предел ослабления голоса, до которого звук спускается словно по ступеням. Это разнообразие, этот разбег голоса по всем звукам и его сбережет и исполнению придаст привлекательность. Но дудочника вы можете оставить и дома, а с собой на форум взять только выработанный этим упражнением слух.

228. [Заключение.] Вот я и рассказал вам все, что мог: не так, как бы мне хотелось, но так, как принудил меня недостаток времени. Ведь это очень удобно — взвалить

вину на время, раз уж ни на что больше свалить ее не можешь.

— Зачем же? — сказал Катул. — Насколько я могу судить, ты подобрал все так превосходно, что впору сказать, будто не ты научился этому у греков, но сам можешь их этому поучить. Что до меня, то я счастлив был принять участие в твоём собеседовании; жаль только, не было с нами моего зятя и твоего друга Гортензия¹²⁵, потому что он-то, я уверен, достигнет вершины всех тех совершенств, какие ты охватил в своей речи.

229. — Достигнет, ты говоришь? — сказал на это Красс. — Да я убежден, что он их уже достиг, и был в этом убежден еще тогда, когда он в мое консульство выступал в сенате защитником Африки, а еще того больше — в недавнее время, когда он говорил в защиту царя Вифинии. Поэтому ты совершенно прав, Катул; я тоже думаю, что у этого молодого человека нет недостатка ни в даровании, ни в образовании. 230. Ну что ж? Тем более надо усердно и неусыпно трудиться тебе, Котта, и тебе, Сульпиций: не рядовой какой-нибудь оратор прорастает, так сказать, на вашем поколении, но такой, который наделен и острейшим умом, и пылким рвением, и отменным образованием, и редкостной памятью. И хотя я желаю ему добра, но пусть он будет выше всех только в своем собственном поколении, а чтобы он, еще такой молодой, опередил вас, это вряд ли для вас почетно.

Ну а теперь, — заключил он, — давайте встанем, подкрепимся и беззаботно отдохнем наконец от этого напряженного нашего обсуждения.

ПИСЬМА

ЛУЦИЮ ЛУКЦЕЮ

Анций, июнь 56 г.

Марк Цицерон шлет привет Луцию Лукцею, сыну Квинта.

1. При встречах я часто делал попытки говорить с тобой об этом, но меня пугал какой-то почти деревенский стыд;

на расстоянии я изложу это более смело: письмо ведь не краснеет. Я горю невероятным и, думается мне, не заслуживающим порицания желанием, чтобы мое имя было возвеличено и прославлено твоими сочинениями. Хотя ты и не раз высказывал намерение сделать это, я все же прошу тебя извинить меня за то, что тороплю тебя. Твои произведения, правда, такого рода, что они всегда вызывали у меня живейшее нетерпение, однако они превзошли мои ожидания и так захватили и даже разожгли меня, что я жажду как можно скорее доверить мою деятельность твоим сочинениям. При этом меня увлекают не только упоминание моего имени потомством и надежда на бессмертие, но и желание еще при жизни наслаждаться твоим авторитетным свидетельством или проявлением благосклонности, или очарованием твоего ума.

2. Однако, обращаясь к тебе с этим письмом, я хорошо знаю, каким тяжелым бременем лежат на тебе предпринятые и уже начатые работы; однако, так как я видел, что ты уже почти закончил историю италийской и гражданской войны¹, и ты сказал мне, что приступаешь к остальному, то я не преминул напомнить тебе, чтобы ты подумал о том, лучше ли будет описать мою деятельность вместе с прочими событиями, или же отделить заговор граждан² от войн с внешними врагами, как сделали многие греки, — Каллисфен³ — с фокидской войной, Тимей⁴ — с войной Пирра, Полибий⁵ — с нумантинской⁶; они выделили повествование об упомянутых мной войнах из общей связи своих историй. Правда, я не считаю, чтобы это имело большое значение для моей славы, но ввиду моего нетерпения до некоторой степени важно, чтобы ты не ждал, пока дойдешь до соответствующего места, и тотчас же приступил к описанию всего этого дела и времени; вместе с тем если ты всецело сосредоточишься на одном предмете и на одном лице, то я уже представляю себе, насколько богаче и красочнее будет весь рассказ.

Однако я вполне сознаю, сколь бесстыдно я поступаю, в первых, взваливая на тебя такое бремя (ведь ты можешь отказать мне, сославшись на недостаток времени), затем к тому же требуя, чтобы ты меня прославлял. Что если, по-твоему, все это не заслуживает столь великого прославления?

3. Но тому, кто однажды перешел границы скромности, надлежит быть вполне бесстыдным до конца. Поэтому еще и еще раз прямо прошу тебя и прославлять все это сильнее,

чем ты, быть может, намерен, и пренебречь при этом законами истории⁷; ту приязнь, о которой ты так очаровательно написал в некоем вступлении, указывая, что ты мог поддаться ей не больше, чем Ксенофонт Геркулес Наслаждению⁸, — не презирай, если она более настоятельно препоручит меня тебе, и сделай нашей дружбе уступки чуть-чуть более щедрые, чем позволит истина. Если я уговорю тебя предпринять этот труд, то это будет, я убежден, предмет, достойный твоих способностей и возможностей.⁹

4. События от начала заговора и до моего возвращения⁹, мне кажется, могут заполнить не особенно большой труд; ты сможешь при этом использовать свое знание перемен в общественной жизни как при объяснении причин государственных переворотов, так и при указании средств для исцеления от недугов, порицая то, что ты сочтешь заслуживающим осуждения, и одобряя с изложением своих взглядов то, что будет нравиться; и если, по своему обыкновению, ты признаешь нужным говорить более свободно, то отметишь вероломство, козни и предательство многих по отношению ко мне. Мои беды придадут твоему изложению большое разнообразие, полное своеобразной привлекательности, которая сможет сильнейшим образом захватить внимание читателей, если об этом напишешь ты. Ведь ничто не может доставить читателю большего удовольствия, чем разнообразие обстоятельств и превратности судьбы. Хотя последние и не были желанными для меня, когда я испытал их, однако читать о них будет приятно, ибо воспоминание о бывших страданиях, когда находишься в безопасности, доставляет удовольствие.

5. Для прочих же людей, которые сами не испытали никаких неприятностей и смотрят на злоключения других без всякой скорби, приятно даже самое сочувствие. Кого из нас не восхищает — с примесью некоторой жалости — знаменитый Эпаминонд, умирающий под Мантинеей¹⁰? Он велит извлечь стрелу из своего тела только после того, как на его вопрос ответили, что его щит цел; так что, даже страдая от раны, он умирал спокойно и со славой. Чьего внимания не возбудит и не удержит чтение об изгнании и возвращении Фемистокла¹¹? Ведь самый порядок летописей не особенно удерживает наше внимание; это как бы перечисление последовательности должностных лиц; но изменчивая и пестрая жизнь выдающегося человека часто вызывает изумление, чувство ожидания, радость, огорчение, надежду, страх; а если

они завершаются примечательным концом, то от чтения испытываешь приятнейшее наслаждение.

6. Поэтому для меня будет более желательным, если ты решишь отделить от своего обширного сочинения, в котором ты охватываешь всю связь исторических событий, эту своего рода трагедию о делах и происшествиях, относящихся ко мне. Ведь в ней разные деяния и перемены в решениях и обстоятельствах. Я не боюсь, если покажется, будто я помогаюсь твоего расположения некоторой маленькой лестью, обнаруживая свое желание, чтобы меня возвеличил и прославил именно ты. Ведь ты не таков, чтобы не знать себе цены, и сочтешь скорее недоброжелателями тех, кто тобой не восхищается, нежели льстецами тех, кто тебя восхваляет; и я не настолько безрассуден, чтобы желать получить вечную славу благодаря тому человеку, который, наделяя меня, не завоевал бы славы и своему дарованию.

7. Ведь знаменитый Александр¹² не из милости пожелал, чтобы именно Апеллес¹³ нарисовал его, а Лисипп¹⁴ изваял, — но потому что считал, что их искусство послужит во славу как им, так и ему. Но эти художники познакомили людей, незнакомых с ним, только с изображением его тела; если бы даже таких изображений совершенно не было, то славные люди от этого совсем не станут менее известными. Спартанец Агесилай¹⁵, не дозволивший изобразить себя ни в живописи, ни в изваянии, заслуживает упоминания не менее нежели те, кто очень старался об этом; ведь одна книжка Ксенофонта, восхваляющая этого царя, легко превзошла все картины и статуи. Если я займу место в твоих сочинениях, а не в чужих, то это будет иметь для меня большое значение и в смысле искренней радости и для достоинства памяти обо мне, ибо мне будет уделена не только часть твоего дарования, как Тимолеонту Тимсем¹⁶ или Фемистоклу Геродотом¹⁷, но также авторитет самого славного и самого видного человека, известного по величайшим и важнейшим государственным деяниям и снискавшего одобрение вместе с лучшими людьми.

Таким образом, по-видимому, это будет для меня не только голос глашатая — этим был Гомер¹⁸ для Ахилла¹⁹, как сказал Александр, прибыв в Сигей²⁰, но и веское свидетельство славного и великого человека. Ведь мне нравится у Невия²¹ знаменитый Гектор²², который радуется не только тому, что он «прославляется», но прибавляет: «прославленным мужем».

8. Если же я не добьюсь от тебя этого, то есть если тебе помешает что-либо (ибо недопустимо, думается мне, чтобы я не добился от тебя просимого), то я, возможно, буду вынужден сделать то, что некоторые часто осуждают: я напишу о себе сам²³ по примеру многих и славных мужей. Но, как это ясно тебе, в повествовании такого рода кроются следующие недостатки: когда пишешь о самом себе, то необходимо и быть скромнее, если есть за что похвалить, и пропустить, если есть что поставить в вину. Вдобавок — меньше веры, меньше авторитета, и, наконец, многие укоряют тебя, говоря, что глашатаи на гимнастических играх более скромны: возложив венки на прочих победителей и громким голосом назвав их по имени, они сами, получая венок перед окончанием игр, обращаются к другому глашатаю, чтобы не объявлять своим голосом о собственной победе.

9. Этого я хочу избежать и избегну, если ты примешь мое предложение, о чем я и прошу тебя.

А чтобы ты случайно не удивился, почему, в то время как ты часто говорил мне о своем намерении самым тщательным образом описать замыслы и события моего времени, я теперь добиваюсь этого с таким старанием и так многословно, скажу, что я горю сильным желанием и нетерпением, о котором я писал вначале, ибо я неспокоен духом и хочу, чтобы прочие люди узнали обо мне из твоих книг еще при моей жизни и чтобы я сам при жизни наслаждался своей скромной славой.

10. Напиши мне, пожалуйста, если тебе не трудно, что ты намерен сделать по этому поводу. Если ты возьмешься за это, то я закончу записки обо всех событиях; если же ты откладываешь это на другое время, то я переговорю с тобой при встрече. Ты между тем не прекращай работы, отделявай начатое и будь мне другом.

МАРКУ МАРИЮ В КАМПАНИЮ

Рим, первая половина октября 55 г.

Марк Цицерон шлет привет Марку Марию.

1. Если тебя удержала от посещения игр какая-нибудь болезнь или слабость здоровья¹, то я приписываю это более судьбе, чем твоей мудрости; если же ты счел достойным презрения то, чему удивляются прочие, и не захотел при-

ехать, хотя и мог по состоянию здоровья, то я радуюсь и тому, что ты не болел телом, и тому, что ты был здоров духом, презрев то, чем без причины восхищаются другие; лишь бы ты наслаждался своим досугом. Право, ты мог дивно насладиться им, так как ты остался в этом приятном месте почти в одиночестве. Впрочем, не сомневаюсь, что в течение этих дней ты проводил утренние часы за чтением, в той комнате, из которой ты расчистил и открыл себе вид на стабийскую сцену², в то время как те, кто оставил тебя там, полусонные смотрели на пошлую игру актеров. Остальные же часы дня ты тратил на приятные занятия, которые ты выбирал для себя по своему усмотрению; нам же пришлось вытерпеть то, что одобрил Спурий Меций³.

2. Игры⁴, если хочешь знать, были подлинно великолепными, но не в твоем вкусе; сужу по себе. Ибо, во-первых, ради почета на сцену снова вышли те, кто, как я полагал, ради почета оставил сцену. А наш Эзоп⁵, твой любимец, играл так, что, по общему мнению, ему можно было бы перестать. Когда он стал произносить клятву, то в знаменитом месте: «Если я сознательно обманываю»⁶ — ему изменил голос. Что мне рассказывать тебе о прочем? Ведь остальные игры ты знаешь. В них не было даже той прелести, какая обычно бывает в посредственных играх. А смотреть на пышность обстановки было совсем невесело; не сомневаюсь, что ты обошелся без этой пышности совершенно спокойно. И на самом деле, что за удовольствие смотреть на шесть сотен мурлов в «Клитемнестре», или на три тысячи кратеров в «Троянском коне»⁷, или на различное вооружение пехоты и конницы в какой-нибудь битве? Это вызвало восхищение народа, но тебе не доставило бы никакого удовольствия.

3. Так что если ты посвятил эти дни занятиям со своим Протогеном⁸ — лишь бы он читал тебе что угодно, только не мои речи, — то ты получил много больше удовольствия, нежели любой из нас. Ибо⁹ не думаю, что ты желал видеть греческие или окские игры, особенно когда на окские ты можешь смотреть хотя бы в вашем сенате¹⁰, а греческие не любишь настолько, что даже в свою усадьбу избегаешь ездить по греческой дороге¹¹. Как я могу думать, что ты жалеешь, что не видел атлетов, ты, который отнесся с презрением к гладиаторам, когда сам Помпей признает, что он понапрасну истратил на них масло и труд¹². Остается еще упомянуть о боях с дикими зверями¹³, по два раза в день на протяжении пяти дней; они были великолепными, никто не отрицает; но

что за удовольствие для образованного человека смотреть, либо как слабый человек будет растерзан могучим зверем, либо как прекрасный зверь пронзен охотничьим копьем? Впрочем, если это стоит видеть, — ты часто видел это; мы же, которые смотрим на это, не увидели ничего нового. Последний день был день слонов. Он вызвал большое восхищение у черни и толпы, но не доставил никакого удовольствия; более того, это породило какое-то сочувствие и мнение, что у этого животного есть нечто общее с человеком¹⁴.

4. Однако, чтобы тебе случайно не показалось, что я был не только счастлив, но и вполне свободен, скажу, что в течение этих дней во время сценических игр я чуть не разорвался, защищая в суде своего друга Галла Каниния¹⁵. Будь у меня такие же снисходительные слушатели, какими были зрители у Эзопа, клянусь, я охотно отказался бы от своего искусства и жил бы с тобой и людьми, подобными нам. Ведь если мне и раньше это претило, когда меня побуждал и возраст и честолюбие, и, наконец, можно было не защищать того, кого я не хотел, то теперь это уже не жизнь. Ибо я не жду никаких плодов от своего труда и вынужден иногда, по просьбе тех, кому я многим обязан, защищать тех, кому я не особенно обязан¹⁶.

5. Поэтому я ищу всякие основания, чтобы когда-нибудь начать жить по своему усмотрению, и очень хвалю и одобряю тебя и твой образ жизни, полный досуга, а то, что ты редко навещаешь меня, переносу тем спокойнее, что если бы ты был в Риме, то все-таки, из-за моих обременительнейших занятий, ни мне нельзя было бы наслаждаться твоим обаянием, ни тебе — моим, если только оно во мне есть. Если я сокращу их (ибо полного освобождения я не требую), то научу жить по-человечески даже тебя, который только об этом и думает в течение многих лет. Ты только поддерживай и береги свое слабое здоровье, как ты и поступаешь, чтобы быть в состоянии посещать мои усадьбы¹⁷ и совершать вместе со мной поездки в лектике¹⁸.

6. Я написал тебе больше, чем обычно, не вследствие досуга, а от большой любви к тебе, так как в одном из своих писем ты, если помнишь, почти предложил мне написать тебе что-нибудь в таком роде, чтобы ты меньше жалел о том, что пропустил игры. Радуюсь, если достиг этого; если же нет, то все же утешаюсь тем, что ты впоследствии явишься на игры, посетишь меня, не надеясь на то, что я несколько развлеку тебя своими письмами.

ТИТУ ПОМПОНИЮ АТТИКУ В РИМ

Формийская усадьба, 12 марта 49 г.

1. Хотя я и отдыхаю только в то время, пока или пишу тебе, или читаю твои письма, тем не менее я и сам нуждаюсь в темах для писем, и с тобой, хорошо знаю, случается то же. Ведь то, что обычно пишут в спокойном настроении, по-дружески, исключается при нынешних обстоятельствах, а то, что относится к нынешним обстоятельствам, мы уже исчерпали. Тем не менее, чтобы не совсем поддаться заболеванию, я избрал для себя кое-какие, так сказать, положения, которые относятся и к государственным делам и к нынешним обстоятельствам, чтобы и отвлечься от сетований и упражняться в том самом, о чем идет речь. Они такого рода:

2. Следует ли оставаться в отечестве, когда оно под властью тирана? Следует ли всяким способом домогаться избавления от тирании, если даже вследствие этого государству в целом будет угрожать опасность? Следует ли принимать меры предосторожности против избавителя, чтобы сам он не вознесся? Следует ли пытаться помочь отечеству, угнетаемому тираном, более используя удобный случай и словами, а не войной? Подобаet ли государственному деятелю сохранять спокойствие, удалившись куда-нибудь из отечества, угнетаемого тираном, или идти на всяческую опасность ради свободы? Следует ли идти войной на страну и осаждать ее, когда она под властью тирана? Следует ли причислить к лучшим и человека, не одобряющего избавления от тирании путем войны? Следует ли в государственных делах разделять опасности благодетелей и друзей, даже если не считаешь, что их общие решения правильны? Следует ли человеку, оказавшему отечеству великие благодеяния и испытывавшему за это непоправимое и подвергшемуся зависти¹, добровольно идти на опасность ради отечества или же ему следует позволить заботиться о самом себе и своих домашних, отказавшись от действий против властвующих в государстве?

3. Упражняясь в этих рассуждениях и разбирая доводы за и против как по-гречески, так и по-латински, я несколько отвлекаюсь от огорчений и обсуждаю нечто полезное для дела². Но боюсь, как бы я не оказался тебе некстати. Ведь если тот, кто понес это письмо, прибудет в срок, он к тебе попадет как раз в твой день³.

МАРКУ ТЕРЕНЦИЮ ВАРРОНУ¹*Рим, незадолго до 20 апреля 46 г.*

Цицерон Варрону.

1. Хотя мне и не о чем было писать тебе, тем не менее я не мог не дать чего-нибудь Канинию², уезжавшему к тебе. Так о чем именно мне написать? О том, чего ты, полагаю, хочешь, — что я к тебе скоро приеду. Впрочем, рассуди, прошу тебя, достаточно ли уместно будет³, чтобы мы при этом столь великом пожаре в государстве⁴ были в тех местах: мы дадим повод для разговоров тем, кто не знает, что у нас, в каком бы месте мы ни были, один и тот же образ жизни, один и тот же стол. — «Что за дело? Тем не менее мы станем предметом разговоров». — Я убежден, что следует чрезвычайно стараться о том, чтобы, в то время как все погрязли в позорных преступлениях всякого рода, наша праздность, совместная, вернее — в общении друг с другом, не подвергалась порицанию.

2. Я же, презрев глупость варваров⁵, последую за тобой; ведь хотя настоящее и несчастно — и это является величайшим несчастьем, — тем не менее наши науки теперь каким-то образом, видимо, приносят более обильные плоды, нежели приносили когда-то, — оттого ли что мы теперь не находим покоя ни в чем другом, или же оттого, что тяжесть болезни приводит к тому, что мы нуждаемся в лекарстве, и теперь проявляется то, чьей силы мы не ощущали, когда были здоровыми. Но для чего я теперь об этом — тебе, в чьем доме оно рождается? Сову в Афины⁶! Только для того, разумеется, чтобы ты что-нибудь написал в ответ, чтобы ждал меня; так ты и сделаешь.

МАРКУ ТЕРЕНЦИЮ ВАРРОНУ

Рим, вскоре после 20 апреля 46 г.

Цицерон Варрону.

1. Когда ко мне поздно вечером пришел твой и в то же время мой Каниний¹ и сказал, что отправится к тебе на другой день утром, я сказал, что дам ему кое-что; я попросил взять утром. Ночью я написал письмо, но он не возвращался ко мне; я решил, что он забыл. Тем не менее я послал бы

тебе это самое письмо через своих, если бы не узнал от него же, что ты на другой день утром собираешься выехать из тускульской усадьбы. И вот тебе — внезапно, спустя несколько дней, когда я менее всего ожидал, Каниний пришел ко мне утром, сказал, что тотчас же отправляется к тебе. Хотя то письмо и потеряло свежесть, особенно после получения столь важных новостей², тем не менее я не хотел, чтобы мой ночной труд погиб, и дал Канинию то самое письмо, но с ним, как с образованным человеком и глубоко тебя любящим, я поговорил о том, что он, полагаю, тебе передал.

2. Тебе я даю тот же совет, что и себе самому: будем избегать взоров людей, раз уж не так легко избежать их языков; ведь те, кто упоен победой³, смотрят на нас, как на побежденных; те же, кто огорчен тем, что наши⁴ побеждены, испытывают скорбь оттого, что мы живы. Быть может, ты спросишь, почему, когда это происходит в Риме, я не уехал подобно тебе. Ведь ты сам, превосходящий проницательностью и меня и прочих, уверен я, видел все, от тебя решительно ничего не укрылось. Кто в такой степени Линкей⁵, чтобы в таком мраке ни на что не наткнуться, нигде не натолкнуться?

3. Ведь мне уже давно пришло на ум, что было бы прекрасно куда-нибудь уехать, чтобы не видеть и не слышать того, что здесь происходит и что говорится. Но я сам преувеличивал. Я считал, что всякий, кто попадаете мне навстречу, как кому будет выгодно, заподозрит или скажет, если даже не заподозрит: «Этот или боится и потому бежит, или что-либо замышляет и держит корабль наготове»; наконец, что тот, кто выскажет самое легкое подозрение и кто, быть может, прекрасно меня знает, сочтет, что я оттого и уезжаю, что мои глаза не могут выносить некоторых людей. Предполагая это, я до сего времени остаюсь в Риме; тем не менее ежедневная привычка уже незаметно притупила мое раздражение.

4. Таковы основания для моего решения. Итак, тебе советую следующее: скрываться там же до тех пор, пока не остынут эти поздравления⁶, и в то же время пока мы не услышим, как завершено дело; ведь оно, полагаю, завершено. Будет очень важно, каково будет настроение победителя, каков исход событий. Впрочем, у меня есть соображение, к которому меня приводит догадка; но я все-таки выжидаю.

5. Что же касается тебя, то я не одобряю твоего приезда в Байи⁷, пока разговоры уже не заглохнут: ведь для нас, даже когда мы отсюда уедем, будет более почетным, если будет казаться, что мы приезжали в ту местность плакать, а не плавать. Ты, наверное, представишь себе лучше меня: как выпало бы нам на долю жить вместе, погрузившись в наши занятия, в которых мы когда-то искали утехи, а теперь — спасение; как кто-нибудь позвал бы нас отстраивать здание республики, да не архитекторами, а простыми работниками, и мы бы — тут как тут, прибежали бы охотно и со всех ног; и как, коли никто бы нас ни позвал, стали бы мы читать и писать о *полιτεία*, да не ради выступлений в курии или на форуме⁸, а просто, как сделали в старину ученые люди⁹, — чтобы послужить государству, проникнуть глубже в смысл законов, в людские нравы. Мне так [все это] видится. Если же опишешь, как оно водится тебе и что собираешься делать ты, то доставишь мне тем немалое удовольствие.

МАРКУ ТЕРЕНЦИЮ ВАРРОНУ

Рим, вторая половина июня 46 г.

Цицерон Варрону.

1. Наш Каниний¹ на основании твоих слов посоветовал мне написать тебе, если что-либо будет, что тебе, по-моему, надлежит знать. Итак, ожидается приезд Цезаря, и тебе, разумеется, это хорошо известно. Тем не менее, после того как тот написал, что прибудет, думается мне, в альсийскую усадьбу², его сторонники написали ему, чтобы он не делал этого; что многие будут неприятны ему, и сам он многим; что он, по-видимому, может с большим удобством высидеться в Остии³. Я не понимал, в чем разница. Однако Гирций⁴ сказал мне, что и он, и Бальб, и Оппий написали ему, чтобы он так поступил, — люди, расположенные к тебе, как я понял.

2. Я для того и хотел, чтобы это было тебе известно, дабы ты знал, где для себя приготовить пристанище, или, лучше, — чтобы и в том и в другом месте: ведь не известно, что он намерен делать; вместе с тем я показал тебе, что я в дружеских отношениях с этими⁵ и участвую в их совещаниях. Почему бы мне не хотеть этого, — не вижу

оснований. Ведь не одно и то же переносить, если что-либо следует переносить, и одобрять, если чего-либо не следует одобрить. Впрочем я уже действительно не знаю, чего я не одобряю, кроме начала событий, ибо это зависело от желания. Я видел (ты ведь отсутствовал), что наши друзья жаждут войны, а этот⁶ не столько жаждет, сколько не боится. Итак, это подлежало обсуждению, остальное было неизбежным; однако победа либо этих, либо тех была неизбежна.

3. Знаю, что ты всегда был со мной в горести, когда мы видели как то огромное зло от гибели одного или другого войска и полководцев, так и то, что вершина всех зол — это победа в гражданской войне, а я, право, боялся даже победы тех, к кому мы пришли⁷. Ведь они жестоко угрожали тем, кто жил в праздности, и им был ненавистен и твой образ мыслей и моя речь; а теперь⁸, если бы наши взяли верх, они бы были очень неумеренны; ведь они были сильно разгневаны на нас, словно мы что-либо решили насчет нашего спасения и не одобрили того же насчет них, или словно для государства было бы полезнее, чтобы они прибегли даже к помощи диких зверей⁹, вместо того чтобы либо умереть, либо с надеждой, хотя и не с наилучшей, но все-таки с некоторой — жить.

4. «Но мы живем в потрясенном государстве». — Кто отрицает? Но об этом пусть думают те, кто не подготовил себе никакой поддержки на все случаи жизни. Ведь для того, чтобы я пришел к этому, предшествующая речь лилась дольше, чем я хотел; ведь если я и всегда считал тебя великим человеком, так как при этих бурях ты почти только один в гавани и собираешь величайшие плоды учения, чтобы обсуждать и рассматривать то, пользу и удовольствие от которого следует предпочесть всем и деяниям и наслаждениям этих, — то эти твои тускульские дни¹⁰ я действительно считаю образцом жизни и охотно уступил бы всем все мои богатства, чтобы мне было дозволено жить таким образом, без препятствий со стороны какой-либо силы.

5. Этому и я подражаю, как могу, и с величайшим удовольствием отдыхаю за своими занятиями. И в самом деле, кто не даст мне возможности, когда отечество либо не может, либо не хочет пользоваться моими услугами, возвратиться к той жизни, которую многие ученые люди¹¹, быть может, неправильно, но все же многие считали за-

служивающей предпочтения даже перед государственными делами? Итак, почему не предаться, с согласия государства, тем занятиям, которым, по мнению великих людей, присуще некоторое освобождение от общественной обязанности?

6. Но я делаю больше, чем поручил Каниний. Ведь он просил, — если я что-нибудь знаю, чего ты не знаешь, а я излагаю тебе то, что ты знаешь лучше, чем сам я, излагающий. Итак, буду делать то, о чем меня просили, — чтобы ты не был в неведении того, что относится к нынешним обстоятельствам, что, как я услышу, для тебя важно.

ТУСКУЛАНСКИЕ БЕСЕДЫ

Марку Бруту

КНИГА ПЕРВАЯ

О презрении к смерти

I. (1) В эти дни, когда я отчасти или даже совсем освободился от судебных защит и сентябрьских забот, решил я, дорогой мой Брут, послушаться твоих советов и вернуться к тем занятиям, которые всегда были близки моей душе, хоть и времени прошло много, и обстоятельства были неблагоприятны. А так как смысл и учение всех наук, которые указывают человеку верный путь в жизни, содержатся в овладении тою мудростью, которая у греков называется философией, то ее-то я и почел нужным изложить здесь на латинском языке¹. Конечно, философии можно научиться и от самих греков — как по книгам, так и от учителей, — но я всегда был того мнения, что наши римские соотечественники во всем как сами умели делать открытия не хуже греков, так и заимствованное от греков умели улучшать и совершенствовать, если находили это достойным своих стараний.

(2) Наши нравы и порядки, наши домашние и семейные дела — все это налажено у нас, конечно, и лучше и пристойнее; законы и уставы, которыми наши предки устроили государство, тоже заведомо лучше; а что уж говорить

о военном деле, в котором римляне всегда были сильны отвагой, но еще сильнее умением? Поистине во всем, что дается людям от природы, а не от науки, с нами не идут в сравнение ни греки и никакой другой народ: была ли в ком такая величавость, такая твердость, высокость духа, благородство, честь, такая доблесть во всем, какая была у наших предков?

(3) Однако же в учености и словесности всякого рода Греция всегда нас превосходила, — да и трудно ли здесь одолеть тех, кто не сопротивлялся? Так, у греков древнейший род учености — поэзия: ведь если считать², что Гомер и Гесиод жили до основания Рима, а Архилох² — в правление Ромула, то у нас поэтическое искусство появилось много позже. Лишь около 510 года от основания Рима Ливий поставил здесь свою драму³ — это было при консулах Марке Тудитане и Гае Клавдии, сыне Клавдия Слепого, за год до рождения Энния. II. Вот как поздно у нас и узнали и признали поэтов. Правда, в «Началах»⁴ сказано, что еще на пирах был у застольников обычай петь под флейту о доблестях славных предков; но, что такого рода искусство было не в почете, свидетельствует тот же Катон в своей речи, где корит Марка Нобилиора за то, что он брал с собою в провинцию поэтов: как известно, этого консула сопровождал в Этолию Энний⁵. А чем меньше почта было поэтам, тем меньше и занимались поэзией; так что даже кто отличался в этой области большими дарованиями, тем далеко было до славы эллинов. (4) Если бы Фабий⁶, один из знатнейших римлян, удостоился хвалы за свое живописание, то можно ли сомневаться, что и у нас явился бы не один Поликлет и Паррасий⁷? Почет питает искусства, слава воспламеняет всякого к занятию ими, а что у кого не в чести, то всегда влачит жалкое существование. Так, греки верхом образованности полагали пение и струнную игру — потому и Эпаминонд, величайший (по моему мнению) из греков, славился своим пением под кифару, и Фемистокл⁸ незадолго до него, отказавшись взять лиру на пиру, был сочтен невеждою. Оттого и процветало в Греции музыкальное искусство: учились ему все, а кто его не знал, тот считался недоучкою. (5) Далее, выше всего чтилась у греков геометрия⁹ — и вот блеск их математики таков, что ничем его не затмить; у нас же развитие этой науки было ограничено надобностями денежных расчетов и земельных межеваний.

III. Красноречием зато мы овладели очень скоро; и ораторы наши сперва были не учеными, а только речистыми, но потом достигли и учености. Учеными, по преданию, были и Гальба¹⁰, и Африкан, и Делий; не чуждался занятий даже их предшественник Катон¹¹; а после них были Лепид, Карбон, Гракхи¹² и затем, вплоть до наших дней, такие великие ораторы, что здесь мы ни в чем или почти ни в чем не уступаем грекам. Философия же, напротив, до сих пор была в пренебрежении, так ничем и не блеснув в латинской словесности, — и это нам предстоит дать ей жизнь и блеск, чтобы, как прежде, находясь у дел, приносили мы посильную пользу согражданам, так и теперь, даже не у дел, оставались бы им полезны. (6) Забота эта для нас тем насущнее, что много уже есть, как слышно, латинских книг, писанных наспех мужами весьма достойными, но недостаточно для этого подготовленными¹³. Ведь бывает, что человек судит здраво, но внятно изложить свои мысли не может, — ничего особенного в этом нет; но когда человек, не умея говорить ни связно, ни красиво, ни сколько-нибудь приятно для читателя, пытается излагать свои размышления в книгах, то этим он во зло употребляет и время свое, и книги. Поэтому-то и читают такие сочинения только сами они да их друзья — никому другому до них и дела нет, кроме тех, кто так же считает для себя позволенным писать, что ему вздумается. Вот почему и решили мы: если усердие наше принесло хоть какую-то похвалу нашему красноречию, то с тем большим усердием должны мы явить людям тот исток, из которого исходило само это красноречие, — исток философии.

IV. (7) И вот как некогда Аристотель, муж несравненного дарования, знания и широты, возмущаясь успехом ратора Исократ¹⁴, стал сам учить юношей хорошо говорить, соединяя тем самым мудрость с красноречием, — так и мы теперь рассудили: не оставляя прежних наших занятий витийством, предаться также и этой науке, много обширнейшей и важнейшей. Ведь я всегда полагал, что только та философия настоящая, которая о самых больших вопросах умеет говорить пространно и красноречиво; и занимался я ею так усердно, что даже позволил себе устраивать уроки ее на греческий лад¹⁵.

СНОВИДЕНИЕ СЦИПИОНА

(«О государстве», VI, IX, 9 — XX, 21)

(IX, 9) СЦИПИОН. — Когда я прибыл в Африку под начало консула Мания Манилия¹, в четвертый легион, как вы знаете, в качестве военного трибуна², ничего я так не хотел, как встретиться с царем Масиниссой³, который с полным на то основанием был лучшим другом нашей ветви рода. Как только я к нему явился, старец, обняв меня, прослезился; затем он обратил свой взор к небу и сказал: «Благодарю тебя, Высокое Солнце⁴, и вас, другие небожители, за то, что мне, прежде чем я уйду из этой жизни, дано увидеть в своем царстве и под этим кровом Публия Корнелия Сципиона, чье одно уже имя возвращает мне силы. Ведь в моей душе всегда живы воспоминания о том наилучшем и совершенно непобедимом муже⁵». Затем я расспросил его о его царстве, а он меня — о наших государственных делах, и весь этот день прошел у нас в оживленной беседе.

(X, 10) После этого, когда я был принят с царской пышностью, мы продолжили беседу до глубокой ночи, причем старец говорил только о Публии Африканском и, как казалось, помнил все его не только деяния, но и высказывания. Потом, едва мы расстались и легли спать, я, и утомленный дорогой, и бодрствовавший до глубокой ночи, заснул более глубоким сном, чем обычно. В нем мне — думаю, в связи с тем, о чем мы беседовали (ведь вообще бывает, что наши помышления и разговоры порождают во сне нечто такое, о чем Энний пишет относительно Гомера⁶, о котором он, по-видимому, часто размышлял и говорил наяву) — явился Публий Африканский в том виде, в каком он, по своему восковому изображению, мне знаком больше, чем по его живому облику⁷. Как только я узнал его, я содрогнулся, но он молвил: «Будь тверд, Сципион, и отбрось страх, а то, что я тебе скажу, передай потомкам.

(XI, 11) Видишь ли ты вон тот город, который, хотя я и заставил его покориться римскому народу, снова вступает на путь войн и не может оставаться мирным?»⁸. При этом он с какого-то высоко находящегося и полного звезд, свет-

лого и издалека видного места⁹ указал мне на Карфаген. «Осаждать этот город ты теперь явился сюда чуть ли не как простой солдат. Ты, как консул, разрушишь его через два года, и у тебя будет тобой самым заслуженное прозвание, которое ты пока еще носишь как унаследованное от меня¹⁰. А после того как ты разрушишь Карфаген, справишь триумф¹¹, будешь цензором, как посол отправишься в Египет, в Сирию, в Азию, в Грецию, ты будешь вторично избран в консулы заочно¹², завершишь величайшую войну и разрушишь Нуманцию¹³. Но когда ты на колеснице въедешь на Капитолий, ты застанешь государство потрясенным замыслами моего внука¹⁴.

(XII, 12) Здесь именно ты, Публий Африканский, должен будешь явить отечеству свет своего мужества, ума и мудрости. Но я вижу как бы двоякий путь, определенный роком на это время. Ибо, когда твой возраст совершит восемь семь оборотов и возвращений солнца¹⁵, а эти два числа, из которых одно по одной, другое по другой причине считается полным¹⁶, в своем естественном обороте завершат число лет, назначенное тебе роком, то к тебе одному и к твоему имени обратятся все граждане, на тебя будет смотреть сенат, на тебя — все честные люди, на тебя — союзники, на тебя — латиняне; ты будешь единственным человеком, от которого будет зависеть благополучие государства, и — буду краток — ты должен будешь как диктатор установить в государстве порядок, если только тебе удастся спастись от нечестных рук своих близких»¹⁷.

Тут у Лелия вырвался взглас, а остальные глубоко вздохнули, на что Сципион заметил с ласковой улыбкой: «Пожалуйста, соблюдайте тишину, а то вы меня разбудите. Немного внимания, дослушайте до конца».

(XIII, 13) «Но знай, Публий Африканский, дабы тем решительнее защищать дело государства: всем тем, кто сохранил отечество, помог ему, расширил его пределы, назначено определенное место на небе, чтобы они жили там вечно, испытывая блаженство. Ибо ничто так не угодно высшему божеству, правящему всем миром, — во всяком случае, всем происходящим на земле, — как собрания и объединения людей, связанные правом и называемые государствами; их правители и охранители, отсюда отправившись¹⁸, сюда же возвращаются».

(XIV, 14) Здесь я, хотя и был охвачен ужасом — не столько перед смертью, сколько перед казнями родных, все

же спросил, живы ли он сам, отец мой Павел и другие, которых мы считаем умершими. «Разумеется, — сказал он, — они живы; ведь они освободились от оков своего тела, словно это была тюрьма, а наша жизнь, как ее называют, есть смерть¹⁹. Почему ты не взглянешь на отца своего Павла, который приближается к тебе?» Как только я увидел его, я залился слезами, но он, обняв и целуя меня, не давал мне плакать.

(XV, 15) Когда я, сдержав лившиеся слезы, смог говорить, я спросил его: «Скажи мне, отец, хранимый богами и лучший из всех: так как именно это есть жизнь, как я узнал от Публия Африканского, то почему же я и долее нахожусь на земле? Почему мне не поспешить сюда, к вам?» — «О, нет, — ответил он, — только в том случае, если божество, которому принадлежит весь этот вот храм²⁰, что ты видишь, освободит тебя из этой тюрьмы, твоего тела, для тебя может быть открыт доступ сюда²¹. Ведь люди рождены для того, чтобы не покидать вон того называемого Землей шара, который ты видишь посреди этого храма, и им дана душа из тех вечных огней, которые вы называете светилами и звездами; огни эти, шаровидные и круглые, наделенные душами и божественным умом, совершают с изумительной скоростью свои обороты и описывают круги. Поэтому и ты, Публий, и все люди, верные своему долгу, должны держать душу в тюрьме своего тела, — без дозволения того, кто вам эту душу дал, — уйти из человеческой жизни нельзя, дабы не уклониться от обязанности человека, возложенной на вас божеством. (XVI, 16) Но, подобно присутствующему здесь деду твоему, Сципион, подобно мне, породившему тебя, блюди и ты справедливость и исполни свой долг, великий по отношению к родителям и близким, по отношению к отечеству величайший. Такая жизнь — путь на небо и к сонму людей, которые уже закончили свою жизнь и, освободившись от своего тела, обитают в том месте, которое ты видишь (это был круг с ярчайшим блеском, светивший среди звезд) и которое вы, следуя примеру греков, называете Млечным кругом».

Когда с того места, где я находился, созерцал все это, то и другое показалось мне прекрасным и изумительным. Звезды были такие, каких мы отсюда никогда не видели, и все они были такой величины, какой мы у них никогда и не предполагали; наименьшей из них была та, которая, будучи наиболее удалена от неба и находясь ближе всех

к земле, светила чужим светом²². Звездные шары величиной своей намного превосходили Землю. Сама же Земля показалась мне столь малой, что мне стало обидно за нашу державу, которая занимает как бы точку на ее поверхности.

(XVII, 17) В то время как я продолжал пристально смотреть на Землю, Публий Африканский сказал: «Доколе же помыслы твои будут обращены вниз, к Земле? Неужели ты не видишь, в какие храмы ты пришел? Все связано девятью кругами, вернее шарами, один из которых — небесный внешний; он объемлет все остальные²³; это — само высшее божество, удерживающее и заключающее в себе остальные шары. В нем укреплены вращающиеся круги, вечные пути звезд; под ним расположены семь кругов, вращающиеся вспять, в направлении, противоположном вращению неба²⁴; одним из этих кругов владеет звезда, которую на Земле называют Сатурновой. Далее следует светило, приносящее человеку счастье и благополучие; его называют Юпитером. Затем — красное светило, наводящее на Землю ужас; его вы зовете Марсом. Далее внизу, можно сказать, среднюю область занимает Солнце, вождь, глава и правитель остальных светил, разум и мерило вселенной; оно столь велико, что светом своим освещает и заполняет все. За Солнцем следуют как спутники по одному пути Венера, по другому Меркурий, а по низшему кругу обращается Луна, зажженная лучами Солнца. Но ниже уже нет ничего, кроме смертного и тленного, за исключением душ, милостью богов данных человеческому роду; выше Луны все вечно. Ибо девятое светило, находящееся в середине, — Земля — недвижимо и находится ниже всех прочих, и все весомое несется к ней в силу своей тяжести».

(XVIII, 18) С изумлением глядя на все это, я, едва придя в себя, спросил: «А что это за звук, такой громкий и такой приятный, который наполняет мои уши?» — «Звук этот, — сказал он, — разделенный промежутками неравными, но все же разумно расположенными в определенных соотношениях, возникает от стремительного движения самих кругов и, смешивая высокое с низким, создает различные уравновешенные созвучия. Ведь в безмолвии такие движения возбуждаться не могут, и природа делает так, что все находящееся в крайних точках дает на одной стороне низкие, на другой высокие звуки. По этой причине вон тот наивысший небесный круг, несущий на себе звезды и вра-

шающийся более быстро, движется, издавая высокий и резкий звук; с самым низким звуком движется этот вот лунный и низший круг; ведь Земля, девятая по счету, всегда находится в одном и том же месте, держась посреди мира. Но восемь путей, два из которых обладают одинаковой силой²⁵, издают семь звуков, разделенных промежутками, каковое число, можно сказать, есть узел всех вещей. Воспроизведя это на струнах и посредством пения, ученые люди открыли себе путь для возвращения в это место — подобно другим людям, которые, благодаря своему выдающемуся дарованию, в земной жизни посвятили себя наукам, внушенным богами²⁶. (19) Люди, чьи уши наполнены этими звуками, оглохли. Ведь у нас нет чувства более слабого, чем слух. И вот там, где Нил низвергается с высочайших гор к так называемым Катадупам²⁷, народ, живущий вблизи этого места, ввиду громкости возникающего там звука лишен слуха. Но звук, о котором говорилось выше, производимый необычайно быстрым круговращением всего мира, столь силен, что человеческое ухо не может его воспринять, — подобно тому как вы не можете смотреть прямо на Солнце, когда острота вашего зрения побеждается его лучами».

(XIX, 20) Изумляясь всему этому, я все же то и дело переводил взор на Землю. Тогда Публий Африканский сказал: «Я вижу, ты даже и теперь созерцаешь обитель и жилище людей. Если жилище это кажется тебе малым, каково оно и в действительности, то на эти, небесные, края всегда смотри, а те, земные, презирай. В самом деле, какой известности можешь ты достигнуть благодаря людской молве, вернее, какой славы, достойной того, чтобы ее стоило добиваться? Ты видишь — на Земле люди живут на редко расположенных и тесных участках, и в эти, так сказать, пятна, где они живут, вкраплены обширные пустыни, причем люди, населяющие Землю, не только разделены настолько, что совершенно не могут общаться друг с другом, но и находятся одни в косом, другие в поперечном положении по отношению к вам, а третьи даже с противоположной стороны²⁸. Ожидать от них славы, вы, конечно, не можете.

(XX, 21) Но ты видишь, что эта же Земля охвачена и окружена как бы поясами, два из которых, наиболее удаленных один от другого и с обеих сторон упирающихся в вершины неба, скованы льдами; средний же, и наибольший,

пояс высушивается жаром Солнца. Два пояса обитаемы; из них южный, жители которого, ступая, обращены к вам подошвами ног, не имеет отношения к вашему народу; что касается другого пояса, обращенного к северу, то смотри, какой узкой полосой он соприкасается с вами. Ведь вся та земля, которую вы населяете, суженная с севера на юг и более широкая в стороны, есть, так сказать, небольшой остров, омываемый морем, которое вы на Земле называете Атлантическим, Большим морем, Океаном; но как он, при своем столь значительном имени, все же мал, ты видишь. (XXI, 22) Разве слава твоя или слава, принадлежащая кому-либо из нас, могла из этих населенных и известных людям земель либо перелететь через этот вот Кавказ, который ты видишь, либо переплыть через вон тот Ганг²⁹? Кто в остальных странах восходящего или заходящего солнца или в странах севера и юга услышит твое имя? Если отсечь их, то сколь тесны, как ты, конечно, видишь, будут пределы, в которых наша слава сможет распространяться! А что касается даже тех, кто о нас говорит теперь, то сколько времени они еще будут говорить?

(XXI, 23) Но что я говорю! Если отдаленные поколения пожелают передать своим потомкам славу, полученную каждым из нас от отцов, то все-таки, вследствие потопов и сгорания земли³⁰ (а это неминуемо происходит в определенное время³¹), мы не можем достигнуть, не говорю уже — вечной, нет — даже продолжительной славы. Какое имеет значение, если те, кто родится впоследствии, будут о тебе говорить, когда о тебе ничего не сказали те, кто родился в твое время? (XXII, 24) А ведь они были и не менее многочисленными и, конечно, лучшими мужами — тем более что ни один из тех самых мужей, которые могли слышать наше имя, не смог добиться памяти о себе хотя бы в течение года. Ведь люди обыкновенно измеряют год по возвращению одного только Солнца, то есть одного светила; но в действительности только тогда, когда все светила возвратятся в то место, откуда они некогда вышли в путь, и по истечении большого промежутка времени принесут с собой тот же распорядок на всем небе, только тогда это можно будет по справедливости назвать сменой года. Сколько поколений людей приходится на такой год, я не решаюсь и говорить. Ведь Солнце некогда, как показалось людям, померкло и погасло, когда душа Ромула переселилась именно в эти храмы³²; когда оно вторично

померкнет с той же стороны и в то же самое время, вот тогда и следует считать, что, по возвращении всех созвездий и светил в их исходное положение, истек год. Но — знай это — еще не прошло даже и двадцатой части этого года³³.

(XXIII, 25) Поэтому, если ты утратишь надежду возвратиться в это место, где все предназначено для великих и выдающихся мужей, то какую же ценность представляет собой ваша человеческая слава, которая едва может сохраниться на протяжении ничтожной части одного года? Итак, если ты захочешь смотреть ввысь и обозревать эти обители и вечное жилище, то не прислушивайся к толкам черни и не связывай осуществления своих надежд с наградами, получаемыми от людей; сама доблесть достоинствами своими должна тебя увлекать на путь истинной славы; что говорят о тебе другие, о том пусть думают они сами; говорить они во всяком случае будут.

Однако все их толки ограничены тесными пределами тех стран, которые ты видишь, и никогда не бывают долговечными, к кому бы они ни относились; они оказываются похороненными со смертью людей, а от забвения потомками гаснут».

(XXIV, 26) После того как он произнес эти слова, я сказал: «Да, Публий Африканский, раз для людей с заслугами перед отечеством как бы открыта тропа для доступа на небо, то — хотя я, с детства пойдя по стопам отца и твоим, не изменял нашей славе — теперь, когда меня ждет столь великая награда, я буду еще более неусыпен в своих стремлениях».

Он ответил: «Да, дерзай и запомни: не ты смертен, а твое тело. Ибо ты не то, что передаст твой образ; нет, разум каждого — это и есть человек, а не тот внешний вид его, на который возможно указать пальцем. Знай же, ты — бог, коль скоро бог тот, кто живет, кто чувствует, кто помнит, кто предвидит, кто повелевает, управляет и движет телом, которое ему дано, так же как этим вот миром движет высшее божество. И подобно тому, как миром, в некотором смысле смертным, движет само высшее божество, так бrenным телом движет извечный дух.

(XXV, 27) Ибо то, что всегда движется, вечно; но то, что сообщает движение другому, а само получает толчок откуда-нибудь, неминуемо перестает жить, когда перестает двигаться. Только одно то, что само движет себя, никогда не перестает двигаться, так как никогда не изменяет себе;

более того, даже для прочих тел, которые движутся, оно — источник, оно — первоначало движения. Но само первоначало ни из чего не возникает; ведь из первоначала возникает все, но само оно не может возникнуть ни из чего другого; ибо не было бы началом то, что было бы порождено чем-либо другим. И если оно никогда не возникает, то оно и никогда не исчезает. Ведь с уничтожением начала оно и само не возродится из другого, и из себя не создаст никакого другого начала, если только необходимо, чтобы все возникало из начала. Таким образом, движение начинается из того, что движется само собой, а это не может ни рождаться, ни умирать. В противном случае неминуемо погибнет все небо, и остановится вся природа, и они уже больше не обретут силы, которая с самого начала дала бы им толчок к движению.

(XXVI, 28) Итак, коль скоро явствует, что вечно лишь то, что движется само собой, то кто станет отрицать, что такие свойства дарованы духу? Ведь духа лишено все то, что приводится в движение толчком извне: но то, что обладает духом, возбуждается движением внутренним и своим собственным; ибо такова собственная природа и сила духа. Если она — единственная из всех, которая сама себя движет, то она, конечно, не порождена, а вечна. (29) Упражняй ее в наилучших делах! Самые благородные помышления — о благе отечества; ими побуждаемый и ими испытанный дух быстрее перенесется в эту обитель и в свое жилище. И он совершит это быстрее, если он еще тогда, когда будет заключен в теле, вырвется наружу и, созерцая все находящееся вне его, возможно больше отделится от тела. Ибо дух тех, кто предавался чувственным наслаждениям, предоставил себя в их распоряжение как в качестве слуги и, по побуждению страстей, повинующихся наслаждению, оскорбил права богов и людей, носится, выйдя из их тел, вокруг самой Земли и возвращается в это место только после блужданий в течение многих веков».

Он удалился, а я пробудился от сна.

О ПРИРОДЕ БОГОВ

КНИГА ВТОРАЯ

<...> Всем людям всех народов, в общем, известно, что есть боги, ибо это знание у всех врожденное и как бы запечатленное в душе.

V. (13) О том, каковы они¹, существуют различные мнения, что они есть — никто не отрицает. Наш Клеанф² считает, что понятия о богах сложились в человеческих душах по четырем причинам. Первой он полагает ту, о которой я сейчас сказал: возможность предчувствия будущего. Вторая — это великие блага, которые мы получаем от благоприятного климата, плодородия земли, и великое множество других благ. (14) Третья — [это разные природные явления], которые устрашают наши души: молнии, бури, грозы, метели, град, засуха, эпидемии, землетрясения и часто слышимый подземный гул, каменные дожди, и дожди как бы из кровавых капель, обвалы и внезапное появление зияющих трещин в земле, затем противоестественные уроды среди людей и животных; далее, появление небесных факелов (метеоров) и тех звезд, которые греки называют кометами, а наши — волосатыми (*stella cincinnata*); недавно во время войны с Октавием³ они оказались предвестницами великих бедствий; затем двойное солнце, которое, как я слышал от моего отца, появилось при консулах Тудитане и Аквиллии⁴ в тот самый год, когда погасло другое солнце — Публий Африканский⁵. Устрашенные такими явлениями, люди сообразили, что есть некая небесная и божественная сила.

(15) Четвертая причина, и самая важная, — равномерность движений и круговращений неба, Солнца, Луны, звезд, их различие и разнообразие, красота и порядок. Созерцание этих вещей само в достаточной мере указывает, что все это не случайно. Ведь если кто придет в какой-то дом, или в гимнасий⁶, или на форум⁷ и увидит во всем разумность, соразмерность, порядок, тот, конечно, рассудит, что это не могло произойти без причины, и поймет, что есть некто стоящий во главе всего этого, которому все повинуются. Тем более, наблюдая столь великие передвижения и столь великие изменения многих связанных между

собой вещей, связи между которыми в течение безмерного и бесконечного времени никогда ни в чем не нарушаются, необходимо признать, что все великие передвижения в природе управляются неким умом (*mens*).

VI. (16) Хрисипп⁸ же, хотя это человек ума проницательнейшего, говорит так, как будто его сама природа научила, а не сам он это открыл. «Если, — говорит он, — есть нечто такое во вселенной, чего ум человека, человеческий рассудок, сила, могущество сделать не могут, то определенно тот, кто это сделал, лучше человека. Но человек не мог создать небесные тела (*res caelestes*) и все то, чему присущ вечный распорядок. Следовательно, тот, кто все это создал, лучше человека. Почему же не сказать, что это бог? Ведь если богов нет, то что может быть во вселенной лучше человека? Ибо только в нем одном есть разум (*ratio*), превосходнее которого ничего не может быть. Но было бы безумным высокомерием со стороны человека считать, что лучше его во всем мире нет. Значит, есть нечто лучшее, значит, есть бог»⁹. (17) Действительно, когда смотришь на большой и прекрасный дом, разве ты, даже не видя его хозяина, не сможешь сделать вывод, что дом этот построен отнюдь не для мышей и ласочек? Но не явным ли безумием с твоей стороны окажется, если ты будешь считать, что все великолепие мира, столь великое разнообразие и красота небесных тел, огромные пространства моря и земли — все это жилище для тебя, а не для бессмертных богов? Разве мы не понимаем, что все то, что располагается выше, то лучше. Земля расположена ниже всего, и ее окружает весьма плотный воздух. И есть некоторые области и города, в которых вследствие особенностей плотности воздуха умы людей тупее. Так же обстоит дело со всем родом человеческим по той причине, что он населяет землю, то есть самую плотную область мира.

(18) И, однако, из самого наличия в людях сообразительности (*sollertia*) мы должны прийти к заключению, что есть некий ум, более проницательный и божественный. Ибо «откуда же человек ее прихватил?»¹⁰, как говорит у Ксенофонта Сократ. Если кто спросит, откуда в нас и влажность и тепло, которые разлиты в нашем теле, и сама земная плотность его плоти и, наконец, оживляющая его душа, то очевидно, что одно мы взяли от земли, другое — от влаги, иное — от огня, иное — от воздуха, который мы вводим в себя дыханием¹¹.

VII. Но где мы нашли, откуда вынесли то, что выше всего этого, я имею в виду разум (*ratio*), или, если угодно во многих словах, ум (*mens*), благоразумие (*consilium*), мышление (*cogitatio*), рассудительность (*prudencia*)? Или все прочее мир будет иметь, а этого одного, самого главного, не будет?

Но ведь определенно нет ничего лучше мира, ничего превосходнее, ничего прекраснее, не только нет, но и представить себе что-либо лучшее никто не может. А если нет ничего лучше разума и мудрости (*ratio et sapentia*), то необходимо ведь, чтобы и эти качества были присущи тому, что мы признали наилучшим. (19) А эта всеобщая согласованность¹², неразрывная связь и гармония, царящие среди вещей, разве не вынудят любого признать правоту моих слов? Земля раз за разом может то покрываться цветами, то снова замерзать. По стольким изменениям, которые происходят в природе, мы знаем, что Солнце то приближается к нам, то удаляется в дни зимнего и летнего солнцестояния; морские приливы и отливы связаны с восходом и заходом Луны; при одном обращении всего неба сохраняются неравные передвижения звезд. Конечно, такая согласованность между различными частями вселенной не могла бы иметь места, если бы она не удерживалась бы единым божественным и неразрывным духом (*spiritus*).

(20) Эти мысли легче избегнут превратного толкования со стороны академиков, если их изложить подробнее и пространнее, что я и намерен сделать. Если же излагать их, как это делал Зенон¹³, в более краткой и сжатой форме, то они более уязвимы для критики. Ибо как проточная вода или мало, или совсем не портится, а стоячая портится легко, так и поток речи смывает злословие¹⁴ хулителей. Но сжатой и краткой речью не легко защититься. То, о чем мы говорим пространно, Зенон в сжатом виде выразил так:

VIII. (21) «То, что пользуется разумом, лучше того, что разумом не пользуется. Нет ничего лучше мира: итак, мир пользуется разумом». Сходным образом можно доказать, что мир мудр, блажен, вечен — ведь все, в чем имеются эти качества, лучше того, в чем этих качеств не хватает. А так как нет ничего лучше мира, то выходит, что мир есть бог¹⁵.

(22) Тот же Зенон рассуждает следующим образом: «Никакая часть [целого], лишенная способности чувствовать,

не может быть чувствующей. Части мира способны чувствовать, следовательно, мир не лишен способности чувствовать». Он же продолжает и в столь же сжатой форме: «То, — говорит он, — что лишено души и разума, не может породить из себя нечто одушевленное и владеющее разумом. Мир же порождает одушевленное и владеющее разумом. Следовательно, мир должен быть одушевленным и владеющим разумом»¹⁶. И Зенон методом уподобления, как он часто делает, приводит к заключению следующим образом: «Если бы на оливковом дереве родились флейты, исполняющие разные мелодии, разве усомнился бы ты в том, что и самому оливковому дереву присущи некоторые познания в игре на флейте? А если бы на платане росли некие струнные инструменты, издающие гармоническое звучание, то ты бы, надо думать, посчитал, что и платанам присуща музыкальность. Почему же не считать мир одушевленным и разумным, раз он порождает из себя одушевленное и разумное?».

IX. (23) Хотя в начале своей речи я сказал, что в первой ее части нет необходимости, так как для всех очевидно, что боги существуют, однако теперь хочу подкрепить это самое доводами физическими. Дело обстоит таким образом, что все то, что принимает пищу и растет, содержит в себе силу тепла, без которой нельзя ни питаться, ни расти. Ибо все теплое и огненное возбуждается, приводится в действие своим же движением. А то, что питается и растет, использует некое движение, упорядоченное и равномерное. Пока это движение сохраняется в нас, сохраняется в нас и способность чувствовать, и жизнь, а когда жар [внутри нас] охладевает и гаснет, мы и сами умираем и гаснем. (24) А сколь велико количество тепла во всяком теле, Клеанф доказывал следующими доводами: он утверждал, что нет пищи настолько тяжелой, что она не переварилась бы [в желудке] в течение дня и ночи. И даже в остатках ее, естественно извергаемых, содержится тепло. Далее, непрекращающееся биение вен и артерий как бы следует колебанию огня, и часто замечали, что только что исторгнутое сердце какого-нибудь живого существа трепещет и бьется с частотой, подражающей частоте биения пламени. Следовательно, все, что живет, будь то животное или растение, живет благодаря заключающемуся в нем теплу. Из чего следует заключить, что эта тепловая природа (*caloris natura*) имеет в себе жизненную силу, распространяющуюся на весь мир.

(25) Мы это легче поймем, если подробнее разберем все виды этого всепроникающего огня. Итак, все части мира (я коснусь только наибольших) поддерживаются и подкрепляются огнем. Это особенно очевидно при рассмотрении природы земли (*terra natura*), ибо, как мы видим, и от удара камень о камень, и от трения рождается огонь, и свежевскопанная теплая земля дымится. Из неиссякающих колодезев извлекается теплая вода, и особенно в зимнее время, потому что великое количество тепла содержится в недрах земли, а земля зимою становится плотнее, и по этой причине сильнее сжимает заключающееся в ней тепло.

Х. (26) Можно было бы в долгой речи множеством доводов доказать, что все семена, которые земля принимает в себя, и те, которые она сама из себя родит¹⁷ и, закрепив в себе корнями, удерживает, — все это и рождается и растет благодаря умеренному теплу. А что и в воде также есть примесь тепла, об этом свидетельствует прежде всего жидкое ее состояние и способность разливаться. Ибо мы видим, что холода превращают ее в лед, в снег, в иней, но от добавления тепла она становится жидкой и разливается. Так и от северных ветров, и других, приносящих холода, застывает влага, и она же, наоборот, размягчается, согревшись, и тает от тепла. И моря, волнуемые ветрами, так теплеют, что легко можно понять, что и в этих огромных массах воды заключается тепло, которое не извне туда поступило, но из глубин самого моря, возбужденного волнением; так ведь происходит и с нашим телом, когда оно от движения и упражнений согревается.

(27) И сам воздух, который по природе своей — самая холодная [из стихий], вовсе не лишен тепла, напротив, в нем тоже есть примесь тепла, и притом большая. Ведь воздух и рождается-то от испарения вод. В нем следует видеть как бы некий пар, исходящий от вод, а он ведь возникает от движения того тепла, которое содержится в воде. Подобное мы можем наблюдать, когда вода вскипает на огне.

А что касается оставшейся, четвертой части мира¹⁸, то она и сама по природе своей вся горячая и прочим стихиям сообщает спасительное и животворящее тепло. (28) Но из этого следует заключить, что раз все части мира поддерживаются теплотой, то и сам мир также обязан своим длительным существованием той же причине. Более того, следует понять, что эта жаркая и огненная стихия так разлита во всей природе, что возбуждает в ней силу про-

изводить и рождать, от этой причины и рождаются и растут все живые существа и растения.

XI. (29) Итак, есть природа (*natura*), которая заключает в себе весь мир, сохраняет его, и она не лишена чувства и разума; ибо всякая природа, которая не обособлена и не проста, но сопряжена и связана с чем-то другим, имеет в себе нечто главенствующее: в человеке, например, это ум (*mens*), в животном — нечто подобное уму, отчего у него рождаются влечения. У деревьев же и других [растений], которые рождаются из земли, главенствующее начало, как полагают, кроется в корнях. Я называю главенствующим (*principatum*) то, что греки называют ἡγεμονικόν¹⁹ — то, что является важнейшим в своем роде и чего важнее быть не может и не должно быть. Итак, необходимо, чтобы и то, в чем состоит главенствующее начало всей природы, было бы всего лучше и более всего достойно могущества и власти над всеми вещами.

(30) Но мы уже знаем, что в частях мира — ибо в мире (*mundus*) ведь нет ничего, что бы не было частью единого (*universum*) — имеются чувства и разум. Следовательно, эти качества необходимо должны быть и в той части мира, которая составляет его главенствующее начало, и притом должны быть в превосходной стéпени (*acriora et maiora*). Поэтому мир необходимо должен быть мудр, и та природа, которая все охватывает и содержит, должна превосходить все остальное совершенством разума. Стало быть, мир и есть бог и божественная природа заключает в себе всю силу мира. Но тот мировой огонь чище, прозрачнее и подвижнее, и по этим причинам намного более способен к возбуждению чувств, чем это наше тепло, которым все известное нам содержится и живет.

(31) Итак, если люди и животные держатся этим теплом и вследствие этого могут двигаться и чувствовать, то нелепо утверждать, что способности чувствовать лишен мир, который поддерживается огнем совершенно свободным и чистым и поэтому всепроникающим и подвижнейшим, в особенности потому, что этот огонь, присущий самому миру, не зажжен кем-то другим, и он сам причина своей активности, а не какой-то внешний импульс приводит его в движение. Ибо что другое может быть более значительное (*valentius*), чем мир, что могло бы возбудить и привести в движение тот жар, которым мир держится?

XII. (32) Но послушаем Платона, как бы некоего бога

философов²⁰. По его мнению²¹, есть два движения: одно — свое, другое — [вызванное] извне; из них то, что приходит в движение само собой (*ex se sua sponte*), божественнее, чем вызванное посторонней силой. Первый вид движения он приписывает только душам, и от них-то, считает он, происходит начало движения. Стало быть, поскольку от мирового огня рождается всякое движение, а этот движется не от постороннего импульса, а сам собой, то он должен быть душою. Следовательно, мир одушевлен. А из этого можно понять также, что в нем есть и разумность (*intelligentia*), ведь мир, конечно же, лучше, чем любая природа. Но как любая часть нашего тела меньше, чем все наше тело в целом, так и мир в целом с необходимостью есть нечто более значительное, чем любая его часть. А если это так, то мир необходимо разумен; ибо, если не так, то человек, который есть часть мира, будучи наделен разумом, должен стоять выше, чем весь мир. (33) Точно так же, если мы пожелаем совершить переход от самых примитивных, неразвитых существ до высших и совершенных, то мы необходимо придем к богам. Ибо прежде всего мы замечаем, что природа поддерживает тех, которые рождаются из земли, но забота о них природы ограничивается только тем, что она их питает и выращивает. (34) А животным еще дана способность чувствовать и двигаться вместе с неким стремлением достичь спасительного для них и уклониться от губельного. Но человеку природа добавила сверх того разум, который бы управлял его душевными стремлениями, то давая им волю, то сдерживая.

XIII. Четвертая, и самая высокая, ступень — это те существа, которые рождаются от природы добрыми и мудрыми, которым изначально присущ врожденный разум, верный и постоянный, который должно считать сверхчеловеческим и уделом бога, то есть мира. У мира по необходимости должен быть совершенный и абсолютный разум. (35) Ибо невозможно представить себе, чтобы в мире не было ничего наивысшего и совершенного. И виноградной лозе, и скоту, как мы знаем, свойственно от природы неким своим путем продвигаться к совершенству, если этому не препятствует какая-нибудь сила. И как в живописи, или в зодчестве, или в любом другом искусстве есть свои совершенные произведения, так и во всей природе тем более должно быть нечто совершенное, ибо всему прочему могут быть многие внешние препятствия к достижению совершенства,

но всей природе в целом ничто не может воспрепятствовать — ведь она сама все в себе содержит. Стало быть, необходимо должна быть эта четвертая, и высочайшая, ступень, с которой ничто не может сравниться. (36) И это та ступень, на которой находится вся вселенная в целом. А если она такова, если она и превосходит все и ей ничто не может быть препятствием, то безусловно мир разумен и даже мудр. И что может быть глупее, чем утверждать, что то, что включает в себя все, не является наилучшим, не является, во-первых, одушевленным, затем — владеющим разумом и рассудком (*ratio et consilium*), наконец, — мудрым. А что же еще другое, если не мир, может быть наилучшим? Ничто похожее на растение или даже на животное, ни одно существо, наделенное разумом, ни даже сам человек. Ибо человек может сделаться мудрым, но мир, если в бесконечно далеком прошлом был неразумным, конечно, никогда не обрел бы мудрости. Итак, он был бы хуже человека. А поскольку это нелепость, то следует считать мир и изначально мудрым и богом. (37) Нет ничего другого, помимо мира, что бы включало в себя все, что было бы всесторонне упорядочено, совершенно, безукоризненно во всех отношениях, во всех своих частях.

XIV. Хрисипп тонко подметил, что чехол изготовлен ради щита, ножны — ради меча, так, кроме мира, все остальное произведено — что-то одно ради чего-то другого. Например, плоды и злаки земля родит ради животных, животные рождаются ради людей, лошадь — для того чтобы на ней ездить, вол — для пахоты, собака — для охоты и охраны.

Сам же человек рожден, чтобы созерцать мир²², размышлять и действовать в соответствии с этим. Он никоим образом не совершенен, он какая-то частица совершенного.

(38) Но мир, поскольку он все охватывает и нет ничего, что бы в нем не содержалось, во всех отношениях совершенен. Ведь как может чего-то недоставать тому, что является наилучшим? Но нет ничего лучше ума и разума. Значит, невозможно, чтобы у мира их не было.

Хорошо об этом говорит тот же Хрисипп. Применяя метод уподобления, он учит, что все лучшее проявляется в законченном и зрелом: в лошади — лучше, чем в жеребенке, в собаке — чем в щенке, во взрослом мужчине — чем в мальчике. Так же то, что во всем мире является наилучшим, то должно содержаться в чем-то законченном

и совершенном. (39) Но нет ничего совершеннее мира, нет ничего лучше добродетели. Значит, миру свойственна добродетель. Да, конечно, человеческая природа несовершенна, и все же в человеке проявляется добродетель. Насколько легче представить ее в мире! Итак, в мире есть добродетель, он и мудр, и поэтому он — бог!

XV. Убедившись в божественности мира, следует уделить ту же божественность небесным светилам. Они ведь рождаются из подвижнейшей и чистейшей части эфира, без малейшей примеси другого элемента, так что они сплошь огненные и прозрачные, и их также с полным основанием следует считать одушевленными и способными чувствовать и мыслить. (40) А то, что они все огненные, это, считает Клеанф, подтверждает свидетельства двух наших чувств: осязания и зрения. Солнечный свет ярче любого другого огня, ведь он освещает мир на огромное расстояние в длину и в ширину. И он дает нам не только ощущение тепла, но часто даже обжигает, что не могло бы произойти, не будь он огненным. Итак, говорит Клеанф, поскольку солнце огненное и питается испарениями океана²³, так как никакой огонь не может продержаться без некоторого питания, то, значит, оно похоже или на тот огонь, которым мы пользуемся, например, для приготовления пищи, или на тот, который содержится в телах живых существ. (41) Но этот наш огонь, в котором мы нуждаемся для житейских надобностей, — губитель и пожиратель всего; куда бы он ни ворвался, он все разрушает и рассеивает. Напротив, тот, что в телах, животворен и спасителен, он все сохраняет, питает, растит, поддерживает, придает способность чувствовать²⁴. Стало быть, можно не сомневаться, которому из этих огней подобно Солнце, раз и оно тоже делает так, что все расцветает и каждое в своем роде созревает. А если солнечный огонь похож на те огни, что в телах живых существ, то и Солнце должно быть живым, а также и остальные светила, рождающиеся в небесном огне, который мы называем эфиром или небом. (42) Но если рождение одних живых существ происходит на земле, других — в воде, третьих — в воздухе, то было бы, по мнению Аристотеля²⁵, нелепостью думать, что в той части мира, которая наиболее способна рождать живое, ничто живое не рождается. Звезды же находятся в тех местах, где эфир. И так как эфир — стихия тончайшая, в постоянном движении и полон силы, то и то, что в нем рождается, должно быть

живым и необходимо должно отличаться и острейшей чувствительностью и величайшей подвижностью. А так как в эфире рождаются звезды, то следует думать, что и им присущи способность чувствовать и мыслить. Из чего следует, что звезды должны быть причислены к богам.

XVI. Можно наблюдать, что люди, обитающие в тех странах, где воздух более чист и тонок, отличаются более острым умом²⁶, способны лучше соображать, чем жители стран с густой и плотной атмосферой. (43) Считают, что даже пища, которую употребляют, как-то влияет на остроту ума. Стало быть, вполне вероятно, что в звездах заключается превосходный разум, поскольку они и населяют эфирную часть мира и питаются влажными испарениями земель и морей, истонченными вследствие большой удаленности. А о наличии у звезд способности чувствовать и мыслить более всего свидетельствуют их порядок и постоянство их движения, в которых нет ничего произвольного, ничего изменчивого, ничего случайного. А ведь нет ничего такого, что могло бы разумно и размеренно двигаться без участия рассудка (*consilium*). Этот порядок в звездах и их извечное постоянство невозможно связывать ни с природой (хотя она полна разума), ни со слепым случаем, который — друг изменчивости и враг постоянства. Из этого, стало быть, следует, что они движутся по собственному побуждению, руководствуясь своим чувством, своей божественностью.

(44) Заслуживает похвалы Аристотель за то, что учил, что все движущееся движется или по [своей] природе, или [внешней] силой, или по [своей] воле (*aut natura, aut vi, aut voluntate*)²⁷. Двигутся Солнце и Луна и все звезды. То, что движется природой, то либо от своей тяжести несется вниз, либо вследствие легкого веса — вверх. Ни то, ни другое не относится к звездам, потому что их движение происходит по кругу. Нельзя также сказать, что их движение вызвано некой большей силой, так что звезды якобы движутся вопреки [своей] природе, ибо что может быть больше [их]? Итак, остается считать, что звезды движутся самопроизвольно. Тот, кто их видит и все же отрицает существование богов, поступает поэтому не только невежественно, но и нечестиво. Но, конечно, небольшая разница — отрицать ли существование богов или утверждать, что они ни о чем не заботятся, ничего не делают; мне так кажется, что тот, кто ничего не делает, как бы вовсе не существует. Итак, что боги существуют, настолько

очевидно, что того, кто это отрицает, едва ли можно считать в здравом уме.

XVII. (45) Остается обсудить, какова природа богов. В этом вопросе главная трудность состоит в том, чтобы отвести умственный взор от привычного для глаз. Эта трудность приводит к тому, что и простой народ и философы, уподобившиеся невежественному люду²⁸, не могут представить себе богов, иначе как в человеческом облике. Неосновательность этого мнения уже достаточно показал Котта, так что мне об этом незачем и говорить. Но так как в душе у нас заложено определенное представление²⁹, что бог таков, что, во-первых, он одушевлен и затем что во всей природе нет ничего превосходнее его, то я не вижу, что более соответствовало бы этому представлению и понятию, чем утверждение, что этот самый мир, которого ничто не может быть превосходнее, он и одушевлен, и бог. (46) Пусть сколько угодно шутит Эпикур³⁰, человек менее всего способный на шутку и вовсе не напоминающий этим свое отечество³¹, пусть говорит, что не может понять, каков этот вращающийся и круглый бог, никогда он не убедит меня отказаться от того, что он и сам утверждает. По мнению Эпикура, боги существуют, поскольку необходимо должна быть некая природа (*natura*), столь превосходная, что лучше ее нет ничего. Но ведь определенно нет ничего лучше мира. Без сомнения, то, что одушевлено, что имеет и чувство, и разум, и ум, то лучше того, что лишено этого. (47) Так получается, что одушевленный мир владеет чувством, умом, разумом, а отсюда следует заключение, что мир — это бог. Но это станет немного спустя еще более понятным из тех самых дел, которые совершает мир.

XVIII. Между прочим, Веллей, не выставляй, пожалуйста, на вид, что вы совершенно не получили никакого образования. Ты говоришь, что и конус, и цилиндр, и пирамида тебе кажутся более красивыми, чем шар. Необычные у вас взгляды [на красоту]! Но пусть они будут красивее на вид, хотя мне самому это не кажется, ибо какая фигура может быть красивее той, которая одна заключает в себе все остальные фигуры, которая не имеет никакой шероховатости, никакой неровности, ни одного угла, о который можно порезаться, никаких надломов, ни одного выступа, ни одной впадины? В сущности, только две формы являются превосходнейшими: из объемных — шар (*globus*), ибо так следует переводить [греческое] *σφαῖρα*;

из плоских — круг, или окружность (по-гречески *κύκλος*); только этим двум формам присуща та особенность, что все их части совершенно сходны между собой и крайние точки отстоят от центра на одинаковом расстоянии — правильнее этого ничего не может быть. (48) Но если вы этого не видите оттого, что никогда не нюхали ученой пыли³², то неужели вы, физики, не могли додуматься до того, что равномерность движения, постоянство и упорядоченность никак не могли бы сохраниться в другой фигуре? Итак, ничто не может быть невежественнее того, что вы обычно твердите. Вы говорите, что этот самый мир необязательно должен быть круглым, что, может быть, он имеет другую фигуру и бесчисленные другие миры имеют другие формы. (49) Если бы Эпикур выучил, сколько будет дважды два, он бы, наверное, не говорил этого. Но, как говорит Энний³³:

Пока он решал, что всего лучше, нёбом,
Он своих глаз не поднял на свод неба³⁴.

XIX. Ведь есть два вида звезд; из них одни, совершая свои движения по неизменным путям с востока на запад³⁵, никогда ни на шаг не отклоняются от своего направления, другие же совершают непрерывные обращения по двум, всегда одним и тем же путям и направлениям³⁶. Оба эти явления свидетельствуют как о вращении самого мира, которое было бы невозможно, если бы он не был шарообразной формы, так и о круговых орбитах звезд. Прежде всего скажем о Солнце, которое занимает главенствующее положение среди звезд. Оно движется таким образом, что когда щедрым светом заливают земли, то эти земли то в одних, то в других частях оставляет в тени. Ибо сама тень земли, застилая солнце, производит ночь. Продолжительность ночей [в совокупности] та же, что и дней. Солнце, то в меру приближаясь, то отдаляясь, регулирует меру воспринимаемого нами и тепла и холода. Триста шестьдесят пять оборотов Солнца с добавкой около одной четвертой части дня составляют годичный круговорот³⁷. А отклоняя свой путь то к северу, то к югу, Солнце производит лето и зиму и те два времени года, из которых одно примыкает к состарившейся зиме, другое — к лету. Вот эти-то четыре сменяющиеся времени года являются причиной и началом всего, что производит земля и море. (50) Луна проходит за месяц тот же путь, что Солнце за год. Свет ее слабее всего, когда она ближе подходит к Солнцу, самый же

полный [свет], когда она дальше всего отходит. И не только вид и форма ее меняются, то вырастая [до полноты], то убывая до конца, но также и местонахождение в небе: то в северной его части, то в южной. Вследствие этого и в пути Луны есть нечто подобное и зимнему и летнему солнцестоянию. И многое от них проистекает такого, от чего и живые существа питаются, и растения, порождаемые землей, растут и вырастают и достигают полной зрелости.

XX. (51) Особенно поразительны передвижения тех пяти звезд, которые неверно называются «блуждающими» («errantes») ³⁸, потому что вовсе не блуждает то, что в продолжение всей вечности сохраняет постоянство и закономерность своих передвижений, поступательных, возвратных и остальных. Но особенно удивительно в звездах, о которых мы говорим, то, что они то скрываются, то снова появляются, то удаляются, то возвращаются, то движутся, опережая Солнце, то следуют за ним, и движутся то скорее, то медленнее, то совсем не движутся, а некоторое время стоят на месте. Исходя из неравномерных их движений, математики и установили «великий год», который наступает тогда, когда Солнце, Луна и пять планет, после того как все они прошли свои пути, займут то же взаимное расположение ³⁹. (52) Насколько он долгов — большой вопрос. Но он неизбежно имеет определенную и конечную длительность.

Та [планета], которую называют звездой Сатурна, а греки — Φαίρων, самая далекая от Земли, совершает свой путь приблизительно за тридцать лет, причем в этом пути она движется самым удивительным образом, то впереди [Солнца], то отставая [от него], то скрывается в вечернее время, то снова появляется в утреннее. И на протяжении бесчисленных столетий, всей вечности ничто не меняется в последовательности ее движений.

А ниже этой, ближе к земле, движется звезда Юпитера, которую называют Φαέθων, тот же круг двенадцати созвездий Зодиака она проходит за двенадцать лет и на своем пути меняет свое движение так же, как звезда Сатурна. (53) Ближайшую к нему нижнюю орбиту занимает Πυρόεις, называемая также звездой Марса, она обходит тот же круг Зодиака, что и две верхние за двадцать четыре месяца без шести, если я не ошибаюсь, дней. А ниже этой есть звезда Меркурия, ее греки называют Στίλβων, она обходит пояс созвездий Зодиака приблизительно за год, и,

не отдаляясь больше чем на одно созвездие от Солнца, то обгоняет его, то следует за ним. Нижняя из пяти планет и ближайшая к Земле — это звезда Венеры, что называется по-гречески *Φωσφόρος* (а по-латыни *Lucifer*), когда она восходит перед Солнцем, и *Εσπερος* когда выходит после него. Она завершает свой путь за год и обходит пояс Зодиака, его ширину и длину (то же, что делают верхние планеты, то предшествуя Солнцу, то следуя за ним, но не отдаляясь от него больше чем на два знака Зодиака)⁴⁰.

XXI. (54) Так вот, я не могу понять этого постоянства у звезд, эту поразительную согласованность их столь разнообразных путей в продолжение бесконечно долгого времени, если в этом не принимает участия ум, рассудок, разум. А если мы видим наличие этого в звездах, то не можем не причислить их к богам. Да и те звезды, которые называют «неблуждающими» («*inerrantes*»),⁴¹ разве не обнаруживают также наличия в них ума и мудрости, судя по согласованности и постоянству их каждодневного обращения. Они ведь не передвигаются вместе с эфиром, не пригвождены к небу, как думают многие не знающие физики. Да и не такова природа эфира, чтобы он мог силой своей охватить и вращать звезды, он ведь тонкий, и прозрачный и проникнут равномерным жаром, и, кажется, недостаточно приспособлен к удержанию звезд. (55) Стало быть, неблуждающие звезды имеют свою [особую] сферу, не связанную с эфиром. А их годовые пути с их вечным, изумительным постоянством свидетельствуют, что и в них есть божественные силы и ум. Тот, кто это не понимает, кажется, вообще ничего не способен понять.

(56) Итак, в небе нет места случайности, произволу, блужданию, суете (*vanitas*), в нем, напротив, полный порядок, истинность (*veritas*), разумность (*ratio*), постоянство. А те [небесные тела]⁴², которым это не присуще, — это лишённые разума (*ementita*) и ложные (*falsa*); без определенного направления они носятся вокруг Земли, ниже Луны, которая сама ниже всех других, и врезаются в Землю. Тот, кто считает, что этот изумительный порядок и невероятное постоянство небес, который порождает вся и всех, существование и благополучие, обошлись без ума, тот сам, следует считать, лишен ума. (57) Итак, я, по-моему, не сделаю ошибки, если далее поведу свое рассуждение, отправляясь от сказанного тем, кто более других продвинулся в поисках истины.

XXII. Зенон дает такое определение природе: природа, говорит он, это творческий огонь, планомерно продвигающийся по пути к порождению (*ignis artificiosus ad gignendum progrediens via*). Он считает, что искусству более всего свойственно творить и порождать и то, что в произведениях наших искусств совершает рука человека, намного искуснее производит природа, то есть, как я уже сказал, творческий огонь — наставник в прочих искусствах. В этом смысле всякая природа является искусством, так как имеет как бы некий путь и метод (*viam et sectam*), которым следует. (58) Природу же самого мира, который охватывает и содержит в себе все, тот же Зенон называет не только творением искусства, но прямо художницей («*artifex*»), попечительницей, провидящей все полезное и благоприятное для всех своих творений. И как другие природы каждая от своих семян рождаются, растут, поддерживаются, так и природа мира [в целом] все свои движения совершает по своей воле, имеет свои влечения, стремления, которые у греков называются *ὁρμή*, и согласно с ними предпринимает [свои] действия, так же, как и мы сами, движимые душами и чувствами.

Следовательно, таков ум мира, который по той причине справедливо можно назвать или «предусмотрительностью» (*prudentia*), или «провидением» (*providentia*) (греки же называют *πρόνοια*), что его главнейшая забота и главное занятие состоит, во-первых, в том, чтобы мир наилучшим образом был приспособлен для продолжительного существования, затем чтобы он ни в чем не испытывал недостатка, а более всего — чтобы в нем была нисобыкновенная красота и все, что может его украсить.

XXIII. (59) Уже сказано о мире в целом, сказано также о звездах, так что уже появилась едва ли ни целая толпа богов, но не бездействующих и не таких, для которых деятельность является трудным и тягостным занятием. Ибо они не состоят ведь из жил, кровеносных сосудов, костей и не питаются кушаньями и напитками, которые могли бы скопить в них слишком острые и слишком густые соки. И тела их не таковы, чтобы они боялись падений или ударов, или опасались заболеть от усталости. Эпикур, остерегаясь этого, придумал бесплотных и ничего не делающих богов. (60) Но те наши боги, наделенные прекраснейшей формой, помещенные в чистейшей области неба, так движутся и так направляют свой путь, что, кажется, они согласились сохранить все и обо всем заботиться.

И греческие мудрецы⁴³, и наши предки не без основания установили и называли богами многие другие природы за приносимые ими великие благодеяния. Ибо они полагали, что все приносящее великую пользу роду человеческому — это проявление божественной доброты к людям.

И вот то, что порождено богом, называли именем самого бога, например плоды полей — Церерой, вино — Либером⁴⁴, отсюда известное место из Теренция⁴⁵:

Без Цереры и Либера зябнет Венера.

(61) Затем названия и еще кое-чего, в чем усматривали наличие некой более значительной силы, становились названиями богов, как, например, Верность (*fides*), Ум (*mens*), которым, как мы видим, недавно были посвящены на Капитолии храмы М. Эмилием Скавром⁴⁶, а еще раньше посвятил храм Верности Аттилий Калатин. У тебя перед глазами храм Доблести (*virtus*), храм Чести (*honos*), который был восстановлен М. Марцеллом, а много лет тому назад, во время войны с лигурами, посвящен Кв. Максимом⁴⁷. А храмы Могуществу (*ops*)? Спасению (*salus*)? Согласию (*concordia*)? Победе (*victoria*)? Свободе (*libertas*)? Так как значение всего этого было столь велико, что без божественного вмешательства не обошлось, то и появились боги под этими именами. В таком же роде оказались именами богов слова: Похоть (*cupido*), и Наслаждение (*voluptas*), и Венера сладострастия (*lubentinae Venus*) — слова, обозначающие порочное, а не природное. Хотя Веллей считает по-другому, но эти самые пороки часто весьма противны природе. (62) Итак, из-за великой пользы были признаны богами те вещи, которые порождали какую-то пользу. И по самим именам, которые я называл только что, можно судить, какая у какого бога сила.

XXIV. Кроме того, общепринято у людей верить, что мужи выдающиеся и прославленные своими благодеяниями возносятся на небо. Так были [обожествлены] Геркулес, так — Кастор и Поллукс⁴⁸, так — Эскулап. Так и Либер; я имею в виду Либеру, рожденного Семелой, а не того, которого наши предки благоговейно и благочестиво обожествили вместе с Церерой и Либерой, как это можно понять из мистерий; так как родившихся от нас мы называем *liberi* («дети»), то и рожденные Церерой были названы Либер и Либеру; за Либерой сохранилось

это имя, за Либером — нет. Так был обожествлен и Ромул, которого отождествляют с Квирином⁴⁹. Так как их души продолжают жить и наслаждаться вечностью, то их справедливо считают богами, раз они и наилучшие и вечные.

(63) И еще из другого источника, а именно из наблюдений за природой, хлынуло [на небо] великое множество богов, которые, будучи наделены человеческой наружностью, дали обильный материал поэтам для их вымыслов, а жизнь людей наполнили всяким суеверием. Этот вопрос рассматривал Зенон, а позже обстоятельнее разъяснили Клеанф и Хрисипп. По всей Греции распространено древнее поверье, что Уран-небо (coelum) был оскоплен сыном, Сатурном, Сатурн же сам был заключен в оковы сыном Юпитером. (64) Но в этих нечестивых баснях кроется остроумный физический смысл: что небесная, выше всего находящаяся, огненная природа — эфир, поскольку сам от себя рождает все, не имеет части тела, служащей для совокупления и рождения потомства.

XXV. А в Сатурне хотели видеть того, кто вмещает в себя бегущие и сменяющие один другого отрезки времени. Он ведь у греков и носит соответствующее имя — *Κρόνος*, то же самое, что *Χρόνος*, то есть отрезок времени. А Сатурном его назвали оттого, что он насыщается (saturaretur) годами. И выдумали, будто он имеет обыкновение пожирать родившихся от него, потому что время поглощает отрезки времени и никак не насытится минувшими годами. А Сатурн был закован Юпитером, чтобы время не бежало слишком быстро; чтобы умерить его течение, на него были наложены звездные узы. Но сам Юпитер, т. е. *iuvans pater* («отец помогающий»), — его имя в косвенных падежах мы употребляем в форме *Jovis* — от *juvare* — «помогать» — поэтами зовется «Отец и богов и людей», а предки наши называли его Всеблагий («*optimus*») и Величайший («*maximus*»), причем обращение Всеблагий, т. е. благодетельнейший, было более ранним, чем Величайший, потому что важнее и, конечно, благодетельнее помогать всем, чем обладать великим могуществом.

(65) Энний, как я уже упомянул, так говорит о его названии:

Ты взирай на эту высь сияющую, что зовут
Все Юпитером.

Это проще, чем в другом месте у этого же поэта:

Тому, что светит, что бы это ни было, я посвящу то,
что во мне⁵⁰.

Так что и наши авгуры, когда произносят: «О, Юпитер, мечущий молнии, гремящий громом!», то, в сущности, говорят: «О небо, мечущее молнии и гремящее громом». Еврипид же, прекрасно написавший о многом, эту мысль кратко выразил так:

Ты видишь высоко разлитый беспредельный
Эфир, что, нежно землю охвативши, обнял,⁵¹
Его верховным богом признавай, Юпитером⁵¹.

XXVI. (66) Воздух же, который находится между морем и небом, обожествляется, как учат стоики, под именем Юноны, сестры и супруги Юпитера, так как у воздуха есть сходство с эфиром и теснейшая с ним связь. Придали же воздуху женский пол и определили Юноне, потому что нет ничего нежнее его. Но я уверен, что и Юноны имя происходит от *juvare*.

В поэтических вымыслах говорится о делении [мира] на три царства. [Об эфире было сказано], остаются вода и земля. Итак, Нептуну, в котором хотят видеть брата Юпитера, было отдано все морское царство. И как имя бога портов (*Portunus*) происходит от *portus* (порт), так имя Нептуна (*Neptunus*) произведено от *paere* (плавать), с небольшим изменением первых букв.

А вся земная жизнь и природа были посвящены отцу Диту, он же зовется у нас Богатый («dives»), как у греков *Πλούτων*, потому что и возвращается все в землю и происходит все из земли. Жена у него Прозерпина (имя это греческое) — это та, что у греков именуется *Περσεφόνη*, ибо в ней хотят [видеть] семя полевых плодов. Выдумали, будто ее, похищенную и спрятанную, ищет мать. Мать же зовут *Ceres*, от слова *Geres* (Производительница); первая буква была случайно изменена, как и у греков получилось *Δημήτηρ* (Деметра) из *Γημήτηρ* (Земля-мать); как *Mavors* (Марс) происходит от того, что он *magna verteret* (великое переворачивает), как *Minerva* (Минерва) — от того, что она или уменьшает (*minueret*), или угрожает (*minaretur*).

XXVII. Так как во всех делах важнейшее значение имеют начало и конец, то решили при обращении к богам начать с Януса, имя которого и произведено от *ire* (ходить),

от которого и открытые проходы называются *iani*, а двери у входов в жилые помещения — *ianua*.

Имя Весты идет от греков, она ведь та, которая у них зовется *Ἑστία*, и власть ее простирается над жертвенниками и очагами. Так что этой богине, которая является хранительницей всего домашнего, и всякая молитва, и всякое жертвоприношение лучшее. (68) Почти ту же власть имеют и боги-пенаты, название которых произведено либо от *penus* — ведь так называют все, чем питаются люди, либо оттого, что они обитают внутри (*penitus*), и по этой причине поэты называют их также *Penetrales* (Проникающие).

И имя Аполлона тоже греческое, в нем хотят видеть Солнце. А Диану считают той же Луной, Солнце (*sol*) называется так или потому, что оно единственное (*solus*) из всех звезд столь велико, или потому, что, когда оно восходит, [все] светила вокруг меркнут и видно одно Солнце.

Луна (*luna*), названа так от *lucere* (светить), другое ее имя Люцина, и вот, как у греков при родах взывают к Диане, называя ее также другим именем — Светоносная, так у наших призывают Юнону — Люцину. (69) Та же Диана зовется Всюдубродящая, но не оттого, что, охотясь, бродит повсюду, а потому что она считается одной из семи как бы «блуждающих» звезд. Дианой же [Луна] зовется потому, что ночь она как бы обращает в день (*dies*). А обращаются к ней при родах потому, что беременность длится иногда семь, а по большей части девять лунных оборотов, которые называют *menses* (месяцы), так как совершаются в измеренные (*mensa*) промежутки времени. Остроумную мысль высказал всегда остроумный Тимей⁵². Рассказав в своей «Истории» о том, что в ту самую ночь, когда родился Александр, сгорел дотла храм Дианы Эфесской, он добавил: ничего удивительного, ведь Дианы, которая хотела присутствовать при родах Олимпиады⁵³, в это время не было дома. Ту же богиню, которая приходит к каждой вещи, наши называли Венерой (*Venus*). И скорее от ее имени произошло *venustas* (прелесть), чем *Venus* от *venustas*.

XXVIII. (70) Замечаете вы, как от правильного и полезного познания природных вещей рассудок человеческий был отвлечен в мир выдуманных, воображаемых богов? Вот что породило ложные мнения, ошибки, вносящие путаницу, суеверия почти бабьи. Получилось, что нам известны и

обличия богов, и возраст, и одежда, и украшения, их родословия и их браки, их родственные отношения — все это было перенесено на них для того, чтобы уподобить их слабому роду человеческому. Ибо их даже представляют одолеваемыми разными страстями. Мы знаем о похоти, печали, гневe богов. Выдумали даже, что они ведут войны, участвуют в сражениях, и не только, как у Гомера⁵⁴, у которого одни боги защищали одно войско, другие — другое; боги даже вели в свои собственные войны, как например, с титанами, или с гигантами. А ведь это рассказывать и верить этому — величайшая глупость, полная чепуха и крайнее легкомыслие. (71) Однако же, отбросив эти басни, можно признать существование богов, относящихся к природе каждой вещи: к земле, например, Цереры, к морям — Нептуна и других, признать их такими, какими их общее мнение представило и под теми же именами. Мы должны относиться к этим богам с благоговением и почитать их. А самая лучшая, самая бескорыстная, сама светлая и полная благочестия форма почитания богов состоит в том, чтобы всегда и в мыслях, и словами искренне чтить их чисто и беспорочно. Не только философы, но и предки наши делали различие между религией и суеверием. (72) Ибо те, которые целыми днями молились и приносили жертвы, чтобы их дети пережили их (*superstiti sibi essent*), те были названы суеверными (*superstitiosi*), позже это название приобрело более широкий смысл. А те, которые над всем, что относится к почитанию богов, усердно размышляли и как бы перечитывали (*relegerent*), были названы религиозными (*religiosi*) (от *relegere*, как *elegantes* от *eligere*, *diligentes* от *diligere*, как *intellegentes* от *intellegere*). Ибо во всех этих словах тот же корень (*vis legendi*), что и в слове *religiosus*⁵⁵. Итак, из двух слов «суеверно» и «религиозно» первое стало обозначать порицание, а второе — похвалу. А теперь, мне кажется, достаточно было показано и что боги существуют, и каковы они.

XXIX. (73) Теперь моя задача доказать, что мир управляется провидением богов. Это, конечно, очень важное положение, и оно подвергается сильным нападкам со стороны ваших, Котта, так что весь спор, разумеется, с вами. Ибо вашим, Веллей, меньше всего известно, что говорят об этом представители других школ, — вы ведь только своих и читаете, своих любите, остальных же по невежеству осуждаете. Вот и ты сам вчера сказал⁵⁶, что стоики, де,

вывели на сцену вещую старуху *πρόνοια*, то есть провидение. Ты сказал это по ошибке, потому что полагаешь, что стоики выдумали провидение, как бы некую особую богиню, которая управляет миром и правит им. А между тем это только сокращенное выражение. (74) Как говорят: «Афинским государством управляет совет», опустив слово «Ареопаг»⁵⁷, так и мы, когда говорим: «Провидение правит миром», то следует понимать, что здесь опущено слово «богов». Полным и законченным должно считать: «Провидение богов правит миром». Так что не тратьте в насмешках над ними вашей соли, которой и так вашему племени не хватает. И, клянусь Геркулесом, если бы вы меня выслушали, то даже не пытались бы этого делать: не подобает, не дано вам, не можете! К тебе, Веллей, это, впрочем, не относится, поскольку ты получил по нашим обычаям утонченное воспитание; я имею в виду остальных ваших и более всего того, кто родил эту школу, человека невоспитанного, без образования, который над всеми издевается нисколько не остроумно, не зная меры и грубо.

XXX. (75) Итак, я говорю, что провидение богов и сначала устроило весь мир и все части мира⁵⁸, и оно во все времена управляет ими. Обсуждение этого вопроса наши обычно делят на три части. В первой исходят из доказательства существования богов. Согласившись с тем, что боги существуют, должно признать, что мир управляется их разумением. Во второй части доказывалось, что все в мире подчинено мыслящей природе (*naturae sentienti*), которая всем прекраснейшим образом управляет. Установив это, делается вывод, что все в мире порождено некими одушевленными началами (*animantia principia*). Третья часть исходит из рассмотрения поразительных явлений в небе и на земле.

(76) Во-первых, должно либо отрицать существование богов — Демокрит⁵⁹ и Эпикур, выведя один «подобия» (*simulacra*), другой «образы» (*imagines*), это так или иначе сделали — отрицали, — либо те, которые согласны, что боги существуют, должны признать, что они что-то делают и делают превосходно. Но нет ничего превосходнее управления миром; следовательно, миром управляет разумение богов. Иначе, конечно, необходимо должно существовать нечто лучшее и наделенное большей силой, чем бог, что бы это ни было: бездушная ли природа, или возбужденная великой силой необходимость (*necessitas vi magna incitata*),

которая и совершает те великие дела, что мы видим. (77) Но в таком случае выходит, что природа богов и не всемогуща (*praepotens*), и не превосходит все остальное, раз боги подчинены или необходимости, или природе, которая и управляет небом, морями и землями. А ведь ничто не может быть превосходнее бога. Следовательно, он необходимо и правит миром. Итак, бог не подчиняется и не подвластен никакой природе, он сам правит всей природой. А если мы согласимся с тем, что боги обладают разумом, то мы должны согласиться также, что им свойственно и провидение, и притом в самых важных делах. А можно ли представить, что боги или не знают, какие дела важнейшие и как их надо выполнять, или силы не имеют для этого? Но и незнание чуждо природе богов, и не может быть, чтобы им из-за недостатка силы было трудно выполнять свои дела, это никак не вяжется с величием богов. Отсюда и следует то, что мы желаем доказать, что провидение богов управляет миром.

XXXI. (78) Но коль скоро боги существуют, если только они существуют — а они, конечно, существуют, — то они необходимо должны быть одушевленными, и не только одушевленными, но и обладающими разумом и связанными между собой как бы узами общего гражданства, должны править единым миром⁶⁰, как бы общей республикой или неким городом. (79) Отсюда следует, что в них тот же, что в роде человеческом, разум, та же самая истина, тот же закон, предписывающий делать доброе и отвращать злое. А из этого понятно, что и благоразумие, и ум к людям перешли от богов, и именно по этой-то причине установлениями [наших] предков были обожествлены и почтены храмами Ум, Верность, Доблесть, Согласие. Так можно ли отрицать у богов эти достоинства, в то время как мы преклоняемся перед их святыми изображениями? Ведь если роду человеческому присущи ум, верность, доблесть, согласие, откуда они могли проистечь на земле, как не свыше⁶¹? А если в нас есть разумение, благоразумие, то боги неизбежно должны иметь это самое в большей мере, и не только иметь, но также использовать их в величайших и наилучших делах. А ведь нет ничего больше и лучше, чем мир. (80) Следовательно, мир необходимо должен управляться разумением и провидением богов. Наконец, так как мы достаточно показали, что боги — это те самые Солнце и Луна, и планеты, и неподвижные звезды, чьи блистательные об-

разы и замечательную силу мы видим, и небо, и сам мир, и те другие вещи и силы, которые существуют во всем мире для великой пользы и на благо роду человеческому, то и получается, что действительно все управляется божественным умом и божественным провидением. Теперь о первой части сказано достаточно.

XXXII. (81) Далее, я должен сказать, что все подчинено природе, и она всем прекраснейшим образом управляет. Но прежде всего надо вкратце объяснить, что такое сама природа, чтобы можно было легче понять то, что я хочу доказать. Ибо иные⁶² считают, что природа — это некая лишенная разума сила, возбуждающая в телах необходимые движения. Другие же⁶³ считают природу силой разумной и упорядоченной, поступающей как бы целесообразно, так что всегда можно обнаружить и причину ее действий и следствия, а искусство ее столь велико, что никакое человеческое мастерство, ни одна человеческая рука не сможет ей подражать. Ибо взять, к примеру, семя: сила его столь велика, что оно, как бы ничтожно мало ни было, однако, если попадет в среду, способную его воспринять и удержать, и найдет для себя вещество, от которого сможет питаться и расти, то это семя образует, производит каждое в своем роде, либо такое, что может питаться через свои корни, либо способное еще и двигаться, и ощущать, и стремиться к чему-то и рождать себе подобных. (82) Есть и такие [философы], которые все называют природой, как Эпикур, который вводит такое деление: вся природа — это тела и пустота и то, что им присуще⁶⁴. Но мы, когда говорим, что природа образует мир и управляет им, то подразумеваем при этом, что природа не такова, как ком земли, или обломок камня, или что-нибудь другое в этом роде без всяких внутренних связей. Природа — это как дерево, как животное, в которых нет ничего произвольного, но все выглядит упорядоченным и как бы произведением искусства.

XXXIII. (83) Если же [растения], которые земля поддерживает через их корни, живут и процветают благодаря искусству природы, то, конечно, и сама земля поддерживается той же силой, ибо ведь, оплодотворенная семенами, она все рождает и производит из себя, обьяв в своих недрах корни растений, она их питает и растит, а сама, в свою очередь, получает питание от выше расположенных, наружных природ⁶⁵. А испарениями земли питается и воздух и эфир и все, что сверху. Итак, если земля природой

поддерживается и питается, то тоже следует сказать и об остальном мире. Растения укореняются в земле, [существование] живых существ поддерживается вдыханием воздуха, сам же воздух с нами видит, с нами слышит, с нами поет, ибо без него ничего из этого не может происходить. Он также движется вместе с нами, куда бы мы ни шли, куда бы ни двинулись, он как бы дает нам место, уступает.

(84) И все то, что тянется к центру (*medium locum*) мира, а это самый низ, и что от центра кверху, и что вокруг центра в кругообразном вращении — все это образует содержание мира, единую природу. Так как существуют четыре рода тел (*corpore*), то их взаимопревращение составляет неразрывную природу мира. Ибо из земли — вода, из воды рождается воздух, из воздуха — эфир, затем в обратном порядке, в свою очередь, из эфира — воздух, из него — вода, из воды — земля, которая внизу. Таким образом, этими природами (*naturis*), из которых все состоит, которые движутся вверх и вниз, туда и сюда, поддерживается связь между [всеми] частями мира.

(85) И эта [связь] по необходимости должна быть либо вечной, украшенной всем тем, что мы видим, или, наверное, очень длительной, сохраняющей очень долго, почти неизмеримое время⁶⁶. Согласившись с любым из этих положений, следует признать, что природа управляет миром. Есть искусство вождения флотов или построения войск, или — сравним с тем, что производит природа, — плод виноградной лозы или дерева, или — еще в большей степени — фигура живого существа, устройство членов его тела; не являет ли все это великое искусство природы? Но еще в большей степени — сам мир! Итак, либо в мире нет ничего свидетельствующего о том, что миром управляет разумная природа, либо должно признать, что разумная природа управляет миром.

(86) Но как это может быть, чтобы природа не управляла самим миром, миром, который содержит в себе все прочие вещи природы и их семена? Это как если бы кто сказал, что от природы зависит появление у человека зубов и бороды, но к самому человеку, у которого они появились, природа не имеет никакого отношения. Так рассуждать — значит не понимать, что то, что производит что-нибудь из себя, [без сомнения], имеет более совершенную природу, чем то, что из него происходит.

XXXIV. Итак, для всего, чем природа управляет, мир

является сеятелем и создателем, и родителем, так сказать, и воспитателем, и кормильцем, и все он, как бы члены и части своего тела, питает и поддерживает⁶⁷. Потому что если природа управляет частями мира, то она необходимо управляет и самим миром. И в этом управлении нет ничего заслуживающего порицания, ибо все, что она могла наилучшим образом создать из существующих [четырех названных] природ, она создала.

(87) Пусть докажут, что кто-нибудь мог бы создать лучше. Никто никогда не докажет, а если кто и захочет что-нибудь поправить, тот или сделает хуже, или будет желать того, что сделать не сможет. Но если все части мира так устроены, что не могут быть ни лучше для пользы, ни красивее на вид, то рассмотрим, случайно ли они таковы, или они смогли оказаться в этом состоянии только благодаря направляющему разуму (*sensus*) и божественному провидению. Ведь если то, что создала природа, лучше, чем произведения искусства, а искусство ничего не создает без участия разума, то должно считать, что и природа также не лишена разума. Когда ты смотришь на статую или нарисованную картину, то знаешь, что в этом было применено искусство; когда издали видишь плывущее судно, не сомневаешься, что оно движется благодаря разуму и искусству, когда наблюдаешь солнечные или водяные часы, понимаешь, что они показывают время не случайно, а благодаря искусству. А мир, включающий в себя и эти самые произведения искусства, и их создателей, и все вообще, что же, ты считаешь, лишен разума и рассудка? (88) Если бы кто-нибудь привез в Скифию или Британию тот шар (*sphaera*), что недавно изготовил наш друг Посидоний, шар, отдельные обороты которого воспроизводят то, что происходит на небе с Солнцем, Луной и пятью планетами в разные дни и ночи⁶⁸, то кто в этих варварских странах усомнился бы, что этот шар — произведение совершенного рассудка?

XXXV. А эти [эпикурейцы] относительно мира, от которого все рождается и все происходит, сомневаются, то ли он сам собой произошел по случайности или некоей необходимости, то ли он творение божественного разума и ума! Они Архимеда, сделавшего копию небесной сферы с ее круговращениями, ставят выше природы, создавшей оригинал, хотя, конечно, многое в оригинале сотворено искуснее, чем те же части в копии.

(89) Тот же пастух у Акция⁶⁹, который раньше никогда не видел корабля, когда заметил издалека, с горы, божественное и чудное судно аргонавтов, сначала изумленный и испуганный произнес следующее:

...Такая движется громада
 На берег моря с грохотом и шумом
 Неистовым. Пред ней валы бегут,
 Водовороты от ее напора
 Крутятся, устремленные вперед,
 На лоно вод бросается она,
 И море брызгами с шипеньем диким
 Ее встречает. Ты подумал бы —
 Оторванная туча грозовая
 Скатилась в волны иль с горы высокой,
 Валун ветрами буйными снесен,
 Иль столкновеньем яростных бурунов
 Ком шаровидный создан водяной.
 Боюсь, на землю ополчилось море.
 А то, пожалуй, сам тритон трезубцем,
 Подводные пещеры выметая,
 Воздвиг под шум разорванного моря
 Скалистую громаду до небес*.

Сперва он сомневается, что это за неведомое существо? А увидев юношей и услышав пение на корабле, он говорит:

...Так резвые и быстрые дельфины
 Своими мордами шумят...

И далее говорит:

...Подобное Сильвана песне⁷⁰
 Доносится до слуха чье-то пенье.

И еще многое другое говорит пастух. (90) И вот как этот пастух, который с первого взгляда счел, что видит нечто бездушное и бесчувственное, а затем по определенным признакам начал подозревать, что собой в действительности представляет то, в чем он сомневался, так и философы, если, возможно, первые впечатления от мира их и запутали, то затем, внимательно присмотревшись к законченным и равномерным его движениям, усмотрев, как все в нем устроено в незыблемом порядке и неизменном постоянстве, должны были понять, что в этом небесном, божественном доме есть не только обитатель, но и управитель, руководитель и как бы строитель этого столь великого сооружения, столь огромного здания.

* Перевод Ф. Зелинского.

XXXVI. В действительности, как мне кажется, они даже не подозревают, насколько все чудесно устроено как на небе, так и на земле. (91) Сначала о Земле. Она расположена в центральной части мира и со всех сторон ее обтекает та животворная стихия, которой мы дышим и которой название аер (воздух); это слово хотя и греческое, но вошло в употребление и у нас и воспринимается как латинское. А воздух, в свою очередь, объят беспредельным эфиром, который состоит из расположенных превыше всего огней (*ex altissimis ignibus constat*). Позаимствуем и это слово [эфир] и будем употреблять по-латыни *aether*, как употребляем аер. Хотя Пакувий⁷¹ и переводит:

Что у нас зовется небом, то по-гречески — эфир,
как будто не грек говорит эти слова [в его трагедии]. Правда, он говорит по-латыни, но мы-то [в пьесе] слышим его как бы говорящим по-гречески. Он же в другом месте говорит:

Он родом грек, что выдает и речь его.

Но вернемся к более важным вещам.

(92) Итак, из эфира происходят бесчисленные огни звезд, из которых главная — Солнце, все озаряющее ярчайшим светом и во много раз превосходящее по величине и объему всю землю. Затем остальные звезды неизмеримой величины. И вот все эти огни, столь великие, столь многочисленные, не только ничуть не вредят земле и всему, что на земле, но, умеренно обогревая ее, приносят пользу, а если бы они сошли со своих мест, то земля неизбежно сгорела бы от столь великих огней, потому что пропадут умеренность и соразмерность поступления тепла.

XXXVII. (93) Так как же мне не удивляться человеку, убедившему себя в том, что существуют какие-то плотные и неделимые тела, которые носятся [в пространстве] под действием силы тяжести, и что от случайных столкновений между этими телами образовался прекраснейшим образом украшенный мир? Не понимаю, почему бы человеку, который считает, что так могло произойти, не поверить также, что если изготовить из золота или из какого-нибудь другого материала в огромном количестве все двадцать одну букву⁷², а затем бросить эти буквы на землю, то из них сразу получатся «Анналы» Энния, так что их можно будет тут же и прочитать. Вряд ли по случайности может таким

образом получиться даже одна строка. (94) Так как же эти люди утверждают, что из телец, не наделенных ни цветом, ни каким-либо качеством, что греки называют *ποιοῦντα*, ни способностью ощущать, но вслепую и случайно сталкивающихся, образовался мир, или даже, более того, каждое мгновение бесчисленные миры то рождаются, то гибнут? Ведь если стечение атомов может образовать мир, то почему не может создать портик? Храм? Дом? Почему не может — город? Это ведь и меньше требует труда и намного легче.

Верно, они так необдуманно болтают о мире потому, что никогда не созерцали эту дивную красоту небес. Об этом я сейчас буду говорить. (95) Прекрасно об этом сказал Аристотель⁷³: «Если бы существовали такие люди, — говорит он, — которые бы всегда жили под землей в хороших и ярко освещенных жилищах, украшенных статуями и картинами и снабженных в изобилии всем, что считается необходимым для счастья, если бы эти подземные люди никогда не выходили на поверхность земли, а только по слухам знали, что есть некие могущественные боги; далее, если бы в какое-то время земля разверзлась, и они, эти люди, смогли из своих подземных жилищ выйти на свет в те места, где мы живем. И тут они внезапно увидели бы землю, и моря, и небо, громады облаков, ощутили бы силу ветров, взглянули бы на солнце и познали бы как его величие и красоту, так и его силу, как оно, разлив свой свет по всему небу, образует день, а с наступлением ночи они узрели бы небо, все усеянное и украшенное звездами. Они увидели бы, как по-разному светит луна, то в полнолуние, то в ущербе. Если бы эти подземные люди понаблюдали, как все эти светила восходят и заходят, и заметили неизменность и постоянство их путей в течение всей вечности, то, увидев все это, вышедшие из-под земли люди, конечно, решили бы, и что боги существуют, и что все то великое, что им открылось, именно боги и сотворили».

XXXVIII. (96) Это говорит Аристотель. А мы представим себе мрак, такой, какой, говорят, покрыл места по соседству с Этной, когда произошло извержение [того вулкана]⁷⁴, мрак настолько глубокий, что в течение двух дней человек человека не мог узнать. А когда на третий день засияло солнце, людям показалось, что они воскресли. А если бы внезапно мы вышли на свет после вечного мрака, каким бы нам показался вид неба? Но так как это зрелище по-

вторяется для нас ежедневно и стало привычным для наших глаз, то привыкли к нему и умы наши, и мы не удивляемся и не задаемся вопросом о причинах того, что мы всегда видим, как будто побудить к исследованию причин какого-то явления должна более новизна его, чем значительность.

(97) Есть ли такой человек, который, видя столь правильные движения неба, такой незыблемый порядок в звездах, такую взаимосвязь и сообразность во всем этом, станет утверждать, что в них нет никакого разума и будет приписывать случаю то, что совершается настолько разумно, что нашему разуму и постичь невозможно. Когда мы видим, как движутся части какого-то механизма, будь то сфера, или часы, или многое другое, мы ведь не сомневаемся, что это сделано при участии разума. Так можем ли мы, видя, как движется небо, с поразительной скоростью вращаясь, с величайшим постоянством производя чередование времен года ко всеобщему величайшему благу и спасению, можем ли мы сомневаться, что все это совершается благодаря разуму, и притом разуму необыкновенному, божественному? (98) Пусть же нам будет позволено, оставив философские тонкости, как бы глазами своими обозреть красоту всего того, что, как мы утверждаем, установлено божественным провидением.

XXXIX. Рассмотрим сначала всю Землю как целое. Она расположена посредине мира, плотная, шарообразная, со всех сторон скругленная в себе самой своими силами притяжения, одета [покровом] из цветов, трав, деревьев, плодов, невероятное множество которых отличается неистощимым разнообразием. Добавь к этому холодную влагу неиссякающих источников, прозрачные струи ручьев, ярко-зеленый покров берегов, высокие своды пещер, суровость утесов, высоты нависающих гор, беспредельность равнин; добавь также скрытые месторождения золота, жилы серебра, бесконечное количество мрамора. (99) А великое множество и великое разнообразие видов животных, прирученных или диких! А каковы полет и пение птиц! А что сказать о пастбищах для скота, о жизни лесных зверей! А о роде человеческого? Люди ведь, как бы предназначенные для возделывания земли, не дают ей ни одичать от великого множества диких зверей, ни зарости сорняком и прийти в запустение; трудами людей украшены поля, острова и берега, усеянные домами, городами. Если бы мы могли все это увидеть глазами, как смогли мысленно, то никто, обозрев

всю землю в целом, не усомнился бы в божественном разуме. (100) А какова красота моря! Как прекрасен весь его вид! Какое множество разных островов в нем! А как прекрасны берега морей и рек! Сколько в них разных видов животных, из которых часть живет под водой, часть плавает и носится по его поверхности, часть прилепилась раковинами к скалам. А само море, устремляясь к земле, так плещется у берегов, что кажется, будто две стихии сливаются в одну.

(101) Затем соприкасающийся с морем воздух. Он разный днем и ночью; то он становится разреженным и текучим и несется ввысь, то уплотняется и сгущается в облака и, собрав в себе влагу, оплодотворяет землю дождями, то, распространяясь туда и сюда, производит ветры. От него же происходит смена в течение года холодных и жарких сезонов. Он также поддерживает [крылья] птиц в полете и, вдыхаемый, питает и сохраняет все живые существа.

XL. Остается последний и над нашими жилищами выше всего расположенный, все окружающий и охватывающий силой небес, который называется эфиром, крайний предел и граница мира, в котором удивительнейшим образом совершают определенные пути огненные фигуры (*formae*).

(102) Из них Солнце, по величине намного превосходящее Землю, вращается вокруг нее самой, и его восход, и заход производят день и ночь. Дважды в течение года Солнце, то приближаясь, то отступая, переходит от одного пункта солнцестояния к другому. Когда оно отдаляется, Землю точно охватывает печаль, когда приближается к Земле, как бы вновь возвращается веселье, вместе с повеселевшим небом.

(103) А Луна, которая, как показали математики, размером больше, чем половина Земли⁷⁵, движется теми же путями, что и Солнце, то приближаясь к нему, то удаляясь от него. Получая от Солнца свой свет, она посылает его на Землю. Она светит то сильнее, то слабее. То она оказывается под Солнцем и прямо против него, и тогда она затмевает его лучи и сияние, а то, когда Земля оказывается на прямой линии между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень Земли, она внезапно сама перестает быть видимой.

Теми же путями несутся вокруг Земли и те звезды, которые мы называем блуждающими, и они подобным же образом восходят и заходят. Они движутся то скорее, то медленнее, часто даже останавливаются. (104) Не может

быть ничего удивительнее, ничего прекраснее этого зрелища. Затем — великое множество неподвижных звезд; они образуют созвездия, которые по сходству со знакомыми нам фигурами получили свои названия.

ХLI. При этих словах Бальб, взглянув на меня, сказал: «Воспользуюсь-ка я стихами Арата⁷⁶, которые ты еще в ранней молодости перевел на латинский язык; и они мне так понравились, что многие из них я запомнил. Вот они, как будто стоят перед моими глазами, без всяких изменений и отклонений:

Прочие же небесные быстро светила, и плавно
Двигутся вместе с небом, днем и ночью несутся.

(105) Созерцанием их не может пресытиться ум человека, жаждущего познать неизменность природы.

Край двуконечной оси мира зовется полюс.

Вокруг него вращаются две Медведицы, которые никогда не заходят [за горизонт]:

Киносурой одну из них греки зовут, другая
Геликой называется⁷⁷.

Яркие звезды Гелики мы наблюдаем каждую ночь.

Наши их называют обычно Семью Волами.

(106) Ту же вершину (vertex) неба, таким же числом звезд, сходным образом расположенных, освещает малая Киносура.

Ночью в открытом море вверяются ей финикийцы,
Хоть Гелики и ярче сверкают блестящие звезды,
И только ночь наступает, лучше они заметны,
А Киносура мала, но для моряков полезней⁷⁸,
Ибо она по внутреннему и короткому кругу кружится.

ХLII. И вид этих звезд тем более поразителен, что

Словно река между ними текущая влагою быстрой,
Страшно глядящий Дракон изгибается кверху и книзу.
Телом своим образуя углы и изгибы.

(107) Весь образ его великолепен, но особенно замечателен вид головы и пылающих глаз:

Голову ведь у него не одна лишь звезда озаряет,
Но и виски намечены звездами, каждый — одною,
Из свирепых глаз сверкают два ярких светила,
И одна звезда излучает свет на подбородке;
Он как будто склонил набок голову, шею согнувши,
И устремил свой взор на хвост Медведицы большей.

(108) И остальные части тела Дракона мы видим по целым ночам, но

Голову вдруг он немного скрывать начинает
Под воду, там, где восход единится с закатом.

Этой же головы

Касаясь, кружится, как будто образ усталого мужа,

которого греки

Эггонасин⁷⁹ зовут, ведь несется он, словно колена
Преклонив, и здесь же ярко сияет Корона,
(109) Но это за его спиной, а близ головы — Змееносец⁸⁰
Коего греки зовут славным именем Офиуха,
Он же, крепко сжимая обеими дланями, Змея
Держит, однако и сам змеиным изогнутым телом
Связан, ведь Змей тело мужа обвил посредине,
Прямо под грудью и держит. А тот, напрягаясь сильно,
Твердо стоит на ногах и ногами же давит своими
Грудь и глаза Скорпиона.

А за Большой Медведицей следует

Арктофюлакс, который обычно зовется Боотом⁸¹.
Он как бы гонит перед собой запряженного Аркта.

(110) А у этого Боота

Прикрепленная прямо под грудью
Тоже мерцает звезда со славным именем Арктур.

Под ногами его несется

Дева с сияющим телом, что держит сверкающий Колос.

XLIII. И так размещены созвездия, так [разумно] распределены, что в этом явственно усматривается божественное искусство.

И Близнецов ты под головою у Аркта усмотришь.
Под животом же Рак поместился, а рядом с ногами
Лев великий, чье тело и пламя, и жар извергает.

Возница

Слева от тех Близнецов, согнувшись телом, несется.
Против него голова Гелики, сурово взирает,
Левое же плечо у Возницы, блистая, Коза занимает.

И далее следуют слова:

Наделена она славной, великой приметой,
Против нее Козлята свой слабенький свет посылают
Смертным.

Телом могучим рогатый Телец, напрягаясь, несется.

Греки обычно Гиадами звезды сии называют

Он ведь сам у спины Киносуры и Аркта кружится.

Кассиопея, чьи звезды мы видим неясно и смутно,
А близ нее вращается также, с блистающим телом,
Грустная Андромеда, взоров матери избегая.
Тут же и Конь⁸³, потрясающий гривой с мерцающим
блеском.

Рыбы, из них же одна немного вперед выплывает
И подвергается больше дыханию Аквилона⁸⁴
Страшного...

Коего с Севера Аквилона порывы толкают.

Ты увидишь Вергилий⁸⁶, светящие слабо;
Дальше видна лежащая, чуть изогнутая Лира,
А затем — Лебедь⁸⁷ крылатый под сводом широким
небесным.

Далее, в круге, из мощной груди выдыхающий холод, Леденящий, с телом полужвериным виден Козерог⁸⁸, и когда Титан⁸⁹ его постоянным светом Одевает, то сам свою Титан колесницу Поворачивает на зиму, на зимнее время.

(133) Здесь же видно,

Как, показавшись из глубины, Скорпион выплывает,
Лук изогнутый сильным хвостом таща за собою.
Близ Скорпиона кружится сияющий перьями Лебедь,
А близ него несется Орел с пылающим телом.

Затем Дельфин, а за ним

Орион⁹⁰, блистающий телом склоненным.

(114) Следом за ним

Гонится Пес быстроногий, сверкая звезд своих светом,

За ним следует Заяц,

Не прекращающий бега, ведь тело его неустанно,
А к хвосту Пса скользя продвигается Арго⁹¹;
Овен ее прикрывает и Рыбы с чешуйчатым телом.
Арго реки берегов⁹² достигает сверкающей грудью.

Ты заметишь, как река извивается и течет далеко, и

Прочные узы увидишь,
Что на хвосты наложены рыб и крепко их держат.
Там ты заметишь близ жала пылающего Скорпиона
Жертвенник тот, что овеня дыханием Австра.

Поблизости от него Кентавр⁹³

Идет, стараясь сопрячь свои конские части
Со Скорпиона клешнями. И он же десницей простертой
Четверногое тащит огромное⁹⁴ и поражает
Грозный его там, где Жертвенник рдеет. И здесь же
Из глубин поднимается Гидра⁹⁵,

которой тело далеко простирается,

А в середине изгиба его сияет блестящая Чаша.
Хвост же клюет, оперением тела сверкая,
Ворон. И здесь же, под самыми Близнецами,
Малый Пес, что у греков зовется *Прокýон*, несется.

(115) Неужели же какому-нибудь здравомыслящему человеку может показаться, что все это расположение звезд, эту чудесную красоту неба могли произвести туда и сюда мечущиеся по воле слепого случая тельца⁹⁶? Или же какая-то другая природа, лишенная ума и разума, смогла все это произвести? Да ведь даже для того, чтобы понять, каково это, требуется величайший ум, а тем более — для того чтобы создать.

XLV. Но не только это все достойно восхищения, а больше всего то, что мир так устойчив, и представляет

собою неразрывное целое, настолько приспособленное к сохранению своего существования, что более приспособленного невозможно и вообразить себе. Ибо все его части, со всех сторон стремясь к центру, производят равномерное напряжение (*nituntur aequaliter*). Наиболее же прочно тела связываются между собой тогда, когда они связаны как бы некой охватывающей цепью, что делается той природой (*natura*)⁹⁷, которая разлита по всему миру и все совершает с умом и разумом, и все, что на самом краю, влечет и обращает к центру. (116) Стало быть, если мир шарообразен и по этой причине все его части, со всех сторон равномерно [расположенные], сами собой и между собой связаны, то по необходимости это должно относиться и к земле, ибо, поскольку все ее части тянутся к центру (ведь центр в шаре и есть самый низ), то ничто не может помешать действию этой силы тяжести и веса (*contentio gravitatis et ponderum*). По этой-то причине море, хотя оно над землей, тяготея, однако, к ее центру, равномерно закругляется со всех сторон, и никогда не выходит из своих берегов и не разливается.

(117) А окружающий море воздух, правда, несется благодаря своей легкости вверх, но сам же и распространяется во все стороны. Так что он, с одной стороны, соединяется и смыкается с морем, а с другой — по природе [своей] устремляется к небу и, усвоив себе часть его тонкости и жара, доставляет живым существам дыхание для жизни и здоровья.

Охватывающая же воздух самая высокая часть неба, которая называется эфиром, содержит в себе тонкость и жар без всякой примеси плотности и соединяется с верхними слоями воздуха.

XLVI. В эфире вращаются звезды, которые благодаря силам внутреннего [своего] тяготения сохраняют шарообразную форму, и эта же форма и фигура поддерживают длительность их существования, ибо они шарообразны, а этим формам, как я, кажется, уже сказал, менее всего можно причинить ущерба. (118) А природа звезд огненная, поэтому они питаются испарениями земли, моря и прочих вод. Эти испарения вызываются солнцем из согретой земли и из вод. Напившись ими и восстановив себя, звезды и весь эфир изливают их обратно и вновь извлекают их оттуда, так что почти ничего не пропадает, или очень мало, из того, что потребляет огонь звезд и пламя эфира. Из этого

следует, по мнению наших, что в конце концов весь мир воспламенится, после того как будет уничтожена вся влага, когда ни земля не сможет питаться, ни воздуху не из чего будет восстановить себя, ведь когда истощится вся вода, то и воздух не сможет образоваться. Итак, ничего не останется, кроме огня. Но от него-то, живого существа и бога, и произойдет восстановление мира, и возродится его красота. Впрочем, Панетий⁹⁸, как говорил, сомневается в правильности этого мнения стоиков.

(119) Я не хотел бы, рассуждая о звездах, показаться многословным, особенно говоря о тех, которые называют блуждающими. У них при всем несходстве их движений существует такая согласованность между собой, что в то время как самая далекая из них, Сатурн, приносит холод, средняя, Марс, шлет жару, а находящаяся между ними звезда Юпитера умеренно светит и греет. Ниже Марса два светила повинуются Солнцу⁹⁹, само Солнце наполняет весь мир своим светом, а Луна получает от него свое сияние, и она влияет на беременность, и роды, и сроки родов. Найдется ли такой человек, которого не поражает эта связь и сочувствие между частями и как бы согласованная взаимопривязанность природы, направленная к сохранности мира? Такой человек, я уверен, никогда не задумывался всерьез ни над одним из этих вопросов.

XLVII. (120) Давайте, однако, перейдем от дел небесных к земным, посмотрим, есть ли в них что-либо такое, в чем бы не проявился разум мыслящей природы. Начнем с [растений], которые рождаются из земли. Нижние части их с корнями придают им устойчивость и извлекают из земли соки, которыми растения питаются. Стволы же их покрыты лубом или корой, чтобы лучше уберечь их от холода и зноя. А виноградные лозы так охватывают своими усиками подпоры, словно руками, и так поднимают себя, точно живые существа. Они даже, как говорят, отклоняются от капусты как от опасной и вредной, и если она посажена поблизости, то не коснутся ее ни с какой стороны.

(121) А какое разнообразие в мире животных! И как хорошо они приспособлены к существованию, каждое в своем роде! Одни из них покрыты голой кожей, другие одеты шерстью, иные топорщатся иглами, иные — перьями, иных мы видим покрытыми чешуей. Одни вооружены рогами, другим для спасения служат крылья. И пищу для животных природа заготовила в изобилии, какая для каж-

дого подходяща. Я мог бы подробно рассказать, как животные приспособлены для схватывания и поедания пищи и какое искусство и тонкий расчет заложены в каждой части их тела, как изумительно устройство их членов. Ибо все, что у них заключено внутри [тела], так от рождения устроено и размещено, что нет ничего лишнего, ничего не необходимого для поддержания жизни.

(122) Так, та же природа дала животным и аппетит и органы чувств, первый для того, чтобы он побуждал их добывать себе естественную пищу, вторые — чтобы отличать ядовитое от здорового. Одни животные приближаются к пище, подходя к ней, другие — подползая, одни — подлетая, другие — подплывая; некоторые хватают пищу, раскрывая рот, зубами, часть животных схватывает ее цепкими когтями, часть — крючковатыми клювами. Иные сосут пищу, иные щиплют, иные пожирают целиком, иные жуют. У одних такой низкий рост, что они легко достают ртом пищу с земли. (123) А тем, которые повыше, как гуси, лебеди, журавли или верблюды, помогает длинная шея. Слонам же придан даже хобот, потому что из-за огромного тела им доступ к пище затруднен.

XLVIII. Тем животным, которые питаются животными другого вида, природа дала или силы, или быстроту, а некоторым даже дана некая изобретательность и хитрость. Так, среди паучков одни словно сплетают сети, чтобы, если кто попадет в них, съесть, другие, как бы притаившись, наблюдают и, если что попадется, схватывают и съедают. А раковина Пинн (так ее греки называют), которая состоит из двух больших створок, как бы заключила союз ради добывания пищи с маленьким морским рачком *squilla*¹⁰⁰; и вот, как только в раскрытую раковину заплывут маленькие рыбки, тотчас рачок посредством укуса сообщает об этом раковине, и она сжимает свои створки. Так совершенно непохожие одно на другое мелкие животные сообща добывают пищу. (124) В этом все достойно удивления независимо от того, вследствие ли некоего соглашения между собой они объединились, или уже от рождения, самой природой.

Нечто поразительное есть также в тех животных, которые рождаются на земле, но живут в воде. Так, например, крокодилы, речные черепахи и некоторые пресмыкающиеся, родившись вне воды, лишь только смогут сами двигаться, устремляются к воде. Мы часто подкладываем утиные яйца курам; и вот вылупившихся из этих яиц утят сперва кормят

как матери те, которые их высидели и согревали своим телом. А затем утята их покидают и убегают, как только смогут увидеть воду, как бы свой естественный дом. Такой врожденной великой заботой о сохранении своего существования одарила природа живые существа.

XLIX. Читал я также написанное о некой птице под названием *platalea*¹⁰¹, которая добывает себе пищу, подлетая к другим птицам, ныряющим в море. Когда те выныривают со схваченной рыбой, она до того преследует их, кусая в голову, пока те не выпустят свою добычу, а она сама ее схватит. Об этой же птице пишут, что она имеет обыкновение заглатывать целиком раковины. А после того как они подвергаются пищеварению под влиянием теплоты в ее желудке, она изрыгает створки раковины и таким образом извлекает из них съедобное.

(125) А морские лягушки¹⁰², говорят, имеют обыкновение зарываться в песок и движутся под самой водой. Когда же рыбы приближаются к ним, словно к приманке, лягушки их убивают и съедают. У коршуна как бы естественная война с вороном, так что каждый из них, где бы ни нашел яйца другого, разбивает их.

А вот на что обратил внимание Аристотель (который еще многое описал в том же роде)¹⁰³, и кому бы это не показалось удивительным! Журавли, когда летят в более теплые края и пересекают моря, то выстраиваются в форме треугольника. Передний его угол рассекает встречный воздух. А летящие по обеим сторонам [треугольника], крыльями, точно веслами, несколько облегчают полет [остальных] птиц. А основанию треугольника, который образуют журавли, точно корме корабля, помогают ветры. Журавли, летящие сзади, кладут шею и головы на спины летящих впереди. А так как сам вожак, летящий передним, этого сделать не может, потому что ему не на кого опереться, то он отлетает назад, чтобы и самому передохнуть, а его место занимает один из тех, кто уже отдохнул. И это чередование соблюдается в течение всего полета.

(126) Я мог бы привести еще много примеров в том же роде. Но вам уже видно существо дела. Известно также, как старательно охраняют себя звери, как осматривают кругом [местность], когда пасутся, когда укрываются в своих логовищах.

L. И еще удивительные примеры. Собаки излечивают себя рвотой, египетские ибисы лечат желудок сами себе

клювами (как бы ставя себе клистир). Искусство врачей открыло эти способы лишь недавно, то есть немного веков тому назад. По слухам, пантеры, которых в варварских странах ловят на отравленное мясо, имеют какое-то лекарство; воспользовавшись им, они не околевают. Дикie козы на Крите, пронзенные охотничьими стрелами, отыскивают траву, которая называется *dictamnus*. Когда они ее поедят, то, говорят, стрелы сами собой выходят из тела. (127) Самки оленей незадолго до родов очищают себе желудок, поедая некую травку, которая зовется *sesilis*.

Затем мы знаем, что в случае нападения более сильного и страшного зверя каждое животное защищает себя своим оружием: быки — рогами, вепри — клыками, львы — кусая; иные спасают себя бегством, иные прячутся в безопасное место. Каракатица изливает из себя черную жидкость, скаты приводят в оцепенение; многие даже отгоняют своих преследователей отвратительной, невыносимой вонью.

LI. Именно для того чтобы постоянно существовала красота мира, провидение богов и проявило столь большую заботу о том, чтобы всегда были и [разные] виды животных, и деревьев, и всяких вообще растений. Они притом имеют в себе такую массу семени, что от одного родятся многие, и это самое семя заключено во внутренней части тех плодов, которые в изобилии образуются на каждом растении. Этими же семенами и люди досыта питаются, и от них же возрождаются на земле растения того же вида.

(128) А сколько мудрого расчета на вечное сохранение видов обнаруживается в мире животных! Что мне сказать об этом! Во-первых, что среди животных есть самцы и самки, что изобретено природой ради непрерывности [продолжения рода]. Затем [их] части тела наилучшим образом приспособлены и для оплодотворения, и для восприятия семени; и у самцов и у самок поразительное влечение (*libido*) к совокуплению. Когда же семя попадает в матку, то оно захватывает себе почти всю пищу и из нее формирует зародившееся животное. А когда оно покидает матку, то у тех животных, которые выкармливаются молоком, почти вся пища матерей начинает превращаться в молоко, а дети их, только что родившись, без всякого наставника, руководимые природой, стремятся к материнским сосцам и их содержимым насыщаются. А чтобы еще яснее было, что во всем этом нет никакой случайности, и что все это дело предусмотрительной и искусной природы, можно указать

на то, что и тем животным, которые производят многочисленное потомство, например свиньям и собакам, и сосцов много дано, а мало сосцов имеют те животные, которые родят немногих.

А что сказать о той великой любви, что проявляют животные в воспитании и сохранении жизни тех, которых они произвели на свет, вплоть до того момента, когда те смогут сами себя защищать? Хотя говорят, что рыбы, как только кончат метать свою икру, так сразу же и оставляют ее, но в воде икра и поддерживается легко, и из нее выводится потомство.

LII. (129) Говорят, что черепахи и крокодилы, отложив свои яйца на суше, зарывают их и затем уходят. Так что их детеныши и рождаются и возвращаются сами собой. Зато куры и другие птицы отыскивают для кладки яиц спокойное место, устраивают себе там гнезда и выстилают их как можно мягче, чтобы легче было сохранять яйца. А когда из яиц выведутся птенцы, то всячески заботятся о них, согревают их под крыльями, чтобы они не пострадали от холода, прикрывают их своим телом, если сильно палит солнце. Когда же птенцы оказываются в состоянии использовать свои крылышки, то матери сперва сопровождают их в полете. Этим и ограничивается их забота.

(130) Но некоторые виды животных и растений нуждаются также в человеческом попечении и искусстве, чтобы сохранить свое существование. Ибо есть много таких видов и животных, и растений, которые без человеческой заботы и вовсе не могут обойтись. В разных местах люди открыли большие возможности для улучшения своего благополучия. Так, Египет орошается Нилом. Он все лето держит страну залитой своей водой, а затем вода отступает и оставляет землю размягченной и покрытой илом, подготовленной для посева. А Месопотамию делает плодородной Евфрат, который в нее каждый год как бы ввозит новые поля. Инд же; величайшая из всех рек, не только своей водой удобряет и размягчает поля, но их также засевает; так как он, как говорят, приносит с собой массу семян, похожих на хлебные. (131) Я мог бы привести еще много других примечательных примеров из других мест, назвать еще много плодородных земель, знаменитых своими урожаями.

LIII. Но сколь же велика щедрость природы, которая производит так много для пропитания, такого разнообразного и приятного, и притом не в одно только время года,

так что мы всегда можем наслаждаться и новизной и изобилием! А как своевременны, как полезны для здоровья не только людей, но даже для животных, наконец, для всех растений Этесийские ветры¹⁰⁴, своим дуновением умеряющие чрезмерную жару! И эти же ветры ускоряют движение [кораблей] по морю и дают им верное направление. О многом придется умолчать, хотя многое уже сказано. Ведь невозможно перечислить все: пользу, которую мы получаем от рек, морские приливы и отливы, горы покрытые травой и лесом, месторождения соли, весьма отдаленные от морских берегов, земли, изобилующие спасительными лечебными средствами, наконец, бесчисленные [другие] блага, необходимые для пропитания и для жизни. Ведь и чередование дня и ночи также сохраняет [здоровье] живых существ, так как этим уделяется время и для деятельности и для отдыха. Так, в результате всестороннего обсуждения мы приходим к заключению, что всем в этом мире превосходно управляет ум и божественное разумение для всеобщего благополучия и сохранения.

(133) Тут, может быть, кто-нибудь спросит: ради кого же все это так [благодетельно] сотворено? Ради деревьев и трав? Это было бы нелепостью, хотя природа и их поддерживает, при всем том, что они лишены всякого чувства. Может быть, ради животных? И это тоже невероятно, чтобы боги затратили столько труда ради бессловесных и ничего не смыслящих существ. Так ради кого же? Очевидно, ради тех, кто пользуется разумом. А это — боги и люди, которые бесспорно являются самыми совершенными из всех живых существ, ибо нет ничего превосходнее разума.

Итак, наиболее вероятно, что мир и все, что в нем, созданы для богов и людей.

LIV. (134) Еще легче понять, что бессмертные боги позаботились о людях, если внимательно рассмотреть все устройство человеческого тела, совершенство его природы¹⁰⁵.

Если жизнь живых существ поддерживается тремя вещами: пищей, питьем и воздухом, то для восприятия всего этого наилучшим образом приспособлен рот, который вместе с соединенными с ним ноздрями обильно снабжает воздух. А зубами, которые расположены во рту, раздробляется, размельчается, разжевывается пища. Из них передние, острые, делят пищу, а те, которые в глубине, так называемые коренные, жуют ее, чему, по-видимому, помогает и язык.

(135) За языком, примыкая к его основанию, начинается пищевод, куда прежде всего попадает то, что поступило в рот. Пищевод с обеих сторон касается миндалин, а верхняя граница его — глубинная часть нёба. Пищевод принимает пищу, которая как бы сталкивается и сбрасывается в него действиями и движениями языка, и толкает ее дальше. И при этом те части пищевода, которые ниже поедаемой пищи, расширяются, а которые выше — сжимаются.

(136) Но и дыхательное горло (*aspera artetia*, как его называют врачи) имеет начало у основания языка, немного выше того места, где начинается пищевод. Дыхательное горло соединяется с легкими, оно принимает вдыхаемый воздух и возвращает его назад, выдохнутый легкими. А для того чтобы в дыхательное горло случайно не попала какая-нибудь частица пищи и не стала бы препятствием для дыхания, оно покрыто чем-то вроде крышки, которая придана ему именно для этой цели.

Итак, в то время как желудок, расположенный ниже пищевода, служитместилищем пищи и питья, а легкие и сердце извне вводят воздух, в желудке творится много удивительного. Желудок состоит почти весь из сухожилий (*e nervis*), имеет много складок и изгибов, и он задерживает в себе и держит пищу, что в него поступает, будь то сухое или жидкое, чтобы ей подвергнуться переработке и перевариванию. Он то сжимается, то расширяется и все, что в него попало, соединяет и смешивает, чтобы под действием тепла, которого в нем много, и от переливания пищи, и, сверх того, от дыхания все легче переваривалось и, переработанное, распределялось по всему телу.

LV. Легким же присуща некая рыхлость и мягкость, как у губки, так что они наилучшим образом приспособлены для впитывания воздуха. Легкие при дыхании то сжимаются, то расширяются, так что воздух, необходимейший для всего живого, постоянно поступает свежий. (137) А питательные соки, которые в пище, выделившись из нее в кишечнике и желудке, текут в печень через некие каналы, которые ведут от брызжейки прямо к «воротам печени» (*portae iectoris*), как их называют, а эти каналы доходят до печени и связаны с ней. А от печени тянутся другие, по которым пища, прошедшая через печень, идет дальше. После того как от этой пищи отделится желчь и та жидкость, которая вытекает из почек, остальное превращается в кровь и стекается к тем же «воротам печени», к которым подходят все

ее пути. Пройдя через них, пища вливается в то самое место, в ту вену, которая называется полую (cava), а через нее, переработанная и переваренная, доходит до сердца, от сердца же по венам, весьма многочисленным и проходящим через все части тела, распределяется по всему телу. (138) Конечно, не трудно было бы рассказать, каким образом остатки пищи из кишок, которые при этом то сжимаются, то расширяются, выбрасываются наружу. Но об этом лучше умолчать, чтобы не оскорбить вашего слуха. Лучше расскажу о другом чудесном творении природы. Тот воздух, который вводится дыханием в легкие, сначала согревается от самого этого дыхания, затем от соприкосновения с легкими; часть его выводится выдыханием, а часть захватывается некой частью сердца, называемой желудочком сердца (ventriculum cordis). С этим желудочком соединяется другой, подобный ему, в который через упомянутую полую вену втекает кровь из печени. Таким образом, из этих частей тела кровь растекается по всему телу по венам, а воздух — по артериям. Эта густая сеть вен и артерий, оплетающая все тело, не свидетельствует ли о божественном искусстве, с которым все это сотворено?

(139) А кости! Они поддерживают все тело и имеют замечательные связки, которые обеспечивают устойчивость и приспособлены как для движения и разных действий, так и для ограничения движений в суставах. Упомяну также о сухожилиях (pervi), которыми связаны все суставы и которыми оплетено все тело. Так же, как вены и артерии, они отходят от сердца и проходят по всему телу.

(140) К тому, что было сказано об этом провидении природы, столь внимательной и столь изобретательной, можно добавить еще многое, из чего станет еще более понятно, какие великие и исключительные преимущества уделены людям [от богов]. Во-первых, она устроила так, что люди поднялись с земли, выпрямились и стали высокого роста, для того чтобы они, созерцая небо, могли получить познания о богах. Ибо люди на земле не просто жители, обитатели, но как бы наблюдатели того, что происходит в высших, небесных [сферах], это зрелище никакому другому виду живых существ недоступно. Наши органы чувств, толкователи и вестники, помещены в голове, словно в крепости, чудесно устроены и размещены применительно к нашим нуждам. Так, глаза, точно наблюдатели, занимают самое высокое место, с которого они многое видят и несут свою

службу. И уши, поскольку должны воспринимать звук, а он по природе своей уносится вверх, — уши тоже правильно помещены в верхней части тела. Правильно также, что и ноздри находятся наверху, потому что и всякий запах тоже несется вверх. А так как судить о пище и питье — это в большей степени их обязанность, то по этой причине они и расположены по соседству со ртом. Орган, который должен ощущать вкус того, чем мы питаемся, находится в той части рта, через которую природа открыла путь для наших яств и напитков. (141) Осязание же равномерно распределено по всему телу, чтобы мы могли ощутить всякое прикосновение и всякое, даже малейшее, воздействие холода и жары. И так же как архитектор при строительстве дома убирает подальше от глаз и ноздрей его владельца всякие дурно пахнущие стоки, так и природа поместила подобное [в нашем теле] подальше от органов чувств.

LVII. (142) Какой же мастер, кроме природы, с ее несравненным искусством смог бы проявить столь великую изобретательность в создании [наших органов] чувств? Она одела и защитила наши глаза тончайшими пленками. Эти пленки она сделала прозрачными, чтобы через них можно было видеть, и прочными, чтобы держались. А глаза сделала скользкими и подвижными, чтобы они могли и отклониться, если им что-то может повредить, и с легкостью обратить свой взгляд куда хотят. А сам зрачок, которым мы видим, называемый «pupula», так мал, что легко избегает того, что может ему повредить. И веки, служащие покровами для глаз, прикасаются к ним очень нежно, чтобы не повредить зрачков, чтобы в них ничего не попало, и легко открываются. [Природа] предусмотрела, чтобы они могли это делать по многу раз с величайшей быстротой. (143) Веки защищены словно палисадом из ресниц, которые, когда глаза открыты, сталкивают, если что-нибудь в них попадет, а когда глаза во время сна закрываются и мы ими в это время не пользуемся, не смотрим, то веки и ресницы прикрывают глаза, чтобы они, словно закутанные, спокойно отдыхали. Но, помимо того, наши глаза со всех сторон хорошо прикрыты и защищены выступающими частями лица; во-первых, сверху эти выступы покрыты бровями, которые не пропускают пот, стекающий с головы и лба. Затем расположенные ниже и слегка выступающие щеки также служат глазам защитой. А нос занимает такое положение, что выглядит как бы стеной, поставленной между глазами.

(144) Уши всегда открыты, ведь слухом мы пользуемся, даже когда спим, услышав ими звук, мы пробуждаемся ото сна. Проход в ухо извилистый, чтобы в него не смогло что-нибудь забраться, что могло бы случиться, если бы этот проход был прямой и открытый. Предусмотрено также, что если какое-то маленькое существо попытается проникнуть в ухо, то оно завязнет в ушной сере, точно в клею.

А снаружи выступают так называемые уши. Они созданы и для того, чтобы защищать слух, и еще для того, чтобы поступившие звуки не рассеялись и не потерялись, прежде чем подействуют на слух. И эти входы [в уши] твердые и как бы роговые, со многими изгибами, потому что, отразившись от тел такой природы, звук усиливается; оттого и резонаторы у струнных инструментов делаются из черепаховых щитков или из рога; известно также, что в закрытом и извилистом месте звуки раздаются громче. (145) Сходным образом и ноздри, которые всегда по необходимости бывают открыты, имеют суженные проходы, чтобы в них не смогло проникнуть что-нибудь могущее повредить, и в них всегда имеется влага, служащая для того, чтобы воспрепятствовать проникновению пыли и других ненужных тел. И орган вкуса тоже превосходно защищен, ибо он заключен во рту, что и для пользования им удобно, и для сохранения его в невредимости. И все человеческие чувства намного превосходят чувства животных.

LVIII. Так, наши глаза видят много того, что недоступно животным. Во-первых, в произведениях тех искусств, суждение о которых принадлежит глазам: живописи, ваянии, резьбе по дереву и металлу. Наши глаза могут судить также об изяществе телодвижений и жестов, о цветах и формах, о прелести, гармонии, и, так сказать, пристойности, и о многом другом, еще более значительном. Ибо глазами распознают и добродетели и пороки, узнают разгневанного и доброжелательного, веселого и грустного, храброго и трусливого, смелого и робкого.

(146) И ушам также присуще какое-то поразительное умение искусно разбираться и в пении, и в игре на флейте и на струнных инструментах, различать звуки и интервалы, многочисленные разновидности голосов: звонкий и глухой, нежный и резкий, низкий и высокий, гибкий и грубый; только человеческое ухо способно судить об этом. Велики также способности ноздрей судить о запахах, способность человека судить о вкусе, способность осязания. Да еще

изобретено множество (больше, чем мне хотелось бы) способов, как лучше воспринимать эти ощущения и получать от этого наслаждение. Известно, ведь, каких успехов достигли в составлении различных благовоний, приправ к пище, до чего дошли в украшении своей внешности.

LIX. (147) Но тот, кто не сознает, что и сам дух (*animus*) и ум (*mens*) человека, его рассудок (*ratio*), благоразумие (*consilium*), его мудрость (*prudentia*) образовались не без божественного попечения, тот сам, мне кажется, лишен этих качеств. Обсуждая эти вопросы, как бы мне, Котта, хотелось обладать твоим красноречием! Представляю, как бы ты говорил об этом!

Во-первых, замечательно, до чего велика в нас способность понимать (*intelligentia*), затем способность связывать следствия с причинами (*comprehensio*), из чего становится ясным, что от чего происходит; это заключение мы делаем рассудком (*ratio*). Мы способны определять и охватывать описанием единичные вещи. Из этого можно понять, какую великую силу имеет знание (*scientia*) — верх совершенства даже в божестве.

А как велико значение того, что вы, академики, оспариваете и опровергаете, а именно что мы способны и чувствами, и разумом (*sensibus et animo*) воспринимать и познавать внешний мир!

(148) Сопоставляя и сравнивая все это, мы создаем искусства, частью для жизненных потребностей, а частью для наслаждения. Как прекрасно и божественно искусство красноречия, которое вы сами обычно называете владыкой мира! Оно, во-первых, дает нам возможность научиться тому, чего мы не знаем, и научить других тому, что мы знаем. Затем красноречием мы побуждаем, убеждаем, им мы утешаем огорченных, избавляем от страха напуганных, смиряем зазнававшихся, укрощаем страсти, подавляем гнев. Красноречие соединило нас общностью нрава, законов, городской жизни. Оно оторвало нас от грубой и дикой жизни.

(149) Представляется невероятным, если хорошо вдуматься, сколь много труда и изобретательности пришлось затратить природе, чтобы наделить нас способностью речи. Во-первых, от легких ко рту тянется дыхательное горло (*arteria*). Голос, берущий свое начало от ума (*principium a mente ducens*)¹⁰⁶, воспринимается дыхательным горлом и проходит через него. Затем во рту помещается язык, огражденный зубами. Язык образует из протекающего нечле-

нораздельного звучания нечто определенное, делает звуки голоса отдельными и размеренными, прижимая [поток воздуха] то к зубам, то к другим частям рта. Поэтому наши обыкновенно говорят, что язык подобен плектру¹⁰⁷, зубы — струнам, ноздри — «рогам» струнного инструмента, которые во время игры усиливают звучание струн.

LX. (150) А руки, что природа дала человеку, до чего приспособлены к занятиям многими искусствами! Пальцы их легко и сгибаются и разгибаются, до того гибки их связки и сочленения и движутся без всяких затруднений. Поэтому рука, применяя пальцы, приспособлена и для рисования, и для ваяния, для резьбы, для извлечения звуков из струн и флейт. Это что касается развлечений, а если о необходимых занятиях, то можно указать на обработку земли, возведение зданий, тканье и шитье одежды, всякие виды обработки меди и железа.

Отсюда понятно, что то, что ум придумал, чувства восприняли, руки мастеров изготовили, для того чтобы мы имели возможность укрыться в жилище, одеться, сохранить свое здоровье, иметь города, стены, храмы. (151) Затем трудами людей, то есть руками изобретено также изобилие разной пищи. Ибо и поля приносят многое, что добывается рукой и либо сразу употребляется в пищу, либо заготавливается впрок. Кроме того, мы питаемся [мясом] животных, и таких, которые водятся на суше и которые — в воде, и летающих. Частью мы их ловим, частью выкармливаем. Для наших перевозок мы также приручаем четвероногих, которых быстрота и сила нам самим придаст больше силы и скорости. Некоторых животных мы нагружаем всякими грузами, на других налагаем ярмо. Мы используем для наших нужд обостреннейшие чувства слонов, чутье собак. Из земных недр добываем железо, вещь необходимую для обработки полей. Мы открываем скрытые в глубине жилы меди, серебра, золота — металлов, которые и пользу приносят, и для украшения служат. Срубая деревья, как взращенные нами, так и дикорастущие, мы используем их древесину, частью применяя огонь для согревания тела и для смягчения пищи, частью — для строительства, чтобы, укрывшись в жилищах, спастись и от холода, и от жары. Большую пользу приносит [древесина] также для строительства кораблей, которые, плавая, доставляют нам отовсюду все нужное для жизни. Одни только мы способны обуздывать самые неистовые порождения природы — моря

и ветры, благодаря науке мореплавания. И вследствие этого мы употребляем для себя великое множество продуктов моря и наслаждаемся ими. Полностью властвует человек и над тем, что дает хорошего суша. Мы используем равнины и горы. В нашем распоряжении реки и озера. Мы засеваем поля, сажаем деревья. Подводя воду, мы сообщаем плодородие почве. Мы сдерживаем течение рек, направляем их, поворачиваем их. Короче, наши руки как бы создают в природе вторую природу.

LXI. (153) Да что говорить! Не проник ли разум человеческий даже в небо? Ведь только мы из всех живых существ познали [закономерности] восхода, захода, передвижений небесных светил; род человеческий определил границы дня, месяца, года; мы изучили и научились предсказывать на все будущее время затмения Солнца и Луны: какие, как и когда они произойдут. Созерцая все это, дух (*animus*) наш приходит к познанию богов, отчего родится благочестие. А к благочестию присоединяются справедливость и другие добродетели, из которых складывается блаженная жизнь, похожая на ту, которую ведут боги, и уступающая ей только в одном — ей не хватает бессмертия небожителей, что, впрочем, никакого отношения к блаженной жизни не имеет.

Изложив все это, я, как мне кажется, достаточно показал, насколько человек по природе своей превосходит все прочие живые существа. Из чего должно понять, что ни фигура человека, ни расположение его членов, ни сила его ума, такая, какая она есть, не могли быть делом случая. (154) Мне остается доказать и тем закончить свою речь, что все в этом мире, чем пользуются люди, именно для них создано и уготовано.

LXII. Прежде всего сам мир создан ради богов и людей и все, что в нем есть, изготовлено и придумано для пользы людей. Мир — это как бы общий дом богов и людей, или город тех и других, потому что только они, пользуясь разумом, живут по праву и закону. И как Афины и Лакедемон, надо думать, были основаны ради афинян и лакедемонян, и все, что есть в этих городах, справедливо считается принадлежащим этим народам, так все, что ни есть в мире, должно считаться — для богов и людей. И даже круговращения Солнца и Луны и остальных небесных светил, хотя и относятся к взаимосвязанности частей мира, вместе с тем служат и зрелищем для людей, видом, на

который невозможно вдоволь наглядеться, которого нет прекраснее, нет превосходнее по разумности и искусству. Рассчитывая движение этих светил, мы познаем своевременность наступления разных времен года, их смены, их изменения. И если это известно только людям, то следует считать, что для людей это и сделано.

(156) А земля, с величайшей щедростью производящая разные плоды и овощи, что же она родит их — ради зверей или ради людей? А что сказать о виноградных лозах или масличных деревьях, которых обильные и веселящие [душу] плоды к животным совсем не имеют отношения? Ведь у животных нет никакого понятия ни о сеянии, ни об обработке земли, ни о своевременной уборке урожая, ни о том, чтобы его сберечь и отложить про запас. Только люди способны проявить заботу и использовать все это.

LXIII. (157) Как лиры и флейты делают для тех, кто умеет ими пользоваться, так следует признать, что все то, о чем я говорил, уготовано для тех только, которые этим пользуются, и если кое-какие животные крадут некоторую часть из этого и захватывают себе, то не будем говорить, что это произведено также и ради животных. Ибо не для мышей и муравьев люди убирают хлеб, а для своих жен, детей, близких. Так что животные пользуются ими, можно сказать, украдкой, а хозяева — открыто и свободно.

(158) Значит, следует признать, что это изобилие благ уготовано для людей. Такое изобилие и такое разнообразие плодов, приятных не только на вкус, но и на запах, на вид, может ли оставить место сомнениям в том, что природа даровала это одним только людям? Никак не может быть, чтобы все это было уготовано также и ради животных, поскольку, как мы знаем, и животные-то сами порождены ради людей¹⁰⁸. Действительно, к чему иному овцы, если не к тому, чтобы их шерстью, обработанной и сотканной, одевались люди? Ведь сами овцы без человеческого ухода и заботы не могли бы ни прокормиться, ни поддержать свое существование, ни давать какого-нибудь дохода. А собаки? Их верность в охране имущества, их любовь, с которой они ласться к своим господам, их ненависть к чужим, невероятная тонкость их чутья при выслеживании добычи, быстрота бега на охоте, о чем другом это свидетельствует, как не о том, что они созданы для пользы людей? (159) А что сказать о быках? Сами спины их своей формой разве не говорят о том, что они созданы для принятия на себя

тяжелой ноши? Так же как их шеи — для наложения на них ига, а сильные и широкие плечи — для того чтобы тащить плуг? В золотом веке, по словам поэтов, быкам никогда не чинили насилия, так как они, разрезая глыбы земли, взрыхляли почву:

Вот тогда-то и народилось железное племя.
Первым оно и осмелилось выковать меч смертоносный¹⁰⁹,
Чтобы вкусить плоть тельца, укрощенного их же руками.

Пользу, которую получали от быка, ценили так высоко, что есть его мясо считалось преступлением.

LXIV. (160) Я бы слишком затянул свою речь, если бы стал подробно излагать, какая польза от мулов и ослов, которые определенно предназначены для использования их людьми. А свинья, для чего она годится, если не в пищу людям? Ей, как шутил Хрисипп, и душа (*anima*) дана вместо соли, чтобы [мясо ее] не испортилось. И свинью-то, так как это животное особенно пригодно для пропитания людям, природа наделила наивысшей плодovitостью. А что сказать о множестве видов рыб, приятных на вкус? О птицах, от мяса которых получаешь такое удовольствие, что просто кажется, будто наше Провидение (*Proposita*) само было эпикурейкой. А ведь они даже не ловились бы, если бы не человеческий разум и ловкость. Впрочем, некоторые птицы — *alites* и *osciens*, как их называют наши авгуры¹¹⁰, — по нашему мнению, и созданы для авгурского гадания о будущем.

(161) Даже огромных и диких зверей мы добываем на охоте, чтобы употребить их в пищу, и для упражнения, так как охота напоминает военное дело. Прирученных и выдрессированных, мы их используем, как, например, слонов. Мы добываем также из их тел многие лечебные средства от болезней и ран; как и из некоторых растений и трав, полезные свойства которых мы постигли из продолжительного использования и опыта.

Можно обозреть как бы глазами ума всю землю и все моря, и вот ты увидишь обширные плодоносные просторы равнин, горы, покрытые густыми лесами, пастбища для скота, увидишь моря, по которым с невероятной скоростью плывут корабли. (162) И не только на поверхности земли, но и во мраке ее недр скрывается много полезных вещей, которые созданы на потребу человеку, и только люди их открывают.

LXV. Другое доказательство того, что провидение богов печется о человеческих делах и, по-моему, наиболее убедительное, — это предвещения будущего. Пожалуй, каждый из вас двоих, Котта и Веллей, ухватится за это утверждение, чтобы его опровергнуть. Котта, потому что Карнесад всегда охотно нападал за него на стоиков, а Веллей — потому что Эпикур ни над чем так не издевался, как над предсказаниями будущего. Но ведь известно множество случаев сбывшейся дивинации, случаев, происшедших в разных местах, в разные времена, по разным обстоятельствам, как в частной жизни, так и в особенности в общественной. (163) Многие усматривают гаруспики, многие провидят авгуры, многое объясняется оракулами, многое узнается через приращения, многое — через сны, многое — через знамения. Благодаря этому часто удавалось осуществить многие человеческие предприятия, нужные и полезные, и были предотвращены многие опасности. И вот эта или сила, или искусство, или природная способность дана людям, для того чтобы они могли узнавать будущее, конечно, не кем иным, как бессмертными богами. Если эти соображения по отдельности вас, может быть, не убеждают, то в совокупности и взаимосвязи они должны были вас убедить.

(164) Но боги бессмертные пекутся и заботятся не только о роде человеческом в целом, но и об отдельных людях. Ибо, постепенно сужая [круг], можно перейти от человечества в целом к небольшой его части, и в конце концов к отдельным людям.

LXVI. Если мы считаем, на основании сказанного выше, что боги заботятся о всех людях, где бы они ни были, в каком бы краю и части земли за пределами той страны, которую мы населяем, они ни находились, то, значит, они пекутся и о тех людях, что населяют вместе с нами и эту страну с востока на запад. (165) А если боги заботятся о людях, которые населяют этот как бы некий большой остров, называемый нами «круг земли» (*orbis terrae*), то, значит, они заботятся о тех, что занимают разные части этого острова: Европу, Азию, Африку. Стало быть, боги пекутся и о частях этих частей: Риме, Афинах, Спарте, Родосе, а в этих городах выделяют и проявляют особую любовь к отдельным людям, как во время войны с Пирром¹¹¹ — к Курию, Фабрицию, Корунканию; в Первой Пунической войне¹¹² — к Калатину, Дуилию, Метеллу, Лутацию; во Второй — к Максиму, Марцеллу, Сципиону Африканскому;

после них — к Павлу, Гракху¹¹³, Катону или во времена наших отцов — к Сципиону, Лелию. А кроме этих и наше государство, и Греция дали многих выдающихся людей, из которых, надо полагать, ни один не стал бы таким без помощи бога. (166) Это соображение и побудило поэтов, а более всего Гомера, приставить к главным своим героям: Улиссу, Диомеду, Агамемнону, Ахиллу¹¹⁴ определенных богов, в качестве наставников в трудностях и опасностях. Кроме того, частное явление самих богов людям, о чем я уже говорил ранее, доказывает, что они, боги, пекутся и о государствах, и об отдельных лицах. Это можно понять также из предвещаний, которые сообщаются людям то во сне, то наяву. На многое нам указывают и знамения, многое узнаем по внутренностям жертвенных животных, многое другими способами, наблюдение которых и применение и привело к возникновению искусства дивинации.

(167) Итак, никто никогда не стал великим человеком без некоего божественного вдохновения. Однако мы не должны думать, что если у кого-то буря повредила посевам или виноградникам или случай отнял часть жизненных благ, то это означает, что такого человека, которого постигло что-нибудь подобное, бог или возненавидел, или пренебрегает им. Боги пекутся о великом, но малым пренебрегают. Великих людей всегда сопровождает успех во всех делах. Ведь и нашими, и главой философов Сократом достаточно было сказано о великих преимуществах и возможностях добродетели¹¹⁵.

LXVII. (168) Вот примерно те мысли, которые пришли мне на ум и которые я счел нужным изложить о природе богов. И ты, Котта, хочу верить, будешь защищать то же дело и учтешь, что ты один из первых наших граждан, подумаешь и о том, что ты понтифик. И так как вам [академикам] позволяется рассуждать и за, и против, то возьмешь под защиту, скорее, мою сторону. И то умение рассуждать, которое ты приобрел упражнениями в риторике и развил в Академии, предпочтешь применить мне в помощь. Ведь говорить против богов — это и дурно и нечестиво, делается ли это от души или неискренне.

ЛЕЛИЙ, ИЛИ О ДРУЖБЕ

Титу Помпонию Аттику

I. (1) Квинт Муций Сцевола авгур¹ часто и с удовольствием рассказывал о тесте своем Гае Лелии, припоминал многое из его жизни и всякий раз, не колеблясь, называл его мудрым. Мой отец привел меня к Сцеволе, едва я надел мужскую тогу², и велел, насколько я смогу, а старец позволит, находиться при нем неотлучно. Многие глубокие суждения Сцеволы, многие его краткие и меткие замечания хранил я в памяти и старался его мудростью и сам стать ученеe. Когда он умер, я перешел к Сцеволе понтифику³ — человеку, о котором я смело могу сказать, что умом и справедливостью был он выше всех в нашем государстве. Но о нем как-нибудь в другой раз; сейчас вернемся к авгуру. (2) Среди многого другого особенно запомнилось мне, как однажды у себя дома сидел он, по обыкновению, в выходящей в сад полукруглой нише со мной и еще несколькими близкими людьми и завел речь о деле, о котором в те дни все только и говорили. Ты, Атик, близко знал Публия Сульпиция⁴ и, конечно, хорошо помнишь, как одни восхищались им, а другие осуждали за то, что, бывши народным трибуном, он внезапно проникся ненавистью к консулу того же года Квинту Помпею⁵ и навсегда разошелся с человеком, с которым ранее жил в самой большой близости и дружбе. (3) Коль скоро уж зашла речь об этом случае, Сцевола и рассказал нам, что говорил о дружбе Лелий в беседе с ним и с другим своим зятем Гаем Фаннием, сыном Марка, через несколько дней после смерти Корнелия Сципиона Африканского⁶. Главные мысли его речи я сохранил в памяти и изложил в этой книге по своему разумению, но как бы передавая подлинные слова каждого из собеседников, чтобы не вставлять без конца «я сказал» да «он сказал» и чтобы все выглядело так, будто разговор происходит прямо при нас. (4) Ты часто побуждал меня написать что-нибудь о дружбе, и я подумал, что, наверное, такое сочинение в самом деле достойно было бы и общего внимания, и нашей с тобой давней близости. Вот оно наконец — я писал его с охотой и в надежде, исполнив твою просьбу,

принести пользу многим. Но как в «Катоне Старшем»⁷ — посвященном тебе сочинении о старости — я представил главным участником беседы старого Катона, ибо, на мой взгляд, кому же было и рассуждать об этом возрасте, как не ему, который и стариком оставался дольше других, и в самой старости был бодр не в пример прочим, — так теперь наиболее подходящим действующим лицом, чтобы изложить запомнившуюся Сцеволе речь, показался мне Лелий, чья дружба со Сципионом была памятна нашим дедам, а через них стала известна и нам. Ведь такого рода рассуждения, вложенные в уста людей прежних времен, и к тому же самых знаменитых, неведомым образом приобретают особый вес и возвышенную важность; когда перечитываю написанное, мне порой кажется, будто я слышу не себя, а Катона. (5) То была книга, созданная одним стариком для другого, и предметом ее была старость; здесь любящий друг обращается к другу, дабы рассказать ему о дружбе. Там речь вел Катон, старше и мудрее которого не было в его времена, кажется, никого; здесь станет говорить Лелий, также известный своей мудростью, но не меньше прославленный дружбою. Мне бы хотелось, чтобы ты тоже временами забывал про меня и думал, будто это говорит сам Лелий.

Итак, Гай Фанний и Квинт Муций приходят к тестю после смерти Корнелия Сципиона Африканского; они начинают беседу, Лелий отвечает, и вся речь его посвящена дружбе, — читая ее, ты узнаешь самого себя.

II. (6) *Фанний*. Вот так-то, Лелий. Не было человека ни лучше Сципиона Африканского, ни более знаменитого. Теперь все взоры устремлены на тебя одного — ты, верно, и сам это чувствуешь. Тебя зовут мудрым, тебя и вправду им считают. Прежде мудрым называли Марка Катона, именovali так отцы наши и Луция Ацилия, хотя каждого по особой причине: Ацилия — за глубокое знание гражданского права, Катона — за то, что почти во всем знал он толк; в те времена много говорили о том, какой он отличается предусмотрительностью в сенате и на форуме, каким упорством в делах, остроумием ответов, — поэтому к старости «мудрый» и стало как бы вторым его именем. Твоя же мудрость совсем иного свойства и проявляется она не только в склонностях и поступках, но также в учености и в широте познаний. Такие, как ты, заслужили звание мудреца не у черни, а среди людей образованных, и подобных им не сыскать даже в Греции, ибо тех семерых, которых при-

нято так называть, более тонкие знатоки к числу мудрецов не относят; (7) разве что вспомнить о единственном⁸, который жил в Афинах и которого признал мудрейшим сам оракул Аполлона. За то считают тебя мудрым, что все блага, по-твоему, заключены в самом человеке, и доблесть ты ставишь выше превратностей судьбы. Поэтому люди спрашивают меня — и, думаю, вот Сцевола тоже, — как переносишь ты смерть Сципиона Африканского, спрашивают тем более настойчиво, что в прошлые ноны⁹, когда мы собрались, как всегда, в садах авгура Децима Брута¹⁰ для толкования пророчеств, ты, прежде всегда соблюдавший этот день и тщательно выполнявший обязанности, с ним связанные, не пришел.

(8) *Сцевола.* Да, Лелий, Фанний прав, такие вопросы задают многие. Я отвечаю, что, сколько я мог заметить, в скорби своей по столь великом и близком тебе муже ты сдержан, но нельзя ожидать, чтобы смерть его вовсе тебя не тронула, ибо ты остаешься человеком всегда и во всем. Что же до отсутствия твоего на нашем собрании в ноны, его я объясняю не скорбью, а болезнью.

Лелий. Ты правильно отвечаешь, Сцевола; так оно в самом деле и есть. Будь я здоров, никогда собственное горе не заставило бы меня уклониться от дела, которое я исполнял неизменно. Ни в каком случае, по-моему, человек, верный своему долгу, не имеет права, даже на время, отказаться от выполнения общественных обязанностей. (9) По дружбе, Фанний, ты приписываешь мне свойства, которых во мне нет, и на которые я вовсе не притязую. О Катоне же, на мой взгляд, ты судишь просто несправедливо. Я сказал бы, что нет человека, который заслуживает название мудреца, но если кому оно пристало, так только Катону. Даже если не говорить о прочем, как перенес он хотя бы смерть сына! Я помню горе Павла, горе Гала, но они оплакивали подростков, а Катон — прекрасного и уважаемого мужа. (10) Остерегись поэтому ставить выше Катона даже и того, кого, по твоим словам, счел мудрейшим сам Аполлон; его славят за речи, а Катона за дела. Что касается меня — и это уж я говорю вам обоим, — то имейте в виду вот что.

III. Стань я отрицать, что скорблю о смерти Сципиона, это, конечно, была бы ложь, а следовало ли мне так поступать, пусть уж смотрят мудрецы. Я скорблю об утрате друга, какого, полагаю, никогда не будет и какого, твердо

знаю, никогда не было. И тем не менее мне не надо утешений. Я нахожу опору в себе самом, ибо далек от заблуждения, от которого страдает почти каждый потерявший друга: я думаю, что со Сципионом не случилось ничего плохого; если что случилось, то не с ним, а со мной; о собственных же бедах сокрушается лишь тот, кто любит не друга, а самого себя. (11) Можно ли отрицать, что Сципион прожил подлинно прекрасную жизнь? Если не говорить о бессмертии — о нем он и не помышлял, — есть ли что-нибудь, доступное желаниям смертных, чего бы он не достиг? Когда он был еще подростком, граждане ожидали от него многого, — юношей он неслыханной доблестью превзошел их ожидания; он никогда не добивался консульства — и стал консулом дважды, первый раз до срока, второй — в срок по его возрасту, но едва не слишком поздно для республики; разрушив два города, особенно враждебных Риму¹¹, избавил он от войн не только современников, но и потомков. Надо ли вспоминать о простоте его обращения, о благочестивом уважении к матери, о доброте к сестрам, благожелательности к домашним, справедливости ко всем? Все это вы знаете. Ну, а как дорог он был государству, ясно показала скорбь во время его похорон. Что могли бы добавить ко всему этому еще несколько лет жизни? «Старость сама не тяжела, да цветение жизни уже позади», — помню, говорил Катон, беседуя за год до смерти со мной и Сципионом, а ведь Сципион теперь-то как раз и находился в самом расцвете. (12) Вот почему к его жизни нечего добавить — столь удачно и с такой славой она прожита, смерть же пришла к нему мгновенно, и страданий он не знал. Что это была за смерть, трудно решить; подозрения, которые на этот счет есть, вам известны¹². Одно бесспорно: из многих славных и радостных дней, виденных им в жизни, самым блестящим был канун его смерти, когда после заседания сената, уже вечером, провожали его домой отцы-сенаторы, римский народ, союзники и латины¹³. С такой вершины почестей ему, право, ближе был путь к богам небесным, чем к подземным.

IV. (13) В последнее время появились люди, утверждающие будто душа гибнет вместе с телом¹⁴ и смерть уничтожает все. Я, признаться, им не сочувствую, а больше верю древним и предкам нашим, которые чтити умерших священными обрядами, чего они, конечно, не стали бы делать, если бы полагали, что усопшим это безразлично;

верю тем, кто жил в наших краях и своими установлениями и наукой просветил Великую Грецию, ныне исчезнувшую, но в ту пору процветавшую; верю тому, кого признал мудрейшим оракул Аполлона... Он не рассуждал, подобно многим, то так, то этак, а всегда учил одному и тому же: что души людей божественны, что когда они излетают из тела, то возвращаются на небо, и тем быстрее и легче, чем лучше и справедливее был человек. (14) Так же смотрел на это и Сципион. Совсем незадолго до смерти он, как бы предчувствуя ее, три дня подряд в присутствии Фила, Манилия¹⁵ и многих других (и ты, Сцевола, был там со мною) беседовал о государстве, а под конец заговорил о бессмертии души и рассказал, что, по его словам, поведал ему в сневидении Сципион Африканский Старший¹⁶. И если в самом деле, когда умирает человек достойный, душа его тем свободнее улетает ввысь из темницы и оков тела, то чей же путь к богам был легче, чем путь Сципиона? Тогда получается, что те, кто скорбит о такой его судьбе, скорее завистники, чем друзья. Если же в самом деле душа погибает вместе с телом и не остается в ней никаких ощущений, тогда в смерти нет, наверное, ничего хорошего, но, уж во всяком случае, и ничего плохого. Не знать никаких ощущений — это ведь все равно что не родиться, ну а уж Сципион бесспорно был рожден на свет на радость нам и нашему государству до конца его дней. (15) Поэтому я и говорю, что ему повезло, а мне не так уж, ибо было бы справедливее, если бы я, вступив в жизнь раньше него, и ушел бы раньше. Воспоминания о нашей дружбе, однако, приносят мне такую радость, что мне кажется, будто и я прожил свой век счастливо, раз провел его вместе со Сципионом, с которым мы делили бремя и общественных и частных дел, с которым рядом были на войне и дома и с которым — а в этом и заключена суть дружбы — нас связывало полное единство намерений, стремлений и взглядов. И не столько радует меня слава мудреца, о которой говорил Фанний и которая никак мне не пристала, сколько надежда на то, что память о нашей дружбе сохранится навеки, а это тем более мне отраднее, что за все минувшие столетия едва наберется три-четыре пары подлинных друзей, и вот наряду с ними, потомки, я надеюсь, станут вспоминать дружбу Сципиона и Лелия.

(16) *Фанний.* Да, Лелий, так оно непременно и будет. Но раз уж ты заговорил об этом и раз мы сейчас ничем

не заняты, не рассказать ли тебе, наподобие того как ты рассуждаешь по просьбе друзей о других предметах, что думаешь ты о дружбе, о том, какой она должна быть и в чем состоит. Мне это было бы очень приятно, и Сцеволе, надеюсь, тоже.

Сцевола. Мне, уж конечно, будет приятно. Я ведь сам пытался навести тебя на этот разговор, да Фанний меня опередил. Так что удовольствие ты доставишь нам обоим.

Лелий. Ну, меня-то и подавно это не обременит, — особенно если бы я мог полагаться на собственное разумение. Предмет для разговора прекрасный, и мы, как сказал Фанний, ничем не заняты. Но ведь кто я такой? Под силу ли мне такая беседа? Только ученые люди да еще греки привыкли рассуждать без подготовки на заданную тему. Великое это дело, да и опыт какой нужен! Вот у них-то, привычных на людях вести речь о любом предмете, вы и спрашиваете про все, что только можно наговорить о дружбе. А я могу сказать вам одно: цените дружбу выше всего. что дается человеку, ибо нет ничего более согласного с его природой, ничего нужнее ему и в счастье и в беде.

(18) Главное здесь, на мой взгляд, вот что: дружба может соединять лишь достойных людей. Я не хочу придираться к словам, как те, кто рассуждает о дружбе весьма тонко и, может быть, даже верно, только без всякой пользы людям. Они уверяют, что звание достойного человека пристало только мудрецу. Пусть даже так, но под мудростью-то они понимают нечто такое, чего ни одному смертному еще не удавалось достичь, тогда как нам надлежит вести разговор о вещах, которые знакомы каждому, существуют в быту и в жизни, а не только в мечтах или благих пожеланиях. Ведь ни Гай Фабриций, ни Маний Курий, ни Тиберий Корунканий¹⁷, которых признавали мудрыми наши предки, по их мерке мудрыми бы не считались. Ладно, пусть берут себе это вожденное и непонятное наименование мудреца — согласились бы только, что все это были достойные мужи. Нет, и того не хотят: нельзя, говорят, признать достойным того, кто не достиг мудрости. (19) Что ж, давайте, как говорится, рассуждать не мудрствуя. Все, кто своими деяниями и жизнью заслужил уважение как люди верные, честные, справедливые, великодушные, в ком нет ни алчности, ни вожделений, ни наглости, кто верностью долгу равен только что мною перечисленным, — это и есть достойные мужи. Так мы привыкли их называть, так будем

называть и впредь, ибо они следовали, насколько то в человеческих силах, природе — лучшей наставнице в достойной жизни. Нельзя, мне кажется, не видеть, что самим рождением мы предназначены вступить в некоторую всеобщую связь, особенно тесную с теми, кто ближе, — сограждане нам ближе чужестранцев, родные ближе посторонних, и дружить с ними указано самой природой. Это, однако, дружба еще не по-настоящему крепкая. Дружба тем выше родства, что для последнего необязательна приязнь, а для первой необходима; отнимите чувство приязни — и дружбы не останется, родство же сохранится, каким было. (20) Сколь великая сила заложена в дружбе, яснее станет вот из чего: под действием ее связь, установленная природой и охватывающая род людской в его безграничности, втесняется в столь узкие пределы, что соединяет лишь двух или нескольких человек.

VI. Дружба есть не что иное, как единодушие во всех делах, божественных и человеческих, укрепляемое приязнью и любовью, и ничего лучшего, кроме, может быть, мудрости, боги людям не дали. Одни, правда, ставят выше нее богатство, другие — здоровье, третьи — власть, иные — почести, многие, наконец, — наслаждения. Последнее, по моему, больше впору скотам, остальное же преходяще и зыбко и зависит от прихоти судьбы больше, чем от нашей разумной воли. А что касается тех, кто полагает высшее благо в доблести, то они рассуждают превосходно, но ведь доблесть сама и порождает дружбу, и укрепляет ее, и без доблести дружба никоим образом существовать не может. (21) Доблесть же давайте понимать так, как это принято у нас в жизни и в языке, не станем подобно некоторым умникам мерять ее искусством красно говорить, а назовем достойными мужами тех, кого и принято считать достойными — Павлов, Катонов, Галов, Сципионов, Филов. В обычной жизни с нас хватает и таких, а о тех, кого нигде не сыщешь, незачем и говорить. (22) Вот такая-то дружба, связующая настоящих мужей, приносит им столько радостей, что я затрудняюсь все и перечислить. Прежде всего что такое сама, как выражается Энний, «живая жизнь», если нет в ней спокойствия, создаваемого взаимной дружеской приязнью? Что может быть слаще общения с человеком, с которым не боишься говорить как с самим собой? Какой толк в удаче, если нет рядом никого, кто порадуется ей с тобой вместе, и как перенести беду без

того, кому она еще горше, чем тебе самому? Наконец, все прочее, к чему люди стремятся, почти всегда хорошо лишь для чего-нибудь одного: богатства — чтобы ими пользоваться, могущество — чтобы тебя чтили, почести — чтобы восхваляли, наслаждения — чтобы чувствовать утеху, здоровье — чтобы не страдать от болезней и владеть всеми способностями тела, и только в дружбе заключено множество благ; куда ни обратиться, всегда она рядом, нигде не лишняя, никогда не постылая, никому не в тягость, и если что-нибудь бывает нам нужно чаще всего остального, так не вода и не огонь, как принято считать, а именно дружба. Я сейчас имею в виду, конечно, не пошлую и даже не обычную дружбу, — которая, впрочем, тоже приносит немало удовольствия и выгоды, — а дружбу подлинную и совершенную, удел тех, кого называют избранными. Именно благодаря ей удача становится более блестящей, а несчастье, которое разделишь с другом и как бы передашь ему часть, — более легким.

VII. (23) Дружба не только приносит множество великих радостей, но и тем в первую голову возвышается над остальным, что исполняет нас бодрой надежды, не дает ослабеть или пасть духом. Глядя на истинного друга, мы как бы созерцаем совершенный образ собственной жизни. Здесь мы снова соединяемся с покинувшими нас, в нужде обретаем богатство, в болезни — здоровье; здесь, как это ни странно звучит, оживают для нас умершие — настолько глубоко входят в нашу жизнь славные деяния друзей, так сильна память о них, любовь к ним. Вот почему их смерть и представляется нам блаженной, а наша жизнь — завидной, и вот почему без приязни, связующей все и вся в природе, ни дом ни один не стоит, ни город и не колосится поле. Если же сказанного мало, чтобы постичь, какая сила заложена в дружбе и согласии, уяснить это можно, задумавшись над значением ссор и распрей. Существует ли столь прочная семья, столь устойчивое государство, чтобы их не могли обратить в ничто взаимная ненависть и раздоры? Уже по этому одному можно судить, какое благо дружба. (24) Рассказывают ведь об одном ученом муже из Агригента⁸, слагавшем стихи на греческом языке и учившем в них, будто все созданное природой, все, что в мире есть и движется, спланивается Дружбой и распадается Враждой. Учение это внятно всем смертным, и они жизнью и делами подтверждают его справедливость. Если кто по долгу дружбы

разделит опасность или придет на помощь, разве не воздадут ему самую высокую хвалу? Недавно давали новую драму Пакувия¹⁹ — моего приятеля и частого гостя в этом доме, — и какими же кликами одобрения огласился театр в тот миг, когда, воспользовавшись неведением царя, Пилад выдаст себя за Ореста, дабы принять вместо него смерть, а друг его, верный правде, настаивает, что Орест — это он! Люди стоя рукоплескали вымыслу, — так представьте себе, что было бы, встретиться они с подобным поступком в жизни. Очевидным образом явила здесь природа свое всевластие, раз люди сочли в других достойным восхищения то, на что неспособны сами.

Ну вот, кажется, я и сказал о дружбе все, что мог. Если же есть в ней еще что-нибудь (а есть, наверное, немало), обратитесь, пожалуй, к людям, которые больше привыкли рассуждать о подобных предметах.

(25) *Фанний*. Мы лучше обратимся к тебе. Тех я спрашивал часто и, признаюсь, выслушивал не без удовольствия, но у тебя сама мысль идет совсем по-другому.

Сцевола. Ты, Фанний, и подавно сказал бы так, если бы был на днях в садах Сципиона, когда там шел разговор о государстве. Как замечательно защищал хозяин дома справедливость от искусных нападков Фила!

Фанний. Ну, справедливейшему мужу защищать справедливость было, наверное, не так уж трудно.

Сцевола. А коли так, то разве человеку, который стяжал громкую славу величайшей преданностью, верностью и честностью в дружбе, трудно выступить в ее защиту?

VIII. (26) *Лелий*. Но ведь это насилие! Разве в том дело, какими способами вы меня принуждаете говорить? Важно, что принуждение тут есть, и явное. Впрочем, если так усердствуют зятья, да еще с благой целью, сопротивляться и трудно и не нужно.

Так вот. Сколько я ни размышляю о дружбе, мне всегда кажется главным такой вопрос: потому ли хотят дружить люди, что страдают от нищеты и, обмениваясь услугами, рассчитывают взять у другого, чего каждый лишен сам, и потом воздать ему тем же, — или все это лишь одна из сторон дружбы, причина же ее иная, более глубокая и возвышенная и порожденная самой природой? Ведь связывает людей прежде всего дружелюбие, то есть любовь к друзьям, а выгода часто достается и тем, кого, сообразуясь с обстоятельствами, обхаживают ложные друзья. Дружба

же не терпит ничего искусственного, ничего притворного, и все, что в ней есть, всегда подлинно и идет от души. (27) Поэтому я и думаю, что возникает дружба из самой человеческой природы, скорее чем из внешней необходимости, из душевной склонности и особого чувства любви, гораздо больше чем из помышлений о возможной выгоде. В справедливости этого легко убедиться, даже наблюдая за животными, которые до поры так любят своих детенышей и так любимы ими, что чувство их видно совершенно ясно. Еще яснее проявляется оно в человеке: во-первых, в той любви, что связывает детей и родителей и разорвать которую нельзя, не совершив гнуснейшего злодеяния, а затем и в подобном ей чувстве, что пробуждается в нас, когда мы встречаем человека близкого по природным свойствам души и нравам, в ком именно поэтому склонны мы видеть как бы светоч добродетели и гражданской доблести. (28) Ибо нет на свете ничего достойнее любви, чем доблесть, и ничто не привлекает нас сильнее; потому-то за доблесть и добродетель иногда любим мы даже тех, кого никогда не видали. Найдется ли человек, не испытывавший особого чувства любви и приязни при упоминании о Гае Фабриции или Мании Курии, которых он и в глаза не видал? А в ком не вызывали ненависти Тарквиний Гордый²⁰, Спурий Кассий или Спурий Мелий²¹? С двумя полководцами сражались мы в Италии за власть над нею — с Пирром²² и с Ганнибалом²³; но к одному за его благородство мы чувствовали даже некое расположение, другого в этом государстве будут вечно ненавидеть за его жестокость.

IX. (29) Раз сила благородства такова, что мы ценим его и в людях никогда нами не виданных, и даже во врагах, надо ли удивляться, если душа наша ощущает некий порыв при виде гражданской доблести и достоинств в тех, с кем мы встречаемся каждый день? Как бы ни усиливали наше чувство и оказанные нам благодеяния, и явное рвение друга, а сверх того и привычка, великая дружеская приязнь вспыхивает, подобно пламени, лишь там, где все это сливается с тем первым порывом любви. Если же некоторые полагают, будто она проистекает из слабости и из желания иметь пособника, готового обеспечить тебя всем, чего захочешь, они приписывают дружбе происхождение весьма низкое и, я бы сказал, подлое, видя в ней порождение немощи и нищеты. Будь оно так, человек был бы способен к дружбе тем более, чем ниже он себя ценит, а ведь на самом деле

все это совсем не так. (30) Именно тот, кто по-настоящему себе доверяет, кто настолько исполнен доблести и разума, что, кажется, может довольствоваться самим собой, кто ни в чем и ни в ком не нуждается, вот он-то более всех и стремится к дружбе, и хранит ее лучше остальных. Разве нужен я был Сципиону Африканскому? Меньше всего на свете, клянусь Геркулесом! Да и он не был мне нужен. Просто во мне пробудило любовь восхищение его доблестью, а в нем — то мнение, может быть, не совсем необоснованное, которое он составил себе о моей жизни. Привычка укрепила возникшую приязнь, и хотя из нее проистекали для нас многочисленные и немалые преимущества, вовсе не надежды на выгоду породили наше чувство (31) Подобно тому как мы бываем добры и щедры не из расчета на благодарность (ведь добрые дела не отдаются в рост — к щедрости толкает нас сама природа), так же и к дружбе мы стремимся не из корысти, но полагая, что ценность и сладость ее заключены в самой сердечной привязанности. (32) Надо ли удивляться, что люди, которые по обычаю скотов во всем ценят одно наслаждение, думают по-другому. Отдав все помыслы вещам низменным и презренным, они и представить себе не могут ничего возвышенного, ничего великого и божественного. Поэтому лучше, рассуждая о дружбе, вовсе не обращать на них внимания, а между собой давайте согласимся, что сама природа порождает в нас чувство любви и сердечной приязни ко всякому, в ком обнаружим мы честность и благородство. Те, кто стремится к добродетели, сходятся друг с другом и сближаются все больше, надеясь насладиться обществом понравившегося человека, сравняться с ним любовью, уподобиться ему правами; оба помышляют скорее о том, как бы заслужить благодарность друга, чем об ответной его услуге, — только в этом и должны они между собой состязаться, по справедливости и чести. Так оба получают величайшую пользу, и дружба их, порожденная природой, а не немощью, будет глубже и вернее: ведь выгода сегодня скрепляет дружбу, завтра — переменится и разрушит ее, природа же неизменна, а потому вечной будет и подлинная дружба. Теперь вам ясно, откуда берется дружба. Разве что вы сами хотите что-нибудь прибавить.

Фанний. Ты, Лелий, продолжай! Сцевола помоложе меня, и я имею право говорить за него.

(33) *Сцевола.* Правильно. А потому послушаем дальше.

Лелий. Так послушайте, достойные мужи, какими мыслями нередко делились мы со Сципионом, рассуждая о дружбе. Он, правда, добавлял, что самое трудное — сохранить ее до конца дней, ибо она никнет либо оттого, что каждый гонится за собственной выгодой, либо оттого, что друзья по-разному смотрят на дела государства, да и сам человек, по его словам, меняется и под влиянием несчастий, и под бременем возраста. В доказательство приводил он поведение подростков, почти всегда одинаковое: вместе с претекстой сбрасывают они обычно и свои пылкие детские привязанности, (34) а если и сохраняют их в юности еще на некоторое время, то рано или поздно все равно расходятся из-за выгодной женитьбы, которой домогаются оба, или из-за какого-нибудь другого блага, недоступного обоим сразу. Кто-нибудь, может, и сумеет сохранить дружеские отношения дольше обычного, но, погрузившись в борьбу за почетные должности, отступится и он. Нет для дружбы большей пагубы, чем алчность, если речь идет о большинстве, или чем честолобие, если говорить о самых достойных, — именно отсюда не раз возникала вражда, развопившая даже самых близких друзей.

(35) Особенно глубоки и обычно вполне оправданны расхождения там, где человек требует от друзей, чего по справедливости требовать нельзя — чтобы они потакали его вожделениям или помогали наносить вред другим, и если друзья как честные люди отказываются ему угодить, он обвиняет их в нарушении законов дружбы. Осмеливаясь добиваться от друзей решительно всего, он как бы во всеуслышание обязывается тоже пойти на все ради них. Такие ссоры не только уничтожают былую дружбу, но и порождают бесконечную ненависть. «Подобно року тяготеют такие опасности над друзьями, — говорил Сципион, — и уберечь от них может, видно, не столько разумная предусмотрительность, сколько счастливая судьба».

XI. (36) Вот потому-то и давайте рассмотрим, если вы согласны, как далеко должна заходить преданность в дружбе. Если у Кориолана²⁴ были друзья, неужто им следовало тоже поднять оружие против родины? Разве должны были друзья помогать Мелию или Вецелину, когда те рвались к царской власти? Мы видели, как Квинт Туберон²⁵ и другие сверстники-друзья отвернулись от Тиберия Гракха²⁶, когда он принялся терзать наше государство. (37) А Гай Блоссий Куманский²⁷, друг вашей семьи, Сцевола? Вместе с консу-

лами Ленатом и Рупилием²⁸ участвовал я в разборе этого дела, когда он явился ко мне, стал умолять о снисхождении и оправдываться — восхищение его перед Тиберием Гракхом было-де столь безгранично, что он считал долгом выполнять любую его волю. «Ну а если бы Тиберий захотел, — спросил я его, — чтобы ты поджег Капитолий?» — «Никогда не пришло бы ему это в голову, — отвечал Блоссий, — но если бы он так решил, я бы его послушался». Чувствуете, какие чудовищные слова? И ведь он действительно поступил как сказал, и даже сделал больше, чем сказал, — не только служил замыслам Тиберия Гракха, но и превзошел его, стал не только его помощником, но и наставником в разнузданном бешенстве. Одержимый тем же безумием, перепуганный угрозой еще одного следствия, бежал он в Азию, перешел на сторону врага и по заслугам понес от государства суровую кару. Проступок, как видим, не может быть оправдан тем, что он совершен ради друга, ибо верность гражданской доблести скрепляет дружбу, тому же, кто изменил доблести, трудно сохранить и друзей. (38) Значит, только достигнув истинной и совершенной мудрости, могли бы мы признать, что и угождать любому желанию друга и требовать от него такого же угождения справедливо, и только в этом случае не принесло бы такое правило никакого вреда; но ведь у нас речь идет о таких друзьях, каких мы видим собственными глазами, о каких знаем из воспоминаний, — таких, какие бывают в жизни. Их-то мы и должны брать для примера, а среди них в первую голову тех, кто ближе к подлинной мудрости. (39) Мы знаем по рассказам отцов, какими друзьями были Пап Эмилий и Лусцин, вместе дважды занимавшие должность консула, вместе отправлявшие цензорство; до сих пор всем памятно, как близки были и с ними обоими, и между собой Маний Курий и Тит Корунканий. Ни об одном из них даже и помыслить нельзя, чтобы он пытался принудить друга хоть в чем-то нарушить верность, изменить клятве, нанести ущерб государству. Надо ли добавлять, когда речь идет о таких людях, что, даже если бы кто и стал этого домогаться, все равно у него ничего бы не вышло? То были мужи достойные благоговейного уважения, и одинаковым несчастьем почли бы они и выполнить такую просьбу, и обратиться с ней. А вот за Тиберием Гракхом последовали и Карбон²⁹, и Катон³⁰; Гай, ныне такой же бешеный, как брат, в ту пору за ним не пошел.

ХII. (40) Пусть же будет нерушим этот закон дружбы: ничего постыдного не просить у друзей и не делать по их просьбе. Позорно оправдывать любой поступок, а особенно преступление против государства тем, что он совершен ради друга, и считаться с такими объяснениями надо меньше всего. Вот теперь-то, Фанний и Сцевола, пора нам остановиться и взглядеться в отдаленное будущее, дабы увидеть грядущие беды нашего государства. В беге своем оно ныне уклонилось в сторону и вышло из колеи, проложенной предками. (41) Уже Тиберий Гракх пытался стать царем или даже был им несколько месяцев. Видел ли, слышал ли римский народ прежде что-нибудь подобное? После смерти Тиберия друзья и близкие продолжали начатое им, и о том, что сделали они со Сципионом, я не могу вспомнить без слез. Да, Карбона нам так или иначе пришлось вытерпеть — слишком еще свежа была в памяти людей кара, понесенная Тиберием Гракхом, а что сулит трибунат Гая Гракха, лучше не загадывать. Государство сошло с прямого пути и, раз двинувшись под уклон, приходит во все большее расстройство. Какую смуту еще раньше внесло в государство тайное голосование, введенное сперва законом Габиния³¹, а двумя годами спустя законом Кассия³², вы знаете. Мне кажется, я уже вижу народ, оторванный от сената, вижу, как важнейшие дела решаются по произволу толпы. И ведь больше людей учатся творить беззаконие, чем противостоять ему. (42) Откуда все это берется? Никто, не имея он помощников, не решился бы на подобные злодеяния. Каждому достойному человеку поэтому следует внушить, что если он случаем или по неведению вступит в дружбу вроде описанной, то пусть не думает, будто обязан хранить ей верность и не может порвать с друзьями, совершающими тяжкие преступления против республики. Для бесчестных надо установить кару, причем для тех, кто следовал за другими, не меньшую, чем для вожаков. Был ли в Греции человек, более знаменитый и могущественный, чем Фемистокл? Командуя греками в Персидской войне, он избавил страну от рабства, потом был изгнан по проискам завистников, но не простил неблагородной родине оскорбления, хотя обязан был его простить, и поступил так же, как за двадцать лет до того поступил у нас Корнолан. Ни тот, ни другой не нашли в борьбе против родины ни одного помощника и оба наложили на себя руки³³. (43) Вот почему сговор бесчестных людей не только нельзя прикрывать име-

нем дружбы, но, наоборот, его следует наказывать особенно сурово, дабы никто не думал, будто можно встать на сторону друга, если тот поднял оружие против родины. Впрочем, судя по тому, как пошли у нас дела в последнее время, сомневаюсь, чтобы этого когда-нибудь удалось добиться. А между тем каким будет государство после моей смерти, заботит меня не меньше, чем состояние его сегодня.

XIII. (44) Пусть же будет нерушим этот закон дружбы: ничего бесчестного не просить у друзей и ради них не делать; не ждать, когда вас призовут, а самим помогать им от души и без промедленья; давая совет, не бояться быть независимым и прямым. Пусть не будет в дружбе ничего весомее доброго совета друзей, пусть образумят они нас своим влиянием, высказавшись открыто, а если надо, и резко, мы же станем им повиноваться. (45) Но ведь есть люди — и я даже слышал, будто в Греции их считают наставниками мудрости, — которые утверждают весьма странные, на мой взгляд, вещи; впрочем, там кудрявыми словесами умеют доказать вообще все что угодно. Главное, полагают они, избегать чересчур многочисленных дружеских связей, дабы одному не приходилось беспокоиться за многих; каждому, дескать, с избытком хватает своих дел, и ввязываться в чужие — значит только брать на себя лишнюю обузу; дружба лучше всего, если она как поводья: когда надо — натянул, когда надо — отпустил; для счастливой жизни, мол, нужнее всего спокойствие, а им-то и невозможно наслаждаться, если будешь терзаться за всех. (46) Впрочем, есть, говорят, и другие, которые судят совсем уж как дикари (о них я мимоходом недавно упоминал), будто дружбы надо искать ради защиты помощи, а не ради приязни и любви. Выходит, в ком меньше твердости души, мужества, силы, тот и должен больше всех добиваться дружбы; женщинам, получается, следует искать в ней опоры скорее, чем мужчинам, нищим — скорее, чем состоятельным, горемычным — скорее, чем счастливым. (47) Вот уж мудрость так мудрость! Лишить жизнь дружбы — все равно что лишить вселенную солнца, ибо ничего не дали нам боги ни лучше, ни светлее и радостнее. И что это за спокойствие такое? На взгляд оно, может, и привлекательно, да на деле отвратительно, и по многим причинам. Нелепо ради того, чтобы избавить себя от забот, не браться за достойное дело или, раз взявшись, от него отступить. Если избегать тревог, придется отказываться и от доблести,

которая презирает и ненавидит все ей противоположное, — а это непременно влечет за собой и волнения и тревоги; честность отвергает коварство, воздержность — вождения, мужество — трусость, и каждый замечал, как сильно удручает несправедливость справедливых, нерешительность — решительных, наглость — скромных. В этом — повторяю — и состоит свойство совершенной души: радоваться добрым делам и страдать от злых. (48) Вот почему, если ведома душе мудреца скорбь — а ведома она ему бесспорно, иначе пришлось бы полагать, будто из груди его вырвано с корнем все человеческое, — зачем же изгонять из нашей жизни дружбу во избежание горестей, с нею сопряженных? Отнимите у души способность волноваться, и какая же останется разница между человеком и не то что скотом, а бревном, камнем, любой вещью? Не след нам прислушиваться к тем, кому гражданская доблесть представляется бесчеловечной и жесткой, как железо. Как в разных других обстоятельствах, так и в дружбе бывает она и легкой и податливой, то как бы растворяется в удачах друга, то как бы твердеет от его бед. Страх, который часто приходится испытывать за друга, не стоит того, чтобы из-за него изгонять из жизни дружбу, точно так же, как не стоит отвергать доблесть из-за трудов и забот, от нес неотъемлемых.

XIV. Дружба возникает, как я уже говорил, когда, обнаружив в другой душе честность и благородство, душа, одержимая такими же чувствами, устремляется и принакает к ней, так что обе сливаются воедино — тут-то и рождается сердечная привязанность. (49) Не глупо ли ценить почести, славу, дома, наряды, внешность — и не ценить того, в ком душа исполнена доблести, в ком наша любовь может встретить ответную любовь? Нет ничего радостнее, как платить за приязнь — приязнью, за пылкое чувство — чувством столь же пылким, за услугу — услугой. (50) Ну а если, как справедливость того и требует, признать, что в мире вообще нет тяготения более могучего, чем то, которое влечет к дружбе сходные натуры, нельзя будет не согласиться с очевидной истиной: достойные люди всегда отличают достойных, видят в них как бы родных и в своем стремлении сблизиться с ними подчиняются самой природе. Ибо что, как не природа, заставляет все жадно стремиться к себе подобному? А значит, Фанний и Сцевола, несомненно, по-мосу, вот что: приязнь достойных друг к другу — это

своего рода неизбежность, именно в ней — природой со-
зданный росток дружбы. Эта благожелательность, однако,
простирается и на весь простой люд, ибо гражданская до-
блесть не бывает ни бесчеловечной, ни равнодушной или
надменной; она опекает целые народы и ведет их к благу,
чего никак не могло бы быть, если бы она брезгливо де-
ржалась вдали от толпы. (51) Те же, кто прикидываются
друзьями ради выгоды, по-моему, убивают всю прелесть
дружбы. Ведь сладость ее — не в выгодах, которые она
может доставить, а в самой дружеской привязанности, и
помощь друга радуется тем, что доказывает, сколь горячо его
чувство. Полагать же, будто к дружбе стремятся от бедности,
тем более неверно, что на проверку друзьями, самыми ще-
рыми на благодеяния, оказываются как раз те, что меньше
всего нуждаются в чужом заступничестве, в чужих богат-
ствах или доблести — этой главной опоре в жизни. Впрочем,
я не знаю, так ли хорошо, чтобы друзьям не было в нас
нужды. Ведь если бы Сципиону ни разу, ни на войне, ни
дома, не понадобился мой совет и моя помощь, как же
тогда проявилась бы вся сила нашей привязанности?.. Как
бы там ни было, ясно одно: не стремление к пользе по-
рождает дружбу, а дружба приносит пользу с собой.

XV. (52) Не надо поэтому слушать людей, потонувших
в наслаждениях, когда они берутся рассуждать о дружбе,
а сами ни в жизни ее не извели, ни разумом не постигли.
Да скажите мне, ради всего святого, неужели найдется
человек, который согласится жить в богатстве и проводить
дни во всяческом довольстве, но притом и самому никого
не любить и ответной любви не знать? Так ведь живут
одни тираны — не ведая ни доверия, ни любви, без близких,
на которых можно бы положиться, — живут жизнью, полной
тревог и подозрений, где нет места дружбе. (53) Можно ли
полюбить того, кого сам боишься или подозреваешь, что
он боится тебя? Тиранов до поры до времени обхаживают,
разыгрывая преданность, но лишь утратив власть — что
почти всегда и случается, — понимают они, сколь нищи
друзьями. Рассказывают, будто в изгнании Тарквиний ска-
зал, что он научился отличать истинных друзей от ложных
только теперь, когда уже не в силах воздать по заслугам
ни одним, ни другим. (54) Удивляюсь, как при его высо-
комерии и жестокости он вообще мог иметь хоть каких то
друзей. И как ему не дал их приобрести злобный нрав, так
другим властителям мешает обзавестись верными друзьями

их могущество. Фортуна не только сама слепа, но и ослепляет каждого, кого заключит в объятия. Пресыщенность и своеволие почти лишают таких властителей разума, и нет людей нестерпимее безумцев, осыпанных случайными милостями судьбы. Иногда можно наблюдать и другое — человека, прежде доброго и простого в обращении, неограниченная власть, высокое положение, удача делают непохожим на самого себя. (С презрением отказывается он от старых друзей и опрометчиво ищет новых.) (55) Не глупо ли, обладая богатством, талантами, могуществом, стремиться нахватать побольше коней, слуг, роскошных одежд, драгоценных сосудов — всего, что добывается за деньги, и не стараться обеспечить себя самым, если можно так выразиться, драгоценным и прекрасным достоянием — друзьями? Накапливая все это, такие люди даже не знают, для кого они копят, ради кого трудятся, ибо среди им подобных все переходит к тому, кто одолеет остальных. Лишь дружба принадлежит нам одним, надежно и прочно. И даже если удастся человеку сохранить блага, как бы поднесенные ему в дар Фортуной, все равно жизнь, духовно не облагороженная и не ведающая дружбы, радости принести не может. Впрочем, довольно об этом.

XVI. (56) Давайте установим, какова мера дружеского чувства и его пределы. Насколько я замечал, об этом есть три разных суждения, из которых я не могу одобрить ни одного. Первое состоит в том, что любить друга надо ровно настолько, насколько любишь самого себя; второе — в том, чтобы приязнь наша к друзьям точно и строго соответствовала их приязни к нам; согласно третьему — друзья должны ценить нас во столько же, во сколько мы ценим себя сами. (57) Ни с одним из этих трех суждений я до конца согласиться не могу. Неверно первое из них, утверждающее, будто друга надо любить, как самого себя. Как часто идем мы ради друга на то, на что ради самих себя никогда не пошли бы! Просить людей дурных, молить и унижаться, с особой яростью нападать на обидчика и с особым ожесточением его преследовать — все это недостойно, если делается в собственных интересах, и все то же становится достойным в высшей степени, если делается для друга. Есть много обстоятельств, в которых порядочный человек поступает своими благами и готов терпеть ущерб, радея о друге больше, чем о себе. (58) Второе суждение требует в дружбе равенства услуг и чувств. Судить таким

образом — значит подчинить дружбу самому черствому и жалкому расчету: расход должен равняться приходу. Подлинная дружба, на мой взгляд, богаче и щедрее, она не подсчитывает постоянно, не отдано ли больше, чем получено. Да и нельзя вечно опасаться, как бы не передать, как бы не перелилась лишняя капелька, как бы уравнивать доли, внесенные одним и другим. (59) Наконец, третье, и самое постыдное, требование: во сколько каждый сам себя ценит, во столько же пусть ценят его и друзья. Разве редко бывает, что человек и духом слаб, и надежд на успех в жизни у него немного, но не следует ведь отсюда, что друг должен относиться к нему так же, как он относится к себе сам; скорее, напротив — дело друга напрячь все силы и добиться, чтобы он воспрял душой, пробудить в нем надежду, заставить его думать о себе лучше. Нет, подлинную дружбу мы станем мерить совсем иной меркой, особенно если я вам расскажу сначала, что здесь решительнее всего осуждал Сципион. Нет для дружбы, говорил он, изречения более пагубного, чем такое: «Люби друга, но помни, что он может стать тебе врагом». Он отказывался верить, будто подобное суждение мог высказать Биант³⁴, которого принято считать одним из семи мудрецов, и полагал, что принадлежало оно человеку с нечистыми помыслами, снесаемому честолюбием, норовящему все подчинить своей власти. Как же стать человеку другом, если знаешь, что можешь сделаться ему врагом? Надо, выходит, того только и желать, чтобы друг почаще совершал дурные поступки, подавая повод осудить себя. Справедливые же поступки и удачи друга должны нас, значит, мучить и терзать завистью? (60) Вот почему такое правило, кому бы оно ни принадлежало, годится разве на то, чтобы разбить дружбу; несравненно вернее иной совет: выбирать друзей особенно тщательно и не привязываться к тому, кого когда-нибудь сможешь возненавидеть. А если уж ошибся в выборе, полагал Сципион, то лучше терпеть, чем думать, будто любовь рано или поздно превратится в ненависть.

XVII. (61) По всему по этому меру дружбы, как мне кажется, надо понимать так: когда нравы друзей безупречны, тогда должно установиться между ними единство поступков, помыслов и желаний, не знающее никаких изъятий и столь полное, что, случись нам помогать другу и не в самом справедливом деле, но таком, где речь идет о его жизни или добром имени, надо свернуть ради него

с прямого пути, если только не чревато это подлостью и бесчестьем, ибо предел, за который правам дружбы простираться не дано, здесь. Нельзя пренебрегать своим добрым именем или оставаться равнодушным к любви сограждан, которая столь властно побуждает нас к деятельности; позорно добиваться ее лестью или угодничеством, но стыдиться доблести только за то, что она приносит любовь народа, и подавно не след. (62) Часто сетовал он — я опять имею в виду Сципиона, который постоянно рассуждал о дружбе, — говоря, что ни о чем на свете не заботятся люди так мало, как о ней: каждый может сказать, сколько у него коз и овец, а сколько друзей, не знает; покупая скот, он бывает особенно осторожен, друзей же выбирает легкомысленно и не видит ни знаков, ни примет, по которым распознаются заслуживающие дружбы. Выбирать следует надежных, неизменных и твердых, а их-то как раз труднее всего сыскать. Да и нелегко решить, есть ли у человека эти свойства, пока не проверишь его; проверкой же такой может стать лишь сама дружба; а она возникает до всякого размышления, и, значит, подвергнуть ее испытанию заранее не удастся. (63) Дело каждого, кто разумен и осторожен, поэтому сдерживать чувство приязни и в первом его порыве, и, так сказать, в дальнейшем беге... Как предпочитаем мы испытанных коней, так и в дружбе нужно хоть на чем-то проверить нрав друга. Одни сразу же, в самых ничтожных денежных делах, обнаруживают, как мало на них можно положиться; на других небольшие деньги впечатления не производят — чтобы их раскусить, нужны деньги покрупнее. Впрочем, те, что сочтут зазорным поставить выше дружбы деньги, еще попадают; ну а почести, магистратуры, неограниченная власть, высокое положение, могущество — много ли сыщется людей, которые не предпочтут их, если дать каждому выбор, где с одной стороны законы дружбы, а с другой — все эти блага? Нет, слаб человек, трудно ему устоять перед соблазном власти, и если в погоне за ней он даже пожертвует дружбой, все сочтут, что действительно не стоило принимать ее в соображение, ибо ради столь веской причины дружбой можно и пренебречь. (64) Потому-то подлинная дружба встречается реже всего среди вечно занятых государственными делами и борьбой за почести, и где тот человек, который откажется от высокой должности в пользу друга?.. Да что

тут... как тяжело и трудно многим просто поддерживать дружбу с тем, кто впал в несчастье, как редко встретишь способного на это! Прав Энний³⁵:

В беде лишь распознаешь друга верного, —

и на поверку большинство людей в самом деле оказываются либо легкомысленными, так как равнодушны к другу в удаче, либо ненадежными, так как покидают его в беде.

XVIII. Поэтому если встретим мы человека, который и в одном и в другом случае останется достойным, преданным долгу и постоянным, мы должны смотреть на него как на редчайшее исключение, почти как на бога.

(65) Но что укрепляет его в такой преданности и постоянстве? То, чего мы, собственно, и ищем в дружбе, — верность, ибо где ее нет, там нет и постоянства. Поэтому и разумно вступать в дружбу с тем, кто прям, прост и нам близок, кого, другими словами, волнует то же, что нас, так как в этом залог верности. И напротив того, ни верным, ни надежным не может быть человек с душой переменчивой и не прямой, которого к тому же не трогает то, что трогает нас, который и думает и чувствует по-иному. Следует еще добавить, что настоящий друг не станет ни порицать или обвинять нас для собственного удовольствия, ни верить чужим наветам — из чего и складывается та преданность долгу, о которой я давно уже веду речь. Вот и выходит, что правильно сказал я в самом начале: дружба может существовать только между достойными людьми. Достойный же человек — а раз достойный, значит, и мудрый — будет придерживаться в дружбе двух правил: во-первых, никогда не притворяться и не прикидываться, — открытая ненависть благороднее, чем личина, скрывающая настоящий образ мыслей; во-вторых, не только презирать обвинения, кем-либо возводимые на друга, но и самому не быть подозрительным, не думать вечно, будто друг в чем-то поступил не так. (66) К этому пусть прибавится приятность речи и обхождения, которая так оживляет и укрепляет дружбу. В серьезности и постоянной суровости есть некая возвышенная важность, но ведь дружба должна быть и снисходительнее, и шире, и мягче и охотнее допускать веселую простоту обращения.

XIX. (67) Есть тут, правда, вопрос, который может показаться затруднительным: не следует ли старым друзьям предпочитать иногда новых, оказавшихся достойными на-

шей дружбы, подобно тому как мы предпочитаем молоденьких лошадок старым коням? Что за недостойное человека сомнение! Дружбе неведомо пресыщение, столь свойственное другим чувствам, она как выдержанное вино — чем старше, тем слаще. Справедливо сказано: что значит дружба, поймешь только, когда съешь вместе не одну меру соли. (68) Сажая в землю здоровый росток, мы верим, что получим плод; столь же добрую надежду порождает в нас новая дружба, но ведь и от старой отказываться не след; сохраним ее лучше в уже отведенном ей уголке души, ибо нет на свете ничего сильнее старины и привычки. Вот и старого коня, о котором я только что вспоминал, кто же сменит без особых причин на молодого и необъезженного? Не только с живыми существами властно соединяет нас привычка, но даже с тем, что лишено души, и разве не испытываем мы любви к местам, пусть лесным и гористым, где прожили долгое время?

(69) Самое, однако, трудное в дружбе — быть вровень с тем, кто ниже тебя. Часто бывает, что человек возвышается над окружающими, как возвышался Сципион над нашим, если можно так выразиться, стадом. Никогда не ставил он себя выше того же Фила, выше Рупилия или Муммия, выше друзей из низших сословий. К брату своему Квинту Максиму³⁶, человеку достойному, но никак ему не равному, он относился как к наставнику потому лишь, что был младше него, и всех родных стремился возвысить своим влиянием и заслугами. (70) Вести себя так же и подражать ему должны все: с высоты доблести, ума, удач — делиться с родными и близкими; если кто происходит от незнатных родителей, если имеет родственников, стоящих ниже по способностям и положению, пусть старается их возвысить и стать для них источником почета и достоинства. Так ведь и поступали герои многих сказаний — никто не ведет их племени и рода, и до поры до времени они живут в услужении, потом кто-нибудь их узнает, выясняется, что они — дети богов или царей, но как прежде сохраняют они привязанность к пастухам, в которых столько лет видели родителей. Тем более надлежит вести себя так с родителями подлинными. Плодами своих дарований, доблести и других достоинств мы полнее всего наслаждаемся, разделяя их с близкими. XX. (71) Потому-то в союзе друзей или родных, кто стоит над другими, тот должен держать себя с более скромными как равный, но и им не следует обижаться,

если кто из близких оказывается выше их по уму, богатству или положению. А они-то как раз чаще всего и жалуются, и попрекают друзей, особенно если считают себя вправе сказать, будто те достигли чего-либо благодаря их дружеской помощи и трудам. До чего же отвратительно, когда нас попрекают оказанной услугой! Тот, кому она оказана, должен о ней помнить, а не оказавший — напомнить о ней. (72) Вот почему в дружбе стоящие выше должны как бы спускаться, а стоящие ниже — восходить. Есть, правда, еще и такие, дружить с которыми особенно тягостно из-за постоянного их опасения, будто их презирают; но случается это редко и лишь с теми, кто в глубине души уверен, что их и следует презирать. Такому человеку приходится помогать не столько словом, сколько делом. (73) Давать же каждому можно лишь в меру сил — и собственных, и того, кому стремишься помочь. Будь ты даже самым выдающимся человеком — ты все равно не сможешь добыть для всех близких высшие государственные должности. Сципион, например, сумел сделать консулом Публия Рупилия, а брата его Луция — нет. Но если ты и в силах оказать другому любую услугу, взвесь прежде, по плечу ли она ему.

(74) Вообще же, о дружбе надо судить лишь после того, как характер друзей установился и окреп с возрастом. Если вы в ранней молодости со страстью занимались охотой или игрой в мяч и полюбили тех, кто разделял ваши увлечения, разве следует отсюда, что они-то и должны остаться вашими друзьями? Если считать главным право давности, получится, что больше всех могут притязать на нашу приязнь кормилицы или дядьки, — которых любить, конечно, надо, но ведь иначе, чем друзей. Только между зрелыми людьми дружба может быть прочной, а не то с возрастом меняется образ жизни, появляются новые пристрастия, и несходство их разводит друзей. В сущности, достойные люди не могут дружить с дурными, а дурные — с достойными именно потому, что по складу жизни и стремлениям они как нельзя более далеки друг от друга. (75) И справедлив поэтому будет совет: никогда не изменять высшему благу друга ради столь обычной слепой привязанности к нему. Обратимся снова к сочинениям поэтов. Неоптолем никогда не взял бы Трою³⁷, если бы остановился выслушать Ликомеда, когда тот, рыдая, преградил ему путь — а ведь Ликомед вырастил Неоптолема в своем доме. Великие дела требуют нередко расстаться с близким человеком, и тот, кто мешает другу

взяться за них, опасаясь, что слишком тяжела будет разлука, тот ненадежен, слаб духом и потому погрешает и против законов дружбы. (76) Начиная любое дело, взвесь, чего тебе придется потребовать от друга и сможешь ли ты сам выполнить его требования.

XXI. Разрыв с другом — всегда беда, но порой неизбежная: я ведь давно уже веду речь о дружбе не мудрецов, а людей обыкновенных. Пороки человека сплошь да рядом наносят ущерб его друзьям, и даже если страдать приходится посторонним, позор все равно ложится на близких. Но и от такого друга, как я однажды слышал от Катона, отдаляться следует постепенно, отвыкать от него исподволь, а не расставаться сразу, кроме, разумеется, тех случаев, когда дела его столь нестерпимы и преступны, что не порвать с ним немедленно было бы и неправильно, и нечестно, и невозможно. (77) Ну, а если у людей изменятся характер и стремления или если государственные интересы разведут их по враждующим станам — я, повторяю, говорю сейчас не о мудрецах, а о друзьях, каких встречаешь в обыденной жизни, — здесь уж мало стараться, чтобы дружба не прервалась, а надо смотреть, как бы она не превратилась во вражду. Нет ничего позорнее, чем вести войну против человека, с которым раньше был близок. Сципион, как вы знаете, ради меня отказался от дружбы с Квинтом Помпеем³⁸, несогласие в государственных делах заставило его разойтись с нашим коллегой Метеллом³⁹, но вел он себя с достоинством, без обиды и ожесточения. (78) Вот почему надо прежде всего избегать разрыва с друзьями; если он паче чаяния наступит, сделать так, чтобы казалось, будто дружба угасла сама собой, а не была прервана, и более всего следует опасаться, как бы не превратилась она в упорную вражду, родящую распри, наветы и оскорбления. Если обиду можно стерпеть, то и нечего обращать на нее внимание, храня честь былой дружбы и памятуя, что позор всегда падет на обидчика, а не на того, кто снес обиду.

Вообще же, от всех таких неудач и напастей есть лишь одно средство и одна защита — дарить своей дружбой только людей достойных и не слишком поспешно. (79) Достоин же дружбы тот, кого мы выбираем за свойства души и любим ради него самого. Редко встретишь такого человека. Что ж, все прекрасное редко, и найти подлинного друга не труднее, чем отыскать любую вещь без изъяна и в своем роде совершенную. Но люди почти всегда ищут одного —

прибыли, а друзей выбирают, как скот, — лишь бы побольше получить прибутку. (80) Потому-то столь редко встречается дружба наиболее прекрасная и естественная — та, что возникает сама по себе, что ищут ради нее самой, и суть и силу которой человек не в состоянии понять, пока не обернется на себя. Ведь каждый любит себя не ради награды за любовь, а просто потому, что всякий сам себе мил. Если не соблюдать того же правила в дружбе, никогда не найти настоящего друга, ибо им может стать лишь тот, кто для тебя все равно что ты сам.

(81) И если так ведут себя звери лесные, птицы небесные и рыбы морские, неразумные животные, и домашние и дикие, которые все сначала любят самих себя, ибо с этим чувством появляется на свет все живое, а потом тотчас же начинают искать другое существо своей породы, дабы с ним сблизиться, прилепиться к нему, если они все испытывают при этом какое-то пылкое влечение друг к другу, как бы некое подобие человеческой любви, то насколько же более сильными сделала природа эти чувства в человеке, который и себя любит, и другого стремится отыскать, чтобы две души слились в одну.

XXII. (82) Существует, однако, множество людей, одержимых странным — чтобы не сказать бесстыдным — желанием иметь другом такого человека, каким сами стать не в силах, и получать от него все, чего ему дать не могут. По справедливости же надо прежде всего самому быть человеком достойным и лишь потом искать другого по своему образу и подобию. Крепкая дружба, о которой мы давно уже говорим, и может утвердиться лишь тогда, когда люди, связанные взаимной привязанностью, научатся владеть своими страстями, а не служить им рабски, как другие, установят между собой полное равенство и справедливость, готовы будут для друга на все, зная, что потребовать он может лишь того, что честно и законно, — словом, когда они станут не только ценить и любить друг друга, но и друг перед другом стыдиться. Ибо там, где не испытываешь к другу высокого почтения, заставляющего стыдиться каждого дурного поступка, дружба лишается прекраснейшего своего украшения. (83) Самое пагубное заблуждение — думать, будто в дружбе можно давать волю всем своим вожеланиям и дурным наклонностям. Природа создала ее спутницей доблести, а не пособницей пороков, породила ее на свет, чтобы доблестная душа, соединившись с себе по-

добной, могла подняться на вершины, которых она в одиночестве достичь не в силах. И если у кого есть друзья, кто ведал дружбу в прошлом или изведает ее в будущем, тот получил от природы самых лучших и прекрасных провожатых по пути к высшему благу. (84) В таком содружестве заключено все, к чему, по общему мнению, надлежит стремиться — добродетель, слава, спокойствие души, безмятежное веселье; и жизнь человека, у которого все это есть, полна счастья, а тот, кто этого не изведal, вообще не жил. Если же высшее и подлинное благо заключено здесь и если именно его мы хотим добиться, то для этого и нужно в первую голову стремиться к доблести, так как без нее нет ни дружбы, ни всего остального, чего должно желать. Те же, кто полагает, будто и без нее есть у них друзья, на горьком опыте поймут, насколько они ошибались. (85) Вот почему — и это следует повторять почаще — надо судить человека, прежде чем полюбил его, ибо, полюбив, уже не судят. Мы же во многих делах позволяем себе быть небрежными, а тем пуще в выборе друзей и в отношениях с ними; здесь-то мы и бываем, как говорит старая пословица, задним умом крепки и стараемся переделать сделанное: когда повседневная близость и взаимные услуги завели нас слишком далеко, мы вдруг на что-нибудь обижаемся и внезапно рвем сложившиеся было дружеские связи.

XXIII. (86) В выборе друзей небрежность еще предосудительнее, чем в любом другом деле. Из всего, что дано человеку, только дружбу все в один голос признают благом. Многие осуждают самую доблесть, видя в ней и бахвальство и что-то показное; многие презируют богатство и, довольные малым, находят радость в жизни легкой и простой; есть люди, которых томит жажда почестей, а ведь, на иной взгляд, нет ничего более вздорного и пустого! Так и во всех остальных делах — то, что у некоторых вызывает восхищение, большинство и в грош не ставит. Об одной лишь дружбе все судят одинаково — и те, кто занят делами государства, и те, кто черпает радость в науках и учении, и те, которые единственным своим делом почитают безделье, и те, наконец, кто с головой ушел в наслаждения, — все считают, что без дружбы нет жизни, по крайней мере такой, которая хоть в чем-то была бы достойна свободного человека. (87). Неведомыми путями прокладывает себе дружба путь в жизни каждого, и ни одному возрасту не дано обойтись без нее. Даже тот, кого собственный суровый и дикий нрав

заставляет, как некоего афинянина Тимона⁴⁰, ненавидеть людей и бежать их общества, и тот не в силах обойтись без человека, перед которым он мог бы излить всю желчь и горечь. Это стало бы еще очевиднее, если бы могло случиться так, что какой-то бог восхитил нас из общества людей, перенес в пустыню и, щедро снабдив всем, чего требует наша природа, навсегда лишил возможности видеть себе подобных. Найдется ли железный человек, способный выдержать такое существование и не лишиться в одиночестве всякой радости жизни. (88) Потому-то и справедливы слова, которые любил повторять, кажется, тарентинец Архит — я слышал их от наших стариков, а те от других, живших еще раньше: «Если бы кто, взойдя один на небо, охватил взором изобилие вселенной и красоту тел небесных, то созерцание это не принесло бы ему никакой радости; и оно же исполнило бы его восторга, если бы было кому рассказать обо всем увиденном». Природа не выносит одиночества, каждый стремится найти опору в другом, и чем милее нам этот другой, тем опираться на него слаще.

XXIV. И все-таки, сколь ни ясно являет нам природа свою волю, свое стремление и желание, мы остаемся к ней непостижимо глухи и не слышим, чего она от нас требует. Многое и всякое случается в дружбе, немало бывает причин для подозрений и обид, но мудрец знает, когда не обратить на них внимания, когда постараться смягчить их, а когда и стерпеть. Есть обиды, которые снести необходимо, если хочешь, чтобы дружба оставалась и полезной другу, и нерушимой. Ведь иной раз приходится и потребовать чего-то от близкого человека, и выбрать его, но если это делается с любовью, то и принимать такие вещи следует по-дружески. (89) И все же почему-то как прежде справедливы слова, сказанные моим добрым знакомцем в «Андрианке»⁴¹:

...Ведь в наши дни друзей
Уступчивость родит, а правда — ненависть.

Правда действительно опасна, если из нее рождается ненависть — эта отравя дружба, — но уступчивость оказывается на поверку гораздо опаснее. Из-за нее мы прощаем другу его провинности и даем ему скатиться в пропасть, когда он едва оступился. Ну а хуже всех тот, кто и сам правды чурается, и своей уступчивостью позволяет друзьям совлечь себя с прямого пути. Тут надо всеми силами стараться образумить друга — но без злобы, даже выругать

его — но без оскорблений. В уступчивости, если уж употреблять это полюбившееся мне словцо Теренция, должна быть мягкость, но не угодливость — пособница всех пороков, свойство, недостойное не только друзей, но и вообще свободных людей; ведь общение с другом — это не то, что жизнь рядом с тираном. (90) Чьи уши закрыты для правды и кто не в силах выслушать ее из уст друга, того не спасет уже ничто. Среди суждений Катона известно и такое: «Лучше язвительный враг, чем сладкоречивый друг; тот хоть часто говорит правду, а этот никогда». Самое нелепое, что люди, выслушивая наставления друга, досадуют не на то, на что следовало бы, а на то, что лучше бы принять без всякой досады: свой проступок их не мучит, а порицание сердит, в то время как надо бы, наоборот, о преступлении скорбеть, а исправлению радоваться.

XXV. (91) И раз уж подлинная дружба требует и образумить друга, когда надо, и выслушать от него, что заслужил, требует высказать упрек прямо и без злобы, а принять спокойно и без раздражения, то надо согласиться, что главная угроза здесь — лесть, сладкоречие, потворство, тот порок, который носит много имен, но всегда обличает людей легкомысленных, лживых, стремящихся каждым словом угодить, а не сказать правду. (92) Притворство извращает само представление о правде и разрушает его; оно отвратительно поэтому везде и во всем, но более всего в дружбе, которая без правды вообще теряет смысл. Суть дружбы в том, что разные души как бы сливаются воедино, но как же это получится, если каждая будет не едина и неизменна, а непостоянна, изменчива и многолика? (93) Есть ли на свете что-либо менее постоянное и более зыбкое, чем душа человека, который весь готов вывернуться наизнанку не только по слову и желанию другого, но даже по его знаку или кивку.

Скажет «нет» кто — я согласен, скажет «да» — согласен вновь.
Взял за правило себе я не перечить никому, —

говорит тот же Теренций — правда, устами Гнатона⁴², а заводить друзей вроде него, способны только самые легкомысленные глупцы. (94) Есть, однако, немало людей, стоящих выше Гнатона по положению, богатству и известности, но во всем остальном на него похожих, и вот их-то поддакивание тем вреднее, что лгут люди почтенные и влиятельные. (95) Распознать льстеца и отличить его от

подлинного друга можно так же, как вообще отличают личину и притворство от искренности и правды — взглядевшись попристальнее. Кто радетель черни, то есть льстец и худой гражданин, а кто верный долгу, суровый и степенный муж, может рассудить даже сходка людей неискушенных. (96) Вот недавно какой только лестью не ублажал Гай Папирий граждан на сходке, когда проводил свой закон о повторном избрании в народные трибуны! Я сумел разубедить их, но правильнее, наверное, и в этом случае говорить не обо мне, а о Сципионе. Боги бессмертные, какого сурового достоинства, какого величия исполнена была его речь! Можно было подумать, что говорит не просто один из граждан, а вождь и наставник народа римского. Впрочем, вы ведь сами там были, да и запись его речи у всех в руках. После нее закон, предложенный как бы на пользу народу, был отвергнут голосованием народа. Если же говорить обо мне, вы, наверное, помните, каким угодным народу считался закон о жреческих коллегиях, предложенный Гаем Лицинием Крассом⁴³ в консульстве Квинта Максима, брата Сципиона, и Луция Манцина? Пополнение коллегий передавалось по этому закону на благоусмотрение народа; так к тому же еще Красс первым придумал, выступая на форуме, обращаться к народу лицом. Но верность бессмертным богам восторжествовала с моей помощью над речью этого потатчика толпы. И ведь это произошло за пять лет до моего консульства, я был тогда еще претором, и, значит, сама правота нашего дела, а не высшая государственная власть одержала здесь победу. XXVI. (97) Если даже в театре, то бишь на сборище, где самое место всяким басням и выдумкам, истина, высказанная прямо и честно, все-таки берет верх, то как же должны обстоять дела в дружбе, которая вся стоит на правде? Ведь здесь, если и ты сам, и твой друг не будете, что называется, нараспашку, ни доверия между вами не останется, ни знать вы друг друга не будете; да и как ты можешь любить другого, а он тебя, если оба вы не ведаете, насколько это искренне? Как ни отвратительна лесь, опасна она лишь тому, кто ее ловит и ею наслаждается. Он оттого и слушает льстецов особенно охотно, что сам себе готов льстить, сам от себя в восторге. (98) Конечно, доблесть тоже знает себе цену и понимает, почему достойна любви, но я ведь говорю сейчас не о подлинной, а о мнимой доблести, ибо доблестных куда меньше, чем желающих

казаться доблестными. Они-то радуются лести и, когда им подносят лживые похвалы, приноровленные к их желаниям, склонны принимать пустую болтовню за доказательство собственных достоинств. И, значит, никакая это не дружба, если один не хочет слышать правду, а другой готов лгать. Даже в комедиях лесть прихлебателей не была бы так смешна, если бы расточали ее не перед хвастливым воинами.

Ну что, Фаида очень благодарна мне?⁴⁴.

Довольно было бы ответить «очень», но в комедии сказано: «безмерно». Лстец всегда объявит огромным то, что человек, которому он угождает, хотел бы видеть большим. (99) Вот почему, хотя угодничество — мишура, оно нравится тем, кто сами его ждут и жаждут; однако и более степенных и стойких нужно порой призывать к осторожности, чтобы они не попались на лесть похитрей. Ведь лстеца, действующего открыто, не распознает разве что безумный; но следует опасаться, как бы не забрался к вам в душу лстец хитрый и тайный. Его сразу и не раскусишь, он умеет польстить даже тем, что вступит в спор, угодить тем, что начнет препираться, а под конец сдастся, признает себя побежденным, дабы тот, кого он стремится обмануть, показался дальновиднее и прозорливее. Может ли быть что-нибудь позорнее, чем поддаться на такой обман? Этого надо опасаться больше всего на свете.

Вовеки глупых стариков в комедиях
Не надували, как сегодня ты меня⁴⁵.

Даже в комедии самое глупое лицо — доверчивый старик, который дальше своего носа не видит.

Однако я и сам не заметил, как наша беседа от дружбы людей совершенных, то есть мудрых (я имею в виду мудрость обычную, человеческую) перешла на пустое приятельство. Давайте-ка лучше вернемся к тому, с чего начали, чтобы на этом и кончить.

XXVII. Гражданская доблесть, Гай Фанний, и ты, Квинт Муций, — вот что, говорю я вам, делает людей друзьями и охраняет их дружбу. Из нее, и только из нее, проистекает согласие в поступках, постоянство и неколебимая преданность. Где предстанет она, где явит свой свет, где почувствует и узнает себя в другом человеке, туда она и обращается, стремясь вобрать в себя найденное в другом. Тогда-то и возникает дружелюбие, которое мы обозначаем

словом, соединяющим в себе дружбу и любовь. Любить — значит восхищаться другом ради него самого, не помышляя ни о своих нуждах, ни о пользе, которая произрастет из дружбы сама по себе, подобно цветку, когда ты меньше всего о ней думаешь. (101) Такой любовью любили мы в пору нашей молодости знаменитых стариков тех времен — Луция Павла, Марка Катона, Гая Гала, Публия Назику⁴⁶, Тиберия Гракха⁴⁷ — тестя нашего Сципиона; еще крепче связывает она ровесников — меня хотя бы со Сципионом, Луцием Фурием, Публием Рупилием, Спурием Муммием. Став стариком, я, в свою очередь, ищу успокоения в любви молодежи — в вашей или Квинта Туберона, и до сих пор наслаждаюсь дружбой таких молодых людей, как Публий Рутилий или Авл Вергиний⁴⁸. И раз уж такова наша природа, раз так устроена жизнь наша и одно поколение сменяет другое, то самое желанное, что может выпасть на долю человека — пройти рядом с тем, с кем ты выступил в путь, как говорится, до последней черты. (102) Участь наша изменчива, зависит от случая, и потому всегда так важно иметь опору — друга, которого ты любишь и который любит тебя; без любви же и приязни жизнь лишается всякой радости. Вот ушел нежданно из жизни Сципион, — но для меня он жив и будет жить вечно, ибо я любил в нем доблесть, а она не знает смерти. Не только у меня, видевшего ее воочию, стоит она перед глазами, но в том же своем неповторимом блеске будет стоять и перед глазами потомков. Нет человека, который, решаясь на великий подвиг, не вспомнил бы о Сципионе и не вызвал бы в мыслях его образ. (103) Какими бы благами ни одарили меня судьба и природа, ничто не может сравниться с дружбой Сципиона. Благодаря ей одинаково смотрели мы на дела государства, она помогала нам разрешать трудности повседневной жизни, в ней обретали мы полное отрады отдохновение. Никогда, мне кажется, не нанес я ему самой малой обиды и никогда не слышал от него ничего, что бы задело меня. Мы жили одним домом, ели одну пищу за одним столом, вместе отправлялись на войну, в поездки, в деревню. (104) А что сказать об общем нашем стремлении всегда узнать что-то новое, всегда чему-то научиться? В этих занятиях, скрывшись от людских глаз, проводили мы все свободное время, и если бы эти воспоминания ума и сердца исчезли вместе со Сципионом, никогда не достало бы у меня сил вынести тоску о столь близком и столь дорогом человеке. Но они

не умерли и чем дальше, тем больше заполняют размышления мои и память; лишись я их, мне останется только одно великое утешение — мысль о том, что я стар и, значит, недолго придется мне жить в такой тоске. А краткие скорби, как бы велики они ни были, сносятся легче.

Вот, что я мог сказать о дружбе. Я хотел бы, чтобы в душах ваших выше нее стояла одна лишь доблесть — доблесть, без которой нет и самой дружбы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗ ПИСЕМ

К Аттику (I, 6)

Если тебе подвернется что-либо подходящее для украшения гимнасия, не упусти такой возможности. Тускул обладает для меня таким обаянием, что только там я чувствую себя подлинно в ладу с самим собой.

К Аттику (I, 8)

Как ты велел, я позаботился и приказал заплатить двадцать тысяч четырехсот сестерциев Луцию Цинцию за статую из Мегары. Я предвкушаю наслаждение от Гермеса из Пентеликского мрамора с бронзовой головой, о котором ты меня уведомил. Прошу тебя, не медли с его отправкой, а также отправь статуи и другие произведения искусства, которые сочтешь подходящими для того места, либо в моем вкусе, либо делающие честь твоему выбору; как только сможешь, так быстро, как только возможно; но в первую очередь отправь те вещи, которые подходят для гимнасия или для галереи. Это моя страсть: другие ее порицают, ну а ты — ты должен ее насытить. Если ты пропустил корабль Лентула, найми другой.

К Аттику (I, 9)

Я с нетерпением ожидаю прибытия статуй мегарских и Гермеса, о которых ты мне писал. Все, что найдешь в подобном роде и что покажется тебе достойным моей академии, отправляй ко мне и не бойся опустошить мой кошелек. Вот отныне моя единственная страсть. Особенно гимнасий хочется мне украсить. Лентул предлагает в мое распоряжение свои корабли. Вручаю тебе свою судьбу в надежде на твоё проворство. Фиил хочет Евмолпидов. Я присоединяюсь к его просьбе.

К Аттику (I, 10)

Не пропусти, прошу тебя, первый же подходящий случай погрузить на суда мои статуи, моего Гермеса-Геркулеса и все, что ты сочтешь подходящим для помещения, которое тебе известно, особенно же для моей палестры и моего гимнасия. Я пишу тебе там, оттого и напоминаю. Прошу также прислать лепные орнаменты для плафона в атрие и две каменные ограды с фигурами для колодцев. Ни с кем не вступай в переговоры о своей библиотеке, какой бы пылкий любитель ни нашелся. Я откладываю все свои жалкие сбережения на эту покупку, которая станет надеждой моей старости.

К Аттику (I, 4)

Я в восторге оттого, что ты рассказываешь о моей статуе Меркурия-Минервы. Она как нельзя более подходит для моей академии, поскольку Меркурий — обязательное украшение для любого гимнасия, а Минерва должна особенно отличать именно мой. Высылай мне по-прежнему все, что отыщешь из произведений искусства, пригодных для того же. Я еще не видел последние присланные тобой статуи. Они в Формиях, куда я рассчитываю вскоре отправиться. Я прикажу их все привезти в Тускул. Что ж до украшения дома в Кайете, когда заведутся лишние деньги, я об этом подумаю. Храни, прошу тебя, свои книги и не теряй надежды. Они будут моими, клянусь тебе. Когда этот счастливый день наступит, я сочту себя богаче Красса и возвеличенным над всеми полководцами и над всеми жителями земли.

К Аттику (IV, 10)

Я пожираю книги из библиотеки Фавста; можно ли найти — думаешь ты про себя — в Путеолах и на Лукринском озере что-либо хорошее. Здесь нет недостатка в хороших вещах, в самом деле, уверяю тебя; но при теперешнем состоянии государственных дел я утратил вкус и к ученым занятиям и к удовольствиям. Одни только письма меня поддерживают и утешают. Наша с тобой маленькая скамеечка под бюстом Аристотеля, где я отдыхаю, мне дороже всех курульных кресел мира; прогулка у тебя на

вилле и с тобой дороже общества глупцов, с которыми мне тоже придется прогуливаться, как я предвижу. Но оставим разговор о прогулках, положившись на удачу и на волю богов, если существуют боги, которые занимаются подобными вещами. Не забудь о моей галерее, и о моих лаке-демонских банях, и обо всем, что Кир просит. Посещай их почаще. Поторопи Филотима.

О МОЕМ КОНСУЛЬСТВЕ

(фрагмент)

- В самом начале горит огнем эфирным Юпитер,
Кружится, целый мир сияньем своим освещая,
К небу, к земле стремясь божественным духом, который
Тайную суть людских и чувств, и жизнью питает,
- 5 В вечном эфире скрыт, заключен в эфирных пустотах.
Только начнешь познавать светил пути и движенье:
Тех ли, что входят в состав одного из небесных созвездий,
Тех ли, что нарекли неверно «бродягами» греки
(в самом же деле они размеренным движутся ходом),
- 10 Сразу поймешь, что всем божественный дух управляет.
Ибо, консулом став и на холмах снежной Альбаны
В праздник Латинский богам возливая жирное млеко,
Видел звездный полет и ты своими глазами,
Видел сулящие зло светил мерцающих встречи,
- 15 Яркий огонь комет, окруженных трепетным блеском,
И заключил, что грядет ночная резня и смятенье
(так как с суровой порой совпадали латины нередко),
Ибо тогда Луна тускнеть начала, помрачаться,
Гаснуть и скрылась совсем, поглощенная звездною
ночью.
- 20 Разве иное вещал раздоров мрачный глашатай,
Факел Феба, что взмыл до великой небесной вершины
И улетел к краям закатным и западным неба?
Или когда гражданин, средь белого дня пораженный
Молнией страшной, упал и жизни мгновенно лишился?
- 25 Или когда земля содрогалась телом тяжелым?
Мало того, по ночам являлись в разных обличьях
Страшные призраки, нам мятежи предвещая и войны,
Из иступленных сердец пророков везде изливались
Всяких несчастий и бед многочисленные предсказания,

- 30 Сбыться сулил и тому, что в прежние беды бывало,
Вышний отец богов, постоянно и ясно вещая
Волю свою в земных и небесных предзнаменованиях.
Также и то, что еще при консулах Котте с Торкватом
Вещий лидиец предрек, гарусник тирренского рода,
35 В твой консулат сбылось, в единый год уместилось.
Ибо в тот год отец высокогремевший с Олимпа
Звездного сам поразил свои высоты и храмы
И в Капитолий метнул свои огни громовые.
Рухнула древняя медь родовитой статуи Натты,
40 Пламя расплавил вмиг начертания древних законов,
И истуканы богов небесный огонь уничтожил.
Там же лесная была кормилица племени римлян,
Марция, что из сосцов источала живящую влагу
Маленьким двум близнецам, зачатым от семени Марса:
45 Вместе с детьми сражена ударом молнии, наземь
Рухнула, и от нее на месте лишь лапы остались.
Всякий в те времена размышлял о бумагах этрусков,
Грозный смысл находя в затейливых их сочиненьях,
Ибо они о беде убийственной предупреждали,
50 Произойдет же она от знатного римского рода.
Единогласно они сулили гибель законов
И наставляли спасти от огня и город, и храмы,
Остерегаться резни ужасной и кровопролитья,
И говорили, что все, как рок решил, и случится,
55 Если святой истукан Юпитера, сделанный славно,
На возвышенном столпе не будет повернут к востоку.
Только тогда народ и священный сенат распознают
Тайные козни, когда, к восходу лицом обратившись,
Статуя будет глядеть на обитель отцов и народа.
60 Столь опоздавшую, столь долгожданную статую бога
Подняли вверх наконец как раз при твоём консулате.
Точно известно: едва наверх водруженный Юпитер
Жезлом сверкнул златым с высоко взнесенной колонны,
Как и народ и сенат услышали от аллоброгов,
65 Что и огонь и мечи готовят городу гибель.
Верно, выходит, те, которых память храните,
Правившие страной, как долг и разум велели,
Верно ваши отцы, с которыми мудростью, верой,
Набожностью никто из людей не в силах сравняться,
70 Верно держались они наиревностного благочестья,
Так же о вере пеклись идущей от сердца заботой
Те, кто досуг проводил в веселых и славных занятиях

- В Академической ли тени иль в блестящем Ликее,
Из плодovitых умов науки свет изливая.
- 75 Юношей в первом цвeтy из ученого мирного круга
Вырвав, всергла тебя отчизна на поприще долга.
Ты же, от дел и забот об отчизне подчас отдыхая,
Мне и занятиям моим посвящаешь свободное время.

КОММЕНТАРИИ

Задача настоящей книги состоит прежде всего в том, чтобы представить сколько-нибудь полно эстетические воззрения Цицерона, сведя для этой цели воедино основные его суждения и замечания по вопросам эстетики. Взгляды Цицерона в этой области иногда представлены широко известными крупными произведениями, целиком посвященными кардинальным эстетическим проблемам, подчас — сочинениями мелкими, созданными в связи с теми или иными конкретными обстоятельствами и мало знакомыми широкому читателю; многие существенные с точки зрения эстетики суждения и замечания рассеяны по трактатам, речам и письмам, рассматривающим другие темы.

Во всех трех случаях ограниченный объем книги делал необходимым отбор материала. Из крупных сочинений пришлось ограничиться диалогом «Об ораторе», включенным в книгу в полном виде, отказавшись от «Оратора» и «Брута». Из небольших сочинений полностью помещены «Топика», «О наилучшем виде ораторов», две речи — против Гая Верреса («О предметах искусства») и в защиту поэта Авла Лициния Архия, и также поздний диалог «Лелий, или О дружбе» (он не связан непосредственно с эстетической проблематикой как таковой, но важен для понимания общей эволюции эстетического мировоззрения Цицерона и той роли, которую в его эстетической системе постепенно приобретало понятие идеала). В выдержках даны следующие произведения: из I книги «О нахождении материала» — § 1—7, из I книги «Тускуланских бесед» — § 1—7, из II книги «О природе богов» — § 12—168, и письма в «Приложении» (в основном тексте книги письма приведены полностью). Наконец, особое место занимает «Сновидение Сципиона». Оно представляет собой отрывок из VI книги диалога «О государстве». Но есть много оснований полагать, что первоначально оно было задумано и написано как самостоятельное цельное произведение; в этом своем самостоятельном цельном виде оно и включено в настоящее издание.

Значительная часть произведений Цицерона, вошедших в данное издание, публиковалась ранее в русских переводах; в настоящем комментарии в ряде случаев учтены пояснения и примечания, которыми эти переводы при публикации сопровождались. — Речь против Гая Верреса («О предметах искусства»). — *Марк Тулий Цицерон. Речи* в 2-х т. Т. 1. М., 1962, с. 398—404. Примечания В. О. Горенштейна; Речь в защиту поэта Авла Лициния Архия. — Там же, т. 2, с. 337—340. Примечания В. О. Горенштейна; Об ораторе. — *Марк Тулий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве*. М., 1972, с. 389—420. Примечания М. Л. Гаспарова; Тускуланские беседы. — *Марк Тулий Цицерон. Избранные сочинения*. М., 1975, с. 439—448. Примечания М. Л. Гаспарова; Сновидение Сципиона. — *Цицерон. Диалоги*. М., 1966, с. 194—197. Примечания И. Н. Веселовского и В. О. Горенштейна; О природе богов. — *Цицерон. Философские трактаты*. М., 1985, с. 330—339. Примечания и комментарии М. И. Рижского; Лелий, или О дружбе. — *Марк Туллий Цицерон. Избранные сочинения*. М., 1975, с. 451—453. Примечания В. М. Смирнина.

О НАХОЖДЕНИИ МАТЕРИАЛА

(I, I—V)

Данный трактат был написан Цицероном в молодости, во время изучения им ораторского искусства. В первоначальном виде представлял собой конспективную запись того, что говорили Цицерону его учителя. Решив через несколько лет опубликовать свои заметки, он добавил вступление. Стиль трактата мало характерен для Цицерона.

Точная дата написания трактата не известна. Принимая во внимание, что в нем нет упоминаний о событиях, имевших место после 91 г., тогда как о происшедшем ранее говорится довольно часто, можно предположить, что трактат написан около 91 г., когда Цицерону было пятнадцать лет. Сам автор упоминает, что данное произведение написано им в юношеском возрасте.

По стилю трактат довольно близок «Риторике к Гереннию», которая долгое время приписывалась Цицерону. Однако позже было установлено, что эти два произведения принадлежат различным авторам, которые пользовались одними и теми же греческими источниками по риторике. Один из источников можно указать довольно точно: это греческий ритор и писатель Гермагор Темносский (II в.), на которого определенное влияние оказали идеи стоиков. В трактате «О нахождении материала» эти идеи встречаются часто, хотя ни один из стоиков по имени не назван.

Как известно, *нахождение материала* — первая из пяти частей ораторского искусства. Далее следуют *расположение, выражение, запоминание, произнесение*. Цицерон хотел написать полную риторику, но закончил только первую ее часть. Трактат состоит из двух книг.

Книга первая

1. Общее вступление, защита красноречия (§ 1—5).
2. Функция, цель, материал, классификация красноречия (§ 5—9).
3. а) определение четырех уровней («состояний») красноречия: предположительный (*conjecturalis*), конкретный (*definitivus*), всеобщий (*generalis*) и переносный (*translativus*) (§ 10—16).
 - b) предмет речи может быть простым и сложным (§ 17).
 - c) случай, возникающий из письменных документов (§ 17—18).
 - d) дальнейший анализ уровней красноречия (§ 18—19).
4. Части ораторской речи.
 - a) Вступление (§ 20—26).
 - b) Рассказ (§ 27—30).
 - c) Разделение (§ 31—33).
 - d) Утверждение (§ 34—77).
 - e) Опровержение (§ 78—96).
 - f) Отступление (§ 97).
 - g) Подведение итогов (резюме) (§ 98—109).
 - h) Заключение.

Книга вторая

1. Вступление: эклектический характер данной книги (§ 1—10).
2. Предмет данной книги: аргументы, соответствующие каждому уровню красноречия и каждой части речи (§ 11—13). *

3. Речи, относящиеся к судебным или общественным делам (§ 14—154).
 4. Политические речи (§ 155—176).
 5. Речь, посвященная чьей-либо характеристике (§ 176—177).
 6. Заключение (§ 178).
- В данном издании публикуется отрывок из I книги (гл. I—V).

¹ Вопрос о происхождении красноречия вызывал в античности большие споры, которые отражены, в частности, во II книге философа-эпикурейца из Палестины *Филодема* (I в.). Защитники красноречия называли его искусством или даже наукой, противники — ловкостью, сноровкой, природным дарованием.

² *Марк Порций Катон Старший* *Цензорий* — консул 195 г., цензор 184 г. См. также примеч. 28 к «Речи против Гая Верреса». *Гай Лелий Мудрый* — консул 140 г. См. примеч. 30 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия». *Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший* (185—129) — приемный внук *Публия Корнелия Сципиона Африканского Старшего*. Политический деятель, военачальник. Консул 147 и 134 г., завоеватель Карфагена. В 60-е гг. вокруг Сципиона Младшего сложился кружок эллинофилов, высоко ценивших греческую культуру и стремившихся к созданию на ее основе национальной римской литературы и искусства. В 129 г. был найден мертвым в собственном доме. Бытовало мнение, что он был убит по политическим мотивам. *Тиберий Семпроний Гракх* — трибун 133 г. *Гай Семпроний Гракх* — трибун 123 г. Цицерон относился к Гракхам как к разрушителям государства, но уважал их за ораторское искусство. О Гракхах см. также примеч. 26 к «Об ораторе», кн. I.

³ Данный отрывок о восхвалении красноречия и его роли в развитии общества — общее место. Об этом же Цицерон говорит в диалоге «Об ораторе», I, 32, в трактате «О природе богов», II, 148, в «Тускуланских беседах», V, 5, где философии отводится такая же роль, как и красноречию.

⁴ *Георгий Леонтинский* — философ из Леонтины (Сицилия), ученик Эмпедокла, учитель красноречия в Афинах. Жил в V в.

ТОПИКА

Данное сочинение Цицерона посвящено ораторскому использованию общих мест и докзательств. В античной риторике термин «общее место» (*locus communis*) обозначал тему, которая может быть использована в речах, относящихся к материалам различного характера. Об обстоятельствах и времени написания «Топики» говорится в I главе сочинения: оно было создано, скорее всего, в 46 г. по просьбе *Гая Требатия Тесты* — юрисконсульта, который по рекомендации Цицерона служил с Цезарем в Галлии.

Какой именно греческий трактат использован в качестве источника для данного произведения, до конца не ясно. Мнение, что это «Топика» Аристотеля, сейчас отвергается. В настоящее время наиболее вероятным считается взгляд, согласно которому Цицерон опирался на сочинение *Антиоха Аскалонского*, философа, представителя *Новой Академии* (см. примеч. 36 к «Об ораторе», кн. I), учителя Варрона и Цицерона, или, может быть, *Диодота* — философа-стоика, также учителя Цицерона.

В первых пяти параграфах содержится посвящение Требатию, а также интерпретация «Топики» Аристотеля. Далее (§ 6—8) дается определение *топики* как науки о ведении спора и о двух ее частях: *приискании* и *суждении*. Говорится о том, что доказательства бывают *непосредственно*

относящиеся к делу (внутренние) и взятые со стороны (внешние). В § 9—23 перечисляются внутренние доказательства с примерами; далее, в § 24 речь идет о внешних доказательствах. В § 26—71 Цицерон снова возвращается к внутренним доказательствам, на этот раз толкуя их более подробно. Далее, в § 73—78 разбираются внешние доказательства; указывается, что доказательства, взятые со стороны, хотя и не имеют прямого отношения к юриспруденции, однако используются для того, чтобы полностью исчерпать предмет. Затем (§ 79—86) рассматривается вопрос о двух возможных предметах речи: *общие проблемы и специальные случаи*, и о том, из каких частей должна состоять ораторская речь: *вступление, рассказ, доказательство, заключение*. В § 100 Цицерон говорит, что его «Топика» включила в себя больше материала, чем он первоначально предполагал.

¹ Речь идет об уже написанных произведениях Цицерона: «Об обязанностях», «О пределах добра и зла», «О природе богов», «О судьбе», «О дружбе», «О старости», «О славе».

² Имеются в виду письма Требатия Цицерону и его клиентам — или ряд книг, которые Требатий посвятил Цицерону. Требатий был также автором ряда трактатов, сейчас утерянных.

³ Греческое слово *τόπος* («место», «местность») дает прилагательное *τοπικός*, от которого и происходит слово «топика». Аристотель употребляет слово *τόπος* для обозначения определенной «области» в уме человека, где происходит поиск доказательств.

⁴ *Элий* — какой именно Элий имеется в виду, не ясно. Может быть, Луций Элий Стилон — грамматик, ритор, один из учеников Цицерона, или Секст Элий — консул в 198 г., написавший комментарий к законам Двенадцати таблиц.

⁵ *Ас* — римская монета, *duus* — прилагательное от глагола *do* («давать»). В действительности *assidui* — зажиточные, платящие налоги граждане, представители первых пяти центурий, в отличие от шестой, в которую входили неимущие, составлявшие неподатное, но юридически свободное сословие.

⁶ Согласно римским законам о браке, женщина уходила из-под власти отца под власть мужа и становилась членом его семьи; такая женщина называлась *mater familias*. Кроме того, была и другая форма брака, когда женщина оставалась под властью отца и не меняла фамилии. Впоследствии эта форма стала более распространенной.

⁷ *Преторский эдикт* — распоряжение претора при его вступлении в должность с указанием принципов, которыми он будет руководствоваться в области судопроизводства.

⁸ До правовых реформ Адриана женщина не могла составлять завещания, пока не получала «своего права» (*suus jus*) путем изменения собственного общественного положения (*capitis diminutio*) и перехода под власть попечителя или опекуна.

⁹ Имеются в виду участки земли между поместьями шириной в пять футов, которые не мог приобрести никто из соседей. *Удержание воды* — речь идет о ликвидации сооружений на земельном участке, расположенном выше по склону, которые изменяли естественный сток дождевой воды, чем могли причинить вред участку, расположенному ниже. Собственник участка, расположенного выше, обязан был восстановить прежний режим водоснабжения.

¹⁰ Публий Муций Сцевола — см. примеч. 79 к «Об ораторе», кн. I. Его мнение по поводу закона имело бы вес у присяжных.

¹¹ То есть юрисконсульты.

¹² *Манципация* — приобретение квинритского права собственности или аналогичной власти над определенными лицами и вещами. Первоначально — продажа за наличные, которая в исторический период превратилась в фиктивную продажу: в присутствии пяти свидетелей и особого лица — *вседержателя*.

¹³ Было три степени лишения правового состояния: *высшая* (потеря свободы, включая потерю гражданства и семейных прав); *средняя* (потеря гражданства и семейных прав без лишения свободы); *низшая* (изменение семейного положения — усыновление).

¹⁴ *Понтифик Сцевола* — *Квинт Муций Сцевола*, консул 95 г., великий понтифик и юрисконсульт. Цицерон (его ученик) говорит о нем как о способнейшем ораторе среди юристов и способнейшим юристе среди ораторов (см. «Об ораторе», I, 180).

¹⁵ *Гай Аквиллий Галл* — известный юрист, вместе с Цицероном претор 66 г.

¹⁶ *Postliminium* («возвращение из плена») — люди или вещи, захваченные врагами, теряя свое законное положение, но вновь его обретали по возвращении из плена. Однако это не означало автоматического восстановления таких отношений, как *possessio* («владение имуществом») и *matrimonium* («супружество»).

¹⁷ *Сервий Сульпиций Руф* — консул 51 г., юрисконсульт.

¹⁸ *Гай Гостилий Манциний* — консул 137 г. Ему было нанесено поражение в Нумантийской войне в 136 г., после чего он заключил договор с противником. Сенат этот договор не принял, а самого Гостилия доставил в Нумантию как пленного. По возвращении в Рим Гостилий хотел занять свое прежнее место в сенате, но получил отвод по той причине, что гражданство, утраченное при пленении, не может быть возвращено.

¹⁹ *Луций Лициний Красс* (140—91) — знаменитый римский оратор, которого Цицерон слушал в молодости. В 92 г. успешно защитил требования Курия от нападок Сцеволы.

²⁰ *Галл* — см. примеч. 15.

²¹ *Шестой и седьмой* способы не имеют логического смысла. Не ясно, ошибка ли это Цицерона или позднейших рукописей.

²² Начальные строки «Меден» Еврипида в переводе Энния.

²³ *Аякс Оилид* — один из участников войны греков против Трои. Возвращаясь на родину, прогневал богиню Афину, которая метнула молнию в его корабль.

²⁴ *Стацен* — согласно Цицерону — негодяй, виновный в подкупе присяжных. О нем упоминается в трактате «Брут», 241.

²⁵ *Лакедемонянин Павсаний* — спартанский царь 490—467 гг.

²⁶ *Паламед* — сын эвбейского царя Навплия, убитый под стенами Трои по наущению его врага Одиссея.

²⁷ Цицерон написал энкомий (восхваление) *Марку Порцию Катону Утическому* (95—46), народному трибуну 62 г., одному из последних республиканских лидеров, выступавших против Цезаря. Цезарь ответил на это своим произведением «*Анти-Катон*».

О НАИЛУЧШЕМ ВИДЕ ОРАТОРОВ

Это небольшое сочинение Цицерон написал около 46 г. в качестве предисловия к переводу двух речей «О венке» аттических ораторов Эсхина и Демосфена. До этого им был опубликован труд по истории римского

красноречия — диалог «Брут». В «Бруте» Цицерон показал путь, который прошло римское ораторское искусство от политических ораторов III в. до Луция Красса, Марка Антония, Гая Котты, Публия Сульпиция, Гортензия, соединивших правильность и красоту латинской речи с изощренной ораторской техникой и ученостью.

«Брут» был направлен прежде всего против римских риторов-аттикистов, обративших на себя внимание в 50-е гг. I в. В отличие от греков, для которых аттицизм означал возвращение к языку Платона, Исократа и Ксенофонта, римские аттикисты стремились подражать стилю ранних аттических ораторов: простоте и безыскусности Лисия, краткому и сжатому слогу историка Фукидида. Римские аттикисты, во главе которых стоял Гай Лициний Макр Кальв, а потом Марк Деций Брут, младший друг Цицерона, отказались от изощренных риторских приемов, замысловатых фигур речи; в первую очередь они обращались к разуму, а не к чувствам слушающих. Возможно, на них оказала влияние стоическая грамматика с ее требованиями ясности и краткости слога.

Как и в «Бруте», в данном сочинении Цицерон в качестве идеального мастера красноречия называет Демосфена, знаменитого афинского оратора V в. Правда, позже, в трактате «Оратор», он уточнит свою оценку Демосфена как оратора, который ближе всех подошел к идеалу, в сущности, однако, недостижимому.

Несколько слов о деле, которому посвящены речи двух знаменитых ораторов Аттики. Демосфен, представитель антимакедонской группировки, в 40-х гг. IV в. дважды обвинял Эсхина в подкупе со стороны Филиппа Македонского, поэтому, когда в 336 г. было предложено увенчать Демосфена золотым венком за заслуги перед государством, Эсхин выступил против награждения, назвав его незаконным на том основании, что не были соблюдены некоторые формальности при вручении венка. Своею речью «О венке», которая считается лучшей речью Демосфена, он нанес поражение Эсхину, после чего тот уехал на Родос и больше в Афины не возвращался.

Можно предположить, что речи Эсхина и Демосфена в переводе Цицерона так и не были опубликованы, поэтому и предисловие к ним тщательно не отделано. Рукописная традиция сохранила также и другое название сочинения — «О наилучшем роде красноречия».

¹ *Дифирамб* — торжественная хоровая песнь в честь Диониса.

² *Квинт Энний* (239—169) — римский поэт. Входил в эллинофильское окружение Сципиона Старшего. Является автором 22 трагедий, от которых сохранились только фрагменты. Обращаясь к греческой литературе, стремился на ее основе создать самобытную римскую литературу. Главное его произведение — «Анналы» до появления «Энеиды» Вергилия считалось национальным римским эпосом.

³ *Марк Пакувий* (220 — ок. 132) — римский поэт, племянник Энния. Цицерон называл его «величайшим трагическим поэтом» (*summus poeta tragicus*). Писал трагедии исключительно на сюжеты из греческой мифологии.

⁴ *Цецилий Стаций* (ок. 220—168) — римский комедиограф. Его пьесы (сохранилось 42 названия и около 300 стихов) являются в основном переделками Новой аттической комедии.

⁵ *Публий Теренций Афр* (ок. 190—159) — римский комедиограф. Был близок эллинофильскому кружку Сципиона Младшего. Поставил 6 пьес, основанных на греческих образцах. По большей части Теренций использовал пьесы *Менандра* (см. примеч. 12).

⁶ *Аттий* — *Луций Акций* (170 — ок. 85) — римский поэт и трагик. Кроме эпической поэмы «*Анналы*» и 45 трагедий древние упоминают его сочинения по истории литературы. Как и *Пакувий*, использовал в своих трагедиях сюжеты греческой мифологии.

⁷ Цицерон формулирует здесь три цели красноречия: *наставлять* (*docere*), *улаживать* (*movere*), *волновать* (*delectare*).

⁸ Особое внимание Цицерон обращал на словесное выражение речи, которое должно соответствовать таким требованиям, как *правильность*, *ясность* и *красота*.

⁹ Учение о выборе слов, учение о сочетании слов и учение о фигурах составляли теорию словесного выражения.

¹⁰ В античности запоминанию придавали особое значение. Основателем античной мнемотехники считали греческого поэта *Симонида Кеосского* (559—469), использовавшего для запоминания зрительные образы (вид страницы, расположение строчек и т. п.). См. «Об ораторе», II, 74, 86.

¹¹ Последнюю, и одну из важнейших, частей риторики составляло произнесение, то есть умение приносить речь к условиям суда и к задаче воздействовать на судей. Считают, что теорию произнесения разработал греческий философ *Феофраст* (ок. 370—287), ученик Аристотеля, возглавивший после его смерти школу перипатетиков в Афинах.

¹² *Менандр* (343/2—291/0) — главный представитель Новой аттической комедии.

¹³ *Гимнасий* — место для физических упражнений; в каждом греческом городе был свой гимнасий. В Афинах их было несколько. При гимнасиях были бани, в портиках для беседы собирались философы и риторы.

¹⁴ Цицерон намекает на пышное азиатское красноречие, представителем которого был известный римский оратор *Гортензий*.

¹⁵ *Лисий* (ок. 445 — ок. 378) — афинский оратор. Его стиль отличался простотой и краткостью.

¹⁶ В 52 г. Цицерон выступил с речью в защиту Тита Анния Милона, которого обвиняли в убийстве Публия Клодия. Здание суда было окружено войсками Гнея Помпея, недоброжелательно настроенного по отношению к Милону.

¹⁷ Речь идет о римских ораторах-аттицистах — *Гае Лицинии Кальве* и его последователях. В «*Бруте*», 82 Цицерон говорит о Кальве как об образованном ораторе, владеющем изысканным и тщательно отделанным стилем; однако «речь его, ослабленная такой чрезмерной щепетильностью, была ясна ученым и внимательным людям, но она не доходила до слушателей и до судей». К другой группе, возможно, относится *Гай Меммий* (см. «*Брут*», 70), «в совершенстве знавший словесность, но только греческую, так как к латинской он относился с презрением».

¹⁸ *Фукидид* (V в.) — знаменитый греческий историк. Его энергичный слог считался образцом сжатости, ясности и простоты.

¹⁹ *Платон* (429—348) — знаменитый греческий философ, ученик Сократа. Древние считали его язык одной из вершин аттического красноречия.

²⁰ «*Федр*» — диалог Платона.

²¹ *Исократ* (436—338) — знаменитый афинский оратор, входивший в десятку лучших ораторов Греции. Писал речи для других, но сам публично не выступал из-за робости и слабого голоса. Создал школу раторов, стремился дать своим ученикам также и философские знания.

²² *Гай Луцилий* (148—103) — римский сатирик. В древности насчитывали около 30 книг его «*Сатир*», от которых до нашего времени сохранилось порядка тысячи отрывков. Сравнивая *Эсхина* с *Эзерином*, Цицерон

цитирует II сатиру Луцилия. Бой Эсхина с Эзернином произошел во время представления, которое давали Флакки.

²³ Цицерон перечисляет комедии и трагедии, которые были переведены на латинский язык с греческого.

²⁴ *Еврипид* (485—406) и *Софокл* (495—406) — знаменитые греческие трагики.

²⁵ Термин «сенат» Цицерон употребляет здесь для обозначения народного собрания в Афинах.

²⁶ В 343 г. Демосфен обвинил Эсхина в подкупе со стороны Филиппа Македонского.

²⁷ Судебное разбирательство началось в 336 г., суд же состоялся только в 330-м. Филипп Македонский был убит немного позже, в том же 336 г. Цицерон, вероятно, перепутал даты, так как Демосфен награждался золотым венком также и в 340 г.

РЕЧЬ ПРОТИВ ГАЯ ВЕРРЕСА («О ПРЕДМЕТАХ ИСКУССТВА»)

В 76 г. Цицерон становится квестором в Западной Сицилии. Снискав доверие граждан, он дает свое согласие выступить с обвинительной речью против Верреса — наместника Сицилии в 73—71 г., который грабил провинцию и издевался над ее жителями. Судебный процесс состоялся в 70 г. Защищать Верреса взялся первый оратор Рима того времени — Гортензий, избранный в 70 г. в консулы. Суд требовал двух сессий. Цицерон, опасаясь отсрочки второй сессии, в своей обвинительной речи в первой сессии ограничился перечислением преступлений Верреса с вызовом свидетелей и предоставлением документов. Материал был настолько неопровержим, что Гортензий отказался защищать Верреса, который предпочел, не дожидаясь второй сессии, добровольно удалиться в изгнание. Таким образом, речь, подготовленная Цицероном для второй сессии, так и не была произнесена. Впоследствии ее издал вольноотпущенник Цицерона, Марк Туллий Тирон. Весь материал был разделен на пять книг, которым позже грамматики дали соответствующие названия: «О городской претуре», «О судебных процессах», «О зерне», «О предметах искусства», «О казнях». Последняя часть — «О казнях» — состоит из двух разделов: о мнимых заслугах Верреса как военачальника и о незаконных казнях командиров военных кораблей и римских граждан.

В публикуемой IV речи против Гая Верреса («О предметах искусства») Цицерон приводит свидетельства о краже и вымогательстве Верресом статей и других произведений искусства из различных городов.

В основу нижеследующего комментария положен комментарий к кн.: *Марк Туллий Цицерон. Речи. В 2-х т. Т. 1. М., 1962.*

¹ Имеется в виду *Мессана*, город в Сицилии, в Регийском проливе, ныне — Мессина.

² *Предстатель* — лицо, выступающее в суде с хвалебным отзывом о подсудимом.

³ *Мамертинцы* — жители Мессаны (от осского и сабинского «Мамерс» — Марс, покровитель города).

⁴ *Купидон* — в римской мифологии — божество любви, соответствующее римскому Амуру и греческому Эросу. *Пракситель* — греческий скульптор середины IV в. Работал в Книде, Фесниях, Мантинее, Олимпии.

⁵ Столь характерное для Цицерона притворное пренебрежение к греческой культуре.

⁶ *Феспии* — город в Беотии, к западу от Фив, на горе Геликон, славившийся культом Муз и Амура.

⁷ *Луций Муммий* — римский полководец, взявший Коринф в 146 г.

⁸ Статуи Муз, привезенные Луцием Муммием в Рим из Феспий, назывались *Феспиады*. Храм *Счастья* располагался неподалеку от Палатинского холма, на Бычьем форуме, месте, где в древности торговали мясом.

⁹ *Мирон* — греческий скульптор середины V в. Работал в Эгине, Спарте, Олимпии. См. также примеч. 18 к «Об ораторе», кн. III.

¹⁰ *Канефоры* — буквально: «несущие корзины». Имеются в виду девушки, участницы ритуала жертвоприношений Гере, несшие на голове корзины со священными предметами.

¹¹ *Поликлет* — греческий скульптор II половины V в. Работал в Фивах. См. также примеч. 18 к «Об ораторе», кн. III.

¹² *Гай Клавдий Пульхр* — курульный эдил 99 г. Первый показал народу слонов во время общественных игр.

¹³ *Базилика* — у римлян — зал для судебных заседаний и торговых операций; прямоугольное в плане здание, с двумя рядами колонн.

¹⁴ *Добрая Фортуна* — богиня благополучия (греч. *Ἀγαθὴ Τύχη*), особо почитавшаяся в Сицилии.

¹⁵ Имеется в виду *Хелидона*, возлюбленная Верреса, умершая в 72 г.

¹⁶ *Легат* — посол сената или назначаемое сенатом должностное лицо для сопровождения наместника или полководца.

¹⁷ Имеются в виду законы о вымогательстве.

¹⁸ 400 денариев равнялись 1600 сестерциям.

¹⁹ *Кибея* — большое греческое грузовое судно.

²⁰ Речь идет о проведенном Суллой в 80 г. так называемом *Корнелиевом законе о вымогательстве*.

²¹ *Пенаты* — от *penus* («кладовая», «запасы продовольствия», позже — «внутренняя часть дома»). В римской мифологии *Пенаты* — фамильные, или «отеческие», хранители дома и его благосостояния. Впоследствии *пенатами* назывались все почитавшиеся фамилией боги дома. Как и *лары*, с которыми они иногда отождествлялись, являлись символом родного дома и домашнего очага. *Пенаты государственных, Пенаты римского народа* считались одной из главных святынь Рима.

²² После утраты *гражданской чести* (*atimia*) человек уже не мог выступать свидетелем в суде, а его прошлые показания теряли силу.

²³ *Модий* — 8,75 литра.

²⁴ То есть общины, свободные от повинностей.

²⁵ *Фаселида* — приморский город в Малой Азии. *Публий Сервилий* — консул 79 г.

²⁶ *Киликия* — область в юго-восточной части Малой Азии, между Памфилией и Сирией.

²⁷ *Гай Порций Катон* — консул 114 г.

²⁸ *Луций Эмилий Павел Македонский* нанес поражение Персии Македонскому в битве при Пидне в 168 г. *Марк Порций Катон Старший Цензорий* — консул 195 г.; в 194-м, будучи проконсулом, вел войну в Испании, в 191-м одержал победу при Фермопилах, в 184-м — цензор. Известен своей враждой ко всяким новшествам, непреклонный враг Карфагена.

²⁹ *Тимархид* — вольноотпущенник Верреса и его пособник.

³⁰ *Веррии* — празднества, введенные Верресом в Сицилии.

³¹ *Благоволение римского народа* — избрание в квесторы: отслужив квестуру, человек становился сенатором.

³² Возможно, *Басилиск* и *Перценний* получили права римского гражданства благодаря *Гнею Помпею Страбону* и по обычаю приняли его имя.

³³ Жители города *Регий*, находящегося на итальянском берегу Мессанского пролива, получили и права римского гражданства в 90 г.

³⁴ *Аттал* — имя пергамских царей; здесь имеются в виду ковры, расшитые золотом.

³⁵ *Агригент* — город на южном побережье Сицилии.

³⁶ *Фалеры* — золотые или серебряные пластины с рельефами.

³⁷ *Квинт Тадий* — один из приближенных Верреса.

³⁸ *Гидрия* — сосуд для воды.

³⁹ *Раб Венеры* — служитель храма *Афродиты Урании* в Сицилии.

⁴⁰ *Комперендинация* — откладывание слушания судебного дела.

⁴¹ *Луций Корнелий Сизенна* — защитник Верреса.

⁴² *Абак* — стол, на котором ставили ценную утварь.

⁴³ *Цитровое дерево* — африканская туя из породы можжевельников, высоко ценившаяся в Риме.

⁴⁴ *Ферикл* — ваятель из Коринфа. *Ментор* — скульптор.

⁴⁵ *Эрифил* — в греческой мифологической традиции — жена царя Амфиарая, предавшая своего мужа за золотое ожерелье, подаренное ей Полиником.

⁴⁶ Заочное внесение в списки обвиняемых являлось противозаконным.

⁴⁷ *Стений* — гражданин Ферм (Сицилия), ограбленный Верресом и заочно им осужденный.

⁴⁸ *Квинт Аррий*, претор 73 г., должен был сменить Верреса в 72 г., но умер.

⁴⁹ *Кадильница* — сосуд для сжигания благовоний.

⁵⁰ В подлиннике *evericulum* («метла») — намек на родовое имя Верреса.

⁵¹ Речь идет о дворце Сицилийского царя *Гиерона II* (269—216), в описываемое время — резиденция римских наместников.

⁵² *Конвент* — сообщество римских граждан, живущих в данном округе провинции и внесенных в списки.

⁵³ *Луций Кальпурний Пизон* — в 74 г. претор вместе с Верресом.

⁵⁴ *Белой глиной* для печатей пользовались на Востоке, римляне же предпочитали воск.

⁵⁵ Имеются в виду войны римлян против Сертория, Митридата, пиратов и гладиаторов (74—73 гг.).

⁵⁶ В данном случае — столовая, обеденный зал.

⁵⁷ *Капитолий* — Капитолийский холм в Риме, на вершине которого находились храмы Юпитера, Юноны и Минервы, также обозначавшиеся как Капитолий.

⁵⁸ *Храм Юпитера Капитолийского*, сгоревший во время гражданской войны в 83 г., был окончательно восстановлен в 69 г. *Квинтом Лутацием Катуллом*, получившим за это прозвание «Капитолийский».

⁵⁹ *Эней* — герой греческой и римской мифологии, сын Анхиса и Афродиты, переселившийся после гибели Трои в Италию.

⁶⁰ Карфаген был окончательно взят и разрушен в 146 г.

⁶¹ *Фаларид* — тиран Агригента. Для него Перилл изготовил медного быка — орудие казни, в котором должны были сжигаться приговоренные к смерти. Первым этой казни был подвергнут сам Перилл.

⁶² *Стола* — длинная одежда римских матрон.

⁶³ *Император* — в эпоху республики — высшее почетное воинское звание, присваивавшееся войсками полководцу, одержавшему решающую победу, на время от окончания кампании до триумфа в Риме.

⁶⁴ Публий Корнелий Сципион Назика — оптимат, защитник Верреса, был усыновлен Квинтом Цецилием Метеллом Пием.

⁶⁵ Меркурий — в римской мифологии бог — покровитель торговли, отождествлявшийся с греческим Гермесом.

⁶⁶ Проагор — высшее должностное лицо городской общины в Сицилии.

⁶⁷ Гай Клавдий Марцелл — наместник в Сицилии в 79 г.

⁶⁸ Марцеллы стали патронами Сицилии с 212 г.

⁶⁹ Гимnasiарх — управитель гимнасия.

⁷⁰ Ассор — город в Сицилии.

⁷¹ Великая Матерь — обожествленная Земля.

⁷² Квинкверема — военное судно с пятью рядами весел, которым обычно пользовались командующий флотом, полководец, вообще лицо, окруженное почетом.

⁷³ Греческие боги Деметра и Персефона были отождествлены с римскими Церерой и Либерой.

⁷⁴ Сивиллины книги — собрание предсказаний, называемое так по имени легендарной пророчицы Сивиллы.

⁷⁵ Триптолем — аттическое божество, покровитель земледелия.

⁷⁶ Орк — бог подземного царства, соответствующий греческому Аиду.

⁷⁷ Консульство Публия Попилия и Публия Рутилия пришлось на

132 г.
⁷⁸ Притиней — общественное здание, место суда.

⁷⁹ Речь идет о статуе Аполлона в посвященном ему храме в священной роще Теменос, на южной окраине Сиракуз.

⁸⁰ Агафокл — сиракузский царь (317—289).

⁸¹ То есть Хелидоны, см. примеч. 15.

⁸² Сапфо — греческая лирическая поэтесса, уроженка Лесбоса, жившая в городе Митилене, младшая современница Алкея (VII—VI вв.).

⁸³ Силанион — афинский скульптор и литейщик середины IV в. Работал также в Танагре, Олимпии.

⁸⁴ Портик Метелла Македонского был построен после победы над Лже-Филиппом в 148 г.

⁸⁵ Пэан — в греческой мифологии врач богов, иногда отождествляемый с Аполлоном; песнь или гимн в честь какого-либо бога.

⁸⁶ Аристей — греческое божество, сын Аполлона и нимфы Кирены.

⁸⁷ Урий (греч.) — «посылающий попутный ветер».

⁸⁸ Оратор Луций Лициний Красс (см. примеч. 19 к «Топике») и понтифик Квинт Муций Сцевола были в 103 г. курульными эдлами.

⁸⁹ Луций Карпинаций — представитель компании откупщиков пастбищ, находился в Сицилии при Верресе.

⁹⁰ Секст Педуцей — наместник в Сицилии в 76—75 гг.

⁹¹ Дисцессия — сенатская процедура, по смыслу аналогичная голосованию.

⁹² Луций Лициний Лукулл — отец консула 74 г. В 102 г. был обвинен в казнокрадстве.

⁹³ Феокрит — означает «обезумевший по воле богов» (греч.).

РЕЧЬ В ЗАЩИТУ ПОЭТА АВЛА ЛИЦИНИЯ АРХИЯ

Эта речь была произнесена Цицероном в 62 г. в защиту греческого поэта Архия, которого некий Граттий обвинил в незаконном присвоении

прав римского гражданства и на этом основании потребовал его изгнания из Рима по Папиеву закону 65 г.

Архий родился в Антиохии (Сирия) около 120 г. В 102 г. он прибыл в Рим, посетив прежде города Южной Италии — Тарент, Регий, Неаполь и получив в них права почетного гражданства. В Риме Архий завязал дружеские отношения со многими знатными родами и приобрел особое покровительство Лициниев Лукуллов. В 93 г. он вместе с Марком Лукуллом отправился в Сицилию и во время этой поездки, благодаря влиянию Лициниев, стал гражданином Гераклеи. В 89 г. был принят закон о предоставлении прав римского гражданства жителям союзных Риму городов Италии, и Архий был внесен в списки римских граждан под именем Авла Лициния Архия. Во время цензов 86 и 70 гг. Архий в Риме отсутствовал, и поэтому его имени в цензорских списках не оказалось. Цензура имела весьма важное значение в жизни Римского государства. Как пишет Дионисий Галикарнасский, «все римляне должны были записываться в списки и под присягой оценивать свое имущество на деньги, причем каждый писал, кто был его отец: они должны были указать свой возраст, равно как и жен и детей; кроме того, указать, в каком месте города или в каком селении они жили» («Римские древности», IV, 15). Имени Архия не было также и в списках гераклеиской общины, поскольку архив Гераклеи сгорел во время Союзнической войны 90—88 гг.

Цицерон ссылается на свидетельства именитых гераклеиских граждан, показания Марка Лукулла и других влиятельных лиц. Однако речь Цицерона отличается от обычной судебной речи, ее можно назвать эпидейктической, то есть принадлежащей к жанру торжественного красноречия. Может быть, впервые в истории античной литературы в ней говорится о роли эстетического воспитания, о пользе, которую приносят различные искусства как в домашней, так и в общественной жизни: литература, музыка развивают ум, воспитывают доблесть, утешают в старости. Искусство доставляет величайшее наслаждение внимающим ему. Цицерон здесь высказывает очень важную для его эстетического мировоззрения (см. вступительную статью) мысль о том, что занятия искусством почетны для римского гражданина так же, как политическая деятельность и военная служба, поскольку воспитывают достойных граждан и прославляют государство.

Суд закончился оправданием поэта. Произведения Архия до нас не дошли. В Палатинской антологии содержится 35 эпиграмм, приписываемых некоему Архию, но, скорее всего, они не принадлежат подзащитному Цицерона.

¹ Цицерон называет Архия его римским именем, чтобы произвести благоприятное впечатление на судей и показать, что перед ними римский гражданин.

² Греческая система образования включала в себя несколько этапов; в целом изучаемых предметов было семь: *арифметика, геометрия, астрономия, музыка, грамматика, диалектика, риторика*.

³ В Таренте, Регии и Неаполе Архий получил права почетного гражданства.

⁴ При заключении уз *гостеприимства* стороны обменивались гостевыми табличками, которые служили опознавательными знаками для них и для их потомства. В силу этого договора стороны должны были оказывать друг другу дружеский прием, защищать и помогать во всех политических и частных делах.

⁵ То есть в 102 г.

⁶ *Гай Марий* (156—68) — семь раз консул, знаменитый полководец, победитель кимвров и тевтонов. *Квинт Лутаций Катул* — консул 102 г. Цицерон хвалил его благородное красноречие, приятный голос, выведя в качестве одного из собеседников в диалоге «Об ораторе». Древние упоминают его сочинения «О консулате» и «История попросту».

⁷ *Претекста* — тога, окаймленная пурпуровой полосой. Претексту носили сенаторы и магистраты, а также подростки до достижения совершеннолетия.

⁸ *Квинт Цецилий Метелл Нумидийский* — консул 109 г., военачальник в Югуртинской войне. Соединял в себе староримский консервативный патриотизм и греческую образованность. Цицерон упоминает о нем как об ораторе (см. «Брут», 135). Его сын *Квинт Метелл Пий*, консул 80 г., покровительствовал поэтам.

⁹ *Марк Эмилий Скавр* — консул 115 г., цензор 109 г., талантливый оратор. Цицерон с похвалой отзывался о его автобиографическом сочинении.

¹⁰ *Квинт Лутаций Катул-сын* — консул 78 г., оптимат. Как и отец (см. примеч. 6), получил прекрасное образование; как оратор в своих речах заботился о чистоте языка.

¹¹ *Луций Лициний Красс* — см. примеч. 19 к «Топике».

¹² *Марк Ливий Друз Младший* — трибун 91 г. Восстановил некоторые из законопредложений Гракхов. Блестящий оратор.

¹³ К роду *Октавиев* принадлежали многие известные политические деятели; о каком из Октавиев говорит здесь Цицерон, не ясно.

¹⁴ Возможно, *Луций Порций Катон*, консул 89 г., или его брат, отец *Марка Порция Катона Младшего Утического*.

¹⁵ Самым известным из этого рода был знаменитый оратор *Квинт Гортензий Гортал*, консул 69 г., друг и соперник Цицерона (см. диалог Цицерона «Брут», 1—2).

¹⁶ В 89 г. трибуны *Марк Плавций Сильван* и *Гай Папирий Карбон* внесли законопроект о предоставлении прав римского гражданства жителям всех союзных городов при условии их постоянного проживания в Италии и подачи заявления претору в течение 60 дней после издания закона.

¹⁷ Речь идет о Союзнической войне 90—88 гг.

¹⁸ *Муниципий* — город, обладавший собственным выборным управлением, который был связан с Римом тесным союзом и жители которого были наделены правами римского гражданства. Здесь имеется в виду клятвенно заверенное свидетельство, которое от лица города принесли его магистраты.

¹⁹ *Аппий Клавдий Пульхр* и *Публий Габиний Капитон* были в числе восьми преторов, которые образовывали преторскую коллегию.

²⁰ *Луций Лентул* — претор 89 г.

²¹ В 70 г. во время войны с Митридатом Архий сопровождал Луция Лукулла. Цензорами в 70 г. были *Луций Геллий Поприкола* и *Гней Корнелий Лентул Клодиан*.

²² В 86 г. Архий был вместе с Луцием Лукуллом в Азии во время квестуры последнего. Цензорами в это время были *Луций Марций Филипп* и *Марк Перперна*.

²³ Речь идет о первых цензорах после предоставления прав римского гражданства союзникам (см. примеч. 16); цензорами в 89 г. были *Луций Юлий Цезарь* и *Публий Лициний Красс*.

²⁴ Наследовать от римских граждан могли только римские граждане.

²⁵ *Эрарий* — государственная казна.

²⁶ Обычно вечерние трапезы (сепae) начинались по римскому счету около 9-го часа зимой и около 10-го летом (соответственно — около 3 и

4 часа пополудни по нынешнему счету). Вызывали осуждение пиры, начинавшиеся в середине дня и продолжавшиеся за полночь.

²⁷ *Игра в кости и игра в мяч* были распространены в Риме, хотя первая и осуждалась. Под *игрой в мяч* имелась в виду не только определенная игра, но и ряд физических упражнений для укрепления тела.

²⁸ Цицерон напоминает слушателям о заговоре Катилины, который он раскрыл в 63 г. В I речи против Катилины Цицерон говорил о покушении, которое на него готовили заговорщики («Против Катилины», I, 10). *Луций Сергий Катилина* (108—62) — обедневший римский патриций, стремившийся к единоличной власти. После неудавшегося покушения на жизнь Цицерона бежал из Рима. Погиб в сражении при Пистории.

²⁹ *Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший* — см. примеч. 2 к «О нахождении материала».

³⁰ *Гай Лелий Мудрый* — консул 140 г., талантливый оратор. О его занятиях поэзией свидетельствует тот факт, что некоторые даже считали его автором комедий Теренция. Цицерон посвятил ему свое сочинение «Лелий, или О дружбе» и упоминает его во многих других произведениях («Об ораторе», II, 84; «Брут», 21, 84; 43, 161 и др.).

³¹ *Луций Фурий Фил* — консул 136 г. Цицерон отзываясь о нем как об ученом ораторе и хвалит его прекрасный латинский язык («Об ораторе», II, 37; III, 3).

³² *Марк Порций Катон Старший Цензорий* (234—149) — см. примеч. 28 к «Речи против Гая Верреса». Считался также родоначальником прозаической литературы на латинском языке. Сохранились сочинение Катона «О земледелии» (*De agricultura*) и отрывки из исторического сочинения «Начала» (*Origines*). Утверждал римскую самобытность во всех областях науки и искусства в противовес влиянию греческой культуры.

³³ *Квинт Росций Галл* (ум. 62 г.) — римский актер. Содержал театральную школу, написал теоретическое сочинение, в котором сравнивал ораторское и сценическое искусства. Гораций называет его *doctus Roscius* — «ученый Росций» («Послания», II, 82).

³⁴ *Квинт Энний* — см. примеч. 2 к «О наилучшем виде ораторов».

³⁵ Намек на мифологического поэта-певца Орфея, который своим пением и игрой на кифаре зачаровывал даже животных и растения.

³⁶ За право называться родиной Гомера спорили семь городов: Смирна, Хиос, Колофон, Саламин, Аргос, Родос, Афины.

³⁷ *Фемистокл* (524—459) — афинский политик и полководец. В 480 г. под его руководством греки одержали победу над персами при Саламине. Был приговорен к смертной казни своими противниками. Бежал в Аргос, затем в Сузы. Согласно преданию, умер в изгнании.

³⁸ *Луций Плоций Галл* (начало I в.) устроил одну из первых латинских риторических школ в Риме (см.: Квинтилиан. Наставление оратору, II, 4).

³⁹ Цицерон упоминает здесь эпизод из III Митридатовой войны (74—64 гг.), когда войска Митридата, осаждавшие малоазийский город Кизик, были окружены отрядами Луция Лукулла (73 г.)

⁴⁰ Бой под Тенедосом произошел в 73 г.

⁴¹ *Триумф* — торжество в честь победы полководца в войне, сопровождавшееся пышным шествием: полководец в день триумфа вступал в город через триумфальные ворота вместе со своим войском и направлялся к Капитолию на позолоченной колеснице, запряженной четверкой белых лошадей.

⁴² Речь идет о *Марке Порции Катоне Утическом* — см. примеч. 27 к «Топике».

⁴³ *Квинт Энний* был уроженцем *Рудий*, оскского города в Калабрии.

Прославил в своей поэме «Анналы» полководцев II Пунической войны: Квинта Фабия Максима, Марка Клавдия Марцелла, а также Марка Фульвия Нобилиора, которого Энний сопровождал в Этолию. См. также примеч. 2 к «О наилучшем виде ораторов».

⁴⁴ Греческий язык становится международным языком общения начиная с завоеваний Александра Македонского.

⁴⁵ *Александра Македонского* сопровождали в его походах Анаксимен, Аристобул, Каллисфен, Клитарх, Онесикрит, поэт Херилл. Полководец Александра Птолемей Лаг тоже оставил свои воспоминания.

⁴⁶ *Сигей* — местность в Троаде (Азия), где, по преданию, был похоронен Ахилл. В 334 г. Александр совершил на его могиле жертвоприношения.

⁴⁷ Речь идет о *Гнее Помпее Великом* (106—48), даровавшем Феофану Митиленскому право гражданства по консульскому Галлиево-Корнелиеву закону. См. также примеч. 4 к письму *Марку Марию в Кампанию*.

⁴⁸ *Эпиграмма* — стихотворная надпись, в которой обычно чередуются два размера: гекзаметр и пентаметр. Поэт вручил Сулле эпиграмму, когда тот распродал конфискованные во время проскрипции вещи.

⁴⁹ *Кордуба* (ныне — Кордова) — один из главных городов в римской провинции Испания, первая колония римлян, основанная в 154 г.

⁵⁰ *Децим Юний Брут Галлекский* — консул 138 г., управлял Испанией. Был прекрасно образованным, красноречивым человеком, дружил с поэтом Акцием.

⁵¹ *Луций Акций* — см. примеч. 6 к «О наилучшем виде ораторов». Его трагедия-претекста «Брут», посвященная Дециму Юнию Бруту, была поставлена по случаю триумфа последнего.

⁵² См. примеч. 43.

⁵³ В 62 г. Цицерон находился на вершине славы: раскрыв заговор Катилины, он получил титул «Отца Отечества».

⁵⁴ Многие великие греческие философы учили о бессмертии души, в их числе Пифагор, Сократ, Платон.

⁵⁵ По преданию, председателем суда был Квинт Цицерон, младший брат оратора.

ОБ ОРАТОРЕ

Диалог «Об ораторе» — одно из первых Цицероновских сочинений этого жанра. Из письма Цицерона к Аттику (IV, 13) мы узнаем, что диалог был закончен в ноябре 55 г. В этом сочинении Цицерон выступает как ученик *Филона из Лариссы* (I в.), главы Академии после Клитوماха, и *Антиоха Аскалонского*, которого Цицерон слушал в Афинах в 79 г.

Филон стремился соединить два течения: философское и риторическое. Сократ, а вслед за ним и Платон считали, что только мудрец, знающий истину, может быть красноречив, и отвергали технические приемы, разработанные софистами. Цицерон в «Тускуланских беседах» вспоминал: «Уже на нашей памяти Филон... завел обычай в одни часы преподавать наставления ритором, в другие часы — наставления философов» (I, 3, 9).

В отличие от Филона Антиох в качестве идеального гражданина выдвигал мудреца, совмещающего в себе философское, риторическое и политическое образование. И, подражая Аристотелю, учителю Александра Македонского, стремился воспитать такого гражданина из Луция Лициния Лукулла, сопровождая его в походах против Митридата. В III книге диалога (III, 17, 63) Красс буквально повторяет эту мысль Антиоха: мы ищем и

желаем найти человека — «духовного вождя и деятельного правителя республики, первого советника и первого оратора в сенате, в суде и в народном собрании». В своей первой речи («Похвала красноречию», I, 8) Красс подробно останавливается на том, какое влияние красноречие имеет в жизни государства. Но свой идеал собеседники чаще находят в прошлом: Перикл, Дион, Критий, Тимофей, Демосфен.

И Филон, и Антиох были близки по духу школе Исократы, которая вызывала сначала насмешливое отношение со стороны Платона. Позже, в диалоге «Федр», Платон изобразит Сократа, с похвалой отзывающегося о молодом Исократе и предвещающего ему славное будущее: «В образе мыслей этого человека, друг мой, природой заложена какая-то любовь к мудрости (philosophia). Вот что я объявляю от имени здешних богов моему любимцу Исократу...» («Федр», 279). В своей школе Исократ стремился дать ученикам кроме технических риторических приемов также и знание философии («подлинная риторика»). Но главное значение он придавал слову как силе цивилизующей, преобразующей мир (эту мысль Цицерон использует в I, 32). В этом Исократ расходится с Аристотелем, «Риторика» которого по большей части является сухим изложением технических приемов, хотя собеседники и Цицерон часто ссылаются на нее и другие его сочинения: «Топику», «Свод учений».

В диалоге участвуют представители старшего поколения: *Квинт Муций Сцевола*, тесть Красса, хранитель и защитник римских традиций, не чуждый, однако, эллинской образованности, он был зятем Гая Лелия, просвещеннейшего человека своего времени. Сцевола представлен в беседе только в кн. I, а затем покидает собеседников [Цицерон писал Аттику (IV, 16, 3), что человеку его лет и здоровья, занимающему высокое положение, «едва ли было достаточно пристойным жить много дней в тускуланской усадьбе Красса»]; *Квинт Луций Катул*, прославленный консул 102 г., вместе с Гаем Марием получил триумф за победу над кимврами и тевтонами; знаток греческого языка и греческой литературы, в его доме собирались молодые поэты. Младшее поколение представляют *Публий Сульпиций Руф*, *Гай Аврелий Котта* (от которого Цицерон и услышал рассказ о встрече в усадьбе Красса), *Гай Юлий Цезарь Страбон*, который был не только оратором, выступившим с речью о смешном в разговоре двух знаменитостей — Антония и Красса, но и поэтом.

Центральные персонажи диалога — *Луций Лициний Красс* и *Марк Антоний*, и столкновение их мнений является движущей силой диалога. Антоний и Красс — представители двух направлений в риторике: Антоний предпочитает судебное, Красс — сенатское красноречие; Антоний полагается на естественное чувство языка, Красс больше говорит о технических приемах, его считают изобретателем *ornamenta dicendi* («украшения речи») в латинском языке; Антоний выступает в диалоге представителем национальной школы раторов, в то время как Красс, не скрывая своей учености, настаивает на знании греческой риторической техники.

В кн. I речь идет об идеале оратора. Для Красса — это человек, обладающий знаниями почти во всех областях науки и практической жизни, который должен взрастить свой прирожденный талант упорным учением и упражнениями. Антоний оспаривает это мнение и говорит, что ораторское дарование в человеке должно сочетаться с живым, практическим умом и здравомыслием.

В кн. II и III каждый из них выступает с «технической» речью: кн. II — рассказ Антония о нахождении и расположении материала и о памяти, в кн. III Красс ведет речь о словесном выражении и произнесении. На протяжении этих двух книг происходит сближение мнений собеседников

и вырисовывается тот идеал оратора, о котором мы говорили в самом начале.

Действие диалога происходит в начале сентября 91 г. К этому времени и Красс, и Антоний прославились как опытные ораторы и политические деятели. Красс был консулом в 95 г., цензором в 92 г. В диалоге довольно подробно говорится о ступенях его политической карьеры. Марк Антоний (он, кстати, приходился дедом триумвиру Марку Антонию, который отдал приказ об убийстве Цицерона) был консулом в 99 г. и цензором в 97 г.

Несколько слов о технике красноречия, без которой многое в этом диалоге будет непонятно современному читателю. Речь делилась на пять частей: *нахождение материала* (inventio), *расположение материала* (dispositio), *словесное выражение* (elocutio), *запоминание* (memoria) и *пронесение* (actio). Риторическая наука стремилась к достижению трех целей: *убедить, усладить, взволновать* слушателя (и читателя). Расположение материала имело строгую схему, разработанную еще софистами: *вступление* (prooemium, exordium), *изложение* (narratio), *разработка* (tractatio), *заключение* (conclusio, peroratio). Иногда к изложению присоединялось *определение темы* (propositio), *доказательство* (argumentatio, probatio, confirmatio), *опровержение доказательств противника* (refutatio, reprehensio). Главную заботу оратора составляло словесное выражение, которое должно отличаться *правильностью, ясностью, уместностью и красотой* (в переводе Гаспарова — «пышностью» — ornatus).

При комментировании диалога использованы издания К. В. Пидерита (1859), С. А. Уилкинса (1892), М. Л. Гаспарова (в кн.: Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972).

КНИГА ПЕРВАЯ

¹ Квинт Туллий Цицерон (102—43) — младший брат оратора, претор 62 г., управлял Азией, в 57 г. — Сардинией. Автор небольшого сочинения «О достижении консульства» (De petitione consulatus), в котором говорится о Марке Цицероне и других претендентах в консулы. Писал также трагедии.

² В 63 г. Цицерон, будучи консулом, раскрыл заговор Катилины (см. примеч. 28 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия») и был удостоен титула «Отец Отечества», но в 58 г. ему пришлось отправиться в изгнание, так как его обвинили в казни римских граждан без суда. Друзья выхлопотали Цицерону разрешение вернуться в Рим в 57 г.

³ В 88 г. началась гражданская война между Марием и Суллой.

⁴ Около 83 г. Цицерон составил пособие по риторике и рассмотрел в двух первых книгах учение о нахождении материала, но потом отказался от своего плана.

⁵ Античные грамматиканы занимались историей текста, его научным комментированием и интерпретацией.

⁶ Первым начал обучать красноречию сицилиец Корак (V в.), потом его ученик Тисий, составитель первого учебника риторики (см. Квинтилиан. Наставление оратору, III, 1, 8; Аристотель. Риторика, II, 24).

⁷ Ср. «Тускуланские беседы», I, 1—2.

⁸ Луций Марций Филипп — консул 91 г., цензор 86 г. Противник оптиматов, боролся против реформ Марка Ливия Друза (см. примеч. 9).

⁹ Марк Ливий Друз — трибун 91 г. Возобновил некоторые из законопроектов Гракхов, в том числе раздачу хлеба, предоставление союзникам прав римского гражданства. Предлагал также передать судопроизводство из рук всадников сенату, расширив число его членов за счет всадников

на 300 человек. Его убийство вызвало так называемую Союзническую войну.

¹⁰ Римские игры справлялись ежегодно 4—12 сентября; они были посвящены Юпитеру, Юноне и Минерве. На это время все политические и судебные дела приостанавливались.

¹¹ Квинт Муций Сцевола Авгур — консул 117 г., знаток римского права. Последователь стоиков. Был женат на дочери Гая Лелия; одна из его дочерей была замужем за Крассом. Жена Красса к этому времени уже умерла.

¹² Гай Аврелий Котта (124—74) — через несколько дней после смерти Красса в 20-х числах сентября был не допущен к должности трибуна, а через несколько месяцев, после убийства Марка Ливия Друза, отправился в изгнание. Вернулся в Рим в 82 г. Консул 75 г. Гай Котта также принимает участие как академик в диалоге Цицерона «О природе богов».

¹³ Публий Сульпиций Руф (124—88) — выступал сначала за оптиматов. Став в 88 г. народным трибуном, силой провел несколько законов, направленных против аристократии. Вместе с Гаем Марием выступил против Суллы и был в скором времени убит.

¹⁴ Консулярий — бывший консул. Сцевола, Антоний и Красс были консулами соответственно в 117, 99 и 95 гг.

¹⁵ Римляне обедали обычно около 4 часов летом и 3 часов зимой (см. примеч. 26 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия»).

¹⁶ Платон. Федр, 230 с.

¹⁷ Сократ обычно ходил босиком.

¹⁸ ...удерживать людей в среде их сограждан — то есть защищая тех, кому грозило изгнание.

¹⁹ Курия — здесь: место заседания сената.

²⁰ Ср. «О нахождении материала», I, IV, 5.

²¹ Ср. там же, I, II, 2.

²² Гай Лелий Мудрый — см. примеч. 30 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

²³ Нума Помпилий (715—672) — второй по счету римский царь, родом сабинянин. Считалось, что он был учеником Пифагора.

²⁴ Сервий Туллий (578—534) — шестой по счету римский царь, по преданию, сын рабыни. Учредил налоговую систему, центурии и трибы.

²⁵ Луций Юний Брут возглавлял мятеж против последнего римского царя Тарквиния Гордого; был избран вместе с Тарквинием Коллатином в первые консулы в 509 г.

²⁶ Тиберий и Гай Семпроний Гракхи (см. примеч. 2 к «О нахождении материала») выступили противниками сената. Их реформы касались судебного производства, земельных отношений. Предложение Гая Гракха о предоставлении латинянам, в отличие от других италийцев, права римского гражданства вызвало резкое недовольство не только аристократии, но и плебса.

²⁷ Тиберий Семпроний Гракх-отец — консул 177 и 163 гг. Во время своего цензорства в 169 г. приписал новых вольноотпущенников к одной городской трибе — Эсквилинской, где их голоса не имели бы решающего влияния на общие итоги голосования. Был женат на Корнелии, весьма образованной женщине, дочери Публия Корнелия Сципиона Африканского Старшего (см. преамбулу к комментариям к «Сновидению Сципиона»).

²⁸ Гадания по полету птиц (ауспиции) производили члены коллегии авгуров, в число которых входили Квинт Сцевола и Луций Красс.

²⁹ Сервий Сульпиций Гальба (191—130) — консул 144 г. Во время

войны в Лузитании в 150 г. приказал уничтожить неприятельский отряд, сдавшийся в плен; за что был в Риме привлечен к суду, но вымолил прощение.

³⁰ *Марк Эмилий Лепид Порцина* — см. примеч. 12 к «Тускуланским беседам».

³¹ *Гай Порций Карбон* — трибун 131 г., сторонник Тиберия Гракха. После избрания его консулом в 120 г. примкнул к оптиматам. Двадцатилетний *Красс* обвинил его в прошлом сотрудничестве с Гракхами.

³² *Гражданское право* — законы Двенадцати таблиц и республиканские законы, как основа отношений между гражданами, в противоположность «народному праву» (*jus gentium*), основанному на общепринятых понятиях справедливости и применявшемуся в отношениях с неримскими гражданами.

³³ *Интердикт* — приказ судебного магистрата, принятый в общих интересах с целью воспрепятствовать изменению фактического состояния дел в отношениях двух сторон. *Наложение рук* — тот, кто завладевает вещью, выказывает тем самым свои притязания на нее; иногда разбирательство происходило перед судебным магистратом, когда истец и ответчик касались спорного предмета.

³⁴ *Демокритовцы* — последователи *Демокрита* (ок. 460—371), греческого натурфилософа, который вместе со своим учителем *Левкиппом* считался основателем атомистики. Атомисты полагали существование бесчисленного множества телесных частиц и пустоты, в которой они движутся. Они считали, что ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно: все возникает по неизбежности, и причиной возникновения является вихрь (неизбежность).

³⁵ *Сократ* (470—399) — знаменитый греческий философ. Его учение сохранилось в сочинениях его учеников — *Платона* и *Ксенофонта*. Многие философские школы античности выросли из его учения.

³⁶ *Академия* — школа *Платона* (см. примеч. 19 к «О наилучшем виде ораторов»), основанная около 387 г.; получила свое название от расположенной рядом рощи, носившей имя мифического героя *Академа*. История Академии подразделяется на три периода: 388—270 гг. — *Древняя Академия*; 270—150 гг. — *Средняя Академия*; 150 г. до н. э. — 529 г. н. э. — *Новая Академия*.

³⁷ *Сцевола* называет стоиков *моими*, так как сам был стоиком, учеником *Панетия Родосского* (ок. 185—110), представителя Средней Стои, а с 129 г. — ее главы.

³⁸ *Перипатетики* — последователи *Аристотеля* (384—322), знаменитого греческого философа, ученика *Платона*, автора многочисленных трудов по эстетике и риторике, придерживавшегося в философских взглядах материалистического направления.

³⁹ *Феофраст* — см. примеч. 11 к «О наилучшем виде ораторов».

⁴⁰ *Красс* был квестором в Македонии в 110 г. Академию тогда возглавлял ученик *Карнеада* *Клитмах*, Стою — ученик *Панетия* *Мнесарх*, школу перипатетиков — ученик *Критолая* *Диодор*.

⁴¹ *Хармад* (конец II в.) — ученик *Карнеада*, философ Новой Академии.

⁴² *Диалог Платона «Горгий»* посвящен спору *Сократа* с леонтинцем *Горгием* (см. примеч. 4 к «О нахождении материала»). Речь шла о том, что важнее: красноречие или мудрость.

⁴³ *Хрисипп* (ок. 282—208) — греческий философ-стоик. Возглавил Стою после *Клеанфа*. Ему приписывали около 705 сочинений (см.: *Диоген Лаэртский*. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VII, 7, 180). Разрабатывал стоическую риторику, основные требования которой — ясность, краткость, правильность и гармоничность (уместность).

⁴⁴ Аристотелю принадлежат «Риторика» (в 3-х книгах), «Поэтика». «Риторика» Феофраста не сохранилась.

⁴⁵ *Гимнасий* — см. примеч. 13 к «О наилучшем виде ораторов».

⁴⁶ *Марк Марцелл* — о нем ничего не известно.

⁴⁷ *Ликург* (IX в.) — легендарный спартанский законодатель; *Солон* (ок. 630—559) — афинский законодатель.

⁴⁸ *Гиперид* (389—322) — один из десяти лучших аттических ораторов. Примыкал к антимакедонской группировке Демосфена.

⁴⁹ *Децемвиры* — патриции, избранные по предложению народного трибуна Терентилля Арсы в комиссию для письменного изложения законов, освященных традицией. Позже эти законы были записаны на медных таблицах и получили название законов *Двенадцати таблиц* (см.: Тит Ливий. История Рима от основания города, III, 44—58).

⁵⁰ *Филон* построил в Афинах арсенал ок. 300 г. *Гермодор Саламинский* построил в Риме в конце II в. храм Марса при цирке Фламиния; о месторасположении *верфей* ничего не известно.

⁵¹ *Асклепиад из Прусы* (Вифиния) — известный врач того времени. О нем упоминает Плиний Старший в «Естественной истории» (VII, 37, 124).

⁵² См.: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, IV, 6, 1.

⁵³ *Гай Марий* (156—86) — знаменитый полководец, консул 107, 104—100, 86 гг. Его сын был женат на дочери Сцеволы, другая дочь которого была женой Луция Красса.

⁵⁴ *Секст Помпей* — последователь Стои, дядя Гнея Помпея Великого. Занимался юридическими и математическими науками.

⁵⁵ В «Академических исследованиях» (I, 5, 19) Цицерон приписывает это разделение философии на три части (физику, диалектику и этику) Платону.

⁵⁶ *Арат* (ок. 310—245) — греческий поэт из г. Солы в Киликии. Следуя астрономическому сочинению Евдокса Книдского и Феофрасту, написал дидактическую поэму «Явления» (ок. 270), где описываются явления в звездном небе и атмосфере. Поэма свидетельствует о глубоком знании поэтом стоической философии. Цицерон в юности перевел ее латинскими стихами.

⁵⁷ *Никандр Колофонский* (ок. 150) — автор дидактической поэмы о сельской жизни.

⁵⁸ *Гай Луцилий* (148—103) — см. примеч. 22 к «О наилучшем виде ораторов».

⁵⁹ Сцевола посетил Родос в 121 г.; там обучал крусноречию *Аполлоний Алабодский*, известный ритор того времени.

⁶⁰ Атлеты умащали тело маслом перед занятиями в гимнасии или палестре.

⁶¹ Марк Антоний отправился в Киликию для борьбы с пиратами в 103 г.

⁶² *Менедем* (ок. 100) — афинский ритор.

⁶³ В «Бруте» Цицерон упоминает это сочинение Марка Антония — «О речевых приемах» (*De ratione dicendi*).

⁶⁴ И Академия, и Ликей, где преподавал Аристотель, были гимнасиями.

⁶⁵ При вступлении в чужое наследство назначаемому наследнику давали срок для решения — принять или не принять наследство.

⁶⁶ *Марк Пуний Пизон Кальпурниан* — консул 61 г., перипатетик. Участвует в диалоге Цицерона «О пределах добра и зла», V.

⁶⁷ *Стасей из Неаполя* долгое время жил в доме Пизона и был его учителем философии.

⁶⁸ В греческом языке употребительны три термина для обозначения знания, науки: *ἐπιστήμη* («умозрительное значение»), *ἐμπειρία* («опытное значение»), *τέχνη* («теоретическое обобщение практического опыта»).

⁶⁹ *Ambitus* («обхождение») — термин для обозначения предвыборной пропаганды кандидатов в магистраты. Обычно кандидат обходил форум и просил граждан голосовать за него. Часто за кандидатом шел помощник, который подсказывал имена встречаемых.

⁷⁰ *Гай Целий Кальд* в должности трибуна (в 107 г.) провел закон о тайном голосовании в судах по делам о государственной измене. Благодаря своей популярности был избран в 94 г. консулом, хотя и не принадлежал к сенаторскому сословию («новый человек», как позже Цицерон).

⁷¹ *Квинт Гибрида Варий* — народный трибун 91 г. Провел закон о преследовании лиц, способствовавших Союзнической войне. Пытался привлечь к суду по этому закону Марка Эмилия Скавра. Несколько лет спустя сам нарушил этот закон, был изгнан и убит в изгнании. См.: Цицерон. О природе богов, III, 33, 81.

⁷² *Квинт Фабий Максим Эбурн* — претор 119 г., консул 116 г. Как претор, председательствующий в суде, имел право закрывать заседание по своему усмотрению.

⁷³ *Квинт Росций Галл* — см. примеч. 33 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

⁷⁴ В § 139—140 перечисляются статусы установления, определения, законности; двусмысленности, противоречия и расхождения.

⁷⁵ *Квинт Энний* — см. примеч. 2 к «О наилучшем виде ораторов».

⁷⁶ Цицерон также переводил с греческого языка на латинский: в молодости Платона и Ксенофонта, позже Демосфена и Эсхина. Возможно, Цицерон вкладывает здесь в уста Красса впечатления от своего личного опыта.

⁷⁷ О важности манеры произнесения речи см. III, 56, 213.

⁷⁸ См. примеч. 10 к «О наилучшем виде ораторов».

⁷⁹ *Публий Муций Сцевола* — двоюродный брат Сцеволы Авгура, консул 131 г. За свои занятия правом был прозван Юрисконсултом. Написал 10 книг о гражданском праве. Находился в числе советников претора и поэтому не мог покинуть суд до конца прений. В суде разбиралось дело опекуна, злоупотребившего доверием подопечного. По закону Двенадцати таблиц опекун должен был возместить растрченную сумму в двойном размере. Однако, если сумма иска оказывалась завышенной, истец автоматически проигрывал дело. Но ни *Плавтий Гипсей*, адвокат подопечного, ни *Гней Октавий*, адвокат опекуна, не знали этого закона. Поэтому Гипсей добивался у претора разрешения на иск о завышенной сумме, а Октавий, вместо того чтобы промолчать на суде и тем самым автоматически выиграть дело, вступил в спор с Гипсеем, пытаясь занизить сумму, то есть каждый действовал вопреки собственным интересам. Скорее всего, процесс состоялся в 127—126 гг., так как об Октавии, консуле 128 г., говорится уже как о «бывшем консуле», в отличие от консула 125 г.

⁸⁰ *Квинт Помпей Руф*, городской претор 91 г., председательствовал на суде, в котором рассматривался иск займодавца к должнику-неплательщику. Долг следовало выплачивать по частям, срок первых двух выплат уже истек, последних — еще нет, поэтому займодавец должен был сделать в иске оговорку, что требует лишь сумму, «которой вышел срок»; если бы он этого не сделал, то проиграл бы данный процесс из-за «превышения притязаний» и тем самым затруднил бы себе повторение иска в дальнейшем.

Поэтому в интересах должника было не напоминать противнику о необходимости этой оговорки; между тем адвокат должника по невежеству решил, что эта оговорка выгодна именно должнику, и настаивал на ее включении в обвинительный акт.

⁸¹ Публий Лициний Красс Дивит Муциан — консул 131 г., брат Сцевола-Юрисконсульта, был усыновлен одним из Крассов. Его племянник Квинт Муций Сцевола Понтифик — коллега Лициния Красса по претуре 99 г. и консулату 95 г. В деле Мания Курия были противниками.

⁸² Марк Порций Катон Старший — см. примеч. 32 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

⁸³ Центумвиральные тяжбы — дела о собственности и наследовании находились в ведении суда центумвиров.

⁸⁴ Узаконения о давности (о давности владения, которое с течением времени превращалось в собственность), об опеках (над несовершеннолетними наследниками), о родстве (дающем право на наследование), о намытых берегах и островах (о приросте земельных владений в результате речных наносов), об обязательствах и сделках (относящихся к собственности), о стенах, о пользовании светом, о капели, или удержании воды (см. примеч. 9 к «Топике»).

⁸⁵ Аргонавты — герои греческой мифологии, которые отправились на корабле «Арго» в Колхиду за «золотым руном». Эвксинское море — Черное море.

⁸⁶ Дело воина — общеизвестный в Риме судебный случай, включенный Валерием Максимом в его сборник исторических анекдотов «Достопамятные дела и речи» (VII, 7, 1). Воин единогласно был признан наследником.

⁸⁷ Обширный род Клавдиев делился на патрицианскую и плебейскую ветви: к первым относились Клавдии Пульхры, Клавдии Нероны и другие, ко вторым — Клавдии Марцеллы.

⁸⁸ Изгнанническое право позволяло человеку, изгнанному из италийской общины, жить в Риме, если он найдет «условного покровителя» из римлян.

⁸⁹ Процесс Гая Сергия Ораты и Марка Мария Гратициана подробнее описан Цицероном в сочинении «Об обязанностях», III, 16, 67.

⁹⁰ Марк Букулей — о нем ничего не известно.

⁹¹ Луций Фуфий — трибун 91 г., претор 85 г. Обвинил Мания Аквилия в 98 г. в вымогательстве денег; защитником Аквилия был Марк Антоний.

⁹² Дело Мания Курия слушалось в 93 г. Некий человек, умирая, думал, что его жена беременна, и завещал свое наследство будущему сыну, а если сын умрет до совершеннолетия, то наследство переходило к Манию Курию. Однако беременность вдовы оказалась мнимой, наследство осталось без наследника. Тогда с притязаниями на него выступил Марк Копоний, ближайший родственник умершего. На этом процессе Красс был защитником Курия, Сцевола — Копония (подробнее см. «Брут», 52—53).

⁹³ Гай Гостилий Манцин (Манциний) — см. примеч. 18 к «Топике».

⁹⁴ Священный посол — глава жрецов-фециалов, которые объявляли войну, принимали капитуляцию и вели переговоры.

⁹⁵ При освобождении раба его имя вносилось в гражданские списки, но эти списки получали юридическую силу лишь после того, как заканчивался пятилетний срок цензорства и цензор совершал торжественное очистительное жертвоприношение.

⁹⁶ Гней Флавий — секретарь цензора Аппия Клавдия Слепого, куральный эдил в 304 г. Опубликовал формулы судебного производства, положив начало оформлению римской правовой системы.

⁹⁷ *Гай Визеллий Варрон Акулеон* — римский всадник, друг Красса, родственник Цицерона.

⁹⁸ *Секст Элий Пет Кат (Хитроумный)* — консул 198 г., цензор 184 г., знаток права. Продолжил после Гнея Флавия оформление римской правовой системы. Написал комментарий к законам Двенадцати таблиц.

⁹⁹ Возвращение Одиссея, царя Итаки, описано в поэме Гомера «Одиссея». Нимфа Калипсо просила Одиссея остаться с ней и предлагала ему бессмертие, но он отказался.

¹⁰⁰ *Ликург, Солон* — см. примеч. 47. *Драконт* (VII в.) — легендарный афинский законодатель.

¹⁰¹ *Прагматики* — знатоки права, которые за плату подготавливали для ораторов материалы их дел. В эпоху Империи они появились и в Риме.

¹⁰² *Энний. Анналы, X, 326.*

¹⁰³ *Пикийский Аполлон* — назван по местонахождению своего оракула в Пифо, или Дельфах.

¹⁰⁴ *Ябедник (causidicus)* — поверенный, излагающий дело за плату. Римские законы запрещали платные адвокатские услуги.

¹⁰⁵ *Африканы* — *Публий Корнелий Сципион Старший* и *Сципион Эмилиан Младший* (см. примеч. 2 к «О нахождении материала») — знаменитые полководцы. Первый победил Ганнибала при Заме, второй разрушил Карфаген в III Пунической войне.

¹⁰⁶ *Квинт Фабий Максим Кунктатор*, консул 233, 228, 215, 214, 209 гг., полководец, во время II Пунической войны своей тактикой отступления спас основные силы римской армии и измотал войско Ганнибала. Известен также *Квинт Фабий Максим Аллоброгский*, консул 121 г., получивший триумф за победу над аллоброгами в Галлии.

¹⁰⁷ *Эпаминонд* (418—362) — фиванский политик и полководец. Занимался также философией и искусством. Погиб в сражении при Мантинее (восточная Аркадия).

¹⁰⁸ *Ганнибал* (247—183) — карфагенский полководец, главнокомандующий карфагенской армией во время II Пунической войны. Покончил жизнь самоубийством.

¹⁰⁹ *Публий Корнелий Лентул* — консул 162 г., старейшина сената, боролся против реформ Гая Гракха.

¹¹⁰ *Квинт Цецилий Метелл Македонский* — консул 143 г.; будучи претором, в 148 г. победил Лже-Филиппа Македонского. В 131 г. первым из плебейского сословия стал цензором.

¹¹¹ *Маний Манилий* — консул 149 г., юрист. Один из основоположников гражданского права. Издал сборник формул и договоров, завещаний и исков, пособие по торговому праву. Принадлежал к кругу Сципиона Младшего.

¹¹² *Публий Муций Сцевола* — см. примеч. 79.

¹¹³ *Марк Эмилий Скавр* — консул 115 г., цензор 109 г., старейшина сената. Цицерон хвалил его автобиографию и судебные речи. Его усадьба также находилась в Тускуле.

¹¹⁴ *Перикл* (495—429) — глава афинской демократии в течение многих лет (465—429). Собирал вокруг себя ученых и людей искусства, среди которых были Анаксагор, Фидий, Софокл.

¹¹⁵ *Игра в мяч* — см. примеч. 27 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

¹¹⁶ *Игра в двенадцать линеек* состояла из передвижения разноцветных фишек по доске, разделенной 12 линиями.

¹¹⁷ *Эмпедокл* (ок. 490—430) — греческий натурфилософ, участвовал

в политической жизни своего родного города Агригента. Написал поэму «О природе». По преданию, первым обосновал теорию общественного красноречия.

¹¹⁸ О гневе — см.: Аристотель. Риторика, II, 2, 2; Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 9, 21; 10, 24.

¹¹⁹ См.: Платон. Государство.

¹²⁰ Красс выступал в защиту *Сервилиева закона* (106 г.), по которому суды должны были быть разделены поровну между всадниками и сенаторами.

¹²¹ *Луций Скрибоний Либон* — трибун 149 г., обвинитель *Сервия Гальбы* в расправе над лузитанами. См. «Брут», 89; 90. О *Гальбе* — см. примеч. 29.

¹²² Скорее всего, хронологическая неувязка: *Рутилий Руф*, консул 105 г., вряд ли мог слышать речь Катона против Гальбы, включенную в «Начала» в 149 г. (см.: Цицерон. «Брут», 89) и, следовательно, произнесенную в 150-е, а может быть и в 160-е гг.

¹²³ «Начала» — сочинение Марка Катона Старшего.

¹²⁴ *Публий Рутилий Руф* — консул 105 г., легат *Квинта Сцевола Понтифика* в Азии (99 г.), затем наместник этой провинции. Был несправедливо обвинен в лихоимстве, осужден и до конца своей жизни жил в Смирне, занимаясь науками. Стоик, ученик *Панетия*, друг *Сципиона Младшего* и *Лелия*; оратор.

¹²⁵ Несколько недоброжелателей Сократа (поэт Мелет, политический деятель Анит, ритор Ликон) обвинили его в неучитании богов и развращении юношества; суд приговорил его к смерти; по приговору суда Сократ выпил яд (399 г.). См.: Платон. «Апология Сократа», «Федон».

¹²⁶ Рассказ этот легендарен. См.: Платон. «Апология Сократа». *Лисий* — см. примеч. 15 к «О наилучшем виде ораторов».

¹²⁷ *Сикионские башмаки* — мягкие туфли, признак изнеженности. Древние считали город Сикион местом веселья.

¹²⁸ Афинские судьи в первом голосовании решили, что Сократ виновен, во втором — назвали сумму штрафа, которую он должен был выплатить. Хотя друзья и предлагали Сократу деньги, тот отказался и в шутку предложил вместо наказания кормить его за государственный счет в Пританее, здании, где заседали и обедали почетные граждане и члены совета.

¹²⁹ *Публий Красс* — *Публий Лициний Красс Дивит Муциан* — см. примеч. 81. Был эдилом около 137 г.

¹³⁰ *Сцевола-Юрисконсульт* — см. примеч. 79.

¹³¹ *Квинт Муций Сцевола Понтифик*, сын *Сцевола-Юрисконсульта*. См. примеч. 81, 92.

¹³² *Судебник Гостилия* нигде больше не упоминается.

¹³³ «...как нарек язык...» — древняя форма завешания перед созванным народным собранием или перед войском, готовым к сражению, когда не было возможности составить письменное завешание.

¹³⁴ Трагедия «Тевкр» *Пакувия* (см. примеч. 3 к «О наилучшем виде ораторов») была переработкой драмы Софокла.

¹³⁵ *Манилиевы правила совершения купчей* — см. примеч. 111.

¹³⁶ *Магон* (VI в.) — карфагенский полководец. Сочинил 28 книг о сельском хозяйстве, которые были переведены на латинский язык. Марк Катон Старший использовал его сочинение при написании трактата «О земледелии». Плиний Старший приводит в «Естественной истории» отрывки из сочинения *Магона* (XVIII, 22).

¹³⁷ *Пеан* и *номион* — гимны Аполлону *Пэану* (Παιάν — «целитель») и Аполлону *Номио* (Νόμιος — «охраняющий стада»).

¹³⁸ В античном театре актеры исполняли свои партии в сопровождении флейты.

¹³⁹ Это место в рукописи испорчено. Некоторые издатели предпочитают чтение Лонгин.

¹⁴⁰ Клодий Эзон — известный римский трагический актер, друг Цицерона. Упоминается в «Тускуланских беседах» (II, 17); «О границах добра и зла» (V, 22). Умер после 65 г.

¹⁴¹ Первая буква — «Р» (Риторика).

¹⁴² Обычно в одном периоде речи имелось только одно повышение и понижение голоса; периоды с двумя повышениями и понижениями требовали особого искусства. В качестве примера комментаторы называют речь Демосфена «О ложном посольстве» (250; 320—322).

КНИГА ВТОРАЯ

¹ В год смерти Красса Марку Цицерону было около 15 лет, его брату Квинту около 10-ти.

² Гельвеция — сестра матери Цицерона.

³ Луций Туллий Цицерон сопровождал Марка Антония в Киликию в 103 г.

⁴ После получения школьного образования юношей посылали в дома знаменитых сенатских ораторов и правоведов, где они получали знания и навыки, необходимые для политической деятельности.

⁵ См.: Исократ. Панафинейская речь, 10. Цицерон приводит это место в своем трактате «О государстве» (III, 30, 42): «...двух качеств недоставало ему — уверенности и голоса, что мешало говорить перед толпой и на форуме» (пер. В. Н. Горенштейна).

⁶ Во втором часу дня — в античности считали от рассвета — то есть около 7 часов утра.

⁷ Квинт Лутаций Катул — консул 102 г. вместе с Гаем Марием, эллинофил, оптимат. После того как Гай Марий пришел в 87 г. к власти, покончил с собой (см. III, 3, 9). Гай Юлий Цезарь Страбон — сводный брат Катула по матери Попилии, которая первым браком была замужем за отцом Катула, а вторым — за отцом Цезаря. В 87 г. выставил свою кандидатуру на должность консула, но погиб в том же году от рук марианцев.

⁸ Понятие об уместности играет важную роль в эстетике Цицерона (см. вступительную статью. Ср. «Тускуланские беседы», II, 15, 35: «О, эта Греция, которая всегда хвастается обилием слов, а оказывается подчас такой скудной!»).

⁹ Палестра — место для спортивных упражнений, преимущественно для занятий борьбой.

¹⁰ Кайета (ныне — Гаэта) — город на побережье Тирренского моря, на полпути между Римом и Неаполем. Лаврент — город в 20 км от Рима, неподалеку от устья Тибра. Модные курорты конца II в. (Кайета — летом, Лаврент — зимой).

¹¹ Красс высмеивает буквоедство Сцеволы, который в деле Курия защищал букву, а не дух закона.

¹² Цицерон приводит эти строчки Луцилия также в начале трактата «О государстве», но с другими именами. Имя Децима Лелия больше не встречается.

¹³ ...будь оно искусством или наукой — artificium; studium dicendi. В этих словах выражено отношение к красноречию Красса и Антония. Красс

смотрит на красноречие как на *τέχνη*, постичь которое можно лишь в результате изучения теории; Антоний считает, что в основе овладения красноречием — присущее человеку рассуждение и практический опыт. Ср.: Аристотель. Риторика, I, 2, 1.

¹⁴ Цицерон перечисляет здесь виды воздействия *совещательного красноречия* (в сенате и народном собрании), *судебного* (в обвинении и защите) и *парадного* (в обличении и похвале).

¹⁵ *Перлы* (insignia) употреблены здесь в смысле *lumina* — «фигуры речи».

¹⁶ «*Три гроша*» — комедия древнеримского комедиографа Плавта (ст. 705).

¹⁷ Цитата из неизвестной комедии *Цецилия*.

¹⁸ Ср.: Аристотель. Риторика, I, 3, 1.

¹⁹ Обычно надгробные речи произносились над мужчинами (ср.: Полибий. Всемирная история, IV, 53—54); только в годы галльского нашествия такими речами были почтены и женщины, отдавшие свои золотые украшения на выкуп галлам (Тит Ливий. История Рима от основания города, V, 50). После речи Катула над своей матерью Попилией надгробные речи над женщинами вошли в обычай.

²⁰ Коллегой Красса по цензуре был *Гней Домиций Агенобарб*, консул 96 г.

²¹ *Секст Титий* (или *Тиций*) — трибун 99 г. Выступал с аграрными законами. Цицерон в «Бруте» (6; 225) критикует его ораторскую манеру выступления. В 98 г. Антоний обвинил Тития в том, что тот хранит у себя дома бюст трибуна Сатурнина, и добился его осуждения.

²² *Марк Порций Катон Старший* — автор сочинения по римской истории «Начала», см. примеч. 32 к «Речи к защите поэта Авла Лициния Архия». *Квинт Фабий Пиктор* — участник Галльской (225 г.) и II Пунической войн, автор первого сочинения по истории Рима на греческом языке. *Луций Кальпурний Пизон Фруги* — консул 133 г., цензор 120 г., политический противник Гая Гракха. Писал исторические летописи, которые Тит Ливий использовал в своей истории.

²³ При *Публии Муции Сцеволе-Юрисконсульте* все записи понтификов с «белых досок» из архива были переписаны в 80 книг и опубликованы.

²⁴ *Ферекид*, *Гелланик*, *Акусила* — древние греческие историки середины VI—V вв.

²⁵ *Геродот* — см. примеч. 17 к письму *Луцию Лукцею*.

²⁶ За ошибки при командовании флотом в Пелопоннесской войне (431—404) Фукидид был обвинен в измене и предпочел добровольное изгнание суду. Цицерон вспоминает об изгнании других великих афинян: Мильтиада, Фемистокла, Аристиды и, очевидно, о своем собственном.

²⁷ *Филист Сиракузский* (ок. 425—356) — родственник тирана Дионисия Старшего (406—367), помог ему захватить власть. В войне между Дионом и Дионисием Младшим Филист командовал флотом, проиграл сражение и был убит народом. Написал «Историю», которая охватывает историю Сицилии и историю правления Дионисия Старшего. Подражал Фукидиду, хотя ему и не хватало добросовестности и беспристрастности.

²⁸ *Эфор* и *Феопомн* (IV в.) — ученики Исократа. Пытались излагать историю, следуя правилам риторики.

²⁹ *Ксенофонт* — см. примеч. 10 к «О природе богов».

³⁰ *Каллисфен* (ок. 370—327) — греческий историк, родственник и ученик Аристотеля. Сопровождал Александра Македонского в его походе в Азию. Был обвинен в заговоре против царя и убит.

³¹ *Тимей из Сицилии* (ок. 352—256) — жил в Афинах, изложил историю Сицилии в 68 книгах.

³² *Мизен* — модный курорт на берегу Неаполитанского залива.

³³ *Поликлет* — см. примеч. 11 к «Речи против Гая Верреса» и примеч. 18 к «Об ораторе», кн. III. Его статуя *Геракл с гидрой* более нигде не упоминается; вероятно, Цицерон ошибался.

³⁴ *Геркулес* (греч. *Геракл*) — персонаж греческой мифологии. Совершил двенадцать подвигов, среди них — победа над Немейским львом и Лернейской гидрой.

³⁵ Статуя *Минервы* (греч. *Афина*) была создана греческим скульптором Фидием для храма Парфенона. На ее щите была изображена битва героев с амазонками, причем мастер поместил среди них Перикла и самого себя.

³⁶ *Стобей* (V в. н. э.) в «Антологии», 54 называет собеседником Ганнибала какого-то философа-стоика, рассуждавшего о том, что только мудрец и есть истинный полководец. Имя *Формиона* стало нарицательным для обозначения человека, рассуждающего о том, чего он не понимает. Ганнибал жил в изгнании у Антиоха, сирийского царя, с 195 по 190 г.

³⁷ Здесь Цицерон говорит (устаами Антония) о разделении красноречия на пять частей; в юношеском сочинении «О нахождении материала» он выделял шесть частей (см. преамбулу к комментарию «О нахождении материала»), в позднем сочинении «Подразделение речей» — четыре части (вступление, повествование, доказательство, заключение).

³⁸ *Марсово поле* служило для спортивных и военных упражнений.

³⁹ Достойный человек (*vir bonus*) — ср. с катоновским определением политика: *vir bonus dicendi peritus*. Понятие *bonus* включало в себя значение гражданской благонамеренности.

⁴⁰ *Гай Норбан* — народный трибун 95 г., сторонник популяров и Мария, обвинил в 95 г. Квинта Сервилия Цепиона, консула 106 г., в гибели войска в сражении с кимврами в 105 г. В отместку оптиматы в следующем году обвинили Норбана в государственной измене. Обвинителем выступил Сульпиций; Марк Антоний, хотя он и сочувствовал оптиматам, встал на защиту Норбана, который прежде служил квестором под его началом (в 103 г.).

⁴¹ *Гай Флавий Фимбрия* — консул 104 г. Речь его хотя и не отличалась изяществом, тем не менее была прямой и непринужденной («Брут», 129).

⁴² Уже Квинтилиан пишет о неподлинности сочинений, приписываемых Периклу («Наставление оратору», III, 1, 14). Очевидно, так же обстоит дело и с сочинениями Алкивиада.

⁴³ *Критий* (ум. в 403 г.) — ученик Горгия и Сократа, афинский политик, оратор, поэт, один из «тридцати тиранов». *Ферамен* (конец V в.) — ученик софиста Продика, афинский политик и оратор, один из «тридцати тиранов».

⁴⁴ Ср. «Одиссея», IV, 272: «В том деревянном коне сидели мы, лучшие в войске...»

⁴⁵ *Навкрат из Эрмтр* (IV в.) — ритор из школы Исократ.

⁴⁶ *Гиперид* (ок. 395—322) — ученик Платона и Исократ; его речам порой не хватало отделки и изящества. *Лукург* (ок. 396—325/324) — афинский оратор; его речи изобиловали многочисленными историческими и мифологическими отступлениями. *Эсхин* (389/393—314/318) — афинский оратор, входил в число лучших аттических ораторов. Политический противник Демосфена. Умер в изгнании на Родосе. *Динарх* (ок. 361—290) — ученик и друг Феофраста. *Гермоген* (грамматик II в. н. э.) называет их политическими ораторами.

⁴⁷ *Демохар* (ум. ок. 280 г.) — племянник и ученик Демосфена, афинский политик. Написал историю своего времени (в 21-й книге), которая не сохранилась.

⁴⁸ *Деметрий Фалерский* (ок. 354—283) — политик и оратор, ученик Феофраста. В 318—307 гг. был правителем Афинского государства. Сохранились названия его сочинений по истории, философии, грамматике, красноречию.

⁴⁹ *Менекл из Алабанды* (Кария) — оратор-азианист, пользовался большой известностью вместе со своим братом *Гиероклом*. Цицерон слушал их обоих.

⁵⁰ *Гай Скрибоний Курион* — трибун 90 г., консул 76 г., сын *Гая Скрибония Куриона*, претора 121 г., известного оратора своего времени.

⁵¹ О деле *братьев Коссов* ничего не известно.

⁵² *Дела о лихоимствах* (de repetundis) — о вымогательствах и взяточничестве магистратов в провинциях. *Дела о подкупе* (de ambitu) — о подкупе избирателей кандидатами на магистерские должности.

⁵³ *Луций Опиций*, консул 121 г., был обвинен Публием Децием, трибуном 120 г., в организации расправы над *Гаем Гракхом*, который убил себя с помощью своего раба. Защитником Опиция выступил консул 120 г. *Гай Папирий Карбон*, бывший гракхианец, перешедший на сторону оптиматов.

⁵⁴ *Закон Апулея* (100 г.), первый закон об умалении величия (de majestate), направленный против сопротивления власти трибуна.

⁵⁵ *Диалектики* — здесь: стоики, занимающиеся логикой.

⁵⁶ ...создам, вскормлю, закалю — по мнению комментаторов, эти глаголы последовательно указывают на приобретение природных дарований, научных познаний и практического опыта.

⁵⁷ Речь идет о процессе *Манья Аквилля* (98 г.), консула 101 г., обвиненного во взяточничестве. Был полководцем в войне с восставшими сицилийскими рабами. См. II, 194—196.

⁵⁸ *Гней Манлий Максим* — коллега *Квинта Сервилия Цепиона* по консульству 105 г. См. примеч. 40. *Квинт Марций Рег* — консул 118 г. И тот и другой участвовали также в кимврой войне.

⁵⁹ Сельскохозяйственные термины часто употреблялись Цицероном, ср. II, 96.

⁶⁰ Этот же пример приводит Цицерон в сочинении «Подразделение речей».

⁶¹ *Марк Юний Брут* — претор 142 г. Наряду со *Сцеволой* и *Манилием* считался основателем римской правовой науки. Автор сочинения «О гражданском праве» (в форме диалога с сыном).

⁶² Об источниках, из которых можно извлечь *основание всякого доказательства*, Аристотель пишет в «Топике». Сокращенное изложение этого сочинения Аристотеля — в «Топике» Цицерона (см. наст. издание, с. 56—81).

⁶³ Намек на мифический *остров Сирен*, которые сладким пением заманивали проплывающих мимо моряков и губили их. См. «Одиссея», XII, 39 сл.; 158 сл.

⁶⁴ Расцвет пифагорейства в Великой Греции (греческие колонии в Южной Италии) относится к VI в. *Нума Помпилий* — см. примеч. 23 к «Об ораторе», кн. I.

⁶⁵ *Луций Фурий Фил* — консул 136 г. Друг *Сципиона Младшего* и *Гая Лелия*. Цицерон хвалил его как оратора и ученого («Брут», 28). В сочинении «О государстве» он выведен Цицероном в роли одного из участников диалога.

⁶⁶ Афиняне захватили крепость Ороп, находившуюся на беотийской границе, и суд приговорил их к уплате штрафа в 500 талантов. *Посольство философов* в составе академика Карнеада, перипатетика Критолая и стоика Диогена приехало в 155 г. в Рим, чтобы просить о снижении суммы штрафа, в результате чего окончательный штраф составил 100 талантов.

⁶⁷ *Зет* — персонаж трагедии Пакувия «Антиопа»: грубый силач Зет спорит со своим братом, музыкантом Амфионом, о пользе музыки.

⁶⁸ Энний. «Неоптолем». Пакувиевского Зета и Неоптолема Энния Цицерон также сравнивает в трактате «О государстве», I, 18, 30.

⁶⁹ Намек на *Пенелопу*, жену Одиссея, которая, веря в возвращение мужа, объявила женихам-претендентам, что согласится на их притязания, когда кончит ткать покрывало. Сама же днем ткала, а ночью распускала сотканное.

⁷⁰ ...ту книгу — Аристотель систематизировал риторические теории, существовавшие до него, в так называемый «Свод учений». Цицерон («О нахождении материала», II, 2, 6) свидетельствует о том, что в его время ею пользовались. *Те книги* — очевидно, «Риторика» и «Топика».

⁷¹ Во времена Цицерона слово «консул» выводили непосредственно от слова *consilium* («совет»).

⁷² Имеется в виду *Квинт Метелл Пий (Благочестивый)*, консул 80 г. Его отец, *Квинт Метелл Нумидийский*, консул 109 г., победитель Югурты, ушел в изгнание в 100 г. в результате политической интриги Гая Мария и из-за несогласия с законами Сатурнина, что было причиной скорби сына. «Его прославили слезы, как других — победы» (Валерий Максим. Достопримечательные деяния и высказывания, V, 2, 7).

⁷³ В 130 г., после принятия гракхианцами новых аграрных законов, *Сципион Африканский Младший* стал во главе их противников. После одного из сенатских заседаний, которое закончилось прославлением Сципиона, сенаторы и простые граждане проводили его до дома. На следующий день он был найден мертвым в своей постели. Распространились слухи об убийстве, в котором обвиняли Гая Гракха, Гая Папирия Карбона, тещу и жену, которая была сестрой Гракхов.

⁷⁴ Закон 131 г., позволяющий переизбирать народных трибунов на повторные сроки.

⁷⁵ Теренций. *Андреанка*, 110—112.

⁷⁶ Медицинская терминология часто использовалась в греческих философских текстах, см., например: Платон. *Федр* (270 b).

⁷⁷ Цитата из трагедии Пакувия «Гермиона».

⁷⁸ Цитата из трагедии Пакувия «Тевкр». *Теламон*, саламинский царь, гневается на своего побочного сына *Тевкра* за то, что тот не уберег под Тройей своего сводного брата — *Аякса* (или *Аянта*). Тевкр удаляется в изгнание.

⁷⁹ *Овация* — «малый триумф» — торжественное шествие полководца пешим ходом или верхом на коне во главе своего войска на Капитолий, где он приносил в жертву богам овцу (при большом триумфе полководец ехал на колеснице и приносил в жертву быка). О *Маних Аквиллих* см. примеч. 57.

⁸⁰ *Гай Марий* был в 101 г. консулом-сотоварищем *Аквиллия* и находился на процессе в качестве «призванного» (*advocatus*) лица, которое одним своим присутствием должно было возбудить сочувствие к той или другой стороне.

⁸¹ *Марк Эмилий Скавр* — см. примеч. 113 к «Об ораторе», кн. I.

Луций Аврелий Котта и *Тит Дидий* — трибуны 95 г., оптиматы. Народные трибуны пользовались правом неприкосновенности.

⁸² *Судьи* — римские всадники — неприязненно относились к *Квинту Цициону*, поскольку тот в 106 г. предложил лишить всадническое сословие монополии в исполнении судебных функций и разделить их поровну между сенаторами и всадниками.

⁸³ *Гармонической* — в оригинале *temperatio*, «смешанной в равной степени» — образ, восходящий к античному обычаю смешивать вино с водой.

⁸⁴ Тракаты «О смешном» не сохранились. Наряду с ними издавались сборники шуток. К ним можно отнести сборник «Изречений» Катона. Были изданы шутки и самого Цицерона.

⁸⁵ *Византийцы* — здесь: жители колонии Византий.

⁸⁶ *Катул* — лат. «щенок».

⁸⁷ *Гней Планк* — подзащитный Красса; обвинителем его был *Марк Юний Брут*, сын Марка Брута, известного юриста.

⁸⁸ Красс намекает на проданные Брутом отцовские бани. В римских банях были специальные отделения для потения.

⁸⁹ Речь Красса о выведении колонии в Нарбонн была произнесена в 118 г. и полна нападок на сенат; с другой речью, в поддержку законопроекта консула Цепиона, Красс выступил в 106 г.

⁹⁰ В Риме мальчики до 14 лет мылись в бане вместе с отцами, в более старшем возрасте это считалось неприличным.

⁹¹ *Изображения* — в знатных римских семьях хранились восковые маски-бюсты предков. Полибий писал: «...изображения эти выставляют в погребальном шествии, надевая их на людей, возможно ближе напоминающих покойников ростом и всем сложением. Люди эти одеваются в одежды с пурпурной каймой, если умерший был консулом или претором, в пурпурные — если цензором, наконец, в шитые золотом — если умерший был триумфатором или совершил подвиг, достойный триумфа» («Всемирная история», VI, 53). Правом на подобные почести обладали курульные сенаторы и их потомки.

⁹² Леса и природные ископаемые считались *недвижимым имуществом*; если же лес был вырублен, а природные ископаемые извлечены из земли, то они считались *движимым имуществом* и не включались в общую стоимость имущества, если только об этом специально не упоминалось в договоре.

⁹³ См. примеч. 20.

⁹⁴ Пирушки вскладчину были обычны в Греции, откуда этот обычай и перешел в Рим. Цезарь считает свою речь взносом в пир.

⁹⁵ *Амброзия* — пища богов, дарующая бессмертие.

⁹⁶ *Демокрит* был известен как «смеющийся философ», а *Гераклит* — как «плачущий».

⁹⁷ *Гай Меммий* — трибун 111 г., приверженец популяров. Обвинял многих знатных римлян в подкупе их Югуртой.

⁹⁸ *Таррацина* (или *Анксур*) находилась неподалеку от устья Уфента на Аппиевой дороге.

⁹⁹ Слова из несохранившейся пьесы.

¹⁰⁰ *Квинт Граний* (II в.) — глашатай, упоминаемый в сатирах Луцилия, известный шутник. *Варгула* — о нем ничего не известно.

¹⁰¹ *Луций Аврифик* — о нем ничего не известно.

¹⁰² *Musca* (лат. «муха») — когномен рода *Семпрониев*.

¹⁰³ Очевидно, *Гай Клавдий Нерон* — консул 207 г., победитель карфагенского полководца Гасдрубала.

¹⁰⁴ *Снурий Карвилий Максим* — консул 293 и 272 гг., победитель самнитян и этрусков.

¹⁰⁵ *Гай Сервилий Главкия (Главция)* — претор 100 г., соратник *Луция Анпулея Сатурнина*, «мятежного трибуна» 103 и 100 гг., вождя плебеев.

¹⁰⁶ Цезарь приводит здесь тонкие каламбуры: *ubi vetus illud num claudicat? At hic clodicat!* *Гай Секстий Кальвин*, будучи подагриком, хромал на обе ноги — *claudicare*, но поскольку он перешел на сторону популяров, то этот глагол произнесен по-плебейски — *clodicare*, со стяженным дифтонгом. Следующие каламбуры строятся на совпадении звучаний слов: «невежа» — «Невий» (*ignavus* — *Naevius*), «ко злу» — «козлу» (*circumvenire* — *hirco venire*).

¹⁰⁷ *Публий Лициний Вар* — претор 208 г., командовал флотом.

¹⁰⁸ Ср.: Цицерон. «Об обязанностях», I, 104: «Шутки бывают двоякого рода: с одной стороны, неблагоприятные, наглые, предосудительные, непристойные, с другой стороны — изящные, светские, остроумные, тонкие, какими изобилует не только наш *Плавт* и древняя аттическая комедия, но и сочинения сократиков. Многие мужи также оставили много остроумных речений, так называемых «апофтегм», вроде тех, которые собраны старым Катонем. Поэтому нетрудно определить разницу между благородной и неблагородной шуткой: одна достойна человека благородного, который время от времени позволяет себе душевную разрядку, другая достойна разве что рабской души, которая для срамных предметов пользуется непристойными словами».

¹⁰⁹ Священные изваяния богов стояли на перекрестках, иногда перед домами.

¹¹⁰ *Теренций Веспа* — лицо неизвестное.

¹¹¹ *Новий* — автор комедий-ателан, в которых действуют четыре маски: *Макк*, *Папп*, *Буккон* и *Доссен* (см. примеч. 9 к письму *Марку Марию в Кампанию*).

¹¹² *Марк Фульвий Нобилиор (Nobilior)* — консул 189 г., эллинофил. *Mobilior* означает «подвижный», «легкомысленный».

¹¹³ *Нуммий* получил свое имя от «монет» (*numi*), которые он раздавал, действуя как раздатчик взяток при кандидате на магистратскую должность.

¹¹⁴ Во время своего консульства (95 г.) *Квинт Муций Сцевола* и *Луций Красс* издали закон об изгнании из Рима италиков, которые выдавали себя за римских граждан, но не могли доказать своего гражданства.

¹¹⁵ Во время своего цензорства *Антоний* исключил *Марка Дурония*, трибуна 98 г., из сената; тот в свою очередь обвинил *Антония* в достижении цензорства путем подкупа. Свидетелем по этому делу выступил некий *Целий*. *Антоний* отвечает строкой из несохранившейся комедии, намекая на то, что сын, очевидно, потратил деньги на другие нужды.

¹¹⁶ *Тиберий Клавдий Азелл* (лат. «осленок») — трибун 139 г. Пословица: *Agas asellum, cursu non docebitur* — «Гони осленка, ничему не научится».

¹¹⁷ На выборах консула в центуриальной комиции голосовали 193 центурии. Представитель от каждой из них докладывал о результатах голосования. *Сципион* шутивно на официальный запрос высказал свое личное мнение. *Сципион* — *Марк Корнелий Сципион Малугинский*, претор 176 г. (?).

¹¹⁸ *Луций Манлий Ацидин Фульвиан* — консул 179 г., полководец. Был высоко ценим современниками как идеальный носитель гражданских доблестей.

¹¹⁹ *Марк Порций Катон Старший*, цензор 184 г., задал этот вопрос потому, что с холостяков взимался другой налог. За свою шутку *Луций*

Назика был исключен из сословия всадников, как об этом свидетельствует *Авл Геллий* («Аттические ночи», IV, 20).

¹²⁰ *Марк Пинарий Руска* — трибун, внесший закон о возрастном цензе. *Марк Сервилий* — неустановленное лицо.

¹²¹ Намек на то, что греки слишком часто воздвигали статуи своим покровителям.

¹²² Дело *Акулеона* (см. примеч. 97, кн. I) разбиралось в 97 г.

¹²³ *Марк Перперна* — консул 92 г., цензор 86 г.

¹²⁴ *Луций Элий Ламия* — защитник *Марка Мария Гратидиана*, претора 86 и 82 гг.

¹²⁵ ...выйдешь из своей столовой... — намек на то, что *Гальба* выдвигает в присяжные своих близких приятелей. Обвиняемый был вправе предложить суду нескольких присяжных по своему выбору, суд мог принять или отвергнуть предложенные кандидатуры.

¹²⁶ *Квинт Цецилий Метелл Нумидийский* — консул 109 г., победитель *Югурты*.

¹²⁷ *Секст Титий* сравнивал себя с *Кассандрой*, дочерью троянского царя *Приама*, имея в виду, что его пророчествам о бедствиях Рима верят не больше, чем пророчествам *Кассандры*, хотя они и оказывались правдивыми. После взятия Трои *Кассандра* подверглась насилию со стороны *Аякса Оилея*.

¹²⁸ *Галл* — неизвестное лицо.

¹²⁹ Непонятно, о каком *Пизоне*, подзащитном *Эмилия Скавра*, идет речь.

¹³⁰ *Префект Магий* — неизвестное лицо.

¹³¹ *Марк Цицерон* — дед оратора, был известен патриархальной строгостью нравов.

¹³² *Гельвий Манция* — неизвестное лицо.

¹³³ *Кимбрский (кимврский) щит* — трофей, захваченный *Гаем Марием* в Галльской войне 101 г. *Кимвры* — одно из германских племен, в конце II в. вторглись в Галлию и угрожали Риму.

¹³⁴ Новые лавки находились на северо-восточной стороне *Форума*.

¹³⁵ *Тит Пинарий* — неизвестное лицо.

¹³⁶ *Фабиева арка* на *Форуме* считалась самой высокой в Риме. Воздвигнута *Фабием* в честь победы над аллоброгами. См. примеч. 106, кн. I.

¹³⁷ *Гай Цецилий Метелл Капрарий* — консул 113 г., младший из четырех братьев *Метеллов*.

¹³⁸ *Публий Корнелий Руфин* — консул 290 г. *Гай Фабриций Лусцин* — консул 282 г., полководец, носитель старой римской морали. В 275 г., будучи цензором, исключил *Публия Корнелия Руфина* из сената за расточительность и роскошь. Умер в бедности. Его дочерям сенат дал приданое.

¹³⁹ *Сципион Младший* и *Луций Муммий Ахейский* были цензорами в 142 г. *Сципион* приписал *Азеллу* к классу эрариев, не имеющих права голоса и права занимать какие-либо должности, но *Муммий* отказал своему коллеге в этом и вернул *Азеллу* прежнее достоинство. Цензорское пятилетие завершалось торжественным жертвоприношением быка, овцы и свиньи.

¹⁴⁰ *Луций Септумулей* доставил за вознаграждение консулу *Луцию Опцию* голову *Гая Гракха*.

¹⁴¹ *Гай Фанний Страбон* — историк, ученик стоика *Панетия*, зять *Гая Лелия*. Возможно, был консулом в 122 г.

¹⁴² *Гай Публий* и *Публий Муммий* — о них ничего не известно.

¹⁴³ Битва консула *Луция Эмилия Павла* с *Персеем* при *Пидне* в 168 г. закончилась победой римлян.

¹⁴⁴ *Квинт Фабий Максим Кунктатор*, см. примеч. 106, кн. I. *Марк Ливий Салинатор* — консул 207 г. *Тарент* был потерян во время II Пунической войны в 212 г., отбит в 209 г.

¹⁴⁵ Строки из несохранившейся комедии.

¹⁴⁶ *Понтидий* — о нем больше ничего не известно.

¹⁴⁷ То есть дача *Метелла* в Тибуре, такая огромная, что ее можно увидеть из Рима.

¹⁴⁸ *Вероятно, Публий Корнелий Сципион Назика* — консул 191 г.

¹⁴⁹ *Эгилий* — неизвестное лицо.

¹⁵⁰ См. примеч. 113 и 124, кн. I. Процесс состоялся в 115 г.

¹⁵¹ *Тит Альбуций* — претор 106 г., эпикуреец и эллинофил. Обвинил в 120 г. *Сцевола* в вымогательстве, ссылаясь при этом на счетные книги *Альбия*, друга *Сцевола*. Когда суд отверг обвинение, усомнившись в надежности этих счетных книг, то *Альбий*, радуясь за своего друга, не подумал о том, что решение суда было вынесено наперекор его собственным счетным книгам, содержать которые в порядке было для римлян делом чести.

¹⁵² По закону без завещания могли наследовать умершему домочадцы, живущие с ним, и ближайшие родственники. Очевидно, *Скавр* воспользовался какими-то не совсем законными уловками. *Фригион Помпей* — неизвестное лицо.

¹⁵³ *Луций Кальпурний Бестия* — консул 111 г. Был обвинен в том, что за взятку заключил мир с Югуртой.

¹⁵⁴ *Закон Тория* (111 г.), изданный по инициативе трибуна *Спурия Тория*, упрочил земельную собственность, ликвидировав земельное законодательство братьев *Гракхов*.

¹⁵⁵ Возможно, речь идет о *Луции Лицинии Лукулле*, преторе 102 г. в Сицилии.

¹⁵⁶ *Марк Фульвий Флакк* — консул 125 г., привлек *Сципиона Назика* к ответу за убийство *Тиберия Гракха*. *Публий Корнелий Сципион Назика Серапион* — консул 138 г.; в 132 г. возглавил сенаторов и всадников при нападении на сторонников *Тиберия Гракха*. Отклонил предложенную *Флакком* кандидатуру *Публия Муция Сцевола-Юрисконсульта*, консула 133 г. (год убийства *Тиберия Гракха*), который был одним из авторов законопроектов *Гракха* и неприязненно относился к *Сципиону*. *Сципион* сделал вид, что принимает ропот сенаторов за проявление недоброжелательства по отношению к *Муцию*. Судом сенаторов *Сципион* был оправдан, но, опасаясь суда комиций, уехал с дипломатическим поручением в Азию.

¹⁵⁷ *Марк Цинций Алиммент* — трибун 204 г., предложил закон, запрещающий принимать подарки и вознаграждения за защиту в суде; этот запрет не распространялся на дарения ближайшим родственникам и за спасение жизни дарителя.

¹⁵⁸ *Гай Клавдий Центон* — о нем более ничего не известно.

¹⁵⁹ *Марк Эмилий Лепид* — консул 187 и 175 гг., цензор 179 г., великий понтифик.

¹⁶⁰ *Лишить коня* — то есть исключить из всаднического сословия.

¹⁶¹ *Марк Антистий из Пиргов* (Этрурия) — неизвестное лицо.

¹⁶² *Помптин* — *Помптинские болота*, местность с нездоровым климатом. Через них была проложена *Аппиева дорога* из Рима в Капуя.

¹⁶³ *Ученый* — *Семонид Кеосский*, см. примеч. 10 к «О наилучшем виде ораторов».

¹⁶⁴ Число защитников во времена *Антония* и *Красса* редко было более двух, во времена *Цицерона* иногда приглашали четырех, позже их количество могло доходить до двенадцати.

¹⁶⁵ *Гладиаторы-самниты* были вооружены мечами.

¹⁶⁶ Теренций. Андрианка, 51 и 128—129. Старик Симон рассказывает рабу о похоронах гетеры *Хрисиды*. Симон подозревал, что его сын Памфил был влюблен в нее, но когда на похоронах появилась сестра Хрисиды Гликерия и попыталась броситься в погребальный костер, то Памфил удержал ее и стало ясно, что возлюбленная Памфила — Гликерия. Это — завязка комедии.

¹⁶⁷ *Квинт Элий Туберон* — племянник Сципиона Младшего, претор 123 г., стоик. Для написания хвалебной речи своему дяде Африкану обратился к его ближайшему другу — *Гаю Лелию*.

¹⁶⁸ *Краннон* — город в Фессалии.

¹⁶⁹ *Кастор и Поллукс* — сыновья Зевса и Леды, жены царя *Тиндара* (отсюда *Тиндариды*), братья Елены Троянской и Клитемнестры; они назывались также *Диоскурами*, то есть сыновьями Зевса. В Спарте считались покровителями гимнастики. В награду за совершенные подвиги и братскую любовь Зевс сделал их созвездием Близнецов. Позже их представляли вожатыми моряков и покровителями гостеприимства.

¹⁷⁰ *Хармад и Метродор Скепсийский*, философы-академики конца II в., обладали блестящей памятью, см. также «Тускуланские беседы», I, 59.

Книга третья

¹ Луций Лициний Красс умер 19 сентября 91 г.

² *Сентябрьские иды* — 13 сентября.

³ За нарушение порядка в сенате взыскивалась *пена*. С сенаторов, которые редко появлялись на заседаниях, брали *зalog*.

⁴ Впервые как поющая птица лебедь упоминается у Гесиода. Эсхил («Агмемнион», 1444) считал, что лебеди поют только перед смертью.

⁵ Красс стал цензором в 92 г.

⁶ Муж *Лицинии*, дочери Красса, *Публий Корнелий Сципион Назика*, внук Сципиона Сералиона, был изгнан, как и многие другие сенаторы, по закону *Вария* (90 г.) — о наказании тех, кто побудил к восстанию италийских союзников.

⁷ *Гай Марий* был вынужден бежать из Рима в 88 г., когда к городу подступили войска Суллы. Позже Марий соединился с Цинной и вместе с войском в 87 г. вступил в Рим; друзья и родственники Суллы, противники Мария, были убиты, а их имущество конфисковано. Вступив в свой седьмой консулат в том же году, Марий вскоре умер.

⁸ *Ростры* — ростральная трибуна, находилась между Форумом и комициями, была украшена носами (rostra) антийских кораблей в память о победе над ними Гая Мения в 338 г.

⁹ *Марк Антоний* примкнул к Сулле, которого поддерживал сенат. В 87 г. был убит марианцами.

¹⁰ *Сродник* — *Публий Лициний Красс Дивит*, отец триумвира, консул 97 г., цензор 89 г., покончил жизнь самоубийством, попав в проскрипции Мария.

¹¹ *Соратник* — *Квинт Муций Сцевола Понтифик*, коллега Красса по претуре и консулату. Пал в 82 г. от рук убийцы, подосланного Марием Младшим.

¹² *Гай Папирий Карбон Арвина* — сын Гая Карбона, лишившего себя жизни, когда молодой Красс обвинил его в сотруничестве с Гракхами. Сын пытался отомстить Крассу. Приверженец Суллы, он был убит по приказанию Мария Младшего в сенате, то есть в священном месте.

¹³ О *Котте* и *Сульпиции* см. примеч. 12 и 13, кн. I.

¹⁴ Победа Суллы, защитника олигархической республики, над марианцами также сопровождалась жестокими проскрипциями.

¹⁵ *Экседра* — полукруглая ниша в портике.

¹⁶ Цицерон говорит здесь о взглядах элейской школы.

¹⁷ Платон. Послезакония, 992 а.

¹⁸ *Мирон*, *Поликлет* (II половина V в.), *Лисипп* (II половина IV в.) — греческие скульпторы. Идеал *Мирона* воплощался в гармонии движения. *Поликлет* находил свой идеал в совершенных пропорциях тела и гармонии статичной фигуры. *Лисипп* стремился к индивидуализации и раскрытию внутреннего мира человека. Цицерон писал в «Бруте», 70: статуи Мирона «еще не совсем точно передают природу, но уже могут быть названы прекрасными; а еще прекраснее статуи Поликлета, достигающие, на мой взгляд, уже полного совершенства. То же самое в живописи: у Зевксиса, Полигнота, Тиманфа и других художников, которые используют лишь четыре краски, мы хвалим только рисунок и чистоту линий; но у Аэтиона, Никомаха, Протогена, Апеллеса совершенно уже все, без исключения. И я уверен, что то же самое происходит со всеми другими искусствами: только что возникшее не может быть совершенным» (пер. И. П. Стрельниковой). Мы не можем судить об античной живописи, поскольку до нас дошли лишь фрагменты.

¹⁹ Римляне любили сравнивать своих трех знаменитых трагиков с тремя греческими.

²⁰ Первые римские писатели (Невий, Энний, Плавт, Пакувий, Акций и другие) происходили не из Рима.

²¹ *Квинт Валерий Соран* (из Соры) — грамматик, писатель, предшественник Варрона.

²² *Невий* умер около 201 г., *Плавт* — в 184-м.

²³ Варрон свидетельствовал («О сельском хозяйстве», I, 2, 14), что крестьяне говорили вместо *via* («дорога») — *veha*, а вместо *villa* («вилла») — *vella*.

²⁴ *Гней Помпоний* — трибун 90 г., погиб в 82 г. при Сулле. Цицерон («Брут», 221) называл его истинным оратором.

²⁵ Красс намекает на фразу из риторического пособия Антония: «...много я видел речистых ораторов, но до сих пор ни одного красно-речивого».

²⁶ Цицерон здесь перечисляет законодателей. *Питтак* (ок. 650—ок. 570) — один из «семи мудрецов», тиран Митилены на Лесбосе. Известен как сочинитель элегий.

²⁷ *Тиберий Корунканий* — консул 280 г., первый плебей, получивший звание великого понтифика. Правовед.

²⁸ *Анаксагор из Клазомен* (ок. 500—428) — натурфилософ, друг и учитель Перикла, а также, Фукидида и Еврипида.

²⁹ См. «Илиада», IX, 443.

³⁰ См. ниже речь эллинофила Катугла: «...эти греки... так и иссякли в праздности...» (III, 131). Цицерон противопоставлял греческому образу жизни римское трудолюбие и «достойный отдых» (*otium cum dignitate*).

³¹ *Фрасимах* (ок. 430) — учитель философии и риторики в Афинах, автор судебных речей. Участник диалога в «Государстве» Платона.

³² Оппоненты Сократа называли себя *софистами*. Сократ называл себя *философом* («любящим мудрость»).

³³ Аристотель еще при жизни Платона отошел от него; после его смерти основал свою школу — Ликей, в подражание платоновской Академии.

³⁴ *Ксенократ* — глава Академии в 339—314 гг.

³⁵ *Антисфен* (440—370) — ученик Горгия. Начал учиться у Сократа, уже имея свою риторскую школу. Позже преподавал в Киносарге. Считается основателем *кинической* школы. Возможно, его учение оказало влияние на Зенона *Китийского*, основателя *Стои*.

³⁶ *Аристипп из Кирены* (435/36) — ученик Сократа, основатель школы *киренаиков*. Первый из сократиков стал брать плату за обучение. Оказал влияние на *Эпикура*, на римских последователей которого Цицерон намекает ниже.

³⁷ *Эретрийцы* — речь идет о школе *Менедема* (конец IV в.), последователя Ферона из Элиды, ученика Сократа.

³⁸ *Эрилловцы* — последователи стоика *Герилла из Карфагена* (III в.), ученика Зенона.

³⁹ *Мегарцы* — ученики *Евклида* (см. примеч. 66), у которого после гибели Сократа укрылись Платон и другие философы (см.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, II, 106). Последователи Евклида позже получили имя *диалектиков*.

⁴⁰ *Пирроновцы* — последователи *Пиррона из Элиды*, основателя *скептической* школы. Пиррон учился у многих философов Греции, в Египте и у гимнософистов Индии.

⁴¹ *Эпикур* обычно беседовал со своими учениками в саду, отсюда ироническое — «садики».

⁴² *Спевсипп* (395—334) — племянник Платона, глава Академии после его смерти.

⁴³ *Полемон* (конец IV в.) — ученик *Ксенократа*, учитель Зенона. *Крантор* (ок. 300) — ученик Полемона, написал первое толкование к сочинениям Платона.

⁴⁴ *Аркесилай* (315—241) — глава Средней Академии (см. примеч. 36 к «Об ораторе», кн. I). Вернулся к диалогическому методу Сократа.

⁴⁵ *Карнеад* — глава Новой Академии (см. примеч. 36 к «Об ораторе», кн. I). *Сцевола* слушал Карнеада, когда тот приезжал в 155 г. с посольством в Рим, *Метелл* — в 130 г. в Афинах.

⁴⁶ Античные географы считали, что *Улисс* (Одиссей) странствовал в Тирренском и других окрестных морях.

⁴⁷ Из коллегии жрецов была выделена в 196 г. коллегия жрецов-эпулонов. Сначала было назначено три эпулона, позже семь, во времена Цезаря их число дошло до 10-ти.

⁴⁸ Имеется в виду *Гай Папирий Карбон* (процесс 119 г.), см. примеч. 12.

⁴⁹ *Повторить мистерии* — это требование характеризует поведение римских магистратов в завоеванных провинциях.

⁵⁰ *Гай Веллей* — трибун 90 г., последователь Эпикура. Выступает защитником эпикуреизма в трактате Цицерона «О природе богов».

⁵¹ *Квинт Луцилий Бальб* — стоик, как и его брат юрист *Луций Бальб*.

⁵² *Марк Вигеллий* — о нем ничего не известно.

⁵³ Имя *Корак* означает в переводе с греческого «ворон».

⁵⁴ *Памфил* — у Квинтилиана упоминается ритор с таким именем («Наставление оратору», III, 6, 34).

⁵⁵ О *Квинте Велоции*, *Нумерии Фурии* и *Брулле* ничего не известно.

⁵⁶ *Гай Цезарь* должен был стать *эдилом* в следующем, 90 г. В обязанности эдилов кроме наблюдения за общественными зданиями, дорогами, водопроводом, поддержания безопасности на улицах входило также устройство всенародных игр и празднеств за свой счет. Они стремились делать

это с наибольшей пышностью, чтобы завоевать популярность в народе и достичь высших должностей.

⁵⁷ Текст цензорского эдикта 92 г. приводят Авл Геллий («Аттические ночи», XX, 2, 2) и Светоний («О грамматиках и риториках», 25): «Дошло до нас, что есть люди, которые завели науку нового рода, к ним в школы собирается юношество, они приняли имя латинских раторов, и там-то молодые люди бездельничают целыми днями. Предками нашими установлено, чему детей учить и в какие школы ходить; новшества же, творимые вопреки обычаю и нраву предков, представляются неправильными и нежелательными. Поэтому считаем необходимым высказать наше мнение для тех, кто содержит школы, и для тех, кто привык посещать их, что нам это не угодно».

⁵⁸ Цитата из несохранившейся пьесы.

⁵⁹ Цитата из трагедии Энния «Андромаха».

⁶⁰ *Ломать ветку* — символический знак, которым сопровождалось притязание на собственность в римском суде: «...от стада пусть приведут в суд овцу или козу или хотя бы принесут волос от ее шерсти, от корабля или от столба пусть отломят щепку и т. д.» (Гай. Институции, IV, 17).

⁶¹ *Гиппий Элидский* (II половина V в.) — софист, именем которого названы два диалога из платоновского корпуса. Учил своих учеников вычислениям, астрономии, геометрии (Платон. «Протагор»).

⁶² *Продик Кеосский* (род. ок. 465 г.) — софист, учил риторике. Ему принадлежало сочинение «О природе человека».

⁶³ *Фрасимах Халкедонский* (V в.) — софист, современник Сократа. *Протагор Абдерский* (ок. 485—410) — один из «старших» софистов. Ему принадлежит знаменитое изречение «Человек есть мера всех вещей». Составлял конституцию для афинской колонии Фурии. Занимался грамматикой, риторикой, философией. Первый назвал себя софистом и стал брать за обучение деньги.

⁶⁴ См.: Платон. Горгий, 447 с.

⁶⁵ *Гиппократ Косский* (ок. 460—370) — знаменитый врач древности. Под его именем до нас дошли сочинения медицинского и натурфилософского характера.

⁶⁶ *Евклид* (ок. 300 г.) — знаменитый математик; кроме математических трудов ему приписывали два сочинения по теории музыки и астрономическое сочинение «Явления». *Архимед* (287—212) — математик и механик. Жил в Сиракузах. Занимался также астрономией.

⁶⁷ *Дамон* (V в.) — учитель музыки Перикла. *Аристоксен* (конец IV в.) — философ и теоретик музыки, ученик Аристотеля.

⁶⁸ *Аристофан Византийский* (ок. 257—180) — греческий филолог, грамматик, глава Александрийской библиотеки. Комментировал Гомера, других поэтов. Является основателем научной лексикографии.

⁶⁹ Прадедом зятя *Красса* (см. примеч. 6) был *Публий Корнелий Сципион Назика Коркул*, консул 162 г., который в свою очередь приходился зятем *Сципиону Старшему*.

⁷⁰ В разное время и разными авторами в их число включали разное количество людей (до 17-ти), в основном это политические деятели и законодатели VII—VI вв. Обычно перечисляют следующие имена: Фалес Милетский, Солон Афинский, Хилон Спартанский, Питтак Митиленский, Клеобул Линдский, Периандр Коринфский, Биант Приенский.

⁷¹ *Писистрат* — афинский тиран (560—527). Назначил комиссию для приведения в порядок текста гомеровских поэм.

⁷² Имеются в виду слова из комедии Евполида «Демы»:

«Сама Пейфо сидела на устах его —
Так чаровал он; кто его послушает —
Уносит в сердце жало от речей таких».

(Пер. М. Л. Гаспарова)

Пейфо (Пейто) — богиня убеждения и красноречия.

⁷³ По водяным часам (клепсидра) в риторских школах учились рассчитывать речь; в судебных заседаниях по ним отмеряли время для речей обвинителя и защитника.

⁷⁴ *Дион Сиракузский* (409—353) — брат жены сиракузского тирана Дионисия Старшего. Испытал на себе влияние Платона. После свержения тирании Дионисия Младшего был убит в результате заговора.

⁷⁵ *Тимофей* (IV в.) — сын Конона, учился у Исократы и Платона. Афинский полководец.

⁷⁶ *Лисид* (конец V — начало IV в.) — пифагореец. Долгое время жил в Фивах, в доме *Эпаминонда*.

⁷⁷ *Агесилай* (444 — ок. 361) — спартанский царь и полководец. Продолжатель политики Лисандра. В 396—394 гг. начал войну против персов. Ксенофонт, после своего изгнания из Афин, некоторое время сражался в спартанской войске, позже поселился в имении, подаренном ему Спартанским государством. Написал похвальное слово Агесилаю, но не имел на последнего никакого влияния.

⁷⁸ *Филолай* (V в.) — ученик Пифагора, записавший его учение. Был учителем *Архита Тарентского* (400—365) — политического деятеля и полководца, который прославился и как философ, математик и механик.

⁷⁹ *Аристотель* (как и многие философы до него: Пифагор, Платон) писал «экзотерические» сочинения для широкой публики и «эзотерические» — для близких учеников.

⁸⁰ Цитата из несохранившейся трагедии Еврипида «Филоклет».

⁸¹ Цитата из «Истории II Пунической войны» *Целия Антипатра* (II в.), который под влиянием Энния первым ввел в свою прозу поэтические украшения.

⁸² Сам Цицерон употреблял в своих сочинениях почти все перечисляемые старинные слова.

⁸³ Строка из трагедии Энния «Алкмеон».

⁸⁴ Цитата из несохранившейся трагедии.

⁸⁵ Цитата из «Тевкра» или «Дулореста» Пакувия.

⁸⁶ Цитата из трагедии Акция «Антигона».

⁸⁷ Сравнение с *арками* казалось Цицерону натянутым, поскольку римские триумфальные арки имели узкий пролет с крутым сводом.

⁸⁸ Цитата из «Аякса» Энния.

⁸⁹ *Сирт* — песчаная отмель у берегов Африки.

⁹⁰ *Харибда* — мифологическое чудовище, трижды в день заглатывавшее морскую воду и трижды ее извергавшее (см. «Илиада», XII, 73).

⁹¹ Энний. «Фиест». Слова Фиеста, который только что попробовал мясо своих детей и в ужасе запрещает приближаться к себе, проклятому богам.

⁹² Следующий прием — *аллегория*, при которой для выражения отвлеченного понятия используется конкретный художественный образ.

⁹³ Строка из несохранившейся пьесы.

⁹⁴ Строка из несохранившейся пьесы.

⁹⁵ Прием, о котором говорится здесь, называется *метонимией*.

⁹⁶ Строка из «Анналов» Энния о прибытии *Сципиона Старшего* в Африку.

⁹⁷ Указанные примеры — также из «Анналов» Энния. *Великая степь* — место победы Сципиона над карфагенскими полководцами *Сифаксом* и *Гасдрубалом*.

⁹⁸ Этот прием носит название *синекдоха* (перенос значения с части на целое и с целого на часть).

⁹⁹ Энний рассказывает о самом себе: уроженец калабрийского города *Рудий*, он получил римское гражданство, уже став знаменитым поэтом.

¹⁰⁰ ...отступаем от обычного словоупотребления — речь идет о *катахрезе* (использование слов в значениях, им естественно не принадлежащих). *Метонимию*, *синекдоху* и *катахрезу* Цицерон считал частными случаями *метафоры*.

¹⁰¹ *Шероховатость* — столкновение согласных. *Зияние* (*хиатус*) — столкновение гласных на стыке слов.

¹⁰² *Зимний знак* — созвездие Козерога, в котором Солнце в середине зимы находится в своей низшей точке.

¹⁰³ *Пять светил* — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.

¹⁰⁴ Аристотель пишет о естественности ямба и хорея в «Риторике», III, 8 и «Поэтике», 4.

¹⁰⁵ Долгий слог в античной метрике равен по продолжительности двум кратким, поэтому *пэан* (— или —) равен по продолжительности *креттику* (— —).

¹⁰⁶ Цитата из «Андромахи» Энния (плач Андромахи после разрушения Трои).

¹⁰⁷ *Героический размер* — гекзаметр.

¹⁰⁸ *Антипатр Сидонский* (ок. 100 г.) — греческий поэт, писал эпиграммы. Квинтилиан («Наставление оратору», X, 7, 19) упоминает его вместе с поэтом *Архием* как известного импровизатора.

¹⁰⁹ Установление обычая петь на пирах песни приписывалось *Нуме Помпилию* (об этом пишет Катон в «Началах»).

¹¹⁰ Учреждение коллегии *салиев*, жрецов бога Марса, относится ко времени *Нумы Помпилия*. *Салии* (букв. «прыгуны») во время празднеств в честь Марса обходили улицы с пением гимнов и плясками.

¹¹¹ Перечисляются *азиатская* («пышная»), *аттическая* (изысканная, тщательно отделанная) и *родосская* (занимающая промежуточное положение) манеры изложения.

¹¹² Перечисление фигур мысли, § 202—205.

¹¹³ Перечисление фигур речи, § 206—207.

¹¹⁴ См. «О наилучшем виде ораторов», I.

¹¹⁵ *Гай Гракх* оплакивает в своей речи убийство на Капитолии брата *Тиберия* в 133 г.

¹¹⁶ Цитируются слова *Фиеста* из трагедии *Акция «Атрей»*.

¹¹⁷ Цитата из «Тевкра» *Пакувия*.

¹¹⁸ Цитата из «Атрея» *Акция*.

¹¹⁹ Строки из трагедии Энния «Медей».

¹²⁰ Цитата из «Андромахи» Энния.

¹²¹ Слова преследуемого *Эриниями* *Алкмеона*, убившего мать, из трагедии Энния «Алкмеон».

¹²² Слова *Атрея* из трагедии *Акция «Атрей»*.

¹²³ Возможно, строки из трагедии *Пакувия «Илиона»*. *Илиона*, старшая дочь *Приама*, жена царя *Полиместора*, скрывала у себя своего младшего брата *Полидора*. После взятия Трои греки подкупили царя *Полиместора*, чтобы тот убил *Полидора*. По ошибке *Полиместор* убил своего собственного сына *Деифила*. *Илиона* отомстила мужу, ослепив и убив его.

¹²⁴ В Риме актеры долгое время играли без масок. *Росций* ввел в употребление маски по греческому образцу.

¹²⁵ Цицерон, подражая «Федру» Платона, заканчивает свое сочинение похвалой *Гортензию*, подобно тому как Сократ хвалит напоследок молодого Исократы («Федр», 279 b).

ПИСЬМА

В литературном наследии Цицерона не последнее место занимают его письма. До нас дошло 774 письма (около половины того, что было известно в античности). Сохранившаяся переписка относится к последним двадцати пяти годам жизни автора, то есть к тому времени, когда он был уже известным человеком. Вся корреспонденция можно разделить на четыре сборника в зависимости от адресатов: это письма «К брату Квинту», «К Аттику», «К Бруту» и сборник писем к различным адресатам. Письма представляют для нас особую ценность, так как раскрывают личность автора с несвойственной для античных условий полнотой. В этом смысле наибольший интерес представляет сборник писем к *Титу Помпонию Аттику* (110—32) — богатому римлянину, получившему прозвище Аттик за двадцатилетнее пребывание в Афинах. Он был другом и советником Цицерона по многим жизненным вопросам. Судя по откровенности переписки с Аттиком, она не была рассчитана на опубликование, в отличие от многих других писем.

В 44 г. Цицерон издал небольшой сборник своих писем, а после его смерти заботу о собирании и хранении переписки взял на себя литературный секретарь Цицерона, вольноотпущенник Тирон, чьи материалы легли в основу дошедших до нас сборников.

Публикуемые в данном издании письма представляют собой ценность, во-первых, как своеобразный пример ораторского искусства, своего рода риторическое упражнение, как называет это сам Цицерон («К Атику», IX, 4, 3), а во-вторых, как произведения, в которых ставятся некоторые философско-эстетические проблемы, такие, как красота и польза, или целесообразность.

ЛУЦИЮ ЛУКЦЕЮ

(«Письма к близким», V, 12)

Анций, июнь 53 г.

¹ Первая гражданская война в Италии была в 90—88 гг., вторая — в 88—82 гг.

² Имеется в виду заговор *Катилины* (см. примеч. 28 к «Речи в защиту поэта Авла Луциния Архия»).

³ *Каллисфен* — см. примеч. 30 к «Об ораторе», кн. II. Имеется в виду его сочинение «О священной войне».

⁴ *Тимей из Тавромения* (Сицилия), II половина IV—I половина III в.. Написал историю Сицилии и книгу о войнах эпирского царя Пирра.

⁵ *Полибий* — греческий историк (конец III—II в.). Написал «Всеобщую историю» в 40 книгах, из которых дошло только пять.

⁶ *Нуманция* — город в Испании, взятый Сципионом Младшим в 133 г.

⁷ См. «Об ораторе», II, 15.

⁸ См.: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, II, 1, 21.

⁹ Первый заговор Катилины (см. примеч. 28 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия») был в 66 г. Цицерон возвратился из изгнания в 57 г.

¹⁰ Эпаминонд — см. примеч. 107 к «Об ораторе», кн. I.

¹¹ Фемистокл — см. примеч. 37 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия». Цицерон, видимо, здесь придерживается версии о возвращении Фемистокла на родину, хотя в более позднем письме к Аттику (IX, 10, 3) есть намеки и на его смерть в изгнании.

¹² Александр Македонский (356—323), македонский царь, сын Филиппа II и Олимпиады, знаменитый полководец.

¹³ Апеллес (II половина IV в.) — известный художник, родом из Колофона. Придворный художник Александра Македонского. Из его работ до нас ничего не дошло.

¹⁴ Лисипп — греческий скульптор из Сикиона. См. примеч. 18 к «Об ораторе», кн. III.

¹⁵ Об Агесилае — см. примеч. 77 к «Об ораторе», кн. III. Имеется в виду дошедшее до нас сочинение Ксенофонта «Об Агесилае», где последний изображен образцовым правителем. О Ксенофонте см. примеч. 10 к «О природе богов».

¹⁶ Тимoleon Коринфский (410—337) — полководец, освободитель Сиракуз от тирании Дионисия Младшего.

¹⁷ Геродот (484—425) — греческий историк, представитель художественной историографии, автор полностью дошедшего до нас труда «История» в 9-ти книгах, каждая из которых носит имя одной из Муз. Произведение делится на две части: первая, заканчивающаяся 27-й гл. V кн., рассказывает об истории Лидии в связи с походами Кира, о Египте, повествует о внутренней истории Персии в связи с воцарением Дария, описывает его поход против скифов. Сюда же примыкают ливийские и фракийские логосы. Вторая часть посвящена истории греко-персидских войн.

¹⁸ Гомер (VIII в.) — древнегреческий эпический поэт, автор поэм «Илиада» и «Одиссея».

¹⁹ Ахилл — древнегреческий мифический герой, сын Пелея и Фетиды, участник войны Менелая и Агамемнона против Трои, герой поэмы Гомера «Илиада».

²⁰ Сигей — мыс на северо-западе Малой Азии.

²¹ Гней Невий (ок. 274—201) — римский поэт, родом из Кампании, участвовал в I Пунической войне. Был создателем первого римского национального эпоса об этих событиях. Как драматург является автором по крайней мере 6-ти трагедий (среди них 3 на сюжеты троянского цикла, а также трагедия «Ликур», на сюжет, сходный с «Вакханками» Еврипида). Впервые создал трагедии на римский сюжет. До нас дошло также более 30 названий его комедий, обнаруживающих вольнолюбивый и независимый дух писателя. Они гораздо ближе веселым народным играм, чем их греческий образец — Новая аттическая комедия.

²² Гектор — один из сыновей троянского царя Приама, участник троянской войны, убитый Ахиллом.

²³ В 60 г. Цицерон написал историю своего консульства на греческом языке и начал переводить ее на латинский. В этом же году он начал писать поэму о своем консульстве, от которой дошли отрывки (см. наст. издание, с. 481—483).

МАРКУ МАРИЮ В КАМПАНИЮ

(«Письма к близким», VII, 1)

Рим, первая половина октября 55 г.

¹ О слабом здоровье Марка Мария говорится также в письме к брату Квинту (II, 8): «Но я не хотел приглашать человека слабым здоровьем в незащищенную от ветров усадьбу...»

² Усадьба Марка Мария находилась в *Стабиях* (город между Помпеями и Суррентом (совр. Сорренто). Цицерон сравнивает вид из усадьбы Мария с театральной сценой.

³ *Спурий Меций Тарпа* — театральный критик, выбиравший пьесы для представлений.

⁴ Игры, о которых идет речь, происходили при освящении театра, построенного Помпеем, или освящении храма *Венеры Прародительницы*. Театр, возведенный на средства знаменитого полководца и государственного деятеля Гнея Помпея, был первым каменным театром в Риме (середина I в.). Он был построен по образцу греческого театра в Митилене и вмещал 17 тыс. зрителей. Диаметр его оркестры был 210 футов. Храм *Венеры Прародительницы* был построен во II половине I в. на форуме Юлия Цезаря (у отрогов Квиринальского холма за комициями). От него сохранились три мраморные колонны коринфского ордера.

⁵ *Эзол* — трагический актер.

⁶ Слова торжественной клятвы. Произносивший ее брался правой рукой за булыжник, символизирующий Юпитера.

«Клитемнестра» — трагедия поэта Акция или Невия. О Невии см. примеч. 21 к письму Луцию Лукцею. Луций Акции см. примеч. 6 к «О наилучшем виде ораторов». *«Троянский конь»* — трагедия Ливия Андроника (ок. 282—204), древнего римского поэта, грека по происхождению. Он перевел также на латинский «Одиссею» Гомера сатурническим стихом. Сохранились названия его трагедий: «Ахилл», «Аякс-биченосец», «Троянский конь», «Эгисф», «Гермиона», «Андромеда», «Даная», «Ино», «Терей». Кроме того, в 207 г. по поручению властей сочинил гимн в целях предостережения дурного предзнаменования. *Кратеры* — большие сосуды для смешивания вина с водой, представлявшие добычу, взятую греками в Трою.

⁸ *Протоген* — видимо, раб Мария.

⁹ *Греческие игры* — трагедии и комедии, написанные в подражание греческим образцам. Римская комедия на греческий сюжет называлась *паллиатой*, так как ее герои носили короткий греческий плащ — *паллий*. *Оскские игры* — так называемая комедия-ателлана, возникавшая из народного фарса одноактная пьеса, которая связана своим происхождением с оскским городом Ателла. Ателлану ставили отдельно, а иногда после трагедии, в виде заключительной сценки. В ней действовали четыре постоянные маски: *Макк* — молодой обжора, *Буккон* — глупый хвостун и обжора, *Панп* — незадачливый старик и *Доссен* — хитрый горбун. Ателлану характеризует италийский сюжет, незамысловатое действие, непристойные остроты и простонародный язык.

¹⁰ Речь идет о местном органе управления колонии в Стабиях. Насмешливый тон Цицерона объясняется тем, что Марий мог слышать в местном сенате латинскую речь, засоренную оскскими словами.

¹¹ Из Стабий в Суррент вели две дороги: новая, проходившая по берегу моря, и старая — по склону горы, которую Цицерон и называет *греческой*.

¹² О Помпее см. примеч. 4. Речь идет о боях гладиаторов, устроенных

Помпеем. Выражение *тратить масло и труд* встречается также в письме 44. Имеются в виду слова женщины, нарядившейся к празднику, не оправдавшему ее надежд. Впоследствии стали иметь в виду масло, истраченное на освещение.

¹³ В боях гладиаторов принимали участие не только люди, но и животные, в частности львы и слоны. Во время этих боев было убито около 500 львов.

¹⁴ По свидетельству Плиния, во время боев с участием слонов зрители выражали негодование в адрес Помпея.

¹⁵ *Луций Каниний Галл* — народный трибун 56 г., сторонник Помпея.

¹⁶ Имеются в виду *Авл Габиний*, бывший консул 58 г., которого Цицерон защищал по настоянию Помпея, и *Публий Ватиний*, бывший народный трибун 59 г., враг Цицерона. Осенью 56 г. Цицерону пришлось защищать *Бальба* (Луцилий Корнелий Бальб, родом из Испании, сопровождал в 61 г. претора Гая Юлия Цезаря в Испанию и был в 60 г. его послом при заключении триумвирата).

¹⁷ Усадьбы в *Кумах* (приморский город в Кампании) и в *Помпеях*.

¹⁸ Об этом идет речь также в письме 3 «К брату Квинту»: «Нашего Мария, признаться, я все-таки уложил бы на лектику». *Лектика* — носилки, паланкин.

ТИТУ ПОМПОНИУ АТТИКУ В РИМ

(«Письма к близким», IX, 4)

Формийская усадьба, 12 марта 49 г.

¹ Имеется в виду изгнание Цицерона в связи с подавлением заговора *Катилины* (см. примеч. 28 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия») в 62 г. Жестокая расправа над Катилиной и его сторонниками вызвала неудовольствие, и с образованием первого триумвирата (Помпей, Цезарь и Красс) Цицерон по требованию трибуна Клодия в 58 г. был вынужден отправиться в изгнание.

² Вопрос о *полезном* занимал довольно большое место в трудах Цицерона, который пробует решить проблему соотношения пользы и красоты. В эстетике Платона польза ставилась не ниже красоты. Однако красота как вечная форма бытия была уже несравнима с пользой. У поздних философов-стоиков красота и польза часто отождествлялись. В концепции Цицерона по данному вопросу можно найти черты стоического платонизма, то есть он не придерживается какой-то определенной точки зрения, характерной для той или иной философской школы, а является эклектиком, то есть берет из каждого направления то, что считает правильным.

³ То есть в день приступа лихорадки.

МАРКУ ТЕРЕНЦИУ ВАРРОНУ

(«Письма к близким», IX, 3)

Рим, незадолго до 20 апреля 46 г.

¹ *Марк Теренций Варрон* (116—27) — римский историк и грамматик, родом из Реате, крупнейший ученый-энциклопедист своего времени. Цицерон вывел его в своем сочинении «Академические исследования» как выразителя взглядов философа *Антиоха*, представителя Новой Академии

(см. примеч. 36 к «Об ораторе», кн. I). Варрон в свою очередь посвятил Цицерону трактат «О латинском языке». Написал около 74 сочинений (600 книг). Сохранился его трактат «О сельском хозяйстве» и частично — «О латинском языке». Самое раннее его произведение — так называемые «Менипповы сатуры», состоящие из 150 книг.

² *Каниний* — см. примеч. 15 к письму *Марку Марию в Кампанию*.

³ Известие о победе Цезаря в Африке еще не дошло до Рима.

⁴ То есть в Байях (см. примеч. 7 к следующему письму).

⁵ Намек на присутствие неримлян среди цезарианцев.

⁶ *Сову в Афины* — поговорка. Сова считалась посвященной богине Афине, покровительнице афинского государства. Выражение «Сову в Афины» означало делать нечто излишнее, ненужное. Ср. «морю воды добавлять», «В Тулу со своим самоваром».

МАРКУ ТЕРЕНЦИЮ ВАРРОНУ

(«Письма к близким», IX, 2)

Рим, вскоре после 20 апреля 46 г.

¹ *Каниний* — см. примеч. 15 к письму *Марку Марию в Кампанию*.

² Имеется в виду победа Цезаря при *Тапсе* (провинциальный африканский город к югу от Карфагена), где в 46 г. он нанес окончательное поражение Помпею.

³ То есть цезарианцы.

⁴ Сторонники *Помпея*. Хотя после поражения Помпея при Фарсале в 48 г. Цицерон отказался от участия в борьбе и внешне примирился с Цезарем, хотя в душе он и сочувствовал Помпею.

⁵ *Линкей* — древнегреческий мифологический герой, сын Афарей, брат Идаса, двоюродный брат *Диоскуров* (см. примеч. 169 к «Об ораторе», кн. II). Участвовал вместе с братом в *Калидонской охоте* на дикого вепря, которого разгневанная Артемида наслала на Калидон (убил вперя Мелеагр) и в *походе аргонавтов*. Отличался небывалой остротой зрения, видел под землей и под водой. Вместе с братом сражался с Диоскурами и был убит Полидевом.

⁶ По поводу победы Цезаря в Африке.

⁷ *Байи* — город в Кампании к западу от Неаполя, любимое дачное место римлян. Славился теплыми серными источниками.

⁸ *Форум* — центральная площадь города, центр общественной, деловой, политической, судебной и культурной жизни.

⁹ *Ученые люди* — то есть *Платон, Аристотель*.

МАРКУ ТЕРЕНЦИЮ ВАРРОНУ

(«Письма к близким», IX, 6)

Рим, вторая половина июня 46 г.

¹ *Каниний* — см. примеч. 15 к письму *Марку Марию в Кампанию*.

² *Альсий* — приморский город в Этрурии, в его окрестностях находилась усадьба оптиматов.

³ *Остия* — портовый город в устье Тибра.

⁴ *Гирций* — консул 43 г., друг Цицерона.

- ⁵ То есть с цезарианцами.
⁶ То есть Цезарь.
⁷ То есть сторонников Помпея.
⁸ То есть во время Африканской войны.
⁹ Речь идет об использовании в Африканской войне боевых слонов.
¹⁰ То есть пребывание Варрона в его тускуланской усадьбе. Тускул — древний город Латия.
¹¹ То есть *Платон, Феофраст*.

ТУСКУЛАНСКИЕ БЕСЕДЫ (I, I—VII)

«Тускуланские беседы» были написаны Цицероном в июле 45 г., после того как он закончил философский трактат «О границах добра и зла» и прежде чем начал писать «О природе богов». К 45—44 гг. относятся основные философские сочинения Цицерона: «Утешение, обращенное к самому себе», «Гортензий», «Академические исследования», «О дружбе», «О старости» и др. Удалившись от активной политической жизни, предвидя конец республиканского строя, переживая серьезную семейную трагедию (он развелся с первой женой Теренцией, второй брак оказался неудачным, в феврале 45 г. умерла его горячо любимая дочь Туллия), Цицерон обращается к философии «как к своему единственному утешению». Он не ставил себе целью создание оригинальной философской системы, но стремился изложить на латинском языке взгляды греческих философов, которые ему были близки. Наиболее четко Цицерон сформулировал свое кредо в приводимом ниже отрывке из I кн. «Тускуланских бесед». Признавая первенство греков в философии, а также в красноречии, Цицерон тем не менее считает, что римляне, обладающие блестящими природными дарованиями, должны обратиться к философии и достичь на этом поприще успехов и, может быть, даже превзойти своих учителей.

«Тускуланские беседы» состоят из пяти книг («О презрении к смерти», «О преодолении боли», «Об утешении в горе», «О страстях», «О самодовлеющей добродетели») и написаны в форме диалога. В этом сочинении Цицерона мало вопросов и ответов, большой объем занимает изложение мнения отвечающего, обозначенного буквой М. Второй собеседник обозначен буквой А. Эти буквы расшифровываются по-разному: М — это или имя Цицерона Марк или «магистр» (лат. «учитель»); А — возможно, это имя друга Цицерона — Аттик. Некоторые исследователи считают, что А означает «аудитор» (лат. «слушатель»), или «адоlescens» (лат. «юноша»).

В первой книге Цицерон приводит мнения греческих философов о природе души. Сам он, следуя Сократу и Платону, хочет верить в бессмертие души, но точно не указывает, какова ее сущность (I, 53).

¹ Цицерон считается создателем философской терминологии на латинском языке.

² Годом основания Рима считается 753 г. *Архилох* (720—676) — греческий поэт, создатель ямбической поэзии.

³ *Ливий Андроник* — см. примеч. 7 к письму Марку Марку в Кампанию. Поставил в 240 г., во время Римских игр, первую латинскую драму, написанную по греческому образцу.

⁴ «Начала» — сочинение по римской истории *Марка Порция Катона*

Старшего (234—149), сохранились отрывки. О *Катоне Старшем* — см. примеч. 28 к «Речи против Гая Верреса».

⁵ *Квинт Энний* — см. примеч. 2 к «О наилучшем виде ораторов». В 189 г. сопровождал консула *Марка Фульвия Нобилиора* в Этолию.

⁶ *Фабий Пиктор* (лат. «художник»), ок. 302 г., принадлежал к древнему патрицианскому роду, связанному со жрецами. Получил свое прозвище за роспись храма.

⁷ *Поликлет* — см. примеч. 11 к «Речи против Гая Верреса» и примеч. 18 к «Об ораторе», кн. III. *Паррасий* (конец V — начало IV в.) — греческий живописец.

⁸ *Эпаминонд* — см. примеч. 107 к «Об ораторе», кн. I. *Фемистокл* — см. примеч. 37 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

⁹ Цицерон перечисляет предметы, которые составляли греческое школьное образование. См. примеч. 2 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

¹⁰ *Сервий Сульпиций Гальба* (191—130) — консул 144 г., не очень удачливый полководец. Прославился своим красноречием. Цицерон пишет о нем, как о первом римляnine, который «стал применять особые, свойственные ораторам приемы» («Брут», 82).

¹¹ *Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Младший* — см. примеч. 2 к «О нахождении материала». *Гай Лелий Мудрый* — см. примеч. 30 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия». *Марк Порций Катон Старший* — см. примеч. 28 к «Речи против Гая Верреса».

¹² *Марк Эмилиий Лепид Порцина* — консул 137 г., оратор. «У него едва ли не впервые в латинском красноречии появилась и знаменитая греческая плавность, и периодичность фраз, и даже, я бы сказал, искусное перо» («Брут», 25). *Гай Папирий Карбон* и *Тиберий Семпроний Гракх* были его усердными слушателями.

¹³ В IV, 6 Цицерон упоминает одного из них — *Гая Амафиния*, последователя Эпикура.

¹⁴ *Исократ* — см. примеч. 21 к «О наилучшем виде ораторов».

¹⁵ То есть в подражание Сократу и Платону.

СНОВИДЕНИЕ СЦИПИОНА

(«О государстве», VI, IX, 9 — XX, 21)

«Сновидение Сципиона» — заключительный эпизод трактата Цицерона «О государстве» (в 6-ти книгах), написанного в 54 г. Основной текст трактата был обнаружен (в отрывках) лишь в начале прошлого века, тогда как рукописи «Сновидения Сципиона» известны начиная с V в.н.э. Это указывает на большую самостоятельность данного эпизода в составе трактата и на возможность рассматривать его в известной степени как независимое произведение. Герой его — тот же, что в основном тексте «О государстве», полководец и дважды консул *Сципион Африканский Младший* (185—129). В предшествующих книгах излагались его беседы с друзьями, происходившие у него на вилле, в «Сновидении Сципиона» действие переносится в заоблачные выси, где герой во сне встречается и разговаривает со своим дедом — знаменитым государственным деятелем и полководцем, победителем Ганнибала, *Публием Корнелием Сципионом Африканским Старшим* (238—183). Последний предсказывает внуку блестящую военную и политическую карьеру — награда за его доблесть, мудрость и преданность государству. Действие диалога, однако, происходит в 129 г. Сципион Старший упоминает о тех испытаниях и трудностях,

которые в ближайшее время ждут римское государство, и читатель знает, что дни Сципиона Младшего сочтены — вскоре он будет найден мертвым в своей постели (см. примеч. 73 к «Об ораторе», кн. II). Вывод, как бы подсказываемый автором, состоит в том, что подлинная оценка деятельности человека дается не здесь, а в горних пределах Млечного пути, дается не людьми, а богами, что отрадная награда доблести — лишь там, где душа героя сливается с исполненной сакрального смысла бесконечностью Вселенной. Взгляд этот, унаследованный Цицероном от пифагорейцев и позднего Платона, в контексте его творчества приобретает здесь особый смысл. Именно со II половины 50-х гг. в его творчестве все яснее мир политической практики и погруженного в нее красноречия противопоставляется высшему миру идеала — философии, поэзии и религии в их единстве. Подробное обоснование этой мысли см. во вступительной статье.

Нижеследующий комментарий составлен В. О. Горенштейном (см.: *Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах*. М., «Наука», 1966, с. 194—197), для целей настоящего издания в него внесены незначительные редакционные изменения.

¹ *Маний Манилий Непот* — консул 149 г., командовавший войсками, которые в начале III Пунической войны осадили Карфаген.

² *Военные трибуны* — в описываемую эпоху офицеры, по шесть в каждом легионе, по очереди в течение двух месяцев командовавшие легионом.

³ Нумидийский царь *Масинисса* (240—169), союзник Карфагена в начале III Пунической войны, в дальнейшем перешел на сторону римлян, чьими войсками в Африке командовал в это время Сципион Старший. Последний расширил владения Масиниссы и оказывал ему покровительство в Риме.

⁴ О культе Солнца и Луны у ливийцев см.: Геродот. История, IV, 188.

⁵ Имеется в виду *Публий Корнелий Сципион Африканский Старший* (см. выше, примеч. 3).

⁶ См.: Эний. *Анналы*, фрг. 4; Лукреций. *О природе вещей*, I, 117 и след.; Гораций. *Послания*, II, 1, 50.

⁷ Имеется в виду восковая маска умершего. См. примеч. 91 к «Об ораторе», кн. II. Эмилиан говорит, что представляет себе черты Сципиона скорее по восковой маске, чем по живому облику, потому что родился в 185 г., Сципион же умер через два года, в 183-м.

⁸ Сципион нанес Карфагену решающее поражение в битве при Заме в 202 г. Город капитулировал, стал данником Рима, обязался разоружиться, но ко времени Сципиона Эмилиана опять вернул себе военную мощь.

⁹ ...с какого-то высоко находящегося и полного звезд... места... — то есть с Млечного пути. См.: Цицерон. Перевод «Феноменов» Арата, 249.

¹⁰ Речь идет о почетном прозвании *Африканский*, которое носили оба Сципиона — и Старший и Младший, Эмилиан. Карфаген был взят в 146 г.

¹¹ *Триумф* — см. примеч. 41 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

¹² Сципион Эмилиан был консулом в 147 г., цензором — в 142-м и консулом во второй раз — в 134-м.

¹³ По окончании Нумантийской войны в Испании (138—133) Сципион Эмилиан в 132 г. справил триумф и получил прозвание Нумантийского.

¹⁴ Имеется в виду враждебный интересам знати земельный закон, проведенный трибуном 133 г. *Тиберием Гракхом* (см. примеч. 2 к «О нахождении материала» и 26 к «Об ораторе», кн. I). Его мать *Корнелия* была дочерью *Сципиона Африканского Старшего*.

¹⁵ То есть когда *Эмилиану* исполнится 56 лет, или в 129 г. — год смерти *Эмилиана*.

¹⁶ Цифра 8 считалась идеальным четным числом, цифра 7 — мистическим числом, способным оказывать влияние на судьбу.

¹⁷ Об убийстве *Сципиона Младшего* см. примеч. 73 к «Об ораторе», кн. II.

¹⁸ То есть из области Млечного пути. По учению пифагорейцев, душа человека — астрального происхождения. См.: Цицерон. Тускуланские беседы I, 66 и след.

¹⁹ В соответствии с учением Платона и пифагорейцев. См.: Платон. Федон, 67 С; Цицерон. О старости, 75; 77; О дружбе, 14; Тускуланские беседы, I, 75.

²⁰ Латинское слово *templum*, которое по-русски приходится переводить как храм, по изначальному своему смыслу означало часть неба, которую авгур-прорицатель своим посохом отграничивал для наблюдения знамений, то есть часть особенно любезную богам и потому священную. Здесь — Вселенная как местожительство богов.

²¹ Намек на то, что смерть *Сципиона Эмилиана* была самоубийством? Самоубийство Платоном и пифагорейцами не допускалось. См.: Платон. Федон, 62 В; Цицерон. О старости, 73.

²² То есть Луна.

²³ То есть небо, несущее на себе неподвижные звезды. Небо (небесный эфир) в учении стоиков отождествлялось с божеством. См. «О природе богов», II, 47.

²⁴ По геоцентрическому учению, Земля неподвижна; Вселенная ограничена небом неподвижных звезд, вращающимся вокруг Земли с запада на восток; в это небо концентрически заключены семь сфер, несущих на себе планеты и вращающихся вокруг Земли с востока на запад. См. «О природе богов», II, 49 и след.

²⁵ *Одинаковой силой*, по геоцентрическому учению, обладали круги Меркурия и Венеры.

²⁶ Таким образом, Цицерон открывает доступ в область Млечного пути не только государственным деятелям и полководцам, но также, наравне с ними, ученым и деятелям искусства. Мысль эта — одна из самых важных для позднего Цицерона. См. об этом вступительную статью.

²⁷ Верхние пороги на Ниле. См.: Геродот. История, II, 17; Плиний Старший. Естественная история, VI, 181.

²⁸ Имеются в виду так называемые *антиподы*. См. ниже, XX, 21.

²⁹ *Кавказский хребт и река Ганг* считались восточными пределами Земли.

³⁰ *Великий год* — период, за который все планеты вместе завершают свой круговорот, то есть около 800 обычных лет. По учению стоиков, по окончании «великого года» (см. XXII, 24) происходит всеобщий пожар, существующий мир уничтожается и возникает новый, открывающий следующий цикл.

³¹ То есть по истечении «великого года».

³² То есть в область Млечного пути.

³³ Согласно легенде, Ромул исчез в 716 г.; беседа, о которой сообщает *Сципион Эмилиан*, относится к 149 г., то есть происходит через 567 лет. Если такой промежуток составляет меньше одной двадцатой части

«великого года», то последний равен для Цицерона самое меньшее 11 340 годам.

О ПРИРОДЕ БОГОВ (II, IV, 12 — XXVII, 104)

Трактат «О природе богов» был начат Цицероном летом 45 г. и закончен к февралю следующего года. Трактат имеет форму диалога и состоит из трех книг. В беседе принимают участие эпикуреец *Веллей*, стоик *Бальб* и член Платоновой Академии *Котта*, все — реальные исторические лица. Действие происходит около 75 г. в Риме, в доме Котты. Среди гостей в роли слушателя присутствует и сам *Цицерон*, который от своего лица говорит только во вступлении и в конце трактата.

Первая книга начинается со вступления, в котором автор задается вопросом о существовании и природе богов. Он ставит под сомнение теоретическую теологию, то есть наличие четких доказательств существования богов, так как многое строится на слепой вере. Далее говорится, что религия необходима для нравственности и политики.

После вступления слово берет эпикуреец *Веллей*. Он критикует общие принципы теологии Платона и стоиков, дает критический обзор истории философской теологии, излагает и защищает эпикурейское учение о богах (боги существуют потому, что сама природа в душе каждого человека запечатлела понятие о них. Сила и природа богов такова, что они постигаются не чувством, а умом). Далее *Веллей* выступает против стоической идеи провидения. Цицерон разделяет некоторые представления эпикурейской философии, но не приемлет созданного Эпикуром учения о богах, об их антропоморфности.

Вторая половина I книги — речь *Котты* против эпикурейцев. Котта подчеркивает преимущества стоиков перед ними, отвергает идею человеческого образа богов, говорит о стоической идее разума, не связанного с телом. Главный источник для речи Котты — сочинение Посидония «О богах».

Вторая книга трактата излагает принципы стоической теологии. Слово берет *Луцилий Бальб*. Свою речь он начинает с доказательства существования богов (§ 4—17). Мир — это бог, небесные светила также являются богами (§ 18—44). Далее говорится об управлении миром с помощью божественного промысла (§ 73—133). В заключительной части речь идет о заботе богов о людях (§ 133—167).

По вопросу о природе и свойствах богов Цицерон солидарен со стоической критикой их антропоморфизма. Что касается божественной опеки людей, то здесь мнение Цицерона расходится со стоиками. Окончательное отмежевание от стоиков происходит, когда речь заходит о провидении. *Бальб* считает дивинацию доказательством провидения (II, 162). Но Цицерон знает, что стоики включают в понятие «провидение» нечто связанное с фатализмом, чего он никак не может принять, так как рассматривает это как суеверие.

Третья книга — речь *Котты* против теологии стоиков. К Котте автор относится с наибольшей симпатией. Котта говорит, что для него решающим мнением о религии является мнение не стоиков, а римских граждан: *Сципиона*, *Сцеволы* и *Лелия*. Толкование религии бессмысленно, так как «доказательствами очевидность ослабляется» (III, 9). Смысл речи — демонстрация несостоятельности претензий стоиков доказать то, во что можно только верить.

В речи Котты, таким образом, находят выражение идеи самого Ци-

церона: 1) наука как знание, опирающееся исключительно на факты. Мысль стоиков о том, что взаимосвязь в природе обеспечивается присутствием единого божественного духа, отвергается. 2) Тенденция к атеизму: вместо того чтобы как стоики, чрезмерно увеличивать число богов, лучше отказаться и от единого бога, чтобы преградить дорогу суевериям. 3) Совесть как достаточный гарант справедливой общественной жизни.

Заканчивается диалог неожиданной фразой Цицерона: «...мы разошлись, притом так, что Веллею показались более истинными суждения Котты, а мне — более схожими с истиной рассуждения Бальба» (III, 95). Считается, что это или более поздняя вставка, или компромисс, на который пошел Цицерон.

¹ То есть боги.

² Клеанф Асский (ок. 339—251) — сын Фания, философ-стоик, ученик Зенона. Зенон говорил, что Клеанф похож на дощечки: писать на них трудно, но написанное держится долго.

³ Имеются в виду события 87 г. — гражданская война между сулланцами и марианцами. Сулланцев в эту пору возглавлял консул Гней Октавий.

⁴ Марк Семпроний Тудитан — консул 204 г. Маний Аквиллий — консул 129 г.

⁵ То есть Публий Корнелий Сципион Африканский Младший — см. примеч. 73 к «Об ораторе», кн. II.

⁶ Гимнасий — см. примеч. 13 к «О наилучшем виде ораторов».

⁷ Форум — см. примеч. 8 к письму Марку Теренцию Варрону («Письма к близким», IX, 2).

⁸ Хрисипп — см. примеч. 43 к «Об ораторе», кн. I.

⁹ В III кн. данного трактата Гай Аврелий Котта подвергает подробной критике излагаемое здесь Бальбом учение стоиков о богах с позиций Новой Академии. См. примеч. 36 к «Об ораторе», кн. I.

¹⁰ Подлинные слова Сократа (см.: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 4). См. также примеч. 35 к «Об ораторе», кн. I. Ксенофонт (ок. 430—354) — автор, писавший по самым разнообразным темам — историческим, экономическим, философским, военным. Афинянин по происхождению, он был противником афинской демократии и поклонником Спарты. Одно время был учеником Сократа, затем забросил философские занятия и стал наемным воином. Принял участие в походе Кира Младшего против царя Артаксеркса в 401 г. В 394 г. участвовал на стороне Спарты в Коронейской битве. В Афинах был заочно осужден за измену родине. В 370 г. переселяется в Коринф (из-за войны Спарты с Фивами). В 367 г. афиняне амнистировали Ксенофонта. Из трудов Ксенофонта наиболее известны следующие: «Анабасис», «Греческая история», «Воспитание Кира», «Воспоминания о Сократе».

¹¹ Ср.: Секст Эмпирик. Против ученых, IX, 98—99.

¹² Всеобщая согласованность — учение стоиков о «мировой симпатии», то есть о взаимосвязанности малейшей частички мира с миром в целом. В соответствии с учением стоиков мир представлялся как единое органическое целое. Ср.: «О природе богов», III, 28.

¹³ Зенон Китийский (ок. 336—264) — философ, основатель стоической школы в Афинах.

¹⁴ Злословие — перевод, исходя из поправки Дэвиса: *convicia* вместо рукописного, явно испорченного *vitia* («пороки») в списках.

¹⁵ Ср.: Секст Эмпирик. Против ученых, IX, 85, 104.

¹⁶ Ср. там же, IX, 101.

¹⁷ Распространенное в древности представление. Ср.: Феофраст. Об истории растений, II, 1.

¹⁸ То есть стихии огня, наряду с землей, водой, воздухом.

¹⁹ *ἡγεμονικόν* — от греческого глагола *ἡγεμονεύω* — «идти впереди», «быть во главе». У Платона это философское понятие означало руководящее начало, у стоиков — управляющую миром высшую духовную силу, то есть разум.

²⁰ Платон — см. примеч. 19 к «О наилучшем виде ораторов».

²¹ Ср.: Платон. Федр, 245. Ср.: Цицерон. Тускуланские беседы, I, 53, где дается полный перевод этого места.

²² Ср.: Цицерон. О старости, 77: «Бессмертные боги... посеяли души в людские тела, чтобы было кому блюсти земли и, созерцая порядок небесных тел, подражать ему своей жизнью и постоянством».

²³ См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, VII, 144—145.

²⁴ Стоики различали два вида огня: *τεχνικός* — творческий огонь (эфир) и *ἀτεχνός* — нетворческий, разрушительный огонь.

²⁵ *Аристотель* — см. примеч. 38 к «Об ораторе», кн. I. Возможно, в данном месте речь идет об отрывке из утерянного трактата Аристотеля «О философии».

²⁶ Цицерон в сочинении «О судьбе», 7, говорит, что природа одних местностей отличается от природы других: в Афинах воздух более тонкий, поэтому и люди там умнее; в Фивах — более плотный, и люди там крепче. Однако не это привело кого-то в Афины слушать Зенона и Аркесилая, и не плотный воздух побудил кого-то добиваться победы в Истмийских играх. То есть Цицерон полностью не отрицает влияния природных условий, но считает их не столь определяющими, в отличие от Хрисиппа. Ср. Цицерон. О дивинации, II, 33—34; 96.

²⁷ В имеющихся сочинениях Аристотеля такого высказывания не обнаружено, хотя оно вполне могло принадлежать ему. *Природа* в данном контексте — внутренняя бессознательная сила, заключенная в вещи, сила, внешняя по отношению к объекту действия.

²⁸ То есть эпикурейцам. См. «О природе богов», I, 76: доказательства эпикурейцев того, что боги имеют человеческое обличье: 1) У людей сложилось представление о том, что когда они думают о божестве, то представляется им именно человеческая форма. 2) Так как божественная природа превосходит все прочие, то ей должна быть присуща и прекраснейшая форма. 3) Тело любой другой формы не может служить жилищем разума.

²⁹ Стоики придавали большое значение роли «представления» — *πρόληψις*. Цицерон переводит это введенное Эпикуром слово как *anticipatio*, объясняя его как «некоторые превосхищенные душою представления о вещах, представления, без которых никому не возможно ни понять, ни исследовать, ни рассуждать». Ср. сочинение Эпикура «О критерии, или Канон». Об Эпикуре см. примеч. 30.

³⁰ *Эпикур* (341—270) — философ, основатель эпикурейской школы. По его собственным словам, обратился к философии в 14 лет. Имел множество учеников. Его философия разделяется на три части: *каноника*, *физика* и *этика*. *Каноника* — подступ к предмету (книга «Канон»). *Физика* представляет собой все умозрение и содержится в 37 книгах, сочинении «О природе» и в письмах. *Этика* говорит о предпочтении и избегании. Содержится в книге «Об образе жизни», в письмах и в сочинении «О конечной цели».

³¹ Жители Аттики, родины Эпикура, славилась остроумием и склонностью к шуткам.

³² При изучении математики стол посыпали слоем песка и на нем чертили геометрические фигуры.

³³ *Квинт Энний* — см. примеч. 2 к «О наилучшем виде ораторов». О каком произведении в данном случае идет речь, не известно.

³⁴ В оригинале игра слов: *palatium* («небо») и *palatum* («свод неба»).

³⁵ Кажущееся движение неподвижных звезд на небе, объясняемое вращением Земли.

³⁶ Планеты совершают видимое движение по небу в направлении, обратном движению Земли, и действительное движение по своим орбитам вокруг Солнца.

³⁷ В 46 г., за два года до написания данного трактата, Юлий Цезарь по предложению александрийского математика Созигена ввел «юлианский» календарь, в основу которого был положен египетский солнечный год вместо римского лунного.

³⁸ То есть пять известных древним планет: Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий.

³⁹ *Великий год* — см. примеч. 30 к «Сновидению Сципиона».

⁴⁰ Приводимые Цицероном сведения о длительности оборота планет расходятся с данными современной науки.

⁴¹ В «Тускуланских беседах», V, 69, Цицерон утверждает, что неблуждающие звезды движутся вместе с небом, находясь на своих постоянных местах.

⁴² Видимо, имеются в виду метеоры.

⁴³ *Греческие мудрецы* — в частности, *Персей* и *Продик*. *Персей* говорил, что богами стали называть людей, которые придумали нечто полезное для украшения жизни. И сами полезные и спасительные вещи были названы именами богов, так что они не только придуманы богами, но и сами являются божественными. *Продик* из *Кеоса* учил, что «люди включали в число богов то, что шло на пользу человеческой жизни». *Продик* — греческий софист, ученик Протагора, современник Сократа. *Персей* — философ-стоик, ученик Зенона.

⁴⁴ *Церера* (греч. *Деметра*) — богиня плодородия; *Либер*, *Вакх* — бог вина, отождествляемый с греческим *Дионисом*.

⁴⁵ *Публий Теренций Афр* — см. примеч. 5 к «О наилучшем виде ораторов». В данном случае имеется в виду комедия Теренция «Евнух».

⁴⁶ *Марк Эмилий Скавр* — см. примеч. 113 к «Об ораторе», кн. I.

⁴⁷ *Авл Атилий Калатин* (III в.) — консул, диктатор, цензор. *Марк Клавдий Марцелл* — консул 222 г. *Квинт Фабий Максим Кунктатор* (ум. 203 г.) — пять раз консул, диктатор во время II Пунической войны.

⁴⁸ *Геркулес* — см. примеч. 34 к «Об ораторе», кн. II. *Кастор* и *Поллукс* — см. примеч. 169 к «Об ораторе», кн. II.

⁴⁹ *Либер* — см. примеч. 44. *Квири* — один из древнейших богов Италии. Его отождествляли с *Марсом*. Приводимая здесь и далее этимология имен греческих и римских богов в ряде случаев неосновательна.

⁵⁰ Смысл этого стиха из трагедии Энния не вполне ясен.

⁵¹ Стих из утерянной трагедии Еврипида.

⁵² *Тимей из Тавромения* — см. примеч. 4 к письму *Лукцию Лукцию*.

⁵³ *Храм Дианы в Эфесе* — одно из семи чудес света. В 356 г. был подожжен Геростатом, который захотел таким образом обессмертить свое имя. *Олимпиада* — мать Александра Македонского.

⁵⁴ Ср.: Гомер. *Илиада*, XX, 67 и след.

⁵⁵ Этимологическое истолкование Бальбом слов *superstitio* («суеверие») и *religio* («религия») спорно. Христианский писатель Лактанций (III—IV вв. н. э.) предлагает другую этимологию слова *religio*, выводя его не от *religere*,

а от religare («связывать»). См.: Лактанций. Божественные установления, IV, 28.

⁵⁶ Из этих слов Бальба видно, что Цицерон предполагал сначала, что беседа будет длиться несколько дней. На самом деле разговор проходил без всяких перерывов.

⁵⁷ *Ареопаг* (греч., буквально: «холм Ареса»). В Афинах — место заседания государственного совета. Первоначально в руках Ареопага были сосредоточены все государственные дела. Вследствие реформ Солона и особенно Клисфена полномочия его были ограничены, а в 462 г. Ареопаг практически был лишен власти. Во время правления Адриана (130 г.) вновь стал высшим правительственным органом.

⁵⁸ Стоики, как и эпикурейцы, не признавали творения «из ничего».

⁵⁹ *Демокрит* — см. примеч. 34 к «Об ораторе», кн. I.

⁶⁰ *Единым миром* — в противоположность бесчисленным мирам Эпикура.

⁶¹ *Свыше* — по учению стоиков — от эфира, звезд.

⁶² Имеются в виду философы эпикурейской школы.

⁶³ В частности, стоики.

⁶⁴ То есть качественные особенности, такие, как величина, цвет, тяжесть и т. п.

⁶⁵ Имеются в виду вода, воздух, эфир.

⁶⁶ Большинство стоиков считали, что этот «мир подвержен гибели, как все, имеющее начало». Однако Панетий (см. примеч. 37 к «Об ораторе», кн. I) объявлял мир неразрушимым.

⁶⁷ Стоики, которые не могли отрицать некоторые несовершенства в мире, пытались преодолеть эту трудность ссылкой на качество материала, с которым «мыслящей природе» приходится иметь дело. Ср.: Сенека. О провидении, V, 9: «...не может мастер изменить материю».

⁶⁸ Первый небесный глобус был сконструирован в Сиракузах знаменитым механиком и математиком *Архимедом* (287—212). Позже то же сделал *Посидоний*.

⁶⁹ *Луций Акций* — см. примеч. 6 к «О наилучшем виде ораторов». Приведенные стихи — из трагедии «Медea».

⁷⁰ *Сильван* — древнеримский бог, покровитель лесов, полей, стад. Позже был отождествлен с греческим *Паном*. Как и Пана, его представляли играющим на свирели. Но «пение», скорее, относится к *Орфею*, который со своей лирой также находился на корабле аргонавтов.

⁷¹ *Марк Пакувий* — см. примеч. 3 к «О наилучшем виде ораторов».

⁷² Римляне насчитывали в своем алфавите 21 букву; буквы Y и Z считались греческими.

⁷³ Видимо, в не дошедшем до нас трактате.

⁷⁴ Извержение вулкана Этна в Сицилии произошло в 44 г., незадолго до смерти Цезаря.

⁷⁵ В действительности диаметр Луны почти в 4 раза меньше, чем Земли.

⁷⁶ *Арат* — см. примеч. 56 к «Об ораторе», кн. I.

⁷⁷ *Киносура* — Малая Медведица. Название, означающее по-гречески «собачий хвост»; дано, может быть, по кривому ряду звезд в конце созвездия. *Гелика* — по мифу, одна из возлюбленных Зевса, которую Гера превратила в медведицу, но Зевс перенес ее на небо, где она стала созвездием Большой Медведицы.

⁷⁸ По Малой Медведице легче определять северное направление.

⁷⁹ *Энгонасин* (греч. «на коленях») — созвездие Геркулеса. Греки усматривали в этом созвездии Геракла, сражающегося с драконом.

⁸⁰ *Змееносец* — в этом созвездии видели образ Эскулапа. Сын Аполлона, он был наделен способностью воскрешать мертвых. Юпитер за это убил его своей молнией. Затем Эскулап был помещен на небо, среди созвездий.

⁸¹ *Арктофюлакс* — греч. «страж Медведицы». *Ботт* (*Bootes*) — созвездие Волопаса.

⁸² *Кефей* — эфиопский царь, по мифу, вместе с женой Кассиопеей и дочерью Андромедой был вознесен на небо и помещен среди звезд.

⁸³ *Конь* — созвездие Пегаса, крылатого коня, покоренного греческим героем Беллерофонтом.

⁸⁴ *Аквилон* — северный ветер, север.

⁸⁵ *Персей* — мифический герой, убивший Медузу Горгону, спасший Андромеду от морского чудовища, был вместе с Андромедой вознесен на небо и превращен в созвездие. Чудовище тоже было превращено в созвездие Кита.

⁸⁶ *Вергилии* — лат. «склоняющиеся», у греков они назывались *Плеяды* — семь звезд в созвездии Тельца. По мифу, семь дочерей океаниды Плеяды, опечаленные участью своего отца Атланта, обреченного вечно подпирать небесный свод, покончили с собой. После смерти были взяты на небо и превращены в созвездие.

⁸⁷ То есть созвездие Лебеда.

⁸⁸ *Казерог* — в этом созвездии видели образ Пана.

⁸⁹ То есть Солнце.

⁹⁰ *Орион* — великан-охотник из Беотии, возлюбленный Авроры; вызвав гнев Дианы (Артемиды), был убит ее стрелой и впоследствии вознесен на небо со своей собакой.

⁹¹ *Арго* — название корабля аргонавтов, совершивших на нем путешествие в Колхиду за «Золотым руном».

⁹² Созвездие Эридан названо по мифической реке, протекающей в подземном царстве мертвых.

⁹³ *Кентавр* — мифическое существо, получеловек-полуконь.

⁹⁴ Созвездие Волка.

⁹⁵ *Гидра* — чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. Убийство Гидры — один из подвигов Геракла.

⁹⁶ То есть атомы.

⁹⁷ *Той природой* — наделенная разумом мыслящая природа стоиков.

⁹⁸ *Панетий* — см. примеч. 37 к «Об ораторе», кн. I.

⁹⁹ Речь идет о *Меркурии* и *Венере*, ближайших к Солнцу планетах, испытывающих его сильное влияние.

¹⁰⁰ То есть *Раковина Пинн* — «Морское перо», род морского моллюска.

¹⁰¹ *Platalea* — не ясно, о какой птице идет речь.

¹⁰² Не ясно, о каких пресмыкающихся идет речь. Описанный способ ловли рыб характерен для «Морского черта».

¹⁰³ Данное суждение о журавлях ни в одном из известных нам сочинений Аристотеля не обнаружено.

¹⁰⁴ *Этесийские ветры* — пассаты, дующие в Эгейском море с севера и северо-запада в самое жаркое время лета.

¹⁰⁵ В описании Бальбом человеческого тела допущен ряд ошибок, подмеченных еще древними.

¹⁰⁶ Большинство стоиков считали, что ум пребывает в сердце, то есть в груди.

¹⁰⁷ *Плектр* — палочка, которой ударяли по струнам кифары.

¹⁰⁸ Критикуя это представление стоиков, Карнеад задавал вопрос: а змеи и другие животные — тоже? См.: Цицерон. Академические исследования, II, 120.

¹⁰⁹ Перевод из Арата — «Явления», 129 след.

¹¹⁰ *Alites* — птицы, по которым гадали, наблюдая их полет. *Oscines* — предвещающие будущее криком.

¹¹¹ *Пирр* — эпирский царь; победил римлян в 280 г. при Гераклее и в 279 г. при Аскуле (Апулия), но потерпел от них поражение при Беневенте в 275 г. Погиб при осаде Аргоса в 272 г.

¹¹² *Пунические войны* — войны римлян против Карфагена. I Пуническая война — 264—241 гг., II Пуническая война — 218—201 гг.; III Пуническая война — 149—146 гг.

¹¹³ *Манций Курий Дентат* (I половина III в.) — консул, цензор. *Гай Фабриций Лусцин* — консул 282 г. *Тиберий Корунканий* — см. примеч. 27 к «Об ораторе», кн. III. *Авл Атилий Калатин* (III в.) — консул, диктатор, цензор. *Дуилий* — консул 260 г. *Квинт Цецилий Метелл* — консул 206 г. *Тиберий Семпроний Грахх* — консул 177 и 163 гг. См. примеч. 2 к «О нахождении материала» и примеч. 26 к «Об ораторе», кн. I.

¹¹⁴ *Улисс (Одиссей), Диомед, Агамемнон, Ахилл* — персонажи поэмы Гомера «Илиада».

¹¹⁵ С точки зрения стоиков, добродетель сама по себе достаточна для того, чтобы человек был счастливым.

ЛЕЛИЙ, ИЛИ О ДРУЖБЕ

Диалог Цицерона «Лелий, или О дружбе» был написан им в 44 г. Вообще, 40-е гг. для Цицерона были чрезвычайно плодотворными, что объясняется, видимо, невозможностью принимать активное участие в политической жизни. К философским сочинениям Цицерона данного периода помимо «Лелия» относятся такие произведения, как «Академические исследования», «О границах добра и зла», «О природе богов», «О дивинации», «О судьбе», «О старости», «Тускуланские беседы», «Об обязанностях». В них автор пытается изложить основные направления древнегреческой философии и показать свое к ним отношение. Интересно, что сам он не является сторонником какой-либо определенной философской школы, будучи эклектиком. Особенность философии Цицерона состоит в ее связи с конкретностью, с жизненной реальностью.

Диалог «Лелий, или О дружбе» посвящен другу и советчику Цицерона — *Титу Помпонию Атику*, которому посвящено также много писем Цицерона. Участниками диалога являются *Гай Лелий Мудрый*, консул 140 г., друг Сципиона Младшего, его легат в Африке и Испании — его именем и назван диалог; его зятя: *Квинт Муций Сцевола Авгур*, в 120 г. наместник в Азии, консул 117 г., юрист, философ-стоик, учитель Цицерона и Атика; *Гай Фанний*, консул 122 г. Время действия диалога — 129 г.

¹ *Авгур* — жрец-птицегадатель, делающий предсказания по полету птиц, их крику и другим признакам.

² *Мужская тога* — римская гражданская верхняя одежда, обычно белого цвета, которую носили по достижении совершеннолетия (16 лет).

³ *Сцевола понтифик* — двоюродный племянник *Сцеволы Авгура*, правовед, в 100 г. наместник в Азии, консул 95 г. В 82 г. был убит по приказу Мария Младшего.

⁴ *Публий Сульпиций* — см. примеч. 13 к «Об ораторе», кн. I.

⁵ *Квинт Помпей Руф* — коллега Суллы по консульству 88 г.

⁶ Речь идет о *Публии Корнелии Сципионе Африканском Младшем*. См. примеч. 2 к «О нахождении материала».

⁷ Данное произведение было написано Цицероном в 44 г. Главный участник диалога, *Марк Порций Катон Старший*, 234—149, консул 95 г. (см. примеч. 2 к «О нахождении материала» и примеч. 28 к «Речи против Гая Верреса»), является, по мнению Цицерона, самым подходящим персонажем для рассуждения об этом возрасте, так как он «и стариком оставался дольше других, и в самой старости был бодр не в пример прочим».

⁸ Имеется в виду Сократ.

⁹ *Ноны* — пятый или (в марте, мае, июле, октябре) седьмой день месяца.

¹⁰ *Децим Брут* — см. примеч. 50 к «Речи в защиту поэта Авла Лициния Архия».

¹¹ То есть Карфаген (в 146 г.) и Нуманция в Испании (в 133-м).

¹² Имеется в виду неожиданная смерть *Публия Корнелия Сципиона Африканского Младшего* в 129 г. См. примеч. 73 к «Об ораторе», кн. II.

¹³ По предложению Сципиона на данном заседании было принято постановление, лишаящее аграрную комиссию права решать возникшие при наделении земель споры. *Союзники и латины* — различные правовые категории римлян, чьи интересы были затронуты земельными переделами.

¹⁴ Речь идет об эпикурейцах.

¹⁵ *Луций Фурий Фил*, консул 136 г., друг Сципиона и Лелия; *Маний Манилий*, консул 142 г., друг Лелия и Сципиона, правовед.

¹⁶ Имеется в виду «Сновидение Сципиона» из диалога Цицерона «О государстве».

¹⁷ *Гай Фабриций Лусцин* — полководец, прославившийся в войне против Пирра Эпирского, консул 282 г., известный справедливостью и бескорыстием. *Маний Курий* — консул 290, 275, 274 гг., умер цензором в 272 г. Вел успешные сражения с самнитами, сабинянами и Пирром, слыл образцом староримской простоты. *Тиберий Корунканий* — первый плебейский великий понтифик, консул 280 г.

¹⁸ Имеется в виду греческий философ *Эмпедокл* (середина V в.).

¹⁹ *Пакувий* — см. примеч. 3 к «О наилучшем виде ораторов».

²⁰ *Тарквиний Гордый* — седьмой по счету римский царь, традиционные даты его царствования — 534—510 гг. Впоследствии род Тарквиниев был изгнан из Рима.

²¹ *Спурий Кассий Вецеллин* — трижды консул, автор первого законопроекта о переделе земель, был убит в 485 г. *Спурий Меллий* — богатый плебей, за свой счет доставивший народу хлеб во время голода. Был обвинен патрициями в стремлении к царской власти и убит в 439 г. Сервием Агалой.

²² *Пирр* — см. примеч. 111 к «О природе богов».

²³ *Ганнибал* — см. примеч. 108 к «Об ораторе», кн. I.

²⁴ *Гней Марций Кориолан* — завоеватель города Кориолы в 493 г., противник плебеев, перешедший к *вольскам* и пыгавшийся с их помощью захватить Рим.

²⁵ *Квинт Туберон* — племянник *Сципиона Младшего*, приверженец стоической философии, известен как противник Гракхов.

²⁶ *Тиберий Гракх* — см. примеч. 2 к «О нахождении материала» и примеч. 26 к «Об ораторе», кн. I.

²⁷ *Гай Блоссий Куманский* — философ-стоик из Кум, близкий друг Тиберия Гракха.

²⁸ *Ленат* и *Рупилий* были консулами в 132 г.

²⁹ *Гай Папирий Карбон* — народный трибун в 131 г., сторонник Гая Гракха, в 120 г., будучи консулом, перешел на сторону оптиматов.

³⁰ Имеется в виду внук *Катона Старшего* — *Марк Порций Катон*, консул 118 г.

³¹ *Габиниев закон* (139 г.) вводил тайное голосование при выборе магистратов.

³² *Кассиев закон* (137 г.) вводил тайное голосование в судебных собраниях.

³³ Версии о самоубийстве *Кориолана* и *Филоктета* придерживались и другие древние писатели.

³⁴ *Биант* — один из семи мудрецов, наряду с *Фалесом*, *Солоном*, *Периандром*, *Клеобулом*, *Хилоном*, *Питтаком*. Однако существовали и другие мнения по поводу входящих в число семи мудрецов.

³⁵ *Эний* — см. примеч. 2 к «О наилучшем виде ораторов».

³⁶ *Рупилий* — консул 132 г., противник *Гракхов*, усмиритель восстания рабов в Сицилии. *Спурий Муммий* — брат покорителя Греции. В 132 г. сопровождал *Сципиона* в его поездке в Азии. *Квинт Максим* — родной брат *Сципиона Эмилиана*, усыновленный одним из *Фабиев Максимов*.

³⁷ *Неоптолем* — сын *Ахилла* и *Деидамии*, дочери *Ликомеда*. Принимал участие в войне против *Трои*, убил много *тroyанцев*, в частности самого *Приама*.

³⁸ *Квинт Помпей Непот* обещал *Сципиону* провести *Лелия* в консулы, но добился консульской должности для себя самого.

³⁹ *Квинт Цецилий Метелл Македонский* — консул 143 г., поборник привилегий знати, противник *Сципиона*.

⁴⁰ *Тимон* — афинянин, современник *Пелопоннесской войны*, известный своим демонстративным презрением к окружающим — качеством, на основании которого *Шекспир* избрал его в герои своей трагедии «*Тимон Афинский*».

⁴¹ «*Андрианка*» — комедия *Теренция*; приводимые ниже слова даны в переводе *А. В. Артюшкова*.

⁴² *Гнатон* — персонаж комедии *Теренция* «*Евнух*».

⁴³ *Гай Лициний Красс* — народный трибун 145 г.

⁴⁴ Строка из комедии *Теренция* «*Евнух*», 39.

⁴⁵ Из комедии *Цецилия Стация* «*Наследница*». О *Цецилии Стации* — см. примеч. 4 к «О наилучшем виде ораторов».

⁴⁶ *Сципион Назика Коркул* — консул 162 и 155 гг. Его сын был во главе расправы с *Тиберием Гракхом*.

⁴⁷ *Тиберий Гракх* — см. примеч. 2 к «О нахождении материала» и примеч. 26 к «Об ораторе», кн. I.

⁴⁸ *Публий Рутилий Руф* — приверженец стоицизма, друг *Сцеволы понтифика*. *Авл Вергиний* — правовед, умер в молодости.

Цицерон

Ц 75 Эстетика: Трактаты, Речи. Письма. — М.: Искусство, 1994. — с. 540 (История эстетики в памятниках и документах).

ISBN-5-210-02326-5 (рус.)

В настоящем сборнике впервые с такой полнотой (целиком или в извлечениях) собраны произведения знаменитого римского оратора I в. до н. э. Цицерона, так или иначе затрагивающие эстетическую проблематику. Книга снабжена вступительной статьей, в которой эстетическое мировоззрение Цицерона анализируется в связи с развитием античной культуры в целом и кризиса Рима накануне падения республики в частности.

Для научных работников в области эстетики, культурологов, историков-антиковедов и широкого круга лиц, интересующихся историей культуры и эстетических учений.

Ц $\frac{0301080000-029}{025(01)-94}$ 18-92

ББК 87.8

ЦИЦЕРОН

ИСТОРИЯ ЭСТЕТИКИ В ПАМЯТНИКАХ И ДОКУМЕНТАХ

Редактор
В. С. ПОХОДАЕВ
Художник
В. М. МЕЛЬНИКОВ
Художественный редактор
И. В. БАЛАШОВ
Технический редактор
Н. И. НОВОЖИЛОВА
Корректор
О. Г. ЗАВЬЯЛОВА

ЛР № 010157 от 03.01.1992 г.
Сдано в набор 28.01.94. Подп. в печ. 02.06.94. Формат издания 84 × 108/32.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура таймс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр. отт. 28,56. Изд. № 17701. Тираж 10 000 экз.
Заказ 862. Издательство «Искусство», 103009, Москва, Собиновский пер., 3.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.

